

Annotation

Значительная часть погибших в годы Великой Отечественной войны солдат как будто бы умерли дважды: они не были погребены и остались лежать там, где их убили. Советское государство до 1980-х годов не признавало факта существования этих мертвых душ, и перезахоронением павших занимались обычные граждане — несмотря на то, что их деятельность была запрещенной. Только те, кого сегодня принято называть поисковиками, понимали, что забытые всеми солдаты нуждаются в заботе и памяти со стороны живых: так они смогут вернуться в наш мир героями, а не бесплотными призраками. Мертвые не хоронят мертвецов. Эту работу пришлось взять на себя вполне конкретным людям, и их память не менее важна, чем память ветеранов и других свидетелей войны. Настоящее издание представляет собой единственный в своем роде сборник устных воспоминаний тех, кто посвятил всю свою жизнь поиску и перезахоронению советских солдат.

Разрешается любое некоммерческое воспроизведение со ссылкой на источник.

-
- [СМЕРТИ НЕТ. Краткая история неофициального военного поиска в России](#)
 - [ОГЛАВЛЕНИЕ](#)
 - [РАССКАЗЫВАЮТ:](#)
 - [МОДЕСТ КОЛЕРОВ. ЭТО — МОЯ ВОЙНА. 22 ИЮНЯ И 9 МАЯ](#)
 - [ОТ РЕДАКТОРА](#)
 - [Часть 1. Донатыч](#)
 - [*](#)
 - [ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ](#)
 - [Часть 2. «Дозор»](#)
 - [*](#)
 - [АРКАДИЯ КОНСТАНТИНОВНА ЛИШИНА И ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА](#)

- [ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА](#)
 - [СТЕПАН ЛИШИН](#)
 - [СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ](#)
- [Часть 3. Сычевка](#)
 - [*](#)
 - [КЕТЕВАН ГЕГЕЛИЯ](#)
 - [СЕРГЕЙ НЕСТЕРЧУК](#)
- [Часть 4. Ржев](#)
 - [*](#)
 - [ВИКТОР И НАТАЛЬЯ МОРОЗОВЫ](#)
- [Часть 5. Мясной Бор](#)
 - [*](#)
 - [АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЛИНИН](#)
 - [АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОРЛОВ](#)
 - [АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ](#)
 - [ВАЛЕРИЙ ГУЬАНОВ](#)
 - [АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ОРЛОВ](#)
- [Часть 6. Казань](#)
 - [*](#)
 - [МИХАИЛ ЧЕРЕПАНОВ И ВЛАДИМИР ЕРХОВ](#)
 - [АНАТОЛИЙ СКОРЮКОВ](#)
- [Часть 7. Ленинград.](#)
 - [*](#)
 - [ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВ](#)
 - [СВЯЩЕННИК ВЯЧЕСЛАВ ХАРИНОВ](#)
- [Вместо послесловия](#)
 - [*](#)
 - [ЮРИЙ СМИРНОВ](#)
 - [СЕРГЕЙ МАЧИНСКИЙ](#)
- [БЛАГОДАРНОСТИ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)

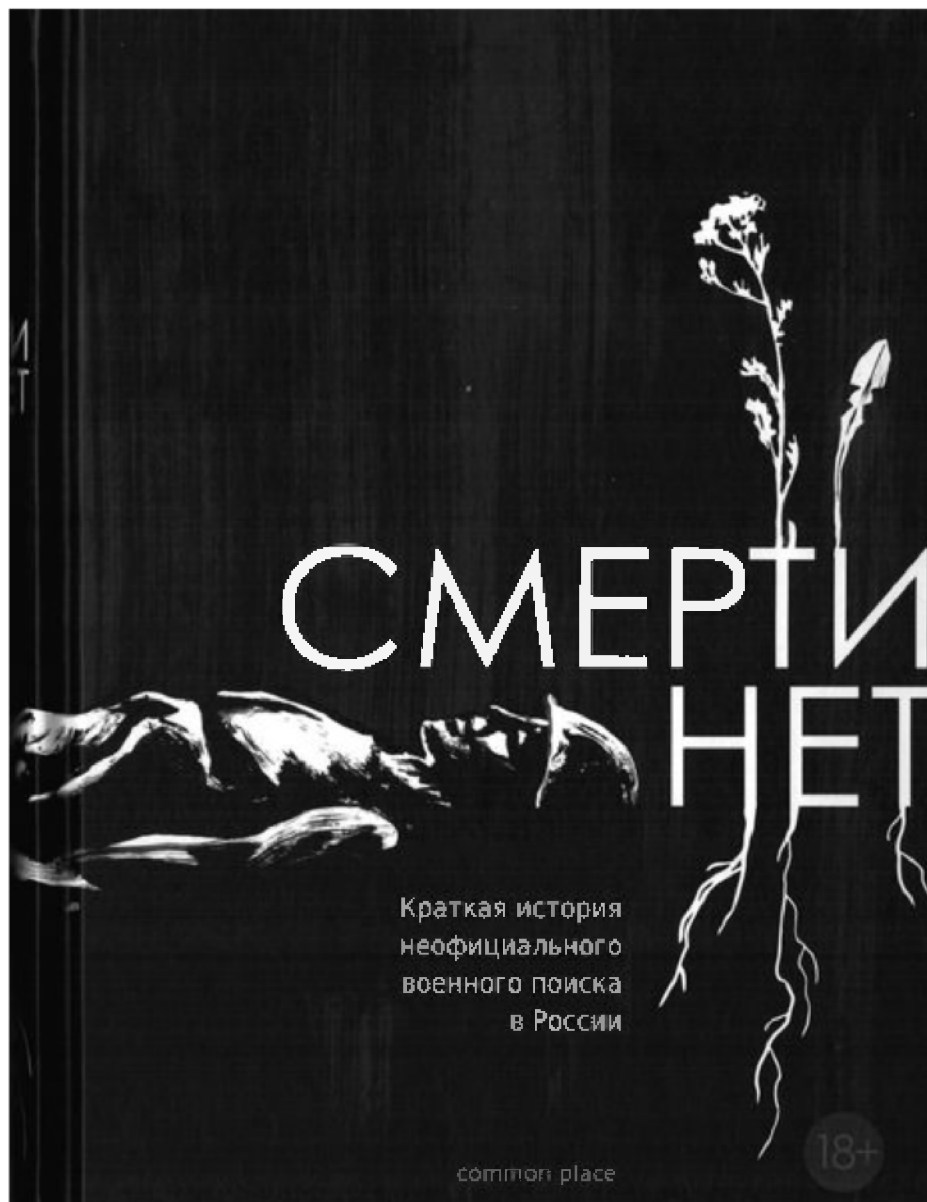
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)

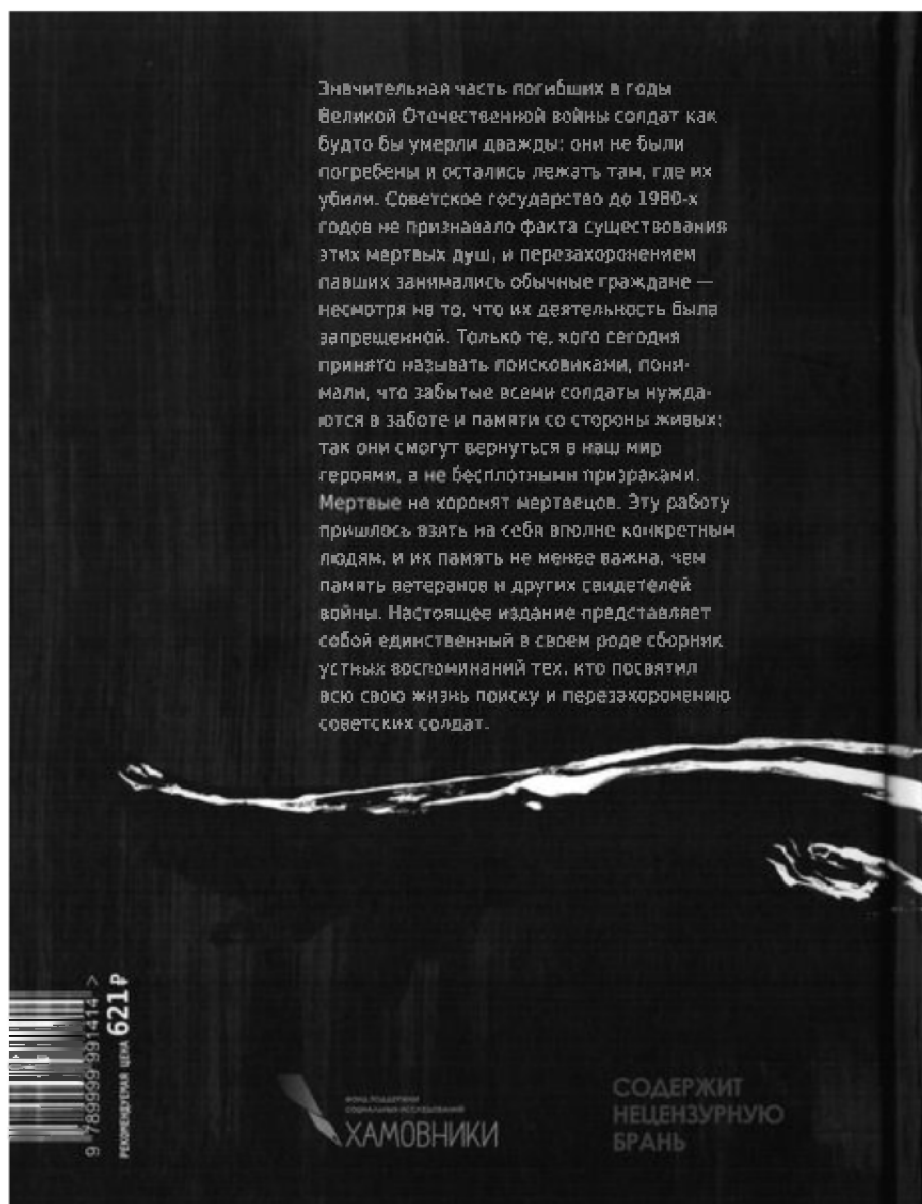
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)

- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)

- [155](#)
 - [156](#)
 - [157](#)
 - [158](#)
 - [159](#)
 - [160](#)
 - [161](#)
 - [162](#)
 - [163](#)
 - [164](#)
 - [165](#)
-

СМЕРТИ НЕТ. Краткая история неофициального военного поиска в России





Смерти нет. Краткая история неофициального военного поиска в России. — М.: Common place, 2020. — 672 с. — ISBN 978-999999-1-41-4

Издание подготовлено при финансовом содействии Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники».

Позиция авторов является независимой и может не совпадать с позицией Фонда и его учредителя.

Публикуется под лицензией Creative Commons

Разрешается любое некоммерческое воспроизведение со ссылкой на источник



ОГЛАВЛЕНИЕ

Модест Колеров. Это моя война. 9 мая и 22 июня

От редактора

ЧАСТЬ 1. ДОНАТЫЧ

ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ

ЧАСТЬ 2. «ДОЗОР»

АРКАДИЯ КОНСТАНТИНОВНА ЛИШИНА И ТАТЬЯНА
СЕРГЕЕВА

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

СТЕПАН ЛИШИН

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ЧАСТЬ 3. СЫЧЕВКА

КЕТЕВАН ГЕГЕЛИЯ

СЕРГЕЙ НЕСТЕРЧУК

ЧАСТЬ 4. РЖЕВ

ВИКТОР И НАТАЛЬЯ МОРОЗОВЫ

ЧАСТЬ 5. МЯСНОЙ БОР

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЛИНИН

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОРЛОВ

АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ

ВАЛЕРИЙ ГУЬАНОВ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ОРЛОВ

ЧАСТЬ 6. КАЗАНЬ

МИХАИЛ ЧЕРЕПАНОВ, ВЛАДИМИР ЕРХОВ

АНАТОЛИЙ СКОРЮКОВ

ЧАСТЬ 7. ЛЕНИНГРАД

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВ

СВЯЩЕННИК ВЯЧЕСЛАВ ХАРИНОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ЮРИЙ СМЕРНОВ

СЕРГЕЙ МАЧИНСКИЙ

РАССКАЗЫВАЮТ:

Владимир Богомолов — один из первых подмосковных поисковиков, создатель поисковых отрядов «Ополченец», «Высота», организатор ежегодных Вахт памяти в Калужской области (Гнездиловские высоты, Зайцева гора).

Аркадия Константиновна Лишина — педагог, историк, основатель военно-поискового отряда «Дозор» (dozor.narod.ru) вместе с супругом Олегом Всеволодовичем Лишиным. В 1960-2000-х годах проводили поисковые работы в Волоколамском районе Московской области, подо Ржевом, в Карелии и Мурманской области. Автор (совместно с О.В. Лишиным) методического пособия «Это нужно живым. Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки».

Татьяна Сергеева — член поискового отряда «Дозор», дочь А.К. и О.В. Лишиных.

Степан Лишин — педагог, член поисковых отрядов «Дозор» и «Долг», отвечал за расшифровку смертных медальонов. Внук А.К. и О.В. Лишиных.

Сергей Васильев — фермер, поисковик-одиночка, работал в Волоколамском районе Московской области, Тверской области.

Кетева И Гегелия — педагог, учитель биологии, создатель поискового отряда «Искатель». Работала в Сычевском районе Тверской области, в Новгородской области, в Карелии.

Сергей Нестерчук — поисковик-одиночка, участвовал в работе поискового отряда «Искатель» в Сычевском районе Тверской области.

Виктор и Наталья Морозовы — фермеры, основатели семейного поискового отряда «Память», работают в окрестностях деревни Погорелки Ржевского района Тверской области.

Александр Александрович Калинин — сотрудник новгородского завода «Акрон», член первого советского поискового отряда «Сокол», организованного Николаем Ивановичем Орловым.

Александр Николаевич Орлов — сын Николая Ивановича Орлова, участник поисковой экспедиции «Долина», руководитель поискового отряда «Гвардия». Занимается поиском погибших в районе ж/д станций Мясной Бор, Спасская Полисть (в т.н. Долине смерти).

Александр Савельев — член поискового отряда «Гвардия», мастер кузнечного дела, писатель, автор книг о военном поиске «Похоронная команда» и «Делянка». Работает в районе Мясного Бора, подо Ржевом, в Карелии.

Валерий Губанов — участвовал в поисковых экспедициях в Долине смерти под руководством Николая Ивановича Орлова, член поисковой экспедиции «Долина».

Александр Иванович Орлов — младший брат Николая Ивановича Орлова, журналист, один из организаторов первых Вахт Памяти в Долине смерти, участник поисковой экспедиции «Долина».

Михаил Черепанов — заведующий музеем-мемориалом Отечественной войны в Казанском кремле, участник поискового движения «Снежный десант» (Казань), работавшего на первых Вахтах памяти в Долине смерти.

Владимир Ерхов — тележурналист, участник поискового движения «Снежный десант» (Казань).

Анатолий Скорюков — моряк, организатор поисковой работы в Вологодской области в составе объединения поисковых отрядов «Долг». В настоящее время — сотрудник Всероссийского информационно-поискового центра (ВИПЦ).

Олег Алексеев — основатель и руководитель поискового историко-патриотического отряда «Святой Георгий», работающего в районе Синявинских высот (Ленинградская область).

Протоиерей Вячеслав Харинов — настоятель Успенского храма с. Лезье-Сологубовка Кировского р-на Ленинградской области, много лет проводит отпевание найденных поисковиками погибших солдат.

Юрий Смирнов — руководитель Союза поисковых отрядов России, автор закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (1993 г.), депутат Верховного Совета РФ созыва 1991-1993 гг.

Сергей Мачинский — полковник в отставке, с 2013 по 2016 год руководитель департаментом поисковой и реконструкторской работы РВИО, сейчас — заместитель руководителя, начальник поисковой экспедиции Военно-исторического центра СЗФО.

МОДЕСТ КОЛЕРОВ. ЭТО — МОЯ ВОЙНА. 22 ИЮНЯ И 9 МАЯ

Любая большая война и любая память о большой войне — общенациональная катастрофа. В ней смерть снимает кожу с живого тела всего народа. Он навеки становится инвалидом. «Мы, дети войны, все больные», — говорил мне мой отец. И он, и моя мать детьми десяти-четырнадцати лет пережили гитлеровскую оккупацию в конце 1941 года и войну. Они лично видели гитлеровского врага, казни наших людей, трупы наших солдат, бомбежки, голод, предательства, бои, убежища, очереди за хлебными карточками, бесконечный труд в госпиталях — и всю бесконечную боль, слабость и человеческую силу нашего народа, который прошел эту войну и победил в ней.

Любая память о большой войне — в самой сердцевине народного сознания. И когда и если она уходит из этого сознания, человеческий стержень народа рискованно мутирует: найдет ли народ себе новый человеческий смысл, естественно отойдя от войны и забив себе голову макулатурой. В центре, в самом нерве этого практического национального самосознания — многодесятилетняя работа поисковиков, что находят числящихся пропавшими без вести погибших наших солдат, хоронят и возвращают их имена их родственникам, всему нашему народу. В фокусе, в рентгене этих поисковиков — вся сложная и очень разная жизнь наших людей, где, как и на войне, простая человеческая малость или просто слабость неконтролируемо выходит наружу, гонит прочь от человеческого — и требуется очень много усилий, очень много личного мужества, чтобы остаться человеком перед лицом смерти. Когда эта смерть смешивает каждого с тотальной грязью.

Свидетельства поисковиков, казалось бы, более всего говорят о практике и превращениях нашей памяти о самом главном — о том, что спасло наш народ от смерти. Но сам их труд неизбежно снимает маскировку со многих умолчаний о войне, формальной памяти о войне. Это повесть о нормальной искренности и обыденной тупой фальши.

Но выбора нет. Только личная память делает человека человеком. Общая память делает население народом. Общая победа делает народ сильным. Общая боль и жертва делают народ честным и благодарным. В сознании нашего народа День памяти и скорби 22 июня — ежегодная личная минута молчания о своих, о себе, о самом страшном. В истории нашего народа День Победы 9 мая — главный день его жизни и борьбы.

Мы помним Великую Отечественную войну, перед лицом которой все на самом деле были равны. Перед лицом угрожавшего всем нам гитлеровского геноцида даже служившие врагу предатели и коллаборационисты были не более чем расходным материалом. Их жертва — бессмысленна и преступна. А война в защиту Отечества — урок равенства и справедливости. Даже для безвестно погибших наших солдат.

Наш ежегодный «Бессмертный полк» — это не только каждый день иссякающий поток участников и детей войны. Это каждый день растущий океан живой памяти, все новых ее наследников, тех, ради кого была принесена страшная жертва.

Наша Великая Отечественная война — одно из главных событий в истории человечества и центральное событие в истории нашего народа. СССР не просто остановил и победил в союзе с Британией и США нацистскую Германию, поддержанную силами почти всей Европы, Японии и других. Наш народ, переживший полноценный геноцид, остановил строительство мира, в котором рабовладение вновь стало бы нормой.

Нацизм и фашизм живы, но День Победы 9 мая 1945 года все еще не дает им властвовать откровенно и полно. Эта война не стала последней, но ее опыт — мерило.

И здесь начинается ужас. О нем молчали и молчат выжившие. И громко говорят останки.

Потому что личная, индивидуальная война — как неизбежно личная смерть на войне (в бою, в гибельном труде, в расстрелах и казнях, от голода, от боли и холода) первичнее даже внутри гекатомбы. И именно эта личная смерть, чей смысл сохраняется в коллективном сознании народа, именно в этом ритуале и мифе (ритуал и миф — лишь описание, а не брань) коллективной памяти теряется быстрее и безвозвратней, ибо мы в четыре года потеряли

десятки миллионов и вернулись в пустыню. Это уже — пустыня и океан, исключаяющие индивидуальность. В них тонет и захлебывается, высыхает и испаряется индивидуальность. Исчезают личная судьба и личная память. Рассказ из уст в уста о войне, даже родительский и свидетельский, неизбежно становится затухающим эхо.

И только живой нерв частного и общественного поиска тех наших солдат, что до сих пор остаются пропавшими без вести, возвращает нашему народу индивидуальную и личную подлинность жертвы, вновь наполняет железобетон ритуала живой кровью.

В этих вновь и вновь открываемых личных боли и смерти — непрерывно просвечиваются лицемерная мемориальная фальшь, официозная историческая клюква, обыденная человеческая глупость и слабость. Жертва становится тем, что никак не отнимет у нее никакой океан, никакая пустыня. Жизнью. Жертва наших солдат дает жизнь нам лично и нашему народу. Вот еще один найден. Вот еще.

Вечная память.

ОТ РЕДАКТОРА

Что такое военный поиск, я узнал лет пятнадцать назад, когда попал на одну из многочисленных Вахт памяти (общее название масштабных поисковых мероприятий, которые проводятся ежегодно). Вахта проходила неподалеку от города Спас-Деменск Калужской области, в районе так называемых Гнездиловских высот. Про Великую Отечественную я знал много, но в основном из советских художественных книг. Описанное в них казалось давней историей: от войны остались только ветераны, которых я практически не встречал, и разношерстные памятники, которые часто можно увидеть из окна автобуса. За неделю, проведенную на Гнездиловских высотах, я сделал для себя много открытий. Сначала я увидел груды разнообразного металла, боеприпасов, которые были разбросаны повсюду; уже на второй день выяснилось, что вокруг мемориала, установленного на высоте, лежат солдаты — те самые, которым поставлен этот памятник, и более того, те самые, чьи имена на этом мемориале значатся в числе захороненных во время войны. Солдаты лежали в воронках, в окопах, сваленные в блиндажи, они могли быть буквально где угодно. Вместе с ними в тех же ямах часто лежали их вещи и оружие.

Вахта памяти — это несколько палаточных лагерей. Каждое утро из них выходили десятки людей в камуфляже — как правило, старшеклассники под руководством взрослого. Они разбредались по высоте, приступали к поиску и пропадали на весь день. Вечером к одному месту стаскивались горы железа: каски, гильзы, металлические ящики, инструменты. Отдельно, за лагерем, была огорожена высланная лапником площадка с табличкой «Место сбора останков», там стояли мешки с костями и черепами.

День на третий или на четвертый я нашел сам. Впервые в жизни взял в руки металлоискатель, отошел с ним от лагеря всего на несколько метров и начал копать сразу же после того, как аппарат загудел. Сигнал был слабый, любой опытный поисковик, скорее всего, решил бы, что это какой-то мелкий осколок или гильза. Но мне повезло. На глубине двадцати-тридцати сантиметров лежал ржавый

немецкий противогазный бак (металлический цилиндр, который болтается у немцев сбоку на поясе в военных фильмах). Я потянул за этот бак — дальше вылез ремень, а потом кость. Следующие два дня на этом месте работал отряд, с которым я приехал. Всего из одной ямы достали останки примерно десятка советских солдат и двух или трех немцев. Установить точное их количество не удалось, так как все скелеты были перемешаны, многие кости сильно повреждены, черепа расколоты. Кости немцев по мере возможности отделили от остальных, сложили в мешок и захоронили в двух метрах от раскопа, поставили небольшой крест — примотали скотчем одну палку к другой. Я приезжал туда спустя десять лет: крест стоял по-прежнему. У немцев были смертные медальоны, но сообщал ли кто-нибудь о том, что их нашли, в Германию, я не знаю. На советских солдатах не было практически ничего — несколько пуговиц, несколько патронов, и установить, кто они, возможности не было.

За время раскопок я познакомился с людьми, которые занимаются этим постоянно, — с так называемыми поисковиками. Среди них многие были коллекционерами и приезжали в первую очередь для того, чтобы найти и обзавестись предметами военного быта или просто на них посмотреть. Были люди, которые рассказывали, что занимаются поиском исключительно из патриотизма. Были военные, которые считали поиск своим долгом. Но все равно было очевидно, что для подавляющего большинства поиск — это или работа, или развлечение, своеобразное хобби. Но окончании вахты все они возвращались к обычной жизни — до следующей весны. Но один поисковик отличался от остальных: казалось, что он относится к этому делу крайне серьезно, даже болезненно. Его зовут Владимир Донатович Богомолов. Как я узнал позже, именно он организовал ту Вахту памяти, в которой я принял участие.

Мне хватило недели на раскопках, чтобы понять, что я столкнулся с чем-то очень масштабным и очень страшным. Далекая война из текстов Василя Быкова вдруг оказалась не просто близкой, а буквально разбросанной под ногами. То, что до этого мало кому есть дело, поражало меня тогда и поражает до сих пор. Мне захотелось как-то обо всем этом рассказать. Рассказать, что погибшие во время войны так и лежат на том месте, где их убили, в той же самой позе, а

рядом с ними нередко есть вещи или документы, в которых указано, кто они и откуда.

Полтора года назад я вспомнил в очередной раз про Владимира Донатовича, нашел его аккаунт в социальной сети и напросился в гости: изначально хотел просто посоветоваться, придумать с его помощью, как можно рассказать про поиск, но в результате мы сели и записали огромное интервью. Это интервью, по сути, и определило формат книги, стало ее началом (см. главу «Донатыч»). Я понял, что людей, одержимых войной и поиском, очень много еще с советских времен. Благодаря журналистке Елене Рачевой (Лена, спасибо!) мне удалось познакомиться с поисковой династией Лишиных, а через них — с новгородскими, ржевскими, казанскими поисковиками. С теми, кто показался мне наиболее интересным, удалось записать подробные интервью о том, как они работали, кого и что нашли, что думают о судьбе поиска сегодня.

Я вряд ли смог бы заниматься этой темой как исследователь — систематизировать материал, подсчитывать данные и, главное, делать выводы. У меня не было задачи ответить на конкретные вопросы или решить конкретные проблемы.

Все, чего мне хотелось, — зафиксировать опыт и память тех людей, которые посвятили себя поиску, чтобы их истории читатель узнал со слов рассказчиков, тех, кто помнит точное количество погибших в конкретном окопе или воронке, кто помнит имена, отчества и фамилии найденных двадцать лет назад. К обобщениям я не стремился, наоборот, мне кажется важным максимально индивидуализировать всех героев, сюжеты и любые детали и частности, потому что жертвы войны — это не статистика, а конкретные люди, убитые в конкретных местах. Разлетевшиеся по всей стране осколки священной войны сами становятся священными, а их поиск — своего рода коммеморативным ритуалом, и этот живой опыт наших современников, которые отдали годы жизни заботе о мертвых (причем каждый занимается этим по-своему, ищет собственные пути и методы — готовых рецептов не существует), важен и ценен сам по себе.

Возможно, не все помнят, что «Смерти нет!» — название сборника рассказов Андрея Платонова, посвященных Великой Отечественной войне. Мне показалось уместным его позаимствовать

(правда, у Платонова есть восклицательный знак, от которого я решил отказаться). Думаю, этот заголовок хорошо оттеняет ту информационную кому, в которой оказались — кто-то надолго, а кто-то навсегда — сотни тысяч советских солдат. Забытые и безымянные, они продолжают медленно вращаться в землю и растворяться в ней.

Приношу извинения всем, кто по разным причинам не попал в эту книгу: до некоторых важных собеседников я не смог добраться, хотя очень хотел, про многих я просто не знал и не знаю до сих пор. Вообще могла бы получиться совсем другая книга, если бы сбором воспоминаний я занялся лет на десять раньше: очень многих ветеранов поискового движения сегодня просто нет в живых, и с каждым годом их становится все меньше и меньше.

Ф.Д.

Часть 1. Донатыч

*



Рез нечисто, все
что на резане
попало, еще
защити от пистолетов.
У меня у каблука
попы еще есть.
Скоро нечем, кд
летит. Я не стану

ДОХВАТИМ

зачем пархотный туф
корре ботинки дерзко
лито. У меня еще
есть роза ехана туфа
откапывалась

ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ

Во-первых, хочу тебе сразу сказать, я никакой не особенный человек. Таких, как я, тысячи. Я ничего особенного не сделал, я не герой, ничего. Лучше меня уж точно есть. В интернете можешь найти, был такой Романов, специалист по самолетам, он умер недавно. Вот это были люди. Которые на двенадцатиметровую глубину прыгали в воду, чтобы достать очередного летчика. Мы-то верховых собираем, мы туристы.

Я боюсь соврать. Любому человеку плохое захочется скрыть, а хорошее показать. Не знаю, почему так.

Меня очень много использовали. Вот это то самое, что мне под старость обидно. Был у меня отряд «Ополченец», а потом здоровье прихватило, думал, сам не выдержу, передал его молодым. Вроде показалось, нормальные ребята, а потом оказалось — «значкисты»^[1]. Евгений Евгеньевич, который **88, совсем еще молодой. Он у меня отряд забрал. Точнее, я ему его подарил. И он теперь фильмы снимает: смакует, как нашли немецкую бутылочку какую-то, музыка немецкая играет. Я ему говорю: «Не ставь ты хоть это 88, ты что, не знаешь, что это такое?»

Я ему отдал командирство, когда думал, что скоро умру. Нет, он фильм-то один хороший создал, про наш отряд, как все было, очень хороший. 2011 года. Несня Высоцкого там идет. А потом начались эти немецкие марши, а самое главное — они стали собирать значки. Понимаешь? Значки, «Вернисаж»^[2], в немецкой форме ходили. Я ему говорю: «На захоронение не приди в таком виде!»

Они ни одного серьезного захоронения не сделали, нашли на чужом раскопе орден Красной Звезды. Пришли: «Донатыч, так и так». Я сам в результате искал фамилию погибшего, искал родственников. Оказались во Ржеве, а Ржев от Спас-Деменска же недалеко. Я ему говорю: «Всё, Жень, выяснилось, ехайте туда». Он какого-то пацана встретил, рассказал, место назвал, а местные ржевские поисковики на него взъелись: мол, как так, наши родственники, а какой-то Донатыч нашел. Ну-ка, зови его сюда. Он меня туда оттащил к ним, они мне говорят: «Хули ты, мы там начинали копать, это наш орден». А Женя

перевел так, будто это я хочу их славу себе присвоить. Я не испугался, конечно, хотя и пьяный уже был. Говорю: «Я нашел родственников, берите что угодно, хоть орден, хоть что, только их не обманывайте!»

А там старушка такая, деревенщина, она даже не понимает ничего. Говорю им: «Вы ей сделайте, как мы делаем — орден в рамке подарите». А они орден себе, неприятная тема. Я сначала воевал с ними, а потом плюнул. Знаешь, почему? Жизнь коротка! Еще с ними воевать, время тратить. Но поэтому мы с этим Женей теперь не в одном отряде. Хотя «Ополченец» — это мой отряд, я его организовал. И за пять лет мы этим отрядом подняли 350 человек. Во-первых, ни копейки при этом у государства не взяли, чем я доволен. Во-вторых, все с радостью работали там. Ведь трудно бывало иногда: мы не пропустили ни одного захоронения. То есть если мы нашли бойца — мы должны и захоронить. Отпрашивайся заранее, как хочешь, но ты его уже должен проводить.

Есть же разные поисковики, понимаешь. Я, например, когда во все это попал, был старой закалки. Я собирал Вахты памяти и за это ни копейки не брал. Я нигде не числился. А те, кто был со мной, показывали фотографии где надо, получали гранты. А потом мне звонят из администрации Спас-Деменска, говорят: «А чего это у тебя опять приезжают, намусорили?» Я отвечаю: «Как так, да не был я!» Оказывается, что из других городов приезжали без моего ведома, а поделаться с этим ничего я не мог.

В общем, поиск сейчас завязан на деньги, на гранты. На моих глазах, сколько я работал в этом сам, прошли такие изменения: сначала поиск был под министерством обороны. Тогда народ еще помнил многое, я специально ходил по людям и делал опросные листы. Когда люди брали и показывали — вот там вот убили дяденьку, там самолет рухнул. И все они к нам, к поисковикам, хорошо относились (нас тогда было мало, на всю Московскую область двенадцать-пятнадцать человек).

Потом, когда разрушили все, безработица началась и среди местных отношение другое. Приезжаешь делать опрос, а к тебе подходит человек, говорит: «Я вам могу показать за сто долларов, вот там, я знаю, закопаны бойцы». Да какие сто долларов?! Я такой же, как и ты, у меня зарплата тоже восемь тысяч! А он, видимо, думает, я

из Москвы. Неприятно как-то. Говорим: «Да и не надо, не показывай. Сами найдем».

Позже, когда началось распределение бюджетных денег, пришел «Комитет по делам молодежи», ДОСААФ^[3], СПО^[4] — кто только ни командовал. Потом стало в лесу такое: встречаешь людей, тебе говорят, мол, вы здесь надоели, поисковики. Я говорю: «Вы знаете, я ищу родственников, у меня здесь дед погиб. Я ищу ваших же, они не должны гнить в земле, а должны лежать в братской могиле». Отвечают: «А ты посмотри, что творится». Московские «Вахты», где побольше денег, где покруче всё, на машинах приезжают, выкапывают огромные траншеи, останки — часть забирают, часть бросают наверху раскопа. А потом местные приходят: там, где они грибы искали, где отдыхали, где землянику собирали — банки, пакеты, ямы разрытые. И уже стали на дорогах смольчане дощечки ставить с гвоздями, чтобы люди не ездили. «Чего ты здесь делаешь? Ничего мы тебе не покажем!»

И вот так отношение поменялось. Сейчас все становится еще хуже, так как сверху насаждают патриотизм. Честно сказать, вот эти «юнармейцы»^[5], их в нашем кругу зовут «мертворожденное дитя». Этих молодых заставляют ходить, кричалки кричать, а они многие историю даже не знаю. Как парадные войска. Ну не так же их надо воспитывать. Сверху продавливают патриотизм, на местах берут деньги, делают всё по-своему. Все же не проконтролируешь. Если уж на то пошло, что стали «хлебные» места делить, мол, мы вас не пустим сюда. Стали друг у друга самолеты воровать.

Ты ж знаешь, я двадцать лет жизни отдал Спас-Деменску, мне местный мэр там помогает. Мы с ним в хороших отношениях, он знал, что мой отряд работал с одной целью. Я ему всегда говорил, что мне не надо ничего, мне надо только, чтобы было захоронено и было записано. А теперь начинается как: местные договариваются с другими поисковиками, не буду называть отряд... Находят они в одном месте солдат и делают временку, в которой хранят останки. Потом берут деньги под вахту в другом месте и везут останки хоронить туда. Когда такое один раз выяснилось и все об этом узнали, мне пришлось эти останки отнимать, чтобы их не вывозили. А для них это деньги. Спрашиваю у одного: «Зачем ты законсервировал сорок человек?»

Уже третий год лежат. Я-то стараюсь, что если нашел, то в тот же год и захоронить их. А у этого были, так сказать, нычки.

Как-то осенью на высоте мы пошли останки забрать, которые раньше не смогли унести. А поднялись наверх — увидели очень много останков, накрытых лапником. А лапник, если у него уже отпали иголки, — это значит, он пролежал полгода. Я начал собирать останки, думаю: «Ни фига себе, бросил кто-то». Смотрю — среди останков рука с мясом оказалась. Я про себя говорю: «Вот же спас-деменские мародерят». Они же потом и сели за оружие. А это они так накрывают, а когда надо для отчетов — забирают. Короче говоря, я думаю, что надо уже с ним поругаться, а потом понимаю: как же я это докажу, что это они? И один раз после захоронения сидят и пьют, один из них, замкомандира, и говорит: «Да вот, Донатыч, ты не понимаешь, мы даже находили, поднимали, когда на руке было мясо!» А я говорю: «Я знаю, куда вы те останки дели! Мы же потом их вытаскивали и захоранивали! Чего же вы!» Отвечает: «Да их столько здесь — за один раз не унести». Я говорю: «Вы делаете консервы, и отдаете только когда надо. Когда деньги за это получите — вы отдаете».

Многое изменилось. Есть такое Военно-историческое общество, представляешь? Я вот фотографию тебе покажу. Помнишь, какой был памятник в Гнездилово^[6]? Там же воевали молодые комсомольцы, автоматчики, гвардейцы. Даже Берия сказал Сталину: «Ты чего их посылаешь в наступление? Они же из Сибири, дети ссыльных, репрессированных, не повернут ли они на нас?» А тот ответил, вот именно про эти войска, что, мол, они воюют не за Сталина, они воюют за свою родину. И действительно, воевали за родину, все там они и полегли. И именно такой молодой автоматчик и на памятнике, все сделано правильно было. Нонимаешь? Я всю дорогу пытался памятник этот поддерживать, за свой счет покрасить хотели — в партии разные писал, сметы составлял. Но нет, надо, говорят, чтобы памятник этот стал федерального значения — тогда будут и средства, и с памятником все будет нормально.

И вот Военно-историческое общество взяло все в свои руки. У нас радость — будет федеральный памятник на высоте. И что же: снесли старый памятник, заменили типовым, какие они ставят повсюду — ополченец с винтовкой. Ну это ладно! А на лицевой стороне

памятника что написано должно быть? Уж точно не «Сей памятник установлен Военно-историческим обществом»! Мне просто больно. И сделали они все это быстро. За два дня снесли всю старую высоту, так называемый армянский вариант.

Все могилы, все что мы годами хоронили, они заложили плиткой. У меня у каждой могилы был учет: сколько лежит, кто лежит. Я не стал даже подходить туда, когда были торжественные мероприятия. И после этого два года ехать туда отказывался: не могу я по плитам этим ходить, я знаю что под этими плитами — могилы, знаю, сколько людей мной там похоронено. Ну, правда, товарищ мне в ответ тоже правильно сказал, говорит: «Чего ты, Донатыч, у нас и так вся земля в могилах...»

Да... Сколько мы подняли. Просто вот про этот памятник в Гнездилово — нехорошо ведь это, негоже, на передней стороне писать себя. Ну честно, ну не то. Надо было посоветоваться, мы, понимаешь, чего: я же на участке на этом хоронил в разных местах. Что стоило из того уголка, где могилы, сделать холмик, землей засыпать... Да, плиткой быстрее — они торопились. А надо было могилы огородить, паспорт на каждую есть: там шестьсот человек лежит, там двести семьдесят, ведь все известно. Пусть, да, они безымянные в основном, сам понимаешь. Зато — могилы. Там есть даже отдельная доска, которую поисковики делали, когда находили, — это имена установленные.

На памятнике все имена из архива, недостоверные, будто бы их захоронили, а на самом деле — какое там. После Гнездиловской высоты им надо было брать еще одну высоту, потом Ельню. Войска быстро проскочили, а пришел приказ всех захоронить. Кто будет хоронить, когда от взвода осталось три человека. И им еще следующую деревню брать, Барабаново. Потом еще другой приказ вышел, местному населению — по уборке трупов с территории. Я разговаривал с теми людьми, кто должен был это делать. Говорят: «Мы бабули, мы боимся подойти — кругом мины, снаряды».

Да, я находил их работу, я тебе честно скажу. Потому что если у человека связаны проволокой ноги — это значит они подходили к трупу, накидывали на него проволоку и тащили. Потому что если вдруг у него на поясе граната, то взорвется хотя бы на расстоянии. Да и дотрагиваться им до трупов не хотелось. То есть волоком всё. Я

находил такое, сначала не мог понять: расстреливали, что ли. Потом смотришь — убитый с «Гвардией»^[2], чего не может быть — немцы сорвали бы. Потом раз — в кармане наган — как же его могли расстреливать? Значит, нет, погиб просто.

А как так вышло? Да очень просто. Тоже местные рассказывали. Выгоняли пацанов: чтобы поле пахать, надо трупы убрать. Они подходят — там ужас, черви, сам понимаешь, уже три года лежат. Собаку-то собьют — объезжаешь, вонючка. Что они делали — естественно, до первой ямы, засыпать, чтобы можно было пахать поле. И немцы наших хоронили. Зачем? Да вынужденно... Представь себе, что в одной траншее лежит 100 человек. Время — август. Что с тобой будет? Ты задохнешься просто.

Я часто раньше так ориентировался. Сейчас-то уже нет, а раньше такое было. Вот, допустим, поле. И вдруг среди этого поля кусты и не пашет никто. Подойдешь к местным: мол, а чего так начали, тут пашется, а там нет? Он отвечает: «А ты знаешь, мы туда стаскивали. И я, — говорит, — я не могу трактором по ним». Вскрываем — и точно, они там лежат. Понимаешь. Отношение было лучше. Пу как лучше, хоть те, кто пашет, могли так поступить. А эти вот закатали в плитку. Я даже теперь, если там прохожу, на мемориале, говорю: «Я здесь не пойду, я знаю, что здесь могила». Товарищ ругается: «Придуриваешься, что ль, здесь же плитка». Я говорю: «Для кого плитка, для кого...»

По не все так плохо. Есть у меня друг Фетисов. Он хозяин совхоза, под Москвой выращивает цветы, розы. Он про 70-ю дивизию отдельный музей сделал и выпустил вот такие книги, в 4-х томах, где все подробно расписано про них, как воевали, что, по архивным документам. Ох, как я с ним спорил по поводу войны, ты бы знал. Он мне документы как-то приносит. А у него как вышло — ему по блату дают труднодоступные военные документы, по которым он эти книги и готовил. Я сейчас, например, с его помощью в Паро-Фоминске хочу опять начать копать. Мне всю жизнь это делать не давали, потому что спорил я много. Я им все время объяснял, что из поиска нельзя делать соревнование. Гранты — это же чистое соревнование. Кто больше найдет — тому и выделять, допустим, снаряжение и тому подобное.

А Фетисов начал работать с документами по 70-й дивизии, наткнулся на приказ — такие приказы постоянно выходили. В 43-м

году вышел указ по дивизии о надлежащей уборке убитых. Просто потому что жалобы были: наши наступают, войска пришли на те места, где долго оборону держали. И получается, что там машины ездят по трупам: убитые, убитые, убитые. И вот про этот приказ на примере 70-й дивизии, высота 242,3. В первом же бою потери — почти 1000 человек, 600 убитых, 400 раненых.

Я говорю Фетисову: не может быть, чтобы их убрали. В приказе сказано, что при каждом полку должны организовать бригады из военфельдшера, двух легкораненых и возницы, выделить два часа, чтобы собрать убитых. Говорю: «Если их там столько убитых, как же их можно убрать-то?» Фетисов спорит: «Да вот же донесения, указано, что захоронены в братской могиле конкретной». Тогда я нашел эту высоту, спрашиваю его: «Приедешь ко мне своими глазами убедиться?» Говорит: «Приеду!» Думал, врет, но он мужик слова оказался. Приехали мы туда, нашли траншею, начали раскапывать — и сразу солдаты пошли, пошли.

Кто-то говорит: «Донатыч, тут к тебе мужик какой-то в пиджаке, с галстуком». А чтобы до нас добраться, нужно было километров восемь по грязи пройти. Приехал Фетисов! Я ему и показываю, мол, вот они где, а не захоронены, конечно. Приказ приказом, но невозможно было бы всех собрать, хотя по бумагам и указано, что все похоронены в деревне Оберок неподалеку.

А уж как брали-то эту высоту, ужас. Паши их и убили в основном. Была наступательная операция «Суворов» смоленская. Соколовский сообщил командиру 70-й дивизии, мол, из-за тебя стопор, во что бы то ни стало возьми высоту. Пу а те уже потеряли тысячу человек, говорят, мол, мы в лоб не возьмем. Пу, они решили ночью обойти высоту сзади и занять ее. По перед этим попросили договориться со всей артиллерией целой дивизии, чтобы накрыли высоту. Когда началась атака, он смотрит в бинокль: солдаты взошли на высоту уже, еще до артподготовки. Пемцы не ожидали. Пока отменяли артобстрел, наши же их из орудий и накрыли.

Был один поисковик бронницкий, все катался разные места разведывать. Узнал у меня очередную наводку и поехал, взял с собой молодого пацана. Как-то так вышло, что поставил палатку под деревом, которое ночью и упало. Попало прямо на голову. Пацан, который с ним был, видит, что бурелом, а дерево поднять не может.

Говорит, у того глаза выскочили сразу. Пацану-то надо было подкапывать, раз дерево поднять не мог. Короче, полночи он с ним так пробыл, пока тот не умер.

Парень с ума чуть не сошел: связь не берет, первый раз в поиске, не знает, где находится. В общем, выскочил в результате куда-то, на кого-то наткнулся. Когда потом следствие началось, не мог ничего три дня рассказать, в шоке был — молодой, четырнадцать лет всего. И вот теперь в этом месте крест стоит поклонный. Илья... забыл фамилию. Разные случаи бывают. Но удивительно: надо же было так палатку поставить... Правда Воробей на него говорит, что сам он накликал: когда останки доставал, подшучивал над ними, бычок в зубы пихал, мол, на, браток, покури сигаретку.

Никогда я себя с останками так вольготно не чувствую, я, наоборот, с ними разговариваю. Ну, как разговариваю. Недавно приехали копать, а дождей не было, земля высохла, твердая стала, как бетон. И Витя там один в этой земле «зацепил»^[8] троих. Спрашиваю: «Всё выбрал, все останки?» Да, отвечает. Сложили в гроб, хоронить надо. А мне беспокойно, говорю: «Пойду проверю».

Начинаю отковыривать дальше раскоп, вижу — он ноги не добрал^[2]. А у меня уже было такое, что нашли в одном блиндаже 120 человек. Не успели до конца всех докопать, когда отняли разрешение на работы. У блиндажа рухнула стена, я одному, у кого было разрешение, сказал: «Там остались еще люди». А хоронили в Клекшино, на мемориале, вызвали замминистра обороны, генерала. Короче, они уже после достали то, что осталось, потому что рухнула стена. Там как раз остались ноги их под завалом. И похоронили то, что позже докопали, уже в другом месте.

Я пришел к нему и сказал: «Зачем ты это сделал?» Отвечает: «Мне надо, я книги пишу, у меня поисковая деятельность». Говорю: «Ты чего делаешь-то, выходит, что ноги похоронили здесь, а голову и грудь — там». Они же даже были сложены в блиндаже, это было боевое захоронение. Лежали же ровно, накрыты чем-то были... Короче говоря, начал я из того «бетона» ноги вырубать, чтобы не разделять останки.

Время поджигает, народ ждет, надо же оставшееся тоже в гроб положить, чтобы остальные не увидели. А глина такая, я бью и прямо слышу, как попадаю по костям — стук по кости характерный же, не

перепутаешь. И делаю, а сам его прошу: «Ну не обижайся ты, надо достать, надо». А сам чувствую, как сам себе ноги отрубая. Вырубил эти ноги, зацепил, конечно, кости сильно. Сложил все вместе зато.

Нехорошо вообще это, иногда даже ворошить жалко, но должны быть похоронены. Я посчитал, я уже где-то батальон за все время захоронил. Причем это не групповых, а в основном верховых, отдельных^[10].

Вот нашли интересное тоже. Казалось бы — шел уже 43-й год, а ремень у бойца был ремесленного училища. Когда фронт задерживался, а была жара, развивались гангрены. Поэтому все найденные солдаты были голыми. А их вещи отдельно свалены в углу. Раздевали, видимо, бинтовали, но они умерли от ран.

Нашли двенадцать наших и одного немца. У наших находились кальсоны, завязки, вещи советские, а потом бах — пуговицы попадают немецкие, бах — жетон немецкий. А яма глубокая была, кости, пока доставали, смешали уже. Кто-то кричит: «Стой, стой, там немец!» А куда уже останавливаться — они все в одной куче.

Я говорю: «Знаете мужики, они уж шестьдесят лет вместе пролежали, пусть будут вместе и захоронены, как мы теперь этого немца отделим. Чего уж теперь с ним воевать, пусть ему лежится». Но, разумеется, в акте записали просто про двенадцать наших.

Сейчас вот показываю, что нужно раскопки делать специальным археологическим методом, чтобы ничего не пропустить. Но в то время, когда мы это начинали, у нас вся аппаратура — щуп да лопата. Плюс время ограничено. Мы же все дни на работе, только в выходные свои копать выезжаешь. Я садился на электричку до Малоярославца, оттуда на автобусе четыре часа, а дальше уже пехом от Спас-Деменска до высоты. Двадцать восемь километров ходили на высоту, у нас не было машины. Поэтому оставалось очень мало времени. Если находили яму, старались как можно быстрее их всех вытащить и перенести.

А сколько мы находили ям, вытщенных местным «Рубежом»^[11]... Останки лежали... Я говорю: «Чего не заберете, у вас же даже уазик есть эмчезсовский». Отвечали: «Их тут столько, когда надо будет — возьмем».

Но главное другое. Приехали ко мне родственники Малова^[12]. Я пошел в администрацию, спрашиваю, где они собираются хоронить

его останки. Мне отвечают, мол, ты черный копатель, мы тебе ничего не скажем. Я говорю: «Да у меня родственники его, приехали». Место сразу назвали. Ладно. Вечером приезжают ко мне из администрации, говорят, это негоже, что родственники его живут у тебя. Город обязан им, ихний дедушка погиб за наш город, повезем их в гостиницу. А она не хочет никуда ехать, родственница. Говорит, нам у Донатыча интересно, он нам рассказывает все. «Нет, — отвечают, — вы нас этим унижаете». Так что она собралась и уехала в гостиницу, которую ей город снял.

Двадцать шестого декабря хоронили, в день освобождения Наро-Фоминска. А билет мы ей обратный в Новосибирск взяли, ездили в Москву, на 31-е декабря, не было уже билетов, все же на праздники уезжают. В общем, после того как захоронили, она мне звонит и говорит, что после мероприятий всех этих пришел к ней портье и говорит, мол, выселяйтесь с номера. Захоронение прошло — и все. И они опять ко мне. Говорят: «Да, неспроста ты с ними всеми воюешь».

Вот я перебираю сейчас с тобой фотографии: я нормально поработал, я рад. Сколько родственников, нашел, обрадовал — этого никогда не забудешь. Они же часто у меня жили. Смотри, кружка какая была. Видишь, звезда вырезана, написана фамилия — Акимов. А самое главное, что он точно не любил советскую власть — или штрафник, или судимый. Я уверен. Видишь, в звезде серп и молот перевернут вверх ногами. Его, кстати, расстреляли, я так понял. Представляешь, блиндаж — нам местные сказали, что вот тут вот немцы захватили несколько человек, куда-то увели и расстреляли. Мы начали рыть: нашли винтовку, кружку, противогаз. То есть раздели их перед расстрелом и увели. А расстреляли в другом месте. Я родственницу этого Акимова даже нашел, кружку она, правда, почему-то не взяла. Я ее на Ноклонку^[13] отдал.

Однажды копали прям в деревне брошенной, там жителей не осталось уже почти. Такую я там бабулю встретил... Короче, деревня Каменка прямо за высотой, то есть оккупировано было все немцами. А в Спас-Деменском районе очень сильно было развито партизанское движение. Они сам Спас несколько раз освобождали и Ельню. В общем, встретил я эту женщину: она нам молока вынесла, говорит, святым делом занимаетесь, у меня сын тоже занимался, самолет откапывал (показала даже, где откапывал), потом простудился и умер.

Отдала мне документы на самолет, я после выяснял. А я но глядел — очень бедно она живет. Я говорю, мол, как же так? Она говорит: «У меня ни пенсии, ничего». Я удивился, и она мне рассказала. Война, партизанский край. Приходят к ней — тук-тук, мы здесь партизаним, сколько у тебя едоков? Она говорит: «Ну, вот трое детей, я, а муж неизвестно где, ушел, на фронте или как чего». Они отвечают: «А нам говорили, он сбежал, видели». Она говорит: «Не знаю». В общем, на пять человек оброк в партизанский отряд ей назначили: пять яиц, хлеба сколько-то чтобы клала. «А мы будем забирать, мы — советская власть!» Хер ли ей делать, начала класть.

А голод, трое детей. Устроилась, чтоб с голоду не сдохнуть, в школе мыть полы. А там штаб был у немцев. Нозже освобождают район — и эти же партизаны приходят и говорят, мол, вот эта женщина работала на немцев, мыла полы в штабе, сотрудничала. И ей дают пятак. Какая там пенсия, как пришла обратно — ни на одну работу не брали. И где тут правда? Как быть?

Вот Фетисов — да, он чего-то недопонимает, но ведь поднимает все эти боевые донесения, это, представляешь, какая работа. Как найти среди всего этого хаоса нужную информацию, обработать ее и напечатать — огромная работа. И он сам ездил лично, все это делал. Понятно, средства у него были, но все равно. Я сам четыре года проработал в архиве — это, я тебе скажу, тяжелый труд.

Во-первых, вначале вообще ничего не понятно, когда тебе все эти бумажки приносят, пленки. То данные перепутаны, то на руках половина документов. Или вот, выписывал в архиве все потери. А сведения, порочащие честь советского офицера, нельзя даже выписывать — их у тебя вычеркивают. Проверяют тетрадь и черным маркером... Пишу я, например: «Лейтенант Иванов поднял роту днем, налетел "Хейнкель", разбомбил — 72 человека погибло». Списки потерь уточняются, где-то, значит, они в этом районе лежат. Проверяющий эти данные пропускает.

Дальше пишу: «Рядовой Самохин чистил автомат и прострелил себе ногу». Проверяющий возмущается: «Ты что делаешь, ты для кого это пишешь? Что у нас солдаты таким занимались? А прочитает кто-нибудь родной, что он такое делал?» И вычеркивает черным. Вот и пойми. Тут вот офицера этого судить надо: какого черта он днем по дороге повел — семьдесят человек сразу потеряли. Но это считается

за боевые потери. А при этом второй — обязательно самострел: да он просто не знает, что такое ППШ^[14], ты прикладом стукни — и очередь вверх пойдет, свободный затвор. Ну, прострелил ногу — отчего ж об этом не писать? Всяко может быть...

У нас оборона Наро-Фоминска проходила по реке Паре. Вот Витя у нас недавно нашел там у реки медальон. Расшифровали его, нашли родственников — числился без вести пропавшим. Я и говорю: «Пойдем Витя, пошарим, ты медальон нашел, а он, может, где-то там лежит сам».

Там, где фронт, нейтральная полоса разделена оврагом. Вот мы идем: раз полный вещмешок патронов гнилых, брошенный, штык СВТ-шный^[15] брошенный, магазины брошенные. И медальон брошенный. Каска. То есть он спускался и шел к немцам. А там был первого декабря прорыв, окружили немцы. И вот родственники приехали, просят: «Расскажите о последних часах, как он погиб, что, чего?» Чего я ей расскажу? По моим прикидкам, он в плен попал. А может, сдался, а может, раненый был, все поскидывал. Вот и говорю: «Там было окружение, все вещи брошены, а тела нет». Иногда, когда копаешь, прям уже картину видишь. И по настрелу, и по другим вещам.

То, что ты читаешь в книгах, — это одно, а так, чтобы увидеть по-настоящему... Как тебе объяснить... Это с годами, с годами идет — мы можем уже даже читать картину боя, те, кто дофига копал. Кто дофига копался — он прыгает сразу в траншею, раз — видит, настрел, ага, раз — пулеметный настрел, раз — начинаешь шерстить, видишь — попадают целые патроны, значит, пулеметчик нервничал, начал передергивать затвор. Поглядел вперед, пошел в сторону, в которую стрелял человек: раз — каска, но это ладно, мог бросить, раз — котелок попался (котелок бросить нельзя, человек без еды себя не оставит), раз — вот и он сам.

Я тебе говорил, родственники если приезжают, когда находишь данные о погибшем, просят: «Расскажите, что было, как он погиб?» А что ты скажешь, особенно здесь, где 113-я дивизия воевала? Они же плохо воевали — как в клещи попали, в основном ополченцы, без командиров. Я опрос делал, рассказывали: день и ночь шли пленные — это же дохера. Плюс еще спрятались — тоже не знаю, интересный момент, не найду, наверное, уже... Был же тогда приказ: говорите,

если у вас прячутся красноармейцы, иначе ваша семья пострадает. Она сказала. Немцы пришли и зарубили топорами почему-то. До сих пор я ищу, где они засыпаны. Почему вот так, зачем топорами? Расстреляйте, в лагерь отошлите, значит, были среди них какие-то садисты? Не знаю.

Выиграли же. Правда, потери... Но я тоже до конца не верю, когда списывают на Жукова это. Мне кажется, это личное мое мнение, было такое время, нельзя по-другому было выиграть.

Нельзя. Как заставить человека идти на смерть? Только трибуналами. Такое было время, поэтому все зависело от такого слова, как судьба. Загремел ты, например, в 33-ю армию, которую Жуков гнал на Вязьму. Все — тебе уже свыше сложилось так, что ты попадешь в окружение, в голод и под пули. А попал ты в армию Рокоссовского — он солдат жалел вопреки этому, рассчитывал все. Он обманывал тех, кто выше: что да, мы ведем разведку боем, хотя посылал штрафников.

[...]

Вот как дали мне данные. Там за две недели тысяча ополченцев побежала к Москве. Фронт падает, что делать. Заградотряды поймали, каждого десятого расстреляли. Мы пошли их искать — не нашли, но местные гаишники говорят, что именно на этом участке Киевского шоссе постоянно аварии. То есть когда расширяли дорогу, все эти убитые под дорогу и ушли. Потому там и аварии. Я в это верю? Конечно, верю. Там, где убитый, будут и аварии. А вы не верите? Не верите, что, где места массовой гибели, там аура плохая? Как это объяснить... Во времени застыло вот это зло.

И на Гнездиловских высотах плохая аура. У меня было несколько раз, что я один там ночевал. Не дай бог! Я слышал и шум боя, и слышал крики. Но я не пил, не пил. Вон, дед один мне рассказывал — про Мясной Бор же, наверное, знаешь? Вторая ударная. Когда вахты-то пошли, там же очень много останков. Как делали: дают квадрат, и весна не весна, в любую погоду должен этот квадрат прочесать. Тогда министерство обороны выдавало консервы, сухпайки, примусы. Работай.

А он был учителем истории, с ним было человек двенадцать детей. Седьмой класс. Когда их выкинули на назначенный квадрат, то оказалось, что все вокруг затоплено. Он и говорит: «Я не знаю, чего

делать, как искать». По пояс воды, низина. Взяли и сделали плот, поплыли. Вечером прибило их на какой-то бугор. Там и остановились. Ночью как начали дети плакать! Слышат, говорят, что-то не то. Дед говорит: «Я не знаю, что с ними, у них, наверное, все это более чувствительно, молодые».

Когда рассвело, начали искать. В этом бугре он нашел, я не помню, то ли тридцать, то ли двадцать детских останков, все с пулевыми ранениями. Убрали в мешки. А когда приехали их забирать, ему говорят: «Ты чего сделал-то?» Он отвечает: «Я ничего не выдумываю, никакого кладбище я не копал». Его там опрокинули, не стали забирать эти останки. А потом нашли документы, что в тех места был партизанский отряд с семьями, прятался там. И если уж воинам доставалось по тридцать грамм хлеба, они там с голоду кору ели, то партизаны же вообще были без снабжения. С детьми. И матери начали сходить с ума, видя, как дети мрут с голоду. Решили идти на прорыв — и детей застрелили. И он, видимо, нашел их, этих детей.

У меня дед мой никогда ничего не рассказывал, хотя я поисковик и всю дорогу других ветеранов опрашивал. Знал я, что дед воевал, но если сам фронтовик ничего не говорит, значит, нормально хлебнул лиха, по-настоящему был в боях. Он сам говорил: «Это ад! Чего мне о нем вспоминать, рассказывать?» И никогда не рассказывал, но, когда уже совсем плох был, сказал: «Нас предали. Я на Волховском фронте был». После того как Власов сдался, всех остальных автоматом занесли в предатели. Он говорит: «Я потом все это скрывал, потому что выискивали и отправляли в лагерь. Хотя я воевал до последнего, пока не ранили». Я помню, у меня дед кусок хлеба маслом подсолнечным всегда поливал и солью — говорил, вкуснее нет еды. Я тогда не был поисковиком еще — пиздюк, лет восемь. Говорил: «Дед, дед, все равно Расскажи о войне».

Но настоящие участники войны, кто многое прошел и видел, никогда не любили об этом рассказывать. Не было там ничего приятного. Не хочет мозг это вспоминать. Я так понимаю, если, например, 10 человек в окопе, и сказали взять ДОТ^[16], то они все знали, что всего два-три человека останется. Либо вот этому лейтенантику, который должен назначать, на кого указать, кто пойдет. Я думаю, это тоже драмы, боли.

[...]

Десантников как-то копал, недалеко от Зайцевой горы^[17]. Мне местные же рассказали. Деревня, зима. Фронт же отодвигался, какой немцам смысл был гарнизоны в глуши держать. В 41-м и 42-м году война, в принципе, была только вдоль дорог.

Потому что вокруг снег, просто никуда не проедешь. Потому ставили гарнизоны по несколько человек.

И вот рассказывали местные: приходит такой гарнизон, стучатся в дверь, мол, прячьтесь, сейчас будет война. Все сразу по погребам: знают, что такое бомбежка, что такое стрельба. А детям все равно — залезли на чердаки. И вот наши лыжники, десантники, без всякой разведки, едут на лыжах. Немцы их и покосили из пулеметов. Кончилась стрельба. Через какое-то время привезли они двенадцать человек пленных. Немец зачитывает: «Вы не военнопленные, вы диверсанты, значит, партизаны, подлежат уничтожению. Если бы были регулярные войска — мы бы вас в концлагерь. А так — расстрелять».

Местные-то смотрят и не понимают, что происходит, языка же не знают: солдаты немецкие отказывались расстреливать наших солдат. Говорят офицеру: «Для этого есть эсэсовцы, мы в бою настреляли, расстреливать не будем». Офицер их построил, начал гонять по снегу. А местные не понимают, в чем дело, потом уже узнали. Короче, мучали-мучали, пришли финны. Финны расстреливать не стали, по ногам постреляли и оставили замерзать.

Весной 42-го пришли в деревню немцы, приказали этих десантников закопать, и тех, что расстреляли, и тех, что в поле остались. А позже пошли в лес местные жители еду собирать, листья, нашли еще — тех, что ранены были: в лес уползли, бинтовались и замерзли. Тоже сами закопали. И вот я эти три ямы искал.

С 1 по 6 декабря началось наступление наших, немцев отогнали от Москвы на двести километров по всем направлениям. Раненых было, ты представляешь, сколько, тысячи. Знакомый рассказывал, они пацанами тогда были, дело было в Кубинке. Видели, как раненых этих на носилках сносят, сносят, сносят, сносят. Палатки разбили, тут же режут, пилят, зашивают. И он говорит: «Мы смотрим, хирург входит и показывает: этот, этот, этот, этот, этот». Их после отдельно относили куда-то. А детям же интересно, следили. Ну и увидели, что

отобранных уносили куда-то отдельно и там оставляли. Поглядели: а там не было ни операционных, ничего вообще.

Потом они догадались сами. Короче, всех тяжелораненых оттаскивали и оставляли умирать. Потому что статистика тогда была такая: за то время, пока он проведет операцию, которую почти не умеет делать, полостную какую-то, он сможет спасти пять-шесть человек среднераненых. Поэтому выбирали. А дети не понимали: пришли, а те, кого отнесли, лежат под снегом уже, занесенные; удивлялись — что такое, зачем их оставляли, ведь они были живыми. Потом только догадались, что иначе не спасли бы других.

Это так же, как с разведкой боем. Посылают батальон, чтобы с их точки разведать. Мы вот нашли двадцать шесть человек под Хотилровкой. У меня начали спрашивать, мол, как же так, Донатыч, там же по официальным данным потери были один-два человека в неделю, а мы нашли сразу двадцать шесть человек в одном месте, а потом еще и еще. Я говорю: «Так это разведка боем». Было поле, через которое послали в атаку штрафную роту, прямо на пулеметы. В это время сидели люди на высоте и засекали: сколько пулеметов, сколько пушек, чтобы в следующий раз их всех накрыть. Штрафная рота — это сколько? Под триста-четырееста человек, больше, чем обычная. Пу примерно восемьдесят процентов из них тогда и убили. И потом уже, через две недели началось основное наступление.

А самое главное, что они числятся убитыми и захороненными как раз во время наступления, а раньше, мол, и боев никаких не было. По нашли только одну яму пока. Там как вышло, они же почти месяц лежали на нейтралке, в жару, да плюс еще и все наши удары были с танками, которые их размесили. Потом, когда их в ямы скидывали, они все просто развалились: списан и все. А числятся все как захороненные в соседнем населенном пункте, прямо имена их выбиты. И там прямо по карте же видно — а уж я-то совсем не стратег — куда же ты их гонишь, тут же чистое поле.

У меня даже есть фотография немецкая, где солдат стоит рядом с указателем «Здесь захоронены советские солдаты, которые наступали на деревню Куркино». То есть их немцы сами закопали, чтобы вонищи не было. Видимо, это как раз эти, которые дошли. Конец лета, какая могла быть жара, а рядом с ними такое количество трупов. Это не очень-то сладко.

[...]

Несмотря на то, что мне не хотелось появляться больше в Гнездилово после того, как заменили памятник, я в 2018 году опять сделал там Вахту. В один из дней пошли по тем местам, где уже не раз находили солдат, в том числе в металлических нагрудниках — очень редкое явление. Поймал, в общем, сигнал, начал копать — каска. Немецкая. Ну ладно, надо хотя бы жетон найти, интересно, из какого он рода войск был: мне кто только не попадался, даже однажды пекарь.

Копая дальше, пошли патроны. А специфика советского солдата в том, что мы очень бедные были, даже вот такой вот обломок карандашика — никогда не выкинет, в гильзочку воткнет и спрячет. Помазков бриться нет — гильза, каких-то прутьев надергает в нее самодельных. Гляжу: как раз пошла такая самодельщина. Я и говорю: это не немец. У немца карандаш в руке не помещается — выкинет; самодельный помазок — да ты смеешься, что ль, у них бритвы золингеровские^[18] у всех. А каска же немецкая была рядом с черепом, я чуть в сторону груди продвинулся — «Гвардия». Думаю: что за хренотень! Мне даже знакомый звонил, говорит: потому что боялись немецких снайперов, надевали их каски. Говорю ему: «Ерунда это». Принес каску домой, отчистил специально. Касок тогда не хватало, поэтому перебивали. В 42-м году вышел приказ, когда фронт уже сдвинулся и было много барахла, много техники битой. Поэтому местное население заставляли гильзы собирать, сдавать, особенно артиллерийские — они же дорого стоят. Каски — на металл. А тут гляжу — немецкая каска, а подшлемник у нее советский, он прибит через вентиляционные отверстия.

Я как-то раскоп недоделанный оставил. Меня спрашивают: «Донатыч, а чего же ты не доделал?» Говорю: «Это немцы, в пизду их...»

Как же местные немцев не любят, честно сказать... Опрашивал старых, застал еще тех, кто пережил оккупацию. Спрашиваю как-то: «Чего ж у вас их кости валяются?» А они говорят: «А чего они в Смоленске землю покупают и их хоронят!» Я ездил, когда мы находили немцев, отдавали их туда. Там поле с одиночными могилами и каждый захоронен в контейнере. Не длинный гроб, а контейнер,

такой длины, чтобы берцовая кость влезла. Но каждый с половинкой жетона. Фриц, допустим, Вильгельм — и пошло.

А я вот здесь нахожу семьдесят человек и хороню их в трех гробах. Что это, у нас земли мало для своих? Да еще и закатали сколько вокруг могил в плитку... У меня все записаны: сколько всего человек, сколько в какой. У меня на каждого найденного акт составлен. Это ж люди, иначе нельзя.

...А с другой стороны, столько их было навалено. Иногда даже страшно, прошло столько лет... Я так думаю, если по свежим следам бы, по архивам бы, когда еще все целое было, медальоны не сгнившие... До 50-х годов немцы ведь всех своих учили, всех, кого возможно. Если мы находим его засыпанного в окопе, то они же не могут его найти, правильно, он без вести пропал. Но обычно если убит — его забирают и хоронят на дивизионном кладбище, они повсюду такие. А у нас же нет ни одного дивизионного кладбища. Я не встречал. Да, если полковника убили — его обычно в тыл, в город, а рядовой и офицерский состав просто засыпали как могли. Время было такое.

Я сам со Смоленщины, с Гагаринского района, Гжатск тогда город назывался, а теперь Гагарин, потому что там рядом деревня, где Юрий Гагарин родился. Я иду там как-то по полю, смотрю — круг большой. Какая-то как будто машина. Я такого не видел в жизни, интересно. Подхожу: трактор снимал там всю колючую проволоку, представляешь, там же несколько рядов колючки, где линия фронта. И комок — ну я не могу тебе обрисовать — как моя комната, да даже больше, метров шесть высотой и диаметр хер знает какой. Трактор ехал, собирал эту колючку и подорвался на mine — стоит на боку, бросили его. Это был 68-й год.

Подхожу к этой колючке — а там куски шинели, руки, ноги торчат, то есть как все это на колючей проволоке изначально висело, так и сгребали. Но туда ведь не влезешь. Как тебе объяснить... Ты представляешь тонну колючки? Они освобождали для пахоты землю...

Я тебе еще хлеще расскажу. Мы искали места, не было карт тогда. А нам местный говорит, мол, вы туда-то не ходите, там коровы взрываются, мы никого не пускаем. Мы идем туда. И парень, Джон (он подорвался потом), говорит: «Донатыч, чего-то я не пойму, колючка-то оцинкованная». Я отвечаю: «Да ладно тебе, во время войны не было

оцинковки». Ношли дальше. Подходим — столбы, колючка-оцинковка. Говорю: «Надо выкусить фрагмент домой», интернета-то не было. Потом проволоку поднимаем, а ниже бирка: «Проход и проезд запрещен, не разминировано. 1948 год». После войны уже огородили и забыли — заслон этот сгнил и упал. Как сейчас помню: к дереву подхожу, а на меня череп смотрит. То есть расщелина, и он как врос в нее, так и поднялся с деревом. У меня и фотографии есть тех времен...

Гагарин был первым местом, где я во все это окунулся. Там такие случаи были... Нашли мы там место, где зенитки стояли и рукопашный бой был. Двое останков со штыками, пробитые. Я жене говорю тогда: «Ира, ты оставайся, там неприятное может быть, не ходи». Она говорит: «Я хотела костер развести, буду вам варить». Я говорю: «Ну, вот здесь ложись, а вот тут костер можно рядом». Она: «Ты прозвони»^[19]. Я провел аппаратом: лежит солдат прямо под нами во весь рост, с винтовкой. Разожгла бы на нем... Выкопали, говорю: «На тебе пакет, будет тебя охранять». Испугалась, не стала с останками оставаться...

Еще было дело, нашли противотанковые мины, Саня Черненко нашел. Блиндаж, полный мин. Около Варшавки, деревня Кавказ, где был немецкий опорный пункт. Вызываем саперов. Какой-то хер отвечает: «Вы, наверное, дачники?» Я говорю: «Нет!» — «Может, это тарелки?» — ему явно неохота ехать. Думаю: ну, гад. Говорю: «Т.Мі.42!»^[20] Он: «Откуда марку знаешь?» Говорю: «Знаю любую, еще тебе расскажу». Ладно, они приехали. Спрашивают: «Ты местный, знаешь, где здесь карьер?» Хотели в карьере взорвать. Отвечаю: «Да я с Нары приехал, откуда мне знать!» Мнутя — рядом шоссе, карьер нужен. Решили: «Ты знаешь, давай мы, наверное, в блиндаже их взорвем». Я ему говорю: «Хочешь правду? Там ниже еще пять ящиков!» — «Да ладно, нормально». Засыпали яму, огородили все вокруг за двести метров, как положено, сигнал специальный. Как ебануло! Воронка осталась в три моих роста. Машины стояли на шоссе — стекла вылетели. Говорит: «Чего делать-то? Подпиши, что все нормально!» Я говорю: «Я-то подпишу, а тебя спросят, что это за взрыв, администрация приедет. Ты мне, главное, бумагу отдай, что это не мы, а саперы сделали, чтобы мне никто не сказал, что это я в костер кинул».

[...]

Отрыли в одном окопе на Зайцевой горе 90 человек — пятнадцать в шесть гробов. А немцев по одному хоронят, ну как так? Нричем это нам еще бандит помог. Ты не согласишь. Лес, хожу там, слышу — бух, бух. Обычно-то поисковики таким балуются, любят патрон в костер кинуть, салют чтоб. Нодошел, гляжу — джип. Ох, ебать. Что-то не то. Они меня увидели — иди сюда. Бандюганы. «Ты чего здесь лазишь?» — «Я, — говорю, — поисковик». — «А чего у тебя в рюкзаке?» Так грубовато еще спрашивали. Ноказал им. «Ого, — говорят, — да это ты молодец». А я несу как раз двоих. «Куда несешь?» Говорю: «Да мне еще пятьсот метров, там у нас лагерь». — «А как вы хороните, кто помогает?» Отвечаю: «У меня свой поисковый отряд, ни в одном объединении не состою, все делаю сам. Сами скидываемся, сами хороним. Ну, с администрацией договариваемся, потому что не имею права похоронить без ведома». А они: «Так нужно тебе помочь. Денег надо?»

Стою, думаю: возьмешь так деньги, потом скажут «Давай- ка чего-нибудь взамен» — это же еще 90-е годы. Говорю: «Не надо!» — «Слушай, ты, чего брезгуешь, от братвы?» Я говорю: «Хотите помочь? Сделайте нам гробы, а то мы скидываемся, заказываем, нам тяжело». И те сразу: «Какого числа? Куда?» Я говорю: «Да как вы найдете-приедете?» А у них уже тогда были джипиэски. Говорит: «Ты мне скинешь по телефону джипиэс-координаты и время — все привезем».

Не поверил я: бандиты и есть бандиты. Но написал ему. И бах — машины едут. Они привезли нам доски и мы сами делали гробы. Да еще и местному населению отдал половину, они обрадовались. Я ему говорю: «Тебе не жалко доски оструганные?» Отвечает: «Вы за свой счет хороните, а мы не можем свою долю внести?» Так я и не знаю, что за люди были, знаю только, что бандюганы — это стопудово. Но приехали ведь, выгрузили, мне еще шофер говорит: «Ты позвони Коле». Это у них был самый главный бандит. Я говорю: «Коль, спасибо». Он говорит: «Нечего благодарить, когда хоронить надо будет, обращайся». Но мы посовещались и решили, больше не надо. И не стали. Но вот один раз они нам помогли. А главное, принесли гробы на высоту на Зайцеву, и говорят: «Не имеем права хоронить, пока не приедет военком!» Дождик льет, пацаны-школьники мерзнут. Нриехала из музея Тамара, мне акт подписала и мы их захоронили, этих 90 человек. Вдруг приезжает машина из военкома: «Ты что,

захоронил без нас?» Я говорю: «Да». Началось: «Вызывайте наряд, здесь черные копатели самостоятельно хоронят». Я ему показываю акт, подписанный музеем. А музей — это тоже разрешение от местной администрации. Он: «О, молодец! Я пошутил! Возьми венок, положи. Тебе орден надо». И поехали. Но и такое было, что мы с кировскими хоронили нелегально в тот раз. Не было материи, красили гробы красной краской. Прятались.

Что еще тебе про поиск рассказать? Вначале самое святое время было, все на энтузиазме. Когда я организовывал вахты сам, находил и хоронил — это были мои розовые очки. Меня из Москвы спрашивали, мол, кто ты такой, отряды, столько человек организуешь, да кто ты такой. Я говорю: «Я просто человек». Отвечали, что все нужно делать организовано, поэтому все будет под ними. «Отечество» или какая-то другая организация. И я все отчеты сдавал туда, а они их сдавали, как будто они все это проводили.

Мне радостно было, когда несут найденных, считал их. Жалко, что имен нет, но хоронили же. Я к тому времени много лазил уже. Меня и звали то туда, то сюда. Но проходит время — опять на высоту зовут. И я тогда понял, что если по кругу ходить — ничего не сделаешь.

Надо взять один район, взять все архивы — и вычистить так (ну такого, конечно, никогда не будет), чтобы почти все погибшие были захоронены. Ты не поверишь, даже дороги уже так наложились, в последнее время в дорогах людей находили. Идешь, а дороги-то смещались, понимаешь, там никто не ищет. Дорога уже накатанная. Витька Матин прибор достал на дороге, все удивляются — а там действительно десять человек. То есть в таких местах лежат.. Война навалила много. Но, по крайней мере, девяносто процентов человек вынести бы и перезахоронить...

Плохо, конечно, что всё здесь отделают плиткой, но хотя бы они будут в братском месте, почести им отдадут. И они будут знать о том, что их помнят. Я все же верю, что есть души. Плюс еще где-то шанс один из ста, что узнают имя (даже один из трехсот). Но, по крайней мере, ну не будут же по ним ходить, топтать.

Зайцева гора — ну что же это такое, ты же видел, что это девяносто человек за три дня. Я тебе могу правду сказать: мы начали там искать — это было осенью, первый снег — и почему-то там

местные власти начали срочно делянку делать. Я не пойму — это же обычно зимой. А вот такой был приказ. Прибегает тракторист — хорошо меня увидел, узнал, говорит: «Донатыч, ради бога, под колесами лопаются черепа!» Они же там возят, нормальным людям самим неприятно, что они мертвых давят.

Мы тогда доставали, пока они проезжали, быстрее собирали, как граблями, какой там археологический метод. Ничего не успеваю, уже опять трактор едет, тракторист орет, я ему: «Да подожди ты!» Это сейчас вот уже — с кисточкой, все такое. А раньше не было возможности.

Потом приехал военком, мол, чего вы остановили нашу работу. Пу, в смысле, вывоз леса. Я ему говорю: «Сам погляди». Он говорит: «Чего, камни, что ль?» А черепа, ты же сам знаешь как: сверху зелененькие, как камень круглые. Мохом-то прорастают, но ведь это же люди.

Военком: «Давайте побыстрее, давайте побыстрее». А как быстрее?! Я ему говорю: «Ты хочешь, чтобы мы быстрее собрали, а они семьдесят лет пролежали, никто не собирал!» Хотел в глаза ему сказать: «Ты же военком. Будто ты не знаешь? Твоя же территория, документов полно в военкомате после войны». Молчит...

Афганцы, они вот ездили туда. Ты знаешь, хоть и воевали там до крови, и те зверствовали, бэтэры жгли, и наши не щадили тоже, но афганцы ни одной могилы не трогали. Они относились с уважением. Спрашивал тогда: «Как же так, вы же друг друга чуть ли не заживо сжигали?» А вот так. Война войной...

У нас население сейчас до того бедует... В таких деревнях, как в Калуге. Там нету ничего. В Москву ездят, работы нет. Вывозят они всё, весь металл. Я к ним обращался, говорил. Как раз под высотой под одной... Начали они работать, танк нашли. Так и говорят, мол, иди, что хочешь бери, только металл не трогай. А там экипаж сгорел...

Так горело, что из трех человек все, что осталось — в одном пакете поместилось. Ведь танк давно стоял, брали и раньше, на металл-то, ведь там и тогда была разруха. И ведь танк сгоревший целиком, его даже разобрать было нечем. Я спрашиваю: «Как же вы это делали?» Оказывается, тогда начинали взрывать, но когда взрывали, было очень плохо, потому что он же после взрыва

разлетается, и потом нужно эти куски искать. А там и другие боеприпасы были.

Рассказывали: «Пришел у нас один с войны сапер, говорит: "Давайте я вам помогу"». Это было возле деревни, которая и теперь существует, там было большое танковое сражение. Они взяли замазку, как для окон, которая как пластилин. Стоит, допустим, подбитый танк. Все дырочки замазывают, зашпаклевают. Дно у него забивают. И полный танк воды заливают внутрь. В ведро кладут тротил, а ведро — в танк, в воду. Потом поджигают и пум — удар. Танк рассыпается, но не разлетается, а именно разваливается — гидроудар ломает так. И потом собирают. Это год 56-й был. Тогда все сдавали. Каски по три рубля. Металл любой принимали, гильзы принимали, все в ход шло.

Я не знаю... Последний год-то, может, в этом году будет.^[21] Сил нет. И самолет надо поднять, и по 113-й дивизии есть место — там из трехсот человек вырвалось всего пятьдесят. Я стал помогать одной женщине, она мне сказала, что последний бой эта дивизия приняла под Ширяево. Есть данные, что именно там их окружили и сильно разбили. Она говорит, что многие там попали в плен, а после плена, когда уже война закончилась, освободили, спрашивают: «Кто?» — «Командир дивизии». — «Звание?» — «Полковник». То есть в 41-м году в окружение попал и всю войну в плену провел. Там мало кого из НКВД отпускали.

По один из выживших, командир полка разведки, решил опубликовать, как все это было. Вроде бы вел еще в то время дневник, а к концу 60-х решил опубликовать эти «Записки разведчика» — чувствовал, что ласты клеит. Понесли в издательство, там посмотрели и говорят: «Это что такое, всю дорогу отступаете! Ты чего пишешь?» — «Пас окружили немцы, генерал Пресняков уже в солдатских галифе, телогрейке и в командирской фуражке ходил». Я так думал, с одной стороны, и правильно делал, нафиг надо. Даже убьют если, чтоб немцы хотя бы не знали, что генерал накрылся.

В общем, отказались книгу такую издавать. Автор ее умер. Записки эти лежали у жены, она их и принесла в музей. Там мне их и дали почитать. Я смотрю и думаю: «Елки-палки, как раз же рассказывает про бои под Чипляево, надо искать там». Была одна местность, где их разбили. Ты знаешь, что такое мелиорация? Это когда еще мичуринцы были, которые на елках арбузы выращивали.

Они и решили, что сейчас мы здесь трубопроводы сделаем, вода будет под землей идти туда, где засуха. А тут, где сыро, наоборот, все выроем, и утечет отсюда вода. После этой мелиорации там, где войска те стояли, было сухо, а где были бои — там теперь топь. Мы просто не можем туда пролезть.

[...]

У меня много интересного, я же виделся еще с теми, кто видел войну. Я прошел бы с тобой по Наро-Фоминску пешком, показал, где минометную батарею разбомбили. Там один из этой батареи забежал в казарму. Подоконник, дурак этот, причем вояка... Представляешь, ведь солдат этот перед смертью на подоконнике в казарме успел написать: «Живите счастливо. Костя моряк». Я говорю: «Я бы этот подоконник вырвал бы, мы бы всем отрядом скинулись, тебе бы мраморный вместо него поставили». Пет, он его зашкурил и покрасил. Пу что это такое...

Палялякал я... А больше все это от злобы за то, что неправильно вахты теперь идут. Ты просто не представляешь, какая показуха. Моют деньги! Пе должно же такого быть. Вот если бы ты стоял на памятнике в Гнездилово, может, ты бы и чувствовал себя по-другому, а я не могу.

Был тут первый мой отряд «Мужество». И Гриша один у меня в отряде был... А отряд тот был связан через гришиного батю с комитетом по делам молодежи. С нами тогда работали дети-пэтэушники. Ты же понимаешь, кто тогда в ПТУ учился? Неблагополучные, то да се. И вот я организовал поездку на Поклонную гору. Был такой поисковик известный, убили потом его за землю в Москве — Цветков Сережа, отряд «Экипаж». По телевидению много выступал, Поклонку всю организовал — это его идея. Я с ним дружил. В общем, я беру детей — а они ко мне, мол, дядя Володя, на билет у нас нету. Я говорю: «Как-нибудь решим, вы сейчас найдите у родителей, потом мы вам отдадим».

Пока они там решали, я в отряде говорю: «Гриша, это какая-то хуйня. Кому-то дадут деньги, кому-то нет». Я в КДМе^[22] взял деньги, купил билеты. Там в буфете даже покормили, оставалось на что. Всё, они расцвели. И я доволен остался, без всякой задней мысли. А потом раз — что-то дети шуршат, спрашиваю: «Чего такое?» Оказалось, что Гриша заставляет их собирать деньги за билеты. Говорю ему: «Ты

охуел, что ль, мне ж их КДМ дал, это не мои! Ты чего, мне их хочешь возвратить?» Отвечает: «На отряд оставим, пригодятся!» Меня это заело. Я с ним сцепился. А у него батя в администрации. Гляжу — уже собрание, меня вызывают к заму, отчитывают.

Это первая была ласточка. Вторая ласточка другая, еще охуенней. Обвинили в том, что я медальон и останки подсунул... Короче, под Вереей нашли в пустом блиндаже медальон-потеряшку, без хозяина. Нрочли: и имя бойца, и что из Сасовского района Рязанской области. Нробиваем по архивам, а он — я сейчас уже не помню — вроде бы пропал без вести в 43-м году. А Нару освободили в 41-м. Гриша этот уже созванивается с родственниками. А и главное пробил-то, дурак дураком. Ему и отвечают: мол, привозите, захороните. Он берет другие останки и едет туда хоронить. Носле вернулся, увиделись с ним, я ему сразу сказал: «Гриша, и тебе руки больше подам». Говорит: «Все равно он где-то погиб, а для родственников это покой!» Я ему говорю: «У вас, Гриша, отряд не "Мужество", а "Мужеложство"». Ну, у меня струнка после этого и лопнула. Я пришел к председателю, баба была из департамента физкультуры и спорта, по делам с молодежью, и все это рассказал. Она просила сор из избы не выносить, предложила в отряде быть командиром. Я ей сказал, что не буду в этом отряде уже. Ведь я всем объяснил, что этот Гриша творит, и все промолчали. И после этого я сделал свой отряд «Ополченец».

Я же изначально почему начал Нарой интересоваться. В 41-м году Нару отстояли в основном ополченческие дивизии. Не было же никого. Ну и, по правде сказать, под тысячу человек тех, кто убегал. Я все это понимаю. Война начиналась. В цеху, на заводе, старик какой-нибудь, наверное, подумал: «О! Да мы сейчас немцев!» Он же не знает, что к чему.

Я про ополченцев много всего узнал за жизнь. Их же обмундировали в самое ненужное, оружие — самое неудобное, «Гочкисс»^[23], патроны французские, все говно у них было — и вперед. Если дивизия ополченческая — 4 000 человек, а их, дивизий, было пять, то это получается, что записалось сразу 20 000 человек. Ну и те, кто комплектовал их, решили потом проверить: сформировали и отправили от Москвы в сторону фронта. Нредставляешь, где Очаково — это пятнадцать километров от Москвы. Так вот вышло 20 000, а на место, в Очаково, пришло 10 000. Старики — у них же отдышка, а ты

попробуй зимой пройти пятнадцать километров. Понятно стало, что это тот еще вариант. Но все равно, ведь эти ДНО^[24] стали потом полноценными дивизиями. А сколько под Нарой человек сдавалось... Я не хочу сказать, что они прям мясом своим заслонили, как любят писать. 113-я потом и танки подбила на Варшавке, и еще знаю. Но в начале, конечно, не очень. Это же были работяги.

Патроны же, все это снаряжение — деньги всё. Я же очень много этим занимался. У меня были специальные опросные листы — накрылись^[25] — о том, как кто воевал: иные не рассказывали, иные, особенно если выпьют нормально, могли и подробно поговорить. И вот артиллерист один мне рассказывал, что всю жизнь хотел купить себе хромовые сапоги. Ну, деревенский мужик, копил, копил, пожар случился — и все потратил туда, никак не получалось. Потом — война. Попал в артиллерию, досталась «прощай, Родина», «сорокапятка»^[26]. То есть, всегда на передовой, всё по полной программе.

На учебке когда тренировались, стреляют они, а им говорят, мол, вы берегите снаряды! А он и спросил, сколько снаряд-то стоит, гильза же, порох. Старший ему назвал цену, я уже не помню, по тем еще рублям. Допустим, 14 рублей 17 копеек. Тот говорит: «Блядь! Хромовые сапоги!» И с тех пор как стрельну, говорит, так думаю, что хромовые сапоги полетели. Стрельнешь бронебойным — стакан водки ушел, а тут — сапоги. А потом, говорит, в Германии уже увидели в магазинах кожи разные, иголки... Он так всё хотел сапоги, начал, когда разрешили отправлять оттуда ежемесячные посылки, высылать. Он тогда уже ушел из артиллерии в разведроту и потому лазил везде, в том числе и по магазинам. Говорит: «Я высылаю добро, высылаю, а из дома пишут, мол, ничего не приходит. У другого спросил — такая же бодяга. Потом сунулись в пересыльную почту эту, а там местные хуеплеты сами посылки вскрывают, своих же, советских солдат». Эти разозлились: «Мы воюем, а они тут на почте сидят, еще и обворовывают!» Договорились они перед уходом в тыл противотанковыми гранатами это отделение разбить — поди там разберись, кто это сделал, может, диверсанты. Но кто-то донес командиру, и не получилось у них.

Уже такого никогда не услышишь, некому рассказать. Вот дед мой вообще ничего не рассказывал, только потом я про Волховский фронт

от него узнал. Я уже тогда сам рылся, видел ногу его, ранение, но никак не пойму — то ли осколок, то ли что. Все там разорвано. А я тогда стрельбой еще не увлекался, это теперь в тир хожу. Узнал, что носик у пули стоит напильником чуть надрезать — и она при попадании в тело будет расширяться. Свинец же сверху мягкий, а оболочка сама крепкая. Свинец начинает плющиться. И получается, что вход в тело маленький, а потом внутри становится огромный диаметр — она выносит все. Ты не знаешь, что такое фартук на поезде? Вот эта штука впереди, она из очень толстого металла. Голова человека в момент броска попадает — и этот фартук мнется. Птица, мягкая, самолет пробить может!

Мне мать рассказывала, что у нас тут в 5-й школе был Лагпункт № 5, то есть немцы восстанавливали Наро-Фоминск. Фабрика, Таширово^[27], Наро-Фоминск — сделали тогда очень много объектов. А после 44-го года так много было людей, что лагпункт этот их уже не вмещал. А работы было много. И была так называемая расконвойка. Пленных подселяли в казармы к нашим советским, если они были согласны, допнак за это давали. И немцы как — идет колонна с работы в барак, и они из этой колонны шли к ним в казармы. У него сухпай с собой, но больше на улицу выходить он не может. А утром колонна опять идет — и он выходит, его зачислят.

У матери жили офицер и рядовой. Она говорила, самое интересное, что, может, один был австриец, а другой немец, но друг с другом они почти не разговаривали. У офицера были связи и ему по линии Красного Креста передавали посылочки, которые он ел. Второй — голодал. Но так как они были на работах, а везде война, алюминий, гильзы, второй все это собирал. Придет ночью домой — у него напильничек был — мастерил из всего этого кольцо, куколки. И матери давал — ему же самому нельзя — «иди на рынок, продай, брот, хлеба, хлеба». И мать ходила, подкармливала немца. Говорит, ну ведь жалко было. Это было в 44-м году.

А еще я знаю, что под Чеховым, где река Лопастня, делали мосты на свинцовых прокладках — металл же эластичный, чтобы мост мог двигаться, подстраиваться под грунт. Короче, меняли мосты, подняли такую подушку свинцовую, а там выдолблено отверстие, в нем — бутылка водки и писулька. Мне Славка чеховский рассказывал. Долбанули они водку — ничего, обычная. Прочли записку: мол, я

такой-то, например, Иванов, говорит, жалко будет, если зачислят меня в дезертиры, но уйду с поста. Война кончается (это был уже 44-й год, но мосты все равно охраняли — вдруг диверсия). Говорит, все на фронте, а я тут мост охраняют. Потомки, завещаю вам бутылку, сам убегаю на фронт. Ведь не выдумашь же сам такое? Небось остановили его где-нибудь — и все, трибунал. Родным каково?

Или был случай у нас на Заячьей горе — это к разговору про то, как мы раньше солдат искали. Мы были с Гришей этим, про которого рассказывал, я тогда еще не знал, на что он горазд. Как сейчас помню: стоим мы с ним около дерева такого странного, растет оно так, как будто сужено чем-то, я погрузнее, а он посушавей. Гляжу на дерево это и не понимаю, колочка, что ль, обвилась вокруг него? Потом подошли — вроде блеснуло что-то. Пожом счистили: поясной ремень, обычный, солдатский, как будто надет на дерево. И пряжка такая своеобразная, я даже сейчас могу ее показать, она у меня. Что это, думаю? Уже уходить решили, потом говорю ему: «Подожди, это, видимо, дерево на такую высоту с войны выросло». Начал копать вокруг дерева — а он действительно лежит, солдат. Дерево, видимо, ремень этот зацепило, пока росло, и вот так и выросло в нем. Так и нашли солдата без щупа^[28], без минака, за счет этого: дерево указало.

Нам бабки рассказывали: когда высоту построили в Гнездилово немцы, они начали выселять население, ведь секретный пункт. А некоторые не уходили — куда уйдешь? Свое бросишь, а там ты кому нужен? Ну, немцы их и расстреливали в противотанковом рву. Нам показали место, сами их доставали. Говорят, что из Гнездилово расстреляли полдеревни — просто из-за того, что они отказались покидать. Им комендант предложил уйти. Когда это еще тыловая часть была, на них не обращали внимания, но тогда фронт уже подкатывался. Они раз им сказали, два, явиться в комендатуру, построиться в колонну. Их же гнали, даже эшелонами увозили. Немцы и решили: что, мол, советских ждете? Ну, пожалуйста, ждите в яме.

Было такое в Турейке, неподалеку здесь, когда я связистом работал. Копали кабель. Наткнулись на немецкий лежак, ну, кладбище. Я сразу смекнул, что раз так лежат по одному, то, значит, кладбище. А у меня бригада была, талибы. Они не пьют, но денежку любят. Мы скинулись им, говорю: «Помогайте, надо достать их всех». Начали копать. Достают они кости, а я смотрю: ног нет, ног нет, ног

нет. Весь ряд, сколько копаем, без ног. Ну, думаю, ладно, если одному взрывом оторвало, второму, но всем?.. А потом знакомый старик местный подошел: «Ну, вы хитрецы, кабель-то вон где проходит, а сами немецкое кладбище бьете? Чего нашли?» Я говорю: «Вот, пряжку нашел. В музей. Штык- нож, каску». И спрашиваю: «А чего они все безногие-то? Как они сюда дошли-то такие?» Я люблю, когда с юмором. Он говорит: «Да нет, они пришли-то сюда на своих двоих, это мы уже им отрезали». Как так?! «А, — говорит, — уже когда Нару освободили, после войны несколько лет прошло, сильный голод был». Короче, они откопали ноги этих немцев, отрубили их прямо в могилах, и потом дома на печках оттаяли, чтобы сапоги снять. Сапоги тогда были очень ходовым товаром. «Ты, — говорит, — попробуй проживи». Все сгорело: ни хлеба, ни одежды.

Я сам, между прочим, такую одну вещь достал. В доме у одних нахожу курточку. Знаешь такой цвет — фельдграу? Темно-серый, мышинный. В общем, у курточки пуговицы советские, а цвет какой- то странный. Мне стыдно спросить, неудобно как-то. А потом спрашиваю: «Можно поглядеть?» Они удивились, но разрешили. Я, как в руки взял, сразу вижу: клеймо немецкой спецприемки, там свастика маленькая и написано «W66A». То есть качество ткань прошла, можно из нее шить. Спрашиваю: «Чего это такое у вас?» Мужик и говорит: «Милый мой, здесь после войны столько этих шинелей и кителей валялось. Мы так мерзли, что сначала ходили прям в немецком. Потом к нам из военкомата ругаться пришли, мол, вы чего, вы немцы, что ли? Поэтому мы их обрезаем, подшивали, чтобы цивильно выглядело, а то ведь все ходили в немецких шинелях».

Я потом и подумал, что действительно, когда у тебя и дом сожгли, и ходить не в чем — какая уже разница? Не знаю.

Я может тут и наговорил многое неправильно. Мне же и хорошие люди попадались в поиске, не только плохие. Столяров, например. Иду я как-то по лесу, грязный как чушкaп — мы блины копали. Идет мужик навстречу такой, с бородкой, он художник и историк. Спрашивает: «Чем же вы занимаетесь?» Я говорю: «Да вот, ищем погибших здесь». Говорит: «Давай я тебе расскажу, где под Наро-Фоминском лежат два. Точно лежат, я покажу». Рассказывает: они со старшим братом во время войны в 41-м году были детьми. Ему было

восемь лет, брату двенадцать. Сидят (это примерно где сейчас наша местная Красная нресья), 20 октября из Нары все свалили, немцы еще не вошли, тишина, ничейный город.

Те, кто остался, сидят, ждут. Войска уже отступили. И вдруг — машина тарахтит. Это наши отставшие части догоняли отступившие. А они же маленькие, не понимают, слышат: что-то тарахтит. Машина заглохла, а навстречу ей немецкие мотоциклисты. Дети спрятались. Заходят немцы, увидели их, говорят: «Берите лопаты». Взяли они, вышли, видят: разбитая машина (а он тогда еще не понимал, просто говорит — двое наших). Короче, говорит: «У телогрейки вата закручена, торчит белая, и кровь из нее красная капает». То есть, при вылете из тела скорость пули уменьшалась и вату вытягивала. Оба убитые.

Немец говорит им: «Яма, копай, засыпай. Наша территория, труп — плохо». Был октябрь. Ну, выдолбили ямку, положили их туда. А тот парень, которому двенадцать лет было, пока немец отвернулся, вскрыл у одного из убитых вещмешок, хотел чего-то взять. Немец увидел, дал подзатыльник: они не любили мародерство. Короче, захоронили с вещмешком, со всем. Немец им за работу отдал свою тушенку. И уехал.

А это все так и осталось, жили они там, потом во время оккупации под Боровск уезжали. Короче, когда вернулись, они это место огородили колышками и положили цветы. Таких много было могил: никто их не раскапывал, чтобы узнать кто в них. Нотом они переехали, дорогу там расширили, и могила ушла под дорогу.

Я все это узнал, пишу сначала в военкомат, оттуда мне военком шлет резолюцию, что рядом проходит газопровод, высоковольтный кабель, потом еще и секретный кабель связи приписали.

Я опять строчу — у меня тогда уже были связи — что он меня обманывает. Он отвечает: «Да они уже захоронены!» Я спрашиваю: Когда, где акты?» Опять врет, что, мол, москвичи там работали, они нашли, всех захоронили. Носле этого как-то затихло.

Нрошло лет десять. Там рядом какой-то богатенький дом купил, начали делать врезку к водопроводу около дороги. И нашли останки. Испугались, позвонили в милицию: мол, убитые. В итоге таджики их нашли, а мне никто не дал. Эти там все разворошили, испугались сами: ислам же исповедуют, а тут останки. В морг отвезли их.

Следственная прокуратура начала уже думать, кто это. И я прихожу к ним со своими газетами: я даже в газеты про них писал. Ну и объясняю, что это бойцы.

Поверить мне поверили, но куда их в результате захоронили, так и не сказали. Тогда еще Столяров был живой, я ему рассказал, что мне не дали, а всё же их вытащили. И, главное, ведь и все документы были при них. А ведь Столяров еще и уверенно говорил почему-то, что они были именно нарские, местные. Наверное, они, когда отступали, заезжали: хотели забрать кого-то из родственников или просто увидеть, потому и задержались. Машина вернулась, видимо, кого-то забрать, может быть, семьи командиров были здесь где-то. И вот тебе — не дали. Ведь даже в прокуратуру ходил. Развернули бы мы осторожно документы. А военком обманывал сколько времени, столько бумаг мне написал: и газ, и водопровод, и все сети. Как сейчас помню, он мне говорит: «Ты знаешь такое слово — "вырезка"?» Говорю: «Нет!» — «Вот дорога идет, вот водопровод, у тебя между ними останки. Прежде чем останки доставать, нужно все коммуникации вынести на удаление зигзагом, чтобы ничего не повредить. Делать все это будешь за свой счет». Газовую трубу разрыть и нарастить! Говорит: «Сдвинешь — тогда копай, когда выноску сделаешь». До сих пор это убивает, сам факт, что я знал, а сделать ничего не мог.

Я же хотел тебе показать, где в Паре, в черте города лежат, закатанные в ямах. Но это уже все. Мне сам очевидец говорил: «Мы их складывали-складывали, складывали-складывали. Думали, что кто-то будет приходить и забирать, там же и гражданских убило». Про военных-то понятно было, что никто не придет: откуда угодно человек призывался, хоть с Новосибирска. Там есть такое место, где большая труба под железной дорогой, чтобы вода протекала, — туда их и складывали. И все знали, что там лежат, все говорили об этом, но потом, когда город освободили, пришла санэпидемстанция: «Вы знаете, что это эпидемия? Давайте доставайте».

Сунулись — а там уже все разложилось. Приказали засыпать. И всё. Я еще спросил у очевидца: «Как же их всех так?» А он говорит, что с минометов так били, что попадали и в военных, и в гражданских. Эти же минометные батареи того моего моряка^[29] и накрыли. Моряк! Почему моряк? Хотя у нас морской пехоты вроде и

не было. Но ведь по-разному попадали. Я сам в казарме рос рядом с тем местом, я знаю, как они устроены: прямой коридор и комнатки. Если их там немцы заблокировали, то ему уже не было выхода оттуда. Он, небось, затаился, надеялся переждать, но все равно нашли и убили. Я бы этот самый подоконник целиком вырвал оттуда! Понимаешь, какой критический итог? Ногибает и адресует, завещает: «Живите счастливо».

Давай я тебе по почте пришлю рассказы тех, кого опрашивал? Я же опрашивал, чтобы выявить, где был бой, в какой яме убили, где захоронили. А, например, если начинается разговор, а он говорит: «Да не убили здесь никого». И начинает вспоминать, как он был во время войны под оккупацией сам. Я же все равно записывал! Но эта информация для меня тогда была пустая. Мне же по поиску все надо было. А там просто воспоминания, допустим, как у немца он своровал сигарету. Или как баба наша взяла и предала: наши прятались в бане, а немцы-то заняли эту деревню всего на неделю. Она возьми и ляпни, что у нее красноармейцы прячутся. Так они их почему-то зарубили топорами. Не застрелили, а именно зарубили. Я не знаю, почему. И ее потом все осуждали, что именно из-за нее зарубили.

А мой живой пример: у моей матери родственник был ездovým. Он попал под Вяземское окружение, только не ефремовское, а когда четыре армии окружили. И когда выходили — в повозку ударил снаряд, он остался валяться рядом с ней. Все уходили, кто был с ним знаком, все видели, что он уже все. А в штабе, если есть два подтверждения, что убит в конкретном месте, то, значит, так и есть. И она, родственница моей матери, получала на троих детей пособие, а тем, у кого кормильцы пропали без вести, — тем не давали. Приходили солдаты без рук, без ног, говорили другим женщинам: мол, твоего-то при мне танк переехал. А она говорит: «Написано "без вести пропал", потому ничего не дают». И так всю войну и было.

А потом пришел 48-й год, он возвращается, этот ездový, оказалось — был контужен и в плен его взяли. Вечером — тук-тук, жена открывает. Сперва радость, а потом говорит: «Как же я буду дальше? Я получала пособие, мои дети живы. У той танком раздавило, а числится без вести пропавшим. У другой дети с голоду умерли. Что мне делать?» Есть такое понятие «мыза» — это как хутор, отдельно стоящие дома. В общем, она ему сказала: мол, не появляйся здесь,

меня съедят те, у кого дети не выжили. И он действительно ушел туда жить незаметно, как будто он из плена не вернулся, а потом повесился с тоски. Он не мог перетерпеть все это. Он прошел лагеря немецкие. Наверняка еще и фильтровочный лагерь потом, раз в 48-м только вернулся. А потом пришел, а семья его не может принять лишь за то, что он остался жив.

Я сколько раз спрашивал у ветеранов... Я вот попадал часто в ситуации, где драки было не избежать. Жил в казарме № 41, воевали с казармой № 40. И я знал, что те ходили с ножами, могли и убить. Страшновато было выходить, но мы договорились, что все должны друг за друга стоять, стенка на стенку. Вроде и должно было честно быть, но почему-то те всю дорогу с цепями и шилом ходили. Ну ладно, не в этом дело. Уже когда повзрослел, начал у ветеранов спрашивать: «Как у вас было? Допустим, сидите в окопе, пришел ротный и сказал, что через двадцать минут в атаку. Вас пять или шесть человек сидит, вы знаете, что вы пойдете, и выживет два-три человека. Было страшно? Что ты тогда думал?»

И вот один, как сейчас помню, мне рассказывал: «Не поверишь, в 41-м году, только немцев погнали, мы шли маршем через снег, в буран, по полям, километров сорок. Ты представляешь, что такое в валенках, по снегу, со всей амуницией, с винтовкой — сорок километров? Мы шли на автомате! И потом командир нам говорит: "Вот, видите деревню? Сейчас, если ее возьмете, там отдохнете, поедите". И пошли в атаку! Я знал даже, что у меня винтовка не стреляет, что она не заряжена, у меня пальцы не работали. Но я шел. Рядом падали люди. А я шел, выполнял приказ... До того усталость была, что смерти уже не боялся».

Когда наступление было под Вереей, где-то там ранило офицера. Фронт отодвинулся дальше, а его местные с поля боя забрали и стали выхаживать. Вроде пошел на поправку, но потом подхватил воспаление легких и умер. Его взяли и похоронили возле дома. Но у него были документы, поэтому родственникам написали. Мать приехала на могилку и сказала, мол, если умру, похороните меня к сыну. То есть туда, под Верею, хотя сама она была москвичка. Ну и когда умерла, в крематорий отвезли, в урночку положили и прихоронили.

Сын этого командира погибшего постепенно стал генералом, шишкой. Все не интересовался, а тут вдруг вдарило ему — батя там лежит. И приказал, что надо перезахоронить из деревни под Вереей в сам город. Чтобы с помпой все — генерал же приказал. Мне комитет по делам молодежи дал задачу, чтоб мой отряд его и вазочку эту с прахом матери выкопал, эксгумировал, а там уже перезахоронить с почестями, в Верее. Я говорю: «Давайте достанем заранее». Говорят: «Вам там ничего искать не надо, там оградка, все понятно». В назначенный день в Верее устроили целый митинг — военные, генералы, выкопана яма. К нам привезли гроб, в который мы должны переместить останки. Начинаем копать: первым нашли вазочку эту с прахом, дальше роём — нет нихера. Епты. Расширяем яму все больше — нету.

Приходит пастух поддатый: «Чего делаете?» Так и так. «Ха, — говорит, — он был похоронен вон там. Старожилы, которые хоронили, там хоронили. Ограду ставили уже позже ветераны, место перепутали. И мать похоронили в другом месте, получилось так. А он-то там». Где — там? Куда он показывает — там край карьера, из которого песок брали. Приходит парень: «Чего вы здесь крутитесь?» Пояснили. Говорит: «Когда песок доставали, какой-то скелет здесь находили, в сапогах. А где он теперь — не знаем, раскидали». Гриша тот, про которого уже рассказывал, говорит: «Донатыч, надо срочно останки. Поехали — у нас же там в лесу другие есть». Я отказался сразу. По и представитель от администрации, который за захоронения отвечал, тоже сказал — никаких подстав. Что делать? Решил он, что мать кладем туда и говорим, что и он сам там же. Гроб закрытый. Привезли на митинг, с почестями прах матери похоронили. Что оставалось делать?

Всякие люди попадались, когда опрашивали. Это как и в поиске, всякие есть люди — и плохие, и хорошие.

[...]

У меня столько архивов лежит... С другой стороны, я со временем начал понимать, почему из разных источников надо все смотреть. Те, кто тогда был, кто был поумнее чуть-чуть, — они боялись писать правду. Это точно. Я и с ветеранами говорил. И сейчас такое проскакивает. Понимаешь, если командир потери сделал большие, он мог растянуть эти потери на несколько дней. Мы, например, архивы

читали, что бои были такого-то и такого-то числа. А оказывается, он их всех потерял в один день... Но что же он за командир, если он повел солдат через поле, ошибся — навел всю роту на минное поле или под самолеты? Если он напишет, что у него в результате бомбежки погибло человек семьдесят, сверху его точно не похвалят. А вот если напишет, что в течение недели отразили семь атак и погибло по десять человек за раз, то другое дело.

Помню, в архиве один мужик подсказал. Я его спросил: «Почему так?» Разговариваю с местными женщинами, они рассказывали, как односельчане уходили на фронт, а потом возвращались. Пу и спрашивали у них: мол, а Петя мой или Ваня? Имя я сейчас точно не могу сказать. Солдат говорит: «Да, я знаю, он под Ростовом, вместе были, его там сразу убило, голову снесло, я сам его хоронил». А ей приходит похоронка чуть ли не за 45-й год, точно сильно позже боев под Ростовом. И она не понимает, как так. И я не понимаю. А потом мне в архиве бывший вояка (я сам-то тогда еще молодой был) рассказал, что пока потери уточняются, на тех, кто еще не числится выбывшим, получают довольствие. В строю, допустим, 150 человек, а они пишут — 154. И это так может долго болтаться, пока не уточнили. А кое-кому это даже выгодно получается. А выясняется это только тогда, когда, допустим, командир уходит и сдает роту другому. Тот, который приходит, ставит состав в наличие и говорит: «А чего это у тебя по спискам 154, а в наличии — 150? Давай сегодняшним числом укажем, что бомбежка, они погибли. Я приму столько, сколько есть». И вот тут-то и начинается путаница, понимаешь. А если один командир у роты был годами, то так и могли висеть эти два- три человека. Я тоже раньше удивлялся.

А насчет захоронений — у меня целая эпопея со всем этим. Сколько раз обсуждал это и с писателями, и с другими. Все же читают по приказам. Видят — написано, что приказывали в 41-м или 43-м году сделать уборку тел, создать для этого команды. Они не видят, как при этом команда создана: один ездовой, два легкораненых и санитарный врач. Должны после боя убрать трупы. А смотришь: например, 70-я дивизия (я по ее поводу очень спорил), у них первый бой — 300 убитых, 700 раненых — и на минном поле, и в бою. И как же они, эта похоронная команда, за два отведенных им часа (через два часа им уже нужно было брать другую высоту) смогли убрать 300

человек, хотя и указано, что приказ выполнен. Указано, что штаб был в деревне Есенная (до сих пор помню!) и они все там похоронены. Мы пришли туда, где бой был, на высоты: раз — траншейка, щуп в землю — провал, лежат, лежат, лежат. Я говорю: «Вот они».

Но я считаю, во время войны так и должно быть, потому что просто физически нельзя все это убрать: раненых бы собрать. А вот то, что с 47-го по 53-й год, когда было все еще наверху, почему тогда не убрали? Надо было поднимать сельское хозяйство, да, но потом. Я знаю, да не только я, многие поисковики знают, если места боевые, а при этом посадки запаханы — то это Хрущев. Он как-то тогда ехал, увидел в полях — черепа блестят, приказал все это запахать и посадки посадить. Ведь отказывались люди сеять хлеб там, где другие люди лежат.. А потом мы сами искали, как вот здесь у нас под Ташировым. Ноле ровное, паханное, а вдруг посередине кусты и никто не пашет. Что такое? Да все ясно. Подходишь — большая воронка, когда-то был памятник, вскрываешь воронку — а они все там лежат, солдаты.

Да я не знаю, стоит ли сейчас поднимать. Я тоже уже начал так думать... Когда нам старики говорили, мол, не ворошите — я удивлялся: как же так, не ворошить? Дело в том, что... Ну вот подняли мы в этот раз бойца: до того ведь человек сопре, верховой, Ваня, две-три косточки от него осталось, котел его — и тот рассыпается в руках. А после того как останки из земли достали, они кислорода хлебнули — начнут сыпаться еще больше. Принесли их с того места, где откопали, на высоту, а хоронить будут только через год, 15-го августа, потому что захоронение в этом месте лишь раз в году. И как-то уже думаешь... Потом придешь в гробы класть — а там одна пыль уже. То есть он ушел в траву, в землю, в неизвестность. Хотя по спискам-то, может быть, и есть как погибший, и даже числится как захороненный где-нибудь на мемориале неподалеку. Не знаю.

Поиск затягивает. Врать я ничего не хочу. Я рос в казарме в Паро-Фоминске, там все были фабричные, хулиганистые, у нас по молодости наш город называли «калиткой Гитлера в Москву». Здесь бои были очень серьезные... И поэтому, если я лазал из нашей казармы по реке, по лесам, меня тогда больше, конечно, интересовало железо, не буду врать. Каждому же хочется и в костре гранатку взорвать... Все пацаны этим занимались, хотя была при этом треть ребят и без пальцев, и без глаз. Я вам много хотел про то захоронение под

Тошировым рассказать... Там рядом с этим блиндажом, в лесу, нашли оградку и памятник, на котором две фотографии, два пацана. Взорвались ребятишки в том месте, в 61-м году, кажется. Так жалко, и бабушки пришли ихние, когда мы солдат поднимали. А почему еще я сейчас об этом вспомнил — это был один из немногих подъемов, когда бабушки отнеслись к нам с душой. Принесли мед, молоко...

Самая главная правда. С чего все начинали. Это год 64-й, скорое всего, мне лет четырнадцать было. Всем охота пистолет найти, гранату взорвать, стрельнуть. Все лазали. К останкам вообще не притрагивались. Мы их засекали, конечно. И верховые были, и так. Но мы ими не очень интересовались.

На этой латышской станции... Мы когда рыли там (это недалеко сейчас от моего дома), мы тогда уже отличали, где немецкие патроны, где немецкие ленты пулеметные, у наших — патроны с кантиком, в тряпичных лентах или в дисках круглых дегтяревских. Ну и рыли траншею — чувствуется при этом, что немецкая это траншея. И когда пошли черепа наверху — а тогда же еще отношение какое к фашистам было? Честно сказать — злое, многие помнили их зверства. И мы черепа эти достали, поставили, достали обрезы — тогда у больших пацанов уже были обрезы. Бух — попадет, не попадет, их подкидывает.

А мы потом начали дальше рыть эту траншею. И пошли шинели наши, треугольнички, валенки. Я тут уже смикитил, что черепа-то — от этих наших. Просто мы тогда не понимали, что бои были зимой, бой прошел, потом пришла весна — стало видно трупы. Деревенским копать ямы некогда. Если санитарная уборка, санитарное захоронение — то они в ближайшие ямы останки и скинули, вроде этой траншеи. Она заплыла. То, что наверху немецкое было, так наверху и лежит, чуть-чуть присыпано. А глубже-то уже наше лежало.

Сейчас дачники, если идешь рядом с ними, возмущаются: «Ты чего здесь бродишь, чего ищешь, частная территория». Выходит с помповиком. У меня два раза так было. Я ему говорю: «Ну чего ты! Вы закидали воронки мусором, а по архивам здесь 113-я дивизия воевала, здесь они могут быть, их надо вытащить и в братскую могилу перенести». Кричит: «Иди, нечего здесь!» Но это уже современные.

Я думаю, что скоро будет вообще, если ветеранов не будет... Недавно «ВКонтакте» по теме статью прочитал: «Победители или

победоносцы». Вот там моя точка зрения высказана. Что чиновники все эти, они отдали дань, высказались... Вот на нашей высоте 13-го августа, в день освобождения Снас-Деменского района, раньше каждый год было такое... В последнее время народу все меньше простого, а приходят с Москвы какие-то замкультуры, по-быстрому, две-три минуты, высказались, и все эти чиновники за стол: или в рестораны едут, или им прямо в лесу сделано все, накрыто. А раньше школьники выступали, дети. Ветераны — но сейчас их практически нет. От поисковиков я или еще кто выступал, рассказывали, сколько найдено, что, как. А теперь ускоренный вариант, понимаете.

Как я думаю, хотя я не жил в то время, ведь Отечественная война 1812 года была освободительной — народ поднялся. И я думаю, что сразу же, в 1815-1820 годах, тогда как чествовали — на Бородино и церковь поставили, и вообще. А сейчас только одни реконструкторы о той войне 1812-го года вспоминают. Если честно-то. Ведь обидно. А воевали же ведь и дворяне, и крестьяне, несмотря на классовое...

Память, видимо, так устроена. Со временем все равно стирается. Хотя лозунг «Кто умер, но не забыт, тот бессмертен» — он наш, правильный. Но не так уже память работает. Патриотизм начинает эту память насильно насаждать. А потом период еще такой, когда для целого поколения идеалы выкинули, а в глазах денюжка, вот это поколение привыкло к иному взгляду: мол, ну воевал, ну и что? Разве не так? Если ко мне в отряды люди втирались исключительно за хабаром. Спрашивали напрямую: «А у вас можно каску немецкую найти будет или парабеллум?»

Меня так два раза резануло. Один раз в Гагарине такое было. Тогда все торопились, каждому же хочется побольше найти. Я говорю: «Это как соревнование». Кто сколько найдет. Я вырвался на полянку, где наших минометами накрыло. Раскапываю: каска, пулемет, останки. Я место это ковырнул, чтобы другой не взял, и дальше. Потом то же самое — два, три. Пять! Сразу же, моментально — пять человек! И тут ливень такой пошел. Я спрятался под елки недалеко. И вот он, ливень, смывает, они же у меня полувыкопанные эти останки, землю смывает, белые зубы блестят, глазницы. Я смотрю и думаю: чему радуюсь? Больше нашел... Вон они... И с тех пор у меня к останкам стало чуть по-другому отношение. Уже начал думать: «Ё-мазай, это ж такие же пацаны, так же у них все было». И уже пошел,

как бы сказать... В Гагарине в 80-х первая Вахта памяти была. А мы там копали, «чернили»^[30], много мест знали. Ну и показывали: если приезжал из Москвы отряд, то они же не знали, где искать.

Я, между прочим, против больших вахт, где сразу человек триста, где много средств, — эффект тут только меньше. Группа маленькая, но взрослых, больше найдет, чем сотня этих детей: их нельзя отпускать, поэтому будут проблемы сплошные. А тут работать надо, время не упустить. А с другой стороны, как привить патриотизм? Я не знаю. Потому что у нас шло само по себе. Мне никто... да и политика была такая... Все понимали, что мы — Красная армия, что на нас напали. А сейчас история скомкана маленько, мне кажется.

Я жил в казарме, когда не дай бог кто-то фашистский знак нарисует на стене. А что было двадцать лет назад? На стенах у нас в городе что творилось? Все эти граффити. Поэтому искусственно, мне кажется, это не привьешь. Правильно коломенские сказали, что эти юнармейцы — мертворожденное дитя. Одни лозунги. Бог с ней, с политикой. Главное, что коснулось меня тогда, в детстве, уже чуть-чуть — и все стало по-другому. Конечно, поднимать архивы или отряд создать — тогда еще такого не было. Но у нас был Пименов такой, ветеран наро-фоминский, который здесь воевал, был ранен под Вереей. И он дал слово всех перезахоранивать. Я с ним постоянно контактировал, так как он в Охте работал на телефонной станции, а я техник по связи. У него было конкретно, у него были прям списки, по которым он здесь «вытаскивал». Это были захоронения. Он знал, что на ташировском направлении разбили 222-ю дивизию.

«Крокодил»^[31], я помню, нам через вояк достали — такой прибор с катушкой, наушники. С ним походишь — до сих пор воспоминания — часа два походишь, наушники снимешь, а потом еще долго кажется, что они голову сдавливают — настолько тугие были. Не было же никаких приборов. Щупы да лопаты. Но поиск был видимый, земля еще не успела все это спрятать. И вот тогда перезахоранивали, даже у меня эти списки были, Пименов отдал мне часть документов. Потом очень многое я передал на Поклонку, так как думал, что все это выставят в экспозиции. Но все в запасники ушло: оказалось, что у них там своя тема.

И даже тогда иначе было: если находили, то нужно было в течение трех месяцев захоронить. Доски, гробы мы сами доставали.

Но не было такого, как сейчас, что памятник охраняется государством. Ведь сейчас я же не имею права, если я нашел погибшего, сам к памятнику его прихоронить. Мне мародерство впаяют. Нужно ждать, пока это согласуется, когда у них отпустятся средства, когда даты нужные подойдут. А тогда было просто, когда работали с Пименовым, но он был ветераном, он был молодец. Народ подходил — и не было таких объявлений, как сейчас, что, мол, 26 декабря все на митинг в Наро-Фоминске: приедут десантники, покажут приемы, технику нагонят, все скажут чуть про войну — и все. И даже сейчас, я не знаю, чья это инициатива, у нас день освобождения Наро-Фоминска — 26 декабря. Но по немецким архивам, по документам, немцы отсюда ушли сами. И уже такая ерунда, что даты такой, 26 декабря — день освобождения, нету. Потому что Наро-Фоминск не был полностью немцами занят, ведь он состоит из Нары и села Фоминское. А раз не полностью был занят, то и освобождения не было. Якобы не был полностью оккупирован.

Одного я до сих пор не пойму. В последнее время же постоянно поисковики все делят, кричат: «Это наши места!» Вот ради чего? Все из-за грантов, из-за денег. Но делить-то чего? Погибших? Осколки? Да я понимаю еще местные — они нас за металлом не пускают. Там нет работы, я не выдумываю. Они броню сдают, алюминий. В Смоленщине перекапывали дорогу, колеса кололи. Или как-то сказали, что, мол, туда ты не ходи, это наше немецкое кладбище! Но это местные. А вот то, что среди поисковиков подобное происходит... Все потому, что поставлено это и на деньги, и на гранты, на почет. Кто-то со своей пенсии ездит, а кто-то на этом зарабатывает.

Вот организовался отряд «Следопыт» в школе, которая имеет отношение к 80-й дивизии. Там какие-то бывшие военные на пенсию вышли — надо заниматься чем-то. Я говорю: «Ну как, чего, давайте, ребят. Я высоту, где полегла эта дивизия, сам нашел по картам, я там столько поднял. Давайте детей — сколько таких траншей неподнятых!» Говорят: «Да ты что! Первое — это никаких выездов. У нас тут учатся дети таких людей — не дай бог ногу сломают или сучок им пропорет чего».

А вот еще хуже было. Мы вступили в объединение «Нарвский рубеж», у них есть площадочка, на которой разбрасывают осколки, — там дети и занимаются поиском. Зарплаты есть. Тишина. Патриотизм.

Какой патриотизм? Ладно. Вот тебе и патриотизм. Мне один из «Следопыта» недавно написал, я ему говорю: «Нам не по пути. У меня годы ограничены, я старый уже, мне хочется побольше найти, вытащить, что-то еще узнать, неизвестного много». Ну и он же потом говорит: «А как бы к тебе самому попасть?» А я, наоборот, стараюсь ото всех отбиваться, потому что еду все за хабаром в основном.

Места, архив, надо работать, чтобы что-то найти... Московская область, например, — копать тут уже почти негде. Я серьезно говорю. Все бои в Москве и Московской области были вдоль рек, вдоль дорог и около деревень. Почему? Потому что зима, в домах все прятались, да и жили кратковременно. Два- три месяца. Там где немцы были, давно уже дачные поселки, все застроено, места нет свободного вообще. А там, например, где Смоленщина, наоборот: чужаков не пускают, хлебные места не дают — уже открытым текстом. Смоленщина чужих не пускает, потому что своим работать негде. В Калуге тоже прижимают.

Вот почему я решил работать по высотам? Понял, что фронт в 43-м сдвинулся, основные бои и потери были там, где немцы ставили укрепрайоны. Высота могла держать, если правильно построить.

Мне сейчас надо вспомнить все, что меня зацепило. Я вам не рассказывал, как мы под Чеховым искали самолет? Деревня Высокое. Со Славкой Хруновым. Женщина к нам вышла. Понимаете, в те годы, в 70-е, мы приходили в деревни — и все были к нам с душой. И вот такой рассказ. Женщина седая вышла к нам, говорит: «Я до сих пор проклинаяю, что в нашу деревню немцы зашли». Фронт же до самого Чехова не дошел. И они жили нормально. Но как только сместился фронт, заняли их деревню, поставили штаб — начались бомбежки, хотя до этого все было тихо-мирно. Она и говорит, что как-то от бомбежки убегали (а дочка или сын — сейчас уже не помню), что-то забыли в доме, побежали. В общем, ударило сильно об землю эту девочку — она погибла. Женщина эта пришла в штаб и так и сказала, что «пока вас не было, все было тихо». Я не могу это пересказать так, как она рассказывала, чтобы понять, что меня зацепило. И самое главное еще что: там была горница, в ней держали раненых — им же воздух свежий нужен. Пришел какой-то штаб, и раненых перенесли в

землянку, где вода. А в горнице встал штаб. А потом, когда начали бомбить, уже наоборот — раненых обратно в дом.

Что действительно поражало — когда, бывало, говорили, что, мол, немцы у нас были хорошие. Что на Поныревском поле я копал под Курском, что в Гагарине здесь. Местные рассказывали: «А у нас немцы были хорошие». А там, под Гагариным, фронт полтора года стоял, немцы воевали как в две смены. На расстоянии семи километров деревня, они в ней живут — два взвода. Первый взвод на передовой, значит, другие на хозяйстве в деревне, неделю отдежурили и меняются. У них это была как работа.

Женщина рассказывала, что вот, офицер пришел, оба взвода построил, говорит им: «Вот, мол, женщина русская, сухпайки выдавать ей, прикоснется к ней кто — трибунал». За ней чистка, уборка, готовка. И те, которые отдыхали, они ей показывали и детей, и... Вот как бывает, есть же такой термин, когда террорист с заложниками в контакт входит, и иногда даже идет такое, что заложник его понимает, почему так вышло. Так и здесь, она говорит: «Они нас не обижали». У дочери рука была какая-то больная, и эти солдаты позвали своего фельдшера — абсцесс был, что ли, и доктор его вырезал, вылечили. И она говорит: «Я тогда впервые попробовала, что такое шоколад, и на столе еда была».

Ты же представляешь, как до войны жили в деревне, на трудодни работали? Денег не давали, зарплату давали той же картошкой. И уйти из колхоза нельзя было. Я в это не верил, смеялся, а потом мне рассказывали: нельзя действительно почему-то было из колхоза уйти. У них паспортов не было. Ну как так? Это же неправильно.

[...]

Вот Валера Солдатов — он у нас один из первых купил уазик. Так он его жалел. Проедет немного — а там же на высоте буераки, грязь, а у него всегда ведро под рукой — начинает мыть. Спрашиваешь его: «Валер, ну чего ты начинаешь, нам же сейчас опять ехать». Флотский порядок! Капитан был. Не везло ему, конечно, с поиском маленько. Есть такие люди, которым это не дано. Купил он раз прибор — а наврали ему: люди-геологи, которые больше относятся не к поиску, а к геологии, посоветовали прибор, который очень чувствителен на минералы. Я подхожу: у меня самая дешевая «аська»^[32], которая трехкопеечная, которая только на железо и все. А у

него всякие циферки. Но раз — и копает, мучается. Я подхожу: «Да нету тут ничего». А он говорит: «Мой показывает». А тот показывает камни, минералы, и вот он, бедный, и бьет там, где нет ничего.

Он один из первых ТМ-ку^[33] купил — дорогой прибор, который на отряд использовал. Молодчага он был. А у него была еще награда, не поисковая, морская какая-то, за службу. И когда мы приходили на захоронение — у него дом был в Сухиничах, он в Сухиничах и умер — я говорю: «Валер, мы приедем 13-го, надо могилу копать». Так он приедет заранее, на день раньше, начнет сам могилу рыть. А там же мэр, он видит, говорит: «Ты же из отряда Донатыча, уже копаешь, молодец». Ну, Валера встал, оделся, с наградой — и запомнили его.

А потом в другой раз копали в другом месте, там же недалеко Смоленщина. И мы залезли чуть за пределы Калужской области, были на границе со Смоленской уже. Разбили лагерь вдоль дороги (а слепней было много — для меня слепни хуже комаров). Туда на водопой водили коров, вдоль дороги. И этого, пастуха, видать, заинтересовало. Увидел палатки и подошел узнать, что, мол, за херня. Ушел, через какое-то время гляжу — подъезжают машины. Милиция. И так раз — в лагерь, к палаткам. Я уже хотел документы доставать. А они: «Вы знаете, бабушка пропала, пошла за грибами. Мы вот ищем, может быть, вы знаете». Я говорю: «Да не видели мы никакой бабушки!» И тут Валера Солдатов выходит. Говорят: «О! Солдатов! Это вы! Ну нормально!» И ушли. Вообще ничего не понятно. А когда обратно мы ехали, мне надо было акты подписывать: сколько я нашел погибших. Я в администрацию захожу, к мэру, говорю: «Анатолий Владимирович, а чего они там искали, нашли хоть бабушку-то?» Он говорит: «Какую бабушку? У нас никто не пропадал. А! Так это у нас оперативный прием. Они ж не знали, кто это копает, может, это черные, им надо было зайти, зафиксировать». Я говорю: «Ну вы даете!»

Валера хороший был мужик. Мы с ним, правда, сцепились один раз, но Валера — он хороший. Я сразу так скажу: когда он умер в Сухиничах — тромб у него оторвался — мы к жене его приехали и помянули. А бронницкие^[34] обладали машиной. Мы-то на метро — а его захоронили где-то в Новогиреево — так они туда съездили, все помогли. И вот мы сейчас дружим, сказали, что со всем поможем, ограду там перекрасить... И вообще жену мы поддерживаем. Она

говорит: «По закону через полгода надо вступать в наследство». Говорит: «Как вступлю, подарю вам кое-что для отряда, оборудования же много осталось». Я говорю: «Для меня самое главное — это знамя». Он мужик флотский был, таскал с собой Знамя Победы. Может, видели? У меня часто его видно на фотографиях. Первым делом, когда приезжаем и ставим палатки, он говорит: «Донатыч, где?» Я говорю ему: «Я не понимаю, как ты его повесишь на сучок?» Он как-то так хитро перекидывал эти веревки двойные — флагшток же. И в любом месте над нами было Знамя Победы. Светлая память ему, Валерке. Пе унывать — самое главное.

Ты знаешь, если честно сказать, настоящий поисковик... ради поиска кинет и работу. Потому что я техник связи, электрик, но я старался, потому что никто тебе не даст, если ты на работе, особенно в последние двадцать лет, если ты на хозяина работаешь, не даст отпуск — в архив, на раскопки. Майская вахта — потому что нельзя упустить время. Пу, сейчас погода изменилась. По обычно с первого мая по пятнадцатое, пока трава не поднялась, — земля покажет свои раны. И ты, сравнивая карты и разведданные, сможешь надыбать места. Потому что потом трава вскочит — и ты пройдешь, человек будет лежать, каска даже, верховой — ты его не увидишь, трава прячет эти следы. Поэтому работа побоку. А те, у кого дача, как Витя Матин, — они стонут. Они поисковики, а жена говорит: «Падо огорода копать!» Они рвутся! Витя хоть рад, что у него в низине, самая дождливая местность, там сажать можно уже после 15-го мая. Ванечка у нас тоже бедует, он вообще от огорода кормится, он аж плачет: ночами пашет огород на мотоблоке, а утром едет с нами за рулем. Спросишь его: «Чего ты спишь?» Говорит: «Я ночью работал!»

А так, что главное — лес, общение, понимаешь. Конечно, все мы хабарщики^[35], если честно сказать. Все равно что-то мы да находим, тянем в коллекции. Какую-нибудь пряжечку интересную. А, с другой стороны, в земле все равно сгнило бы, а так хоть школам музеи собрать помог. Конечно, обидно было: собрал там, где раньше жил, такой уголок боевой славы, а через пару лет пришел — ничего уже нет. Направление сменилось. Я говорю: «Медальоны-то!» По как скажут в управлении школы — так и будет. Все куда-то делось. Или как вот этот отряд «Следопыт» при 70-й дивизии: руководитель мне в открытую сказал: «Пам запретили все это, мне так выгодно: вышли

полегонечку, в палатках отдохнули, шашлычков поели. Ну и лекцию про то, что никто не забыт». Я ему говорю: «Поехали, покажу, ваша же дивизия, которой музей у них в школе». Говорит: «Нельзя! Ни в коем разе. Ты за них (за детей) не отвечаешь».

Я поэтому ушел в свободный поиск. Да и время было такое: если руки золотые, то можно и без постоянной работы. Халтурил, делал коттеджи, электрику. Я три дня или даже трое суток не вылазил с коттеджа, со жрачкой, со всем. Делал, получал бабло — и в поиск. Да и деньги были не деньги, а только средство для поиска. Потом специально оформился в одну хитрую контору, где почти не платят, но, как Володя сказал, мол, будет восемь тысяч тебе всего, — конечно, немного, — но ты, знаю, поисковик (а я тогда копал неподалеку, на той стороне речки), и, говорит, мне главное, чтобы все работало, а ты можешь своими делами заниматься. Ну, у него была частная лавочка. Как вон тут у нас шведское предприятие, там электрик требуется, говорят: «У тебя опыт большой, слаботочники нужны». Но там ведь нужно с карточкой зайти в 8 часов и в 17 уйти. Для того чтобы отпроситься, надо столько бумаг, да и то скажут: «Нет, это твоя смена». Плюс семья тоже. Понимаешь, не каждой жене понравится такое. Это сейчас уже нет сборов, а раньше у меня постоянно сборки, все ребята откуда-то приезжают. Она планирует одно, а я — чик, мне позвонили: «Донатыч, там блиндаж нашли, вроде останки» — собираюсь, и на три дня меня нет. Жена говорит: «А может, ты на блядки!» Я говорю: «Да, видишь, вон весь в грязи».

А так я же выпивал сильно, а тут сразу бросил, как только по-настоящему поиском увлекся. Это душу лечит. А потом, чем глубже во все это лезешь... Самое плохое, что еще глубже залез и понял, что все эти структуры, которые нас а-ля организуют, — что Минобороны, что комитеты по делам — оказывается, ради бюджета, денег все это, чтобы по своим деньги раскидать. Вот это когда понял, что используют, делят, пилят, — вот это плохо было. А когда только вникал, когда первые архивы, когда все только узнавал — интересно было. Ведь умалчивалось же, кто, почему умер. А потом все эти встречи с людьми, которые воевали...

Мне надо найти одну съемку, какой это год — уже не знаю. «Мужество» тогда был отряд. Наверное, год 84-85-й. Короче, камера тогда появилась. Я забрал у ребят камеру, чтобы заснять, побежал 9-го

мая на Поклонку. Я сам в поисковой форме, пара значков — вырвался, в общем. Подходит мужичок — он, честно сказать, и контуженный как будто, и видно, что жизнь его была. Короче, подошел он ко мне: «Браток, а где здесь кашу бесплатную дают и сто грамм?» А тогда, мне кажется, даже сто грамм еще наливали. Не помню... Но кашу-то стопудово там давали. И говорит мне: «Я тоже воевал, призвали, и попал сразу под Кенигсберг, молодой по возрасту».

Его там контузило, медалью вроде как наградили, а потом накосорезил что-то и то ли сел, то ли лишили его наград. Он говорит: «Хоть у меня и нету, как у тебя, наград, но я себя тоже чувствую фронтовиком!» Я ему говорю: «Да я поисковик!» А он даже не врубается. Он такой какой-то, чудной. Мне так жалко стало... Меня принял он еще так... Говорит: «А ты на каком был?» Я ему объясняю, что мы копаем, а он даже не понимает, чувствую, но рад он как-то. Мне так обидно стало, подумал: «Ни одной железки этой больше не надену». А потом пошли дальше — а там же, на Ноклонке этой, везде дорожки, скейтбордники катаются — уже неприятно, да еще и черные кучкуются рядом, шашлыки делают. И проходят ветераны, ничего не покупают, не по средствам, видно. Мне так неприятно стало. Я найду потом запись.

Мужика-то этого я не снимал, не ожидал напора такого. А вот ветеранов снял. Их все меньше же, я гляжу: их совсем мало, а года три-четыре назад ходил, глядел — столько ветеранов было. А потом все меньше и меньше. И так было погано, что Ноклонка меняется, шашлыками торгуют... Не знаю... И вообще зря в нее вбухали столько денег. Лучше бы дали их таким, как вот этот мужик, у которого даже и боя как следует не было — сразу контузило, а потом в госпиталь, потом другие неприятности. А он так с душой ко мне, видит, видимо, что я уже седой был — я рано поседел, у меня тоже были свои терки. И мне так жалко его стало. Тоже ведь победу приближал, я так думаю.

А про немцев, которых находил, я пытался сообщать. Расшифровывал медальоны, писал в Народный союз Германии^[36]. Ответ: «Сохраните останки, личные вещи. Ждите, приедут». Я им уже говорю (я, между прочим, в поиске сам очень даже юморист), отвечаю: «Я уже в туалет не могу пройти, все костями завалено!» Ответ один: «Ждите!»

Нашел ефрейтора, при котором стаканчик был — я бы хотел его родственникам передать. Такой пластиковый фляжечный стакан, крепился к фляге ремешком. Я отдельно на нашей высоте нашел ездового-старичка — расшифровал у него на медальоне. Лежал он так отдельно. Даже как-то хорошо, что мы тогда его нашли. День какой-то такой был. Я шел по противотанковому рву, поверху, устал уже, дождик, смотрю — ботинки торчат. Начинаю копать: наши лежат. Четыре человека, молодые, зубы белые. Дальше еще нашли. И все наши, все наши. Как-то прям жалко, а потом бах — каска, череп, жетон немецкие. Говорю: «Ну вот, и немцы гибли». Хотя неприятно, конечно. А потом поглядел: старичок, ездовой — и опять жалко. Думаешь: «И чего тебя погнали в 43-м году в Спас-Деменск?» Я писал в Германию. Мне не надо чего-то там от немцев. Но, может, родственники есть, чтут память. Правильно раньше говорили, что если молодой погибший, то у него при себе ничего не будет: молодые если и получали чего, деньги там, то они и спускали все это на выпивку, на баб, мало ли на что еще. А старички все думали, как бы в семью это: вот у этого ездового были и монетки, и два ножичка. Я думаю еще: «Какой запасливый».

Честно сказать, не было у меня никогда такого отношения, как у тех, которые черепа немецкие разбивают и все такое. Я подумал: «Ни в чем ты не виноват, старик». Запрятал его в ров, взял жетон. Народный союз Германии, или как-то так называется организация, которая всем этим занимается, — написал я им. И опять же: «Сохраните! Главное, чтобы были личные вещи! Не потеряйте, может быть, придется пройти тест ДНК». И каждый раз, когда я (раз в два месяца) проверял сообщения (у меня еще тогда компьютера своего не было, ходил к ребятам), проверял свой запрос, а там висит один и тот же ответ — «Сохраните». Короче, до дверцы всем.

Жалко тоже было и немца. Не знаю, почему. Вот именно этот немец меня как-то задел. Я все злился: наши, наши, наши пацаны убитые, много. И, честно говоря, в душе такое, хоть я и не зверь, не убийца, но думалось: «Хоть бы немец попался». И вот он, немец — и чего? Не знаю я.

А с другой стороны, не хочешь ты воевать — не иди. Ношел бы в лагерь. Ведь сколько их было идейных, немцев-то. Ведь страна была целиком разрушена, а тут вдруг повалило. Чик — Австрию

присоединили, мясные консервы пошли, сыры оттуда. И все легче жить. И пошло, и поехало. Много было идейных, я так думаю. Чего мне их копать? Свои не захоронены, лежат. Вот этот, ездовой — да. Обычно же с каким отношением: сбросят его обратно в окоп, засыпят — и бог с ним. А тут мне сразу прям мысль — и старичок, и ездовой. И я сразу и жетон, и стаканчик этот в пакет. Причем обычно же стаканы эти черные, а этот белый — это эрзац какой-то. Ну и говорю: «Найду в Германии родственников по жетону, может, правда, бабушка какая там осталось или еще кто-то. А может, поколения уже сменились, но все равно захотят».

В принципе не было даже такого, как многие хотят: что, мол, двоюродный брат у этого немца стал директором завода «Мерседес», и типа, на тебе, а вы мне — мерина. Ждал я, ждал ответа, а потом понял: им до дверцы на своих, а я-то чего беспокоюсь? У нас своих безымянных море. Почему я должен на это тратить время? А главное еще другое. Я когда его поднимал — он был верховой, лежал прям на рву — я взял только жетон, ножички, стаканчик, несколько пуговиц, а остальное — в пакет и обратно в землю. И кинул с ним, с немцем, в пакет несколько пуговиц алюминиевых. Чтобы понятно было. А там же ищут все и каждый, ходят, а алюминий же очень чувствительный — сигнал будет, даже если до него сантиметров сорок.

И когда я уже через пару лет пошел его проверить, он уже опять был выкопанный: кто-то дорылся до него, понял, что ошмоненный немец, разозлился, видать, раскидал кости и бросил его. Ну, я собрал опять, присыпал. А потом это же они и кислорода уже хапнули второй раз — они начинают тлеть. А мне опять письмо: «Ждите». Я и думаю: «Чего я жопу рву для них?» Мы их сюда не звали, столько бед они нам принесли. Такая злоба берет: ведь каждый год туда приходишь, по тридцать, по 50 человек находишь — и все молодые пацаны ведь погибли, чтоб немцев отогнать, которых мы не звали. Как должен я к этим немцам относиться? Ведь те, кто там лежит, — это чьи-то дети, чьи-то братья. Мне тоже попадались и наши старики — особенно под Нарой, ополченцы. Чьи-то дедушки, бабушки. И женщин мы находили. Поэтому как к этому можно относиться? Что бы было, если бы они завоевали? Интересно... Я думаю, что народная война потом все равно бы их всех смела. Злобы сейчас уже на них нет.

А вот в те годы, сразу после войны, кто помнил мирное время и видел, что стало...

А в Курске было у меня такое. Мы опрос делали. Там, где Поньри^[37], деревня Самодуровка. Говорят: «Надо вот у той бабушки спросить, она в войну жила». А был апрель, причем вот как сейчас — в этом году Паска очень поздняя, и тогда тоже. Мы приехали к ней, вхожу: дом страшный, бедно ужасно, в Курске. Это в то время, а сейчас совсем там разорили все. Дом у нее был разрушенный. Видим — три могилы прямо у дома, а на них яйца, то да се. Я еще тогда засекал, удивился: как же так, видать, до кладбища далеко было нести. Спрашивал у нее. «Да, — говорит, — были у меня немцы, вон они лежат». — «Где?» — «Да вон они». Я в окно-то туда, далеко, в поле гляжу, а она говорит: «Да вот тут, под окном». И она до сих пор ухаживает за их могилами, хотя и бедствует. Она говорит: «Ну что, жили они тут, плохого не делали, помогали кормежкой». Также, между прочим, кого-то в деревне вылечили. Когда Курская дуга была, накрыли их авиацией, они прям из дома выскочили — и их убило. И она их захоронила сама. То есть у них безвозвратными числятся жетоны. Она мне говорит: «Если ты хочешь, можешь родственникам сообщить». Я отвечаю, что, чтобы узнать, кто они, их нужно поднять, жетоны найти. И как-то она мне так ответила: «Сынок, небогоугодно это, пускай лежат».

Знакомый из Троицка в Смоленщине ищет именно самолеты. Он говорит, что местное население уже очень плохо относится к поисковикам. Очень плохо. Потому что если Вахта — стоит человек триста. В лесу, где местные грибы собирали. Десять дней вахта стояла, и, кроме того, что ночами постоянные взрывы, там банок одних, представляешь, сколько? Насрано, вытоптано, плюс недобор останков. Я, честно сказать, не осуждаю это. Когда надо достать быстрее, особенно в болоте, ты не можешь каждую фалангу, каждую косточку собрать. Это показывают только про археологический метод совочком: окапывать вокруг глубже, чтобы скелет лежал как на предметном столике. Это можно только в том случае, когда у тебя человек десять, которые тебя обслуживают, и когда у тебя на это есть пять-семь дней времени. А когда ты приехал на пять дней, зацепил погибших, а вас двое, и думаешь: сейчас дождь будет, болото зальет, ты выбираешь — лишь бы быстрее вытащить.

И фаланги, другую мелочь иногда не добираешь — это правда, увы, это правда. И как дождь пройдет — местные туда приходят, у них это было ягодное место, а стало ужас что. Поэтому этот

Андрей разрешение на раскопки берет, но в лес они с женой уже идут как туристы. Когда с местными разговаривают, потихоньку рассказывают, что немного археологию изучают, интересуются. И тогда местные раскрываются. А так местные даже уже стараются не говорить поисковикам места. Вот до чего дошло. Я говорю: «Чего ты шифруешься?» А он отвечает: «Ты знаешь, в последнее время местные против поисковиков». И я соглашусь: в принципе, да.

Меня уже пару раз даже под Гнездилово, когда мы шли, останавливали. Мужик шел, грибы искал, ругался: мол, ну что вы здесь все роете и роете, надоело! И правда, мы находили такое, когда траншея вскрыта, все железо валяется. Представляешь, как это смотрится? Идешь весной, лес такой красивый, и вдруг изрыта траншея, все железо наверху — и так метров сорок. Да, опять все заплывет, лет через пять-семь. Но сразу так бросается в глаза, неприятно. Поэтому я своих учу закапывать за собой ямки.

А потом сейчас же еще и земля вся куплена. Не успели мы в одно место: приехал — уже скачет к нам на лошади, догоняет. И говорю: «Я в администрации отметился». Спрашивает: «Где вы тут будете? А вы знаете, что вот тут, — берет карандаш, — вот тут вам нехера делать». Я отвечаю: «Почему? У меня здесь по архивам как раз 29-я гвардейская воевала». Отвечает: «А здесь теперь "Мираторг" Медведева, пошел ты в жопу».

Они как — просто все это оцепили и бычков, как сказать, выпустили на дикий выгул. Весь Спас-Деменский район забил этот «Мираторг», все оккупировано. Не просто огорожено — ездят на уазиках, все проверяют. Местные говорят, что это такая сила, у них каждый бычок чипованный, не дай бог своруют — везде разъезжают, ловят. Как они так могли? Мы там самолет искали, ходили по краю водоема — все равно подъехал, говорит: «Вы не имеет права». Как так? Скандалить не хочется. Ходил в администрацию, говорил, что мешают работать, отвечают: «А что мы можем сделать? Ты знаешь, чей этот "Мираторг"? Медведева!» Я говорю: «Ну как же так, они же пасутся на боевых позициях, мы же можем просто проверить и закопать потом. Им же лучше, мы местность уберем от железа».

Отвечают: «С ними не договоришься». Ну и да ладно, еще места хватает. Да и возраст уже пришел, наверное. Все скоро. Не знаю, в этом году еще, надеюсь, успею. Приезжай, побываешь на высоте, посмотришь, как ее изуродовали. Боже мой... Военно-историческое мемориальное общество. Все могилы сровняло под плитку нафиг. Поставили какой-то памятник ополченца типовой, хотя там воевали автоматчики, молодые пацаны. А у них проект — все сровнять и написать «Никто не забыт, ничто не забыто». Вот именно, что никто не забыт. И дяденька с винтовкой, ополченец, которому памятник надо ставить в Паре, — это здесь были старики да ополченцы, все дивизии такие: 110-я, 4-е ДНО, 113-я, 5-е ДНО — дивизии народного ополчения, туда шли одни старики. А тут по подъему смотришь даже — все молодые. Она и звалась-то, высота, Комсомольской — одни комсомольцы в основном. Но вот так удобней.

Манит лес, конечно. К весне те ребята, которые по-настоящему этим занимаются: Ваня, Витя Матин, Вася — они уже все: карты, карты, карты. А я говорю: «Какие карты? Вон мои карты, заключение: рак легкого». Лечиться средства нужны, а мне еще на поход надо деньги собирать. Еще и выставку афганцам обещал, надо сделать успеть, все оформить.

Самая главная моя заслуга — что люди лежат в братской могиле и не гниют, и не топчут их. Это в Московской области нам не дают: часть зенитчиков тогда мы достали, а часть пошла под коттеджи. Не дали. Пришли — а уже залит фундамент.

Каждый поиск — он по-своему разный, каждый раз все по-другому, хотя на одну и ту же высоту приходишь. Встречаешь других людей, выкапываешь в совсем неожиданном месте — хотя бы взять эту историю про штурмовиков. В первый раз выкопали прямо за старым памятником — Серега надыбал — противотанковый ров сзади памятника, всего лишь шестьдесят метров от него. Была самая сухая погода, было лето сильно сухое. Прыгнули в ров — в первый раз проскочили, потому что уже рука набита. Если раз, чего-нибудь зацепил — сразу понимаешь по сигналу, что там. И сигнал такой, что там по-любому «кучерявый» (это у катюшиного реактивного снаряда такая труба, как лиана, — это двигатель, где был порох, который двигал ракету, а в момент взрыва эта штука разрывалась). Мы в таких местах даже и не разрывали, это 320 калибр, если такая штука

долбанула, представляешь — не будет ничего. Несколько раз прошли, а в конце

Воробей все же копнул. А там панцирь идет, нагрудник, НС-42 называется — нагрудник стальной 42-го года выпуска. И под ним боец в полном сборе. Может, видел — мы в Казань отвозили его. Нробит насквозь этот панцирь, при нем телефонный аппарат, запасная катушка связи, пустая катушка связи. Весь. И самое интересное: нашли при нем орден, я говорю: «Там, наверное, человек с винтовкой, это орден Красной Звезды». Отвечают: «Нету». А, оказалось, он у него затерся — терся об этот панцирь. Мгновенно мне знакомый пробил, что это Кузьмин, с Татарстана. Мы его не стали со всеми хоронить, убрали в отдельную времяночку^[38]. Ездили потом в Казань. Татары, честно сказать, молодцы, мы так были рады. Там его захоронили. А потом начали пробивать: официально потери панцирников там, в Гнездилово — всего два человека. Остальное — раненые, то да се. Чему я не верил: был уверен, что скрывают.

Нрошло всего два года или три, опять с Воробьем пошли около рва, только туда, дальше, за высоту, и он говорит: «Донатыч, я панцирника нашел». Говорю: «Да ладно тебе! Всего два погибло». Воробей говорит: «Я останки сейчас уже не трогаю». Панцирь только снял он. Я начинаю выкапывать, выкладываю, говорю: «Ничего не видишь?» Он говорит: «Нет». А там три ноги. Ну он же не эксгуматор. Два человека лежали рядом — один в панцире, один нет. А потом все же оказалось (я потом спрашивал), не только штурмовые бригады эти штуки надевали. Они ж стояли рядом, параллельно, части. И да, Кузьмин этот, у которого орден Красной Звезды, он оказался начальником отделения связи артиллерийского дивизиона сталинской бригады. Он не штурмовик чисто инженерно-саперной бригады, которым обычно эти панцири выдавали, а то есть он корректировщик огня артиллеристов. Он, видимо, просто сходил к тем: знал, что быть ему в самой гуще, взошел с атакующими на высоту, чтобы корректировать огонь. А убило осколком через спину. Я вначале думал, что пуля сильнее осколка, а потом изучаешь, находишь броню от орудия, смотришь: шестерка, а то и восьмерка толщина щитка — пули не пробивают, а рваная дырка большая — осколок пробил. А потом сам начал думать. Средняя скорость пули — у винтовки 800 метров, у пистолета — 200, у автомата — 300, а скорость осколка

равна скорости взрыва, а скорость взрыва, наверное, близка к скорости света. Мы обычно видим взрыв, а только потом к нам звук только доходит, через какое-то время.

В основном, как я понял, самые большие потери от артиллерии, а потом уже пулевые. Чтобы убить одного человека (я помню, статистику где-то глядел), около десяти тысяч патронов нужно истратить. Или тысячу патронов. Статистика же какая: мол, на фронт поставляется столько-то патронов, а погибло от пулевых ранений — двенадцать процентов от общих потерь. Общая же статистика. Их, патронов, выпускается море, которые никого не убивают — и днем, и ночью заградительный огонь ведут и автоматы, и пулеметы. Да вообще мало я находил таких — одного или двух человек, у которых совсем не было патронов. Да и то еще не факт: у них могли взять и уйти.

Под Москвой в 41-м патронов мало было? У нас тут есть такое Горчухино^[32], напротив Нары, как на станцию идти, справа. Там воспоминания о моей первой поисковой деятельности. Искали мы батальон Зайцева, который держал Горчухино, а уже последние три атаки отбивал только штыками. Мы туда не могли попасть: там строились бараки, кирпичный завод, пока мы не пришли и не начали там халтурить, дом одному строить. В воскресенье же рабочих никаких не бывает — и мы начали вскрывать эти траншеи, где батальон Зайцева воевал. Первое, что мы нашли — это три ящика с патронами по 800 штук и штук 40 гранат. Я про себя говорю: «Ого, как они без патронов одними штыками отбивались».

Пишут те, кому надо. А уж про Паро-Фоминский прорыв там такая глупость. Здесь, видишь, как: немцы хотели к первому декабря обойти с двух сторон Паро-Фоминск. И с одной из сторон они шли через Таширово на Кубинское шоссе. По шоссе это их уже не пустили, причем, надо сказать, по большей части за счет инженерного способа. Когда пожаловался Полосухин, что на его участке прорыв, около 40 танков, а у него всего две пушки, ему сразу выделили 75 тысяч бутылок с зажигательной смесью. Он ответил: «Да у меня столько бойцов нет, чтобы их кидать». Тогда они сделали вдоль дорог засеки, поставили мины, заложили вдоль дороги по 300 бутылок. Когда немецкие танки на шоссе вошли и два подорвались на минах, они начали съезжать с него на обочины. И в это время эти закладки

подорвали, и эти огненные валы (ты представляешь, какой силы?) сожгли танки. Это как раз после этого сообразили, что всего ничего осталось до Москвы — тогда по ним долбанули со всей силы, был Наро-Фоминский прорыв.

Все равно немцы сами ушли отсюда. Потому что наши не могли — у них приказ «Ни шагу назад!» И немцы, когда почувствовали, что подмоги нет, что будут большие потери, вышли из котла. Все ушли. И Пару также сдали. Они даже забрали трупы, уходили планомерно. А под Спас-Деменском спрямляли линию «Буффель» тоже, а Ржев как отдали. Под Ельней, правда, им сильно неожиданно ввалили, но они и там схитрили. Там же как: фронт фронтом, бои. Я читал об этом документы. Вслед за фронтом есть контрольно-реализационные комиссии, еще какие-то, которым с передовой подавали отчеты. Один подают: мы приняли бой артиллерией, подбито десять танков, пехотой — три танка. И общее количество погибших пишут: допустим, 300 человек. То есть мы следим, знаем потери в немецком полку — он почти разбит. А следом двигаются и проверяют: они приходят, видят разбитые танки, смотрят — пушкой ли его подбило, то есть отверстие от кумулятивного снаряда или какого-то еще, самолетом ли, либо пехота сожгла бутылками. И все это фиксируют.

Оказывается, уже в то время было такое, когда под Ельней были бои в 41-м году. Потом начинают выяснять потери. Немцы там хитро сделали: они одну траншею полностью забили погибшими и засыпали. То они кладбища оставляли, только равняли, кресты ломали, чтобы было не сосчитать, а тут вдруг стало мало кладбищ. Хотя удар был неожиданный — должны быть потери. И когда начали разбираться, он — траншея. Пленных немецких взяли, они разрыли, а там батальон лежит немецкий. Чтобы скрыть потери, да и не успевали хоронить. Но свои кладбища они сровняли, чтобы над ними не издевались. Я до сих пор... Короче говоря, едешь по Варшавке, там будет Шаховская, если знаешь такое, в середине. Ты, наверное, не обращаешь внимания: там такой овражек, куда все с трассы спускаются, воду пьют. Внизу бьет родник хороший. Мы там как-то пошли, разговорились с местным парнем. Я же всю дорогу как увижу местного: «Привет». — «Привет». — «Я поисковик. От войны чего осталось? Как у вас?» Он говорит: «Ты знаешь, вот этот овраг полный касок немецких». Я говорю: «Опа!» Склады там не могут быть.

Значит, атака какая-нибудь: прорывались, и их накрыли. После того как были в Гнездилово два дня, сунулись туда. Наверное, штук 17-18 касок там нашли. Это факт, что здесь был бой, но ни котелков нет, ни ремней, ни гильз, ни снарядов и осколков. А поехали выше в деревню опрос там делать: оказывается, там было немецкое кладбище и чуть ли не до 44-го года стояли кресты, на них каски висели. И все ездили мимо. А тут тоже комиссия какая-то поехала и увидела: «Бля, да вы что, охуели?» И снесли, просто в овраг сдвинули, с касками, со всем. После ребятам сказал серпуховским — они начали там бить. Столько там всего откопали.

Если у наших даже не зазорно было взять мундштук, котелок с погибшего, веревочку, зажигалочку. Только патроны и гранаты никогда не брали, потому что и так выдадут, а тут самому таскать. А так был даже приказ, что нужно валенки снимать. У меня вон стишок записан:

Ты меня не жалея, не жалея,
Пе ранен я, а убит,
Валенки с меня снимай поскорей,
Тебе воевать предстоит.^[40]

Всё снимали. А у них и образки, и лопатники, и зажигалки — все на месте. Поэтому у немцев там много всего интересно можно найти. Я сам в завале, в блиндаже, офицера нашел, с погонами, лопатник его достаю (я же тебе рассказывал эту историю, нет?), я раз — там документы и баночка Gummischutz — «резиновая защита», презервативы. Я еще жене своей протягиваю, говорю: «Ир, погляди, какая-то баночка, чего там?» Открывает: «Да что ты подкладываешь, у тебя юмор всякий...» Говорю: «Да не подкладываю я, им правда давали! Да выкинь ты это портмоне, засыпем прям здесь. Слава богу, наших рядом нет. А этот-то дошел до Москвы». А она дальше посмотрела: там железный крест — видимо, не носил, таскал так с собой, и, самое главное, монеты. Монет, наверное, было, сколько не помню, точно четное число, примерно двадцать восемь, то есть он прошел четырнадцать стран и отовсюду взял по две монетки. А у меня

друг монеты собирал, я ему принес, Говорю: «Гляди, как интересно, немец наш был нумизмат». Даже наши, советские — ты, наверное, не помнишь такие полтинники: 21-го и 24-го года, серебряные 24-го года — молотобоец, а на 21-го года — звезда большая. И в каждом по девять грамм серебра. Отдал знакомому, говорю: «Мне с погибших ничего не надо».

Дошел же этот немец, попал в этот блиндаж, где его засыпало... Мы еще хотели всё жетон найти, но его не было. Их торопило, наверное, когда долбануло, взяли, сорвали целиком. Положено- то как у немцев: медальон ломают, и половинку — в штаб, а половинку — оставить при убитом и присыпать. Чтобы можно было, если что, забрать. И даже у ребят, которые то кладбище копали, про которое рассказывал. Оно было переходное. Я сам удивился, я еще такого не знал. Варшавка рядом проходит, и вот если начинают могилы рыть и находят бутылку, а в бутылке лежит бумажка (мне давали) — до сих пор читается, там два одинаковых слова: gestorben и geboren, умер и родился, и место, где умер и где родился. Это сделано, потому что они их захоронили и надеялись, что потом будут эти кладбища в Германию переносить.

Я тебе рассказывал, как рядом с Кавказом мины саперы долбанули в яме. Шаховская же там не так далеко. Как-то мне Саня Черненко такую бумажку приносит, говорит: «Гляди». А я читаю: родился, допустим, в 22-м году в Пилау, погиб в 42-м — Кавказ. Я говорю: «Саня, ты чего, ты по горам, что ль, лазаешь?» Он отвечает: «Нет!» А я же тоже не дурак, я любил до истины доходить. «Где взял?» — «Да вон, в Шаховской, где ты про каски рассказывал в овраге». Говорю: «Что ты, дурак, что ль, это же на Варшавке!» А южнее же деревня Кавказ есть, там его и убило.

Есть такая деревня Бельская. После Зайцевой горы наши ринулись туда, в лесные массивы, когда немцы уже отошли на линию «Буффель». Они отходили, но оставляли заградотряды, отдельные доты. Там дот такой стоял самодельный — колпаки привозят, выкапывают яму и на нее ставят, опалубку бетоном заливают. В одном месте на бетоне на латыни написано изречение, у меня даже сфотографировано: «Самая лучшая честь — это умереть за народ». Знаешь, вот такая пафосная. И гады, вот эти пулеметчики, столько наших там покосили. Под этим дотом (вот у меня фотография) мы

звезду выложили из касок. Сколько погибших, столько набили они... Я только там один раз такое встречал: пулеметное гнездо и рядом большой провал. Минак^[41] у меня аж гудел. Говорю: «Сюда чего-то набросали, потом посмотрим, успеется». Нырнули в пулеметное гнездо — проверять, куда стреляли, а там справа от него доски. А доски эти сбиты желобом и вниз идут. Я в ту яму сунулся, а туда лопата не лезет — до верха гильзами забита. Так они стреляли. Потом я ниже спустился — там лежат выброшенные пулеметные стволы. Бывает такое: перегревается ствол, патрон еще только начинает подаваться — разрывался, потому «пороли» они пулеметы. Надо-то как: ленту выпустил — и подожди или смени ствол, а там вышло, видать, так: наши настолько подпирали, что не успевал он. И мы пошли туда, куда стрелял. Там они и лежали — перед нами уже там искали, и мы нашли человек пятнадцать. Подняли всех, на Зайцевой горе захоронили...

Война прошла, население вернулось, бах где-то что-то — мальчик погиб, подорвался или что. Говорят: «Пам надо осваивать территорию, а невозможно в лес войти: там трупы, мины». Разнарядочка — у меня даже есть такие документы. И вот идут: им дали каждому по полю, квадрат километров пять на три — и везде это валяется. У него задача, чтобы местное население не воспользовалось, все собрать и унести, принести на сборный пункт. А если там погиб полк? А их 10 человек. Как они все это возьмут и понесут на сборный пункт? Просто физически невозможно. Потому так и делали: затвор — в одну сторону, винтовку — в другую сторону. А в детстве я часто такое находил: поднимаешь винтовку, а она дугой. То есть они брали за конец ствола — если об дерево ударишь, она изгибается. Чтобы населению не доставалось.

Пемцы заставляли убирать трупы, потому что считали, что это уже их земля. Я смотрел про поиск на Украине. Они там поднимают санитарные захоронения, которые делались при немцах местным населением. То есть зимой или осенью бои были, фронт ушел. Приходят тыловые части, они здесь живут — какая-нибудь база танков или топливная база. Кругом вонючка. Самим им нафиг надо, поэтому говорят местному населению убирать. И, говорит, как заставляли убирать. Мы находим яму и достаем — сверху тела, а снизу винтовки, у которых затворы вытащены. Это немцы так делали. Кинут, сверху

останки — и заравнивают. Наше оружие себе брали единицы из немцев. Брали эсвэтэхи^[42], брали изредка панаши^[43].

Тут вопрос еще вот какой: если после боя войска проходили и подбирали это, то понятно, а если оружие зиму уже пролежало и проржавело — это надо отмокать, разрабатывать. Этого никому не надо — его столько было, этого оружия. Я никогда не поверю, хотя говорят, что винтовок и штыков не хватало. У меня вот Витя нашел под Нарой — мы специально считали — в одном месте 800 штыков! 400 гранат! Столько всего бросалось. Мне иногда так жалко. Представляешь, это же дети у станков стояли, на химических заводах порох делали. А бойцы все это бросали. Ну, понимаешь... Тоже ведь не совсем удачная конструкция оружия, особенно РГД-33^[44]. Ее все выкидывали — в жопу, невозможно пользоваться. 42-е^[45] — они удобные, которые с запалом. А у РГД-33 надо оттянуть, повернуть, вставить, задвинуть, спустить и потом опять оттянуть, встряхнуть и кинуть — такой геморрой. И, самое главное, в горячке-то начинаешь записывать, а ты запал не вставишь, пока ручку не отведешь — он не влезет. Когда выдумали запал с планкой и чекой — тогда да. Ты взял, выдернул, держишь, сколько хочешь, можешь, если что, и вставить обратно. У нас были детонаторы в основном латунные, либо медные. Почему? Потому что у нас инициирующим веществом была гремучая ртуть. Она себя с алюминием плохо вела. У немцев же веществом был азид свинца^[46], а сами детонаторы алюминиевые. Красивые такие, и качество в пять раз лучше, чем наше, азид свинца просто мощнее. Немецкое все было качественней, мне кажется. До поры до времени.

Один случай лично у меня был. Мы приехали. Ты же помнишь столик, который мы сделали? Он там один был, на высоте. Короче говоря, разложились мы, вечер уже, но надо было поехать что-то посмотреть. Славка на машине, а у нас машина одна. Кого-то он повез. А был уже вечер, понимаешь. И Славка говорит: «Пока они вскроют блиндаж...» (Подозрение было, что там останки.) «Ты в машину не влезешь, ночуй один здесь». Ну, как-то и не страшно, я все уже знаю, при мне лопатка, топорик. Но все равно неуютно — лучше, когда кто-то рядом. Говорю: «Ну, езжайте».

Я лег на этот столик, потому что тогда палаток не было. Вот я забыл, когда это было — в августе, что ли. Когда самое сильное солнцестояние. Тучи проходят мимо луны — и как будто люди бегают.

Честное слово. Я начал говорить с ним, говорю: «Ребята, я вас вытаскиваю, чего вы меня пугаете». И все равно какой-то мандраж. Я встал — а я засек, слава богу, до этого, потому что мне Слава говорил, что деревья помогают. Там дуб был недалеко. Обнял дерево, говорю: «Дай мне, чтоб все нормально было». А прям вижу, как будто люди мимо проходят, которые меня не видят. Ну, это я понимаю, что облака, может быть, или еще что-то. Но внутренне очумительно не очень. И когда от дерева отошел (я думал, могу так с ума сойти, что делать-то?), я взял лопату, взял щуп. Нод этим деревом стал траншею бить. Думаю: «Блин, сейчас не дай бог еще и на останки наткнусь. Может, не надо». Вокруг эти бродят. И копаю, думаю: лишь бы не попались. Обычно-то наоборот. И потом до того запыхался... Кинул все, лег на стол и заснул. А эти утром приезжают, говорят: «Донатыч, ты что, дурак? Ты когда успел такую траншею выкопать?» Говорю: «Я со страху».

Все зависит от человека: какой человек, как он настроится. Один раз поехали копать под Андреаполь^[47] — это между Тверской, Псковской и Новгородской областями. И был парень, который на «Вернисаж» работал. А там песчаные есть высоты такие — как пупки среди болот. Он старался местным не показываться, ни в каком отряде не был. Копал один всегда, ни с кем не хотел. Мне говорил: «Ой, Донатыч, тебя знаю, тебя Саня пригласил, ты поисковик старый». Я ему говорю: «Давай объединимся, большие блиндажи возьмем. Где-то здесь должны были немцы отходить и архивы прятали. Интересно же, может мы сейфы найдем». Была там такая легенда. Или как мы в Аджи-Мушкае сейфы искали — только там советские, а здесь немецкие. Говорит: «Не-е-е. Я один».

И вот сколько раз я туда приезжал, раза четыре, дней на пять. Последний раз как приехал, с ним разговорился, он рассказывает: «У меня самое сложное, знаешь, что? Как обратно ехать». Удивляюсь: «А чего такого-то?» Сначала до Андреополя на такси, потом до Бологого, оттуда поезд Бологое—Москва до Рижского вокзала — и ты дома. А он москвич был. Говорит: «Ты не понимаешь — я тут живу, я делаю нору, чтобы меня никто не видел». А там уже в то время тверские или псковчане гоняли «черных», чтобы не копались. И он это делал, чтобы никто не знал: «Я не моюсь неделями, от меня пахнет в поезде». А уже осень была, говорил: «Мне в речке холодно мыться». И вот я ему

тогда задал вопрос: «Тебе не страшно одному в лесу?» Говорит: «Нет». Раз — показал кое-что мне: «Чего мне бояться!» Я говорю: «Да не этого бояться, а типа, знаешь же, бывает всякое». Говорит: «Нет, у меня своя цель, я до того уставал, что засыпал, у меня своя цель — накопать». Я говорю: «Ну, ты заработал?» Говорит: «Да!» Нашел много всего интересного — знаки-фигаки, продавал. Я говорю: «Серьезно, ни разу ничего такого не было?» Говорит: «Отстань! Нет!» И все.

Я в мае приезжал, и летом, и осенью. Жил он дней по десять-пятнадцать в лесу автономно, один, чтобы его никто не видел. Но, допустим, май, июнь и июль — правда, никто не видел. А уже в сентябре, когда мы к Сане ездили с таксистом — там же от Андреаполя пятьсот рублей, что ль, стоило, километров семьдесят, может, до этих мест. Короче говоря, уже таксисты говорили: «А ты знаешь, у нас тут завелся в лесу леший какой-то, его видели». То есть уже все равно прокололся. «Какой-то копарь, его уже даже ловят егеря!» Поэтому ему и не до видений было, он так маскировался. А закончилось все тем, что он в конце концов купил там дом. У него уже, видать, были денюжки, копил. И там сейчас постоянно роется этот парень. Один, никого не допускает. Он такой спортивный был, экипирован хорошо. Он мне тоже рассказывал. Я говорю: «Как ты без костра, это же жопа!» То есть ни обсушиться, ничего. «Я, — говорит, — готовлю на спиртовых таблетках». То есть спирт горит без дыма. Говорит: «Мне костра не надо, это лишнее. Самое главное — находишь чепыжник, ну то есть частые елки, веревку натягиваешь внутри (несколько одежд еще с собой) и сушишь. В одной копаешь, в другой спишь». Такой он был... Обидно, что я начал про архивы все ему рассказывать, какие там части. Я ему говорю: «Давай, наоборот, объединим усилия, ты же тоже дофига знаешь, тут и наши где-то погибшие, и сейф, интересно». А от него отдачи ноль было, все под себя.

А потом еще через год я к Сане приехал, говорю: «Где этот леший-то?» — «А он дом купил! Уже здесь познакомился с кем надо, официально лазит, никого не боится. Егерей подкормил». «Ого, — говорю, — какой упорный!» Еще такая мысль у меня была: кроме всех этих цацек на «Вернисаж» у него какой-то свой был архив, что-то конкретное он искал. Мне так кажется, потому что он именно в

определенные места шел. Я ему говорю: «Чего ты туда-то ходишь, там не было боев по моим данным». Отвечает: «Я знаю, где и чего ищу». Разные есть люди. От него ноль чего узнаешь, понимаешь? А я как-то язык распустил, я столько рассказывал. А потом говорю: «Давай вместе». Не хочет. «Где ты ходишь?» — «Да где-то там!» Я говорю: «Чего ты нашел?» — «Да по разному» — «А конкретно?» — «Ну за ранюху»^[48]. Я говорю: «Да ладно тебе!» То есть они очень скрытные, очень. У него это поставлено на поток.

Я знаю, что они еще технику продавали. Сейчас тема эта есть, и тогда уже начиналась. Сдают технику, сами вытащить не могут — сдают место за деньги. Нашли, допустим, танк в болоте или еще что-то. Есть люди, которые конкретно занимаются, вывозят все это. Вытащить сложно. В то время, когда я копал, можно было, я натыкался — без башни стоял, допустим, не в болоте. А сейчас невозможно, потому что это только в болоте, где почти не ходила нога человека. А как ты только начнешь рубить лес, тралы ставить, с лесу чтоб вытащить, — это все узнают. Техника вся принадлежит Министерству обороны.

У меня лично в Кошеликах танк своровали. С Холмов Федя этот. Я сам лично наткнулся на танк. В воде боком лежал танк, башня откинута рядом. Полный, водой залит, в противотанковом рву. Я года три собирал народ: там нужны были деньги, согласование. Надо было лесхозу заплатить, оплатить соляру, тягач, чтобы вытаскивать его. Может, в Спас-Деменске установили бы его.

Хотелось его вытащить: там немного было воды, он боком лежал в противотанковом рву, это почти рядом. И башня рядом, в воде. Там перегораживаешь ров, когда весной течет вода, — и он становится сухой. Вырываете скат и как-то либо домкратишь — я еще не думал, но вытащить его было легко. И до дороги херня Там было, может, метров 600-800. До лесной дороги, но, значит, уже не надо рубить лес. Ну, все собирались, собирались — воскресенский, бронницкий отряды. Всех я объединил. Наша с Клины, отряд «Подвиг», тоже. «Давайте все приедем, встанем лагерем». Ну, в общем, затянулось все это, а поехал через два года глядеть: ров перезасыпан, как я и думал, все ровно, ни одной железочки. Спас-Деменские говорят: «Это со Смоленщины приехали, распилили и вытащили. Мы сами на них злые, хотели с вами объединиться, могли же достать». Я к нему —

самый богатый там, в этой деревне, к нему весь металл таскают. Он скупает металлолом по восемь рублей, а по пятнадцать на Павлиново отправляет. У него и экскаватор, и бензорезки, и все. У него площадь хрен знает какая: он там скупил земли. Федя... Забыл его фамилию. Приехал к нему. Говорит: «Чего тебе надо?» Я говорю: «Ты танк?» — «Ну, металл. Чего? Мы живем этим!» — «Останки были?» — «Нет, не было». Я говорю: «Ты конкретно мне скажи, хоть даже куда отнес? Или ты там же все сбивал — хоть номерки мотора узнать. Узнать, что за танк, погиб ли экипаж, можно». — «Иди отсюда!»

Самое интересно: проходит несколько лет. Деньги. Он уже там, в Холмах, не то что так, как было: он уже не режет и не пилит, у него уже в каждой деревне своя приемка металла, а он только ездит и оттуда берет. Те принимают по шесть рублей, он у них берет по десять, а сдает по пятнадцать. Но все равно идет индустрия охуительная. Ты представляешь, где Холмы, нет? Рядом с Гнездиловской высотой, но еще на Смоленщине. И про мужика этого знали, что он металл перепродает в Юхнове, в Рославле. Понимаешь? Он уже так поднялся. Он снабжал местных, у него уже бригады свои ходили. Приходят к нему, договора заключают, он и расписки давал всякие. Он дает им участок, где от войны осталось железо: мол, притаскивайте все мне, я вам на хлеб дам и на это дело... Ему бригады таскали металл! И вдруг он вскрывает блиндаж: сам же тоже ездит, ищет. Нашел ящики немецкие с тротилом. Ух! У-ля-ля! И не знаю, как так вышло, но, короче, загружает он «газель», названивает и везет в Москву на продажу. Я тебе отвечаю. Его где-то на трассе берут за жопу с этой хуйней, но ввиду того, что это было (забыл, какие года), когда все такое было неустойчивое, ему там оформляют, что он вез добровольную сдачу. Хотя он и не имеет права везти это так сдавать. И нет у него теперь ни земли, ни тракторов.

Оставили ему два трактора и сарай, чтобы мог немного. Все остальное исчезло у него — я так понял, чтобы смог он откупиться. Я думаю: «Вот, блин, это тебе за танк тот!» Я не вру, это все знаю, было и по телевизору даже. Так он попал. Или Паша, или Федор — я сейчас уже путаю, потому там появился второй такой же «металлыщик». Второго тоже бог наказал: он нашел самолет, останки припрятал, а металл сдавал. И как-то все же дошло это до остальных, поисковики на него нажали, и он показал, где останки. Как только показал, где

останки, сразу приехали за ним: «Ты мародер». Если бы останки он не тронул, был бы пустой самолет — еще, может, ничего бы и не было. В общем, у него статья была не как у этого, первого, — 222-я, хранение взрывчатых, а у него была за «мародерство и осквернение».

А в другом месте полбашни я нашел. Вообще не ожидал, как «металльщики» эти работают. Само Гнездилово — сквозь него проходишь и вправо на высоту обычно идешь, а то мы с Немцем^[42] пошли другие места искать, влево от высоты. Там была не 10-я гвардейская, а другая армия уже. Ну, короче, маленькая ямка. Начинаем раскапывать: башня танковая, ее половинка, ровно отколота. Маски нету со стволом: улетела или выдернули. Самое интересное, мы когда раскапывали — она сверху совсем тоненькая была. Если танки и атаквали сверху, то самолеты, только маленькими бомбами. А снаряд никогда так не попадет. А вбок сильно толще, и чем ниже — тем толще. Сколько весит? Может, восемьсот килограмм. Ленчику местному позвонили, сказали, что мы нашли броню, если хотите — забирайте на металл. «Жди нас в деревне!» Я вышел — уазик приезжает с прицепом и эти вдвоем — Ленчик, Дима: «Где, Донатыч?» Я говорю: «Там. Я тебе по джипиэс могу точно показать». Там стрелка по прямой показывает, куда идти, от одной точки до другой.

Сели в машину, выехали в поле. А поля там все, сам знаешь, перепаханные после войны, и березы вырасти успели, да так часто — даже человек не пройдет. И эти ради брони так и поехали по этой стрелке в навигаторе, напрямую. Я им говорю: «Вы чего творите, сейчас поле кончится, там такие деревья будут!» — «Не ссы, Донатыч». Короче, приехали, я им показал. Они посовещались, говорят, мол, херня делов. Я изумился: «Как?» Нотом смотрю: зацепляют трос, закидывают его рядом за дерево, вытаскивают барабанную лебедку и начинают лебедкой тянуть. Я очумел. Они вытащили, подвесили этот кусок башни. Нотом один на спуске стоял, нажимал защелку. Раскачали башню и опустили в яму, на ровное место. Затем Ленчик натянул цепи, с их помощью приподняли башню, подогнали прицеп и в него опустили. Говорят: «Сколько мы вам должны?» — а мы в шоке. Они сели и поехали в это же время опять, как ехали по джипиэске, через поле. Смотрим только — давят-валят. Они уже на этом металле живут. Они мне говорят: «Если весит

больше ста пятидесяти килограмм — звони». Где-то двенадцать рублей килограмм стоит — умножай. Если даже там восемьсот килограмм — а для них тогда самая большая зарплата была восемь тысяч.

Вообще хорошо в лесу побыть, если честно. Но просто туда приезжать, есть, пить и спать — скучно. А здесь задача стоит — отыскать, найти. Причем я-то больной, старый, я лежу долго, а у нас уже, слышу, суматоха: время пять утра, а Витя собирается. Ему жалко каждый час, он места такие жирные раньше не видел, все в Подмоскovie, под Парой. Первый убегает — еще нет ни завтрака, ничего. Он наливает себе воды, хлеба — и уходит. Вторым уже Ваня — он хозяйственный, рубит дрова для всех. Засуетилось. Говорят: «Донатыч, ну как ты?» Я говорю: «Да сейчас встану». — «Чего нам делать?» Вот это последняя траншея за высотой. Ты знаешь, как они за высоту держались. Потому что понимали, что с ее падением они будут катиться за Дёмино. Говорю: «Вот и давайте ее шерстить, попробуйте. Там же спасские собирали верхушки, а вы не ленитесь залезть поглубже». Уходят они, а я сижу. Потом нет, думаю, надо идти. Идешь-идешь. Глядишь — орут, нашли уже наших. И сразу уже бежишь, на карачках. И, в основном, безымянные, конечно. Там только по наградам определяли. Человек 8-10 всего так было. Пу и медальоны иногда... В 42-м году их отменили приказом, вместо них — красноармейские книжки, а они вообще не сохраняются. А котелки или ложки именные — это косвенные улики. Он мог брать у кого-то, если вдруг не хватало или потерял. Самое надежное — награда или медальон...

Что со мной будет дальше? Я в Обнинск поеду, сейчас мне жидкость вольют.

Заплачу там опять эти остатки денег — доят они меня, конечно, сильно. Очень сильно. И узнают, какие у меня метастазы. Что со мной дальше делать. Все равно что-то надо делать. Либо чики — порежут, либо брать этот — и бух. Пора, значит, туда, наверх. Потому что я знаю, как от рака мучаются, когда бьют метастазы. Боли ужасные. Па морфине сидеть? Не знаю, что со мной будет. По, самое главное, мне бы надо все это так подстроить, если вдруг будут делать операцию,

чтобы у меня в мае было время. Я хочу поехать. Мне насрать на свое здоровье, я уже прожил жизнь. Мне хочется поехать... Вахта же на мне держится! Все ребята орут: «Донатыч, мы тебя уважаем, но все же ты поехай, ты изловчись как-нибудь». Говорю: «Вот, блядь, вы охерели! Как изловчись, если мне операцию сделают, еще не зашито будет? Вы меня будете таскать на руках?» — «Будем, только поехали на вахту!» Поеду все равно...

Часть 2. «Дозор»

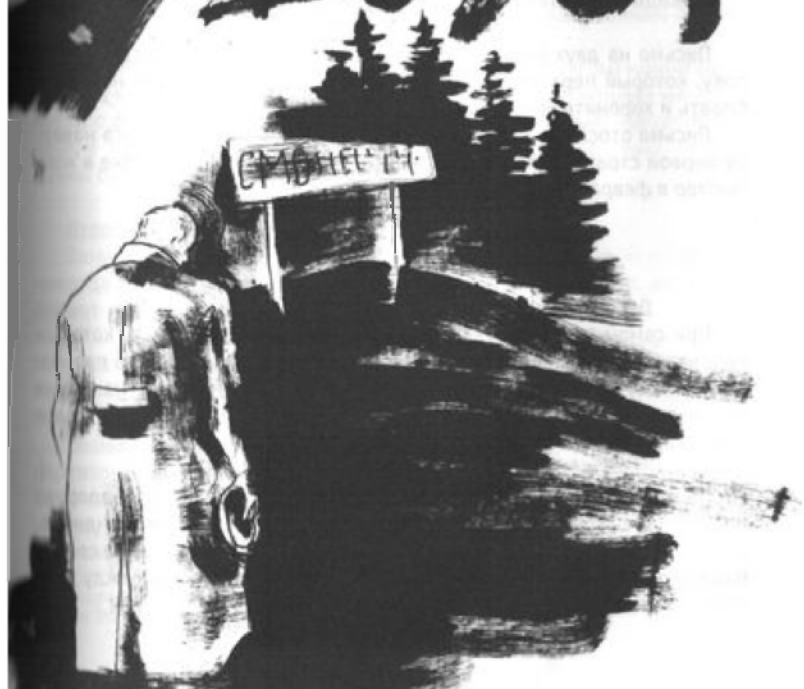
*



ближе. Но с минуты на минуту
ожидать эти места, так хоро-
шо. И вот, наконец:
близко. Близко. Доблесть.

Вот совершенно тихое
вспыхивание. Поминаю, как
скрутило души тех,
кто уже погиб.

ДОЗОР



АРКАДИЯ КОНСТАНТИНОВНА ЛИШИНА И ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Аркадия Константиновна читает с листа:

Письмо на двух машинописных листах адресовано Александру Орлову, который первым из местных жителей вместе с братом начал собирать и хоронить убитых в Мясном Бору под Новгородом.

Письмо отослано 8.06.99 в Казань Черепанову (запись Олега наверху первой страницы печатного текста) — *А.Л., при перепечатке в компьютер в феврале 2013 года.*

Москва, 28 мая 1999

Дорогой Саша,

При самом глубоком уважении к тебе и к поисковикам, с которых начиналось наше движение (задолго до 1989 года, задолго до признания его государством и вмешательства в него комсомола), не можем не высказать мысли, которые просятся на бумагу после прочтения твоего текста в № 7 (27) «Отечества».

Первое: Какова же разница между «той страной», где здорово и свято было искать и перехоранивать красноармейцев и командиров, и «этой страной», где надо оставить все как есть? Ведь и тогда, и сейчас была огромная разница между обществом и государством, между простыми людьми и чиновничеством (от партии, от госаппарата, от армии, от церкви, наконец), между людьми, чувствующими свою ответственность, и людьми, ориентированными на власть и деньги. Ничего не изменилось — разве что откровеннее стало зло, откровеннее и циничнее. Вот и вся разница. И тогда, и сейчас люди у власти лицемерили и лгали, гребли под себя и относились к простым людям как к быдлу... Но ты-то — прежний — почему же ты меняешь фронт? И откуда у тебя (у Саши Орлова!) это легкое пренебрежение к родственникам погибших, для которых «время остановилось в 1941 году»? Я понимаю, — если рассуждать, что пока они, эти родственники — живы, есть смысл искать и восстанавливать имена. А когда уйдут (ждать этого недолго!), то, действительно, половина

смысла поиска, вплоть до имен и военных биографий павших, пропадает. Останется «военная археология». Это время придет, до него еще лет 15-20. Но сейчас-то — за что их обижать? Даже больше скажем: за что их, еще живых, предавать? Им-то, во всяком случае, большинству, не все равно, где лежит брат, отец, дед — на поляне под дерном или в могиле (пусть братской, пусть поздней) с именем, высеченным на камне, или даже без него.

В любом году (и в 1981-м, и в 1985-м, и в любом другом) можно было бросить камень в нас, переносящих в полиэтиленовых мешках мертвые кости с одного места на другое. И бросали... Но — ты?! Может быть, дело в том, что ты сам в чем-то изменился... И это не в упрек. Только камни бросать не надо...

Второе:

Занимаясь поисковой работой с 1968 года, а вплотную — с 1985-го, никогда еще мы не ощущали стыда за то, что кто-то где-то, на чем-то делает «бабки».

«Им» все равно, на чем делать эти «бабки» — на крови афганских боев, чеченского побоища, на развалинах Грозного или на солдатских костях. Но мы-то здесь при чем? Не общайся с гадами, не сдавай им отчетов, не присягай им на верность — и все тут.

Возможно, нам проще в силу того, что наш «Дозор»^[50] всегда был на партизанских началах в поисковом деле: мы всегда работали, где хотели, с кем хотели, и отчитывались, когда и кому считали нужным. Или — никому. Правда, довольно часто приходилось (и приходится) ездить за свой счет. Но это не всегда. Норой дает средства министерство образования, совсем редко — поисковые структуры. Тебе, конечно, сложнее: ты на виду и к тебе обращены лица всяческих «боссов». Но ведь и эта ситуация подконтрольна тебе. Разве не так?

Кстати — разве не бредом в принципе была речь господ чиновников об индивидуальных контейнерах для каждого найденного бойца? Это же целую промышленность надо было бы разворачивать — многие тысячи «гробов». Автотранспорт и техника доставки? А ситуации, когда от бойца одна рука или один череп остался? Не говоря уже о том, что такие прибамбасы пластмассовые только помешали бы костям уйти в родную землю... раствориться в ней.

На фоне этой бредятины освящение контейнера с крестом, ей-богу, уже не удивляет. Что же, Алексею иудейский или мусульманский «гроб» было освящать? Для Алексея и прочих чиновников — это ж показуха от начала до конца, какое уж тут «думать»! Вот тут-то еще одно подтверждение, что с индивидуальным контейнером с останками, вернее, с этой идеей — надо бы поаккуратней. Другое дело — над братской могилой при захоронении, если приглашают священника православного, то надо бы пригласить и из других конфессий. Мы, во всяком случае, уже давно, по традиции, кроме православной молитвы просим прочесть таковую кого-нибудь из присутствующих мусульман (с иудеями у нас как-то сложнее до сих пор было). Но хоть все это уже понимают, мы имеем в виду поисковиков, разумеется.

Третье:

Конечно, за могилами и заброшенными кладбищами ухаживать надо. Кстати, это местами и делают те же наши поисковые группы. Но нет ли оттенка лицемерия в том, чтобы обустривать могилы, когда где-то рядом такие же солдаты лежат на поверхности незахороненными. «Их моют дожди, засыпает их пыль, и ветер волнуется над ними ковыль». А мы чистим кладбище... Ну, ну...

А если коротко: любая поисковая работа, начиная с пятидесятых, от времен Ю. Р. Барановского и других, о которых мы, может быть, не знаем, — есть наше вмешательство в дела Природы и Бога во имя людей. И до 1989 года — и после. Если сотня молодых людей этим занята, значит, им это нужно. А комсомольские и иные вожди? Бог с ними. Без нас обойдутся. А мы без них век обходились.

Привет!

Аркадия и Олег Лишины. Отряд «Дозор» (Москва)

Татьяна Сергеева: Лишины поехали после окончания университета по распределению на Тянь-Шань, но потом сами выбрали другую точку. Переехали и работали в заповеднике рядом с Североуральском, затем там же перешли на работу в интернат. И вот именно с этого интерната все и началось: они стали заниматься с детьми, во-первых, краеведением усиленно, во-вторых, спелеологией,

потому что там много интересных пещер, а потом и военными играми.

Аркадия Константиновна Лишина: Не типа «зарницы», понимаешь, а игры на испытание себя. Старались ставить ребят в сложные ситуации.

Т. С.: Это самое начало 60-х годов. Были там всего два года, но так за это время «наследили», что на базе созданного ими краеведческого музея позже вырос музей города Североуральска. Мы приезжали туда в 82-м году в поход с московскими школьниками, и начиная от вокзала и кончая случайными встречными на нас нападали их воспитанники. Уже взрослые. Из всех сил, с большой радостью — а нам непонятно было, что с ними делать.

Потом приехали оттуда в Москву и получили жилье в Петрово-Дальнем^[51]. Работа у них была в это время самая разная: и журналистская, и в школе уже работали. В общем, они собрали вокруг себя местных трудных подростков.

А. К.: И что делать было с ними? В походы не поведешь. Время у костров они проводили, а потом уходили курить, материться. Ну и решили придумать что-то серьезное, связанное с войной. Стоял тогда вопрос, помню, что или на основании песни «На Безымянной высоте» работу строить, или в районе Вязьмы. Решили, что все-таки Вязьма, так как воевало там ополчение бауманское, а мы в то время имели к этому району отношение. Стали сначала туда возить ребят. Это еще были 60-е годы. Первый, кого мы там похоронили, — шофер Витя из Москвы. С этого началось все. Команда у нас вроде бы и военизированная была, но, понимаешь, даже сын старший Коля^[52] пришел однажды с «зарницы» и сказал: «Ну и противная эта игра!»

Мы делали объявление, что в двенадцать часов ночи у всех сбор у водонапорной башни. Где-то на реке Истре сидела и ждала засада, все измёрзлись уже, а собравшиеся у башни вдоль реки должны были идти туда. С разведкой, со всеми делами — должно было между ними быть столкновение. Это такие у нас в то время игры были.

Т. С.: Они же дети войны, оба два. Когда они работали в интернате — тоже была военная тема.

А. К.: Ну вот игры вроде «За маршем марш» — это же военно-патриотическое воспитание. «Границу» тоже воспринимали как военную игру, понимаешь? Откуда еще у нас пошло, что ребят нужно

прогонять не через эти идиотские игрища, а действительно через какие-то испытания, чтобы человек почувствовал, что это такое? Как тоже издевались над своим ребенком... Кольку Лишина погнали на кладбище ночью.

Т. С.: Братика моего старшего.

А. К.: Ему было лет одиннадцать, наверное, двенадцать. Девочка жила за оврагом, по дороге к Москве, в деревне, и надо было ее через этот мост, через овраг перевести. А он перед мостом ее оставил, сказал: «Дальше одна иди», — и пошел домой. Когда мы об этом узнали — решили, что ребенка надо воспитывать. И дали ему задание. Они с Лишиным пошли к кладбищу: Коля должен был с кладбища чего-то там принести. Он принес, но оказалось, что это... Сирень принес, которая росла у ограды вдоль кладбища. Лишин сказал: «Не-е-ет!» Довел его до входа и запустил на кладбище. Это все среди ночи было, часов в двенадцать. Принес что-то с могилы, цветочек какой-то. Вот так вот. А еще было такое — в лес загнать. Нужно было сюда посветить фонариком оттуда, что зашел глубоко. Статья была у нас — «Ответственность. Доверие. Риск». Без рискованного действия не воспитаешь, риск всегда должен быть. Только такой риск, не дурацкий.

А коммунарство уже нам помогло создавать коллективы такие. Забота о людях — главное. Забота друг о друге и об окружающих. И дружба поколений. Там не важно, взрослый или вот такой малек, — всех выслушивают, все обсуждается. А от этого уже — к психологии, концепция какая-то пришла...

Мы спрашивали как раз наших «дозоровцев» часто, когда анкетировали, что именно запомнилось им.

Т. С.: А с 7-й Бауманской дивизией народного ополчения была совершенно удивительная вещь. Мы тогда еще общались с ветеранами, пытались выяснить место, где бауманцы в течение трех суток удерживали Минское шоссе. Чем и задержали немного наступление немцев, потому что немцы тогда еще не обходили, а разбирались с группировками такими на дорогах. И вот в том месте, которое обнаружили (на самом деле бои были ближе к Вязьме), поставив перед фактом местные власти, установили солдатскую пирамидку. Тогда же, когда хоронили Неизвестного солдата у

Кремлевской стены, студенты-бауманцы и вот эта трудная шпана хоронили шофера Витю.

А. К.: Почему он шофер Витя: наши ребята встретили в Вязьме машиниста, который сказал, что он жил во время войны неподалеку, в Чепчугово^[53], ночью был бой, наши прорвались через штаб немецкий (все по-разному отходили тогда: кто рядом, кто прямо через немцев), этот штаб разгромили и ушли. А утром рассказчик с матерью пошел за водой, и они увидели, что между речкой и школой убитый лежит. Мать, видимо, документы солдата взяла, потому что позже называла его шофером Витей из Москвы. Машинист показал, где он лежит. Это и был наш первый захороненный.

Т. С.: У этой 7-й дивизии, из-за того что они в окружение попали, ни документов, ни знамени, ничего не было. Поэтому по законам того времени им никакой памятник в принципе не был положен. Мы просто власти предупредили, местные жители собрались и установили пирамидку. А получилось так, что с тех пор бауманцы много лет туда ездили на специальном автобусе 9 мая: они считали, что это их место. Сейчас там стоит огромный монумент, с 80-х годов. О шофере Вите на нем ни слова.

А. К.: А сейчас уже и могилу его не найти, не знаю, что с ней. Мы-то хотели как: чтобы был и шофер Витя, и войска Бауманской дивизии. Чтобы вот так ступеньками было. По про Витю забыли.

Расскажу про Олега. Его родители восстанавливали Днепрогэс. Отца отозвали с фронта, они оба были гидроинженеры — и мать, и отец. Это война еще шла тогда, когда их отозвали туда. Олег там украинский язык учил и шлялся с пацанами по всем этим колючим проволокам, окопам, мертвым, оставшимся висеть на этой проволоке. То есть детство было вот такое, как у многих наших подмосковных сверстников. Потом был Мурманск. Родители с голодухи загибались тогда, уехали с Днепрогэса, завербовались на Север. Где река Кола впадает в Баренцево море, стоит электростанция, которая всю войну обслуживала Мурманск, немцам не удалось ее разбомбить. Пу и там у Олега были те же пересечения с военными делами, там было у него краеведение, когда в школе учился. А потом очень ярко было то, что однажды уехал он на картошку, а после приехал на побывку в Москву. Осенью, из института своего. Приехал, значит, — вот такие у него глаза, говорит: «Где здесь "Волоколамское шоссе" Бека?»^[54] Говорит:

«Я, видимо, попал в эти самые места». И сразу, через книжку, появился интерес ко всему этому.

Начали ездить на раскопки в деревне Вашурино. Вот там эти могилы, которые сейчас уже Таня пытается отстоять, с ума сходит. Мы похоронили там очень много и безымянных, и с именами, а начальство все это отказывается теперь признавать, будто этого и не было. Там на памятнике новом две или три фамилии из наших, а остальных, говорят, не было. Им нужно доказать теперь, расписать, кто, где и когда захоронил. Но мы же акты тогда никакие не составляли, понимаешь. Бабки нам рассказывали, приходили с Новлянского^[55], что «под этой вот ветлой, я присутствовала девочкой, хоронили 16 человек». Ну мы раскопали: действительно 15 человек лежат один на другом, а под ними 16-й — Коля Смирнов, с документами, со всем. Его, видно, волокли откуда-то, зная, что будет бой за освобождение Новлянского, притащили сюда с собой, знали, что будет захоронение у церкви. И мы историю этого Коли вскоре узнали со всеми подробностями, что и чего. На Арбате они жили, все у нас про Колю было собрано. Представляешь? Но Коля погиб — это когда уже наступление было.

А у нас до того интересный материал лежит. У нас вся переписка с родными Бориса Елкина — это любимый персонаж Олега, всю жизнь у него на столе стояла его фотография. Питерский парень, в 40-м году попал в армию. Уже образованный был, закончил десять классов. Он в первых же боях очень мерз, и ему прислали бурки^[56] белые такие и свитер. Так мы его в этом свитере в клеточку и откопали. Он тоже лежит в том захоронении, за которое Таня бьется. Это же так давно было, не одну осень, с 82-го по 85-й год мы там копали, а теперь требуют доказать.

Т. С.: В 83-м году к нам неизвестный мальчишка привел дядьку, скульптора из Литвы, который говорит, что он долго искал в Подольске, запросы делал по поводу своего бати. А он родом с Алма-Аты. В Подольске ничего официально не было. И одна женщина ему написала письмо, что ей попала книжечка с мемуарами, и там описывается захоронение в Вашурино, что в том числе там хоронили и Стишко с другими бойцами — а это фамилия его бати. Деревня Вашурино — это Волоколамский район. И вот он туда приехал. Просто приехал, встретился там с Сережкой, местным мальчишкой,

который потом с нами работал, а Сережка^[57] привел к нам. Вот я не помню... Но моей памяти, это был 83-й год. Он пришел, и мы с ним договорились, что на следующий год будем поднимать.

А. К.: А мы и до этого за этой могилой ухаживали как за заброшенной.

Т. С.: Мы с этим человеком, прежде чем поднимать могилу, договорились, что все находки оттуда будут его, отдаем ему. Отдали. Среди находок был в том числе перочинный нож, фаянсовые кружки с логотипами РККА. Ключи опять же, как обычно. Он все эти находки взял и показал маме своей. Нохоже, что отвез в Алма-Ату. И мама узнала ножик, потому что она за ним бегала: они пошли на призывной пункт, а ребенку-сыну было тогда года три. Он был на руках, начал плакать что-то, отец так по карманам хлоп — и понял, что нож забыл. Она говорит: «Ты не возвращайся, сама сбегаю». И она этот нож держала в руках, поэтому и запомнила. Нотому что мы еще до этого сомневались. Вот мы копаем на раскопе, а он говорит: мол, мне местные говорили, тут лейтенант лежит, в лесу где-то тоже лежит, я вот и не знаю, где именно папа. Я говорю: «Ну, давай поднимем, разберемся с этим местом». Вашурино же — это деревня, но ведь и окрестности — это та же деревня. Кто его знает. В мемуарах написали... Но его- то фамилия есть на этом памятнике, Стишко, она есть. Свою-то фамилию он пробил. Я даже проверять не стала, Сережка говорит, что он даже пробивал, чтобы именем его отца какую-то школу в Москве назвали. С какого бодуна — не знаю. Я не проверяла. Может, он в 80-х и пробивал, но все благополучно забыли, только пообещали. Может, это в деревне там было представлено — у них там много кто в деревню с войны вернулся, а тут какой-то лейтенант, без особых наград, и вдруг его именем школу. Я даже проверять не стала. Но то, что он скульптор, что он с Министерством культуры общался — это было. Но, опять же, он мог представить все как угодно, но на связь со мной он не вышел, хотя ему передавали лично в уши, что я его ищу. Я передавала свой скайп, вотсап, вайбер — у него дети взрослые. Ну хорошо, они не говорят на русском, бога ради, но он-то говорит на русском. Соединить-то могли. Да, у меня были друзья, разговаривающие на литовском, даже в самой Литве. И мой друг рассказывал ему о том, что я его ищу. Ну ты отзовись — нет, не отозвался. Ну, значит, судьба такая. Я же восстанавливала все это,

мне по дням важно было расписать хронологию, и мне очень его не хватало, чего он скажет. Мы делаем дневники теперь так, как будто это все было вчера, хотя они были написаны еще тогда, по горячим следам. Понимаешь, наверное, это я дурака валяю — никто это все проверять не будет, им это не важно. Потому что все те записи, которые у нас тогда были, их уже нету. Я по отцовым каким-то дневникам восстанавливаю из ежедневника, еще кто-то что-то помнит. Фотографии с альбомами остались, в которых есть пара слов, у кого-то еще что-то... Я поднимаю информацию, потому что это скорее мне важно: как это было приблизительно, люди, которые там были, судя по фотографиям. Я-то хотела ему конкретные вопросы задать. Если это могила его отца, то он наверняка многое помнит: когда было захоронение, в какие числа поднимали могилу, еще какие-то вещи. Он мог это запомнить, но со мной он не вышел на связь. Хотя ему говорили про меня, а он людям врал, что пытался мне позвонить. Если бы пытался — что-то бы проявилось.

[...]

Волоколамский район как место походов появился, когда Лишины работали в 38-й школе. Это середина 70-х. Тогда «пошла» книга «Волоколамское шоссе», и мы начали ходить по тем местам, буквально маршрутами Бауыржана Момышулы^[58], командира этого батальона. Ходили именно под чтение этой книги, расспрашивали местное население.

[...]

Мне удалось с Бауыржаном поговорить. Все пугали: «Вы не обижайтесь, если он вас пошлет и не станет разговаривать». Я отвечала: «Пу и хорошо, телефон-то его дайте». Я успела где-то за полгода до его смерти пообщаться с ним по телефону. Он обещал, что если отец ему напишет, то он обязательно ответит. По времени ему уже Бог не дал. По ни фига он меня не послал. Он в санатории тогда лежал. Я ему рассказала, кто мы, что делаем, потому что Валя Панфилова тогда... позиция у нее была такая, что *там* виднее, лучше не идти наперекор ЦК партии. Дочка генерала Панфилова.

А. К.: Она была медсестрой у него.

Т. С.: Ведь там же путаная история была, с 28-ю панфиловцами. Там же не все погибли. Я приехала к ней с предложением продолжить то, что делали журналисты «Комсомолки», по отношению к этим

живым восстановить справедливость чтобы. Но никто не захотел связываться... Зато поговорила с Бауыржаном немножечко. Сам Бек тоже с ним общался долго, пока книгу писал. Вся эта книга — она на рассказах Бауыржана. Просто Бек вот так вот классно изложил. Сам Бауыржан уже позже писать начал. И, на мой взгляд, он тяжеловато писал. Бек, он более литературный все-таки. Бауыржан сам по себе суровый был мужик, немного категоричный, даже по десяти-пятнадцатиминутному разговору по телефону это чувствовалось. Может, конечно, перед этим напугали, но я вроде на это внимание не обращала: пошлют — пойду, не пошлют — не пойду.

А. К.: Да. А потом, когда население это рассказывает, что здесь лежит 700 человек и здесь...

Т. С.: Когда я в 82-м году пообщалась с панфиловцами в Алма-Ате, с ветеранами, они меня спросили: «А останки людей вы не находили?» Я говорю: «Нам только рассказывали, сами еще нет, не занимались». И буквально спустя год мы созрели. То есть в 81-м году пришли мы в Новлянское, и местная тетенька, которая, кажется, работала в сельсовете, она мало того что показала около храма разрушенного братскую могилу, за которую у нее самой душа болела, именно эта тетенька нам и показала, где можно сделать захоронение: голый холм на развилке дорог, чтобы там точно не было помойки никогда. Чтобы это было место, которое, грубо говоря, на яру — его отовсюду видно. Там мы после и захоранивали, три года точно. И потом приходилось же какие вещи еще решать. Есть там деревня Владычино^[59] такая, где нашли захоронение в 700 человек наших солдатиков. А на нем стояло навозохранилище. Изначально там даже не одно было захоронение, там были овощехранилища, под завязку забитые трупами. И в одном только было 700 человек, а всего сколько их было — может, два или три. Еще в 50-е годы местный военкомат отчитался, что они все перенесли. Но на краю этой деревни жил бывший фронтовик, он видел и знал, кто и сколько останков оттуда перенес. Местная сволочь-чиновница забила эти овощехранилища отходами, навозом. Ну и началась у нас война. Какая власть станет признаваться в подобном? Никакая. Только после статей в прессе в Москве, в «Литературке» и в «Комсомолке», и передачи «Пионерская зорька», где об этом рассказали, власти зашевелились. Нам сказали: «Хорошо, мы дадим вам бульдозер и посмотрим! А если там ничего не

будет, как вы будете смотреть в глаза этой честной женщине-труженице?» Той, которая все это устроила и отказывалась признавать.

А. К.: Ну собрались, открыли. Ужас что началось. Все власти стоят, смотрят. Наши, значит, роют, где это возможно, пуговицу нашли нашу солдатскую — те уже напряглись.

Т. С.: А потом попалась граната — тогда уже военкомат как ломанется от этой ямы! Был цирк. Останки в результате нашли и там поставили памятник.

А. К.: А людей, которые эту историю подняли, Виноградовых, как травили за то, что они «подняли лапу на честную женщину, честную труженицу»! Там же как было: сначала там вообще хотели строить пансионат, приехал прораб из Москвы. Копнули — и кости полезли. Они сказали: «Чур-чур-чур», — и уехали оттуда, не стали ничего строить тогда. Это Виноградовы нам рассказывали, откуда они об этом знали. Нас вот такие вот истории и затягивали во все это.

Т. С.: У нас был обязательный формат — агитбригады. Кроме опросов еще делали концерты для местного населения.

А. К.: Стало понятно, что нужно как-то осмыслить все это, нужно отрываться от костей, от грязи окопной.

Т. С.: Концерты посвящали, например, местным жителям, которые с войны не вернулись. У нас были ребята, которые в первый раз в жизни там читали стихи. Нэтэушники-краснодеревщики — шпана шпаной, но как душевно они читали! Ноэта Белаша^[60]. Это непередаваемо. И они до сих пор, на всю жизнь помнят эти строки.

А с 88-го года мы ушли во Ржев. После того как в Волоколамске вскрыли это навозохранилище, нам пришлось уходить — работать там уже не давали. И ушли плавненько во Ржев. Наверное, с 87-го даже. А во Ржеве уже началась совершенно другая песня. Но там мы дружили с властью.

А. К.: Дружили с местным военкоматом, там работал очень хороший мужик, который нас поддержал. Машину давали.

Т. С.: И параллельно, чтобы это не выглядело как сплошной раскоп — что очень важно, на мой взгляд, — мы постоянно посещали с 92-го года Михайловский заповедник, Нушкиногорье. Мы пошли туда в поход, а выяснилось, что туда приезжали группы со всей страны и помогали заповеднику. Стояли там лагерем и помогали. А заодно

изучали Пушкина с ребятами. Потому что Пушкина никто не отменял. Там, помимо всего прочего, ходили по местным деревушкам, например, Бугрово, встречались с ветеранами, с бабками разговаривали про то, что у них было во время войны. Местные рассказывали про свою войну. Все равно ведь от этой войны никуда было не деться. В 90-х же еще были и ветераны, и бабульки, которые войну пережили.

А. К.: Все время шла работа на развитие ребят. Вот, например, у нас был специальный опросник местного населения, могу прочесть: «Нельзя воспринимать хождение с опросом как легкое дело, это тяжелый и ответственный труд. Задача — четко записать, зафиксировать. Общие принципы: опрос должен проводиться исчерпывающе, нужно стараться, чтобы информант дал все, что вам нужно. Возникла проблема — нужно решить ее сразу. Пикто не будет говорить, пока не представитесь. В деревне надо все рассказывать. Желательно не переполошить людей в деревне (наш приход — это событие)». Мне вспомнился рассказ мамы Олега, моей свекрови Людмилы Андреевны, как во время их экспедиции по северным губерниям все жители сбегали в лес, когда отряд входил в деревню. Это в 20-е годы было.

Дальше: «Старайтесь не орать, ведите себя спокойно и вежливо. Если знаем, что здесь живет учитель, обычно это учительница, которая может создать общественное мнение, то лучше сначала пойти к ней, а потом уже с ней прийти в первый дом. Если нет учителя — найти бригадира. Или зайдите в крайний дом, познакомьтесь, расскажите о поиске. Мы — поисковый отряд, восстанавливаем историю войны в этом районе. Вся информация будет впечатана, она интересна для музеев. Это льстит. Далеко не сразу будут говорить то, что надо. Будут вспоминать довоенную жизнь, говорить о нынешней. Корректировать не надо, надо дать выговориться. Мы всегда говорили, что это тоже очень интересно, что это нужно записывать. Нужно быть хорошим слушателем». У меня есть воспоминания одной девочки, она уже умерла, кажется, в ранге бабушки, она писала, как была на поиске в первый раз. Под дождем. Как она это все увидела. Как руки замерзли. Очень интересно.

[...]

А. К.: Каждая бабка говорила свое, не все они были одинаковы. Но все они приходили к тому, что лишь бы не было войны.

Т. С.: Немцев они вообще редко вспоминали.

А. К.: Недавно я буквально про это читала. Немцы сами писали, что русские женщины были гуманные, понимаешь? Что они даже воспринимали их как своих родных. Немцы такое писали.

Т. С.: Не помню, какие это были годы — конец 80-х или начало 90-х — приехала от немцев в Россию делегация. Вот не жилось им, захотелось посмотреть на места своей молодости. Это было перед тем, как начали строить во Ржеве немецкий мемориал — местные не хотели его. Коммуняки там тоже вылезали: мол, нашим надо мемориал ставить, а немцам на фиг? И, понимаешь, привозили их на автобусе в какие-то отдаленные деревеньки в Тверском районе. Там немцам не дали даже из автобуса выйти: пришли местные и закидали камнями. Они так и не вышли. Потому что в этой деревне немцы во время войны поубивали детей, женщин, пограбили. И им не дали даже выйти. Вот это я очень хорошо запомнила. А с другой стороны, вот наше Нефедьево^[61], километров пять, может быть. Немцы пришли и заняли половину деревни. На второй половине типа были наши. Женщина одна мне рассказывала, что немец стоял у нее в доме. Он днем прибежал, сказал, мол, собирайся, сейчас бомбить будут, мы уходим. Нод Вязьмой мне тоже рассказывали, как один немец стоял на постое, не выгнал из дома хозяев, а вкусненьким подкармливал. Нод Боровском мне местные бабки рассказывали: у них румыны стояли. Сильно они не дурили, но огромная обида осталась: не дали закрыть подпол, в котором картошка была. Грабанули, взяли оттуда, но не разрешили закрыть дверь, и картошка померзла. А это же крестьяне, они ж на этой картошке жить должны были... И корову угнали. Мамка бежала за коровой, потому что дома дети малые, ей сказали: «Если сейчас не уйдешь, мы тебя пристрелим». Вот память, она избирательная: каждый помнит свое.

А. К.: Я рассказывала эту историю замечательную? Немец подходит к деду: дед в одной семье валенки надел и пошел встречать немцев. Потому что он в германскую войну был в плену, а тут немцы пришли. Они его с собой прихватили, валенки с него сняли — еле обратно до дома дотопал. Вот такая была встреча с цивилизацией. Культурных немцев встретил.

Т. С.: А я помню, как в Бородино походом шли. Дедка-лесника встретили.

А. К.: Старый дед.

Т. С.: Так они с мамой по-французски схлестнулись. Он, оказывается, был во Французском легионе во время Первой мировой. Наши там оставались: кто смог — вернулся, кто не смог — не вернулся. Он вернулся. И вот они зацепились. Ощущение было непередаваемое.

[...]

Т. С.: По крайней мере это передача традиций, это история края, история конкретной деревни. Потому что можно функционально относиться: вот здесь кого-то закопали. «Черные» поисковики так и работают. А если ты понимаешь, что это были люди, то тебе важно, как все это было. У нас даже такое коллективное творческое дело было: ребята сидят у костра, часов одиннадцать вечера, даже разбор полетов уже прошел, а к ним выходят люди, которые будто бы из окружения пробиваются. И вот они выходят в круг наших ребят и начинают с ними разговор. Как будто два времени встретились. Какой-то фильм был даже на эту тему не так давно, в районе десяти лет назад.^[62] И вот сидят ребята у костра, а к ним выходят три человека. Из наших же, просто они к этому заранее готовились: они и одеты были в полевую форму советскую. Начинается разговор, и два разных поколения между собой так общаются. Одни — на фронте, из окружения, а эти — из сегодняшнего времени. Два или три раза мы такое дело проворачивали, не больше, так как оно очень тяжелое в плане подготовки, идет часа три, каждый раз это был долгий разговор. А ребята благодаря вот этим опросам, благодаря погружению в такую работу уже понимали, что они не скелет вытаскивали и не череп, а именно человека. Такой разговор — это помощь в погружении, чтобы относиться к костям не как к вещам, а как к человеку, у которого есть родня. Мы же когда искали потом родных, по медальонам или личным вещам (если находили) узнавали, откуда человек и каким он был при жизни. И они нам рассказывали. Вот эта фотография у бати, Бори Елкина — мы же практически всю его жизнь короткую знаем. Там, где это можно было уточнить, мы обязательно уточняли.

А. К.: Я же говорила, что у нас есть его письма родным, девушке, сестре.

Т. С.: Родня нам и писала, и на захоронения они приезжали очень часто. Тогда и рассказывали: какой был человек, что и как. Точно так же и эти бабки. О своих погибших, не вернувшихся с войны, рассказывали, какой был человек. И мы тогда в агитбригаде, в итоговом нашем концерте делали посвящения или песней, или стихом конкретному человеку. Потому что мы о нем немножечко уже узнали, что он был за человек. А иначе — это как раз то, чем занимаются «черные». Они тоже работу выполняют, костяки передают ребятам, которые захоронениями занимаются, но сами не забывают и карманы обчистить, грубо говоря, и вытащить золотые коронки. Работа у них такая, они на этом зарабатывают. У нас же ситуация была немного другая. Колька, мой брат, тоже поисковик, он деньги у государства никогда не брал. Всегда всех за свой счет таскал, хотя своих дома трое детей. Лишь бы не было всех этих отчетов.

А. К.: Да, потому что это жуть. Я работала методистом в Доме пионеров, и как только была возможность — сбегала. Мы даже не писали, что уходили в поисковые экспедиции.

Т. С.: Самое интересное с этой могилой, про которую уже говорили. Мы же некоторых из тех людей поименно, можно сказать, знаем, родственников знаем. А год назад поехали на дачу и заехали туда. Там 46 фамилий указано, из них только три или четыре нам известны, остальные просто левые. Тех, кого мы нашли, — просто нету^[63]. Зато все красиво: новые памятники на ножках. И вот я теперь не понимаю, как мне вернуть справедливость, потому что, когда я пыталась говорить с местной администрацией, у меня потребовали акты эксгумации. Я им говорю: «Ребята, какие в начале 80-х акты эксгумации, вы о чем?!» Мы что, втихаря их там похоронили? Мы митинг там устраивали, милиция приезжала, администрация.

А. К.: Местный мальчик Сережа, с которым мы там хоронили, он потом и сам тоже в поиск ушел. Когда он нам про это рассказал, мы обрадовались. Как хорошо: на этом месте, значит, еще людей нашли. Оказалось, что министерство культуры прислало разнарядку — увековечить вот эти фамилии. И срочно там сделали баскеточки на ножках, на которых написали эти фамилии. Увековечили. Кого? Чего?

Т. С.: А ведь там был и наш камень раньше, на котором были выбиты нами фамилии плюс количество неизвестных солдат. С одной

стороны, должно быть уже все равно: столько лет мы жили и не знали, что там, знали, что там наш памятник и все.

Но когда я посмотрела сама на это — не могу успокоиться. Как же так, а Колокольчиков, а Боря Елкин — их же родственники знают, что они там лежат. А вот эта паспортизация братских могил, когда можно зайти в интернет и посмотреть: их же там не будет. Это как, это второй раз имя отобрали? Мы же поднимали.

Поэтому я сижу и уже несколько месяцев восстанавливаю, потому что поколения уже выросли, народ разлетелся-разбежался. Приходится даже дневники тех экспедиций собирать, чтобы вынудить власть дать нам добро. Мы сами все сделаем. И бог с ними, этими фамилиями, которые левые, которых там быть не должно. Если их некуда девать — пусть будут. По ребята, те, кто там изначально лежал, за что с ними так?

А. К.: Там уже огромные сосны выросли, а было все голое.

Т. С.: В прошлом году, по-моему, перед 9 мая, товарищ Жириновский (наши депутаты же объезжают места боевой славы) посетил Дубосеково^[64]. Ему так понравилось, он говорит: «А у меня дядя тоже погиб где-то здесь, под Волоколамском. А давайте мы на вот этом памятнике укажем и моего дядю!» Они взяли — без всяких документов, без всяких актов эксгумации — и впендюрили туда новую фамилию. Это в историческом месте, где был бой панфиловцев! Понимаешь? И все нормально, ему можно. Это мне теперь говорят, что надо предоставить документы. Жирику можно. Зашибись.

Паспорта на могилу делаются кое-как, это новодел — если копануть вот эти фамилии, окажется, что люди захоронены из совершенно других мест. С Красной горы, еще откуда-то. С окрестностей снесли туда. Либо вообще придумывают — ведь не проверишь. После того как мы в начале 80-х там прошли, там никто не копал, а документам их — лет десять от силы. А по факту там не хватает фамилий. Стоят отдельные таблички с упоминанием местных двух пацанов. Ребята, то есть сначала вы не знали, что у вас здесь солдаты, а теперь еще и мальчиков нет? Так удобно. Это при том, что у них оптимизация тоже, которая у нас по стране идет: с больницами, со школами. У них чем меньше могил — тем лучше. Поэтому они теперь нарисуют в этих паспортах братских захоронений, что они

оттуда перенесли, отсюда перенесли. Они нарисуют все что угодно. Ты теперь залезешь и даже не найдешь, откуда все эти фамилии. Как они их «отмыли». А если сейчас у нас не получится эти имена обратно вернуть, то нужно поднимать бучу. Потому что я чувствую... Я понимаю, что сейчас другая ситуация с прессой, чем раньше. Но какую-то бучу поднимать надо, о том, что так погано с этой могилой обошлись. Мы сейчас хотим по-нежному обойти все эти препоны, нам главное заставить их вписать в паспорт могилы наших, которые там изначально лежали. Мы же это место делали. Фотографии я нашла. Слава богу, негативы есть, сейчас будем печатать: там видно, как мы эту могилу делали с раскопов, кроме одного, потому что он ночью был и тогда дождь со снегом шел. Фотографии почему-то не очень получились. Еще жив мужик, который нам это место показал, где лежали убитые панфиловцы. Если военкомат откажется по новой... Ни к администрации не пойдем, ни к кому — только в военкомат. Вот у нас доказательства — давайте что-то думать.

Т. С.: Нам одна училка все говорила, когда узнала, что войной занимаемся, что вот там, в Степановском, солдатик лежит в овраге. А войны не было — не дошли туда немцы. Просто стояли и ждали штабы наши. Два штаба сибиряков там было. И один парень ходил минировать дорогу — подорвался. Ну подорвался, его принесли в избу напротив штаба. Видимо, документы забрали. Раздевать не раздевали. Мы доехали до этого оврага, перекопали, останки нашли. А захоронили сюда, на наше кладбище прикопали. И пошла я в военкомат. Говорю: «Мужики, ну чего делать будем? Вот такая вот фигня». У них глаза загорелись: «А давай у Вечного огня в Красногорске захороним!» Я говорю: «А с вас родню по седьмое колено не спросят перед этим?» Потому что я даже не знаю, как его зовут, документы его штаб забрал. Они задумались. Говорю: «Давайте по-мирному. Есть же госпитальные захоронения в Нахабино, поблизости где-то». Еще была у меня идея в Снегири его отвезти, потому что там памятник сибирякам. Позвонила им: «Товарищ генерал, вот ваш, сибиряк». Они говорят: «А как его звали, а откуда он?» Я говорю: «Это же ваши штабы там стояли, не мои, меня на свете тогда не было! Вы же у нас ветераны. Поднимите архивы». Отвечает: «Вы знаете, там тогда такой бардак был!» Удивляюсь: «Это вы мне говорите? Если офицер забрал документы, значит, была

похоронка, был приказ минировать, где-то же должна быть эта запись. Поднимите архивы, вы же совет ветеранов! Вперед». Договорились с нашими военкоматскими, что захороним в каком-нибудь госпитальном захоронении. А дальше пошло еще веселее. Потому что когда ты работаешь на территории, где были бои, — одно дело. Вот приходишь во Ржеве и говоришь, что у нас примерно столько-то человек, нам надо столько-то гробов. Па один ящик получается обычно человек десять. В советские времена еще было. По заводам давали задание сделать эти ящики. И вопросов ни у кого не было. А здесь к коменданту местной части, значит, вызывают меня и администрацию. Комендант говорит: «Домовину надо!» — он офицер, понимает, что от человека остаться могло. Администрация возражает: «Пет! Гроб!»

В общем, я им просто показала, где останки прикопали, мы уезжали как раз тогда, меня могло и не быть. А коменданту говорю: «Ты с ними не спорь, это бесполезняк. Им надо, чтобы было красиво. Вы когда гроб с кладбища понесете, лапника туда положите, чтобы кости не гремели, и все». Бабка одна чуть от страху не умерла, когда увидела, как гроб с кладбища выносят. Пришлось ей объяснять. То есть там ни хрена не понимают, ни о чем с ними не договоришься.

Школа у нас была где-то до 77-78-го года, потом мы ушли в школу-интернат. У нас меняется все: мы переходим в пресненский Дом пионеров и параллельно работаем с интернатскими детишками из начальных классов и немножко со средней школой.

А. К.: Я там работала воспитателем.

Т. С.: Проводим маленькие сборы, большие летние сборы — сил в это угробливается просто немерено, это ужасно. Такое ощущение, что на тебе воду возили. По это была настоящая работа, без дураков. То, что мы в них вложили... И потом нам говорили люди, которые в интернате оставались работать, они говорили, что те детки, которые прошли нашу школу, особенно начальную, — они их называли интеллигентным классом. Сначала были краеведческие походы, но потом к нам присоединились студенты МАПИ, студенты МХПИ, студенты МГУ и старшеклассники.

А. К.: И всегда мелочь была. Пятиклассники. Разновозрастная получалась банда.

Т. С.: Просто место дислокации по Москве у нас менялось, и от этого менялся уровень задач. Потому что в школе это был комитет комсомола и пионерский штаб — в это дело наши походы вклинивались. Когда это был районный Дом пионеров — это уже была работа по школам района. Дети приходили с разных школ. Горизонт менялся.

А. К.: Пу да, сделаем коммунарский сбор вечером — и кто-то оседает, идет с нами уже дальше.

Т. С.: Отец работал в МАПИ, оттуда студенты появились. Потом для студентов из Университета попросили провести лагерь — оттуда люди пришли. Когда на раскопках было тяжело — все они помогали. И свои отряды пытались заводить поисковые, педагогически-поисковые. Жизнь все время менялась.

А. К.: А на поиске остановились потому, что это действительно значимое дело, уважаемое в глазах посторонних людей и в своих собственных. И это, и экстремалка.

Т. С.: Это же не грибы в лесу. Дети же понимали, что это боевые места. Подрывы там были, но не у нас — у школьников, которые там жили. Поэтому если своим обормотам не объяснять, что существует техника безопасности, очень было бы опасно. Объясняли и показывали, что за гранаты, где взрыватель, где колечко, на что обратить внимание, когда нашел. Лишний раз не трогать. Если приходится — посмотреть на это и на это. Парод серьезно к этому делу относился. Без этого никак. А потом сидишь и слушаешь, когда народ весь разошелся, — вдруг где чего бахнет.

А. К.: Я однажды бежала, как псих ненормальный, это было подо Ржевом. Сидела в лагере, нога болела, и вдруг с той стороны, где работал народ днем, крики услышала. Как я туда ломилась! Примчалась — а они просто реку переходят, хулиганят. В общем, и для нас экстрим, и для них экстрим был. И как-то, знаешь, втянуло это все. Ходили и подо Ржев, и в Подмоскovie, продолжали искать.

Т. С.: Мы давали молодежи почувствовать самостоятельность...

А. К.: Конечно, они книги читали прямо на окопах. Просто люди уходили, допустим, четыре человека, куда-нибудь на окоп. И читали там про эти места, скажем, того же Кондратьева^[65]. Четыре человека или пять уходили на ночь из основного лагеря подальше и там читали книги свидетелей. Старших с ними не было — все сами. А потом и

копали на этом месте. Очень много такого делали, чтобы, знаешь, прочувствовать.

А. К.: И так, знаешь, не костер делали, а в касочке огонь разводили, чтобы скрыто было. То есть приближено все к ситуации. Есть даже воспоминания об этих ощущениях, как дети это переживали. И мытье костей было чем-то из этого разряда. Одна девочка записала в дневнике, что думала, мыть будет проще, чем работать в раскопе, а вышло наоборот. Причем мы же никого не заставляли, понимаешь. Человек созрел и шел. Родственников ребята сами искали: и переписывались с ними, и искали.

Т. С.: Я помню, как мы в Бородино в поход пошли. Это было что-то. Дождь поливал, мы все мокрые пришли на Багратионовы флеши. И мама взяла «Войну и мир» читать на это место...

[...]

Т. С.: Это был 87-й год. В 88-м мы немножко походили по Волоколамску. А в 87-м, 88-м и далее — у нас уже был Ржев. Я только не помню, по кондратьевским местам мы с самого начала работали или потом. Помню, как показали нам «базу», и там пошло дикое количество погибших. *(Татьяна обращается к Аркадии Константиновне.)* К вам же пришел Логинов и сказал, что на том берегу классный лагерь и классное место для стоянки. У нас была такая группа, краснодеревщики из техникума, трудные подростки. Вели себя самостоятельно, отдельно хотели быть, анархисты. И Логинов — вот один из этой «золотой роты», как они себя называли.

А. К.: Мы сначала на правом берегу Волги стояли, там был какой-то памятник уже, там забацали большой концерт с перечислением всех убитых, называли их поименно, по списку. Там очень много народа погибло... Потом перебрались туда, где лагерь, на правый берег. Галина Петровна, она была сторожем пионерского лагеря в Тимонцево, сказала: «Можете занять палатки». Там военный лагерь из Ржева стоял, завод какой-то поставил палатки, был лагерь при заводе военизированный, ребячий. И, значит, они пустовали, Галина Петровна нам сказала: «Давайте, три палатки можете занимать». Она была руководителем этого лагеря много лет, мы столько всего потом съели с ней, что мы уже родня. И постепенно мы там приглядывались друг к другу, знаешь. Поняли, что она очень интересная тетка. Она дочка машиниста, который последний эшелон

из Ржева выводил. Галина эта долго к нам присматривалась, когда в лагерь жить пустила, а мы — к ней. В общем, оказалось, что она все денежки, которые накапливались, тратила на поездки: по всему миру путешествовала. Тогда ограниченный контингент же выпускали, но поскольку она дочка «последнего машиниста», из уважаемых людей, ей давали путевки. И мы тихонечко из разговоров поняли, что она много всего знает, сказали ей: «Тетя Галя, вы бы перед нашими ребятами-то выступили». Ей пришлось во Ржев съездить — фотографии, то-се. В общем, забацала целую лекцию нам про то, в каких странах была. И так тихонечко и подружились. Интересная женщина была.

Т. С.: А в первое лето вы сколько там людей достали?

А. К.: Там же стояли огромные солдатские палатки, мы в этих палатках и жили.

Т. С.: В каких-то жили, а в каких-то хранили же останки людей. Я в эту экспедицию там не была, я фотографии смотрела, и рассказывали они тогда. И, по ощущениям, там было найдено в первый год 200 или 300 человек — какое-то невероятно количество, тяжело было в этом плане. И ощущения совершенно обалдевшие.

А. К.: Вот смотри, фотография: черепа, черепа, черепа и на руке у девчонки мозги человеческие...

Т. С.: Это Новгород. Мы в тот же год через знакомых поисковиков туда попали, через тех людей, которым мы были симпатичны. Потому что в 88-м такого счастья уже не было: через комитет комсомола обязали всех большую Вахту памяти проводить, хочешь или не хочешь. Там пригнали всех подряд, в том числе и вояки были. Кто же у нас тогда был секретарем ЦК комсомола? Уже забыла его фамилию... В общем, там покрасовались все кому не лень. На кассетах это, наверное, будет.^[66] во время одного из поисковых семинаров казанский парень говорил, что они в Мясном Бору были рады видеть и обучить работе тех, в ком мы уверены. А после 88-го года пришлось многое разгрести, все, что там наваяли. И на отвалах посидеть, по второму разу прочесывать места, просматривать. В общем, наделали делов.

А. К.: Да там вообще даже фашисты были. Чуть драка с ними не случилась у нас. Gott mit uns^[67] и вообще... Вот так, приехали откуда-то.

Т. С.: Все кому не лень на эти вахты приезжали. А эти особо и не скрывались, националисты. Они ж тогда по Москве маршами ходили. Это были те же самые подростки, что и у нас, молодежь. Все то же самое, просто у этих шило в одном месте. С Москвы, с Питера. Класа с пятого уже скинхедами ходили. С пятого, с шестого. К фашикам примыкали, к нацикам примазывались эти скины. А как они в поиск попали? Это было модно же, было интересно. Дело, за которое себя можно уважать, галочку поставить, что мы тоже были, мы тоже видели. Потом задним числом их уже выгнали те отряды, которые поначалу принимали и тех, кого не надо было.

Т. С.: Тебя спрашивают, когда пошли первые вахты большие, Орлов там был?

А. К.: Да, они встречали ребят, да. Мы через их сторожку прошли. К ним зашли, когда приехали туда, чтобы знать, куда нам дальше. А знакомы, наверное, были только с Сашей^[68], с которым Олег переписывался. А как познакомились — я говорю: как только приехали, пришли к нему в сторожку, а не сразу пошли в лагерь. Они там жили, при железной дороге. Орлов обычный был, парень как парень. Поисковикам помогал. Пе «черный» был, понимаешь? Он же начал с того, что начал понимать, что надо посылать весточки тем, кого нашел. Потому что тогда не принимали таких за погибших, приказ Сталина какой-то был про врагов народа. Он понял, что надо сообщать, и начал. А когда вахты начались, он, конечно, был с поисковиками.

Т. С.: Первыми там казанцы^[69] появились. Они поехали искать могилу Мусы Джалиля^[70].

А. К.: Назывались «Снежный десант».

Т. С.: Да, университет казанский. Вот они с Орловым и подружились, а мы через них уже. Па этих кассетах где-то как раз есть казанцы, выступают на конференциях...

А. К. (достала документ из папки): В 2008 году мы писали письмо для Кето, которая работала в Мясном Бору:

Письмо для Кето о Мясном Боре. Март 2008 года.

Сегодня в нашей стране нет, наверное, более неотложной задачи, чем воспитание молодежи. Современная наука — педагогическая

психология — утверждает, что разговоры, поучения и наставления не воспитывают. Воспитывает только участие в добровольной, бескорыстной деятельности на пользу обществу, участие подростков примерно с 12 лет в «труде-заботе». Это дает подростку уверенность в себе и в своих силах, уважение окружающих и самоуважение. Без этих качеств нельзя вырастить настоящего гражданина.

Дефицит общественно полезной деятельности, которую общество может предложить подросткам и молодым людям, ведет к росту молодежной преступности.

Задачу активного воспитания патриотизма взяло на себя массовое военно-поисковое движение, которое только за двадцать последних лет спасло от уголовщины тысячи подростков и юношей.

Одним из символов этого военно-патриотического движения стал Мясной Бор, откуда в январе 1942 года начала наступление 2-я ударная армия. Здесь же через два месяца сжалось кольцо вражеского окружения. Именно рядом с Мясным Бором находится та болотистая местность, которую народ назвал «Долиной смерти», где красноармейцы и командиры проявили массовый героизм, пытаясь с боями вырваться из окружения, оттягивая на себя вражеские войска.

Созданный у Мясного Бора на федеральной трассе мемориал воинской славы — тоже символ для многотысячной армии военных поисковиков, для потомков погибших из всех бывших республик Советского Союза, да и для всей нашей нынешней России.

«Консервирование» (прекращение захоронений) этого живого символа нашей памяти в угоду денежным расчетам и создание нового мемориала где-то в другом месте, удаленном от исторического и традиционного, существенно подорвет веру огромного числа молодых в искренность государства в лице его деятелей, провозглашающих святость всего, что касается Великой Отечественной войны, и снизит энтузиазм многих людей. А ведь на истории и героических примерах Отечественной строится сейчас практически все военно-патриотическое воспитание молодежи.

Не к тем ли людям, от которых зависит решение судьбы новых захоронений у Мясного Бора, обращены слова поэта-блокадника:

Мертвые живых не упрекнут,
Если те смеются и поют.
Но бывает так, что им — венки,
А они сжимают кулаки.

И слова фронтового поэта Юрия Семеновича Белаша:

Уважение к павшим в боях
надо живым.
Мертвым — зачем?..

Такая вот диалектика! Остается ждать, как решится вопрос — в пользу денег или в пользу Памяти.

[...]

А. К.: В общем, в какой-то момент пришли к нам ребята от Юробича^[71]. После знакомства с ним мы уже не боялись лезть в кости, потому что у него даже в школе хранились останки, было много фотографий. Мы, по сути, переняли это дело. По у нас никогда не стояло такого вопроса, что если ты поехал с нами в экспедицию, то ты обязательно тоже копаешь. Пет. Копают те, кто добровольно на это согласен. И без этого много разных работ по лагерю: и готовить, и дежурить, опросы местных жителей всегда это сопровождали. И постепенно мы приходили к идее, что уважение к павшим в боях нужно живым. Мертвым — зачем? [...] Понимаешь как. Поскольку в 70-е годы мы осваивали коммунарскую методику, мы познакомились через петрозаводчан с поисковиками. И с той поры поняли, что это атомная бомба в руках педагога на самом деле. И сейчас эти гады, они же пользуются этим, они же пользуются коммунарщиной, когда все эти Селигеры устраивают для новоиспеченных.

Т. С.: Коммунарство пошло с 60-х годов, а мы в начале 70-х в «Форпосте»^[72] в Москве общались с Игорем Петровичем Ивановым^[73] и с форпостовскими ребятами. Это все в пределах

нескольких лет. Там Лишины эту идею и подхватили. Тогда было несколько ярких таких организаций по Союзу: Питер, Пермь, Петрозаводск. Сначала, наверное, была Пермь, а потом уже Петрозаводск перехватил через одного человека. Мы общались с петрозаводскими. В лагерях, в начале 70-х. Пам говорили, мол, приезжайте, пять человек примем, а мы привозили двадцать пять. И они, бедняги, нас принимали. Пу вот потом и пошло.

А. К.: У Лишина тогда была работа в институте психологии. И он там стал заведующим лабораторией, связанной с подростково-юношеским возрастом. Это был кусок его жизни, но при этом работа научная и работа с детьми не разделялась совершенно. Я ехала в поход, я даже теперь не помню, в каком походе Всеволодович был, потому что приказ был: я начальник, а он заместитель мой. Иначе не выпускали. А я и не знаю, где он был, где не был, потому что я ехала, нарушая вообще все регламенты. Если бы меня поймали на этом — меня просто судили бы. А если бы еще несчастный случай, не дай бог... У меня один раз было такое... Знаешь, ветер поднялся такой, вообще кошмар. А мы на поляне в лесу. Я интуитивно тогда среагировала, сказала: «Выйти всем из палаток!» Дождь, ветер, понимаешь, — а всем выйти из палаток. Чтобы не придавило упавшим деревом, чтобы было видно, куда падает. По иначе невозможно было попасть туда, куда надо было. Требовали всякие бумажки: а питьевая вода, а колодезная вода. Сложно было даже оформить приказ. По хорошо, что нам доверял директор Дома пионеров, поэтому проще было с выездами. Во все дырки, щели лезли, куда можно было, понимаешь. Это смысл жизни был.

Т. С.: Это ведь как у школьников: вот школа, а вот каникулы. Тут одна жизнь, а тут кусочек второй.

А. К.: Одно время были коммунальные сборы, разрабатывание методики, понимаешь. Я не стала работать по специальности, я индолог вообще-то, специалист по Индии. Я никуда не поехала, ни в какую Индию, а уехала к Олегу на Тянь-Шань. Там, как оказалось, мне тяжело работать из-за щитовидки... Как раз был фестиваль студентов первый, поэтому Лишин там остался дальше работать, а я поехала в Москву выбирать место, куда нам дальше. Был Кавказский заповедник и заповедник Денежкин Камень на Северном Урале. Как раз тогда группа Дятлова погибла, в том году, в 59-м. Это же все

рядом. У нас даже про группу своя версия была: думали, что что-то испытывают. И ребята попали не туда. Сейчас уже такие напластования, а тогда мы думали, что это целили в одно место, а попали в другое. Поэтому там боялись радиации — это же все рядом.

А Лишин как в педагогику пошел. Там же много экскурсий проходило — через заповедник, через музей. И Лишин читал там как экскурсовод. А поскольку я турист (а туристов у Лишина на биофаке презирали), решили, что надо писать книжку для туристов про эти места. Я даже сейчас буду поднимать наш материал, потому что очень много тогда было собрано. И растения, и минералы, и история. Там даже лишинским именем пещеру какую-то называли. Про меня вообще такие ходят слухи, что я охотницей была. Идиоты. Просто у меня была такая шуба из дома, отец был охотник, отороченная мехом оленя. И эти легенды пошли.

Т. С.: Я потом с одним местным списалась. Он говорит: «Я про ваших родителей все знаю!»

А. К.: А там родились и Колька, правда, еще грудным я его в Москву привезла, и Танька там родилась. В итоге на педагогику детскую и на туризм Лишин нормально уже смотрел. Там он совмещал: и военруком был, географом в школе, в интернате — воспитателем. В общем, цирк был настоящий. В последнее лето (я уже беременная была) там сделали кольцевой маршрут вокруг Североуральска — 360 километров, в общем, будь здоров сколько. Все уральские группы сошли с маршрута. Тогда месяц шли дожди. А мы как огурцы пришли. Потому что мы воспользовались наработками своими, сделанными, когда в заповеднике работали, — как надо выживать в тайге. Все очень хорошо получилось. Мы промокали, приходили на стоянку, балаган ставили между деревьями: навес, жерди, на них — палатки, два костра. Быстро высыхали, там вешали все под брезентом и утром вставляли сухонькие все. Жратву варили прямо там, не выходя из балагана. А дождь пускай себе идет. Пу вот так вот. Так что мы прям молодцы были. А дети наши там мечтали на трамвае покататься. Самая большая мечта была — покататься на трамвае в Свердловске.

Т. С.: Они же журналистикой занимались все это время, она шла параллельно. Я к чему это вспомнила... У Лишиных есть рассказ в сборнике, который сейчас мелькает, как старая книжка.

Л. К.: «Дружище Тобик»^[74].

Т. С.: И там компания такая из авторов: Славка Крапивин, Гайдар, Паустовский. Рассказы о собаках. Называется «Дружище Тобик». И там лишинский рассказ^[75]. Когда уже начался военный поиск, родители начали писать про это в местные газеты. Как отчет для местных жителей о том, что было у них на земле, что они сделали, кто кого поднял, чью родню нашли.

А. К.: Это уже была газета «Ржевская правда». Там контакт был хороший.

Т. С.: В Волоколамске-то этим не занимались, там больше боролись за справедливость. А во Ржеве — да.

А. К.: История 915-го полка, который подо Ржевом воевал, знаешь кого всколыхнула? Вячеслава Кондратьева. Очень сильно. Он получил наш отчет по 915-му полку, всколыхнулся и написал об этом статью^[76]. Про войну Отечественную и про войны, которые в то время вели мы^[77]. Вот эта вот разница. А про 915-й полк мы опубликовали в номере «Ржевской правды» жуткую историю. И он откликнулся на эту статью. Он пишет: «Думал, что только наш полк горемычный был, где я воевал, а оказывается, нет, везде так было».

Т. С.: Пе видел на сайте дозоровском эту статью? Она есть там.

А. К.: Это одна из его последних статей, там сравнение войн. «Шли не убивать, а защищать». Мы как раз подо Ржевом по его, кондратьевским местам ходили, где он сам воевал. С ним у нас контакт хороший был. Как раз когда Танины дети погибли... У него в том же году сгорели друзья. Представляешь, приехали друзья из Германии. Или из Америки... С тремя детьми. И у кого-то на даче обосновались. Причем родители говорили: «Пе вези». Пу приехал. И в эту же ночь сгорели дети. В этом вот флигеле, где они остановились, представляешь?

Т. С.: Там все сгорели.

А. К.: В общем, кошмар. И как раз гибель Таниных детей, и пожар — все это вместе как-то так пересеклось. И он написал одну из последних своих статей — как раз историю 915-го полка.

У меня все, говорит, поднялось, как мы и что... Это надо прочесть. Он очень хорошо ко всем нам относился.

Т. С.: Вплоть до того, что, когда моя беда случилась, отец ему написал — а разница небольшая была: мои — в июле, а Вяч — в октябре, что ли. Вот в этот промежуток он успел письмо получить и ответить — ответил по-солдатски. С пониманием ситуации. Про своих друзей, семью: что отец сына отговаривал ехать в Россию, но сын приехал, привез детей, и все сгорели.

Т. С. (*Татьяна обращается к Аркадии Константиновне*): А с Кондратьевым мы познакомились как? Тоже отец написал или через Берестова^[78]?

А. К.: Наверное, через Берестова.

Т. С.: У отца была такая манера, что если книжку какую интересную прочтет, то он автору через издательство сразу письмо пишет.

А. К.: Ну, он, наверное, так и написал. Потому что все те места, где работали подо Ржевом, — это места Кондратьева, «куриная» роща^[79]. Потом эта бабушка Тоня — он же нам передал ее. Бабка такая бесхозная.

Т. С.: Кондратьев году, наверное, в 60-м со своей женой поехал на места боев, которые ему подо Ржевом больше всего запали в душу. И познакомился с женщиной, которая там всю войну прожила. И он взялся шефствовать над ней, помогать. А потом плавноенько передал ее нам, уже когда перестал ездить.

А. К.: А она уже слепая тогда была.

Т. С.: Ну и мы ее перехватили: когда туда ездили — лекарства привозили, продукты. А ее племянш изгаляться над ней начал. Чудил, куролесил. Такое вот было наследство Вячеслава Константиновича. А он на места боев поехал и с ней подружился там. И потом ей помогал, деньгами, всем. Просто он ей помогал-помогал, а потом, когда мы приехали, сказал нам, что и вы помогайте... С Кондратьевым мы все это время просто дружили, он нам рассказывал, где что искать, как оно все было, по местности, по тому, по сему.

А. К.: У него на тот момент в голове одно было: чтобы его прах развеяли там.

Т. С.: Понимаешь, так все фронтовики: если какое-то место одно запало в душу, то они его видели глазами того года, когда они там воевали. Когда они знали там каждый бугорок, каждую тропинку, а

представить, что там уже все немножечко по- другому, им было сложно. Что никаких тропинок уже нет, какие- то овражки стали более пологими — это уже в голове особо не укладывалось. И вот человек туда съездил в 60-м году или в конце 50-х и не смог поверить, что все иначе. «Вот смотри, этого так не может быть, нет», — говорил он. Смотрел на все глазами из 41-го, 42-го года. Никак не иначе. И когда мы только оттуда приехали, пытаемся как-то подправить что-то, уточнить, он говорил: «Нет, все не так, а вот так». И вот это свое недоумение от него я очень хорошо помню. Ну и мы смирились, стали глядеть его глазами и пытаться подстроиться.

А. К.: Но вроде и нашли.

Т. С.: «Сашку» же он писал как раз по этим местам. Но нам был интересен не тот герой, которого он вывел...

А. К.: ...а где он был и как он шел, как он Сашку этого вел, да. А вывел он его на Усово, где жила эта тетя Тоня.

Т. С.: Самое интересное — это вот эти [кондратьевские. — Ред.] места. Где, чего было, как. Овсянниковское поле, где его людей убивали. Где этих людей искать-то, которые там пали? Нам вот это же было важно.

А. К.: У меня совершенно потрясающее впечатление было, я не знаю, в книжке мы про это писали или нет. Мы с Лишиным когда обходили эти места, нас ночь застала. И был массовый вылет белых бабочек. Капустницы? Не знаю, в общем, белые совершенно бабочки. Массовый. И мы вот в вылет этих бабочек белых попали, представляешь? Вот совершенно жуткое ощущение. Понимаешь, нас окружили души всех, кто здесь погиб. Жуть. Вот такое было впечатление.

Т. С.: Кондратьев был потрясающий. И жена у него была потрясающая. Его отношение к войне... отношение к людям... отношение к жизни...

А. К.: «История 915-го полка» — так, по-моему, и называется статья.

Т. С.: Ниночка, жена Вяча, рассказывала, что Вяч наткнулся у нее на пачку писем — треугольнички.

А. К.: Фильм ^[80] же об этом есть... А история этих писем была примерно такая: она сама после школы работала в военном госпитале около Москвы. То есть совсем еще девчоночка была. И они там в

госпитале и жили. То есть не фронтовой госпиталь, а тыловой. И какой-то парень с ней там познакомился, потом уехал на фронт и начал ей писать. И вот стопочка писем его сохранилась. А потом письма прекратились — погиб, наверное. А стопочка эта осталась. И когда Вяч до стопочки этой добрался, он прочитал и сказал: «Готовая вещь!» И написал рассказ^[81]. Чего там потом из этого текста на экран положили — можно не сильно соглашаться.

Т. С.: Понимаешь, это вечная борьба с враньем. Когда между делом... Ведь легче замотать голову, как будто раненый, чем подстричь актера. Поэтому госпиталь весь раненный в голову. Ну это смешно. Стричься никто из актеров не хотел.

А. К.: Правда, все с повязками...

Т. С.: А как нормальный фронтовик смотрел на это дело? Понятно, раненный в голову, но еще и на костылях! Хорошо, если кто-то из актеров лысый, понимаешь, не надо голову обматывать. Такое вот грубоватое вранье, которое сильно мешало. Поэтому немножко подуродовали. И Вяч говорил, что он уже ничего не может с этим сделать. Называется фильм «Привет с фронта». Я его сначала-то смотрела как просто фильм, отдельно, а потом, когда поняла, что это Ниночкина история... Ну вот такой привет от Нины. Жилось ей несладко: талантливый мужик, любил выпить периодически. А мужик — он прям мужик, с тяжелым характером. В общем, периодически он уходил в запой. Это было тяжело и для него самого, и для домашних.

А. К.: Это все наследство военное...

Т. С.: Но он с этим успешно боролся, скажем так. Он брал себя в руки, он понимал, что для жены это тяжело. Носкольку детей у него нет, есть только удочеренная девочка, которая по духу ему чужая, то лучше в это не ввязываться.

А. К.: Он хотел, чтобы прах его развеяли там, на Овсянниковском поле. Но нас не было в Москве, когда его хоронили.

Т. С.: Там как получилось... У меня беда случилась, ни до чего дела не было. А тут по радио услышали: «Умер Вячеслав Кондратьев».

А. К.: Он застрелился.

Т. С.: Я дозвонилась его жене. Она говорит: «Танечка, я так тебя ждала, завтра девять дней». И я поехала к ним. Он же хотел, чтобы его прах развеяли там, над Овсянниковским полем. Но нас вовремя не нашли. А второе желание у него было — дубовый крест. Я его жене

говорю: «Раз нас вовремя не нашли, давай поставим хотя бы дубовый крест». А у нас как раз осенние сборы поисковиков были. Я вылезала постоянно со своими «выступалками», заодно и говорю: «Ребят, Вячеслав Кондратьев умер, он хотел дубовый крест». И нам после кто-то из какого-то загорода подогнал старый дуб, а наши ребята старшие сделали из него крест. Мы с Ниночкой поехали и его на могилу поставили. А потом Нина звонит мне как-то и говорит: «Таня, крест сперли». Она приехала на кладбище — а там пенек. А через какое-то время звонит, говорит: «Это дочка». Она спилила и поставила каменный памятник стандартный. А дочка не Вячеслава, она удочеренная была. Понимания там не было совсем.

Перед этим она переселила маму из Вячевой квартиры в соседний подъезд, в свою маленькую квартиру. Когда она разбирала архив, повыкидывала кучу фотографий... Понимаешь, да? Ее сейчас находят, причем через меня почему-то, это потрясающе. Периодически ее ищут издатели через меня, чтобы взять разрешение на публикацию чего-нибудь. Это мы сидим во всех этих бумажках, с каждой фотографией. Все обнюхаем, оближем. А она просто коробками все это собирала. Если на фотографии кого-то нет — значит, не нужна она. Нина так расстраивалась, говорила: «Таня, кого я вырастила, как так можно, он же ее удочерил, она же его дочка, как можно к памяти так отнестись!» Мы только руками разводим, могли только посочувствовать. Ну и о чем мне с ней говорить? Про этот дубовый крест, который мы черт знает откуда везли, столько с ним возились с этим деревом? То, что у нас подо Ржевом целая кондратьевская роща, — это Ниночке было интересно. Мы ей сказали, что там поставили крест с его фотографией. И там мы сделали тропы — маршрут, как Сашка там ходил. По книжке: где была землянка комбата, где что. Вот Ниночке это было важно. Она мне фотографии передавала, рассказывала. Она знала, что там все это есть. Не прах, как он хотел, но хотя бы это место. А вот этой девочке — неинтересно. Поэтому и разговаривать не хочется. С Вячеславом и Ниной мы на одном языке разговаривали.

Т. С.: А с ним что случилось: ударил инсульт. И он понял, что что-то не то. У него в тумбочке лежал трофейный пистолет, который он откопал там, на Овсянниковском поле, еще в 60-х. Он его на всякий случай держал — почистил, починил. И когда он подумал, что дело

плохо, есть шанс стать беспомощным, — он его достал и попытался выстрелить себе в сердце. Но в сердце не попал, попал в легкое. Провел двое суток в реанимации. А Нину в это время задолбали, таскали ее: «Откуда оружие?», туда-сюда. Она мне плакала, говорила: «Неужели человек не может уйти так, как считает нужным?» И я узнала только на девятый день. Это сейчас у всех сотовые, тогда же было не узнать.

А. К.: Он знал про нас и очень уважал наше дело. То, что мы раскапывали 915-й полк. Он говорил: «Я думал, что это только наша такая горемычная команда, а оказывается, по всему фронту так было». Прочтешь статью Вячеслава. А мы опубликовали донесения командира 915-го полка. Их бросают на линию фронта. После атаки остается, допустим, 15 человек. Их опять — вперед, в атаку. Командир отчитывается: сколько осталось, что уже всех туда стянули, но нет — надо держать оборону. Кондратьев и говорил, что думал, что они одни такие горемычные были. Мы опубликовали эти донесения в «Ржевской правде» и послали ему. И они его взбудоражили на статью.

Т. С.: У моего дорогого бати была такая традиция. Если ему что-то произведение нравилось, он писал письмо в редакцию. Народ откликался. Я так понимаю, что и Вячеслав Леонидович на эту тему вылез. Мне так кажется. А потом выяснилось, что Берестов, с которым давно дружили, тоже был его знакомый. Они все дружили: и он, и Белаш, и Кондратьев. Знаешь же Берестова стихи: «Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать...» Вот это он. Домовенка Кузьку знаешь? Александрова^[82] — это его вторая жена. Вместе работали: он писал стихи, она рисовала, она художница была.

А. К.: Мы однажды ехали на юбилей Берестова. Уже его в живых не было. Ехали в центральную детскую библиотеку. И узнали откуда-то, что у Наума Коржавина^[83] день рождения в этот день. А он почти слепой был уже. И мы подумали — что ему купить? Пистолет мы ему купили разноцветный. Еще никого не было, он на первом ряду сидел. Мы подошли, говорим: «У вас сегодня день рождения, вот вам». Разноцветный пистолет, сверкунчик — он разноцветными огнями загорался. Он в этот пистолет вцепился. Вокруг уже празднество, а он все игрался, очень ему понравилось.

Т. С.: Белаш с Вячем очень дружил.

А. К.: Ну так, на расстоянии дружили.

Т. С.: У них такая шутка между собой была: «Только мы с тобой вдвоем и остались, кто не врет о войне». Это они так говорили друг дружке, но в те времена, где-то в конце 80-х, может быть, оно так и было. Белаш не вступил в Союз писателей — всех в гробу видал. Он не хотел никому подчиняться, ни перед кем отчитываться. И Вячеслав — со своим тяжелым характером. Еще будет ему кто-то диктовать, чего ему писать, а чего не писать. Он хотя и вступил в этот Союз писателей, но он был никому не подчинен. Врать бы не стал. Немца-то этого расстреляли, он на самом деле расстрелял. В книжке нет, а на самом деле расстрелял^[84]. Понимаешь, хотелось видеть хоть какой-то хеппи-энд, хотя у Вячеслава-то их нет. Немножко лирики, немножко романтизма в его книжках есть. Но о войне он говорил и рассказывал, и писал, он не подыгрывал начальству никогда, не было такого. Романтическую нотку запустить — где-то такое придумает, но не в угоду другим, когда говорили что-то приукрашивать, этого не было. Даже когда с нами говорил, про «Сашку» рассказывал, мы выясняли, что и как, он рассказывал, что немца сам убил, но он при этом говорил, что очень хотел, чтобы немец выжил. Он так и говорил: «Этого мне хотелось». И вот мне, тогда тридцатилетней, это в голову запало. Ему не надо было ничего такого. А Белаша мы не видели даже, один раз он заходил. Мы все про него узнали через Берестова, через Кондратьева. Он с ними дружил. Потом уже познакомился со своей душеприказчицей, его редактором, которая публиковала его стихи. От них про него и узнали.

Как он жил: любил по бабам вдарить, влюблялся, выпить любил, шумные компании любил — все любил. Нормальный мужик такой. Закончил Литературный институт. Все было нормально, все ничего. А потом война его догнала — где-то с 70-х. И все. Начал прятаться. Остались у него самые близкие друзья — с ними и общался. Из однокомнатной квартиры своей сделал себе блиндаж, окна заклеил, амбразуры оставил. Ну и писал. Детей у него не было, семьи у него не было. Он жил этой войной с 70-х годов. Валентин Дмитриевич как мне говорил: до этого он был обыкновенный, был душа компании, любил посидеть, пообщаться, потрепаться. Все было замечательно. А потом закрылся и начал писать. И все. И пошли книжки. Встречались уже... Когда я была на вечере памяти, уже когда Кондратьев умер, какой-то был вечер памяти... То ли организаторы его просто так

сделали, что они их объединили. Там и немножко про Белаша сказали. В доме журналистов это, по-моему, было. Мы с Ниной туда пошли. И я посмотрела: из тех людей, кто там был, их пальцами на одной руке можно пересчитать. По Кондратьеву это вечер был, да. А Белаша уже я вставила. И ведущие так обрадовались этому, что запустили кассету с белашовскими стихами, посвященными Кондратьеву. А у Кондратьева ведь есть единственные стихи, которые никто не знал, то ли «Русские дороги», то ли «Русские деревни»^[85], что-то такое... Но тогда они прочли именно белашовские, посвященные Кондратьеву. И мне — я очень хорошо помню — очень хотелось дать понять, что, ну да, Вячеслава нету, но Нина-то есть — заходите, если что. Они там такие вещи читали — симоновские, кажется, стихи, посвященные мертвому другу. А тут Нина сидит живая. Ее и так-то не баловали особо, когда Вяч был жив. И я так посмотрела: что она там сидит, что не сидит — для этих людей все равно, понимаешь. Мне за нее стало обидно. В общем, друзей маловато было и у Белаша, и у Вяча. Характер неудобный, я так понимаю, что у одного, что у второго. Но друг друга они хорошо понимали...

А. К.: А он был с этими фронтовиками^[86] в Литинституте, они все там учились. Но он не писал ничего.

Т. С.: А потом его уговаривали друзья в Союз писателей вступить. Вячеслав Кондратьев, они дружили, Валентин Дмитриевич Нерестов — он не о войне писал, но тем не менее тоже дружили. Они ему говорят: «Давай в Союз писателей». Отвечал: «Это сволочная, продажная организация, я туда не пойду». А потом он решил, что у него рак, хотя у него была язва. У него знаешь как... У него однокомнатная квартира была, и он блиндаж в ней сделал, окна заклеил. Был нормальный мужик, гулена: и по бабам, и выпивкой баловался, вечеринки любил с друзьям. Но война так догнала. Бойницы в окне оставил и сидел, занимался войной. Перестал общаться. А к нам он пришел, потому что стихи его в журнале «Знамя» были опубликованы. Лишины их прочитали, и отец ему написал письмо через редакцию. И он по этому письму к нам приперся. Мы жили в квартире при школе на Пресне. Лишиных не было, была моя сестренка с мужем. Он там посидел, подписал что-то на память и ушел. Дальше мы пытались до него достучаться, чтобы встретиться, но ни фиги не получилось. Больше он на связь не вышел.

Потрясающий мужик, конечно. В Союз этот так и не вступил, по врачам не пошел, заперся и голодал, пока не помер. В своих текстах он не разрешал заменить ни одного переноса, ни одну запятую. Только сейчас, насколько я знаю, Брусникин надывал его стихи, актер, читает где-то. Еще у Белаша была пьеса «Фронтвики», которую он пытался закинуть в какой-нибудь театр, но никто ее не взял, потому что ставить ту войну, которую он нарисовал, очень уж тяжко. Но в черновиках она где-то у нас есть.

[...]

Т. С.: В конце 80-х — начале 90-х, когда перестройка пошла, тогда было плотное общение с немцами. Немцы не боялись уже ехать сюда. У меня вообще история была с одним немцем: его старший брат воевал на Восточном фронте, был ранен сильно, сам двигаться особо не мог. И на него вышел наш солдатик и почему-то не пристрелил, оставил. Это вот я со слов этого братика рассказываю. И в итоге он выжил: видимо, попал в плен, пережил лагерь и вернулся. Повезло два раза, вернулся домой. И вся его семья считает себя обязанными. И этот братик (он уже инвалид: с ногой что-то у него, протез не протез — не помню уже) тогда, в конце 80-х — начале 90-х, возил сюда гуманитарную помощь. Он ее как-то оплачивал, как-то собирал, перевозил, сопровождал.

Там, видимо, была какая-то еда, какая-то одежда. Видимо, адресно. А было это в связи с тем, что была передача «Голос Москвы» в Германии и был такой отклик. Мне потом позвонил журналист из Германии и говорит: «Встретиться с тобой хотят!» Ну я типа: «Яволь!», и мы сели и поговорили у него в номере в гостинице. И вот у них были безумно благодарные люди, особенно в 90-е, в голодные времена.

А офицеры и солдатики, которые подо Ржевом воевали, — вот они скопом туда тогда и поехали. Лишины там были тогда. Я-то так, рядом постоять, мы с Колькой больше в уазике сидели. А эти вовсю там общались с этими херрами при званиях всевозможных. А Вячеслав Кондратьев на это потом сказал, мол, что же вы мне не передали, не сказали. Он мечтал встретиться с кем-то, кто на той стороне воевал. Он не смог. А Лишины пообщались. *(Татьяна обращается к Аркадии Константиновне.)* Ты можешь чего-нибудь про это вспомнить? Чего они рассказывали?

А. К.: Мне было, например, стыдно, когда в Муравьевской школе, подо Ржевом... напротив этой школы — болото. И немцам пришлось посреди этого болота возлагать венок своим погибшим — там их братская могила была. А напротив, при школе, памятник наш стоит. Сам понимаешь.

Т. С.: А я помню из ваших рассказов, как немцы поехали в Зубцов^[87] на могилу к своим. У них же все закартировано, говорят: «Вот здесь на карте наше кладбище». Ну они и приперлись к асфальтированному детскому садику. И встали. И Лишины им сказали: «Да вы не переживайте, с нашими могилами бывает и еще хуже!» Ты не помнишь этого? Ну вот, а я помню. Еще помню 65-й или 64-й год, когда в деревне под Вязьмой сохранялось немецкое кладбище с характерными крестиками, прямо в центре деревни. В очередной наш приезд прошел бульдозер и все это сровнял на моих глаза. Я дитем была и это помню...

Мы с мужем поехали в Карелию на озеро на пять дней буквально. Причем тогда был какой-то дефолт, что ли, что-то такое. Мы сидели там без всего, люди нас не трогали, потому что видели, что мы вдвоем на берегу озера сидим. А там же тоже война была. И с Сашкой^[88] очень интересно там было ходить — он же военный.

Если какой-нибудь окопчик увидит — сразу может рассказать, что было вокруг. Сашка интересный. Он поиск не зацепил особо, но его взгляд на это — это интересно. Мам, ты расскажи, как немцы приезжали, когда вы в институте работали.

А. К.: Да это-то зачем — это не поиск...

[...]

Т. С.: В самом начале 90-х «черные» начали бизнес, они тропу протоптали к посольству Германии.

А. К.: Неразломанные медальоны. И они даже половинки продавали^[89].

Т. С.: Такой был бизнес, да. А потом, когда посольство поняло, что их разводят, что этих жетонов на местах боев столько... Они, конечно, реже попадались, чем наши солдатики, но они есть. Понимаешь, на одном этом можно было разориться посольству. И они начали бизнесменов этих гонять. Они заменили это контактами со своими поисковиками: типа, если хотите, бесплатно, просто

сотрудничать. И постепенно это перешло в сотрудничество, потому что кроме «черных» были еще и нормальные ребята, которые так же передавали просто в посольство, с оказией или как-то еще, по-человечески. Ведь среди взрослых были и «черные», которые участвовали в перезахоронении и наших. Нотом была история, когда в Воронеж — это уже 90-е были — приехали итальянцы, наняли наших поисковиков и сказали: «Ищите наших». Там на каждого бойца был выдан контейнер. Было все красиво. А условие было одно: чтобы наши наших при этом не копали. Даже в выходные дни. И наши ребятки попали в очень нехорошую ситуацию. Они, конечно, поработали, они что-то заработали, но ходить мимо наших костей они не привыкли. Мимо наших солдатиков, останков. Для них это было ужасно. Как-то, в общем, они выдержали этот договор, но плевались потом. Это тяжело далось чисто морально. Они пытались запомнить все это, чтобы потом приехать и уже разгребать со своими. На кассетах будет упоминание об этом. Это была возможность заработать. Для поисковиков заработать — это круто, особенно в те времена. А тем нанимать кого-то слева, когда есть поисковики, которые профессионально могут это сделать, зачем? Запахали потом... Нричем наши даже говорили: «Давайте мы в свой выходной пойдем их поднимем? Это же наш выходной — что хотим, то и делаем». — «Нет, не имеете права». Я уже сейчас не помню, одно или два лета так было. Может быть, не целиком все лето, но долго. Да там много итальянцев полегло. Как-то сурово.

А. К.: Как мы пришли во Ржев?

Т. С.: Ну, наверное, через Кондратьева?

А. К.: А почему через тот берег?

Т. С.: Нотому что через Кондратьева. Его Усово^[20] же на той стороне.

А. К.: Нет, Усово с нашей стороны.

Т. С.: Или вы выслали разведку просто подо Ржев и разведка вам принесла, что стоять там. И вы сначала туда, а уже потом пошли по местам Кондратьева.

А. К.: Может, и так, да.

Т. С.: С нами знаешь кто ходил подо Ржев в первый раз? Дети Конкина^[21] старшие. Близнецы Святослав и Ярослав. Ну который «Место встречи изменить нельзя», Шарапова играл. Смотрел же?

А. К.: Он же играл в «Как закалялась сталь».

Т. С.: Знаменитая такая роль. У него близнецы эти... Один по характеру нормальный человек, отзывчивый, и помогать любил, и работать умел. А второй — это такая жесть была. Если дети потом слышали про Святослава, так говорили: «Свят-свят-свят».

А. К.: Причем у них один дед воевал на стороне немцев, а другой — на стороне наших, понимаешь?

Т. С.: Как-то так случилось, видимо, я этого не помню.

А. К.: И один потом подался в «чернушники». Может быть, по этой причине.

Т. С.: Мне потом рассказывали, что когда поисковики с ними где-то пересекались, они говорили, что наши учителя — это Лишины.

А. К.: Надо же. Конкины? Ишь ты...

Т. С.: Ну они же не говорили всем, что они «чернушники». Это же только по слухам узнавали, никто не знал ничего толком. А потом на вахте с парнем одним в автобусе сидели, он и говорит: «Вот смотри: вот этот, этот и этот. Этот — по коронкам золотым, этот — по вещам каким-то, в общем, что деньги приносит. А все вместе потом перезахоранивают». Я думаю, что были те, кто зарабатывал и кто коллекционировал. Среди тех, кто с нами работал, были те, кто этим зарабатывал. Если золотые коронки — забирали. Но это были взрослые. С нами много кто ходил: и просто взрослые, и студенты, и афганцы, вернувшиеся с той войны.

А. К.: Мы одно время только за «черными» подбирали кости. Потому что все вышвыривалось, ничего было не понятно, что было на раскопе. Подобное все время было.

Т. С.: Потом мне ребята рассказывали, что приходилось и драться с ними. Кстати, на одной из кассет во время учебы парень рассказывал, что поначалу в Мясном Бору «черных» не было, когда они туда пришли. А «черные» появились, когда эта местность была предана большой огласке. Ну и тогда «черные» туда поползли. У них даже перестрелки были. Чтобы пугануть, Чтобы в этом районе никто не ходил. У них же оружие там было, они же восстанавливали в те времена.

А. К.: Мы очень много лет ходили, и это ужасно раздражало. Потому что одно дело, когда ты находишь просто окоп, а другое дело, когда все разрыто и кости разбросаны, то, естественно, собираешь уже

эти кости и хоронишь их. А эти кости выкинули, взяли, что им надо, и дальше пошли.

Т. С.: Да взять хоть тот же Ржев, все места, где бои были: там обязательно были ребята, которые увлекались этими делами, оружие восстанавливали. В Москве целый бизнес был под это дело. Я думаю, что он и есть, просто теперь опасно стало. Поисковиков же и задерживали, и сажали. За ними следить-то проще всего, за поисковиками. Потому что понятно, что этот человек ходит в леса, по местам боев — значит, чего-нибудь да будет у него с собой. В конце 90-х прижимать начали, и в середине 90-х было.

А. К.: Помнишь этих ребят, которые бомбу вылавливали из Волги во Ржеве? Там же кого-то арестовали. «Бастион» называлась их организация.

Г. С.: Саперов-то не хватало, сам понимаешь. А ребята — кто из армии только, кто в саперных войсках служил. Они с железом имели же дело, у кого-то даже были музеи боевой славы. Для музея выносили экспонаты. Потому что на тех, кто втихаря принимает и восстанавливает оружие, еще выйти надо, поискать, а поисковики — они все на ладошке. Про всех поисковиков всегда все знают. Они все известны. Летом на вокзале за поездами с мест боев менты присматривают, кто выходит.

А. К.: Слушай, помнишь, Федорова же из Петрозаводска арестовали?

Т. С.: Даже в 60-е такое было, парня на вокзале в Вязьме задержали, мы его из ментовки потом вылавливали. То ли нож у него болтался на поясе, то ли еще что-то. А потом уже, когда вахты прошли...

А. К.: Потом уже и у нас было, что изъяли винтовки. У нас винтовки были просверленные, мы их просверлили. Пришли, забрали все.

Т. С.: Посадить же очень легко. Если кому-то там надо было это сделать, они делали^[92].

[...]

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Для меня все началось в начале 60-х: деревня Ченчугово, 242-й километр Минского шоссе. Копали сначала винтовки, потом нашли могилу шофера Вити из Москвы. С нами туда приехали бауманцы, и в день, когда на Красной площади захоронили Неизвестного солдата, мы хоронили Витю, памятник там же сделали, где сейчас мемориал. Вот это самое раннее, что связано с поиском. Тогда к этому отношение было чисто краеведческое. Было интересно, когда местные говорили: «Вот тут лежат люди, вот тут лежат, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут...»

И когда эта информация уже через край переливаться стала, тогда стало понятно, что надо доставать. Местные про это говорили как про грибы или про ягодные места: там, там, там — эти люди, они все помнят, не забывают. И на этой волне мы поняли, что надо доставать, надо захоранивать по-человечески. Было отношение какое: что это работа. Кроме физической это работа с людьми, с этими подростками. Работа организационная, чтобы коллектив был, чтобы через дружеские отношения в отряде можно было донести и отношение к воинам. Наверное, это было самое важное, вокруг чего все и строилось.

Но Коле Смирнову хорошо помню — мы года два или три искали его родню. Приходишь в домоуправление, а дома-то уже нету, его снесли — стоял на Большой Молчановке. Это был где-то 80-й год. И люди отзывались: они нам доставали домовые книжки, искали — им самим было интересно, они зажигались этим делом, хотели побольше информации достать. И когда человека находили — это такая радость была. Но это и до сих пор так. А потом узнаешь, что это за человек был, как у него и чего...

Вот эти письма, они сейчас попадают — мама же семейный архив разбирает, забивает в компьютер. И эти письма — такое ощущение, что это все уже наша родня. Это как заново родиться, наверное, по второму разу. Крутое ощущение. Причастность временная какая-то, когда понимаешь, что не сорок лет после войны прошло, не пятьдесят, не сто, а это вот, вчера было. А после «Берега»^[23] это стало еще более конкретно, потому что у меня

мальчишки-то — они без вести пропавшие, так же точно. С этим же надо научиться жить. Если бы их нашли и были бы не фальшивые холмики, а заполненные, то было бы другое дело. Какое-то другое, внутреннее успокоение: что вот они, останки, здесь.

И я узнала об очень интересном обычае в те времена. Что если тонули или в лесу кто-то уходил и не возвращался, то делали эти фальшхолмики на кладбище и клали вещь человека. Из одежды, еще из чего-то... Ее закапывали. Это показывает, насколько важно иметь местечко, куда можно прийти. Поэтому все это не зря. Надо, чтобы душа успокоилась. А вторая, обратная сторона всего этого — как Кондратьев Вячеслав говорил... Симонов же просил прах свой развеять на поле под Борисовым, где его первые бои были. Так и Вячеслав хотел, чтобы его подо Ржевом тоже развеяли. Какая-то другая, обратная сторона — либо холмик на кладбище, куда можно прийти поклониться, либо сделать это в честь какого-то места, значимого тебе: пусть в виде праха, пусть перемешается. Но это все равно место.

Даже не знаю, как сказать... Это как памятные места. Но для меня, например, это любая вода. Любая речка. Причем все-таки не озера и не море, а именно реки. Река — это тот самый фальшхолмик. Потому что я понимаю, что вся вода — она взаимодействует. А пропали они без вести в воде. То есть я могу на любую речку прийти. Хотя если бы меня к тому месту... Хотя там — кошмар, конечно. А так это любая река.

Каждый по-своему приспосабливается. И эти матери, эти жены — они так же. Все равно ведь душа не на месте, особенно когда совсем подробностей не знаешь, как человек уходил. Тяжело. Поэтому вот такая значимость. Почему я тогда говорила, что дня нас были ценны не оружие, не что-то еще (хотя по ребячьим понятиям и это классно, если вдруг попадется), но самое главное — это ключи от дома, зубная щетка, ложка. Особенно — если ложка домашняя, мельхиоровая, какая-нибудь такая. Это ведь человек, видимо, берег вещь из дома, ему это было важно. Или вот форму мы нашли подо Ржевом: кто-то отливал там ложки. Они, видимо, часто терялись, и солдатики отливали ложки себе. То есть важна вот эта фронтовая бытовуха, окопная, рассказывающая о том, как люди выкручивались.

Мне-то копать несильно довелось. Потому что все это выпало на то время, когда подрастали мои детки. Я же их с собой таскала. И мне в раскопе особенно не посидеть было. Хотя мы приходили с ребятами, мы в этом всем участвовали. Если у меня была возможность — я заползала. Но было особо не оторваться: если у меня старший 80-го года, потом 81-го и 82-го и потом 85-го дочки — не разбежишься.

Почему мне удалось восстановить всю информацию по новлянской могиле?^[24] Потому что я если и не была на месте, то все равно была в курсе. А ребятам сложнее вспомнить, потому что они были в данном раскопе. У них работа, работа, работа, а сколько тогда достали — они даже этого не помнят. А я все-таки немного со стороны это видела, мне полегче в этом плане. Я могу все это вспомнить и восстановить какие-то картинки.

Пикто не помнит, что в могиле в Вашурино был младенец. А я забыть не могу. Может, потому, что я тогда мамой была. Земля, в которой прозрачная косточка черепушки детской. Ребенок, наверное, тогда умер, младенец, и его похоронили туда же, к солдатикам, к местным мальчишкам, в центре села. Почему его нельзя вспомнить? Пу, пусть он без имени будет! По и очень хочу, чтобы он там тоже прозвучал, если будем писать. Это жизнь там, в этой деревне, во время войны. Вот она была такая. Или их убивали, или они умирали — это тоже жизнь, никуда от этого не денешься. Это как вчера было. Какая разница между этой мамкой и мной, уже поздней? Поэтому в поиске мне больше всего такое запоминается.

Под Новгородом помню вот этот с черепа снятый, как скальп, клоч волос и гребешок дешевый, погруженный в волосы медсестренки. Медсанбат наш. Выстрел в затылок: наши же стреляли, чтобы не оставлять немцам. Расстреляли медсанбат. С другой стороны, представь себя на месте этого раненого, если немцы захватят? Не знаю. И судить трудно. Такое ощущение было, что это все-таки были не немцы, а наши: надо было уходить дальше, а, видимо, раненых было не унести. Если б немцы постреляли, они бы все так и бросили — чего их в болоте закапывать? А тут закопаны были. Батя все говорил, что поисковики, если они грамотные, — это патологоанатомы войны. Как хороший охотник: он по следам идет и может рассказать вообще все, что происходило на этом месте. Где какая веточка обломана, где чего. Вот так и ты приходишь и

начинаешь, если грамотно делать, не просто кости вытаскивать, а расчищать место, смотреть, как оно было.

По партизанской бригаде в Карелии^[95]: на высоту только в 74-м году или в 72-м дошел лесник. И он увидел весь этот кошмар на поляне. Понимаешь? Он увидел, где медсестренки насильничали, косточки ихние, пузырьки, в сумке остатки лекарств. Он увидел, где кто и как лежит. Весь этот кошмар, в который эти десять минут превратили сорок лет назад. Лесник об этом рассказал — и пришли поисковики.

Поэтому у меня, скорее, главное — это связь времен и людей. Потому что на самом деле это все как вчера для кого-то. И когда бабки рассказывают, что вот пропал или ребенок, или муж, каким он был, как, чего, — то они о нем говорят так, будто он минут двадцать как из дома вышел. Для них это так и есть. Поэтому подходить к поиску с точки зрения «они ж все равно под землей, чего вы их беспокоите» неправильно. Они не под землей, они брошены. Они брошены, а родня не знает — души маются. И живых, и ушедших. Знаешь, как горько бывает: находишь семью с медальоном, а жена или мама умерла полгода назад, не дождалась. А всю жизнь ждала весточки. Тяжело. Начинаешь понимать, что чуть-чуть опоздали, чуть-чуть. По сейчас-то уже не чуть-чуть, уже хорошо опоздали. По внуки есть, племянники есть — кто-то да отзывается. Некоторые вон приезжали во Ржев на захоронение. Раньше было так: пока экспедиция идет — весточку пускали.

И к концу майских праздников находилась родня — приезжали, прикинь? Это круто. Поэтому оно у меня как-то так...

Мама краеведением занималась, и потихоньку из краеведения перешли к поиску. Сейчас из этого всего вроде вышли, но все равно не отпускает. Как новлянская могила — никак от этого не уйти. А потом — история семьи. Я занялась родней бати и нашла человека совершенно случайно: он [Олег Всеволодович Лишин. — *Ред.*] несильно знал родню, принес нам чемодан с архивом, а там треугольнички. У бати был братик, который со школьной семьи ушел на фронт. 44-й год, граница Белоруссии, наверное, с Польшей — где-то там. Он меняет профессию и попадает в медсанбат — на этом связь обрывается. А он у родителей единственный сын. И вот я думаю: ну как так, вот она воинская часть, все понятно — забивай и смотри где.

И я вижу запросы его родителей, запросы военврача. И ответ, что мальчик покончил жизнь самоубийством в этом медсанбате. И надо мной сейчас это висит как дамоклов меч. Несколько лет прошло, и я уже думаю: оно мне надо? Можно послать запрос в Питер — там есть архив медсанбатов и госпиталей. Можно... Что-то меня немножко останавливает, но, может, и надо начать. Они не смогли концов найти. Возможно, и я тоже не смогу, но мне про этого Валерку... Я про него мало знаю, про этого мальчика. Остались фотографии, отцовы письма. Я настроение чую этой семьи, хотя я их совсем мало знала и видела. Уже как будто сам себе только должен. Уже их на свете нет никого — кому бы это было значимо. А я вот сижу и чувствую: они стучат мне и стучат, где-то здесь. Надо взять себя в руки, найти время и написать хороший запрос туда.

Знаешь, мы знали с Сашкой одну женщину-адвоката — Евгению Варфоломеевну. Она из Клинцов, по-моему, родом, потом они в Кратово жили, отец там был каким-то начальником хорошим. Она в четырнадцать лет на фронт удрала с подружкой. Просто сели в эшелон и приехали на Смоленщину с солдатами. И их оттуда не погнали, им дали автоматы, значки. А перед наступлением сказали: боевое задание — марш обратно в Кратово учиться. Такие боевые девочки. А мужики, видимо, поиграли с ними в войнушку немножко и отправили назад. Вся школа, говорила, на них бегала смотреть. И у нее братик старший: семейная байка была, что он погиб в Берлине и был танкистом. У меня мальчишка школьник, немец, все берлинские кладбища обошел в округе, ища это имя везде и всюду. Фига! А немцы народ скрупулезный. Ничё нету. Потом мама с дозорцами по своим делам поехала в подольский архив. Я говорю: «Мам, мы Женечке обязаны — уточни информацию о ее брате, если это возможно». Она залезла: оказалось, не танкист, звание другое, а погиб он в Польше от случайного выстрела. Причем уже после Победы. И когда Женечка узнала эту историю, сидела на том месте, где ты сейчас сидишь, — она прифигела, потому что была красивая семейная байка, но узнала правду и узнала, где был похоронен. А знаешь, как это важно... И это — тоже поиск. Я с Мишкой Черепановым^[96] в этом согласна — это тоже поиск.

Все заслуживают внимания. И этот, который под Вязьмой, шофер Витя из Москвы — мы больше ничего о нем не знаем, но информация

же есть, что Витя из Москвы, шофер. Это тоже важно. А кто-то без имени. Тоже важно. Но какие-то детали о них знаем. Тот дед, который под Волоколамском нам показывал, Алексей Яковлевич, он, будучи ребенком, пришел ночью к раненым и с ними разговаривал. А утром они были уже замерзшие насмерть. Но он же с ними разговаривал! И я этот разговор чувствую, понимаешь? Они для него — живые, и для многих местных, которые вот с этими ребятами-смертниками, на которых уже даже немцы внимания не обращали: их ни в работу, никуда, доходяги окончательные. Но местные знали по именам некоторых. Значит, у них имена-то были. Они нам про них рассказывали: «Мы искали этот погреб, но его не нашли». А погреб был — бабы из погреба мальчиков этих вытаскивали и смотрели фотографии семьи у них из карманов гимнастерок. И они у меня из головы не выходят.

Сережка Симонян, который работал в Карелии по партизанской бригаде, он знает примерно даже места по тайге, где кто погиб, знает их по именам. Если удастся в конкретном квадратике обнаружить останки — он знает, из скольких кто это может быть. Из четырех человек, из пяти, но он по именам знает, понимаешь? Вот здесь, говорит, нашли девочку, ее зовут так-то. Хорошо бы экспертизу сделать. Он их всех знает так, что называет в лицо. Он хорошо изучил архивы. Это партизанская бригада, конкретное количество отрядов, в отрядах — конкретные люди. Он изучил их биографии, он знает их родственников. Он прочитал гусаровскую книжку^[97] от корки до корки, встречался с теми, что живыми дошли из этого похода, — он их всех знает. Он знает квадраты, где какие бои были, где когда стреляли, где свои расстреливали. Все это знает. Он этим болеет. Он не выдерживал, бросал, потом снова начинал. Кто-то к нему присоединялся, потому что один много не сделаешь. Тем более возраст — он 50-х годов.

Когда мы там, в Карелии, работали — это было потрясюще. В одном походе меня не было, а ребята там ягоды не могли собирать. Дофига черники, а там как раз был бой и погибло много народу. И ребята все это уже знали. И они эту чернику собирать не могли. Я могла. У меня к этому немножко другое отношение. Меня и на кладбище ничего не пугает ягоды собирать. Они же все это копали, останки собирали, памятники поставили. Они все это прочувствовали

до такой степени, что не могли даже ягоды есть. И Сережка очень трагически, фатально к такому относится. Может быть, это другое отношение, поэтому у верующих-то жизнь не конечна.

Я не могу фатально к этому относиться. Я могу чувствовать боль, мне все это дорого: как человек погиб, его последние минуты, но я понимаю, что он где-то еще живет. Меня Валерка^[98], вот этот мальчик — он меня тербит. Я не понимаю, как сесть написать этот запрос, что я хочу получить, я еще раз письма перечитала. Не знаю, как помочь этому человечку, о котором я почти ничего не знаю. Но он постукивает время от времени, тербит. Они есть все равно, они живы, вот эта информация осталась. Как хочешь это назови. А для Сережки это все еще важнее. Он болеет тем, чем они болели, как им было больно перед концом. Он это в себе носит. Это не жизнь — тяжело. Но он вот это переживает очень остро.

Наши Ондозеро копали, Ондозерский десант^[99]. Там какая-то учительница была, которая немножечко копала это дело со школьниками. Или памятник ставила в поселке рядом... Точно одна из дочерей погибшего солдата приехала, если правильно помню. А когда наши туда пришли, они всерьез начали работать на этом острове. И студенты, девчонки, говорили, что самое тяжелое было — сидеть на обмывании костей. Там глина, органика — этот остров наполовину затоплен. Мне кажется, что это очень было тяжело. А для меня было продолжение, потому что ну вроде бы все мы сделали: по довоенным адресам письма отправили, в многотираже об этом написали. И даже в течение этих майских праздников приехали люди.

Одна из Грузии опоздала. Ей было девять месяцев, когда отец погиб. Она везла огромный букет роз из Тбилиси. А для них ведь это полжизни. Она эти розы привезла живыми в Карелию из Тбилиси: летела с пересадками, с перекладными. И она опоздала. Она так плакала. На захоронение опоздала. Ее райкомовские встречали на машине, привезли к памятнику. Она и землю привезла, и цветы привезла. А потом проходит много лет, и вдруг приходит письмо на отряд «Искатель», на Юрку Смирнова^[100]. А в этом письме... в общем, прощелкал клювом кто-то всю эту информацию. И кто-то ищет родственников, и кто-то где-то что-то слышал. И мне это письмо передают. Я смотрю на письмо и думаю: «И как отвечать?» Я ведь и статью делала, и еще чего-то... А люди, может быть, не увидели эту

статью в принципе. Кто-то им потом напомнил. Но вот — семья какая-то с Алтая. Они же все там друг друга знали — это же маленькие села были, поселки. И они рассказывают нам о тех, о ком мы уже все знаем. Они тоже о них рассказывают, они тоже присылают фотографии.

Прикинь, сколько все это живет? И для меня вот эта связь временная... Но ней даже Бородинская битва живет. Только если Великая Отечественная была вчера, то она [Бородинская битва. — Ред.] — позавчера. А чеченская — сегодня, и Сирия тоже сегодня. Как-то так это для меня. У каждой памяти свое время, свой отчет временной. Поэтому все они, кто в земле лежат, — они не просто так лежат. Мы тогда с Адой про это разговаривали, про Овсянниковское поле... Ведь были трудодни, люди вынимали косточки с этого поля. Сколько этих трудодней там было, сколько они отработывали, перед тем как пахать? И вдруг посреди поля дорога, обычная дорога, и оттуда вымываются кости. Или мы стояли в одну из последних экспедиций поисковых, уже после «Берега», после моих. Речка Кокша, высоковатый берег один, и мы в лесочке недалеко от Кокши стояли. Потому что было половодье — нельзя было Кокшу перейти, и мы не смогли на нашу базу пройти. И что-то бегали-бегали через траншею по делам, а она обвалилась — и там человек, косточки.

Кто, что, о чем думал, как оно все было, откуда он? Но был же. [...] Нет ощущения, что это вещь. Я всегда говорила о том, что те ребята, которые через нас прошли, может быть, и есть исключения, один на миллион, но они череп пинать не будут, потому что для них это не просто черепа — это люди. Я понимаю Лену Ржевскую^[101], которая ходила с черепом Гитлера: нельзя было из рук выпустить, она спала с ним в обнимку. Нужно было идентифицировать, что это он. Для нее это было задание: нужно сейчас все сделать, чтобы потом не было никаких сомнений. Она сама ходила по всем этим дантистам, прислуге, по всем, кто еще не разбежался от страха. Ей же, небось, тоже страшно было, девочке — двадцать семь с небольшим. Для нее это тоже был человек, который много горя принес.

Для тех, кого мы с собой водили, это было дело, за которое можно было себя уважать. И наше дело было передать им, зачем мы все это делаем. [...] На обратной связи все было построено. У нас каждый вечер были огоньки, обсуждение прошедшего дня: что человеку было

важно? Что он чувствовал? Что он переживал? И это касалось не только бытовухи: дежурств, еды, поступков, кто кого обидел, не обидел, командир как командует, а еще и по этой самой работе: чего переживали, чего чувствовали. И в книжке, кстати, у отца об этом есть. В какой-то момент они стали с выросших дозоровцев письменно вот эти ощущения собирать. В книжке это есть, которая «Это нужно живым». Там тоже есть как раз про Ондозеро и воспоминания девочки, кажется, про Новгород: там были черепа с остатками мозга ссохшегося. Девочка описывает, что было, когда взяла его в руки: «Интересно, о чем человек думал тогда, в последний момент? Можно ли это понять?»^[102]

Я, по-моему, рассказывала про коллективное творческое дело — одно из них получилось, когда к костру вышли заблудившиеся.^[103] А второе уже я должна была провести с другими ребятами. Готовились, готовились — а у нас ребенок потерялся. Но как готовились! Хоть бы одним глазом посмотреть, что бы из этого вышло. Они часа за четыре до начала, до двенадцати ночи, они уже ходили — а не было же ролей, не было конкретных слов. Был сюжет — это надо было настолько вжиться, не было ничего заученного. И я смотрела, как они волновались. Это была жесть. Девочка и два пацана. Это было круто. Я почему и говорю, что настолько эти временные рамки переплетены — все как вчера.

Нод той же Вязьмой было однажды такое, 93-й год — последний год мой. Мы приехали: с нами американец был, один из друзей, и ребята, которые под Вязьмой работали, бывшие дозоровцы — они нас туда и привезли. Я, по-моему, рассказывала: старая, заросшая фронтовая дорога, лесом уже поросшая, и стоят останки машин: кузова, колеса. И мне Вовка^[104] говорил, что когда пришли туда в начале 80-х, там еще были кости: в кабинах, в кузове полуторок. Накрыло, видимо, бомбежкой, и как оно было — так и осталось. Меня это потрясло. Но я бы не сказала, что все исхожено. Ну та же деревня Вашурино, то же овощехранилище — они как были, так и есть.

Единственная разница, которую помню, но это поисковая особенность: если не ошибаюсь, под Новгородом из черепов росли деревья определенной породы. Это я хорошо помню. Но-моему, отец где-то об этом пишет. Мы как-то с ним это заметили, об этом поговорили, и он где-то написал, возможно, даже в «Это нужно

живым». Копали в Замошье — пустошь в Мясном — вот там, когда ходили, это видно было четко совершенно. Мы удивлялись: сначала-то человека находили — вот он лежит, а из черепа — дерево. А потом уже по деревьям искать начали, работать. Дерево растет — проверяем. Дерево гниет, а росточек дальше пошел. И тонкие были, и толстые деревья, всякие.

[...]

Замечала, что в песке сохранность идеальная. В глине... Когда Борю Елкина доставали — нашли же свитер. И все эти ворсинки — они же стали глиной. И даже вязка была видна, даже цвет немного проглядывал. Поэтому Борю и опознали.

Каждая почва имеет свои особенности сохранности останков. Или не сохранность, а наоборот, все разъедается и остается совсем чуть-чуть от человека. Но тут уж никуда не денешься. Находишь пару косточек и говоришь: да, это отдельный человек. Мы тоже думали, как их считать: то по черепам, то по грудным позвонкам, то еще как-то.

Но для меня все это скорее этап. Для Мишки Черепанова тоже — сначала работа в лесах, а потом архив. И по архиву он восстановил огромное количество людей — уцепился именно за архивную работу. Я столько в архивах не сидела. Ну и разговоры с местным населением, разговоры с панфиловцами — это дорогого стоит. А мы еще не копали тогда, мы только ходили и спрашивали — мы по книжке ходили в основном. Но это было как раз перед тем, как мы этот порог перешагнули и начали копать.

Меня эти панфиловцы спрашивают: «А вы не откапывали?» А для меня, знаешь, как... С одной стороны, вполне логично, что мы можем к этому прийти, и в то же время всплывают воспоминания детства, когда мы винтовки копали, когда Витю достали... Мостик уже был, это не выглядело так, будто нам надо идти на кладбище и откапывать могилы — такого не было. Я адекватно отнеслась. Но меня задело: сколько же их тогда полегло, раз они меня об это спрашивают? Сколько же они там оставили однополчан? Сколько мне тогда было? Это было 81-й год или 82-й, а я 61-го — двадцать лет, получается. Но я помню, что поняла, что неспроста спросили. Я же не врубалась еще в то, что своих оставляли, а немцы только своих хоронили. Номню еще их страх, когда сказала, что давайте ваших героев восстановим,

журналисты «Комсомолки» же начали — мы самые напые, ничего не боимся. Они ответили: «Там виднее». Тем не менее телефон Вали Панфиловой они мне дали. Она тоже сказала: «Там виднее».

Это Баужан говорил хорошо, на одном с ним были понимании. Мне было важно, чтобы он на отцово письмо ответил. Нужно было понять, получит он его или не получит, и сказать, что мы сейчас там ходим, там работаем, в Волоколамском районе, что у папы были вопросы. А вот эти ребята-фронтовики — они очень дорожили письмами. Не телефон. Это вот как сейчас: письмо в конверте или эсэмэска. Ценится письмо в конверте. Или большое — по имейлу. Телефонный звонок — фигня, важно письмо. И они выбирали, на какое письмо ответят, на какое — нет. Он сказал: «Если я от вашего папы такое письмо получу — я отвечу, я обещаю».

Не успели. Ему тогда немножко осталось. Но это было круто. Как Белаш сказал, когда заходил к нам, что вы свое дело делаете, мы — свое, и хорошо, что мы есть. ^[105] И вот от Баужана такое же уважение. Хотя меня пугали, что пошлет — неважно, женщина или не женщина, что резкий, еще чего-то. Все нормально — я нашла с ним общий язык. Мы бы с ним встретились, но он был в санатории, а у меня «космонавты» на руках. Поэтому и не удалось. Но самое главное я тогда поняла — что все это не просто так. И что друзья погибшие им покою не дают. И знаешь, это не был праздный вопрос: сначала мне показалось, что это любопытство такое вроде «а там грибов много». А потом, когда они повторили... Ты же не будешь просто так такие вопросы задавать. Это сколько же должно было там лежать, и даже не захороненных, чтобы такие вопросы задавать. Если бы это была могила, то так бы и сказали. Про могилу так спрашивать не будут. «Не находили ли» — они их там оставили как вещь, обронили. Я потерял, а вы не находили — как ножик.

А с панфиловцами я как встретилась. У нас какая-то родня жила в Алматы. Были деньги лишние — мы собрались и полетели туда с мужем. Как сейчас помню: День авиации, и в самолете искали бомбу. Это было в начале 80-х. Вечер, август, жарко ужасно [...] И задание у меня было — поскольку наш район тогда был Волоколамский — дойти до панфиловцев. Они тогда в центре сидели, помещение было там, где Вечный огонь. Они мне и не удивились, скорее обрадовались. Мы ведь и ходили по «Волоколамскому шоссе», теми же

проселочными тропами и дорогами. Мы шли маршами: где у них ночевка — там и у нас ночевка. Считай, прошло каких-то тридцать лет, если это 74-75-й год. Мы тогда еще даже с местными не общались, просто ходили этими дорогами — мы это все прочувствовали, с этой книжкой на привалах. По ней — как по компасу. Окопы были на Дубосековском разъезде — мы в эту грязюку заходили. И там тогда еще деревяшечки эти сохранились: окопы были обшиты. И стога осенние. Но памятников еще никаких тогда не было. А стога эти скошенные — как танки. Вот это я очень хорошо помню. Осенний поход был: над тобой грязь, под тобой грязь. И вот эти стога — как танки.

СТЕПАН ЛИШИН

Недавно папу коллега по работе попросил найти могилу его отца, мы и поехали. Представляешь, что такое Орел? Черноземье, поля бескрайние — тоска. Для меня это было шоком, потому что и леса-то не видно. (Это даже не сам Орел, город Ливны, Ливенский район.) Там мы сразу вышли на местных поисковиков, и они показали, где лагерем встать.

Ездили я, батька, и три подростка с нами было. Пэтэушники. Обычно же как, в деревню выходишь — делаешь опрос: где стояли немцы, где стояли наши, где могилы? Вдруг еще чего помните? А тут опрос был в таком виде: «Мы ищем одного солдата, одного человека, может, что слышали?» Для меня это была очень частная, классная история. Когда мотивация идет не от тебя, а при помощи кого-то другого.

Коллега отца, мужик уже в годах, просто сказал, мол, давайте где-нибудь поставим памятный знак, что здесь погиб. По мы нашли, кстати, один двор, где семья знает, что напротив этого двора закопан человек. Что могила там была всю жизнь. Бабки, три сестры, сказали, что могила должна быть буквально вот здесь. А медальон они после войны забрали у него. Даже сказали фамилию этого человека. Мы сразу по ОБД посмотрели: это оказался артиллерист, дислокация подразделения была очень далеко, его сорок километров оттуда везли. Привезли, он умер — закопали напротив дома. И вот, понимаешь, люди в курсе, что здесь кто-то похоронен, всю жизнь знают про эту могилу, но ни крестика, ничего. Им по большому счету все равно.

Мы там начинаем рыскать, пробивать щупами землю, хотели ливнинским ребятам передать, чтобы забрали — чего он будет на проходе лежать. Тем более все известно. По-моему, Колесников его фамилия. В общем, мы начали искать, а люди эти местные говорят: «Да ладно, он наш дом бережет». Понимаешь, это ведь тоже отношение к человеку. Отношение нас — друг к другу. Им неважно, что он умер когда-то. Даже если учесть, что он защитник. Про своих родственников, которые погибли на войне, они говорили с трепетом: о них тоже нет ни данных, ни сведений, ничего. Мы им по ОБД,

разумеется, сразу все нашли. Но их трепет не на вот этого артиллериста в огороде. Не могут осознать, что и его кто-то ищет, либо искал и не нашел. У них к этому такое вот отношение: «Да ладно, пускай лежит. Он бережет наш дом». Они уже даже забыли, где именно он лежит. Ладно бы еще если ухаживали за могилой...

Но так человек устроен, это не плохо и не хорошо. Это норма. Она может быть и не очень приятная, когда это осознаешь. Но вот это как раз и есть то, что сейчас созревает: пресловутое гражданское общество, как принято выражаться. Это же все отсюда начинается, с уважения друг к другу. И неважно, павший ты или нет. Я про любовь к человеку просто потому, что он — человек, а не потому, что он патриот, например.

В советское время все по-другому было: там сначала общество, потом человек. Все-таки, в моем понимании, общество, которое чтит законы и уважает друг друга, зарождается именно от частного к общему. То есть сначала ты с определенным набором качеств, а потом уже общество. И оно из этих маленьких частиц, человеческих миров, собирает рабочую машину, причем самодостаточную машину — из этого в конечном итоге должно сложиться государство.

Лишинская коммунальная система — тоже история про коллектив, а не отдельного человека, потому что она плоть от плоти часть той советской системы, это нельзя исключать. И Макаренко, и Иванов. И эта система работает: она в чем-то хорошая, в чем-то плохая. Я просто по этой системе работал. Когда я собираю пацанов с улиц — отпетых или не очень отпетых — разных, то и они делают те же ошибки, просто достается всем по-разному. Подросток делает ошибки, соизмеримые своему возрасту, а бывает, делает ошибки, которые его убивают. У него просто нет опыта жизненного. И если ему не создать среду, где его ценят, любят и уважают, он может так и не вырасти.

У Олега Всеволодовича Лишина есть запись, где он говорит, что важно воспитать здоровую личность, а личность уже сама разберется, кем ей быть. Важно, чтобы личность была не злой к миру, любознательной — вещи очевидные, но это же надо воспитывать. Человек, не слушающий Баха, не начнет его слушать. И не будет понимать, зачем его слушать. В Африке живут туземцы, которые не парятся, и им хорошо. Может быть, не очень хорошо, их хобби —

катать скомканный кусок полиэтилена (то есть даже не мяч) и мечтать уехать, стать где-то футболистом. Но они счастливы. А может быть, и нет. Мы же не можем сказать, что вся Африка такая.

Я хочу оговориться, что могу ошибаться, потому что во многом пересказываю уже чьи-то чужие истории. Но я в этом рос, я продукт той системы, которую создал Лишин Олег Всеволодович, так или иначе. И я только, наверное, сейчас осознаю, что главное — это чрезмерная эмпатия, которую поиск мне привил. Эмпатия — значит чувствовать за другого — за Васю, за Нетю. Но делать это очень сложно, мы же все пупы. Ведь это так и есть же, мой пуп важнее пупа соседа.

И мы это пытаемся примерить сейчас: как учиться уважать и любить окружение свое, общество, соседа-алкаша, кого угодно. Это же необходимо, чтобы жить как-то. Если я верещу на подростка, который бросает под себя мусор, — я, наверное, не прав. Ведь это мы не создали ему условия, чтобы он этого не делал. Это, конечно, глобальная какая-то вещь, очень обобщенная. Можно же сказать, что у него есть родители, что они неправильно его воспитывают. Но откуда взялись эти неправильные родители: это же мы сами и есть, так или иначе.

Поиск Лишиными воспринимался как инструмент, всего-навсего. Инструмент для социально значимого дела. Это же как скаутинг, только у тех социально значимое дело — тушить пожары, помогать кому-то — это тоже социализация через среду, через общество. То есть быть нужным данным людям. И скины выезжали на этом в свое время, когда пытались чистить расу. Социально значимое не обязательно же положительное дело.

Подростка несложно заставить воевать за тряпку, ему легко объяснить, что Родина тебя не забудет.

Поиск становится инструментом. А поиск и общение с родственниками погибших — часть этого инструмента. Бывает, что родственникам самим ничего не нужно — и это очень губительно для той системы, которую Лишины создавали. Ведь в твоём понимании ты нацелен на благо, потому что думаешь о ком-то, ты делаешь это не за деньги, а по совести. Естественно, нагруженный идеологией человек — он гораздо страшнее, чем человек, который ради денег. Таких людей сложно сбить с пути. На этом держалась советская система: на

эмпатии. И по большому счету вся эта коммунарская движуха, как я ее почувствовал, это пионерия. Ты бывал в лагерях пионерских, еще именно в советское время? Помнишь, что такое игротехника? Это блоки игр, которые на что-то нацелены: вместе хлопать в ладоши, «Снежный ком», игра на ориентацию в помещении. Каждая игра заточена подо что-то конкретное: сплочение коллектива, образование взаимосвязей. Это история, в которой ребенок психологически расслабляется. И так вожатые с помощью игр всю смену руководят детьми. И под конец у ребенка появляется ощущение, что рядом с ним — лучший друг. Но это не так: он его знает две недели. Лучшим другом ты никому не станешь за две недели, это иллюзия. Создается среда для того, чтобы ты не был отдан сам себе. Коммунарская среда, не только лишинская, это «Дом-2», просто из этого делали шоу. Все эти огоньки, общие сборы. Там просто другая смысловая нагрузка, другие идеи. До смешного. «Дом-2» — это коммунарство, схема одна и та же. Вот есть топор — им можно срубить дерево или срубить голову. Так же и игротехника, которую я вспоминал. Как по мне, она не очень честна, потому что у ребенка нет шансов. Тебе говорят, что в этой среде надо улыбаться, и ты будешь улыбаться, я это сам видел. Нас, вожатых, три недели мучали, мы прошли все методички по всем этим психологическим играм. Может быть, встречался с таким: когда человек встает на возвышение, падает спиной — и остальные должны его поймать? Это игра на доверие психологическое. Но создание коллектива — это очень долгий процесс. Честного коллектива, который не развалится, случись что. А игротехника — это история, когда можно держать ситуацию под контролем, который удобен тебе. И то же самое — коммунарство. Это игра. Это создание микромира, микросоциума. И, безусловно, у Всеволодыча получалось играть в эту историю, до сих пор их окружают эти люди, бывшие воспитанники приезжают.

Здесь еще момент, что это детство, а детство всегда прекрасно. Это тот подробный мир, которого взрослый человек уже не видит. Ну слушай, в детстве ты удивляешься вообще всему: котенку, растению, зажигалке, чему угодно, все это — максимально круто. А в подростковом возрасте — алкоголь, первые ощущения и чувства. Я вспоминаю из детства, мой друг рассказывал, как они разбили остановку, стекло вынесли из пневматического пистолета. И это был

восторг, это было в новинку, потому что ты нарушаешь какие-то правила, живешь полной жизнью и так далее. Детство в любом случае будет контрастней, чем настоящее.

Изначально Всеволодыч был биологом, но я могу даже с точки зрения зоологии провести логическую цепь к тому, чем они занимались позже. Есть же зоопсихология. Если глобально рассуждать, зоопсихология — это психология вида. И конечно, это были такие люди, которым нужно было кому-то помогать. И был социальный запрос, который лежал на поверхности. Пионерия же не работала, вся система советская рушилась. Все старые идеи уже не работали. Была та же ширма ненастоящая: ровно то же, что и сейчас происходит.

Макаренко возник все-таки во времена раннего коммунизма, когда ко всему относились очень серьезно. Социализм — это утопия, это можно прочесть у Маркса, а его труды до сих пор работают. Сколько бы мы их не отрицали. Любая идеология, если она искусственно создана, — про то, что мы братья, и вот это всё — требует подогрева. Мы должны понимать, что человек — это животное, опупевшее, как я изначально говорил. Мы все пупы. Мы для себя важнее всего. Об этом говорит и инстинкт самосохранения, размножения, продвижения генофонда. И мы не можем это отрицать, так как это доказано биологией как наукой. А в моем понимании — вся советская история противоречила естественному. И поэтому она не могла состояться. Но это был крутой опыт длиной в семьдесят пять лет. Условно семьдесят пять, на самом деле меньше. Выгорание началось уже после сталинизма.

Был коммунарский отряд. Всеволодыч работал в институте, как я помню. И работал со студентами, поэтому сначала был студенческий коммунарский отряд, взрослые люди. Насколько мне это понятно, я же не из того общества, люди устали от довлеющего большого брата, искусственного общения и старались куда-то спрятаться. Создавались КСН, которые убегали в лес и создавали какие-то междусобойчики, где могли на равных общаться, делиться, петь что хочется, их никак не ограничивало ничего, кроме общей морали. То есть запрос был на это, запрос был на общение. На самореализацию, которую власть не могла позволить в каких-то моментах. Сама система изжила себя, а молодежи все равно хотелось развиваться. Когда тебе говорят о каких-

то старых идеалах, которые ты можешь проверить, а они не работают...

Затем как раз были педагогические поиски социально-важного дела: потому что без этого опять получается морковь. Люди приходят в новое общество, а тебе ничего не предлагают. Если предлагают просто общаться, то долго это не продержится. У нас с тобой общих интересов нет — мы поговорим и разойдемся. А тут есть дело, важное, которое вызывает эмоции: когда говоришь, что ты поисковик. Хотя тогда это еще не было мейнстримом, тогда власть вставляла палки в колеса. Ну потому что наша армия самая зеленая, самая сильная, и павших нет. Ведь Лишины начали в 70-е. А после войны высылали покалеченных за 101-й километр и не парились. В 80-х даже была чистка, когда была Олимпиада. И эта история привела к вопросу о человеческой жизни: Советский Союз ее обесценил, показал, что один человек — ничто. Причем сам человек должен это понимать — и радостно этому содействовать, бросаться на амбразуру.

В том понимании, в каком сейчас существует «Долина», вахты прошли мимо меня. Я могу смотреть фотографии: расчет с калашами, люди, деревня, но не могу определить, что это именно вахта. Вахта, в моем понимании, это когда стоит двадцать отрядов на одной точке. Я этого не застал в осознанном возрасте.

Мой отец создал отряд «Долг» в 95-м году. Эту историю я более-менее осознал. Он был педагогом и географом, и первый его коллектив, с которым он до сих пор общается, сделал турклуб. Они собирали молодежь и ходили в походы. Как многие делают это и сейчас. О поиске речь вообще не шла. Отец защищал какие-то подмосковные маршруты и по ним ходил с ребятами. Уже в 95-м году он набрал их с улицы. И я помню себя восьмилетним в этой среде: абсолютно уличные пацаны, которые не вписывались в коммунарскую систему никаким макаром. Есть же, помимо Макаренко, Сорока-Росинский^[106] — это он описан в «Республике ШКИД». Он не был самоучкой, дипломированный человек, наукой занимался, был педагогом. И они с Макаренко параллельно существовали. Но методы Сороки-Росинского сильно отличались, они наличие советского режима не учитывали. В их системах, которые работали на одно и то же, была большая разница. И у моего бати было много споров со Всеволодычем именно по поводу вопросов «Почему я прав?».

«Почему я должен решать за кого-то?» И если брать меня — я знаю и Сороку-Росинского, и Макаренко — я за Сороку-Росинского, потому что в этой системе больше человека, конкретного человека. Сорока-Росинский умудрялся, если подросток куда-то шел, создавать ему условия для развития тех особенностей, которые у него были. Макаренко, как и Лишины, создавал все-таки более-менее социалистическую модель общества, эту маленькую ячейку.

Модель, с одной стороны, классная, мы этого и хотим: чтобы все люди думали о друг друге. Но это так не работает, потому что науки зоология и биология говорят о другом: если человек одаренный, то почему он должен жить как все. Человек, допустим, может заработать больше средств и жить более качественной жизнью. С чего мы вдруг решили, что он не должен так делать? Что он должен жить на сто двадцать рублей и быть счастливым? А у него гонора, возможностей, таланта — на большее. Наверное, все-таки социалистическая модель парализует людей... Но, возможно, в подростковом возрасте это важно пережить.

Если брать отцовскую историю, то он набрал в первый раз таких, конкретных пацанов. Он купил их поиском, как каким-то таинством. Почему именно Ржев у отца? В первую очередь потому, что у нас подо Ржевом был дом. Дом родителей моей мамы, который пустовал. И туда можно всегда было ездить. Деревня Макарово, Глебовский сельсовет. Тот угол, где живет Виктор Морозов, мы начали осваивать в 2002—2004 году, я уже подростком был. Я знаю, что дедушка с бабушкой появились там намного раньше, мы — позже.

Мы долго базировались в Макарово. У нас было какое-то финансирование, и я хорошо помню, что было много взрослых людей, которых отец приглашал. Очень много взрослых людей с нами ездило, потому что не было работы. Какие-то семьи просто выживали в этой тусовке. За счет финансирования покупались продукты и делалось какое-то общее дело. Была в прямом смысле коммуна. Какие-то минимальные условия и цель — нас воспитывать. Или поиском заниматься.

Ты же понимаешь, что, если я не верю в идею, я ее не смогу передать ребенку. Видимо, во мне идея кончилась поисковая, вот эта эмпатия. В поиске я не то чтобы разуверился, но я пережил все эти моменты, и уже не мог держать детей на этой теме. Они- то до сих

пор хотят, они готовы участвовать в вахтах: у нас с ними было два или три подъема. И когда я ворчу и пинаю законодательство, да, наверное, не так все ужасно, люди же находят условия, чтобы и дальше заниматься этим делом, правильно? Я так полагаю, проблема в том, что я пережил какие-то вещи. Мне это надоело, если грубо говорить.

[...]

В Макарово у нас происходили довольно большие экспедиции. Мы жили в доме деревенском. Причем это было в любое время года: хоть весна, хоть лето, хоть осень. Участие в этом принимали по 40, по 50 человек. Всегда был большой коллектив, либо даже два коллектива. Отец общался со многими людьми — и среди его знакомых были педагоги, у которых тоже были коллективы. Поэтому вместе и ездили. Помню, например, из детства, студентов каких-то, человек двадцать, которые никогда в поиске не были — и с нами выехали впервые осваивать всю эту коммунарскую историю. Под коммунарством я тут имею в виду скорее некое устройство жизни: обратную связь, огоньки, общие сборы, личные ощущения каждого. Па самом деле, коммунарство — это идеальный социализм, его моделька. Когда ты по-честному хочешь знать, что чувствует кто-то, когда тебе это важно. У Всеволодыча это получалось, создать эту идеальную форму социализма. Другое дело, что в реальной жизни так не бывает. Если нет чувств, нет каких-то общих дел, нам всем все равно, кто и что чувствует.

Ф.Д. А сам себя ты в результате почувствовал белой вороной?

С.Л.: Я очень долго думал по этому поводу. В первый раз меня потрянуло в двадцать семь лет, когда пришла переоценка ценностей, которыми я жил. Сейчас я, так сказать, доэволюционирую, у эволюции нет крайней точки. Я чувствовал себя белой вороной регулярно, когда был вне коллектива, вне вот этой песочницы. Когда ты вне отряда — ты пытаешься скорее вернуться обратно. У отца, как и у меня, когда я занимался педагогикой, создавалась среда безопасного общения. И отец это на свой взгляд сделал, я на свой. По я уже не делал социализм, никто никого не пытался удержать. Это был набор каких-то правил, по которым мы жили — правила общежития по большому счету. А как ты это называешь: социализмом, коммунизмом, демократией — не столь важно.

Если брать лишинскую историю, отцовскую историю и мою историю: они абсолютно разные. С одной стороны, и очень похожи, но с другой — разные, потому что я играл с демократией. Те самые общежительные правила были в моем случае законами, которые положено соблюдать, всем, безоговорочно, в том числе и мне. А остальное — можно. Естественно, любая история, которую надо было урегулировать, решалась сбором. Но в тех моментах, где дети сами могли решить, как именно им жить. Если это касалось их безопасности, то тут, естественно, никто не рассуждал, просто нельзя и все. Я же за них отвечаю. Игры в демократию заканчивались на технике безопасности. В эту область я не пускал никого, даже взрослых. Если я руковожу этой историей, я ее создаю, то я считаю это корректным.

В плане работы мы занимались деревней Бельково. И, собственно, мы туда же вернулись в этом мае. Я решил сменить обстановку. Но тогда, в 90-е, мы подняли очень большие количества. Но у отца не было никогда задачи поднять как можно больше. Вот честно, я не помню больших раскопов. Номню, мы работали на пашне, которая была засеяна хлебом, помню колоски. То есть это было государственное, не частное поле. Старшие (подростки, которые могли держать щуп) встали в шеренгу: стояли через каждые три метра и пробивали почву. А пашня — это такая история, что там была мелиорация, все окопы уже закопаны. Плуг откидной срезает сорок сантиметров. У меня картинка из детства: идешь по колее, видно, как плуг шел, и собираешь кости. Это как раз бельковское поле. И помимо костей там: гильзы, медальоны, все, что угодно, все, что плуг зацепил и растащил. И эти места отказывались пахать, потому что трактора подрывались. У меня дед оттуда родом по матери, от него осталось много воспоминаний. Он тогда был подростком, 31-го года рождения, как Всеволодыч фактически, но он был деревенский подросток. И, допустим, рассказывал, как у него в руках граната разорвалась. Такие вот игрушки детства. Насколько я понял, это была РГД-33 без рубашки. Он успел откинуть ее вверх, ему только руку посеколо, потому что диаметр разлета небольшой, поражающих элементов практически нет, кроме ленты осколочной.

И весь этот род, он идет оттуда, из Макарово. Много воспоминаний послевоенных, ему, деду, и тетка про все это

рассказывала, когда война уже ушла с этих земель. Говорила, что снег сошел, а поле все равно белое от маскировочных халатов. Чтоб понимать немножко тему, Бельково — это господствующая высота недалеко от Ржева. За нее немцы держались очень сильно. Стратегическая высота была. За эту высоту погибло две дивизии, 221-я в том числе, если не ошибаюсь. Этот бой описывается в книжке «Ржевская мясорубка»^[107], не помню сейчас имени автора. Он выбыл по ранению тогда. Я потом расскажу про деда, который пришел однажды к нам в музей. Дед этот в Бельково как раз воевал, и когда узнал, что мы там копаем, он говорил, мол, руку мою найдите, на ней часы были. То есть с юмором дед.

В тех местах, где Виктор Морозов работает, мелиорации не было. А там, где Бельково, не только была мелиорация, там растащили плугами три линии окопов. Бельково есть в учебниках немецких фортификационных, как и Мончалово (это тоже подо Ржевом). То есть там все было изрыто, вся деревня, все дома были связаны ходами сообщения, полдеревни, даже больше, растаскано на блиндажи. Это все был единый укрепрайон, созданный из деревни. Немцы там вкопались и достаточно успешно оборонялись. И очень многое так в этих окопах и лежит. Вот та история, когда нас со щупами в ряд выставили, я начал рассказывать, ведь это было летом. Искать тогда не очень удобно, земля твердая, в лесу работать невозможно, да там еще и лес — чепыга: кусты, мелкий березняк, ельника мало. И отец выстроил всех цепью, от дороги пошли. Один ученик нашел верхового солдата в ячейке одиночной: как его убило, так он там ничком и сложился. Ему, по-моему, плугом что-то срезало, но точно не помню. Его спасло то, что он упал на самое дно ячейки: спасло в том плане, что он остался лежать почти нетронутым. Медальона у него вроде бы не было.

Позже ко мне перешла вся эта история с медальонами, я по ним работал очень плотно. Лет в шестнадцать или семнадцать это началось, до этого-то просто помогал с медальонами, а потом мне все это передали. У меня пачка с медальонами «долговская» до сих пор вся есть, вкладыши все, вся эта работа. А того человека я очень хорошо помню: его стеклянная фляга, эрзац... Историю стеклянной фляги знаешь же, да? Астафьев писал: будь проклят тот, кто это придумал. При попадании пули в это место, она лишь задевала бы, а

так попадала во флягу и получалась большая рваная рана от осколков. А если вода там еще нагрелась или давление какое-то появилось внутри, то все еще хуже будет.

В Бельково мы работали в 2001 году, но помню все это на уровне вспышек: мне говорили копать — я копал, говорили не копать — не копал. Из 90-х запомнились овинные ямы трехметровые, забитые костями. Но это Толстиково, немного другой угол. Помню хлебохранилище, на котором мы пять лет работали: подвал большого ангара был забит людьми, а потом еще и подожжен вдобавок. На всех этих раскопах я сидел на отвале. Помню по опросам в деревне Васюково (это со стороны Макарово), что в одном месте на огороде точно есть могила медсестры. Причем тот дед, когда рассказывал, даже помнил, как она выглядела. Кудрявая, говорит, как у тебя волосы. А мне было лет восемь или девять. У него воспоминания были такие яркие: говорил, пышная такая грудь у нее, с шевелюрой яркой. Ну все же люди. И дед очень ярко это вспоминал. Но тогда нам не дали копать хозяева участка. Бабка сначала верещала, что их перехоронили. И она на этой могиле, официальной, спокойно растила картошку. Насколько война вообще обезчеловечивает. Потому что эта бабка, она застала войну очень плотно, я так полагаю, что и она была свидетелем всех этих событий. Там, где все основано на инстинктах, там уже о морали, о которой мы сейчас вспоминаем, речи не было. И мы не можем ее судить с точки зрения правил общежития, принятых в то время, когда уже нет войны. Потому что на войне все это не работает. И вот она, помню, матом нас гоняла, говорила, что нет! В соседнем огороде при этом мы подняли двух лейтенантов. Просто пришли туда, и они нам сказали, мол, вот, мы знаем, что у нас есть, знаем где, мы там ничего не растим, хотим, чтобы вы забрали. Но там в ящиках было два лейтенанта — видимо, между боями их хоронили. Я помню и сейчас кубари эти красные. Уж не знаю почему, но помню, что это было очень фактурно, именно физиологически фактурно.

Мы потом возвращались туда же, в Бельково, на то поле, и в 2011 году. Много верховых там подняли. Тоже они были растащены сильно, условно на человека по десять костей. Медальон нашли разбитый плугом. Но состояние скелетов было ужасное. За вахту мы нашли человек тридцать, за неделю. Но тогда делали все археологическим методом: сначала фиксируешь, как человек лежит. Это интересно

визуально, а главное — ты меньше пропускаешь, знаешь, где у него были карманы.

Мы можем верить только своим глазам, поэтому, если ты поднимаешь археологией, ты можешь понять, что произошло. Если звери растащили, значит, они растащили, ничего не поделать, если снаряд попал — тоже.

Мы подняли один раз санитарное захоронение, достаточно большое, там человек девять было. Для нас это одно из первых захоронений, которое было именно санитарное. Сначала это была воронка, но ее выровняли, сделали из нее могилу, была, видно, возможность такая. И люди там лежали плашмя. А тогда сил у нас было много: куча подростков восемнадцатилетних, они вполне себе уже копали. (Понятно же, что тринадцатилетний подросток много не выкопает. С этим связано то, что мы мало находим и мало поднимаем: если ты занимаешься с подростком, то у него сил меньше.) Я сам, наверное, года четыре с ребятами ходил. Была тема — поиск, но мы просто ходили, чтобы они научились не обращать внимания на ноги, не уставали. Потому что когда ты начинаешь ходить и копать, то умираешь моментально. Обычно же, по закону подлости, от раскопа километров десять до лагеря — и ты ходишь.

И вот в этом Папино мы поднимали яму, это была весна — обычно так не делается, но решили поднять. Воды по уши. И мы поднимали археологией. Я тогда протасился от этого метода. Глубина залегания останков была где-то 1,8 метра, то есть больше шупа. Мы нашли контур ямы, в которой лежали останки, и обкопали вокруг нее шурф. Вышел раскоп примерно пять на четыре метра, сделали водоотливные каналы. И в результате получился стол, на котором лежат люди, могу даже фотографию показать. Это очень наглядный был раскоп для меня. Видно было, что это именно санитарное захоронение: лестничные шины на руках и на ногах, остатки бинтов. По люди были в исподнем, поэтому никаких личных вещей не нашли. Зато, благодаря археологическому методу, не пропустили медальон. Он был один, общий, лежал ровно посередине могилы. Мы его не прочли: до сих пор у меня лежит, сама бумага есть. Он был в гильзе, а там приходила-уходила вода, заполнен медальон, скорее всего, был карандашом, и его промыло. Видимо, он был цементирован: соль меди, из которой гильза сделана, бумагу

пропитала, из-за чего бумагу было не разлепить. Пришлось прибегать к химии. Вымыли медь из состава бумаги, бумага раскрутилась, но на ней уже ничего не было. Возможно, позже проявится, бывает такое, если писали химическим карандашом. Он проявится только тогда, когда нормализуется бумага. Производство бумаги было щелочное, а окружающая среда — это окислитель очень сильный. Поэтому как раз некоторая бумага вообще разваливается, рассыпается. По это только при условии, что к бумаге не было доступа кислорода. Если доступ был, с водой допустим, то все сложнее. По бумага по факту есть, и это был медальон в центре, завернутый в гильзу, заткнутый палочкой, завернутый в какое-то тряпье, ровно посередине этой ямы. Значит, он не чей-то, а просто записка об этом захоронении. Так что оно, скорее всего, фиксированное, но мы не смогли его идентифицировать по месту. Только я на этом пятаке уже поднял около пяти ям. И все это захоронения госпитального характера: потому что в Папино был госпиталь. По документов по этому госпиталю пока я не видел. Мы ездили в архив искать, хутор Папино — это деревенское название, на карте там другое название. Много названий, сложно привязаться.

С отцом совместно мы ездим до сих пор, но перехватил инициативу, взял бразды правления и стал управлять подростками, я примерно в 2011 году. Тогда уже я сам набрал команду и начал с ней ездить. Это еще не было поиском. Ездили по музеям, делали модельки, устраивали походы выходного дня. Первый выезд с новым поколением, именно моим, был в 2012 году. В тот год мы подняли двоих, лежали в одной воронке: по мелочевке было похоже на немцев, но странно, что не было смертников. Сложно рассуждать, потому что мы нашли только две пуговицы фрицевских и запонку — это ни о чем не говорит. Мы их собрали и забрали. Да и, честно сказать, я не делю... Мы находили немцев, полтора человека, для меня это было странное ощущение. Впервые я сам нашел немцев, сам их выкопал. Там был фендрих, с петлицами, с погонами. Зольцбух, смертник целый. То есть это не захороненный солдат: для них, для немцев, он пропал без вести. Зольцбух вынимался из кармана, если была такая возможность, по крайней мере, смертник уж точно ломали. А зольцбух сохранился благодаря Библии. Это даже была не Библия, католический молитвослов, может быть, маленькое такое издание, одного формата с зольцбухом. Видимо, какое-то армейское издание, у

них были такие вещи. Но когда пытались разлепить — цементировалось же сильно — все это развалилось. Остались только лоскуты от Библии, зольцбух там остался. Но смертник же есть. К чему я это... Как раз тогда пришли ощущения, что я уже не считаю их врагами. Время все списало давно, и интересно, что это был за человек. Это как раз к вопросу о человечности. Данный момент не требует от меня его ненавидеть. Ты сам, своей совестью, можешь рассуждать. «Вот это абсолютное зло, а вот это — не абсолютное зло» — когда мы начинаем оценивать что-то с точки зрения современного положения вещей, современного быта, современной идеологии, собственного образования. Но ведь мы же не знаем, что бы было с нами в тех условиях. Мы этого никогда не узнаем. И слава богу.

С такой точки зрения — чем этот немец отличается от какого-то коммуниста или финна? Он был солдатом своей страны. Понятно, что он сам пришел к нам. Но он пришел когда? Да уже ветераны друг друга простили, а мы все продолжаем ссориться с кем-то, с чем-то. И не обязательно вовсе он фашистом был. Короче, у меня возникла история, что если я считаю себя профессионалом, то поиск это не только эмоции, но это и профессиональный подход к делу, и я должен беспристрастно к этому относиться. Вот есть павший, с документами, я просто его поднимаю и передаю тем, кто этим занимается. И эмоции тут никого не интересуют, потому что есть профессионализм некий. Мы должны прийти к подобному порядку. А на этом уже выстраивать и волонтерские все дела. В России существует ПДР, но у них нет никаких полномочий, юридически они никто. Мы с тобой создадим НКО — и будем таким же ПДР. Просто они себя пропиарили на уровне власти, у них есть какой-то ресурс властный, а у нас его не будет, вот и все. Существуют законы, которые нужно соблюдать. ПДР теоретически могли бы делегировать какие-то полномочия, но они бы все равно ничего не смогли, потому что архивы до сих пор закрыты. Ночему-то мы стесняемся того прошлого. Я не понимаю почему. Нам его надо уже переосмыслить, сделать из него какие-то выводы. А у нас наоборот — это секрет. Чего удивляться, у нас с даты отмены крепостного права не так много времени прошло, Советский Союз, по сути, наполовину был крепостным. Поначалу же вообще ни на что никто не имел права.

А поиск, так или иначе, со всеми нами связан очень плотно. Поиск — это общество. В любом случае в поиске — такая же пестрая картина, как и на улице. Есть циники, есть верующие, есть кто угодно.

Отец очень тяжело воспринял разрушение тех идеалов, которые создавались в его детстве, в его молодости. Я могу судить только по риторике его, по отношению к чему-либо. Хотя нет. При нем мы всегда, если находили немцев, хоронили их вместе с нашими. У него всегда было такое отношение, что, это не солдаты, это просто люди. И уже ничего не важно, их нужно просто захоронить. Это его главный был месседж все мое детство. Для интереса, чтобы мы понимали, кто такой немец, что такое медальон, что это за железки — он показывал, но это просто была нагрузка в плане изучения фактуры, эпохи. Такая вот история на ладони. А именно отношение к павшим было совершенно конкретное, и мне это передалось. Для меня важно все: мне интересно, что это за человек, будь он немец, француз, русский, финн. Это все интересно с точки зрения истории, рассказа о нем.

[...]

Есть профессионализм некий, когда я эмоционально уже не рассуждаю и могу делать описания. Ездил в Бурденко отдавать медальоны на расшифровку, я заодно у них набрал литературы по эксгумации: о том, что это с точки зрения медицины, как они строят описания. Ведь то, чем занимаются поисковики, — это дело по большому счету полиции, органов следствия. У нас, поисковиков, есть протокол эксгумации: да фигня все это полная, потому что мы не имеем права этого делать — по закону.

В последнее время, когда я начал осознавать все это неэмоционально, я начал копать именно в сторону того, чтобы быть кем-то профессиональным. Я перестал быть поисковиком, который страдает, я начал пытаться понять, в первую очередь, в какой позе человек лежит, почему он плохо сохранился, грунт кислый или щелочной, почему это так, а это так. С точки зрения профессионализма. Я начал интересоваться техникой восстановления лица по черепу Герасимова. Ты же, если хочешь развиваться, не будешь делать одну и ту же работу: в одном месте нашел — в другом закопал. Я хотел все-таки от этого каких-то новых навыков. Я углубился в судмедэкспертизу, начал изучать баллистику. Просто

потому что эмоций вроде «наш солдат — самый хороший» уже не хватало. Безусловно, когда мы копаем и собираем людей с полей, мы делаем важное дело, но мы должны были это делать намного раньше, честно сказать. Сейчас к этому уже наращивается излишняя святость. Это человек — его надо похоронить. А когда к этому привинчивают, что он святой, что он защитник... Да нет, он просто человек. И когда начинают верещать, что военную нагрузку должно нести все это, патриотическую, от этого я устаю. От этого я уходить стал. Потому что это не так. В первую очередь — он человек. И хоронить его надо потому, что он человек.

Люди вроде Виктора Морозова, по сути, занимаются волонтерством. Да, тут есть некое создание новых смыслов. Но мы все создаем смыслы по поводу чего угодно. Но должна быть какая-то официальная организация, где люди получают деньги за свою работу, где соблюдают закон. Это очень важно, везде, во всех областях нашей жизни. Опыт других стран показывает, что то, чем занимаются Викторы Морозовы, вполне жизнеспособно. Как минимум он может быть органом управления на собственной земле в этой организации, если согласен обучиться.

Бессмертный полк — идея классная, здорово, когда такая идея поднимается снизу. Но ощущение очень двоякое. Все-таки ведь это какое-то язычество. Даже страшно, что люди берут плакаты покойников и ходят с ними по площадям. Но я понимаю наше общество, для нас родственник всегда будет хорошим, кем бы он ни был: кровавым палачом или Ванькой-ротным, каким-то солдатом зеленым, дезертиром или пленным. Вот когда был у нас ресурс, на который люди обращались за помощью, я понимал, с чем они обращаются. Мы часто находили для них информацию в немецких архивах о том, что человек был пленен в начале войны. А люди не знали об этом. Он был обычным хиви, не знаю, растил растения для рейха. Он был просто гастарбайтером, рабочим всю войну, сберегся. Я, конечно, всегда писал «возможно», в таких случаях утверждать никогда нельзя, это очень опасно. Тебя просто оболют говном. Но главное: люди же не знают, кто был их дед. А сейчас им еще и дали идею, дали возможность поднимать этого деда на портрет. Это же неправда. Эта история — это не память общества. До маразма мы один раз уже дошли, когда Николая II поднимали. А это уже в чистом

виде язычество. Хотя идея была сама по себе неплохая. Это же, по моему, придумали журналисты из «Катера». Но идея была, насколько я понял, в том, чтобы изучить своих родственников, поднять о них память. Помимо «Бессмертного полка» есть же еще «Бессмертный барак»^[108] — и там все намного честнее, там уже не надо ходить с табличкой, не надо доказывать, что дед сидел или был расстрелян.

Конкретно отца колбасить начало, наверное, когда мне было лет двадцать пять. Я был тинейджером, мне вообще ничего не надо было, я был рокэром, а он ко мне приставал: «Учи историю, чтобы не было такого говнища больше!» Когда его колбасило, я этого не понимал вообще. У него рушился мир, а мне было по барабану, потому что я создавал свой. Ему, наверное, было в районе пятидесяти. Я не могу сказать, что это как-то отразилось именно на поиске. И я сейчас точно так же могу пойти и поднять. Но я уже не буду испытывать то, что испытывал раньше. Но пока я был подростком, я во все свято варил, меня это заставляло себя чувствовать суперчеловеком. Когда я нашел дочь бойца, мне было двадцать три года, меня это несло, мне это помогало жить, вот реально.

И у бати когда-то было такое ощущение, какая-то святость внутренняя, а потом хлоп — и все. Ты плохого в этом ничего не видишь, но уже нет того ощущения, что ты делаешь что-то важное. И да, у нас была подмена мотивации воспитанием детей на этом. Ты детям это даешь, организуешь для них, подростков. Им это ощущение очень важно почувствовать.

Но когда в тебе перегорает, ты же можешь мозгами спокойно соображать. И мозгами ты понимаешь, что эта идея вполне неплохая. Что-то нужное в этом есть. Я могу себя замотивировать этим заниматься. Как отец говорит, это уже как рыбалка. То, что приносит тебе удовольствие от процесса. Лопата, металлоискатель, какие-то железки... Лес сам по себе, сидение у костра... Но здесь уже нет коллектива, только ты и твои эмоции. Как раз вот фанатичность Виктора — я в нее не верю.

Тут дело не в воспитании детей, а в том что поиск сам по себе становится Столетней войной. Надрыв памяти уходит, поколения уходят, теряется связь прямых свидетелей. Нас Первая мировая война где-то прижигает? Уже нет. Мы с тобой, получается, из последних людей, кому это еще нужно, эта память. Поколению за нами в целом

уже насрать. Вот, собственно, поэтому все отживает. И у меня поэтому рухнуло, потому что было больше надумано и привито сверху. Поэтому для нас люди, которые в это верят, маргиналы.

[...]

Проблема в том, что мы до сих пор не хороним солдат по отдельности. А ведь это тоже показывает масштабы трагедии. Заходишь на немецкое кладбище, видишь кресты до горизонта и понимаешь, что трагедия случилась, что погибло много людей. А люди эти могут нравиться, могут не нравиться — это не важно. У нас нет такой фиксации. У нас же все солдаты хорошие. Потому поиск и помогает буквально разобрать, кто есть кто. Не все хорошие. То есть мы занимаемся этим для себя в большей степени. По ведь в нашем отношении к войне ничего особенно не изменилось с советского времени. Как воевали — так и хоронили по большому счету. Поэтому у меня именно здесь есть пунктик.

Когда я был пацаном, я занимался этим и полностью понимал, зачем все это делаю. Братское захоронение для меня всегда было вещью святой. А потом начал задумываться, почему эти люди, лежащие в одной воронке, — они никто. Ведь это какая-то странная история. Согласно даже христианским традициям. Это же русское, это советское больше. Поэтому и начинаешь задумываться об этом. То есть ты являешься поисковиком, все хорошо, ты уверен, что делаешь это ради людей, но, когда потом захораниваешь их в братскую могилу — ты перечеркиваешь этим свое отношение. Получается, что с советского времени ничего не изменилось по отношению к человеку? И, разумеется, это же отношение не пресловутой власти, тирании и прочего — нет. Хотя тезис еще оттуда, из 1917-го года, когда сломали старое и не построили новое. Мы все строили, строили, восемьдесят пять лет строили — и что построили? У меня один дед, по матери, преподавал научный коммунизм. И когда после него осталась куча книг, было странно на них смотреть: насколько все это сейчас никому не нужно. Колоссальный слепок, который не нужен никому. Все эти съезды, отчеты, стенограммы. Я не беру труды Ленина, Маркса, но остальное? А поиск — поиск все-таки, наверное, уже что-то никому не нужное. Есть же поисковики, которые зарабатывают на этом деньги, сидят на кормушке. Я не вижу в этом ничего плохого. По когда самоцель не поиск, а деньги — это уже не работа, а ее имитация.

Часто бывает в организациях, которые входят в поисковое объединение России, что находят одиночного солдата и разбирают его на части — для картинки, для численности. Я прошел через это, еще когда был ребенком, в 90-х годах, когда сталкивались с отрядами, которые останки копали как картошку. Отношение было не очень глубокое. Отношение как к картошке: когда нужно было предоставить, например, тридцать мешков, выполнить план. Поэтому поисковики отличаются очень сильно.

Каждый человек идет туда за своим. С детьми-то все понятно: мы все маленькими хотели быть бэтменами, быть кем-то, быть чем-то. Я помню себя в подростковом возрасте, когда война была одним из главных интересов. Основное же в войне — это шанс быть убитым, страх смерти. Оружие само по себе — это не война, это всего-навсего железка. А вот желание живого человека этой железкой убить — это война. Поэтому в последнее время к поиску я как-то поостыл. Всю жизнь мы работали для того, чтобы это не повторилось, чтобы люди осознали, что такое война. Понимаешь, когда находишь человек двести, то просто тяжело физически осознать, если мысленно поставить этих людей в ряд здесь... Падо же понимать, что все эти люди — разные абсолютно, кто-то из них тебе близок, кто-то нет. Как раз поиск, наверное, в том и заключается, что нужно из статистики вырывать личность. А не делать статистику мертвую — 1000, 2000. Па самом деле, ведь даже я, который, возможно, понимает что-то, — я не помню, сколько нашел солдат до одного. Допустим, 8 000. Мерили же десятками, сотнями, тысячами. А это советская черта.

Когда мы поднимали немецких солдат — мы оставляли их там. Потому что считали, что это глупо — заниматься ими, они сами сюда пришли. И сейчас многие так делают, причем не мародеры, люди из официального поиска: вытаскивают все вещи, медальоны, а останки закапывают. А ведь это значит лишить человека судьбы, если лишить его смертника, который был у него на шее. И после — это просто кости, которые найдут и, вполне возможно, запишут в советские останки. Мол, какая разница? И если смотреть на это философски, то в целом действительно уже по барабану — главное, что получилось похоронить. А так-то разницы никакой нет.

Немцев мы когда поднимали и сдавали их немцам, у них есть регламент очень четкий. Мы нашли два с половиной человека — их

останки на поле боя, а они записали, что здесь два человека. То есть они погибли на поле боя, и их или корни, или звери растащили, они не были похоронены вообще — их природа похоронила. Один из них был идентифицирован как пропавший без вести, потому что у него был зольцбух — военный билет, удостоверение личности, и был ломаный медальон. А у нас до последних пор это не было обязательным — хотя я уже не знаю, что теперь в армии делается. А в немецкой армии за отсутствие медальона грозила тюрьма. Опять же, у нас общество было крестьянское и суеверное, как в целом и сейчас. И вот я ветеранов еще застал, спрашивал их — говорили, что да, медальоны не заполняли, потому были уверены, что ты тем самым смерть себе подписываешь. Это же тоже вера в сверхъестественные силы. Плохая была примета подписать свой медальон. Поэтому такой процент ничтожный тех, кого мы опознаем. Эти медальоны быстро отменили, в 42-м году, но Ржев, где мы по большей части работали, попал как раз под отмену медальонов, но какой-то процент их оставался все равно, еще люди подписывали ложки, котелки. Причем есть все-таки здоровое зерно во всем этом.

Если яма зафиксирована в ОБД, то если время было, война позволяла, солдаты же хоронили своих, в воронки стаскивали. И если это то же подразделение хоронило своих, то они примерно понимали, кто тут лежит, и делали поголовный список. И если на яму находишь один медальон — потом есть большой шанс найти эту яму в архиве, и по таким сведениям можно восстановить всех, кто в ней лежит. По это захоронения военного периода — как правило, воронки, в которые солдат стаскивали с оружием, не раздевали, скидывали и все. Часто идешь по лесу и проходишь мимо, потому что это воронка, это не захоронение. Просто многие говорят, что это могила, но нет.

Когда-то у нас работал сайт, социальный ресурс, на котором люди интересовались судьбой тех, кто без вести пропал. Я даже могу статистику с этого сайта показать: естественно, активность все 9 мая проявляют. Запросы только 9 мая были в основном. По факту мы просто даем советы, у нас в шапке даже написано, что мы лишь помощники, мы не являемся людьми, которые сделают за вас всю работу. Если хотите узнать, где родственник погиб — нужно проделать огромную работу и самому. По таких очень мало — людей, которые интересуются искренне, а не потому что 9 мая. Тем, кто

хочет искренне, — конечно, я даю сведения. Человек может быть официально без вести пропавшим, но потом выясняется, что он все-таки зафиксирован в какой-то яме санитарной. Санитарная она не в том плане, что госпитальная, а именно когда после боя тела в одно место стянули и в яму скинули. И люди сразу просят: покажите на карте, где эта яма, мы туда поедem. Приходится объяснять: «Ребята, куда вы поедете, там просто поле, вы ничего там не увидите. Эту яму еще нужно найти, и найти именно щупом, иначе — без вариантов». У нас это на уровне диванного, бытового фашизма, когда говорят, что мы, конечно, не фашисты, но вообще-то чурки достали. Я так не считаю, потому что много работаю со Средней Азией: и узбеками, и таджиками. Мне они стали интересны именно после контакта личного в работе — на стройках вместе работали.

Вот из чего складывается идея найти своего родственника в архивах: именно искреннее желание (а не забытый полк, потому что это модно на данный момент), именно внутренний позыв. Ведь многим неважно, где их потомки похоронены. Для красного словца мы готовы верещать на каждом углу о том, что наши деды победили, но каждый из нас своего деда не знает. Память поколений отсутствует. Это как раз по поводу социальной памяти: ее не будет, если каждый из людей своего родственника не найдет. У нас никогда не будет потребности, чтобы нас самих хоронили не в общих могилах, а по раздельности. Мы опять возвращаемся к ценности человеческой жизни, к тому, что такое личность. Если меня, как потомка солдата, по-честному не интересует, где он лежит, то и о том, что такое война, мы не можем знать. Понимание войны идет как раз через личность, не через статистику. Статистика — она мертвая, это цифры. По если взять все войны ближайшие — Чечня, например — то и там солдаты стремились о себе сообщить, писали свои имена на личных вещах, на ложках. Любая война ничем не отличается по отношению к человеку — она делает из него обезьяну. Ты не выживешь, если ты интеллигент — другие правила работают. У Бабченко, если не ошибаюсь, есть про это зарисовка — «Круг войны».

А если говорить конкретно о военном поиске, то сейчас у меня главная задача — это закрыть все свои старые, условно говоря, долги. Есть нерасшифрованные медальоны, точнее расшифрованные, но не до конца. То есть завершить какие-то вещи, которые уже сделаны, но

нужно довести их до конца. Есть медальоны и мертвые: они просто лежат — ни родственников нет, никого. Как это бывает: найден был мною человек и рядом с ним был найден медальон. Я предполагаю, что медальон принадлежит этому человеку, но бывали случаи, когда находили медальон, а человек был жив. В 80-90-е годы такое еще было возможно: находили по медальону не только семью солдата, но и его самого, хозяина медальона. То есть он просто обронил, а кто-то поднял и сохранил. Редко, но такое было. Приходил к нам в музей (у нас в районном досуговом клубе был музей) ветеран, тот, который потерял руку, и нас подкалывал: мол, часы мои с руки найдите, пожалуйста. Чувство юмора было у человека хорошее.

Когда ты во что-то веришь много-много лет, а потом это пропадает, тебе очень непросто. Семьдесят пять лет существовал советский режим, из поколения в поколение передавались некие правила о том, как вести себя в обществе, что хорошо и что плохо, — все это изменилось, и, собственно, эти люди, которых мы сейчас можем видеть, наши родители условно, родители и старики — они в массе не очень это приняли. У всех нас есть мнение, и сложно переспорить человека, когда он говорит, что советское время — это неплохо. Ты начинаешь накидываться на него, спорить, а у него другое, у него эмоциональное восприятие того времени, потому что он был тогда молод. И ты не переспоришь: как бы тогда ни было плохо, ему-то там было хорошо — это была его молодость.

Сложность здесь вот в этом: в первую очередь мы эмоциями все воспринимаем, только потом работает условный двигательный центр — мы сначала боимся, а потом бежим. И только затем уже работают мозги, и вполне возможно, что до них вообще не дойдет. Убежали и убежали, опасность была, но теперь ее нет. Поэтому со стариками бывает сложно: мало кто из них изменит свое отношение, так для них все и будет до конца жизни. Даже если тебе будут рассказывать, попытаются рассказать, как они все видят, — они будут путаться, многое уже забыли. Уже для них это не так важно, они знают, что вот это хорошо, вот это плохо, поэтому непонятно, зачем ты переспрашиваешь об этом. Они уверены, что и ты так же должен думать. Потому что у них в детстве так все и было. Это люди из другого мира.

Для меня началось все это с тех времен, как я начал себя помнить. У меня в семье все туристы, поэтому какие-то кээспэшные сборы, неформальные мероприятия были постоянно. А потом я попал сначала в отряд бабушки. Ну как попал — я там вырос. Нас, мелких, просто заодно сгребали и везли. Сажали на раскоп: сначала мы сидели на отвалах, все, что выкидывается, мелкие какие-то вещи проверяли. Мне было, наверное, лет восемь — тогда сидел на отвале и ковырялся в нем. До этого, возможно, тоже было, но больше в лагере. А в восемь лет я уже осознанно делал какие-то вещи. Естественно, каждый раз были общие сборы коммунарские, налаживание обратной связи. Это все очень важно, потому что сам работаешь с подростками и понимаешь, что нужно объяснять. Как, например, фотография с костями и черепом: если ее не объяснить, не сказать, что это солдат, что он погиб, если просто так показать — то это просто кости и череп. Это может быть как солдат, так и совершенно обычный человек, например, бомж, который замерз и его забыли. Сейчас поиск — 18+, по законодательству запрещено, я не знаю, как ПДР это обходят, честно, для меня это загадка, но там участвуют дети — по фотографиям видно. Это незаконно, видимо, они под статьей всегда.

Закончил я сам, по-моему, когда 75 лет Победы было, пять лет назад, год 2015, наверное. Я в одном месте просидел лет десять после отца. Сначала отец там преподавал военный поиск и всю эту историю, туризм и так далее, потом отец потихоньку вышел, и я встал на его место. Даже не я, а мы: на тот момент опыта не хватало, поэтому ряд воспитанников сразу взяли на себя подрастающее поколение. Мы сначала занимались просто модельками, делали военные миниатюры, изучали параллельно форму, снаряжение, танки, самолеты. И, собственно, от этого, спустя года четыре, уже после того, как мы с ними отходили по музеям, начали заниматься более сложными вещами. Ребенку же все интересно, он хватается за все: сначала одно, потом другое — это абсолютно нормально. Поэтому модельки поделали, в музеи походили, начались походы выходного дня, дальше — более глубокие краеведческие экспедиции, затем уже — поиск. Мои ребята еще успели попасть, когда это не было запрещено законодательными органами. Там сначала до 16 лет было ограничение, потом только до 18-ти.

Именно участие в подъеме людей вызывает вопросы — старая песня про то, что все это якобы влияет на психику ребенка. Не влияет. Я сам на этом вырос, с рождения видел скелеты. Если тебе не объясняют, что перед тобой, то, наверное, да, конечно. Поэтому опасно, допустим, в каких-то документальных фильмах о поиске показывать подробности для людей, которые не участвовали во всем этом. Часто «Вконтакте» вкидываешь отчет о раскопках, а тебе прилетает: «Ой, ой, ой. Ужас, ужас, ужас». А для тебя это не ужас, это что-то совсем другое. Перед тобой человек с какой-то судьбой, судьба эта вот здесь и закончилась. Что самое интересное, масса людей даже нашего поколения не знает, что в лесах есть кости. Масса людей просто не знают, что мы там ищем. У нас больше половины страны на войне сгинуло, пострадало: мы же берем в расчет смерти от отсутствия еды, смерти на заводах, когда человек в пожилом или сильно молодом возрасте четыре смены подряд проводит на ногах — он у этого станка мог и умереть. Это военные потери или нет? Это военные потери. Война всю страну поставила на военные рельсы и делила всех на военнообязанных — тех, кто уходил на фронт со всеми своими подразделениями — и тех, кто был в тылу.

Сколько людей на самом деле пострадало, может показать только один архив — это архив Сбербанка России, который раньше был Центробанком. У них есть карточки — лицевой счет каждого военнослужащего, каждого человека, который получал какое-то денежное довольствие, на эти карточки поступали деньги. Даже попав на фронт, он регулярно подписывал документы о том, что поступающие ему деньги хранит именно таким образом. Наверное, люди планировали, что эти деньги в любом случае достанутся их родным, но на деле я знаю всего две истории о том, как потомки отсуживали их у банка. Родственник воевал, всю войну прошел, и каждый месяц какие-то деньги уходили в банк — довольствие, хоть и небольшое. А показательность этих архивов в том, что после войны выжило очень немного именно окопных, тех, кто был на передовой, не тылы.

Про передовую у меня есть характерный пример, могу даже потом скинуть на почту в развернутом виде эти документы: мы нашли солдата по медальону — Давыдов Николай, ленинградский мужик. И нам все говорили, что это мертвая тема: «Даже не суйся, если хочешь

найти родственников». Я долго мыкался, но потом собрался и все же поехал. Просто сел в поезд и поехал в Ленинград, чтобы посмотреть самому: я до этого мыкался три года, пытался найти какие-то завязки. И надо отдать должное, что все ленинградские военкоматы, я не знаю почему, но они до последнего отсылали мне вариации возможные, они работали. Московский военкомат, допустим, сразу говорит: «Отдай медальон нам, и это уже наша проблема». И так все это и забывается. А в Питере такого нет: они мне выслали, наверное, писем четырнадцать с данными возможных людей. И вот эта человечность как раз и проявилась, когда я приехал туда. Это было, кажется, в среду, я сразу пошел в военкомат по его призыву. Я заранее поднял в архиве примерных людей, ту часть из присланных, которая совпадала. Он нашелся и в ОБД: там совпали имя, фамилия, год рождения, но не совпали адрес и все остальное. Полная каша была. И когда приехал, я сначала пошел в военкомат — был нерабочий день, но все равно меня военком принял, посмеялся, конечно, мол, «ого, из самой Москвы приехали», но направил меня в четвертый отдел, который, собственно, занимается потерями — они мне подсказали обратиться в архив бытовой книги: мол, «езжай в архив бытовой книги, я уже позвонил, договорился, тебе там все устроят». Я дошел туда, там, кажется, ничего особенного не говорил, мне отвечают: «У нас сейчас перерыв будет, мы уже не будем с этим работать, но ты садись и работай, сколько тебе надо, мы все тебе дадим». По закону они не имели права так поступать — давать мне домовые книги с данными квартир. А эти книги у них были совсем ранние, каким-то чудом они остались с 30-х годов. Я нашел квартиру предполагаемого солдата — улица Чехова, насколько помню сейчас, и, собственно, оттуда уже все брал. У него был сын, который застал его только тогда, когда отец уходил на Финскую войну. Он 38-го года рождения, а в 39-м или 40-м отец уходит на войну, потом приходит и сразу уходит опять, уже навсегда. Сын отдал мне две отцовские фотографии — до Финской войны и после нее. Па Финскую войну уходит двадцатилетний юноша с улыбкой в глазах, а приходит, пардон, уже дедушка.

Падло понимать, что такое война. Война забирает очень много, особенно если не умел человек сохраняться. То, что каждый солдат понимал, что он делает, что он хотел воевать, — это все иллюзия. Сейчас современное общество возьми — никто же воевать не хочет.

Все эти крики «ура» присутствуют, только пока до дела не дойдет. Как дойдет — будет паника, и половина разбежится. Тогда была такая же история, не было такого уж сплочения. Понимали, конечно, что никто никуда не денется. Но либо люди умели храниться на фронте: не лезть под пули, воевать, но филигранно, не идти бараном на пулемет, сохранять свое здоровье, не ленились копать окопы и так далее. И были те, кто храниться не умел, — шли напролом, и таких миллионы. Не у всех так: кто-то пытался сохраниться и у него не получалось. Бывало же регулярно, что после боя из всего пополнения оставалось всего два человека, и те — офицеры. Это о чем говорит? О том, что хоронись не хоронись — уже не важно. Поэтому или ты выбываешь по ранению в первом же бою, или погибаешь. Например, про бои подо Ржевом все воспоминания как раз тех, кто выбыл по ранению, — они просто вот это время, 42-43-й года, отлежали в медсанбате. А потом попадают уже на другие фронты, где совершенно другая история: все-таки после 43-го бои были немножко другие, больше было наступательных операций, не заставляли в лоб брать деревню, которая нафиг была не нужна по большому счету.

Во Ржеве так было: если взять немецкие карты, то там круговая оборона. Берем даже учебник по фортификации немецкий — там четко все эти позиции описаны. То есть немцы и после в учебнике в пример приводят то, как они там окопались: сделали три ряда окопов, между ними колючка набита частоколом. И наша задача была это брать. А как это брать? Если почитать немецкие документы о фортификации, о том, как было положено делать по уставу, то очевидно, что туда можно было бы и миллион человек загнать и положить их успешно. Военачальники хоть и были, но их было мало. Понимающих, что нужно делать, а не просто тупо слать на огонь пулемета, — таких единицы. Я бы постеснялся, конечно, обобщать всю войну: обобщать — это страшно, потому что каждый случай нужно изучать под микроскопом. Тогда мы будем больше понимать о тех днях и тех людях. Странно, когда говорят, что кровью залили, мясом завалили: каждый случай уникален. Каждое боевое столкновение — уникальность абсолютная. А мы за весь двадцатый век наобобщались уже выше головы.

Возвращаясь к Ленинграду: тот опыт дал мне понимание того, что память Ленинграда о войне выше. Видно, что в этих службах, где

я был, работают ленинградцы, приезжих нет. В Москве очень много лимитчиков, которых бюджет города притягивает магнитом. И очень много людей пошло работать именно туда, где те же домовые книги. А Ленинград, не знаю как, это же не какое-то правило не брать лимитчиков, я и сам не могу сказать, что это плохо или что это хорошо. Но есть ощущение, что у них какой-то старый уклад сохранился. И люди, которые показали мне свои домовые книги, они сами перечисляли улицы возможные. В моем, например, случае было непонятно, улица Седова или улица Серова. И люди мне объясняли, как город устроен, где, возможно, эта улица была. И из этого как раз и складывается отношение.

Был, например, случай, когда нашли книжку с солдатом в очередном захоронении санитарном, в книжке было написано «Токарев» и инициалы. И мне просто было интересно — мы по фамилии и инициалам в архиве пробили эту яму. Все данные совпали, поэтому родственников конкретно этого солдата начали искать в Москве, потому что в архиве было написано, что он приехал в Москву работать из регионов из-за нехватки сил, а работал на 2-м хлебозаводе и жил при нем — были указаны квартира и комната. И я начал звонить на этот хлебозавод, мне ответила какая-то секретарша, которая там знает, по идее, все. Начинаю объяснить про поисковый отряд, что найден такой-то человек, жил на территории хлебозавода с такой-то по такой-то год... «У нас на территории никто не живет!» Я начинаю заново объяснять — получаю тот же ответ. И понимаю, что у них на территории, скорее всего, живут таджики. Говорю: «А можете позвать кого-нибудь другого? Мне совершенно неинтересно, кто у вас там живет и не живет, мне важна история архива вашего». И она услышала слово «архив», успокоилась сразу: «Сейчас соединю с бухгалтерией!» — подумала, что нужен бухгалтерский архив, так как, видимо, никакого другого она и не знает. Девушка-бухгалтер перевела на своего начальника, который оказался более внятным. Мы вместе с заводом поднимали данные, точнее, завод запрашивал в правлении архивы с военного времени. Естественно, долго все это тянулось, закончилось тем, что выяснили, что отца солдата кремировали в Москве, и из-за того, что родственников у него не было никаких, числился только отец в этом бараке как последний прямой родственник. И откуда они прибыли, информации не было. И такое

ощущение, что у нас все, как эта секретарша: то ли она вообще не думает, то ли думать начинает, только когда слышит про отдельные знакомые вещи вроде упомянутого барака. Это все к вопросу про вот эту двигательную модель, в этой логике все и живет: сначала боимся, потом бежим, потом думаем.

Если говорить именно про лишинскую семейную историю, то мы не были поисковиками в том контексте, в котором это воспринимается сейчас. И не были туристами. Это был некоторый синтез педагогических знаний Олега Всеволодовича и, собственно, идеи поиска как инструмента воспитания. То есть любой подросток, если он участник какого-либо движения, должен понимать, что он делает, чувствовать, что это важное дело. И на этом все строилось. Вот этот скаутинг, который у нас с 90-х обосновался: скаутское движение России теперь достаточно большое, и они тоже делают примерно то же самое, занимаются общественной работой. До какого-то момента и поиск воспринимался примерно так. Ты постоянно про себя понимаешь, что «я поисковик», а люди со стороны не понимали, кто это. Если не поисковик — значит, фанат — одного плана вещи, хотя от одного может быть общественная польза, от другого нет. При этом я не склонен осуждать фанатов: я понимаю, что и это нужно, если это помогает тебе жить. Война понятна и интересна благодаря оружию — от этого пацана втыкает с юного возраста.

Понимаешь, аж двадцать семь лет — я очень долго жил поиском, в постоянном режиме. Это было мое непосредственное дело, которое я ставил выше всего. Педагогика и поиск. В остальное время халтурил, а педагогика приносила двенадцать тысяч. Я мог спокойно эти деньги отложить на очередной выезд. Потому что я участвовал в поиске финансирования — это дико сложно, и знаю, что просто так денег не дают. Проще двенадцать тысяч отдать и забыть про них, нахалтурить еще. И в двадцать семь лет у меня отщелкнуло. Может быть, прозвучит громко, но ощущение людей, которые возвращались с войны, я тоже немного пережил. В том плане, что ты больше ничего не умеешь. Условно: ты можешь четко и качественно работать со шупом, но для двадцати семи лет ты был должен уже состояться, на что-то жить. А из этих умений ты не получишь никаких средств больших. И не позволяет еще та история, что я не могу заработать на поиске деньги.

Есть окружение поисковиков, которые развивают это снизу, из патриотизма — хотя тут это слово употреблять не совсем правильно, так как само слово это теперь сильно исказили. Я говорю как раз про правильную память общества: когда присутствует популяризация того, что людям надо помнить, помнить своих родственников. На самом деле, если каждый займется историей своего древа, корнями своими, то уже можно бы было сказать, что мы победили. А когда прививается все это такими историями, как «Бессмертный полк», то это совсем другое. Да он смертный! Когда у тебя полсостава армии лежит еще по лесам, говорить так — смешно. Люди ходят с табличками без вести пропавших. Ты ходишь с табличкой своего прадеда, который без вести пропал, и ты не знаешь, где он.

Когда я работал с социальными опросами, я пытался эту тему детям привить, но оказалось, что для них это сложно. В тринадцать лет мало детей может сидеть за компьютером и искать какую-то информацию, не имеющую к ним никакого отношения. Хотя я вроде все продумал, как чего делать, какие-то методички даже сделал, но не получилось. Может быть, два ребенка нормально отработали по запросу: искали в ОБД, на «Подвиге народа», в Книгах Памяти, которые оцифрованы. И еще есть Книги Памяти по медальонам, которые выпускало «Отечество». «Отечество» — единственная организация, которая публиковала Книги Памяти еще до ПДР. По единой Книги Памяти до сих пор нет. Финансирование же не систематическое.

Когда я еще был совсем мелким, было объединение «Поиск», которым руководил Смирнов. Он сейчас в ДОСААФе сидит. При нем, возможно, какие-то деньги и уходили не в дело, но у меня до сих пор есть рюкзаки. «Искатель» был такой — тогда сделали один орган, главенствующий над всеми поисковиками. И через него выдавались ресурсы. Тогда же у нас появились минаки первые, и рюкзаки, и палатки... И у меня до сих пор есть рюкзаки, которые выдавались тогда. Одно время нам даже выдали форму — китайскую, такую тоненькую. Когда прочитали, там написано было: «хунхузу». «Хунхузу» — это значит «в последний путь». То есть это была форма, в которой хоронили китайских солдат, и мы в этом ходили в поиск. По даже она подошла удачно, потому что проветривается легко, дышит.

Когда «Искатель» существовал, был один орган, который и осуществлял финансирование, и проверял выполненную работу. Что получается, когда у тебя есть какой-то собирательный центральный орган, как «Лиза Алерт»: они в какой-то момент на себе пытались все сконцентрировать, и правильно делали, потому что они при этом даже могут отказаться от какого-либо государственного финансирования наотрез. Они говорят, что машину, батарейки, бумагу, вообще все, что пригодится для дела, — давайте, но денег не надо. И какие-то рычаги социальные при этом они имеют: добились права с эмчеэсниками работать, причем не только на поле. Хотя, конечно, это немножко другая история.

Я лично не верю человеку, которому сорок-пятьдесят лет и он занимается поиском, что у него может быть искренний патриотизм «Пока не похоронен последний солдат» и вся вот эта сопливая риторика — не верю в это. Не верю, что человек хочет копать кости. Либо его притягивает общение — хотя я был в самых разных отрядах, и во всех вертикаль выстроена, как в армии. Вплоть до того, что есть сержанты, есть курсанты. И они работают с подростками, потому что понимают, что со студентами работать сложно, эти уже думают. Их сложно привлечь в поисковой отряд, если ты хочешь зарабатывать так деньги. А отряды строятся и по этому принципу в том числе. Либо у тебя задача найти — в основном это делает молодежь: она хочет все увидеть, во всем участвовать. Но это и сложно: нужно же сформировать коллектив, чтобы было безопасно. Короче, больше работать. А когда ты студента привлекаешь, то проще: лишь бы соблюдал регламент и слушался, подчинялся. И копал. Но это уже не работает. Я тебе могу дать контакты поисковиков, которые в другой истории росли, нежели я. У меня-то это такая династическая тема, и для меня очевидно, почему я такой. И отрицалово от всего этого я словил только лет в двадцать семь: «Чувак, надо быть кем-то». А поиск — это, конечно, круто, но это не жизнь, на этом центроваться не стоит.

Раньше задачей поиска было научить другого сопереживать, почувствовать себя в шкуре вот этого человека, которого ты поднимаешь. То есть не поднять какую-то массу, просто солдата, а войти в его состояние. А состояние-то это очень тяжелое. Даже те же предатели, которых так малюют в черный цвет, — они же тоже

переживали, у них тоже ломалось устройство жизни. Такое ощущение бывает даже от обычного переезда. Я еще могу понять, если у человека не было семьи, если государство не сделало для него ничего, кроме зла. Мы вроде бы наследники той победы, но все равно нам сложно разглядеть в убитых врага. Солдат рейха — кто он? Или солдат румынский? Это же такой же человек с набором определенных функций. И сначала ты думаешь, что главное — это наш солдат святой. А святость его заключается в том, что его вытащили из эшелона и поставили под пули. Где его святость? Почему он герой, с чего вдруг? А ведь он мог жить и принести обществу гораздо больше. А если говорить, что мученик, то тогда все люди того времени мученики. Когда полстраны изнасиловали, сказали, что человек не должен иметь ничего личного и все принадлежит стране, а из колхоза человек даже не имел права выехать. И гражданская война не может начаться там, где все со всем согласны. Поэтому она и случилась. Просто кто-то рано понял, кто победит, и поэтому уберегся, принял правильную сторону. Допустим, тот же Панфилов — он же тоже подстроился, он был царским военным. По понимал, что меняется мир, и успел — даже не переобуться, это ведь сложно назвать предательством. И если бы у страны было нормальное устройство, она бы не рухнула. Революция не берется из ниоткуда — она зреет.

Возвращаясь, собственно, к поиску: отношение к человеку так или иначе экстраполируется на отношение к живому. Сначала, когда был подростком, для меня важны были люди, те, кто погиб: ты про них многое узнаешь, ты узнаешь их родных, тебя родные просто целуют в губы, плачут. Ребят 70-80-х годов рождения — отцовский набор, те, с кем я рос, — они на тот момент были подростками, а я сыном полка. И эти дворовые пацаны, которые недавно нюхали клей по подъездам, когда они окунулись в эту историю — она их подкупила. И вот они натырили из раскопа патронов, сидят, выковыривают из них порох, пока начальство занято своими делами. А я мелочь — меня не замечает никто. Они сидят вокруг костра, порох в него подсыпают: он весело горит. И один из подростков ломает очередной патрон — а там записка. Пуля в гильзу была забита вверх ногами, и никто этого не заметил. Записка, медальон. Его прочитали, нашли родственников. А на тот момент — это был, наверное, 96-й год — как оказалось, была жива дочь солдата, которая

его помнила, которая жила тем, что вот сейчас батяка придет с войны. Она ему в ноги упала. А Васе тогда было сколько — четырнадцать, что ль, лет. В ноги упала. А ведь он дурью маялся — и если бы не маялся дурью, то ничего бы не нашли.

Но на тот момент не было такого опыта, это сейчас уже есть опыт того, что нужно искать и как это делать: все, что найдено в яме, теперь изучается досконально. Теперь даже каски кислотят^[109], так как оказалось, что бойцы на касках писали свои имена. Хотя информация с каски, так же как и с котелка — условная вещь, потому что каска переходила из рук в руки, слетала, болталась по полю боя как угодно, ее взрывом могло кидать. Нашли как-то каску, для музея кислотили ее. Видим — на ней звезда вверх ногами нацарапана, гвоздем или чем-то таким. Думали, что за фигня. В какой-то сатанизм чуть не поверили — знак козла. А потом нашли подпись еще на каске: оказалось, чувак, простой деревенский парень, прислонил каску к пузу сферой, нацарапал, как видел, а потом только перевернул. Ну это я так полагаю, потому что явно рисовал как удобно: прислонил к пузу и нарисовал звездочку, почему нет. А оказывается — недавно я у себя в ленте увидел — нашли, что на каске было нацарапано полностью, откуда солдат родом, сверху, на куполе прямо, выцарапаны имя, фамилия и так далее. Логика я в этом тоже не вижу: представляешь, бегаешь с каской, а у тебя там нацарапана вся твоя жизнь. Хотя «горшки» обычно в атаку не брали: от части свидетелей я слышал, что они очень мешали, напоздали на глаза, и ты, наоборот, становился более уязвим. Их на пояс вязали, цепляли так, чтобы они не мешали. Наверное, во время такой войны, из-за такой текучки, вообще не было личных вещей. Это я заметил в воспоминаниях немецкого солдата и нашего солдата: нет личного.

У немцев, если ты по ранению выбывал... Во-первых, они служили по землям, и сейчас до сих пор у них такая тема условно: с тобой призывают тех, кто рядом живет. Твоя деревня идет в армию — все, кто подросли. Кстати, и финны сейчас так делают — и это, на самом деле, логично: ты этих людей понимаешь. Тем более там еще диалекты есть. Это у нас, например, призывают из Хабаровска в Москву — такая канитель. А у них нет, у них часть — это какое-то землячество. И у немцев это во время войны тоже было. И если ты по ранению уходил, то ты приходил обратно к себе в часть — тебя не

могли из госпиталя назначить в другую часть. Если какие-то подразделения бывали расформированы — у них же жесткие градации: если пятьдесят процентов разгромлено, то его могли докомплектовать, а если более пятидесяти процентов подразделения уничтожено, то все — его не существует. То есть подразделение пропало раз и навсегда, его больше нет. Поэтому у них и проще считать: примерный список потерь 9-й дивизии — он не безграничный. А у нас 178-я — она подо Ржевом потеряла состав три раза. А если полный состав 11 000? Ну, думаю, всех 11 000 там не было. Только первым составом она была полнокровной дивизией. Когда архив читаешь: во-первых, страниц не хватает — ведь каждая страница пронумерована. И во время войны писали всё, до каждого болтика. То есть вот эта пресловутая тема, что никого не считали, — это глупость, считали все: куда, что, зачем, почему. Но я так полагаю, что сначала после Хрущева чистили архив: и страниц не хватает, и все числовые данные пропали. Может быть, конечно, я не так глубоко копал, но в дневниках, например, часто пишут данные в процентных соотношениях. А если 200 человек прислали и назвали их дивизией, то и все — это есть сто процентов. И это уже не конкретно. Рота могла существовать, по воспоминаниям того же Кондратьева, из двух человек. Один погиб — пятьдесят процентов роты полегло.

Но по поводу архивов: последнее большое дело наше было с подростками — мы цифровали архив в Министерстве обороны. Это призывной архив, ржевский. Там был военком знакомый: мы с ним сотрудничали раньше, он нас знал, поэтому пустил. Мы цифровали картотеки, призывные книги. Этот архив нигде не дублирован больше. Был в эвакуации, привезен обратно в 90-е года. А в эвакуацию как попал: когда Ржев сдавали, какой-то человек, который работал в архиве, загрузил книги и увез. То есть обозы уходили, и он, видимо, метнул этот архив в обоз. И его аж в Оренбург увезли. То есть это даже не была плановая эвакуация — просто один человек решил, что так надо. Пожалел, что потеряется информация. Или сам был архивариус, и он считал, что это его дело — спасти архив. И во Ржев его вернули только в 90-е года. И мы, собственно, туда влезли. Знакомые пустили: 4-й отдел там знакомый нам, батя их всех еще с 90-х знает. С военкоматом тогда очень много сотрудничали. И мы там

с детьми жили две недели, цифровали этот архив: снимали, переписывали, чего только не делали. Оцифровали три книги: 41-й год и 43-45-й, естественно, 42-го там не было.

Но это достаточно интересный след информации, до сих пор его окучиваю. Нет, разумеется, увозили и привозили только 41-й год, а еще 39-й — но его мы не успели окучить, ранние все эти призывы. Картотеку мы сделали всю. Ведь карточка делается на человека только тогда, когда есть повод: запрос какой-то на него пришел, родственники спросили — по таким вещам. И картотека создавалась стихийно: приходит запрос на человека, они ищут его в книге, создают ему карточку, ставят в картотеку. И когда уже запрос по нему нужно оформлять, карточка достается с полки, из нее все выписывают и ставят на место. И очень много по 39-му и 40-му — по Финской войне. И вот этот архив, из-за того что он был в эвакуации, и про него никто не знал, он пропустил эту чистку. Мы там и книги расстрелов посмотрели — цифровать нам их никто не дал, но посмотрели. Информация о трибуналах, военных преступлениях. Данные куцые, точно не вся информация. Это как раз предмет для изучения. Я разговаривал с криминалистом в госпитале Бурденко: к ним поисковики как-то принесли сейф, причем поисковики какие-то мутные. Просто два мешка притащили и сказали: «Возьмите, нам это не нужно» — на таком уровне. Изначально принесли, видимо, в военкомат областной, а военкомат тоже не знает, что с этим делать — отдал выше. И оказалось все это в Бурденко, все эти дела там читали. Видимо, кто-то раскопал сейф полковой и отдал. И хорошо, что хоть так это вышло. И там такие дела: опоздал — расстреляли (домой скатался и приехал поздно), отрезал указательный палец себе, воевать не хотел, стрелковый палец отрубил — тоже расстрел. На самом деле, если посмотреть Первую мировую войну, когда вообще никто воевать не хотел — там все еще хуже было. Обычно руку простреливали. Смотришь архивы Первой мировой — и там очень много таких дел, когда «типа ранения» — и за это судили. И французы тоже своих судили — там никто воевать не хотел. Такая была война, когда все накалилось, вспыхнуло, а потом — епт...

Еще была интересная зарисовка, тоже из последних. К нам пристал ветеран — ну как, ветеран — это условно, ребенок войны. Он приставал ко многим поисковым объединениям — никому не было это

интересно, а я решил посмотреть. Он на меня сел плотно — начальник одного из советов ветеранов, такой говорливый мужик, суматошный. Говорил, что знает, где есть захоронение то ли зенитчицы, то ли зенитчиков. Как-то так. Парк Покровское-Стрешнево, стадион «Искра» местный. И была там могила, он с детства ее помнит. Закопали, где убило: такое было, что бомба попала — собрали, что осталось, и прикопали — пионеры там всю жизнь меняют таблички. Вот и решили найти. Хотя в башке, конечно, сидело, что это Москва: по парку кучу кабелей проложили, а щуп — не лучшее средство, чтобы протыкать кабель. И, естественно, ходили там, бродили. Я отлично знаю, что такое кабель десять киловольт. И копать тоже нельзя. Деда дождался — я взял своих пионеров, походили с ним торжественно, он там все порассказывал, свое детство. И показал условный квадрат, который мы обозначили. Но он как-то более-менее четко все описал, и удаленность места относительно стадиона, по детским своим воспоминаниям. Но, естественно, я вполне допускаю, что это могло быть и не там. Мы взяли коловорот Fiskars, накрутили там лунок просто немерено. Проверили все возможные варианты, потому что коловоротом так или иначе да что-то поднимаешь. А коловорот еще и пластиковый снизу, чтобы кабель не повредить, хоть это и сложно сделать. Зато обследовали местность, хоть ничего и не нашли.

После этого я начал копать оборону Москвы, именно ПВО. И столкнулся с интересными списками. По ПВО же вообще очень мало информации. А мы выяснили, что на том месте стоял прожекторный полк. Они подсвечивали Тушинский аэродром — он назывался «северным», потому что с него стартовали все экспедиции на север. Но это был негражданский аэродром, а гражданский был туда дальше, там еще парк небольшой. Потом там же стоял на воде фальшаэродром, в самом канале — чтобы бомбы в лед выходили. И когда копали по личному составу этого 7-го прожекторного полка, уже не помню, какая дивизия, я начал поднимать списки потерь. И это очень страшно было: причины смерти, указанные там, — это в основном суицид. На первом месте — суицид из-за нежелательной беременности, ведь там же девчонки работали, а потом уже бытовуха какая-то. А ведь в Москве была такая тема, что сжигались дела тех, за чьим телом не обращались родственники. И я сначала подумал, что

это выборка по конкретному случаю. Но нет, в этих же списках есть сбитые железнодорожным транспортом, автомобилями...

Я поднял приличное количество списков по ПВО, которые были в открытом доступе: и да, в Москве, хотя опять же — это не статистика, я не могу точную статистику дать, это надо сесть и конкретно выписать, но через одного там — изнасилования. Но точно такое было, что на одном листе в двух из трех случаев был суицид в случае нежелательной беременности.

Во всех этих генштабовских списках — очень много ошибок, безусловно. Но списки точно создавались людьми, которые понимали, что они делают. Есть такой чувак — Агафонов — он в архиве работает. Он сделал специальные справочники по работе с архивными документами, где приводит все сокращения, все подписки, все помарочки. Например, у тебя список, надпись и снизу дописано карандашом: «ПН». Или написано: «Нропал без вести в 42-м году», но перечеркнуто и дописано: «Нропал в 43-м такого-то месяца». То есть работа со всем этим действительно велась, и велась людьми, которые понимали, что они делают. Такое у поисков есть мнение, что архивы от балды писались, что там никто не работал. Ни хрена: вот эти мотористы сидели — девчонки или не знаю, кто записывал, — делали это не от балды. Да та же Катынь: Катынь ведь подтверждается направленными машинами. Архив хозблока зафиксировал, что машины их части направлялись в это место, и их было немерено. Это косвенное подтверждение того, что там движ какой-то творился. Общие-то архивы можно было сжечь, а на хозблок никто не стал обращать внимания. Но записывали каждую машину, куда она уехала. И с ПВО — это, на самом деле, очень интересная история. Вот так и цепляешься. Это все — краеведческое исследование, более ничего. Интересно — цепляешься за тему и начинаешь ее копать.

Мне, бывало, задавали вопросы по поводу моральной стороны поиска. Что неправильно ворошить прошлое, мол, кто тебе дал такие права? Или морскую традицию сюда приплетают: если судно уходит на дно — моряков не доставали. На самом деле, в мою мораль вписывается то, что я должен все это делать. Если общество не понимает, что я делаю, даже бесится — то это не значит, что они правы. Нормы для меня нет. Норма — это отчасти культура, отчасти семейная традиция. Но в целом-то ее нет. Если мы будем делать

опрос, что есть правильно, что нет, то для каждого норма будет своя, и осознание этой нормы. Это то же самое, как рассуждать, что такое хорошо и что такое плохо. Для каждого норма своя. Если мы будем опрашивать в нашей стране людей о том, что такое норма, то мы будем ближе к европейцам, чем к азиатам.

Но сам поиск меня не смущал просто потому, что я в этом вырос. Я с восьми лет на это смотрю, мне все уже давно объяснили. Конечно, когда находишь физиологию какую-то, если что-то осталось от тела... Волосы, ногти — то, что плохо гниет в плине... Но это уже больше относится к медицине, даже к науке. Я все себе объясняю наукой. На тот момент я просто изучал, что такое почва, как правильно писать акты эксгумации именно с точки зрения правовой. Не вот эта отсебятина, что поисковики придумали, но когда по-настоящему описываем захоронение и подъем. Я судмедэксперта тогда терзал, чтобы он нам методичек своих дал. Чтобы хотя бы понимать, как правильно. Это действительно важно. Почему на территории Москвы неопознанными телами занимается прокуратура, судмедэкспертиза, а в Тверской области всего этого нет? Дыра в законе. И вот этого ощущения, что фу, кость — такого никогда не было. Это не шокировало. Даже когда детей в первый раз вывез на захоронение — тринадцать-четырнадцать лет им было — и сразу на подъем попали: тоже ничего такого не было. Обратная связь важна: когда ты после этого садишься и даешь высказаться человеку, причем сказать он может что угодно, в том числе и что ему страшно, а не что-то натянутое, что я хочу от него услышать. То, что он действительно ощущает.

Для этого нужно работать до этого всего. Нужно создать доверительные отношения среди ребят: чтобы они понимали, что им может быть страшно, что они могут быть слабы, они могут устать, они могут все что угодно. Ну да, по правилам — они не могут материться, курить, пить... Трогать железки нельзя. Но свои эмоции, свои чувства они имеют право выражать. И говорить об этом. Мы, прежде чем попасть на раскоп, четыре года изучали, что это за железки, как они работают, что в ней, какой она урон приносит. Медицину изучали: что такое осколочное ранение и так далее. Задача моя как педагога объяснить, что вот эта вот железка страшна, как автобус, несущийся на скорости. И в этом как раз страх. И взрослые

делают себе подмену, когда видят такую железку: «Вроде и выглядит нестрашно, железка и железка. А если я знаю ее устройство, то я еще могу и расковырять ее». Нет, не можешь. Это доказывает ряд случаев и в «Истоке», и в «Тризне»: осколочные ранения живота, оторванные пальцы. И говорит, что ковырял Ф-1^[110]. Я знаю, что он ковырял: он ковырял не Ф-1, даже по этой информации понятно, что ковырял он детонатор. А если бы ковырял эфку — нашли бы только уши от него.

Я ребят пугал, показывал фотографии: есть медицинские паблики, куда скидывают фотографии того, что бывает, когда, условно, гранату крутил в руках: восстановленная после разрыва гранаты рука, нога. Но, естественно, это должно быть не в одностороннем порядке, тебе нужно на обратную связь тоже смотреть. Ты же знаешь эту парадигму? Что ребенок, родитель и взрослый в каждом человеке из нас существует — это берновская^[111] теория, психологическая схема: я — и взрослый, и ребенок, и родитель. Родитель — это когда мы экстраполируем своего родителя в себя, он дает нам табу на какие-то поступки, мы сами себя бичуем за это всю жизнь. Потом есть адекватный взрослый, рассудительный, все взвешивает. И ребенок, который бузит периодически. И у каждого такая схема есть. Просто опыта родителя у ребенка меньше. И меньше управления эмоциями. И гормоны. Опыта нет именно физиологического. Поэтому все и рассказываешь. У него должно быть четкое понимание того, что ты не знаешь, зачем нужна любая железка. У меня табу было на железо. Если интересно — старшего зовешь. Просто идем-идем по лесу, видишь железку — позови любого из старших, и ты не получишь за это никакого наказания. Зовешь, показываешь — мы тебе рассказываем, что это. Это же интерес, когда ребенок в лес походит, посмотрит на все эти снаряды, которые повсюду валяются и никому не нужны. И объясняешь, что конкретно эта железка оставляет после себя воронку восемь метров в длину. Главное — это должно быть жестко, и даже если ребенок притаскивает неопасный предмет, но похожий на опасный — это запрет. И тут строго: если есть наказание, оно должно исполняться. Но в идеале нужно в головы вбивать, что это машина, несущаяся на скорости. Ребенок же понимает, что такое опасность в жизни, он не полезет играть под машину. Инстинкт самосохранения работает. И надо как раз ему объяснить это неизвестное поле, где именно опасно. Я не говорю, что нельзя

трогать, потому что ты маленький, надо говорить, что эта круглая штука сделает из тебя пыль — она как машина, которая собьет и уничтожит тебя, ты не сможешь чувствовать, не сможешь жить.

Для меня нет красных, черных, зеленых, серо-буро-малиновых. У поисков вообще этого разделения нет. Они могут верещать об этом, выделять разные классы на каких-нибудь вечеринках. Но, по сути, в лесу мы все суперравны, в лесу у тебя нет врагов. А мотивация у красного поисковика зачастую точно такая же, как и у черных: копать блиндаж, только за это не получать законодательно. Копать железо — это основная мотивация, я не побоюсь сказать, у шестидесяти-семидесяти процентов поисковиков. Ну это интересно: найти каску, найти железку. Я не верю, что у сорокалетних мотивация — останки. Есть люди, у которых честные мотивы, как, например, у Дмитриева. Но это настолько искажение, не плохое искажение, но это когда у человека в голове все немножко смещается. Допустим, медики — они циники. Они не могут сострадать каждому пациенту. Так же и у поисковиков: они не могут сострадать каждому солдату. Чем ты больше в этом находишься, тем больше сострадание у тебя уходит.

Я не готов судить каждого. Если человек хочет откопать эту условную каску, и он при этом не мародер, то почему нет? Во Ржеве, например, очень много людей копает. Потому что там война везде: у них в городской черте есть лес, где постоянно находятся павшие, до сих пор. То есть городской лес — это место, где бои шли, в черте города. Естественно, там каждый третий пацан в детстве играл с оружием и копался, для них это норма. И как его обозначить: он черный или белый? Или красный? И то, что он все детство там этими железками игрался? И сейчас играет? Но часто мы от этих людей получаем информацию, получаем места: «Ребят, мы там нашли солдатиков, давайте отведем, покажем место. Подымите». Для меня мародер — человек, кто влезает в этот слой и делает что-то, из-за чего мы в будущем не сможем опознать человека. Для меня мародерство — это скорее непонимание и неуважение к другим. А если ты просто железками мотивируешься — то и бог с тобой.

Трагедия — она есть, только ты ее осознаешь. Если не осознаешь — то ее и нет. Ну, понимаешь, мы хороним людей, а в Африке их съедают. Но это не говорит о том, что у них трагедия от того, что мы закапываем, а мы, наоборот, не понимаем, почему они их едят. И мы

для них девианты из-за нашего отношения к куску мяса. В нашей культуре смещения есть тоже, просто они менее заметны. Прошло очень много времени. И если человек не занимается изучением темы или изучает ее только в одной парадигме, по отношению к оружию, например... Я двадцать лет думал, что понимаю войну, находясь во всем этом постоянно: архивы, списки потерь, человеческие трагедии... Но когда ты сможешь почувствовать ощущение, что постоянно можешь быть убитым, ощущение войны? Мы живем сейчас, разговариваем с тобой в кафе, а война — это абсолютно другое. Там это не работает. Там Африка — на войне. И когда ты это понимаешь — становится страшно.

Что такое понимание войны? Ко мне как-то подошла журналистка, когда еще у нас музей был, она сама была из рекламщиков, какие-то акции мутила всю жизнь. Я ей что-то рассказывал с визгом... А поисковый музей — большой музей, школьная рекреация огороженная, здоровая — от сортира до сортира. И она подходит, я с соплями все это ей рассказываю. Она подогрелась, говорит: «Вот, я работаю в рекламе, есть ресурс, хочу людям показать, что такое война». Я такой опешил, думаю: может, не что такое война, а что такое быт войны? Зачем людям знать, что такое война, когда вот есть быт войны. Если ты не захочешь — ты не почувствуешь, что такое война. Ты подумаешь, что это не война, а просто тебя хотят унижить или оскорбить. «Может, быт войны?» — «Нет, война». Ну да, я был тогда подростком, возможно, не примирился с кем-то. Я сказал, мол, окей, давайте накопаям окопов, сделаем блиндажи, все расставим, восстановим всю эту историю. Но только запустим туда реконструкторов голодных, чтобы они до этого пару дней не жрали, были аккумулярованные. И выгрузим туда две фуры свинины, говядины, разбросаем все это по полю. Подождем два дня и будем водить экскурсии. Если экскурсия блеванула вся — это война. В этом основное ощущение. Эти мысли блокируются на подходе. Смерть любимого человека — когда речь о смерти идет — это смерть чего-то своего, а когда смерть кого-то другого — ну и ладно.

Была же зарисовка какого-то автора, который все это пережил, — честно, сейчас не скажу, кого именно. Сидит дед около дома, обычная деревня. И мимо новобранцы идут на войну. И дед говорит: «Посмотрю я на вас — жалко мне вас. Подумаю о вас — да и хуй с

вами!» То есть суть вот в этом. Это не близкое, пока ты это не взял. А когда берешь — все иначе.

Мне было интересно посмотреть психологию этих вещей, именно разобраться в них, какую-то телескопию придумать. Когда ты смотришь с точки зрения своего опыта — это плоскость. Тот же дурачок Павленский. Условно дурачок. Понимаешь, мне он тоже, возможно, и неприятен. Хотя у меня с ним сложилось понимание, что именно он делал. Он резонанс создал. Я домыслил все его перформансы, понял, почему он так делает. Понял, что значит это хозяйство, прибитое к брусчатке, почему так. Да, хайпанул. Он прямолинейным языком об этом говорил, на самом деле. Прimitивным, прямолинейным. Это не высокое искусство, хотя все страдают о том, что художника может обидеть каждый. Да нет, очень прямой язык, примерно то же, что и раздеться на людях. По такие тоже нужны. Такие плохиши. Он понятен, но неприятен. И так же мы относимся ко всему. И война тоже неприятная штука. Если нас не заставит ситуация, мы туда не сунемся.

Еще раз повторю, что некоторый страх, осознание войны я поймал только в достаточно зрелом возрасте. Изучая войну, живя в этой войне с рождения, с восьми лет, я осмыслил это только в двадцать пять. По именно осознать, страх поймать, понять, что это не чувак с гранатой и с ружьем, не знамена на площади... Это ты и смерть. И все — больше ничего нет вокруг. Если накладываешь на себя всю эту историю, то понимаешь, что ты достаточно гуманная личность, ты не считаешь, что имеешь право кого-то лишать жизни, — вот эта вся настройка уходит в баню, если ты на войне. Ты должен стать обезьяной. И ты не должен быстро бегать — это не курсы молодого бойца, где быстро швыряют и быстро бегают, точнее, стреляют, — нет, психология сначала. Ты не успеешь выстрелить, если ты там будешь думать. Как раз момент такой, что если разбираем аппарат эмоционально-оценочный, аппарат двигательный и мозги — то мозги не нужны в данном случае. У тебя все должно уйти в автоматизм. Ты должен стрелять не думая.

Некоторые люди, когда пугаешь их, боятся, орут, эмоционально реагируют, а кто-то бьет сразу в голову. Вот, собственно, война заключается в том, чтобы бить в голову сразу, когда тебя пугают. А эмоционально-оценочный аппарат запустит какую-то историю только

тогда, когда ты признаешь опасность. Когда мы обжигаемся — мы отдергиваемся не думая, и вся эта история запускается без мозгов — тогда ты выживешь на войне. А если ты будешь думать... Думать можно, когда нет опасности. Это как раз про тех людей, которые сохраняться умели и могли. Но это уже высший пилотаж — оставаться человеком на войне. Но почему в основном деревенское население, даже не деревенское — необразованное население, оно больше приспособлено к войне, чем городское? Интеллигент — это не солдат. Но это же не общество сейчас, сейчас у человека даже в деревне есть возможность читать книги, никуда не выезжая, получать какое-то образование, если у него есть желание и потребность в этом. Но когда человек меньше знает, верит в заговоры — им проще управлять, у него нет страха. И условно он ближе к обезьяне. Я, например, ближе к обезьяне, чем Илон Маск. Это так. Конечно, так это выпадит с моей точки зрения. Я и в обезьяне не вижу ничего плохого. Я не хотел сказать плохо про какого-то деревенского пацана, который пас овец. Но внутренний мир, если ты его не развиваешь, варится в собственном соку. Великие вещи всегда делали умные люди, в том числе газовые камеры.

[...]

Есть изумительная книга Эрика Берна «Люди играют в игры...»^[112]. Это история зевак. Если люди занимаются всей этой историей, то это вовсе не значит, что они признают войну, верят в нее или понимают. Я могу тебе сейчас кучу контактов дать, ты можешь всех их опросить — и поймешь, что не все так однозначно. Мы с детства играем во взрослых, когда взрослыми становимся — играем в какую-то профессию, может, и не играем, а кто-то играет до конца и изображает, что он гений. То есть абсолютно у всех все по-разному. Но большинство людей идет по простому пути. Советская схема: школа — институт — дачка. Какая-то упрощенка. Есть сложные схемы — например, стать врачом, а есть вариант стать слесарем среднего звена. И я не говорю, что эта профессия легкая: слесари бывают виртуозы. Но в том плане, чтобы не напрягаясь жить, именно в плане жизненного роста. Это касается не только поиска, это касается всего.

Есть куча людей, которые сидят на диване: у них работа — дом, работа — дом. И их это устраивает. Но выходным — пивас. И таких

среди поисковиков тоже масса. Но поиск притягивает — не только поиск, но и, например, туризм — они притягивают из-за общения. «Лиза Алерт» тоже не просто так: там куча состоявшихся людей, костяк — состоялись как бизнесмены, сотрудники разных фирм. У них есть деньги, но нет общения, живого общения о каком-то деле, важном деле. Это и собирает людей. Кто-то хочет быть Бэтменом, и он каждый раз одевает себя в камуфляж, супержилеты — он спасатель. И он играет: он не спасатель, у него нет знаний профессиональных. Тут нельзя принимать на веру. Если человек увлекается, он может именно играть.

Окопники — по моей практике — это самые замкнутые люди. Кто прошел войну по-настоящему — самый замкнутый человек, который есть из всех. Кто верещит на каждом углу — скорее всего, ничего не делал. Мне так кажется. Это можно подтвердить любыми закрытыми обществами: армией, зоной. Человек, который на зоне был лидером. А есть обиженные, которые были самой мелкой фигурой в данном обществе, — они больше всего верещат и в другом обществе. Она существует, такая история. Либо ветеран, который надел на себя маску, потому что от него требуют всей этой фигни. Когда мы учились, ветераны еще были живы, сейчас-то их совсем нет. Я считаю, что уже в 80-е окопники закончились. Единицы лишь оставались. И когда мы говорим о ракетах, о всей этой фигне, о катюшах... Катюша — это пять километров от передовой, максимальная дистанция. У них не такая дальность, чтобы бить издалека. Это не дальняя артиллерия, а прифронтовая. И когда начинаешь задавать вопрос — я тогда был мелким, но уже чего-то понимал — и тебе отвечают, а ты говоришь: «Извините, но катюши так далеко не летают, о чем вы?» И человек начинает ерзать, человек плывет. Отвечает: «Не учи ученого, я всю войну прошел». Сейчас я понимаю, конечно, что был скотиной.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Что тебя интересует? Оно и есть сказки. В поиск я никак не попал. Понимаешь, для моего поколения это очень глупый вопрос. Вон видишь фотографию у меня над головой? *(Показывает на фотографию отца в военной форме.)* Он ушел рядовым, пришел старшим лейтенантом. А мы, послевоенные, мы на патриотизме росли. Вот мы ездили, трое ребят нас, у одного — у отца два ордена Славы, у второго отец прошел Финскую войну и Отечественную, у меня тоже — с рядового, он пришел командиром разведвзвода 2-й стрелковой дивизии, Ржев освобождал.

У нас это в крови, понимаешь? Мы не приходили к этому. Просто нашли друг друга: все этим интересовались. Вот и начали ездить, копать, вот и все. Это потомошнее поколение, даже вот Лишиных взять, они же возили трудновоспитуемых — кто-то увлекся, а кто-то ездил так, поковыряться в костях. Многие отошли от этого сразу. Это только Татьяна такая, брат ее тоже был, такие они, как сказать, фанаты. Я сейчас тоже бросил уже дело это. Во-первых, я на пенсии давно, мне за шестьдесят уже. Во-вторых, честно сказать, надоело по костям ездить, я ездию по монетам. Целая куча металликов у меня разнообразных: и глубинники, и простые. Я просто ездию по хуторам, по деревням — старые монеты ищу.

Конечно, с войны много чего нашел, очень много. И патроны, и гильзы, все это. Тридцать лет отъездил в Смоленскую область. А здесь ^[113] почему копал... Я вот тебе говорю: вон как он *(показывает на фотографию отца)* пришел с войны, мы родились... Тут деревня была — Васильевское, ее немцы спалили, там бои были. Ребятишки со школы домой, а мы — туда. Копаться. Гранаты, фигаты. Вот и всё. Чего тут еще рассказывать?

Вот когда мы объединились трое, мы начали ездить туда, в Смоленскую область. Под Петушками год долбили наши немцев, немцы — наших, гоняли туда-сюда. Вот мы там и начали. А там тогда еще было вообще не копано. Винтовки лежали на поверхности, кости — все было. Немецкий жетон было найти интересно, но мало их было. А наши мы отдавали — в Красногорске капитан милиции был,

хороший мужик, занимался расшифровкой. Мы туда отдавали, и он занимался.

Я на Планерной тогда жил, в Тушино. Нотом надоело все, сбежал оттуда на фиг. Сюда, в деревню. Копал сначала здесь, в школу пошел. А после школы пошел в училище, работал на заводе, потом в армию, а после армии понял: все, не мое это — Москва. Деревенскому там чего делать? Только водку пить. И в результате все мои — все спились, кто там жил. Мы приспособлены для деревенской жизни, но не для той. У меня брат служил на флоте, тоже местный, на заводе работал, приехал как-то: «Серега, а ты не жалеешь, что из Москвы уехал?» Я говорю: «Не-а! У меня и ГАЗон, и трактора вечные, я все время занят. У меня корова, пчелы, куры. Норосята. Я всегда при делах. Ноэтому даже ни грамма не жалею».

Между нами говоря, иногда, когда сорок градусов мороза, в туалет идешь — обидно. А так нет, мне нравится здесь. Больше ничего здесь нет плохого. Интернет, телевизор — тут все как в городе. Летом людей хватает. Зимой, конечно, моя семья — одна полноценная на всю деревню. У меня сын в МЧС работает — сегодня на службу вызвали, уехал. Второй в колледже учится, шестнадцать лет будет сейчас. Тоже все привыкли, всем деревня нравится. Младший говорит: «Никогда не уеду отсюда никуда». Старший — то же самое. Но, как говорится, по моим стопам никто не пошел. Копать чтобы — не увлеклись они этим. Хотя ездили со мной оба: и младший, и старший.

Копая я со школы, а мне уже шестьдесят четыре года будет. Металлоискатели же мы тогда сами делали: журнал «Радио» был — там все схемы. Мы сами паяли, сами делали. Щупы вот эти вот. Ну, в общем, тридцать лет уже. А потом я затормозил... Один друг у меня ногу потерял. Не из-за поисков, по своей вине. Другого инсульт шарахнул. Я тоже подумал, что хватит, буду по монетам, а по войне больше не буду.

Тут еще вот что, как сказать, совпало. Я тогда в совхозе работал, когда Лишины сюда приехали — в 83-м году. Я к отцу ихнему подошел: «В чем суть, туда-сюда». — «Вот памятник, перезахоронить хотим всех». Ну и, конечно, меня это завлекло. Я стал с ними ездить на раскопки, участвовал во всем почти (когда время было — тогда же надо было работать обязательно). Носле работы сразу к ним летел.

Был такой художник Стишко Анатолий. Нашли его отца тут, в Вашурино. Сейчас он в Прибалтике, в Каунасе. Не хочет с нами дела иметь больше. Хотя я его таскал, как ребенка, на руках. Через лужи, через все... Он считает, что русские — не те, кто ему нужен. Хотя у него отец погиб здесь. У нас с ним споры были очень большие. Я ему доказывал, что он порождение советской власти. У него мать казашка, отец хохол. Говорю, при капиталистической власти они никак не могли бы сойтись. Ну, сам знаешь: разница в вере, все это самое. Но тем не менее не нашли мы с ним общего языка, как говорится. Вот, собственно, и все. Что тебе еще рассказывать?

У меня музей наверху был, там комната. Он и сейчас частично есть. Когда сын младший пошел в первый класс — я в школу отвез очень многое. Музей мы сами создавали. Учитель был Виктор Васильевич, умер он сейчас. А мы тогда только начали копать: винтовки, пулеметы. Вот мы туда все это и сбегивали. Музей на добровольных началах был. Нотом все это заплохло. Он умер. А потом сын мой пошел — я говорю: «Давайте передам вам все». Основное — интересного-то много было — все туда отвез, в школу.

Какие тут могут быть подробности? Как воронки выкапывали — по 300 человек в воронке наших? От тонной бомбы воронки. В 93-м году засуха была большая. А они с войны в воде были, все эти воронки. И вот в этот год они высохли. Мы их вскрывали: там даже кожа, волосы — все целое было, ноги в сапогах целые. А там были санитарные захоронения: их просто стаскивали туда. А стаскивали как: за руку привязывали телефонный провод, кусок. Мы спрашивали у одной старухи, почему провод. Она говорит: «Их если тащишь за сапоги или шинель, они вылезают, как холодец из них выскальзывают». За руку привязываешь — нормально.

Над ними милиционера ставили, и он командовал, чтобы они не сачковали, закапывали. Вот и были санитарные захоронения. Тонная бомба — по 300 человек влезало, можешь себе представить, ямина какая? Наших и немцев хоронили вперемешку — не разбирались, кто, где, что. Это было в Смоленской области, деревня Жеребцово. Аристово, Жеребцово, Нодосинки. Ни одной деревни не осталось, только Никоновка в стороне. Аристово целое, правда. А вот это Жеребцово, Нодосинки — все снесло в войну. Не строились они, ничего. Если верить бабке про это Жеребцово, то допустим, оно 168

раз из рук в руки переходило. Даже если 100 убрать, 68 раз — и то это сколько погибших... Ну там, правда, кости на костях, столько убитых было. Жуть.

Тогда главной эмоцией был патриотизм в душе. А сейчас, да уже в 93-м году, он пропал, совсем. Тогда — чистый патриотизм. Тогда мы и на смерть готовы были пойти, за власть за ту. А нынче все это перевернулось до того, что уже неохота... Если брать сейчас, то мы ведь пятая колонна для этой власти. Которые копали от души, а не за деньги. Сейчас много ездит копать новых русских, но они что ездят копать? Я с одними было связался, со вторыми: они ездят копать немецкие шмотки на продажу. И всё. Их больше ничего не волнует.

Есть у нас тут один товарищ, клуб держит поисковый — он сделал кладбище немцев здесь! А для того чтобы сделать кладбище немцев, они уничтожили могилу лейтенанта, который прикрывал отступление наших. Они ее убрали просто-напросто. Люди местные, когда еще деревни полные были, сами ухаживали за этой могилой, сами все делали. Сейчас, конечно, некому ухаживать. У нас тут на одном краю деревни трое было убитых и на другом — трое. Шесть человек. Там — при отступлении, а в другом месте госпиталь был — умершие в госпитале. Одних с Лишиными хоронили, а других — я вызывал поисковый отряд другой. Их увезли хоронить в Волоколамск. Там мемориальное кладбище сделали. Мне, конечно, тоже очень обидно было: я думал, здесь захоронены будут, в Новлянском — но нет, отвезли туда. Эти наши кладбища уже не котируются. Видишь, все укрупняется. Хотя все местные — нам хотелось бы, чтобы это здесь было. Тогда же были живы бабки, которые помнили этих солдат, которые умерли, они в госпитале же лежали. Им тогда было по двенадцать, по четырнадцать лет, кому и больше — помогали в госпитале ухаживать. Как они могли их не помнить?

Родина сейчас как к нам относится? Как к пасынкам. Тогда хоть как-то, но ты чувствовал себя человеком, сейчас ты не чувствуешь себя человеком вообще. Тем более мы в деревне: мы давно списаны, мы только для того, чтобы платить налоги. Налоги мы платим регулярно. А больше мы и не числимся нигде. Все. Мы вымершие. Мы не нужны никому. И еще я должен такую родину любить? Я понимаю, что власть — это не родина, но нас приучают же к тому, что власть —

это родина наша. Не будет Путина — не будет России, так ведь говорят?

Погасло всё это, вот и всё. С нынешними коммерсантами, которые на продажу копают, просто не хочется дела иметь. У нас тут тоже есть новый русский, держит магазин в Москве, канаты, что ль, какие-то продает. Он купил металлик, прибежал ко мне учиться — я же считаюсь опытным поисковиком, по монетам, по всему. Потом он узнал у своих знакомых, что все, что находишь, чего-то стоит. Я его переспросил: «А что именно-то чего-то стоит?» Говорит: «Значки немецкие, всё это самое». Я говорю: «Пу, понятно. Это опять на продажу». Это уже не патриотизм, сам понимаешь. Это коммерция.

Поездок у нас было очень много, но чего здесь рассказывать? Как винтовки копали? Пу находил я даже такого солдата, который стоя стоял. Можешь в такое поверить? Шел в атаку, и, я так понял, в него мина долбанула минометная. А там речка и косогор крутой. Видно, засыпало его, а когда я туда пришел, косогор этот осыпался, и он так и стоял на ногах, прислоненный. Скелет. Я у него запалы из карманов вытащил, еще чего-то. Помню, зеркало круглое такое, а сзади выгравировано — пехота в атаку идет и танки. А мы не знали, как сохранить, чего. Я принес и на камень сушить положил. Потом пришел — там уже только круглое стеклышко: все ссохлось и свернулось. А когда взял у него — в него смотреться можно было.

Аусвайс^[114] находили немецкий, расписку немецкого командования о том, что они отбирают корову и обещают ее вернуть со временем. Фамилию помню — Ветлов, а года не помню, 42-й, по моему. Пашел его в Жеребцово, он в гражданской был одежде, одежда сохранилась. Староста или кто он там был. У него были рубли серебряные, царские, несколько штук, и часы серебряные карманные. По часы кровью все были залиты — мы их там и выкинули. Монеты ребята себе забрали, но я не брал тогда, монетами уже позже увлекся. Может, он был старостой деревни — кто он там был, кто его знает.

Историю расскажу. Вот тут дом напротив, синий — ты его видишь в окно, наверное. Бабка там жила. У нее мужик сбежал в войну из армии. Как раньше было: в окружение при наступлении попадают и домой уходят, возвращаются. Он пришел сюда и сразу в услужение к немцам решил податься. Его старостой тут сделали, они даже собирались на Украину уезжать. Бабки, женщины тогда были

еще молодые, у них спрашивают: «А чего вы на Украине делать-то будете?» А он учителем был. Говорит: «Детей учить будем!» Потом ночью сюда партизаны пришли. И кто-то им сказал про все это. Его увели. А отсюда километров десять напрямую — деревня Максимково была, там немецкая комендатура. И вот она туда прибежала, сказала, что мужа взяли... Короче, комендант собирает солдат, собирает лошадей — и сюда. Но, конечно, никаких партизан уже не было в деревне, а мужа расстреляли где-то там, в лесу, зарытый так и лежит. Самое интересное, что я потом был в деревне Фомкино. Там дед один ходит, мы с ним разговорились про Клетки, туда-сюда. Он говорит: «Я эту историю знаю!» Он тогда был пятнадцатилетним пацаном, возил немцев на лошади сюда. А когда наши пришли — десять лет ему дали за то, что немцев возил. Вот так вот. Закольцовка этой истории.

Понимаешь, я ведь даже не могу тебе назвать ни одной фамилии. Мы столько жетонов передавали нашим, но теперь ни одной фамилии не знаем. Они же так делали, будто это все поисковый отряд нашел. Мы-то не имели права, мы не были поисковым отрядом как таковым, мы втроем ездили — просто трое человек, сами по себе. А медальоны открывать совесть не позволяла. Если открыть и порвать — испортить бумажку можно. А мы же все-таки хотели, чтобы людей нашли. Поэтому передавали их уже туда, в Красногорск, капитану милиции. Это теперь, кажется, каждый поисковик имеет при себе пузырек какой-то, восстановить может сам записку. Тогда этого не было, передавали в Красногорск. Только медальоны, а про кости потом говорили поисковикам, кто где найден, они уже сами перезахоранивали всех. Мы даже во Ржев ездили — там Сергей такой занимался этим, в Белом доме ржевском был ответственным по патриотической работе по поисковой. И вот мы раскопали в деревне Дешевки троих человек. Один из них отдельно лежал, а ноги — на нем, сверху. Видно, миной разорвало, как-то так. А другие двое вальтами лежали. И мы просто, мимо когда проезжали, мы зашли к нему: «Серег, вот деревня Дешевки, за речкой». И они поехали потом, раскопали. Мы позже туда приезжали — все было вычищено. Серега Петухов, поисковик ржевский. Он сейчас директор музея на мемориальном кладбище. Тогда им всех найденных передавали. Худенький был мальчик, а сейчас такой маститый. Тоже возраст уже.

Занимались мы многим. Мы вот если сейчас по речке пойдем, допустим, я покажу: где что, где копали... А суть в чем: когда наши отступали здесь, у нас не было в уставе траншеев и окопов. У нас были отдельные стрелковые ячейки. А вот эти траншеи и окопы — это генерал Власов перехватил у немцев, он же освобождал Волоколамск-то. Только запрещено говорить об этом было. И вот эти окопы, траншеи сделали, уже когда немцев выгнали. Под Петушками были бои, а здесь готовили молодняк, здесь была вторая линия обороны. Если немцы прорвутся, здесь чтобы прикрытие было. Мы только потом начали понимать это: в лесу ходишь, видишь отдельные ямки — вот, это и есть стрелковые ячейки. Каждый солдат должен быть сам за себя. А когда Волоколамск освобождали — Власов перехватил у немцев: ходы сообщения, блиндажи, траншеи — все это.

А мы ходили, конечно, везде, не только там. У меня мать в сельсовете работала. Если где-то что-то взорвалось — все, это Серега. Ей по фигу, что я дома сижу. Только Серега. Меня так и звали раньше — подрывник. Ребятишками были.

По и солдат по округе мы здесь много нашли. Вот деревня Васильевское недалеко тут, ее немцы сожгли во время войны — там сразу 18 человек выкопали, в Лазарево — тоже человек десять, в Вашурино — не меньше десяти. В Красной Горе одна могила еще не найденной осталась тоже. По ее найти нереально, потому что там электромастерская была, скидывали в яму плиты. Рядом дом отдыха был — готовили, знаешь, на таких плитах чугунных, электрических. Если сгорела — бросали туда. Сейчас там все железом завалено — не найдешь уже могилу ту. Были попытки искать. Все приборы-то есть: и щупы, и лопаты, металик, но там бесполезно искать.

После того как мы втроем объединились, начали ездить. Во Ржев именно я попал из-за него (*показывает на фото отца*), он же освобождал Ржев все-таки. Мне было интересно, где, что, чего: Полунино, высота 200, они же оттуда наступали на Москву. Я и сейчас туда езжу регулярно, там музей 52-й стрелковой дивизии, в Полунино.

У Лишиных отец был профессор педагогики. Он водил трудновоспитуемых детей. Я к ним попал как местный житель, потому что все здесь знаю. А я раньше-то леса любил. Все леса знал наизусть. До этого Максимково, до Середы — дотуда тут километров восемнадцать. До железной дороги ходил пешком — она здесь

несколько ближе, чем до Волоколамска. Туда ходил, до Асташово, у нас весь район был асташовский, танк там взорванный был в лесу, около сторожки лесника. Знал все эти леса досконально, любитель был лазать. Просто по лесам, вообще. Охоту любил, рыбалку любил. А сейчас — речку испортили. Охота какая, если дачи одни кругом? Сейчас едешь: что вокруг лес — только внешне кажется, а там дачи одни. Поэтому и перешел на то, что монеты искать. Пашел — и вон они лежат все. Очищу, кидаю туда: а зачем они? Уже неинтересно. Пи одной монеты еще не продал, хоть их уже куча. Как говорится, наше время еще не пришло.

У меня есть тут один товарищ, бригаду держит строителей, тут работают. У него сын продает. Я говорю, что пока работаю, получаю пенсию, ну не черный день. Придет черный день — я продам. Пачну продавать. А пока только азарт, охотничий азарт найти. А потом — незачем, вон они лежат все. А продавать... Я так скажу. Раньше в Москву было за удовольствие съездить. Сейчас уже в Москву ездить неохота. Я крайний раз поехал: не помню, что там за ремонт на «Риге» был, но, короче, до Красногорска доехали, а от поворота на Красногорск до Москвы три часа ехали. Я и не стал больше туда соваться. И на электричке не ездию — нет необходимости. В ту, другую сторону я езжу — Ржев, Сычевка, Смоленск, куда хочешь. А в Москву уже не суюсь: движение слишком большое.

Отец ко всему этому относился отрицательно. Когда я ему рассказывал, что все эти жмурики лежат на поверхности незакопанные — его это очень коробило. Он ведь сам прошел всю войну. И думал, что все захоронены, все подчищено, он не верил в это, понимаешь. А мы ходили пачками собирали. И почему-то у нас была такая политика в то время. Погибшие лежали полянами целыми, а на них посадки делали. Плугом большим лемешным проходят — и каски, кости, винтовки, валенки выворачиваются, и все это валяется на поверхности. И там сажают елочки. Почему так было? Черт его знает.

Я не знаю таких людей, которые теперь этим занимаются не ради коммерции. А таким, как я, уже шестьдесят лет с лишним, уже никто никуда не ездит. Мои, я тебе говорил, — один ногу потерял, другого инсульт шарахнул. И очень многие поумирали уже. Был вот фанат, доктор Любимов такой. Вот он фанат был: первый инсульт его шарахнул, второй шарахнул. Я говорю: «Игорь, третий инсульт

шарахнет, и все!» — «Не дождетесь!» Ну и третий шарахнул, и все. А был фанат поиска, патриотических поездок. Мы считали это патриотизмом, потому и продавать все это было запаadlo. Я лично не понимал этого, и мои ребята не понимали. Продавать...

Там ездили тоже зубцовский поисковой отряд, сычевские, встречались мы в лесах. Многие. Это смоленские, а здесь я в основном один ходил. Здесь некому раньше было искать, кроме меня.

Ты во Ржеве был? Нет? Жаль. Значит, Нолунино — захоронение на 12 000 человек. Дальше совхоз, забыл, как называется, — там 600 000 человек. Вот это захоронение! Ну там не то что они все захоронены, собраны, там такие домики, а на них — фамилии, фамилии, фамилии. Так считается, что погибли, пропали без вести. А захоронено там — сколько опознали, но и то тысяч очень много. А тут у нас назови захоронение хоть одно большое?

Их нет здесь таких. Есть могилы по 10-15 человек, но я считаю, что по сравнению с теми это просто мелочь. Таких массовых нигде нету. Не гибли так, как там. А там молотиловка была действительно. Я буквально сегодня Вале говорил: у нас вон то окно выходит на Нетушки Смоленской области. И мать мне рассказывала, что когда вечер, темно — света-то не было, электричества не было здесь еще — вот они на лавку встанут и смотрят на всполохи под Нетушками. Там же бои были день и ночь, постоянные. Там очень много наших полегло, как говорится. Ох, сколько... Вот там бои были действительно. Если верить одному нашему деду, он тогда пацаном был двенадцатилетним... Как деревню освобождали: два немца бегут, а за ними два наших солдата. А у одного из наших кровь с руки капает. Он ему говорит: «Дядь, давай мы тебя перевяжем?» А он отвечает по-русски: «Идите пах...» Вот и все. А эти солдаты — это погибшие в госпитале и при наступлении. Как таковых сильных боев за саму деревню не было.

У нас у всех отцы воевали. У нас как в крови это, понимаешь? Вот я считаю, у меня от рождения это: патриотизм, война. Я тебе говорю, я все книжки про войну перечитал: вот эти герои-партизаны, дети-то, я же всех наизусть знал, все книжки. У меня и сейчас, знаешь, какая библиотека военных книг? Когда в 90-х годах все начали разбивать, библиотеки уничтожать, я эти военные книги все домой таскал. У меня сейчас там огромная библиотека наверху.

Конечно, я не скажу, что все перечитал, но большинство — да. Вот именно и говорю, что был патриотизм с кровью. С ихней кровью, как говорится (*показывает на портрет отца*). Он тоже ведь с первого дня на войне. Тут недалеко от нас был аэродром. Церковь знаешь где, проезжал? Там, чуть-чуть дальше на километр, был аэродром. И он был к нему приписан. Тогда явка была сорок пять минут на аэродром. Ты можешь представить: сорок пять минут — это сейчас ты сядешь и доедешь. А тогда-то на лошадях ездили — каково ему было? Но тем не менее явился он туда. И вот оттуда он 22 июня и начал войну. Короче, не подо Ржевом, а еще раньше приехал к ним генерал: «Тут такие морды молодые в батальоне аэродромного обслуживания, ну-ка их в пехоту всех на хуй!» И их в пехоту отправили. Он пошел туда рядовым, а потом дослужился до командира разведроты.

Дошел до Венгрии. А почему до Венгрии: его под Кривым Рогом ранила в ногу пуля разрывная. Он говорил: «С одной стороны дырка — мизинец не влезет, а сзади — кулак влезает». И вроде ногу собирались ампутировать. А если ты слышал про войну хоть немножко, знаешь, тогда вышел приказ Сталина — о возможном сохранении конечностей. Потому что инвалиды никому не нужны были. И вот он попал под этот приказ. Приехал, говорит, профессор с Москвы. Крутил-крутил ногу. «Я, — говорит, — убить его готов был — боль такая». А врач говорит: «Ну, эту ногу мы сохраним». И все. Потом он до смерти прихрамывал, чуть-чуть тянуло ногу. И он после этого стал комендантом пересыльного лагеря военнопленных. Все-таки офицер. И демобилизовался уже в 46-м году, когда пленных этих разогнали, распределили.

Вот звездочка, которую я нашел, снял с солдата убитого. Для меня это считалось свято, понимаешь? Свято. Это святое. У меня много таких вещей. Была бы она чуть получше, я бы себе ее прицепил и носил. Я как-то кокарду нашел царскую, и один мне говорит: «Во! Сделал бы, носил бы!» И сохран был хороший. Но не мое это. Звездочку вот эту бы носил.

Медальон хотелось вскрыть, но мы знали, как говорится, с младых ногтей, что мы можем угробить его, и человек останется безвестным. А очень хотелось самим, попробовать свои силы. Но жалко было портить. Сам понимаешь. Откроешь — и все, человек пропал. Их и в то время приходилось расшифровывать, полфамилии

могло сохраниться, просвечивали их, восстанавливали буквы. А ты в своих условиях — что ты сделаешь? Да ничего. Химией какой-то буквы восстанавливали — карандаши же химические были. А ты что мог сделать? Только порвать его — больше ничего. Были и именные вещи: ложки, котелки. Но хозяина как ты найдешь? Допустим, «Николай» и фамилия, а какая дивизия, какая армия, где, чего — как ты это узнаешь? Если в архиве только искать. Опять же, эти Нетушки. Там армии три или четыре прошло. Я уже не говорю про дивизии и батальоны. Где там что искать? Это легко кажется, что вон Колька Петров прошел, но это не так. В войну и погибших-то на месте нелегко было опознать, а через семьдесят лет все свалилось так, уже практически нереально опознать. Немецкие с надписями находили котелки тоже...

Немцев обдирали и все: звезды, значки, пуговицы. И мы тоже. Такое воспитание у нас было — они же фашисты. Фашисты и всё. Ты думаешь, их много было? На девять наших убитых — один немец. Их и до нас обчищали после войны, и, как говорится, когда хоронили. У них обычно все вычищено. Только на шинели пуговицы и значки, если оставались иногда. Ботинки немецкие искали мы: у них подковы очень хорошие, на всю подметку.

С Лишиными мы столкнулись в первый раз здесь, в деревне. Они же и ночевали у меня на сеновале. Как только они сюда приехали, искать начали — я с ними сразу и сошелся. А потом Стишко появился, который отца своего искал. Его начал таскать с собой, этого Стишко. Он знаменитый художник, отец тут недалеко погиб. Он сам ко мне подошел в доме отдыха, я тогда в доме отдыха работал. Я сначала хмыкнул, хотел отойти от него: какой-то маленький, бородатый, непонятный. А потом, когда заговорил, что отец тут погиб, — уже другой вопрос. И вот я его возил, у меня мотоцикл был «Днепр». Я его возил в Вашурино. Нотом мать его привезли сюда, жену погибшего Михаила. Она его по вещам опознала: ножик перочинный там был, расческа и что-то еще. Она опознала вещи. Нотом он приезжал несколько раз, ко мне всегда заезжал, а потом, когда 91-й год наступил, — границы закрыли, и все — он бросил это дело. Ну я тебе говорил: связывались с ним, но он игнорирует, не хочет он ни встречаться, ни вспоминать об отце. А после, в 84-м году, Лишины сами пропали. Они

потом уже ездили туда, во Ржев — их там все знают, а здесь уже не появлялись.

Помнишь в 90-х журналистку, которая писала и про поисковиков? Была такая Юлия Хайт, очень она любила писать про раскопки. И вот пишет она от имени девушки: поисковый отряд где-то остановился, и пошла она по малой нужде в кусты. А там мужик сидит в форме образца 42-го года, с петлицами. Она испугалась, но подошла к нему. Он говорит: «Вы тут ищете? А я тут погиб. Я вот тут лежу, а друг мой вот тут лежит». Она, конечно, убежала, рассказала своим. Они пошли копать — и правда: нашли там и первого, и второго.

Как она описывала: был теплый летний вечер. Вот и мы ездили в Жеребцово в теплый летний вечер. Я своих бросал и уходил куда-нибудь, говорил: «Ну, выходи, выйди хоть один-то!» Никто не вышел. Но после ощущение, что можно кого-то встретить, у меня было. Было ощущение, что наблюдает кто-то за нами, прям смотрит. И было ощущение, что можно встретить, прям ждешь, что сейчас появится. Это было. Это точно тебе скажу. Особенно то, что за тобой кто-то глядит. Все время там такое ощущение почти. Что кто-то наблюдает за тобой. Как ты все это делаешь. Иногда от этого было не по себе, но страшно не было.

Знаешь, что делали, как с ума сходили? Блиндаж вскрываем — а он полный патронов, доверху полный, склад был. Вот я нахожу каску русскую — а пассатижи тогда всегда с собой таскали — патронам голову сворачиваешь и насыпаешь пороху половину каски, патрон туда накидываешь. Поджигаешь и сидишь. А рядом с тобой яма. Как только патроны взрываться начинают — в яму эту кувыркаешься и смотришь, как трассеры-фигасеры над тобой ходят. С судьбой играли. Дурью мучились маленько, можно сказать. Повзрывали там много чего.

Находили полный блиндаж мин минометных, забитый, снарядов-сорокапятков. Боеприпасов было брошенных много очень. В общем, была тогда политика отучить молодежь от всего этого, чтобы не ходили искать, как я понял, в 90-х годах. С помощью вот этой писанины, не одна только она такое писала, многие тогда писали про такое.

Про Волгоград не читал историю, что там есть дорога какая-то? Во время войны была. И если ночью едут дальнобойщики, то

полуторка на них летит, то еще что. Не читал такого? Тоже история известная. Много тогда было такой фигни в газетах центральных. Тогда же и инопланетяне начали летать — помнишь, наверное? Люди начали верить во все. В Кашпировских, в Чумаков. И заодно вот это вот писали, чтобы людей отвадить от этого. Но во время раскопа это странное ощущение есть. Это сейчас во мне все перевернулось. Сейчас уже нет такого. Тебе никогда этого не понять: мы когда переезжали границу области Смоленской, я снимал шапку — это свято для меня. Святое, понимаешь? Там такие бои были. Сейчас мне до лампочки все это. Прошло все это. Тверская область — тоже, раньше, если переезжаешь границу, — тоже шапку снимал. Приветствовал область героическую. Смоленскую почему-то особенно.

Земля ни в чем не виновата, погибшие тоже ни в чем. Но начались коммерческие поиски. Солдат раскапывают, бросают, где нашли, берут только ценные вещи — и все. Даже при нас было. Мы раскопали одного. Маленький такой, согнутый, с винтовкой лежит, в каске. Мы его прикопали, каску положили на это место. Ну и чего? Через неделю приехали: все разрыто, все раскидано. Кому это надо? Ездят такие вот мародеры. А какой в этом смысл — это у них надо спросить. Хрен его знает, какой в этом смысл. Нам зубцовские попадались. Там блиндажи были на реке Осуге^[115]: они их вскрывали и переправляли все на продажу, посуда там была, тарелки немецкие. Они чисто на продажу копали немецкие вещи. Коммерсанты. Занимались этим. А мы сразу уезжали с таких мест, с коммерсантами не связывались.

Я закончил года три-четыре назад, не так давно. Сейчас все изменилось здорово. Ездить можно только организованными отрядами, чтобы ФСБ было. Знакомые смоленские ребята раньше вешали штывы от пуль себе, сейчас даже пульки, говорят, не унесешь — ФСБ пасет только так. Чтобы ничего с собой не брать вообще: ни гильз, ни пуль, ничего. А я не люблю так, чтобы меня пасли. Это не коп уже.

У меня много знакомых есть. Отряд «Победа» — они до сих пор ездят во Ржев, копают. Молодежь. Среди них есть коммерсанты, конечно. Насчет ФСБ я не знаю. Но они ездят. Андрюха Туманцев — он действительно патриот. Журналист один — Димка Барабаш — не

слышал про такого? Тоже ездит с ними. Он в горячие точки раньше ездил. И на раскопки тоже. Конечно, одна слабость у него, он любитель этого дела. Может на раскоп поехать, пропьянствовать там, назад приехать — и не помнить, что было. Есть такая слабость. Не знаю, может, теперь иначе, сколько лет не видел их. В интернете они у меня в друзьях, пишут: «Ноехали, старик, чего ты там сидишь?» А я вон весной выехал, монету нашел — и счастлив. Чего мне еще надо.

Было раньше и чувство долга, и ответственности — все было. Просто ты сейчас не понимаешь, как сильно все это опохабили, обосрали. Очень сильно. Тогда действительно были живы фронтовики еще, было чувство уважения. А в 90-е годы, знаешь, как все это опохабили? Неревернули точку зрения. Ты не понимаешь, потому что не был тогда. А что там не понимать?

Вот эти 28 панфиловцев: пусть мы даже знаем, что их не было, это была агитационная программа. Но она же была необходима, чтобы поднять дух бойцов, правильно? Зачем было обсирать: то это было, то это не было, то туда-сюда? Зачем было все это ворошить? И теперь зависит от какого-то мудака, который сидит в министерстве, было это или не было. Ну вот как это понимать? Я согласен тоже: не было этих 28 панфиловцев, там вся дивизия была. Но люди воевали, люди погибали! А двадцать восемь — ну нужно было поднять дух бойцов. Все равно же бои были, танки подбитые были. Зачем ворошить все?

Сейчас любое возьми: битву подо Ржевом тоже обосрали. Их всех сейчас переколпачили, всех, зачем это нужно? Властям нужно... Чтобы отвернуть людей от того, что было. И отворачивают удачно, обработка действует. Худо-бедно в той власти советской, хоть маленько, а люди были вместе. Вот этот поиск хотя бы. Мы и ездили неофициально, да, но нам особо за это, если мы не таскали пулеметы, ничего и не грозило. И они все знали, что мы сдавали все жетоны. От нас тоже польза была большая. А сейчас же мы вообще не можем съездить. Если нас в лесу поймают — то все, срок. Вот тебе и все. Может быть, это называется наведением порядка или как — я не знаю. Но, в общем-то, были попытки отвернуть от этого вообще людей.

Не знаю, ты один остался из многих такой, кто еще интересуется этим. Но все равно будет виден раздел: если бы ты собирал до 91-го года и если ты собираешь позже. Разница хотя бы в том, что тогда

фронтовики были живы. Которые сейчас — они ряженные, на парадах Победы. Фронтовики все были израненные. И представь: пять лет ходить под пулями, что каждый день тебя убьют — у тебя все нервы были испорчены. Они все переумирали после войны, считай. Ну не после войны — вот он (*показывает на портрет отца*), считай, до 90-го года дотянул. Вот они все здесь в деревне в 90-м, 91-м году и умерли. Знаешь, сколько их было? Человек пятнадцать фронтовиков. Все друг за другом ушли. И вот когда их не стало, начали все переворачивать. Баба эта, генерал-майор-то, сидит. На параде Победы-то. Она же никто, она сначала полковником одевалась — а у нее муж был полковник — она одела его форму и пошла на парад Победы и проскочила все это. И ее теперь и Путин обнимает, она теперь фронтовичка. Генерал-лейтенант она сейчас. А она же никогда не была там, на войне-то. Вот понравилось ей. И сейчас все ряженные, нету фронтовиков-то сейчас, которые войну прошли.

Конечно, ничего из головы не стерлось, просто уже понятия другие. Я же тебе говорю, пусть даже вот худо-бедно: и менты нас гоняли маленько, и все такое, но мы были патриотами в душе, а сейчас мы — пятая колонна. Потому что мы можем привезти домой пулемет, мы можем пойти против власти или что там? Пятая колонна. А что в душе у нас было, я уже пояснил. Смоленской области границу переезжаешь и шапку снимаешь. Это было святое. А уж чтобы продавать что-то... Для себя только. Вот эта звездочка, я ее храню, считай, с той поры, когда только начал копать, ездить, она стоит у меня. И много чего стоит еще. Но это было святое, а сейчас этого нету. Вот дети мои растут: эмчээсовец один — ему вообще ничего не надо. А младший: где-то он ходит вокруг дома, он вроде бы и характером в меня, а все равно его это даже не затрагивает никак. Вообще никак. Хотя ездил со мной, с металликом копал.

Его не завлекло, не затронуло. Может быть, попозже. Ему шестнадцать будет в апреле, школу только кончил, в колледж пошел. Старший тоже со мной ездил много. В итоге потом посмотрел я на его поведение, говорю: «А ты чего едешь-то?» А там набирали с собой тушенку, консервы, колбасу. Я говорю: «Чего ты едешь, поесть?» Говорит: «Да». Все, после этого он больше не стал ездить со мной. Но его не увлекло ничего вообще. Вот все думаю, младшего куда. Технику он любит очень. Запорожец вон стоит в саду — его любимая

машина, все ковыряется с ней. А куда он потом, в какую сторону нырнет — я не знаю. И за монетами я его таскал: сам он находил монеты, царские, советские, но тоже не увлекло его пока. Не знаю.

Что тебе такого интересного можно рассказать, если мы кости копали? Что может быть интересного в костях? Что может быть? Куча костей. Вот эта воронка, что мы раскопали, — сверху там лежала женщина с длинными волосами. Ну женщина — вот и все. Что может быть интересного в костях? Я уже говорил: у меня наверху музей был, все, что я находил — туда относил. У меня там есть даже щетки зубные немецкие — нашел в советском блиндаже. Медальон есть один — он пустой был, поэтому я его и взял, поставил. Да много чего есть и было: и фляжки, и котелки с надписями были. Вещи — это, как ты говоришь, железо, а про людей — что сказать? Я вот не могу сказать ничего. Вот этот солдат стоячий — это можно было понять, потому что у него хвостовик торчал минометный в ребрах. Он, видно, испугался, согнулся, а его взрывом накрыло или очередью долбануло.

Ну пулеметчика одного раскопали. Без пулемета, правда, лежал. Тоже можно было понять, как он погиб. Его убили, а пулемет, видно, взяли и дальше побежали. Или тех, которых под Дешевками нашли: двое вальтом, а третьего ноги — на нем. Что о них можно сказать? Подорванные на mine. А остальные как погибли — кто его знает, как они погибли.

Я тебе могу что сказать... Тут бабка одна жила, и к ней много поколений ходило. Баба, мол, как немцы пришли, откуда, чего? И вот она начинала рассказывать. А я ее слушал, и когда маленьким был, и когда вырос, и она каждый раз все рассказывала по-разному. Поэтому я в эти истории не верю. Как деревню освобождали? Вот возьми Васильевское, которое сожгли немцы в войну. Дядя Леша — кто его просил, не знаю, он и сейчас жив, житель той деревни. И вот он начинал рассказывать, что шли немцы, поджигали дом за домом, и только потом узнали, что это были каратели. Но! Это же были никакие не каратели, это было ночное наступление немцев. И чтобы обозначить дорогу — а там дорога была центральная — они жгли по одному дому. Один дом гаснет, они поджигают следующий, и следующий, и следующий. И всю ночь техника двигалась по дороге. Карателей-то никаких не было еще. Каратели уже позже пришли. Так что все эти истории... Бабка та рассказывала каждый раз по-разному, а

хотелось бы знать досконально. Почему я тебе рассказывал, что мужик один говорил, как двое немцев пробежали и двое наших за ними. У бабки спрашивали, она говорила: «Ой, тут стреляли кругом, там пушки долбили!» Дед ей говорит: «Хуль ты пиздишь, два немца пробежали, двое за ними, у одного кровь течет, мы ему сказали: "Дядь, давай, мы тебя завяжем?" — "Идите вы на хуй" — и побежали дальше». Вот и все бои, которые были за деревню. Кому верить? Каждый по-своему рассказывает, понимаешь? Надо выбирать из двух зол меньшее. У меня такая сейчас политика. Я смотрю новости по телевизору, а потом иду в интернет лезу, сравниваю интернет с этим. И выбираю меньшее из зол. Яндекс.Дзен же читаешь, наверное? Там про поле боя пишут, кто с пулеметом сражался — это все уже вообще домыслы, с жизнью ничего общего не имеет.

Видишь, мы у старших поколений мало спрашивали, а теперь жалею об этом. Лично я жалею. Вот его (*показывает на портрет отца*) об этом надо было расспрашивать. Только он не любил про это рассказывать. Было августовское наступление подо Ржевом, а потом было ноябрьское наступление. Я ему говорил: «Дед, ну расскажи, чего там было?» Он отец мне был, но звал я его дедом. Отвечает: «А чего тебе рассказывать, как за трупы прятались? Трупы уже раздутые были — и пули немецкие чвяк, чвяк, чвяк в них». Ну и все, больше ничего он не рассказывал. Орден этот, который висит, Красной Звезды — я говорю: «За что получил?» Отвечает: «Да с разведки майора приперли какого-то — а у него портфель, в портфеле документы очень важные. Ну нас вызвали и по ордену дали». Вот и все. Не любил он рассказывать. Как говорится, любили рассказывать те, кто никогда не воевал. Понимаешь? Даже мать моя, и та смеялась.

Был Бормотов такой, председатель исполкома этого района. Он был в партизанах. И вот юбилей, двадцать или тридцать лет Победы, молодежь собралась, он рассказывает, как немцев гонял туда-сюда. Я, говорит, стою, слушаю. Он, говорит, дня не воевал, партизаны здесь просидели три месяца — ни одного выстрела не сделали вообще. Погибли два пацаненка — Шумов и Колядов — в разведку их все посылали. Немцы их отловили. Вот и все. После немцев, когда выгнали, он пришел и опять стал командовать районом. Восстановление и все это самое. Но он, говорит, и дня не воевал. Так что рассказывает тот, кто не видел этого ничего.

Мужик у нас тут жил, тоже фронтовик, у него не было правой руки по локоть. Я ему говорю: «Дядь Вань, как ты руку потерял?» «Да хули, — говорит, — такая конструкция у автомата ППШ. Я стрелял, опустил автомат диск вставить, пока дергал — в руку попали. Ноначалу вроде ничего, а потом руку отняли». Пришел после войны он и работал трактористом с одной рукой. Мужиков-то не было. А потом уже просто скотину пас, телят растил. Все делал одной рукой, косил — на протез вешал косу. Те, которые воевали, не будут рассказывать ничего. Один дед у нас был тут, мне нынешнему ровесник. Я ему говорю: «Дед, расскажи, как ты воевал». — «А что тебе рассказывать? Как медали с покойников снимали?» И все. Медали-то, они безномерные были. А домой всем хотелось прийти с иконостасом. Вот и снимали с покойников медали. Вот и все. Тут момент был какой: чтобы хоть в деревню войти и чтоб висело. А потом-то и не показывать их, но главное — чтобы висело. Это жизнь, про которую я тебе говорил, которая была.

Не каждый раз мы находили солдат. А потом — солдат много, но не каждый раз находили медальоны. Ну нашли солдат, ну сообщили, чтобы их перезахоронили, но у них не было ничего: ни медальона, ничего. Вот эти воронки, про которые говорил, — они же все вычищенные были. Там бабка одна рассказывала, что они собрали два мешка медальонов. Можешь себе представить, два картофельных мешка с медальонами? А война, сельсоветов не было, и ребятишки играли ими. А когда наши пришли, то уже ничего и не осталось. Два мешка — ты можешь представить, сколько это жизней?

Это же были санитарные захоронения, поэтому жетоны доставали и в одном месте складывали. Ножи у них вытаскивали, оружие — у них уже ничего не было, они очищенные все. Медали снимали у них, документы забирали. Сам подумай — два мешка картофельных — это сколько людей? Это, наверное, не меньше армии по количеству. Ну пусть дивизии, ладно, 10 000 человек. Это очень много людей. Там под Смоленском почти все были с жетонами. Их приказом отменили: новым, кто приходил, их не давали, а которые старые солдаты — у них были жетоны у всех. Очень много находили самодельных жетонов — в гильзах винтовочных, они самих их делали. Нисали бумажку туда, пулю переворачивали и втыкали. На гимнастерке кармашек был такой, они и сейчас есть на военной

одежде, — это под жетоны под эти. Туда и пихали гильзы обычные. Мы за все время нашли штук двадцать медальонов. Не каждый же раз мы людей находили. Иногда ездили, могли траншею прокопать метров пятьдесят — там было железо, а людей не было. Могли просто проехать — мы обычно ездили на сутки-двое. Проедешь одно место, другое место, третье место, а зацепиться было негде. У нас же не было определенного места. Узнавали от местных жителей, выбирали место по картам — тогда как раз карты появились Тверской, Смоленской области.

Карты современные были, но определить, где бои прошли, было несложно. Логическое мышление. Едешь — просто видишь речушку. Так, тут должна была быть оборона. Нойдем, сходим. Идем, смотрим — есть оборона. А если есть оборона наша, то, значит, вон там — немецкая. Ага, значит, там на горе — немецкая. А вообще, Смоленская область — она вся засеяна гильзачом. Там бои, наверное, везде были. Нет таких мест, где их не было, боев-то. Но говорю: мы далеко не каждый раз находили. Это вот когда удачно попали в 93-й год, тогда мы много подняли, очень много, но это такой был единственный год. Мы за лето ездили раз по десять: работали же, семьи у всех. В основном на сутки. Редко, когда дольше.

С медальонами нам попалась воронка в Алексияновке^[116], минные поля там были. Там еще деревня была, не помню ее названия, — самолет немецкий врезался прямо в деревню. Линия обороны была, траншеи. И вот мы чисто случайно копнули — нам сказали, что убитые во время боев там захоронены. Единственное место, где мы такое нашли. Солдат похоронили во время боев, с вещами, медальонами, со всем. Я так понял, думали, мол, еще придем, перезахороним вас. Но не получилось.

Мы тогда со щупами ходили. На Осуге, за Щеколдино это было, дождь такой лил, шли по дороге и на щупы эти опирались. Вдруг раз — звякнуло, а когда со щупами ходишь часто, то камень, стекло, кирпич, кость, корень ты уже по удару определяешь. Подумал: что-то вроде и на кость похоже. Ковырнули — череп, потом второй, третий. А там потом такая могилища оказалась, прям на дороге. Потом мы это передали, знаешь, кому — якутскому отряду поисковиков. Туда якутские ребята ездили. Мы потом приехали, когда уже было раскопано: они нам показали, сколько костей там, сколько чего,

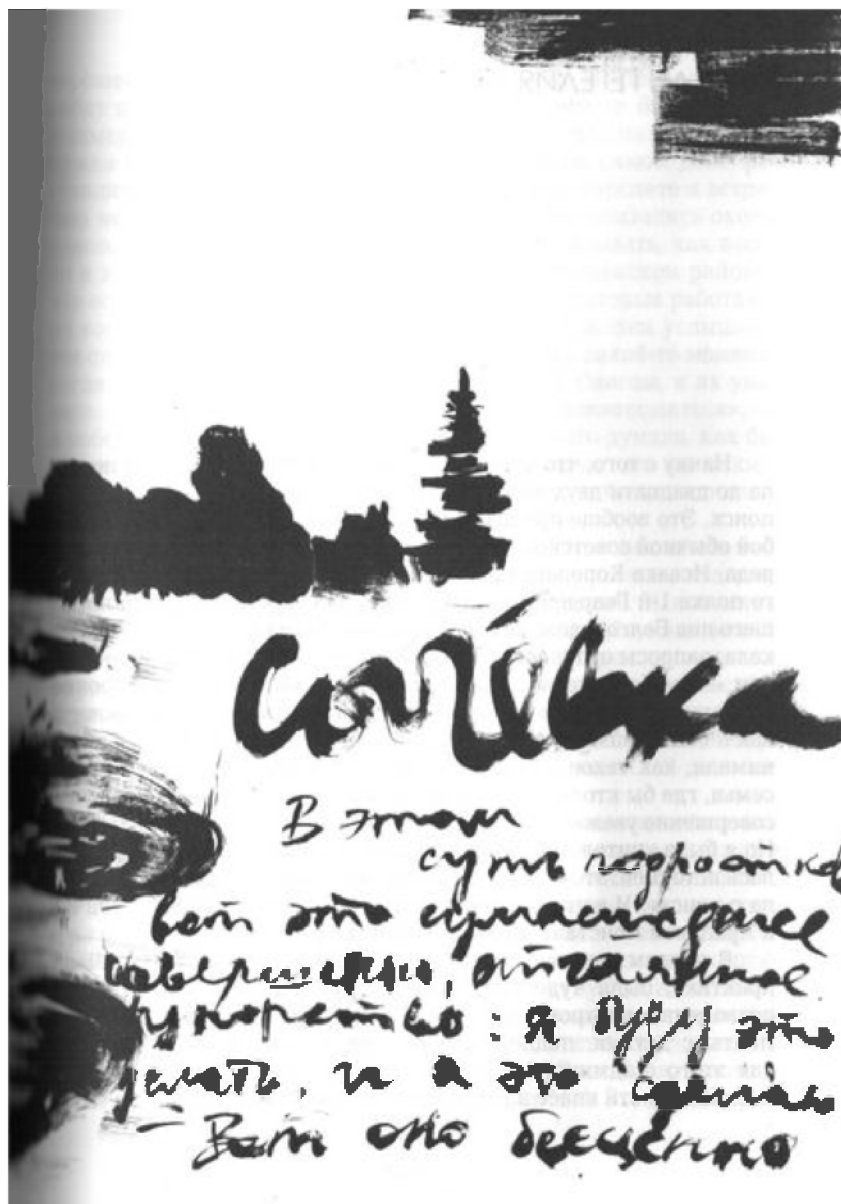
сколько вещей нашли личных, медальонов сколько нашли. Но мы уже не участвовали, как говорится. Просто посмотрели.

Часть 3. Сычевка

*

То есть если бы ребята не
нашли этого камня
тогда картина так была
бы не что сказать.





Смѣлка

В этом
суть пороки
было это самое
калечило, а не
у порока: я пишу это
жизнь, и я это
— было оно бесценно

КЕТЕВАН ГЕГЕЛИЯ

Начну с того, что я была спортивным туристом. И знать не знала до двадцати двух лет, что существует такая вещь, как военный поиск. Это вообще прошло мимо. Хотя в целом все было как в любой обычной советской семье. Место реального захоронения моего деда, Исаака Копелевича, командира батальона 355-го стрелкового полка 1-й Гвардейской стрелковой дивизии, героически погибшего под Белгородом, не было известно. Мама искала, бабушка искала, запросы отправлялись бесконечные в самые разные инстанции — все бесполезно. В ответах те же слова, что и в похоронке. Указанной в этих документах братской могилы не существовало, как и самой названной деревни уже не было. Тогда мы еще не понимали, как такое может быть. Тем не менее в те годы не было семьи, где бы кто-то не воевал и не погиб. Поэтому беспредельное совершенно уважение к этой теме — оно было с детства воспитано. Но я была учителем биологии, я никогда особенно не интересовалась историей, это была совершенно не моя тема. Я ничего не знала о поиске. И началось все со встречи с Олегом Всеволодовичем и Аркадией Константиновной Лишиными.

В первом классе, в котором я работала, точнее была там на практике, была чудесная классная руководительница, которая позволяла мне проводить студенческо-педагогические эксперименты с детьми, поддерживала меня абсолютно во всем, воюя для этого с администрацией школы. В какой-то момент она не смогла повести класс на турслет: у нее было просто уже не очень хорошее здоровье, да и возраст за пятьдесят. Поэтому сводить ребят в поход предложено было мне. Тогда еще не было такого кошмара, как сейчас: чтобы вывести детей в лес на один день, нужно собирать кучу документов, не всегда на самом деле необходимых. Все решалось проще. И вот на этом турслете я встречаю молодых педагогов, с которыми мы просто оказались около одного костра, и которые начинают мне рассказывать, как весело и интересно они живут у себя в Краснопресненском районе, что есть у них такие Олег и Аркадия Лишины, которые работают по коммунарской методике. Тогда я впервые в жизни

услышала эти слова — коммунарская методика. И где-то в какой-то момент, когда мы с учениками пробежали мимо Ады с Олегом, я их увидела: «Здрасьте». — «Здрасьте». — «Приятно познакомиться», — и побежала дальше. Все. И дальше я очень долго думала, как бы к ним попасть и познакомиться поближе, понять, чем это таким необыкновенным они занимаются. Я ведь девочка была воспитанная, как-то стеснялась.

Потом, когда уже пришла работать в школу, нас опять вытаскивали на турслеты. Я была спортивным туристом, поэтому меня отправляли на все туристские соревнования. И я помню, это было как картинка: я приезжаю на городской учительский слет с командой поздно вечером — из-за мероприятия в школе не удалось приехать вовремя. А там идет конкурс песни у костра. И вот мы выходим с одной стороны к костру, а с другой стороны к костру делает шаг шеренга ребят в военных рубашках с пионерскими галстуками и в буденовках. И у меня просто... Я даже не понимала еще, что это лишинский «Дозор».

У меня срабатывает на ассоциации с Крапивинным (мы все в институте очень увлекались крапивинскими книжками), у меня буквально всплыли в памяти строчки из «Мальчика со шпагой»: «И он изумился и вздрогнул... когда в полыхании рыжих грив и с глухим громом подков пятеро кавалеристов вылетели на поляну и встали полукругом». И вот я вижу практически эту картину, только лошадей нет. Я понимаю, что я хочу туда, к ним, в этот круг. По счастью их тоже заинтересовала какая-то песенка, которую я спела. Я подползаю к Всеволодычу и, стесняясь, как Хазанов в «Кулинарном техникуме», говорю: «Олег Всеволодович, можно мы с вами будем меняться песнями?» А Всеволодыч же большой, добрый, как он сам про себя говорил, «в пузе плечист». Он говорит: «А чего меняться песнями-то? Давай, приходи, у нас экспедиция скоро, у нас сбор скоро, нам люди нужны, все, ждем тебя тогда-то и там-то». И все. И меня «не стало». «Заболела» коммунарством на долгие годы. Я приехала в первый раз еще в их служебную квартиру в Большом Трехгорном, Ада работала там дворником при здании музыкальной школы, вот я приехала туда и сразу все закрутилось.

Сначала ничего не понимала толком, это потом уже я начала слушать лекции Всеволодыча о коммунарстве, о педагогике

сотрудничества, о психологии подростков и так далее, а в первый раз тебе никто ничего особо не объяснял, тебя просто закидывали в дело, как щенка в воду — работай. И вот, глядя на окружающих, ты учился, ты что-то делал, сначала как рядовой помощник комиссара (комиссарами в коммунарстве назывались вожатые), потом доверяли более серьезную и самостоятельную работу. И я просто этим заболела. Это проходили, в общем-то, все. Человек советской системы, человек стандартной советской педагогики, видя педагогику коммунарскую, просто обалдевал совершенно. Это был шок. Ты начинал понимать, что работать нужно именно так, а для детей это было просто спасением. Мне через много лет некоторые ученики говорили, что то, что они проходили через коммунарские сборы и видели другое отношение взрослых, их спасло в свое время на каких-то переломных моментах жизни.

И опять-таки это был еще не поиск. Прошло несколько месяцев, я уже ездила на коммунарские сборы, я уже договорилась в 28-й школе, которая располагалась в Большом Трехгорном переулке, что раз они пускают к себе «Дозор» со сборами, значит, я буду с ними контактировать. И вот в этот момент я что-то начала от Лишиных слышать про поиск. У меня не было никакого желания начинать этим заниматься. Была, как сейчас помню, стандартная реакция человека, услышавшего, что люди ходят по местам боев. Почему? Как такое возможно вообще? Потому что я все-таки родилась в 62-м году, спустя всего восемнадцать лет после войны, это еще абсолютно живой, совершенно панический страх повторения этой войны. Папа у меня из Тбилиси, бабушка жила там, в старом доме посреди города, вот эта классика, когда маленький внутренний двор, белье висит через двор на верёвках, все выходят, общаются через этот двор. И я помню, как однажды мы ушли с папой на рынок, вернулись и видим, что высыпали на галерею все тетki и они даже не плачут — они воют. Мы думали, что землетрясение, а было 22 июня. По радио утром передавали спектакль, посвященный Великой Отечественной. Радио включалось в советские времена, в 60-е годы, на весь двор. И его включили на словах Левитана, что «сегодня без объявления войны...» и так далее — и они решили, что всё началось сначала. Их трясло от ужаса. Папа долго всех успокаивал. Мы выросли вот в этом, в ужасе перед повторением, перед следами войны.

Сейчас говорят, и даже у Лишиных в книжке есть это, что все патриотическое воспитание тогда тоже было таким кондовым, и дети не воспринимали всерьез память о войне — ничего подобного. Я очень четко помню, что когда была маленькой, во дворе всегда при играх «в войнушку» были разборки: никто не хотел играть «за немцев». Помню, как набили морду пацану свои же, одноклассники, за то, что в школе вот такую вот крошечную в углу туалета нарисовал свастику. Его очень хорошо побили. То есть мы еще были в состоянии, что мы воюем с «фрицами», психологически, было очень четкое деление «свой-враг», было понимание того, что такое война, и параллельно с этим шел страх перед местами боев, перед возможностью подорваться на оставшихся там минах, снарядах. Этим нас частенько пугали взрослые.

Я помню — почему я сейчас все это так подробно рассказываю — я помню первый увиденный мной снаряд — это был снаряд, который вымыло из-под крыльца дачи наших родственников в Снегирях. И там все оцепляли, вызывали саперов и так далее. А Снегири — это лес, который полностью покалечен войной: полно воронок, траншей. И мне постоянно повторяли, когда гуляли по этому лесу: «Так, это воронка, это окоп, не спускайся, иначе можешь взорваться». И не знали еще тогда, что как раз спуститься в воронку — это безопаснее всего, а опаснее — наступить не на ту кочку: родители сами провели войну в эвакуации и не были на местах военных действий. Но вот этот страх перед всем, что связано с войной, он абсолютно во всех детях был жив. Где-то пацаны со всем этим играли, а где-то правило было очень жесткое: не подходить. Поэтому, когда позвали в военный поиск, первая была моя реакция — я туда не хочу, страшно, можно подорваться. По Лишины настолько зажигательно рассказывали, и это настолько перекликалось с тем, что мы не могли найти могилу моего собственного деда, что невозможно уже было там не оказаться и не попробовать. А если ты пробуешь это один раз — уже все, затягивает.

Попробую объяснить, как это видится с моей точки зрения, почему затягивает. Кто-то приходит сознательно, потому что он хочет именно восстанавливать память о погибших. Кто-то приходит как подростки, на подмену мотива — о подмене мотива говорил Всеволодыч. Приходят на романтику вот этих отношений, дружбу

лесную, костровую романтику: гитары, песни. На слабо приходят: проверить себя, доказать себе, что выдержишь лесную жизнь. А потом уже, внутри работы, начинается совсем другое отношение, взрослое, осознанное. Интерес появляется к истории, к исследованиям. И самое главное, почему именно поиск, а не, например, спортивное ориентирование. Потому что в поиске нет градации «взрослый — ребенок». В принципе нету, вообще. Я вам потом скину ссылку на фильм, где Володя Ерхов, первый комиссар казанского «Снежного десанта», как раз рассказывает, как сидят у костра двое: старшему семьдесят, младшему — семь. Они на «ты», абсолютно на равных, ведут разговор о том, что они станут делать на раскопе. Нет разницы в возрасте, есть оценка человека только по тому, что он делает.

Для подростка это просто Клондайк человеческих отношений, возможность показать себя, заслужить уважение взрослых. Если сейчас маятник в какую-то другую сторону хоть немного качнется и все будет нацелено на то, что усиленно насаждают чиновники: не работа и жизнь на равных, плечом к плечу, а «ах, что же ребеночек захочет, как бы ребеночка не обидеть, чтобы ребеночек, не дай Бог, не получил психологическую травму» — тогда пропадет весь смысл. Ведь здесь важно именно абсолютное уважение со стороны взрослых. И ребят затягивало именно это, а потом уже они подходили к поиску как к исследовательской работе, потом уже становилось интересно восстанавливать судьбы, а не просто искать то, что в земле.

Были и люди, которые приходили в поиск после участия в боевых действиях. Очень много было таких случаев. Почему? Потому что в лесу они попадали в свою среду. Ведь как случалось? Люди приезжали домой из «горячих точек» и слышали: «А мы вас туда не посылали! Чего вы от нас хотите?» А в лесу — там понимали, что чувствует человек, вернувшийся с войны. И опять-таки война — это черно-белый мир: свой — враг, правда — неправда, порядочно — подло. И вдруг человек попадает в совершенно другую среду, где «ах, всё так сложно», где смещены какие-то важные человеческие понятия. А в поиске он попадал снова в мир, которого ему так не хватало, где ты знаешь, что нужен и дело твое — нужное. Ну и конечно, кого-то в поисковый лес просто притаскивали друзья.

Понимаете, мы об этом как раз недавно со старшей дочкой говорили: очень важна возможность реализоваться, как «лесной»

человек, потому что все-таки человек рождается с совершенно разными наклонностями. Очень часто складывается трагическая ситуация, особенно для семей, сложившихся в поиске, когда человек в лесу, в поиске, в туризме, в альпинизме, в геологических экспедициях — он царь и бог, он все знает о том, как выжить в сложных, экстремальных условиях. Но вот он возвращается в город, а там ему нечем заняться — это не его мир. И люди, у которых их профессия не связана с экстримом, находили в поиске свое место, свою экологическую нишу, что ли, получали возможность резко изменить образ жизни. В общем, тысячи разных причин. Ну и потом, это занятие для разных людей выливалось в разное: кому-то были интересны человеческие судьбы, кому-то — воспитание детей, кому-то — восстановление картины исторических событий. Сколько людей — столько причин, столько последствий.

Часто говорят, что всё это не нужно, ворошить прошлое, «теребить мертвецов» и так далее — только семьи-то что? Про семьи забываем? Семьи ждут по сей день. В последний раз, когда в 2007-м нашли жену погибшего — ей было под сто лет. И это было всего двенадцать лет назад. И дети живы до сих пор у наших бойцов. Мне подростки говорят, что самое тяжелое — это захоронение, а раскопки — рабочий момент. На захоронении совершенно другое восприятие: ребята видят рыдающих родственников, сто раз слышат от души сказанное «спасибо, родные», и понимают, что делают дело, которое важно. Однозначно, во всех странах, во все времена, при любых религиях. И вот в наше время, когда неизвестно вообще, как жить, особенно молодому человеку — там такая пропаганда, тут другая пропаганда — вдруг, на тебе — черно-белый мир. Осознание того, что хотя бы что-то в своей жизни ты делаешь по-настоящему важное и правильное. Эта мысль в подсознании — основная, все остальные — дополнительные. Это затягивает невозможно.

Ну, дальше про нас. В общем, мы поехали с Лишиными в Подмоскowie. Осенью 85-го года — я помню это совершенно точно, потому что это был мой первый поисковый выезд с учениками, с него начался отряд. Мы приехали в Новлянское^[117], это под Волоколамском, со мной шестиклассники, совсем малыши, и, конечно, в раскоп их никто не пустил бы, а там погреб, набитый останками

бойцов, на дворе холод, дождь со снегом. И воду из погребца надо откачать, прежде чем начать поднимать бойцов.

И вот мы стоим и ждем, работа затягивается, бойцов оказалось больше, чем мы думали. Мы понимаем, что остаемся тут на ночь: нас в какую-то школу пустили, потому что не успевают и те, кто копают. А шестиклашки мои уже замерзли, они маленькие совсем, им всего по одиннадцать лет. У них еще никакого снаряжения, это первый их поход был. Мы уже во все игры переиграли, все песенки перепели, костер было разжечь очень трудно, потому что шел дождь со снегом. И Ада говорит: «Слушай, они у тебя сейчас совсем замерзнут! Давай, добеги с ними до леса буквально триста метров, выкопайте самые маленькие сосенки и елочки. Смотри, вот здесь огромное количество бойцов похоронено. Памятник стоит, а бугор лысый совсем, только трава на нем, посадите здесь, что принесете, — пусть вырастут деревья».

В 2005 году я вдруг вспомнила, что ровно двадцать лет этому походу. Я с этими ребятами до сих пор на связи. Немногие из них остались по сей день в поиске. Но вспоминают все. И в 2005-м я решила, что надо съездить и посмотреть: целы ли памятник и наши сосенки. Я тогда работала в Центральном округе, была одним из организаторов окружного Ресурсного центра туризма и краеведения. То есть могла уже собрать энное количество людей — получился полный «Икарус» ребят, туристских и поисковых кружковцев. Мы приезжаем на место, но не находим его. Вот перекресток, а памятника нет.

Я в слезах, в соплях, мол, сволочи, гады, снесли памятник, вот вам ваша перестройка, как посмели... И я разворачиваю автобус. Слава богу, перед этим успела провезти их по тем точкам, которые Момышулы и Бек описывали в своих книгах, показать эту знаменитую колокольню, наблюдательный пункт, все рассказать про найденных «Дозором» бойцов. Но вот памятника нет. Я говорю: «Все, ребята, начинаем войну за то, чтобы этот памятник восстановили. Это безобразие, это подлость». Они отвечают: «Ладно, только можно мы сейчас на минуту отбежим в лес, ехать еще долго». Они уходят и с криками через минуту возвращаются назад: «Мы нашли!» Мы поднимаемся на этот бугор и понимаем, почему его сразу не нашли: сосны в два человеческих роста. Это те крошечки

пятнадцатисантиметровые, которые мы когда-то посадили. Конечно, это все растрогало до слез. Таким был наш первый поход, и вот так он откликнулся. Не всякому дано увидеть лес, посаженный его руками. Это дорогого стоит. Да, про памятник... Не просто цел оказался, а тщательно огорожен, ухожен, венки, цветы — все как положено. Спасибо местной администрации, в самые трудные годы нашли и время, и силы, и средства сохранить память.

Потом мы поехали, в том же 85-м году, в большой летний поисковый лагерь, тоже под Волоколамском. Но и тогда я все еще сама не копала. Но-прежнему боялась. Занималась хозяйственными делами.

И только еще через пару лет, после наших карельских походов, и мне, и ребятам захотелось попробовать искать самостоятельно. Именно после карельских — тамошние встречи стали определяющими для нас. Есть там удивительный, уникальный человек, про которого нельзя не упомянуть, — Сергей Симонян. Вместе со своим отрядом, в который с его подачи вошли «организованные для дела» суккозерские мальчишки и взрослые поисковики из Суккозера и из других мест, Сережа уже более сорока лет разыскивает погибших в карельских лесах партизан Первой Карельской партизанской бригады.

В 42-м они вышли в рейд по финским тылам, вышли 600 с лишним человек, а после пятидесяти семи дней рейда вернулись живыми около 130. Их очень быстро обнаружили финны и устроили настоящую охоту. Навязывали бесконечные бои, перехватывали сброшенные с воздуха оружие и продукты. Этот рейд называют одним из самых трагических в истории войны. Люди не только гибли в бою, но и умирали от голода, от ран. История Первой бригады описана в книге Дмитрия Гусарова «За чертой милосердия»^[118]. Я считаю — это одна из первых и немногих книг, где о войне рассказано без прикрас, рассказано не только о подвигах и победах, но о войне — как о страшной беде, обо всем ее ужасе.

Останки погибших партизан разбросаны на огромной площади (в десятки квадратных километров). Сергей иногда по несколько лет тратит на то, чтобы найти одного человека или небольшую группу. Какое-то время с ним ходил и лишинский «Дозор». В 80-х дозоровцы, поисковики отряда Симоняна и одного из петрозаводских отрядов

поставили памятник на знаменитой высоте 195,1. Там полностью погиб в неравном бою партизанский отряд «Мстители» — это один из отрядов бригады. И мы, когда поехали в Карелию, в первый поход, в какой-то момент пересеклись с «Дозором» и прошли через эту высоту, там и познакомились с Сережей. Он работает там до сих пор. Не только по поиску партизан. Все эти годы он еще, например, добывается, чтобы на памятниках, которые стоят в его родном Муезерском районе, были выбиты фамилии именно тех, кто там реально похоронен, чтобы каждый список прошел серьезную проверку. Такой вот «в поле воин». Почти полвека. Таких остались единицы. Вот как он нас потаскал по лесам — ребята наши сильно задумались, не заняться ли поиском всерьез.

Сначала старшие наши пацаны, им было уже по четырнадцать лет, вдвоем поехали с «Дозором» в 88-м году в Долину смерти, в Мясной Бор. Это еще до первой вахты. И мы-то тогда еще считали, что мы поисковики постольку-поскольку, что в первую очередь мы туристы. Съездили, очень интересным это им показалось, и мы уже поехали на первую Вахту. Туда же. К этому времени я успела попасть на Калужский сбор^[119] и вошла в состав рабочей группы при ВКС. Калуга — это, конечно, было потрясающе. До 88-го года поисковики работали достаточно разрозненно, а на сборе вдруг оказалось: нас много и мы сила, мы услышаны, нам помогут. И да, помогали и поддерживали, хотя одновременно с этим где-то местные власти все равно продолжали говорить, что у нас нет захороненных солдат — я это слышала не раз сама. ЦК комсомола, который тогда всех собрал под свое крыло, предоставил нам в помощь инструкторов, которые были потрясающего уровня специалистами, организаторами, комсомол в те годы попытался наладить контакт с неформальными молодежными течениями.

В ту комнатку, где мы дежурили на «поисковом» телефоне, приходили самые разные неформалы. И там, где находились точки соприкосновения, это взаимодействие начиналось. В конце 80-х пошла эта волна — выплескивание младенца вместе с водой. То партия святая, комсомол святой, и вдруг раз — неожиданно все наоборот: партия — мерзавцы, комсомол — мерзавцы. Попытки оставить то хорошее, что реально было в комсомоле и отвергнуть плохое никакой не было сделано. Одна вывеска просто сменила

другую. В этом плане комсомол как-то из всех политических организаций Советского Союза оказался на максимальной высоте: они хотя бы попробовали перестроиться.

И какое-то время это взаимодействие было достаточно продуктивным, потому что у них уже на нормальные рельсы были поставлены многие организационные и административные вопросы. В этом плане была реальная помощь. Но самая большая помощь была в том, что они вывели поиск из подполья. Это не было такое подполье, чтобы дошло до конспиративных квартир, явок и паролей, нет. Но «гробокopatели» — это мы вслед слышали не раз. И обвинения в мародерстве тоже. А хуже всего обвинения в том, что поисковики очерняют страну, смеют говорить, что у нас не все «не забыты». Клеветники какие, да? И вдруг по радио такие слова! «Ребята, приезжайте, мы говорим сейчас на весь Советский Союз, что вы делаете хорошее дело, что забытые солдаты — есть». На момент 88-го года услышать такое по всесоюзному радио — это была просто фантастика.

Есть несколько легенд о том, с чего это началось. В одном варианте это было выступление с трибуны на слете «красных следопытов», по другой версии в ЦК партии на стол одному из инструкторов легли фотографии останков солдат. Я не знаю, какая из историй настоящая. Стоит спросить новгородца Александра Ивановича Орлова или мурманчанина Михаила Орешету — легенды гласят, что они имели к этому отношение. Пусть будет из первых уст.

Если бы Калужского сбора не было, я не знаю, как бы все это разгребалось, честное слово. Отдельными разрозненными отрядами такую махину, такой объем работы не сдвинуть. Именно поэтому я, хоть и росла в атмосфере абсолютного уважения к теме войны, никогда не слышала о том, что подобное может быть. И миллионы других людей никогда не слышали. И вот в 88-м вдруг звучит: «Ребята, приезжайте все, кто хочет. Вот телефон, вот адрес, если вы занимаетесь поиском, звоните, регистрируйтесь и приезжайте». И это было настолько удивительно не похоже на привычные образцово-показушные мероприятия... Это была встреча очень разных людей. Кто-то из них стал потом функционером от поиска, кто продолжил очень честно ездить и заниматься делом, как это делали Лишины, Симонян, Орешета и многие другие.

Кто-то из поиска потом ушел. Кто-то, наоборот, из «официальных лиц» к поиску прикипел, как это было с Сергеем Флюговым, первым председателем совета командиров поисковой экспедиции «Долина». Он ведь был комсомольским функционером, а в результате занимался поисковыми проблемами так или иначе всю жизнь. Когда люди, которые пробивали эту тему, пытались доказать, что проблема существует, а их десятилетиями не слышали, и они собрались в Калуге — это была большая победа. Был Юлий Михайлович Иконников — совершенно легендарная личность, который все вот это пробивал и руководил всем этим дальше долгие годы, и не давал скатиться поиску в официоз и показуху. Он был сам ветераном войны, он знал, что он делает.

Тогда в Калуге мы увидели, сколько нас, поняли, что вместе мы огромная сила, что наработаны совершенно уникальные методики, которыми можно делиться, что можно друг другу помогать. За счет того, что поддержала власть, открылся доступ в архивы, открылась возможность проводить более масштабные работы, на которые не хватало до этого ни средств, ни сил, ни людей. Стало понятно, что можно взаимодействовать там, где одни знали одну часть истории, другие — другую. И вдруг такие разговоры: «О, да вы, оказывается, работаете по этой дивизии, и мы тоже по ней работаем! Но только вы из Владивостока, а мы из Эстонии, и мы ничего друг про друга не знаем». А теперь мы узнали, и мы начали работать вместе. Появилась возможность сотрудничать с совершенно уникальными специалистами, о которых раньше многие просто не знали. Та же самая ныне покойная Валентина Васильевна Макарова из Махачкалы — она была едва ли не единственным специалистом по военным госпиталям. И к ней тоже пошел вал людей, у которых именно здесь был пробел. Оказалось, что есть специалисты по военной технике — та же самая «Газулька» московская, тот же самый «Лужский рубеж» Вадима Шитца. Но опять-таки я называю отряды, создателей которых уже нет в живых. И по восстановлению техники, оказалось, тоже можно работать вместе, помогать друг другу и так далее.

Что интересно, сразу об этом начали писать журналисты. Была такая Ира Манукян из журнала «За рулем», которая просто вышла замуж за поисковика, Сережу Цветкова, и он вместо свадебного путешествия притащил ее на вахту, на второй день после свадьбы. И

Ира начала об этом писать. Была Юля Хайтина, журналист «Московского комсомольца», она уехала потом в Израиль. Юля писала свои репортажи с саперкой в руках прямо из раскопа. Поэтому, как принято сейчас, образцово-патетических военно-поисковых статей тогда не было, это были журналисты, которые писали правду, сейчас так очень мало кто пишет — настолько искренне, настолько честно и настолько не стремясь сплести острые углы. Это было бесценно.

И вот прошла Калуга, прошла первая вахта. Конечно, были проблемы, с той же в приказном порядке обеспеченной массовостью, например, ведь столкнулись две стороны — абсолютно формальная и абсолютно неформальная. И конечно, тут же пошли те проблемы, которые есть и по сей день: когда поиск управляется пинком, приказами вроде «Вы обязаны создать поисковый отряд». Во время вахты я несколько дней замещала коменданта Замошского лагеря (там было три больших лагеря). И в какой-то момент командиры лагеря вырвались на пару дней в разведку, а мы остались следить за всем, хотя я в этот момент и была совершенно рядовым командиром отряда.

И вот я помню эту сцену: приезжают ребята, одежда на них вполне городская, поискового снаряжения никакого. И первый вопрос: «А дискотека когда?» Им просто четко не объяснили, куда и зачем они едут, был приказ создать отряд — собираем людей и отправляем — то есть такие недоразумения, они тоже были. Но, с другой стороны, в той же Новгородской области есть энное количество сильнейших отрядов, которые начались с того, что их по разнарядке райком комсомола собрал с предприятий, дали инструктором одного поисковика — и бросили в работу. Потому что надо было принять участие в первой вахте. А в итоге из этого получился прекрасный отряд. Люди приехали, люди увидели, пришли в ужас от того, что происходит, потому что тогда можно было выйти на поляну, где практически на поверхности были человеческие кости. Тогда это еще было. И люди остались. Хотя и попали туда по разнарядке. Я считаю, что это не очень правильно поставленный вопрос, почему люди туда попадали. Правильный вопрос — почему оставались.

В общем, мы с ребятами в Долину съездили, мы поработали там... Вру! Мы же не поехали в Долину в 88-м, первая вахта — это 89-й. Мы вернулись из Карелии, и дети мне сказали: «Кетевана Дмитриевна,

нужно самим начинать работать и искать район, где никто не был до нас. Хватит ждать, что работой нас кто-то обеспечит».

Тут я небольшое отступление сделаю, про подростков во взрослом мире и в поиске — это важно. Если в 85-м году моим ребятам было двенадцать-тринадцать лет, то в 88-м им было уже по четырнадцать-пятнадцать. Надо понимать, что это ребята, прошедшие серьезные туристские походы. Это сейчас дальше Подмосковья не выведешь, потому что это запрещено, то нельзя... А тогда ребята ходили в зимние лыжные походы в Хибины! Это третья категория сложности, это очень серьезно.

Тогда наши туристы, вернувшись из поисковой экспедиции, с первым моим мужем ушли на Хамар-Дабан. К пятнадцати годам это уже были взрослые мужики. То, что было тогда сделано, сейчас уже невозможно. На первой вахте ко мне приходят казанцы и говорят: «Слушай, мы собирались на разведку в лес, нам дали наконец-то, впервые, большое количество тягачей армейских (все те же самые гэтэтэшки [\[120\]](#) знаменитые, о которых потом песни были сложены) и дали водителей, и дали кучу топлива. И стало возможно быстро поехать на разведку туда, куда раньше нужно было пробираться по болотам несколько дней. Конечно, мы не упустили момент, собираем двух-трех человек, самых опытных из каждого отряда». Это была знаменитая «перловая разведка». В какой-то момент дождями залило проезд, два-три дня к ним никто не мог проехать. И у них осталась только перловая каша — поэтому и «перловая разведка».

И вот мне говорят: «Давай своих ребят сюда!» Я беру трех старших мальчишек и говорю: «Вам надо поехать, потому что вам дальше работать инструкторами». Я остаюсь с остальными, мой тогдашний заместитель был студентом — он до сих пор не может мне этого простить, что я его не отправила. Но мне второй педагог был нужен, я знала, что отправляю их к своим людям. Они поехали всего на четыре дня, вернулись, и мне руководители говорят: «Значит, так. Теперь мы отправим их вот туда». Я говорю: «Стоп, вы их никуда не можете отправить, они несовершеннолетние!» Они удивляются: «Как?» — «Да так, одному четырнадцать, двоим по пятнадцать». Командиры-то решили, что это взрослые мужики: настолько поиск и туризм быстро заставляют людей взрослеть.

Игрушки кончаются, манная кашка «тренинго-командно-тимлидерских качеств» заканчивается, и начинается жизнь. И эта жизнь волей-неволей заставляет их взрослеть. Я помню, их наградили в тот год поездкой в какой-то лагерь, они вернулись и плевались. Говорят: «Там разговаривать не о чем, все разговоры о том, где бы девочку отхватить, какую шмотку надеть. Ты нас куда отправила?» Они были уже взрослыми.

Потом через это прошли и мои собственные дети. Старшая дочь до сих пор жалуется, что ей со сверстниками не о чем было говорить. Она все время крутилась в кругу взрослых людей, и когда ей было пятнадцать, была очень смешная история. Мы в центральном округе... Это не я придумала, это придумали старые туристы — они договорились с тогдашним начальником управления образования, что для того, чтобы повысить безопасность любых выездных мероприятий с детьми, всех молодых специалистов надо отправлять на три-четыре дня на обязательную выездную учебу. В центральном округе за городом была своя туристская база, изумительная. И в приказном порядке снимали с уроков и почти на неделю отправляли всех молодых учителей на эту учебу. И вот у моей дочки Светы в школе была пионервожатая Лиза, с которой дочка все время воевала, потому что она уже была взрослым человеком, а та держала ее за ребенка. Конечно, вожатую можно понять, она не представляла, что это такое. Но теперь представьте себе ситуацию, когда Лизонька приезжает на эту учебу, попадает в отделение из десяти учителей и им говорят: «Вот ваш инструктор» — и приводят мою пятнадцатилетнюю дочку. То есть девочка в пятнадцать лет руководила отделением педагогов. Она, конечно, не читала им лекции. Но все дела были под ее руководством — не потому что была с рождения такая крутая, а потому что ее первая экспедиция была в пять лет. Она росла в этом.

Это, кстати, немножко о том, что человеку дает не только поиск, это же дает и спортивный туризм, любые ситуации, в которых есть дело и общность взрослых и детей, занятых, как говорил Лишин на психологическом языке, «совместной со значимым взрослым деятельностью». Проще говоря, мама с папой ребенка на выходные не в торговый центр ведут кино посмотреть и попрыгать, а едут, например, строить снежную крепость на этой знаменитой Масленице подмосковной. Или в отпуск его везут не на пляж в Турцию

повалиться, а едут вместе с каким-нибудь доброхотским отрядом работать в пушкинских местах в Михайловском. Не смотреть на все из окна экскурсионного автобуса, а услышать про Пушкина от тех же самых экскурсоводов ночью у костра. Моя дочка после того, как в первый раз приехала из Михайловского, перечитала всего «детского» Пушкина. И ее не нужно было заставлять. Это шло у нее изнутри, потому что первые пушкинские стихи серьезные, которые она слышала, были на Савкиной горке, на рассвете. Их читали и слушали, завернувшись в спальники, потому что было очень холодно. По это была встреча рассвета на Сороти, в километре от пушкинской усадьбы. Это очень важно.

Моя старшая дочь рассказывала о себе в поиске. Она говорила, что есть две вещи, которые он ей дал — плохое и хорошее. Хорошее то, что ей неинтересно с серыми людьми, она привыкла с детства вращаться среди очень интересных людей, выйти во двор и выпить пивасика ей было неинтересно, было не ее. Это хорошее. А плохое то, что постоянно приходится делать усилие, чтобы объяснить себе, что не каждый человек в камуфляже — свой. Поиск — там все в камуфляже. И очень долго приходилось привыкать, что человек на улице в такой одежде может быть и охотником, солдатом срочной службы, просто человеком, которому нравится так ходить. Младшая же говорила, что у нее главное ощущение детства — абсолютная защищенность. Вокруг полно взрослых, каждый тебя любит, каждый твой друг, каждый не считает тебя недочеловеком, а считает личностью. И каждый кидается на помощь, когда его об этом просишь. Да и мой сын говорит: «Да, я не стал поисковиком, но то, что ты хотела через это объяснить, у тебя получилось». Вот это мои дети, выросшие в поиске. Они не стали поисковиками, ни один из них, я и не ставила перед собой такой цели. Но они вот этот мир приняли как свой.

И когда еще моих детей не было, мои первые ученики росли так же. Это к вопросу о том, что там работает педагогика совместного дела, педагогика жизни плечом к плечу, там не педагогика «я тебя воспитываю», а педагогика «а помнишь, как мы в том походе». Она намного сильнее действует. В нормальном поисковом отряде нет воспитательных мероприятий. Они не нужны. Это воспитательная жизнь.

В общем, дети пристали ко мне «с ножом к горлу»: мол, почему мы едем туда, где нам говорят, где нам копать. Сколько можно, мы хотим свой район, в котором до нас никто не был. И говорю: «Хорошо!» Была молодая, отчаянная, мне двадцать семь — двадцать восемь лет. Говорю: «Хорошо, не вопрос, область назовите!» — «А давайте Смоленскую!» Достали карту России. И клянусь, это было ровно вот так. Никакой предварительной работы, никаких размышлений, где нам лучше копать и так далее. Расстилаем карту. Закрываю глаза и тыкаю в карту пальцем, и он попадает на город Сычевка Смоленской области. «Ну, — говорю, — ребятки, как выбрали — так выбрали. Давайте!»

Я позвонила знакомым поисковикам, и выяснилось, что в Сычевке никто не работает. Вот вокруг в районах работали, в Сычевке был какой-то поисковый отряд, но с ними никто не был знаком. Это новый район. Причем надо понимать: на этот момент мы не умели работать в архивах, едва начинали учиться работать с мемуарами. То есть мы начали заниматься поиском, относительно всерьез в 87-м где-то: ездили копать, были на захоронениях, а в 89-м они уже сказали: «Мы хотим свой район!» Опыта еще мизер, все, что мы делали потом (это сейчас есть куча методичек — тогда их не было) — это нарабатывалось на собственном опыте методом проб и ошибок. Единственное, что я наизусть зазубрила — это взрывоопасные предметы, это было жестко. Любая попытка протянуть руку к тому, чего ты не знаешь, и не позвать взрослого — они знали, что это будет караться немедленным уходом из отряда раз и навсегда. Это был вопрос жизни и смерти.

Мы приезжаем туда на разведку, в Сычевку. Март месяц, мартовские каникулы. У нас только туристское снаряжение, никакого поискового, кроме лопат. Ни о каких металлоискателях и речи нет. Вот эти первые, армейские, зелененькие, где на пояс вешалась специальная сумка, появились в большинстве отрядов только после первой вахты. Поэтому основное оружие — это щупы, какой должен быть щуп для работы в конкретной местности, под Сычевкой, нам стало ясно только после первой экспедиции туда. И слава богу, что мы пересеклись с Саней Синицыным и Сережей Евтюковым. Это питерские поисковики, которые учили моих старших пацанов. Я сама не столько училась, сколько старших своих отправляла учиться. Везде

мы копили опыт. И они нам показали первый щуп для глубинных работ. Что такое щуп в моем понимании на тот момент — это прут, не сильно длиннее саперной лопатки. А Сычевка — это захоронения на глубине двух-трех метров. Первые большие щупы с приваренной пулей на конце, чтобы щуп легче входил и выходил из почвы, были сделаны для нас как раз питерцами. И слава богу, когда мы поехали туда летом в первую экспедицию, мы были уже с ними.

Короче, мы приезжаем на разведку в Сычевку, приходим в райком комсомола. У меня от ЦК комсомола с собой бумага: если бы не эта бумага, еще неизвестно, как нас приняли бы. Нас встречает третий секретарь Сычевского райкома комсомола, Юра Коньков (детьми тогда занимались третьи секретари), и он нам говорит: «Конечно, я вас отправлю туда, где у нас Долина смерти», — а долина смерти была в каждой области своя. Место, где шли самые тяжелые бои. — «Конечно, вы там поработаете, поспрашиваете, но я вас уверяю: у нас нет незахороненных солдат, вы не туда приехали».

Когда он позже в первый раз увидел захоронение, он был в шоке. Почему они думали, что в их районе незахороненных нет? Потому что мы в Мясном Бору, например, работали по тем, кого никто никогда не хоронил, в Карелии тоже работали по тем, кого никогда не хоронили — есть же даже термин «верховые». То есть человек бежал, упал — и все. И по сей момент эти верховые лежат под небольшим слоем дерна. И мы-то привыкли работать или по верховым, или по воронкам. А в воронке тоже кости были заметны сразу, они тогда под завязку были забиты бойцами.

Под Сычевкой же было совершенно другое. Они пережили оккупацию, в момент оккупации фашисты заставили местных жителей собрать трупы, и их сваливали в большие воронки и закидывали землей. И, как говорили тогда местные бабушки, (и это подтверждала карта, у нас была карта захоронений в районе, добытая кем-то из родителей ребят), вот эти фанерные обелиски со звездочками стояли через каждые двести метров вдоль всех дорог. Представить себе количество людей, которые там погибли, ни один человек не мог. Это был совершенно новый участок. На нем сейчас работает масса поисковых отрядов, а в марте 2019-го было тридцать лет как мы пришли туда. Огромное количество людей потом побывало там, вторая Всесоюзная вахта была в Сычевке. Тысячи бойцов

поднимают каждый год, тридцать лет подряд, и конца и края этому нет, и конца и края этому не будет. Почему получилось так, что считалось, что там нет непохороненных? Потому что там мало верховых. Тот участок между Хлепнём и Вараксино, где мы работали, это всполье, там очень мало леса. Там и вокруг убитых тоже полно, но мы работали на этом участке.

Мы приезжаем в Хлепень: нам сказали, что есть местный краевед, который знает здесь все, но в тот момент он был в командировке и должен был приехать через пару дней. Поэтому мы, пока его нет, поехали в Хлепень. Местный милый дедушка говорит: «Да пойдемте, я вам покажу!» Я иду за ним — а самое начало марта, холод собачий — и наблюдаю, как он хихикает. С этим хихиканьем он выводит нас на огромное поле, каждая сторона поля — не меньше километра. И говорит: «Пу что, сынки, вот тут шесть или семь могил». А поле все это ровненько вспахано.

И вот стою я с коротеньким шупом и лопатами, даже еще не саперками, а обычными лопатами. Рядом со мной стоят пять человек пацанов, которые привыкли в Долине и в Карелии работать по верховым. И на лицах у нас написано, видимо, одно и то же: «Что мы здесь делаем? Как мы здесь будем работать?» По, соответственно, у меня чисто подростковое упрямство: «Что значит, что я не смогу? Смогу!» Сейчас, конечно, я бы сначала повезла их в Подольский архив, но тогда еще не давали массово в архивах работать. Это еще не было разрешено. А привести туда школьников было вообще нереально. Тогда было столько останков бойцов, что и по архивам не надо было искать, надо было просто идти и поднимать, идти и хоронить. И документы, медальоны были в сохранности в абсолютной. Это сейчас, чтобы развернуть медальон и прочесть, надо работать экспертам, а тогда мы поднимали медальон, разворачивали и сразу читали. Пу, тридцать лет назад. От войны прошло еще чуть больше тридцати лет. А там глинистые почвы, там все очень хорошо сохранялось.

Вот стоим мы с ребятами у этого поля и не знаем, что нам с ними делать. Просто не знаем. По перед дедушкой этим чтобы не уронить свой авторитет — мы пошли. И идем по полю. А заколенников — высоких болотных сапог — нет ни у кого! И ровно через пять минут мы понимаем, что дальше мы просто не пройдем. Говорю: «Все ребята, мы разворачиваемся — и в Сычевку. И давайте ждать этого

местного краеведа». Через несколько дней мы встречаем краеведа — Николая Григорьевича Манько. Он был в местной сычевской газете заведующим отделом писем. И он был настоящий краевед, фанатик своего дела, из тех, которые есть в каждом районе. И вот он-то прекрасно знал, сколько забытых солдат в Сычевском районе. И от него, а потом и от местных жителей, мы услышали правду и поняли, что там происходит.

Это был первый звоночек, когда я поняла, почему я больше никогда и никого не буду судить. Что для меня вопрос о том, почему не похоронены солдаты, или почему они перезахоронены фиктивно, или почему не стоит или разрушен памятник — закрыт раз и навсегда. Меня не волнует почему, меня волнует то, что можно сделать. Потому что там было очень ярко все это объяснено. Вот эти могилы, которые были через каждые двести метров, в какой-то год решено было перенести. В деревнях после оккупации, после войны, остались старики, женщины, дети. И был приказ — перенести захоронения на центральную усадьбу колхоза, в Хлепень. А теперь посмотрите: конец 40-х — начало 50-х, люди выживают, людям нечего надеть, людям нечего есть, тяжелая работа в сельском хозяйстве — это не потому что советская власть такая плохая, а потому что просто некому работать.

И вот в этом состоянии им надо идти и через несколько лет всего после войны полуразложившиеся останки, которые в воронке на глубине полутора метров начинаются и на глубине четырех метров заканчиваются, каким-то образом, не имея даже нашего минимального снаряжения, выкопать, перенести. Когда вот эти бабки деревенские мне начали рассказывать, как они это делали, как они до истерики боялись эпидемий, как они вскрывали верхний слой — а там полуразложившиеся трупы... Когда мы копали в 89-м, 90-м, 91-м году, вскрываешь валенок — и на пальцах ног кожа, ногти, остатки жировой ткани, остатки мышечной ткани. Представляете, что это было в конце 40-х? Женщины, старики, дети — и делай как хочешь. И не дай Бог ты не сделаешь!

Это был первый раз, когда я сказала: «Ребята, у нас морального права судить тех, кто перенес фиктивно, нет никакого! Мы не жили так, как жили они. Мы не подыхали от голода в послевоенных деревнях. Мы не слушали эти совершенно бездумные приказы, когда

непонятно было, а кто их выполнять-то будет? Мы не пытались сберечь детей. И перед нами не стоял вопрос — я пойду копать свой огород, чтобы мои дети не подохли с голоду зимой 46-го года, или я пойду хоронить. Мы не натыкались в военном лесу на то, что идти можно только по определенной тропинке, иначе ты подорвешься. Поэтому вообще рот открывать мы не смеем на тех местных жителей, которые почему-то этого не сделали».

Рот открывать на них мы не смеем и за то, что они позже не поднимали этот вопрос. Во-первых, многие поднимали, но их затыкали. Во-вторых, даже спустя двадцать лет после войны все еще было выживание и восстановление, думать им надо было о живых, думать надо было о собственных детях. Вот эта позиция у меня осталась очень твердой по сей день. Я никого не хочу судить. Я никого не смею судить, у меня нет никакого права судить кого-то. Если я прихожу — я делаю. А почему до меня оно было не так — это не моего ума дело. Это вот пускай в небесной канцелярии потом судят каждого по тому, что он сделал и что он думал.

Говорят, что это опасно — приводить детей в поиск, что они видят, как страна обошлась со своими защитниками, и что это антипатриотическое воспитание. Об этом очень много говорят, кстати. Я считаю, что это очень сильно зависит от того, как думает тот взрослый, который привел подростка в поисковый лес. Если этот взрослый ходит и ноет: «Вот, поганая советская власть, вот что она сделала со своими бойцами, вот посмотрите, как это страшно и ужасно, сволочи были до нас, а мы такие хорошие», — да, это будет антипатриотическое воспитание.

Мы вели со старшими следующих подрастающих пацанов в поиск под девизом чисто макареновским — «Не пищать!» Ты пришел, ты увидел, что что-то не так, значит, дорогой мой, тебе шашечки или ехать? Если тебе шашечки — тебе не с нами, потому что нам — ехать. Ты сначала возьми и сделай, а потом уже ищи, почему не было сделано до тебя. Или ты добейся, чтобы сделали. И вот эта позиция — она очень помогала. Потому что, разумеется, у местных чиновников бывало рыльце в пушку. Если люди приходили и говорили: «Сейчас мы покажем, какие вы все сволочи, у вас тут бойцы забытые!» — конечно, все это местные власти пытались скрыть.

Но если мы приходили и говорили: «Ребята, честное слово, у нас нет задачи искать виноватых, давайте друг другу поможем, вы — нам, мы — вам. У нас есть одна задача — сейчас поправить ситуацию». То есть не позиция — упал и жду, когда поднимут, а позиция — упал, быстро проверил, не сломал ли чего, и если не сломал — встал, пошел. Мне эта позиция помогала и в жизни, и в поиске. Я старалась так учить ребят. Вот тогда и на месте все помогут от души, и для ребенка это становится патриотическим воспитанием. Потому что тогда идет принцип: если это моя страна, я не обвиняю тех, кто был до меня, я не пытаюсь одновременно с теми, кто проводит бесконечные митинги-фигитинги, долго кричать о своей любви к моей стране, я иду и, грубо говоря, перевозжу старушку через дорогу. Если, конечно, ей надо перейти через дорогу. То есть я что-то важное делаю, и моя любовь к моей стране выражается в моих делах. Эта позиция педагогов-поисковиков всегда была основной.

Короче говоря, встречаем мы Николая Григорьевича, он нам рассказывает, что, мол, ребята, здесь, под Сычевкой, своя специфика, здесь перенесенные захоронения. Все люди, которые здесь лежат под полями, — а под каждым полем по несколько могил — они числятся перенесенными в Хлепень и в Сычевку, но они там, под полями, поговорите с бабушками. И мы говорим с бабушками, к которым нас привел Манько. И они уже говорят с нами по-другому: они понимают, что мы не какие-то проверяющие из Москвы. И они рассказывают, как они подгоняли телегу, на телегу выкладывали полтора метра сена — ни полиэтилена, ни клеенки же не было, а нужно было, извините, чтобы все это не протекло. Вилами подцепляли несколько верхних тел, переносили на вот это сено, а остальное закапывали и писали, что все перенесены. И вот, честное слово, я готова в морду вцепиться любому, кто посмеет про этих деревенских старух сказать: «Как они смели писать фиктивные документы?» Поставить бы на их место этих людей и заставить их жить полуодетыми зимой в землянке, когда детям завтра нечего будет есть, и думать о том, что вот надо срочно пойти и переносить тела. Так нельзя, это нечестно, непорочно — пытаться кого-то судить.

В общем, все они нам рассказали, и я говорю ребятам: «Всё, значит, летом мы едем!» И летом мы поехали: я и человек двенадцать или тринадцать пацанов. Младшим — лет по двенадцать. Саня

Царьков, например, — это был его первый выезд, ему было двенадцать. А трое старшим инструкторам было по пятнадцать, почти по шестнадцать. И все. Приехали в деревню Аристово. Два больших населенных пункта почти рядом в Сычевском районе — Хлепень и Вараксино. Между ними шли Аристово, Никоново, Большое и Малое Петраково, Жеребцово — вот это все один участок, очень знаменитое место, даже сейчас. Приезжаем в Аристово, ставим лагерь. У нас чисто туристское снаряжение, которое от поискового отличается очень здорово. И наш лагерь буквально через три-четыре дня сметает грозой, потому что он стоял на ветру, на краю поля. Мы начали думать, как все это восстанавливать, и тамошние деревенские жители нам сказали: «Слушайте, да мы договорились с людьми, у которых стоит пустой дом в Аристово. Что вы будете в этих палаточках мерзнуть? Вот вам дом — живите». И первую экспедицию мы прожили в этом доме фактически.

В Вараксино почему-то было очень много чеченцев приезжих, и чеченцем же был местный директор совхоза. По это были советские времена, никаких трений между местным населением и чеченцами не было ни на секунду вообще. Больше того, вот этот директор совхоза помог нам больше всего. Каждый год все было бесплатно, за счет совхоза, он нам давал транспорт, чтобы доехать и все снаряжение довести: дороги нормальной между Вараксино и Петраками не было. Он нам выделил половину деревенского дома в Петраках — и это было закреплено за нами, никто туда не мог войти, ключи были только у нас. Когда я в первый раз к нему пришла, он сказал: «Ребята, я понимаю, что вы делаете!» Звали его Умар Рамазанович Сулейманов — надо, чтобы имя его здесь было, как благодарность за его помощь.

Он сказал: «Все, что вы скажете, чтобы вам помочь, — все будет сделано, только говорите заранее». Не так далеко оттуда было начальство, у которого было совсем другое мнение. Я сейчас не буду называть, я не хочу никого судить, но мнение из серии «лучше бы шли на поле полоть» нам тоже довелось услышать. Вот за счет взаимодействия с Сулеймановым, за счет того, что помогал Николай Григорьевич, за счет того, что помогал райком комсомола, все получилось. И это было очень здорово, что у нас не было особенных проблем, к нам было очень теплое отношение и жителей, и руководителей — всех.

Летом 89-го года мы там проработали месяц — это было время, когда никто не считал, сколько по санитарным нормам ребенок может находиться на выездном мероприятии. Да и теперь, подозреваю, дело не в санитарных нормах, а в том, чтобы не потратить много денег на ребенка, но громко отчитаться, что ему обеспечили отдых. У нас был спонсор: это были годы, когда существовал закон, что все, что пошло на благотворительность, налогом не облагается — налоги за счет этого снижаются. Нам нашли фирму-спонсора через райком комсомола Фрунзенского района. Они же начинали у нас во Фрунзенском районе. И директор этой фирмы сказал: «Помочь — не вопрос, мне от вас никакие отчеты не нужны, чеки соберите — да и то там, где они есть, и фотографии». И мы получали средства на любое снаряжение, которое мы хотели, — это продолжалось всего три года, но за эти три года мы успели полностью снарядить отряд.

До этого-то мы снаряжение за свой счет делали: я помню, как весь отпуск сидела и шила на всю туристскую группу палатки. И нам деньги давали командировочные на каждого ребенка такие, какие не видел никто из туристов. Ну, грубо говоря, по туристским нормам выделялось на ребенка полтора рубля в день на питание и хозрасходы, а у нас было — три пятьдесят! Три пятьдесят в 89-м году — это очень много, от пуза. Родители смеялись, говорили: «Мы теперь знаем, где находятся закрома родины — у вас в экспедиции». Потому что все то, чего было не достать, было у нас — бери, пожалуйста.

Там мы прожили 89-й, 90-й, 91-й год, а потом я просто ушла в декрет. Мы уезжали в экспедицию на все лето. Мы ездили в мае, мы ехали обязательно в весенние и осенние каникулы на разведку, а потом я уезжала туда где-то 1 июня и возвращалась только в конце августа. Было там две экспедиции, два заезда по полтора месяца. Я в середине лета приезжала в Москву, чтобы привезти обратно малышей и забрать старших ребят: потому что у старших в июне шли выпускные экзамены, экзамены после 8-го класса, практики какие-то у студентов. Поэтому у нас было так: первая экспедиция проходила как педагогическая — это июнь и часть июля, когда мы брали младших ребят и новичков — и тогда был выяснен нами оптимальный возраст начала работы в поиске — двенадцать лет, не четырнадцать, как было разрешено, а именно двенадцать. В двенадцать же не

обязательно допускать человека в раскоп, есть куча работы вне раскопа в поисковой экспедиции.

Но в двенадцать ребенок уже сознательный, но еще не «заболел» плохими делами. Вот самый такой хороший возраст. Один раз попробовали на недельку взять десятилеток, но они совсем еще дети — возни больше, чем дела. Поэтому десятилетки у нас ходили только в туристские походы, только по Подмоскovie. А потом, в середине июля, я отвозила домой новичков, и съезжались «старики». И это уже были действительно «старики»: четыре- пять лет опыта — это очень много. И мы уже начинали всерьез работать именно по поиску, без всякой уже особенной педагогики.

Первая наша экспедиция продлилась именно месяц, летом 89-го года. Из этого месяца три недели мы не могли найти вообще ничего. Потому что когда из пятнадцати пацанов опытных трое, и опытных только по верховым и воронкам, а мы выходим на поле, которое запахано и засеяно, а там точно есть солдатская могила — значит, просто идешь и тупо шурфишь. «Пу давайте здесь». — «Давайте здесь». Отрабатываем по квадратам: здесь шурф забили, там шурф забили. А шурф должен быть почти на два метра в глубину — и вот так идешь последовательно. И мы ничего три недели не могли найти. По вот это обстоятельство, то, что нас бросили фактически — и меня, и ребят — как щенят в воду, чтобы мы научились чему-то, — это спасло ситуацию. У меня было безвыходное положение, а им пришлось вместе со мной учиться очень многим вещам самим, и поэтому на следующее лето они приехали уже опытными людьми.

А первый раз мы нашли просто яму, заполненную водой, которую явно вскрывали «чёрные следопыты», потому что вокруг было разбросано железо. И было понятно, что там, скорее всего, есть останки. Отчерпали мы эту яму — и в ней было 76 или 78 бойцов. Вот это первые наши бойцы. Я честно говорю: я не знаю, что бы было, если бы мы не нашли их в нашу первую экспедицию. Ребята бы, видимо, уехали совсем поникшими и даже могли бы и не продолжить. А тут — сразу почти 80 человек. В Аристово на тот момент было похоронено всего несколько сотен бойцов. Там есть знаменитый мемориал, старый, на тот момент туда уже приезжали родственники найденных солдат. Они сами находили, где похоронены их родные, и там прямо доска была, на которой родственники вывешивали

мемориальные таблички про каждого из солдат. На сегодняшний момент — жутко этим горжусь, сразу говорю, прямо раздуваюсь от гордости, — больше двух тысяч перезахороненных бойцов — это мои пацаны сделали. На момент, когда я ушла в декрет, было больше 900, дальше Саня Царьков с оставшимися ребятами продолжил. И это еще больше полутора тысяч — это уже чисто их. Это сделал один отряд за тридцать лет.

Отрядов полно: каждый год приезжают еще, еще и еще. Но все равно повторю то, что я говорила уже раньше: не будет никогда захоронен последний солдат — это невозможно физически, потому что существует огромное количество мест, где они никогда не будут найдены. Особенно — если это дно водоемов, огромное количество мест, где захоронения застроены. То, как строят сейчас, лучше, конечно, например, пробивали трассу Москва—Нитер новую, сначала на эту трассу выпустили поисковиков... Мы работали на этой трассе, на мероприятиях по ее подготовке. Квадраты пятьдесят на пятьдесят метров посантиметрово обследовались самыми опытными отрядами. Да и то я не уверена на сто процентов, что достали всех. Потому что... Ну, невероятными совершенно тропами ведет судьба: отряд работает тридцать лет на крошечном пятачке — вроде бы всех подняли, ушли, через несколько лет вернулись — и нашли еще пару бойцов. Я не знаю, как это происходит. В этом есть какая-то своя мистика. Не будет такого, что когда-то все будут подняты. Но хотя бы максимум. И вот про этот максимум: сейчас в Аристово перестали хоронить, там просто негде уже хоронить, там уже много тысяч. И это те, кого уже считали там перезахороненными, хотя перезахороненными они не были. Именно в таких местах как раз зародилась вот эта методика: если в могиле лежит 30 человек и только один медальон найден — этого бойца находят в книгах безвозвратных потерь в Подольском архиве и смотрят по отчетам, кто похоронен вместе с ним. И возвращают оставшиеся 29 имен. Вот она сводка боевых действий, вот она схема: тридцать погибших похоронили там-то, вот их список, и среди них этот один, медальон которого был найден. Эта методика на таких местах и зародилась.

В общем, мы начали там работать и работали до 92-го года. Ребята работали там и потом, просто я второй раз вышла замуж и из поиска ушла на несколько лет. Я начала ездить снова, когда

младшенькой было четыре с половиной месяца, но тогда уже не руководила отрядом, а приезжала просто потусить со своими, потому что очень скучала по лесу.

Следующую подростковую «банду» я собрала к 2005 году. Это был уже совсем другой отряд. Наш «Искатель» Саша Царьков так и вел, и мы вернулись уже не под Сычевку, мы вернулись в Долину, под Новгород. Ночему-то меня тянуло именно туда — там были старые друзья. Там наиболее ярко можно было ребятам что-то показать. Нод Сычевку должен ехать уже опытный отряд. Это очень сложная работа, а не то что: выходишь — и вот оно, как было в Долине. Ничего подобного. Ты выходишь — а вокруг поля. Вплоть до того, что когда мы там копали... Я по сей день не понимаю, как мы там находили. Иногда вычисляли по каким-то документам: архивным, мемуарным, старым картам, которые нам кто-то давал, по тем записям рассказов, которые Николай Григорьевич Манько собирал. Он, к сожалению, умер полтора года назад. Вычисляли, где примерно должно быть место, ехали туда, плюс-минус сто-двести метров. А иногда бывало, что вроде бы точно вычислили, а ничего там нет. Как? Где? Вплоть до того, что Антошка Шипов влез как-то на березу посмотреть, нет ли где-то выемки в почве, понижения, спустился и сказал: «Да не могу я уже больше. Уже наплевать. Вот здесь я копать буду!» И нашел там 110 человек. Я не знаю, каким образом.

Могло быть и так, что кто-то приводил на место со словами: «Ребята, я точно помню, мы хоронили здесь, я тогда была девочкой, вот здесь, под этим деревом, потому что за все эти годы его никто не срубил. Нод ним». И да — там и находили. А бывало, что просто оставалось всего несколько дней, и кто-то предлагал: «А давайте попробуем здесь. Есть же шанс». Последний раскоп под Сычевкой, который был еще под моим руководством, был уникальный. У нас оставалась неделя до захоронения, те три ямы, которые нашли во время разведки, были уже отработаны. Ну, там уже появились у нас большие шупы, металлоискатели, появилось понимание того, что должно быть на поверхности, если внизу под этим бойцы. Тогда уже пацаны работали совершенно четко. Всего-то два года потребовалось, чтобы они приобрели такой опыт, что они даже без взрослого разбирались.

Рядом с Нетраками, буквально в километре, было место, на которое мы очень долго смотрели: может, надо там посмотреть, может, не надо. Носреди поля — просто ивняк, кусты. Что такое там подобные кусты ивняка: очень часто это была яма, почва оплыла, и на ней вырос этот куст. Вокруг чистые поля, а здесь же органика под землей, как удобрение, поэтому здесь куст вырос самым большим и красивым, огромным. Нацаны смотрят на него: «Ну что, попробовать, что ли?» Я говорю: «Ребят, ну ведь корчевать придется...» Это я так говорю: куст, а площадь раскопа там в итоге была метров восемь на восемь, наверное. Ребята говорят: «А чего нам неделю делать, погода отличная. Давайте? Давайте!»

И дня два мы только корчевали все то, что было там. Выкорчевали на глубину метра в полтора — а там самая обычная деревенская помойка. Какие-то старые обломки кровати, что-то такое. Я говорю: «Ну что, наверное, хватит?» — я такая, я не упорная. Увидела, что нет — значит, видимо, и нет. А пацаны почему-то мне всегда попадались очень упорные. Говорят: «Кетевана Дмитриевна, ну нам же нечего уже делать оставшиеся четыре дня!» Отвечаю: «Да какая мне разница, хотите — копайте». В результате деревенская помойка заканчивается на глубине двух с половиной метров и начинается помойка военная: куски какой-то брони, обломки стволов — вот именно обломки: все такое погнутое, чуть ли не в узел завязанное, гильзы от снарядов, ящики из-под снарядов, патронов. У меня до сих пор оттуда немецкий «цинк» лежит, мы в нем напильники храним. Какие-то куски обмундирования, какие-то непонятные тряпки серые. Кто-то говорит: «Слушайте, дальше что-то будет». Я отвечаю: «Ребята, ну куда, глубина почти три метра». Мы уже укрепляли стенки, дерево подносили, чтобы не сползла глина — на наше счастье еще было сухое лето, и глина была как камень. На трех с лишним метрах начались останки. Нод двумя помойками.

На тот момент ни у кого не было глубинных металлоискателей, вот этих огромных, как космические корабли. Им проводишь — и он на несколько метров вглубь все видит. Наши металлоискатели брали на глубину пары десятков сантиметров. Щупы — это сейчас есть складные, которые на глубину больше чем до двух метров можно вогнать в почву. У нас были полутораметровые. То есть если бы ребята не начали упорно копать, эти солдаты бы там лежали по сию секунду.

В этом суть подростков — вот это сумасшедшее совершенно, отчаянное упорство: я буду это делать и я это сделаю — вот оно бесценно. С годами оно уходит, поэтому очень хорошо, когда вот эти свежие, молодые силы вливаются. Ну вот, это были последние бойцы под Сычевкой, которые были подняты отрядом при мне. Упорство ребят спасло очень много имен. Потому что я не была склонна пустые медальоны хранить, когда мы вынимали из капсулы пустой бланк. А Саня Царьков сказал: «Кетевана Дмитриевна, я возьму на память». Он их в книжку у себя дома заложил. Через пятнадцать лет он мне звонит и говорит: «К сожалению, только один из всех медальонов, но все же проявился». Восстановилась сама по себе запись. Я не знаю, каким это образом случилось. И он нашел по медальону родственников. Сашка в принципе невероятно упорный.

Надо еще отметить, что очень важно было, что не только к нам хорошо относились, но и мы старались не пакостить. Мы не оставляли никогда за собой ни грязи, ни вырубленного или сожженного чего-то. Те ямы, которые мы раскапывали, сначала мы не зарывали, но потом Умар Рамазанович сказал: «Ребята, я вас умоляю, у меня трактор чуть не рухнул в яму» — с тех пор не только каждый раскоп, но и каждый шурф мы закапывали и уплотняли. Чтобы за нами потом могла пройти техника и спокойно пахать поля: там, где мы работали, почти все были сельскохозяйственные угодья.

Прошли годы, Сашка уже работал сам, а мы вернулись в Долину. Тогда мы сделали очень интересную вещь, на мой взгляд. Опять-таки спасибо тогдашнему руководству управления образования Центрального округа. Они любили туристов и поисковиков, поддерживали их. И они не давали пройти показухе. У нас была защита от дурака, когда мы работали в Центральном округе. Получилось как: показухи в поиске, конечно, очень много. Чем дальше — тем ее больше, к сожалению. Любое движение, которое кто-то подмял под себя и организовал, — все, это обязательно будет показуха. Этого нигде не миновать, от этого можно просто дистанцироваться и работать так, как ты считаешь нужным. Где-то централизация оправдана, потому что все-таки все отчеты должны стекаться в какое-то единое место. И все-таки очень важно, когда все это публикуется и становится доступным.

Например, тот же сборник, который выпускает казанское «Отечество» — многотомный сборник «Имена из солдатских медальонов». Это имена, взятые из отчетов поисковых отрядов: где найден, кто найден, кем найден, когда найден. В огромном количестве случаев, если мне звонят и говорят: «Скажите, пожалуйста, а вот нашего случайно не нашли?» — достаточно просто открыть тома этого сборника. Целая команда людей сидит и сводит все воедино. Земной им поклон за это. Велик шанс, что в сборнике будет этот человек, про которого спрашивают, что он давно найден, только родственников найти не могли, потому что они сто раз переезжали с места на место.

Это с одной стороны. А с другой стороны, в том же казанском «Отечестве» изобрели нынешнюю форму отчетности по раскопкам — и я считаю, что это полный маразм. Потому что на каждого поднятого бойца нужно делать отчет на много страниц: протокол раскопа, протокол эксгумации, я не знаю, протокол состояния небесной канцелярии на этот момент. Это все безумно замедляет работу. Если там есть, например, серьезные данные, например, GPS-координаты раскопа, чтобы дважды не прийти в одно и то же место, чтобы, может быть, где-то потом в отчетах, в документах по боевым действиям найти, кто там и кого хоронил, потому что есть и карты, и схемы, и так далее, — это оправданно. Перечисление того, как сохранились останки — это оправданно. Описание останков, когда определяется примерно возраст бойца, мужской скелет или женский — это оправданно. По, простите, указание погоды в момент раскопа? И там еще куча всего. Обязательное фотографирование каждого этапа раскопа, обязательные электронные отчеты — это все дико тормозит работу и оно никому не надо. Это на мой личный взгляд.

Почему мне так кажется: мы не археологи, у нас разные с археологами цели. У археологов цель — четко восстановить по сантиметрам, как оно было. У нас цель — достаточно быстро поднять бойцов из земли. Потому что задержаться еще на несколько лет нельзя: во-первых, умирают те, кому это было нужно, умирают самые ближайшие родственники; во-вторых, если тех же верховых тридцать лет назад как находили: поднимаешь слой дерна — и вот он, скелет полностью лежит, то сейчас в 90% случаев — это фрагменты костей. Только по их расположению понятно, что когда здесь был скелет,

почти все уже разложилось. Если тянуть и каждого бойца поднимать по три недели, через пару-тройку лет поднимать станет некого. Мы потеряем бойцов, мы потеряем имена. Торможение из-за необходимости оформлять дикое количество бюрократических бумаг — оно мне непонятно, и ребятам, которые это придумали, я об этом много раз говорила. Но хозяин — барин.

И вот, когда мы вернулись в Долину, мы решили, что надо продолжить ту традицию, которая была в Центральном округе. Туристы старые учили тех, кто хотел заниматься с детьми туризмом, а я сказала, что мы будем учить тех, кто хочет заниматься с детьми поиском. И у нас была очень хорошая система. Я считаю, что эта система должна быть общедоступной. Человек, который просто собирается заниматься поиском: ради бога, собрал рюкзак — поезжай в экспедицию. Но если ты собрался везти детей в поиск, то у тебя должна быть такая же градация опыта педагога, как есть в спортивном туризме, где все разделено на категории: если ты сам прошел поход 3-й категории сложности, то вести сам можешь детей только в поход 1-й категории. Этого никогда не было в экспедиционном туризме и поиске. А мы поняли, что это должно быть, потому что человек, который повел детей в военный лес, не имея опыта, — это смертельно опасно.

И мы могли сделать это только на уровне нашего округа, но мы это сделали. Ни один педагог в округе (я говорю про систему образования, система муниципальных клубов нас не касалась, это было где-то между 2000 и 2010 годами), не пройдя обучение, не получал разрешения ехать в поисковую экспедицию. То есть у нас было всего три постоянно действовавших отряда на округ на тот момент, мы пришли тогда к Вере Ивановне Лопатиной — она была начальником управления образования, и сказали: «Вера Ивановна, мы вас очень просим, пожалуйста, если вы не хотите несчастных случаев, все выезды в поисковые экспедиции только через нас. Когда мы вам скажем, что педагог готов — тогда пусть он едет сам. А до этого пусть едет с нами как стажер». И надо отдать им должное, эти приказы подписывали без единого звука. А это же учителя надо снять на майские праздники с уроков.

Это потом уже господин Калина ^[121], чтобы ему хорошо жилось, издал указ, что дети не имеют права в учебное время никуда выезжать.

Поэтому сейчас вся Россия на майские праздники на Вахту памяти провожает с оркестрами поисковые отряды, подростковые школьные, а московские школьные отряды не имеют права официально поехать. Даже если это всероссийское мероприятие. Как объяснить чиновникам, что нам нужно работать именно в апреле-мае, что мы не едем летом не потому, что мы ленивые, а потому, что летом все заросло травой и искать и копать намного сложнее? Это никого не волнует. Но тогда никакого Калины не было, был Лужков, была Любовь Петровна Кезина^[122], спасибо ей огромное. Пока они были и пока Виктор Петрович Голованов заведовал дополнительным образованием в Москве (это серьезный, умный человек, с которым можно было говорить по-человечески, а не псевдонаучным языком псевдопедагогики), пока они руководили московским образованием — они сдерживали вот эти «типа реформы», на деле разрушающие образование. Поэтому Москва до прихода Калины жила нормально и с детьми работала нормально. Дай бог, чтобы до Лужкова, Кезиной и Голованова долетело наше огромное спасибо за то, что они дали нам возможность нормально работать лишнее десятилетие, когда уже вся Россия подыхала от этих реформ. Это огромное дело было для московских детей.

В общем, короче говоря, я отвлеклась, у нас получалась система какая: если педагог изъявлял желание заниматься с детьми поиском — неважно, молодой или немолодой — сначала он проходил курс теоретического обучения. Причем мы ему говорили: «Берите двух-трех ребят, чтобы они потом у вас были инструкторами». Потом этот педагог на пару-тройку лет прикреплялся к поисковому отряду уже действующему, и даже официально по документам управления образования, в приказах у нас была такая формулировка: «Направить Иванова Ивана Ивановича в качестве педагога-стажера, возложить на него ответственность за жизнь и здоровье детей во всех видах деятельности, исключая непосредственно полевые поисковые работы на местности».

Вот эта формулировка говорила о том, что новый педагог имеет право самостоятельно заниматься с ребятами бытовыми делами, туристскими делами, краеведческими делами, но вот в раскоп с детьми он без старших товарищей не имеет права лезть. Потому что он этого еще не умеет. Это и была защита от дурака. Я не знаю,

насколько она работает сейчас, потому что я из округа уже давно ушла. Надеюсь, что что-то работает еще. Я ушла уже семь лет как, после чего даже не совалась туда. И уже почти четыре года как ушла из образования вообще, потому что плясать под дудку Калины — это ниже достоинства нормального педагога. Я умею работать, а показухой заниматься не умею и никогда не буду.

До 2011 года мы ездили с ребятами в Долину. Там у нас были интереснейшие истории. Я считаю, что это истории личного подвига ребят фактически. Опять-таки подростки мне попадались, которые работали не за страх, а за совесть. Если им говоришь: «Ребята, если вы нашли один патрон, раскопайте вокруг на десять метров, потому что там процентов на пятьдесят будет боец» — они это делают. Взрослый уйдет, а подросток останется. Вот Катенька Карасева была — не в моем отряде, это отряд «Сармат», очень интересный отряд Татьяны Константиновны Токаревой, которая как педагог-стажер как раз у нас начинала, но она очень быстро пошла в самостоятельный поиск, потому что к тому времени она уже была профессиональным археологом. У нее очень интересно: ребята начинают не с поиска. Не знаю, водит ли она ребят сейчас, потому что сейчас это стало практически невозможно со всеми этими идиотскими нормами, а раньше, если она набирала ребят, то они сначала ехали в таманскую археологическую экспедицию. И они сначала учились работать у профессиональных археологов. И только после курса классической археологии она брала их в военный поиск. Это была гарантия того, что ребята будут очень кропотливо и педантично работать, что они не будут спешить, потому что они видели, как работают настоящие археологи. То есть сначала они копали Боспорское царство, и только потом начинали работать по Великой Отечественной.

Я считаю, что археологическая практика — это очень действенно. И вообще, самое главное — это не раскопки. В поиске раскопки — это пять процентов работы, а остальные девяносто пять — это подготовка и последующий поиск уже по результатам этих раскопок. И мы всегда старались серьезно готовить ребят заранее. Во всяком случае, так было в нашем отряде, потому что у Лишиных, например, была другая методика. Они считали, что надо брать в экспедицию ребенка сразу: он все это увидит и захочет продолжать.

Это работало, но это было то очень немногое, в чем я была с ними не согласна.

У нас была методика другая: мы считали, что право поехать в экспедицию надо заслужить. Что поездка в экспедицию должна быть наградой за уже проделанную работу. Почему? Потому что экспедиция — это все-таки реальные человеческие судьбы. Это совершенно чудовищная ответственность. В поиске нет проверок, в поиске нет ревизоров, в поиске нет инстанций, которые придут и проверят, всех ли ты выкопал. В поиске все на доверии и на честности. И если поисковый отряд, я не знаю, наш хотя бы, «РВС», пришел и сказал: «Ребята, вот этот участок километр на километр мы отработали, там больше никого нет» — то никто потом не пойдет это проверять. Поэтому если поисковый отряд «РВС» оставил там хоть одного бойца, за этим бойцом никто никогда больше не придет. И вот это страшная ответственность. И поэтому надо, прежде чем ребяенок поедет в экспедицию, чтобы вот это до него дошло — что это уже не шутки. Мы ребятам говорили совершенно открытым текстом, что надо понять, что такой жесткий отбор в экспедицию обусловлен сложностью работы и уровнем ответственности, что это не наша взрослая прихоть.

В старые времена, когда первый отряд еще был, поскольку все это было в двух школах и плюс еще дом пионеров, а у всех младшие братья и сестры, на первое занятие, на набор в начале учебного года приходил пятый и шестой класс — тот возраст, с которого мы начинали. Мы начинали с туризма подмосковного. И приходило 60 человек. После первого однодневного похода оставалось 20 человек, после первого серьезного похода оставалось десять. Через три года оставалось двое-трое из этих шестидесяти. По это нормальный отбор, это специфическая деятельность. Зато этих двоих- троих можно было брать уже с собой куда угодно, хоть в разведку, хоть на Луну. Остальным, ушедшим, никто никогда не говорил, что ах вы такие сякие, вы бросили такое благородное дело. Пе твое дело — ради Бога, ищи свое. Ты попытался — здорово, спасибо тебе. Иди дальше. Интересное выяснилось потом — вот я сейчас, бывает, встречаюсь с первыми учениками — вдруг девчонки, которые сходили с нами в один пятидневный поход, говорят: «Вы знаете, сколько мы из него вынесли! Пам по сорок лет, а вот это, вот это и вот это помогает нам и

по сей день». Все-таки дети в лесу — это такой вид деятельности, который совершенно сумасшедший эффект дает. В городе этого не сделаешь.

И вот мы пытались сделать так, что сначала мы привозили их в Новгород. Это было зимой, на зимние каникулы. И мы им рассказывали, и мы им показывали, мы волокли их в Мясной Бор, устраивали встречи, но это все было за счет моих личных связей, потому что я там работала еще в 89-м году со старыми поисковиками. Они там не киношки смотрели и на экскурсии ходили. Приходил «тот самый» Александр Иванович Орлов или Сергей Сергеевич Котелевский, корифеи военного поиска, и они не вели экскурсий, хотя и экскурсии у нас тоже были, а основным были вот эти вечера. Там есть центр реабилитации инвалидов «Родничок» — несколько лет подряд мы ребят привозили туда, там очень дешево было снимать номера.

Они приходили вечером, и у нас начинались поисковые байки, воспоминания — это же совершенно по-другому. И вот эта цель, чтобы к майским праздникам у ребятенка была только одна просьба: «Пустите меня в Долину! Пустите, я заслужу, я все сделаю, только возьмите с собой, я очень хочу!» — она уже в детях оставалась. Другое дело, что получалось так (это очень часто было, к сожалению), что зимой смог поехать, а весной — не смог, весной поехал другой. По этот другой между зимой и весной слышал бесконечное: «В Долину, в Долину — главное, чтобы взяли». Когда ребенок подходит к поездке с таким настроением, он уже знает, на что он идет.

Так вот, дорасскажу про Катюшу Карасеву, которая «по птичке» нашла бойца. Долго-долго мы искали на полянке, ничего не могли найти, а Катя нашла. Она пошла на птичью песню, и вдруг, пожалуйста — боец.

Другой интересный случай: у нас традиция есть забавная. Три лета и три весны подряд мы работали в районе деревни Давыдово Старорусского района — это место, где работала куча отрядов. И был так называемый дневной бивак. Если работа от главного лагеря была на расстоянии семи километров, например, то, чтобы не возвращаться обедать каждый раз, мы прямо рядом жгли костер, навесик у нас был небольшой сделан.

Вокруг этого бивака в радиусе десяти метров для вновь прибывших мальчишек организовывали испытание. Это я говорю — «мальчишек», а во втором отряде, который я собрала, было очень немного ребят на самом деле, потому что это продлилось всего шесть лет и уже шло по нисходящей: уже были большие трудности с выездом, с каждым годом все больше, но тем не менее сколько-то ребят через наш отряд тогда прошло. Приезжает новый пацан. А у нас был старый ржавый ствол от трехлинейки, совсем трухлявый, весь в дырах. Мы его закапывали в радиусе десяти метров от бивака, а в обеденный перерыв говорили: «Значит так, поисковое испытание. Вот тебе щуп — иди, ты должен найти этот ствол». И он идет.

Пошел Макс Кравчук, это была первая его экспедиция, ему было четырнадцать лет. Ходит он с щупом вокруг, а мы сидим, чаек гоняем, байки травим. Слышим кричит: «Кетош, я не нашел ствол!» Отвечаю: «Пу а чего ты тогда мне что-то говоришь, иди ищи!» — «Кетош, я бойца нашел!» Вот это тот самый мистический вариант, когда люди по двадцать раз проходят по одному и тому же месту, но поскольку с двух сторон раскопы, то на место между ними не обращают внимания. Значит, было там две воронки на расстоянии примерно трех-четырёх метров друг от друга, полностью выбранные — глубокие, старые. Кому придет в голову тыкать щупом между ними? Площадочка буквально два на три метра.

И на этой площадке на глубине тридцати сантиметров полностью лежит боец. Он был без медальона, к сожалению. А если бы Макс не пошел искать этот ствол? Этот боец так там бы и остался.

Был еще более невероятный случай. За всю мою жизнь самый невероятный. Это было вообще что-то фантастическое. Два Сашки, Марин и Базилевич. Базилевич — будущий педагог, ему было девятнадцать, Марину — семнадцать, это его четвертая Вахта. Поскольку Базилевич был моим замом и уже ездил не первый год, то они ушли без меня, а мы остались дневалить в лагере. Еще ТК с ними пошла — это Таня Токарева. Да, у нас были такие сокращения. Мы еще хохотали. «Ребята, кто у Вас педагоги?» — «ТК, КД, ГД и ВП». Татьяна Константиновна, Кетевана Дмитриевна, Татьяна Дмитриевна и Владислав Николаевич. Для краткости. И они приходят и рассказывают совершенно фантастическую историю.

В последний день экспедиции я это застала. Мы поехали работать с тем отрядом, с которым сейчас мы фактически слились. Потому что мои все выросли, и на две недели подряд они не успевают приехать. Поэтому мы начали ездить вместе с «Новгородской кадетской ротой». Это взрослый уже отряд, все эти кадеты уже выросли. У всех уже свои дети. И мы теперь начали ездить фактически в их составе. Это был первый год, 2011-й, когда мы встали рядом. Я должна была их познакомить, чтобы мои поучились у кадетов — там опытный отряд со своими методиками работы в Долине, совершенно отличными от работы в других регионах (в каждом регионе своя методика, потому что своя специфика того, что там происходило).

И вот девушка, опытная девушка из этого новгородского отряда, идет по лесу. А недалеко от нее, значит, идут мои. Там осушали лес и все разграничено гидромелиоративными канавами прямыми на квадраты примерно двести на триста метров. Там прямо так и называют местность: «за первой ямой», «за второй ямой» и так далее. На одном из этих квадратов несколько табличек на деревьях — таблички прибиваются на том месте, где найден был боец. Иногда обелиски ставят, иногда прибивают таблички. Это очень сильное зрелище. Там же работали отряды двадцать лет подряд. И вот Катюха идет, значит, работает щупом. Находит таким образом каску. Раз каска — надо искать вокруг. Она с полчаса искала и ничего не нашла. Пошла дальше.

А Саня Марин — он педант (он и стал юристом в итоге). Он говорит: «Я еще поищу». Все говорят: «Да ладно тебе, Саша, чего ты, нет здесь ничего, видишь же, уже кадеты прошли». А он продолжает искать вокруг. Все же сейчас пажоны, всем надо с помощью металлоискателя искать. Есть металл — копаю, нет металла — не копаю. А я своих учила принципиально работать сначала щупом. Потому что металла может вовсе не быть, а останки при этом будут. В общем, Саня долго искал, в какой-то момент наткнулся на ключицу, отдельно лежащую. Говорит: «Во! Все-таки есть боец». Его отговаривают, говорят: «Саня, да это добор! Нет здесь никого, посмотри — вон две таблички на деревьях рядом». Что такое добор — значит, что кто-то нечисто сработал и остались фрагменты костей. Он говорит: «Я еще поработаю».

В результате вот это «я еще поработаю» длилось на них двоих, на Базилевича и Марина, трое суток. Народ над ними просто откровенно хохотал. Мои-то не хохотали, потому что уже знали, чем дело может кончиться, знали их упорство. У них было с собой два топорика небольших. Слава богу, фискаровские^[123], качественные. Они этими топориками выкорчевали три огромных пня, площадь раскопа общая была почти десять квадратных метров. И они с этой площади собрали бойца. Он, скорее всего, был растащен корнями и зверями на очень мелкие куски. Получилась у них горсточка, в которой было видно, что кости от разных частей тела.

Старые поисковики, которые за ними наблюдали со стороны, сказали: «Ну, молодцы мальчишки! Теперь-то можете и заканчивать!» А дальше случилась сцена, про которую я только слышала, могу вас потом с мальчишками познакомить — они сами в подробностях расскажут. Значит, стоят командир кадетов и с ним двое очень опытных людей — все трое больше тридцати лет в поисковом лесу. Стоят над работающими Сашками и говорят им: «Ребята, уже хватит, нет здесь больше ничего. Не думайте вы про медальон, это же 43-й год, медальонов тогда уже не было!» Сашки говорят: «Мы еще поработаем!» — «Да ты лентяй, наверное, и просто не хочешь идти действительно работать!»

А они отработывали что? У нас была методика последнего снятого слоя. Иногда бывает такое, что сдвигаются пласты земли и что-то оказывается под «материком». Что называется материком? Та земля, которая не тронута, когда видно, что она однородная, не перемешанная. И поэтому мы в какой-то момент завели две традиции: во-первых, на штык лопаты снимать со дна раскопа землю и проверять, не ушло ли что-то на глубину. Во-вторых, я учитель биологии — да, весь народ ржет на раскопах, где я присутствую, потому что я всех дождевых червей вынимаю аккуратно и аккуратно уношу, чтобы их лопатой не раздавили. И майских жуков тоже. Все ржут. Но понимающе относятся. Так вот, мы всегда закапывали корни деревьев, если во время раскопа они обнажались: я не могла видеть, как деревья гибнут потом.

Короче говоря, мальчишки начала снимать вот этот последний слой земли. Я сейчас это рассказываю со слов Сашки Марина. «Понимаешь, — он говорит, — разворачиваются эти мужики

взрослые, поржав, и уходят. Но они не успели отойти на пять метров, я отколупываю пласт этой земли — лежит медальон. Я только командира кадетов окликнул, мол, "Анатолий Константинович!" Я такого вопля не слышал никогда в жизни». И медальон прочитался, и нашлись родные. И это совершенно невероятная история.

Село Солдатское Сумской области — это село русских солдат на Украине, которое основал Петр I как форпост во время войн там. Вот этих Гендиных — фамилия бойца была Гендин — в селе много было, а в селе этом была оккупация. И почему-то там фашисты не особо зверствовали, расстреляна была одна только женщина-партизанка, Маруся Гендина, родственница нашего бойца. Школа в Солдатском носит ее имя. А этот боец, которого мы нашли, он уехал из села в 20-е годы. Дальше семейная легенда о нем расходится в двух направлениях.

Кто-то из родни считает, что его арестовали, но об этом умалчивалось. Другие говорят — уехал просто на заработки. Но с 23-го, что ли, года, девяносто с лишним лет, никто не знал о его судьбе. Если бы Саня Марин и Саня Базилевич не были бы такими упрямыми, если бы побоялись насмешек старших товарищей, если бы они встали и ушли — этого имени не было бы никогда. Понимаете? Вот это страшно. Ты уйдешь, а за тобой придет вот это никогда. Поэтому мне всегда очень трудно уходить с раскопа, у меня все время идет мандраж: «Нет, мы кого-то оставили!» И однажды действительно оставили.

Это было на газопроводе в Старорусском районе, между Давыдово и Пенно. Мы стояли недалеко от газопровода, копали поляну с госпитальными захоронениями. Откуда знали, что с госпитальными: на основании наличия склянок, обрывков бинтов, обломков шин. И все останки были пролиты каким-то дезраствором: они спекшиеся, их не всегда можно было отделить друг от друга. Мы работали вместе с покойным Валерой Вологдиным, у них поисковый отряд из Тобольска, мы с ними очень дружили. Вот у них было одно захоронение, у нас — другое. У нас сорок восемь человек, у них — шестьдесят с чем-то. Две вот такие ямы на полянке, в полутора километрах от лагеря нашего. Между этими ямами перемычка шириной около метра, пустая абсолютно. Август месяц. Мы поднимаем бойцов из этих ям, выносим их к лагерю. Туда должна

была приехать гэтэтэшка, забрать нас и, потому что дороги туда нет, забрать останки.

Шел последний день. Там даже не надо закидывать ямы, там работ никаких нет: останутся и останутся, заполнятся водой — озерцо будет. Мы собираем вещи и уже планируем оттуда уходить. В какой-то момент теряю там какую-то важную деталь снаряжения, которая числилась на балансе. Битый час ее ищем. Находим. Собрали рюкзаки, взвалили на себя останки, пошли. Дело чести у пацанов — бойцов, которых они подняли, унести своими руками. Пошли. Дядюшка Пак — это Валера Вологдин, у него прозвище такое было — спотыкается на ровном месте и растягивает ногу так, что мы уже думаем, нести ли его дальше самим. Для того чтобы вырезать ему какую-то палку, приходится вернуться к раскопу. Идем дальше, подходим к лагерю и начинаем плутать на протоптанной тропе на подходе к лагерю. Подходим: наши уже собрали лагерь, гэтэтэшка будет через час. Гэтэтэшка приходит, забирает первую партию ребят, отвозит их к дороге и должна вернуться за нами. Причем водитель, помню, сказал: «Я заправил бак полностью». В результате ждем гэтэтэшку шесть часов — ее все нет, не идет. Как выяснилось, на полпути у него кончилось горючее, ему пришлось бежать в деревню за горючим. Приходит гэтэтэшка, в нее дочка старшая садится и говорит: «Мама, мы кого-то там оставили! Пе может такого быть. Что-то не то происходит!» Говорю: «Светка, да не вопрос, вернемся!»

Потом, если напомним, я вам пришло ее рассказ, называется «Дневник последнего солдата». Без слез читать невозможно. Она от имени вот этого последнего солдата, которого мы там нашли потом, через полгода, написала, как он ждал. Ей было пятнадцать лет. А в двадцать лет она написала по письмам и по книге немецкого солдата, уже в стихах, о войне с точки зрения немца, как он прозревает. Когда читаешь их рядом — сильное впечатление. Говорю: «Ребята, вернемся сюда в мае». И мы возвращаемся в мае. Мы изрываем всю эту поляну. Мы истыкиваем щупами насквозь всю эту перемышку. Мы плужбе разрываем эти ямы: хоть убейте — нету никого. Я говорю: «Все, уходим!»

И тут опять появляется Марин. Он говорит: «Давайте мы перемышку сроем!» Я говорю: «Пет! Па перемышке растет рябина, и не дам ее угробить». Они говорят: «Пе вопрос, сейчас пересадим!»

Они ее реально пересаживают, начинаем срывать перемычку. Чтобы вы понимали: это два половиной метра раскопа, то ость перемычка выше человеческого роста. И длина раскопа — метров пятнадцать. Оттуда мы начинаем ее срывать: нету, нету, нету. Срыли всю — ничего нет. Я только хотела сказать: «Уходим!» — они меня останавливают и говорят: «Ты же понимаешь, что сейчас будет? Выйди из раскопа и иди готовь обед». Я смеялась: мои первые ученики, когда я была еще девчонкой, они меня Кетеваной Дмитриевной называли, и до сих пор не могут перестроиться, хотя между нами разница всего десять лет. А вот это поколение балбесов возраста моих детей называет меня Кетошечкой. Ничего невозможно сделать. Но, тем не менее, слушались-то они нормально все. Вот они и говорят: «Кетоша, иди обед готовь. Мы сами!» — «Хорошо, сами так сами». Вскоре приходят: «Иди, смотри». Перемычка срыта, они на всякий случай еще на метр углубились в стороны от этой перемычки — и там был боец. Последний солдат. Это вот один из редких вариантов мистики.

Так мы там проработали до 2011 года. Там, конечно, на нашем счету уже не тысячи бойцов, а где-то порядка восьмидесяти. Потому что это верховые, это совсем другой тип поиска. И это все уже разложилось: каждого бойца надо собирать уже по кусочкам. Татьяна Дмитриевна Макарова, учительница медицинского лицея № 1388, которая с нами ездила, человек креативный, она как-то предложила, говорит: «Давай фотографию сделаем». Метров пять квадратных раскоп. Рядом стоят пакетик с останками двух бойцов и котелок солдатский, старый, из раскопа вынутый, набитый до верха осколками снарядов, найденных тут же, — ими этих бойцов и убило. И того, что их убило, уже гораздо больше, чем их самих.

Потом наступил 2010-2011 год, пришел Калина, пришел Собянин, начали закручивать гайки. Закручивались они так, что стало уже понятно, что дальше очень сложно будет работать. А я, каюсь, к тому моменту уже по-настоящему устала. На 2011 год я уже двадцать шесть лет как таскала пацанов в леса. С перерывом на декрет. Мои ребята выросли, набирать новых было страшно, потому что было непонятно, смогу ли я их вообще куда-то вывезти или нет. Надо оформлять гору документов, и при этом в любой момент, да хоть вообще в день отъезда, Роспотребнадзор может сказать: «Все, вы туда

не едете, у нас там был случай туляремии. За двадцать километров от вас, но это неважно».

То есть ребята экспедицию год готовят, это же невозможно просто выехать сейчас: они сначала работают с архивными документами, с мемуарами, работают в ОБД «Мемориал»^[124] — все, что можно, они находят по этому месту. Подготовка идет весь учебный год. А за неделю до экспедиции Роспотребнадзор может сказать: «А нас не волнует, куда вы там планировали ехать, мы запрещаем и все». И вся подготовка за весь год идет насмарку. Люди начали уже какие-то запасные варианты искать и так далее. А потом уже, когда приехали: бойцов подняли, медальон нашли, начинается поиск родственников, начинается восстановление соседних имен, если это было захоронение, — то есть работы еще как минимум на год. Она не заканчивается. Но все равно все вертится вокруг этого выезда в экспедицию. И если выезд в экспедицию — это не факт, значит, предварительная работа была совершенно в ящик, а последующей работы просто не будет, потому что не было экспедиции. Иначе как издевательством над детьми я это назвать не могу.

Причем, мне очень забавно, в прошлом году было сто лет детско-юношескому туризму в России. Как же мы ездили до нынешних правил сто лет подряд? Ничего! Сто раз говорили, что уровень травматизма и летальных исходов при ЧП у детей в оздоровительных лагерях и у детей при неорганизованном отдыхе — на даче или когда в городе остались — во много раз выше, чем в походах или экспедициях. Это никого не волнует, чиновники просто прикрывают свои задницы.

Особенно после Сямозера началась просто вакханалия, это невозможно. В тот год, когда случилось Сямозеро — я тогда работала на городской станции юных туристов, и все походы шли через нас, через утверждение нашей маршрутной комиссией — группы звонили с маршрутов и говорили: «Ничего не можем сделать, к нам приехала милиция, нас разворачивают назад. Нам говорят, что, мол, ничего не знаем, случилось Сямозеро, вы все сволочи-подонки и преступники». Притом что те, кто был реально виновен в организации этого картельного сговора, те, кто в Москве в этом был виновен, они

отделались легким испугом. А вот туристов шерстили по-настоящему. Как это обычно и бывает.

В общем, с 2011 года я начала уже ездить сама. То есть как сама: мы ездим с кадетами новгородскими, уже выросшими, — там чисто взрослый отряд, а мои ребята, которые тоже давно выросли, когда могут, на несколько дней туда вырываются. А я, выйдя на пенсию, еще и ко всему получила счастливую возможность наконец, с утра встав, ни за кого не отвечать, ни о каких документах не думать — об этом думает командир. Встать, вылезти из палатки, взять щуп и саперку и уйти в лес копать — это мечта поисковика. Вот, в общем-то, и все. Когда я начинала этим заниматься, я все что угодно могла предположить, но только не то, что это станет основным делом и останется на всю жизнь. Что эти люди останутся со мной на всю жизнь. Я была учителем биологии, занималась цитогенетикой, у меня был совершенно другой круг знакомых и друзей, интересов. То, что оно повернет так, невозможно было предположить. Это к вопросу о том, кто как туда приходит.

Это затягивает всем тем, про что я уже рассказала, а потом, когда много лет всем этим занимаешься, становится понятен объем еще не сделанного. И становится понятно, что остановиться невозможно, нельзя остановиться. Мы остановимся — и дальше-то что? Эти бойцы останутся лежать. Эти имена останутся невосстановленными. Я же говорю, это игра в две стороны, а не в одни ворота. Сказать, что мы такие святые люди, мы возвращаем историю отечества и прочее такое, нельзя. Мне безумно не нравится вот эта поисковая патетика и выставление поисковиков супер-пупер героями. Поисковики были героями ровно до той секунды, пока не произошло великое событие — Калужский сбор в 88-м году. Нока за поиск можно было схлопотать вызов в КГБ или милицию с обвинением в очернении истории Советского государства. С тех пор как было объявлено, что поисковики на самом деле — умнички, какой тут вообще героизм, в чем он? Ни в чем.

И начинается: вы же ищите, хороните! Извините, а когда у нас родители умирают, родственники умирают — ну да, мы их хороним, ухаживаем за их могилами. И я не вижу большой разницы. Нет в этом ничего героического. Это нормальное делание того, что по недосмотру не было сделано раньше. Все. Было не сделано — надо

сделать. И разговор закончен. Это никакой не подвиг. Когда пацан приходит в поиск совершать подвиг — его лучше туда не брать. Потому что он идет и ждет патетики, а это просто тяжелая работа, очень кропотливая, очень нудная, требующая, как у моих мальчишек, определенной степени педантизма и занудного протеста. Все. Этот протест, конечно, не всегда оправданный, но бывает и так.

Если завершать чем-то, то мы не просто не герои, а, я считаю, это кощунство — называть поисковиков героями. Героями были те, кого мы ищем. Вот они были героями. Те, кто их поднимал в 40-50-е годы — они были героями, они смели пойти против официальной линии власти. Сейчас поисковиков только гладят по головке и вешают медальки на грудь. Где тут героизм-то? Сейчас поисковики делают то дело, которое приветствуется государством официально. Поэтому не нужно тут патетику разводить. Если задуматься, поиск нужен не только тем, кого мы находим, и не только их родственникам, от поиска получаем нечто очень важное мы сами. И я думаю, что едва ли не больше, чем те, ради кого мы работаем. Мы получаем интереснейшую работу, исследовательскую в том числе, мы получаем уверенность в том, что хоть что-то в своей жизни мы сделали по-настоящему правильно, мы получаем совершенно потрясающий жизненный круг, потому что поисковики, особенно старые — это одна семья.

Мне подружки иногда говорят: «Мы тебе порой завидуем: если у вас у кого-то что-то случается, народ кидается помогать в секунду со всех сторон». Мама моя шутила: «Скажи, есть хоть один город в России, где у тебя нет друзей?» Я отвечала: «Мама, если в этом городе есть поисковый отряд, то, значит, и друзья есть!» Сейчас такого поискового братства уже нет. Сейчас все несколько обособленно. А раньше, если ты шел по поисковому лесу, приходил в чужой лагерь и говорил: «Можно я у вас тут поживу?» — тебе говорили: «Да поживи!» Тебя сначала кормили, а потом спрашивали, кто ты. Мы для себя получаем от поиска, я думаю, не меньше, а то и больше того, что мы отдаем. Поэтому странно говорить, что это такие святые люди, которые свой отпуск и свое свободное время тратят. Пу, так мы и для себя это делаем в свое свободное время. И это очень важно.

Самые старые поисковики сейчас задвинуты, они неудобные люди для поискового официоза. Вот в чем все дело. Это с одной стороны, а с другой — я не могу сказать, что это плохо, что есть сейчас

официальное поисковое движение России, нет. Скорее это положительно, чем отрицательно. Потому что как-то все-таки единая координация должна быть. Это защита от дурака однозначно, это защита от тех «чернушников», которые пытаются играть под поисковиков и проворачивать свои дела, объявляя себя официальными отрядами. Такое тоже есть. Это, конечно, сбор методической информации: учебные лагеря, сбор данных и официальная передача их в Министерство обороны. Некое упорядочение. Другое дело, что когда был собран вот этот Первый съезд поисковых отрядов в 2013 году, мы посмеялись: он никак не мог быть первым. По лучше вот такое поисковое движение, чем никакого. Это мое мнение. В некоторых ситуациях функционер бывает полезен. И чиновник бывает полезен. И без единого центра начнет, на мой взгляд, теряться история, повторяться работа на одних и тех же местах, что будет сильно тормозить дело. Другое дело, что, сейчас, к сожалению, во многом, так заформализовали работу на некоторых ее участках, что непонятно стало, зачем вообще это делалось. Опять-таки многие со мной не согласятся, это мое личное мнение. Централизация то мешает, то очень здорово помогает.

Работали мы с одной историей в последние годы: если приходишь и просто говоришь, что планируешь в определенном месте копать, ответят, мол, вы кто такие. И правильно ответят — это тоже защита от дурака. А если я прихожу, говорю: «Здравствуйте, я член Координационного совета московского регионального отделения "Поискового движения России", вот мои документы, вот выписка из приказа Министерства обороны», — сразу другой разговор. Это зеленая улица. Это ускоряет работу. И в данной ситуации мне глубоко наплевать, каково соотношение бюрократии и настоящей работы в «Поисковом движении России». Мне важно, что принадлежность к нему помогает в работе там, где чиновники могли бы пытаться противостоять. Это важно. Тут есть некий разумный компромисс, я считаю. Хотя, конечно, и накладки бывают, их бывает много. По я говорю, не с «Поискового движения России» нынешнего началась показуха.

Показуха любое движение сопровождает всегда. Всегда есть то, что на глубине, и всегда есть пена. Кому что выгодно.

СЕРГЕЙ НЕСТЕРЧУК

Я родился и вырос на Украине, жил там до четырнадцати лет. У нас стояли венгры, то есть мадьяры. Бабка, прабабка — они побывали в плену и сбежали, три раза их забирали, три раза они убегали. Последний раз уже из Германии.

В первый раз мы даже не откопали, а вытащили, когда бреднем рыбу ловили, авиационную бомбу. Малые были, но любопытные, с соседом вдвоем. Мы за эту бомбу схватились — надо же рассмотреть, что такое. А ныне покойный мой крестный (он служил сапером) увидел это. Нам хорошенько сначала моральных вставил, потом объяснил, почему нельзя трогать. Потом вызывал саперов с военной части — взорвали они эту бомбу.

В четырнадцать лет я уехал учиться в Смоленскую область, В Сычевский район, город Сычевка. А там до 43-го года немцы пировали. Это не считая французов, которых Денис Давыдович^[125] тоже долбил в Сычевке. Сычевка основана в 1776 году Екатериной II по проекту Ленинграда: улицы с севера на юг и с запада на восток, квадратами. И там немцы были. И в Петраках, Малое Петраково, Пиконovo — там была господствующая высота, немецкие стояли пулеметы. А так как мы были студенты, нас отправляли в колхоз картошку копать. На комбайне стоишь и перебираешь. А там же на ленте все это едет — и раз, видишь: косточки пошли, черепок, ага, лимонка, автомат или винтовка, то гильза или какая-нибудь фигня. Мы знали, что бои были.

Было как: если находили захоронения солдат, то переносили в Аристово, там памятник был — это в двух километрах от Пиконovo, от господствующей высоты. Немцы до 43-го года держали это все полностью. И то, что мы находили, тоже приносили в Аристово, кости. Потом туда начала ездить со своими подопечными Гегелия Кетевана Дмитриевна, начали они там захоранивать.

Все видят меня теперь не таким, каким я был раньше. Одиночка он и есть одиночка. Я мотаюсь так, как мне хочется. По тогда меня с ними^[126] познакомил Глушков Сергей, они стояли в Петраках тогда. Там и сейчас в деревне у нас дом. Я начал работать с ними. Работал

как: брал щуп, находил захоронение, показывал им, а они копали. Я уходил дальше.

Вот когда я после уже с Лишиным Николаем ездил, с детишками: он как раз набирал таких, что кто без отца, кто без матери, дворовые. Система у них такая во дворе была: кто сильнее — тот и прав. А у Лишина в отряде их перевоспитывали. Не наказывали — ничего такого, но ребята после этого довольно хорошо усваивали на чужом примере. Хотя бы такое элементарное было — мы тогда над этим посмеялись немножко — их 10 человек, мы в Рильково копали погреб. Туда солдат наших пленных, которых расстреляли немцы, посбрасывали и землей завалили. Мы начали раскапывать. Я этим десятерым говорю: «Вот участки одинакового размера, один копаете вы все, другой — я один, и посмотрим, кто первый докопается». Они посмеялись. Но когда я сделал все быстрее их, то все сразу поменялось в их глазах.

А как им себя вести — это была уже работа Николая Олеговича. Мое дело было научить, показать, как щупом работать. Чтобы они знали, как щуп во что втыкается, могли различить звук: где металл, где камень, где кость, где ткань, где дерево, где жестянка. И по запаху можно понять, когда щуп вытаскиваешь: остается запах — специфический такой, не то что бы он отторгает, ничего такого, рвоты не вызывает, но у земли очень свой запах отдельный, от других отличается полностью. Именно когда в земле тело разложилось, вот этот запах — он остается. Это еще за счет того, что трупный яд распространяется там — у него тоже есть запах. Этот запах есть везде, в любом регионе, где бы я ни копал. Там, где пески, он слабее, где влажно — побольше. А в болоте же иногда вообще ничего не разлагается: бывало и целиком вытаскиваешь.

Основная работа отряда идет уже после архива, но сначала ребят туда отправляют работать. На практике выяснилось, что далеко не всегда совпадают карты и то, где ты реально находишь захоронения. Вот стояли пулеметные точки на этой господствующей высоте около Никоново. Когда пришли немцы, мама Дуся — она еще живая, дай боже еще прожить, а тогда ей было двенадцать или тринадцать лет — рассказывала, что немцы пришли к ним на двор: они дали ей колхозную корову, другую живность и сказали, что три раза в день в блиндаж немецкий, где были эти пулеметчики, она должна была

приносить половину молока, половину яиц. И тебя никто не трогает. Она говорила: «Однажды приносим — а со стороны Зубцова на нас кавалерия скачет». До 85-го года не давали в архиве информацию об этом, что там были кавалеристы генерала Белова^[127], казачки с Украины. Доватор^[128] под Вязьмой стоял, а эти шли с Украины по тылам. Шли и минометы за собой тянули на санках. Они обгоняли, бомбили и быстро уходили: их нельзя было догнать. А под Сычевкой бронепоезд Вязьма—Ржев ходил. Один снаряд с него весил пятьдесят килограмм — я в одном месте находил. Там пулеметчик, похоже, вовремя драпанул. А снаряд, видать, антифашисты делали: заряд у снаряда был маленький, кусок небольшой только оторвался и попал в пулеметное гнездо. Но рядом был блиндаж, и туда было прямое попадание. Там как раз попалась и шашка, и казачок с наганом, и комиссар, и медсестра — в общем, накрыло их всех.

Так вот, мама Дуся говорила: они принесли еду к немцам, видят — наши скачут. А немцы сидят, шнапс пьют. Ей говорят: «Матка, хорошо», — дали шоколадку взамен. — «Иди!» Один из немцев встал к пулемету, пострелял — кавалеристы попадали, а ее прогоняют: «Уходи, матка, домой, домой, тебе нельзя смотреть!» Они нормально относились.

Тоже она рассказывала, что как-то на берегу Осуги^[129] игрались, в это время на другой берег один мужик перевозил ефрейтора-немца — там госпиталь был немецкий военный. И вдруг летит самолет наш. Детишки на берегу прыгают, радуются: наш же. А он разворачивается и кидает бомбу: ефрейтор в лодке целый, один маленький пацан убитый, у мамы Дуси в ноге осколок. Ее принесли домой, на второй день приходит немецкий врач с солдатами: положили ее на носилки и унесли. В госпитале врач сделал ей операцию, вытащил осколок, четыре дня подержали и принесли домой: дали мазь замазывать, а дальше само заживет. Но это касается только немцев, которые именно настоящие немцы как нация: они-то знали, что, как говорится, нет смысла убивать людей, которых ты захватишь, иначе кто работать-то будет. Они умно делали.

А работал я одиночкой почему: ты и во времени тогда не ограничен. Пришел, есть у тебя территория, ты все просмотрел. Когда с кем-то идешь, когда есть дети, то начинаешь объяснять урок, чтобы и они нашли. А когда сам, то здесь в чем отличие: иногда кустик

какой-то или дерево часто пройдешь и не заметишь. А если один — внимание никто не отвлекает, кроме животных диких: лоси, кабаны, это такое, птички, тетерева — ты начинаешь просматривать все внимательней. Был случай около Жеребцово: паханное поле, иду, щупом двухметровым его пробиваю. А щупы я тогда уже на заказ делал: провод десятка и насадка снизу, чтобы сопротивление было. Парень десятилетний вгоняет на два метра — и нагрузки нету. Так вот, я на два метра бью — там железо. Сразу вопрос: интересно — два метра, а железо прям конкретное. Когда щуп вытягиваю — на кончике ржавчина. Не жестянки ржавчина, а именно что брони. Даже если подумать, что был снаряд — с того же бронепоезда шандарахнули, то, естественно, воронка будет намного меньше. И тем более столько времени прошло после войны, люди пахали, да и земля металл выталкивает потихоньку.

Думаю, как-то странно, глубина слишком большая. Начал копать, шурф забивать. Около восьмидесяти сантиметров прокопал, щупом пробил: там небольшой кусок железа. А рядом щупом ткнул — провал. Вытаскиваю щуп — там точно кости, чувствую запах. Откопал: не помню, кажется, 45 там оказалось человек. То есть была воронка, а детишки, которые после войны наших стаскивали, взрывали уже бывшие там воронки поглубже, и тогда делали захоронения. А сверху барахло все это: жестянки, ящики пустые... Они скидывали сверху и закапывали, детишки.

Там немецкая оборона такая, блиндажи и два метра накат. Конкретные, из бруса. Дома разбирали в деревнях и делали: не пробьет никакой снаряд уже, даже если прямое попадание будет. Но когда немцы уходили, они их минировали. Так народу много погибло. Немцы оставляли же все: шинели местные собирали на сукно, одеяла, много полезного для хозяйства. А делали что: они дверь закрывали и ставили растяжку: штык-нож с толовыми шашками и яйцо гранату^[130], натягивали меж ними проволоку. Открываешь — и на воздух взлетаешь. Сейчас-то они уже всё, окислились. Но все равно я вкапывался всегда через крышу в такие блиндажи. Открываешь: о, вот тебе подарок. Но, естественно, если на территории работает отряд, то старший идет в военкомат, ставит в известность, в милицию, в сельский совет. Если такое находится — вызывают из военной части

саперов, подписывают протоколы о том, что сдано все это барахло, аннулировано.

Про одиночек. Мне интересно это было. Интересно было найти так, чтобы никто при этом не мешал. Чтобы не отвлекал никто. Вот тогда я точно работаю. Есть у меня территория — я начинаю смотреть. Другой идет с целью конкретной, будет копать по конкретной сводке, пока не найдет. Не помню, под Белгородом, что ли, один по сводке нашел, что в лесу там-то и там-то немцы шли колонной с архивом, их начали бомбить, поэтому они архив в воронку засыпали, спрятали. Он этот лес перекопал там раз двадцать, если не двадцать пять, каждый миллиметр. В итоге он нашел архив, только часть его, в том месте, мимо которого проходил сотню раз.

Довольно интересно это: правильно говорят, что как угодно богу, угодно земле, чтобы убитого нашли, так и случится. Ездил и со Всеволодычем в Макарово, во Ржев, где Николай сейчас в основном работает: проходишь несколько раз по одному месту каждый год, а потом раз — и натыкаешься.

У Кетеваны Дмитриевны был в отряде Карпов Сашка, они там искали ходили щупом долго и ничего не нашли, а потом ночью вышел кто-то из палатки пописать, а смотрит: там, где щупы втыкали, зеленые струйки тянутся. Фосфор начал оттуда выходить. Изначально же, получается, могила закрытая, а кости разлагаются, фосфор выделяется. Видать, во что-то он там был замотан, что выхода не было. А щупом проткнули — и ночью загорелось. На другой день уже начали копать это захоронение.

Вот тоже было: немецкая оборона, траншея, с одной стороны немцы стояли, с другой — наши. В наступление наши шли со стороны Зубцова. Там местные приезжали, копали, трехлинейки доставали. А потом участковый приходил к ним прямо домой, отнимал винтовки, штрафы платили. Я пришел туда: они там копаются. Я взял щуп, тут же нашел два «коктейля Молотова». Они говорят: «Дай нам!» У них такая идея была: хотели председателю машину взорвать. Говорю им: «Здрасьте!» Взял одну бутылку, кинул в старую березину, которая там стояла. Она разбилась и не взорвалась. Потом вторую — и она сработала. Факт в том, что черный дым от нее валит и запах идет: этот запах выгонял из танка кого угодно. Даже если не считать того, что, когда горит, металл прожигает, но от него еще и запах: в общем,

смешай гнилую капусту, гнилую свеклу — ты просто от радости сдохнешь. В подвале если свекла загнила и не проветривается, то ты туда залезешь и там брыкнешься, не заметишь даже как, почувствуешь только неприятный запах и все. Если не вытащат — ты отравился, умрешь. Вот там такие запахи намешаны, реакция, металл дает такой запах, от которого умирали. Кроме того, что пока коктейль прогорал, железо плавилось, там температура такая поднималась...

Как я это называю, «коктейль Молотова» — это двоюродный родственник греческого огня. А родной брат — это напалм у нас, который сжигает все. Вот когда эти ребята там копали, вытаскивали барахло, я спалил, что у окопа есть отвод. Потом пошел на второй день, чувствую: блин, что-то дергает, что-то я упустил из-за того, что с ними там болтал, смеялся над тем, как они откопали одновременно одну и ту же трехлинейку — просто одному попался приклад, а другому ствол, и вот они тянули ее каждый к себе. Ну, дети. Ведут себя как дети, хотя там одному двадцать пять, второму двадцать три. Я над ними стоял, смеялся, а на следующий день понял, что что-то упустил. Пришел туда, когда начал рассматривать еще раз, взял щуп нормальный свой, стал пробивать этот отвод: мягко, мягко, вдруг — удар кости. Потом ребята уже приехали, я им показал, где копать. Пашли 27 человек наших. Они наступали, их убивали, а чтобы они не мешали, просто в эту отводную яму скидывали и все. Потом немцев наши выбили, они отступали туда, где сейчас Повая Рига как раз, в этом направлении, где «Лесные дали», туда. Паши пришли, убитых присыпали и поехали дальше.

А бронепоезд тот стоял там, где деревня Свинойройка^[131]. Танкист, капитан он был, его разжаловали, дошел до Берлина и опять капитаном стал. На другой стороне Осуги, со стороны Зубцова, стояли танки, и вот бронепоезд этот долбил наших — мама не горюй. Танкист тогда этот был командиром отделения из трех танков. Они нашли брод, его форсировали — там, если не ошибаюсь, до сих пор стоит в болоте и танк — его, правда, так не вытащишь, вертолетом если только, — и пушка тоже, по-моему. Если никто по запчастям не распилил на металлолом, то она там и стоит. Потому что там иначе не вытащить ее — везде болото. Они подорвали железную дорогу с одной стороны от бронепоезда. Обрато вернулись на одном танке, за это капитана наказали, разжаловали в сержанты, отправили в

штрафбат. И он так же танкистом до Берлина дошел, обратно вернулся уже капитаном и остался там жить.

А другую сторону кавалерия Белова взорвала и этим застопорила бронепоезд, он не мог уже двигаться ни в сторону Ржева, ни в сторону Вязьмы. Но кавалерия эта прошла и пошла на город Белый⁸. Немцы их окружали и расстреливали в упор. Мы когда там копали, где эта господствующая высота, там попадались, например, бекеши. А я сам казак, родился казаком и помру казаком, тем более что я казачий офицер. Я знаю, что это значит. Но никак мы не могли добиться в подольском архиве, чтобы узнать про конницу Белова, — не пускали они никого. А потом в 86-м, по- моему, дали добро: оказалось, что это была кавалерия генерала Белова. Потому что Доватор из-под Вязьмы на Волоколамск за сутки маханул, дошел конницей. Когда были 28 панфиловцев.

Меня так судьба свела, что я знал одного из оставшихся генералов-панфиловцев. Он на Бабушкинской жил, я приезжал к нему, помогал ему кухню устанавливать. И он мне рассказывал. Да, их не 28 человек там было, была рота. И он говорил, что не удержали бы этот рубеж под Волоколамском, если бы за ночь, за сутки, кавалерия не дошла до них. Он показывал мне письма, которые писал, ответы их, Министерства обороны, что так надо, не будем менять историю, какой ее знают люди, чтобы и мнение их не менялось. А у кавалерии, говорил, лошади до чего были приученные, что раненый на них ложился со связкой гранат — так-то ее уже кинуть не может — и прямо в танк впирался и вместе с конем погибал. Лет шесть назад я возил отряд Степана Николаевича Лишина за Волоколамск, за Шаховскую: там был слет поисковый, а я на машине, отряд мы туда отвозили. И там как раз ребята нашли на переправе подковы, причем летние. Они спросили: «А чего так много подков?» — «Понимаете, — говорю, — сначала была зима и были подковы зимние, а это обоз шел на летние переобувать, немцев уже от Москвы гнали, коня надо было перековывать. И вот везли как раз летние подковы. Но на переправе их бомбанули немцы с самолета, поэтому все и поразбросало». Они попритаскивали их на все фасоны.

И вот то, что Погорельцы ржевские, Струнино тоже — все меняется, меняется в каком смысле: сам ландшафт становится другим, зарастает. Раньше везде поля были, как у меня, например, в Малом

Петраково, а сейчас — заросли березняком. Их даже если вырубашь эти деревья, ландшафт уже меняется. Но самое интересное, что, как бы ни менялось все, если есть захоронение или что-то такое, всегда есть там и какая-то подсказка. Если внимательно смотреть, такое место отличается. Вокруг может стоять береза или ветла старая и вокруг деревья молодые вроде зеленые, но ветла эта еще ярче их, ярко-зеленая. Сразу вопрос возникает: почему все эти деревья в радиусе пятнадцать-двадцать метров обычные, а ветла такая, как будто ее подкармливают целенаправленно, понимаешь, чтобы больше прожила. А начинаешь раскапывать и под ней натыкаешься на захоронение — все там перерабатывается, но образуется своеобразный кокон. Все перегнивает, но если есть кислород — быстро гниет; в болоте вытащишь — он будто живой, но только на воздух вытащишь — сразу распад пошел молекулярный и все такое. А когда в земле — получается вакуум, оболочка такая, которая сохраняется, пока ее не пробиваешь. Корню же не скажешь, что нельзя — вон даже асфальт поднимает маленький росточек мягонький, ты его пальцем сшибаешь. Но ты же не пробьешь асфальт, а он — запросто. Вот оно тебе и питание, органика, этот кокон. Вот такие вот маленькие нюансики и указывают на то, что вот здесь есть. А так если посмотреть — вроде как будто и ничего особенного. Все зеленое, все хорошее.

И тоже так идешь, смотришь: поле, здесь раньше было поле, но почему-то в одном месте есть пятак, на котором кустарник, местами уже сгнил: он недолго же живет, десять-пятнадцать лет, но и молодняк там же поднимается. И вопрос возникает: почему его не выкорчевывают? Думаешь: как же так? А начинаешь разбираться: ведь он в любом случае должен бы был сам перегнить — все вокруг же опуханное, а оказывается, что был блиндаж, его все боялись и объезжали. А кустарник зарастал и зарастал. Он тут же падал, перегнивал, а корни вниз уходят и блиндаж все больше скрывают. Самое интересное, что там, пускай, и захоронения нету, но сохраняются те же самые шинель, книжка записная, карта, чье-то письмо. И когда начинаешь все это просматривать, вырисовывается определенная картина.

Оказывается, что вот это направление, общее, неверное, что шли они совсем не так, как все думали, что на самом деле чуть правее

братъ надо. Они шли в обход. Тут-то проходишь — пусто, и непонятно, как тогда они могли идти и куда подевались. Никого как будто нет. А один из участников наступления пишет письмо, что, мол, мы в третий раз будем наступать, мы уже напрямую не пойдем, так как до этого два раза не получилось, но пойдем со стороны Жерновки, правее на три километра, чтобы они не догадались. Надо этих гадов фрицев вышибить. И все. А ты сразу понимаешь, что вот, они обошли.

Из этих мелочей многое складывается. Я, например, знаю, что если сейчас поеду, в Малых Нетраках, там дом сгорел, деревня вся выгорела, подожгли по весне траву люди, один дом остался мой — Богу, видать, так было угодно, не дошел пять метров огонь до сарая и до дома. Там все поисковики останавливаются, чьи-то внуки приезжают. Там у дяди Вити покойного дом был. Поставили дом двухквартирный, а внутри фундамента — захоронение. И люди так и жили.

А узнал я как: дядь-Витина теща сказала, что вот здесь захоронение. Она тоже маленькой была, в двенадцать лет таскала тела, захоранивала. Вот так-то. Они в Нетраках на берегу Осуги жили, а это уже коллективизация когда — в кучу всех сгоняли в Малое Нетраково. Большое Кропотово и Малое Кропотово — там немцы переутюжили так все, на три метра в глубину, каждый миллиметр земли раз пятьсот побывал наверху и внизу. Немцы утюжили наших, когда наши прорвались — немцы из бронепоезда валили так, что мама не горюй. Жеребцово тоже. В Никоново после войны еще жили. А немцы жили в Аристово — там болота, поэтому погребя делали наверху — они жили в этих погребах. И со стороны Осуги, с Зубцова, шли наши, и, судя по сводкам, наступали — а там тоже дальше болото и поле — вот я пока еще туда не добрался. Нет, конечно, я там ходил, но конкретно со щупом хочу отработать это направление, где Осуга впадает в Вазузу^[132], поглубже, за болото. Не было пока времени. Объем же какой: пятнадцать квадратных километров. Другой раз так идешь на какой-то конкретный квадрат пробивать его, заодно щупом щелк, щелк так, вдруг бум — о! — находишь.

Оно же как: когда этим занимаешься, оно очень затягивает. Я почему сейчас мало езжу: я, когда надо, приезжаю, помогаю. Если уже пошел — то все. Меня только запусти туда — я лет пять не буду вылезать, мне до фонаря будет все. Не из-за того, что мне нужны

какие-то железки — нет, выжить я всегда выживу: рыбалка есть, охота есть, муки пошел, купил. Но вот это все затягивает. Сидит где-то в подсознании, что не должен он там быть, он должен быть похоронен как нормальный человек, как бы там ни было — коммунист или нет. Они же не успели перестроить еще людей, хоть от Бога отреклись, ото всего. Они втихаря все равно молились, Пасху отмечали, православные, крещеные — не должны так лежать они. Сколько поднимали там людей: правнуков их находили. В Аристово, где мемориал, фотографиями залеплено все. И дорогу сделали от Хлепня нормальную, а то раньше как на внедорожниках там было гонки устраивать, кто первый проедет эти семь километров. А через Аристово на Никоново там только плотина была, люди когда-то сделали. И больше плотин не было, чтобы орошение было земель, чтобы низко было. А когда плотину поставили после войны, чтобы в Москву вода шла, и все — все начало заболачивать.

Так вот это место по сводкам: сколько туда народа ни поступает, никто не возвращается. Приходит пополнение — сразу атаковать, там господствующая высота, и опять ничего. Со стороны запада — немецкие окопы, а наши уже с востока нападали. Переходило там все из рук в руки. В некоторых местах, даже в Петраках, мам-Дуся говорила, просыпаешься — немцы ходят, на второе утро просыпаешься — наши ходят. Спрашивал: «А как узнаешь?» — «А курицы начинают орать — это наши начинают курицу из сараев вытаскивать, резать, жрать». Не пойдут спросить, что дай поесть. Пу, правильно, у нас же, с одной стороны, эта психология русского человека, поэтому ни Европа, ни Америка и не могут понять, почему мы выигрываем, голодные и холодные. Как они говорят: «Мы воюем до последнего патрона». А у нас — до последней капли крови. Вот тебе и разница. У него патрон закончился — он развернулся и ушел. А у нас и хлеба-то нету, а ничего, все равно деремся. И вот так менялось, пока немца в 43-м не погнали. Вот тоже, с одной стороны, понятно, почему скрывали настоящую правду. Теперь я понимаю почему. Раньше у нас фильмы показывали: война, как они боролись, как они защищались. А у нас сейчас чего показывают: он уже не герой — он снасильничал, застрелил, убил. Для него, зрителя, это герой нынче. Раньше это было обучение молодежи ценностям, что на войне

погибли те, кто сражался за лучшее, за свободу, чтобы ты мог учиться, жить, спокойно работать. А сейчас этого нету.

Если про захоронения говорить — в общем, в тех почвах, где кислотность большая, разлагаются останки очень сильно. Тело-то — это само собой. Но и то разлагается, что может навести на то, кто лежит: письмецо или еще что. А вот где почва щелочная — там все хорошо сохраняется, особенно в песке, под Ленинградом, например — там нет кислотности. А так, не знаю, как начал интересоваться. Когда в детстве бомбу нашли, я начал копать и в библиотеках: где, куда, как, лазать, интересоваться. А как уехал в Сычевку учиться, тут мне вообще целая лафа досталась — мама не горюй, непочатый край работы. Мы специально оставались летом на каникулы и уходили коров пасти, при этом у нас была свобода действий. На тех же полях и были сражения. И мы ходили спокойненько, каждый выходной копаешься, что-то находишь. Так и начинает вырисовываться такая история, которую, кстати, надеюсь, сейчас назад возобновят. Молодежи начнут опять в голову вкладывать, что это святое. Забудешь свою историю — нет у тебя будущего.

А там много чего сказано, в земле. Вот тоже шел так — самое элементарное — когда ты одиночка, то у каждого по-своему подготовка идет снаряжения. Когда идешь одиночкой, помимо щупа и лопаты, обязательно с собой топорик, кошка, ножовочка, нож, спички охотничьи или веревочка — это всегда — чтобы можно было из деревяшки добыть огонь. Потому что разные ситуации бывают. Однажды шел: лось, кабан, тропа такая была, звериная. И я читал по этой тропе, знал, куда иду, — там был тыл немецкий. Мне хотелось посмотреть, что там немцы творили. Потому что они что-то строили, загоняли пленных, а потом, когда те все закончили, они их расстреляли. Мне надо было этих пленных найти. Так я их и не нашел. Вместо этого нашел немецкое кладбище. Оно и до сих пор там, я никому не говорю. Хоть и приходили, я всегда говорил, что не знаю. И вот когда проваливаешься в болото, не всегда есть палка, вот тогда нужна кошка: на куст ее выкидываешь и спокойненько гребешь, выползаешь, сам себя спасаешь. Потому что вдвоем — да, подстраховка.

[...]

Я по всем этим заведениям^[133] не хожу, что это за комедия? Комедия и получается. Приходишь — они и начинают, мне лично неприятно, когда молодой человек или девушка старшему человеку тыкают как равному. Никакого уважения нету. Нускай он даже выпимши. Уважать надо только за то, что он столько лет прожил. Значит, он за это время ни в тюрьму не сел, ни убил. Что-то хорошее же тоже, наверное, сделал? Уважать можно хотя бы за это. Не может же человек, родившись, все время плохое делать, что-то же хорошее тоже делает? Хотя бы за это уважать надо. А тут нет никакого уважения. Сначала, когда мелочь в экспедицию ведешь, в Доме пионеров им свою политику в голову проясняли, а я если приеду, то показываю, как с щупом работать, как лопатой, как палатку поставить, как огонь разжечь, какой топор нужен с собой, заточка какая и что. Все о том, как выжить и спокойненько жить и работать. Из чего сделать шалаш, как быстрее разжечь костер, какое полено срубить — и тому подобное. И вот они едут — они место никому не уступают. А уже после экспедиции едешь в метро и наблюдаешь: только кто-то старший заходит — они встают и уступают.

Одиночкой я всегда был. Я не могу долго находиться в компании. Если надо детей обучать — это ради бога, объясню им все, буду дотошен, покажу разными способами. Если он этот способ не понимает, я найду ему другой, придумаю обход зигзагом, но он у меня запомнит и будет работать.

Но вот я сижу и мне в голову пришло: я начинаю анализировать места, где я до этого проходил. Так как у меня была очень хорошая зрительная память — это кто угодно подтвердит. Сейчас не могу похвастаться, а раньше в плохую погоду за версту видел, кто идет ночью, все было хорошо. И я анализирую: шел, шел, а вот на это место мне захотелось дойти. Я встаю, беру снаряжение и иду, начинаю на том месте копать, чтобы понять, почему меня именно туда дернуло. Или привлекло что-то, показалось, что что-то не так: не такая цветом трава, кочка не такая или яма, какая-то она вроде и природой завалена, но вроде и рукотворной изначально была. Или почему здесь яблоня растет обломанная: значит, здесь что-то было? А яблоня еще и явно не дикая. На эти все мелкие нюансы когда обращаешь внимание — самое основное это. Ну и, естественно, когда шурф пробиваешь и начинаешь смотреть: тут уж смотря какая

территория. Где много воды, где болото — тут надо делать отлив. Было такое, Кетевана Дмитриевна со своими работала, поднимали захоронение, отвод воды делали. Чтобы со дна добрать, делали отвод в сторону для воды, оттуда ее вычерпывали. Нужно же целиком раскоп отработать.

Некоторые такие... Как бы это сказать, не обидевши их? Они недоделанные поисковики и недоделанные черные копатели. В общем, не тын и не ворота: они хапанули, нашли чуть-чуть — о! — и всё. Не доработали, не взяли то, что нужно было. Как было, когда я ездил с отрядом из Таджикистана в Гагаринский район. Там деревня Рыльково^[134]. Мы ездили по старым захоронениям, где до нас уже работали вот такие, как я сказал, недоделанные. Не будем говорить недоделанные — несостоявшиеся. Серединка на половинку, непонятно что. С виду вроде поисковики, а так — ни вашим ни нашим. За ними по отвалам мы находили очень много костей: наших солдат были останки, потому что линия советская каша была. Находишь ботинок — в ботинке половина ноги — это для них нормальное дело.

Некоторые задаются целью — вроде того, который, как я говорил, пол-леса перекопал. Самое интересное, что ведь когда он раз в двадцатый это место копал, он наткнулся на тот архив, но до этого не мог. Значит, земля убрала, а потом выкинула.

В 43-м году, когда под Курском сражение было, перелом, как говорят, войны — с каждой стороны было по 1200 бронемашин. Это вошло в историю как перелом войны. А в это же время, может, чуть пораньше, подо Ржевом, тоже было танковое сражение, с каждой стороны было по 1500 бронемашин. Это никуда не вошло, потому что не было перелома. Как рассказывают старые: шли войска по дороге, а вокруг сплошные трупы были. Дышать невозможно, поэтому их стаскивали, воронки расширяли и туда скидывали. И куча верховых было. Иной раз думаешь, как же этот верховой тут оказался, вроде наступление в стороне было. А потом, когда начинаешь просматривать, как оно шло, понимаешь, что войска наступали. Одного ранило, кто-то попытался оттащить его в сторону, сказал: «Лежи, приду», побежал дальше. Его шлепнули.

Тот раненый пытается куда-то выкарабкаться или кто-то находит из местных детишек. Но он уже все, не выжил. Его чуть прикидали,

ночью прикопали, чтоб немцы не видели — и все, так он там и находится. Так, бывает, и думаешь: несостыкówek же много. Так же получаются несостыковки и с минными полями. Немцы по инструкции четко все ставили, была у них книжечка специальная. Или вот однажды копали: нашли инструкцию по ведению огня по самолетам, где все написано, рисунки, в каком положении стрелять. А наши по инструкции никогда не работали. Если они минировали, ты уже по плану, по схеме, если она есть, ничего не надываешь. Может, поначалу чего и попадется, зато потом — ничего не найдешь.

Установление и противотанковых, и противопехотных мин было не по каталогу, не так, как учили, самостоятельно ставили. Немцы, так же как и наши, умели читать. Их разведка изучала технику установки, поэтому они спокойно разминировали эти поля. Вот и все. Так же как и в Липецке авиация: лучшие стервятники Геринга, ассы, были обучены до войны в Липецке, нашими пилотами. Сталин убил всех инструкторов, кроме одного, который в Сибирь драпанул — он сам с Сибири был. А остальных — всех. У Мишки Черепанова из Казани должна была ксерокопия остаться — он работал по легионерам из Франции. Он нашел тогда бумаги — я сам видел — он работал в архиве, и ему отдали папку с пометкой «совершенно секретно» — с фамилиями, именами и званиями легионеров. До этого никому не давали, но он каким-то путем умудрился добраться. Я это видел. Все те, которые легионеры шли из Франции после войны, их арестовывали в Москве, в НКВД, там мурыжили-мурыжили, потом отправляли в Сибирь как предателей народа СССР. Одного-единственного не тронули, потому что он был сибиряк и ехал домой. Его просто не остановили, ничего. Чешешь в Сибирь — ну и чеши. Черепанов, кажется, книгу по ним писал, по этим легионерам. Сколько там было человек — я не помню. Это вот такие они одиночки: копаешься в чем-то, попадает что-то интересное — и начинаешь зарываться. И пока не добьешься своего — ничего не получится. Вот тоже: сколько ходили — кавалерии все не было и не было. Откуда она взялась? А потом дали добро на открытие архива, и выяснилось, что это Белов с казачками с Украины шел.

Если честно и откровенно, поначалу, когда я копался, когда мелким был, подростком, мне было просто любопытно, что там. Так как я по жизни любопытный и всегда, если что увидел, я должен

этому научиться. Пускай профи и не стану, но если надо будет — тоже сделаю, буду в этом разбираться. Чтобы я мог с любым человеком встретиться, поддержать разговор, а не сидеть, как пень, не понимая, о чем идет речь. Вот мне было интересно. У нас были курганы дома. Князь Владимир — помнишь, из мультика? Его брата убили, он там захоронен. Маленькие были — интересно было там копать. Но нам запрещали это делать, потому что нельзя мертвых беспокоить, иначе плохо будет. А тут такая возможность, понимаешь. Картошку копаешь и видишь, что из-под комбайнера идет кость. Хотя я в ветеринарный техникум поступил и окончил его, но первый курс еще был.

Отличить человеческую кость от животного не всегда можно, строение скелета у них, как у нас, одинаковое количество позвонков, кроме одного животного: у лошади орловских рысаков на один позвонок больше, не пятнадцать поясничных позвонков, а шестнадцать. У остальных всех пятнадцать. А тут тебе косточки, тут череп человеческий. Сначала это было любопытно, но потом переросло во что-то большее. Увидел медальон, и любопытство переросло в задачу найти, откуда этот солдат, его родственников. Еще тогда пропаганда нормально шла. Как советская власть кончилась — все это и поменялось. Когда медальон нашел... Мы с Сергеем когда нашли его, потом он отдал его — не я отдавал, а он — вот тогда что-то внутри как-то перещелкнуло: и в голове, и в душе. Поменялось все. Уже даже мысли начали в голове по-другому вырабатываться, идти в другом направлении.

До этого как было: найдешь косточку, отложишь до следующего раза, потому что надо идти. А стало по-другому, вот эта мысль засела: «Падо найти». Сразу в голову приходит: «Чем раньше я его найду, тем раньше мы найдем родственников, тем раньше его похоронят родственники и успокоятся». Вот эти мысли начинают приходить. Вроде как мозги с юношеских на взрослые переключаются. Это как Всеволодыч покойный сказал, Олег Всеволодович: «Лес быстро делает взрослее».

Мысли уже начинаются не детские, не юношеские. Когда ему рассказали про меня, он сказал, что про меня можно писать книгу, фэнтези. Потому что то, что происходило со мной в лесу, рассказала Олегу Всеволодовичу Кетевана Дмитриевна. А потом уже мы с ним

познакомились. Как раз тогда на Красной Пресне в Доме пионеров они работали. С тех пор так и понеслась.

Сначала было нормально: закончилась экспедиция — пошел и занимаешься своей обычной работой, в Москве или где ты работаешь. Потом опять экспедиция — и оно уже начинает тебя втягивать. Сначала не замечаешь. Потом уже думаешь: раз ехать, надо захватить и выходные, отряд уже уехал, а я продолжаю работать. Па машину сядешь, на выходные приедешь. Сто километров для бешеной собаки не крюк, все нормально.

Потом замечаешь, что в понедельник на работу, но я могу взять один выходной лишний — и я беру его, чтобы побыть побольше в лесу. И я с этим щупом шастаю туда-сюда, обход делаю. Потом отпуск: надо на две части разбить — десять дней сама экспедиция и пять дней мне еще надо, чтобы я мог пораньше, дня за два или три, приехать, обследовать место. Потом последние два дня или три уже после экспедиции — я должен все проверить, все ли в порядке или что-то упустили. И вот ты ищешь. И вот так оно начинает втягивать потихоньку. Когда понимаешь, что все вот это надо поднять — хоть оно уже никуда и не денется, это захоронение, ты его уже нашел — но нет, нашел, даже если в последний день, ребята все собираются уезжать — ты работаешь.

Если захоронение большое, то, значит, рядом есть и небольшие, одно или два. И ты остаешься, начинаешь искать и поднимать и этих. И так с каждым разом экспедиции все удлиняются. По в какой-то момент уже и понимаешь, что нет, пора передышку сделать, потому что втягивает. Так ты становишься лесным человеком, ловчим смерти. Ловчий смерти в каком смысле: ты ловишь смерть, которая держит убитого солдата. У нее, если поймал, солдата забрал, перезахоронил, батюшка службу отслужил, и он попал в рай. А не остался в руках у этой.

У меня в голове давно это сидит. Я не знаю, откуда это. Я просто сидел и что-то записывал. Записывал в тетрадь, отрабатывал поле вместе с кустарником, записывал, потому что надо было уже уезжать: дождь начинался, погода плохая, смысла не было там торчать. А чтобы не забыть, что в каком месте видел, я записывал. И почему-то мне вот это в голову пришло — «ловчий смерти». Я долго думал, почему мне эта мысль вдруг в голову примчалась, так резко, ни с того

ни с сего. Я попытался разобраться почему. Если ловчий тот, кто ловит, — это я понимаю. Смерть обычно не ловят, это она тебя ловит. А тут получается наоборот. Значит, меня это уже не касается, она не меня ловит. А ловлю я ее. А если я ее ловлю, то для чего? Не для того же, чтобы самому туда сгонять!

Потом до меня дошло: смерть пришла, убрала парня в свои руки и держит, не дает ему, чтобы нормально его похоронили, чтобы службу отслужили. Не раз ведь находили и крестики при себе у погибших: и на шее, и в карманах. А она держит. Вот ты ее поймал, его забрал, отслужили службу — и все. Свечки поставили. Смерть уже тут не властна. Его уже душа может переселиться во что-то другое, она уже не без вести пропавшая. Потому что смерть приходит к старым, которым уже написано, что пора, а не от пули-дуры, которая тоже, как и смерть, женского рода. И война тоже женского рода. Все женского рода. Хоть и мать — женского рода, она дает жизнь. Но война забирает, пуля забирает, смерть тоже забирает. И вот смотришь: как же все это получается. Получается, общее, что у всех есть, которое разрушает, подчиняется смерти. Остальные — это ее слуги, которые для нее выполняют работу. Вот и все. Вот такую формулировку я себе сделал.

В каждом месте разные особенности. В Петраках если утром встанешь, солнце поднимается, вроде все как обычно, но видно длинный такой туман. Вокруг нету, а в одном месте — облако тумана, небольшое облачко стоит. Значит, точно там кто-то есть, хоть один или два. Не обязательно даже человек, может быть, лошадь убитая. Все время так. Но у нас же потоки разные, поток ветра ты и не замечаешь, а облачко тумана от этого может сместиться. Оно всегда есть. Первоначально оно там собралось и пошло, ветерок хоть чуть и отодвинул, но оно есть.

Так же, как и с землей. Сколько бы ни пахали: вот вроде ровное поле, а приседаешь на корточки, смотришь — вроде ровная полоса, а вдруг есть провал. Везде, где есть захоронения, которые просто присыпанные, земля будет держать этот провал. Держит ровно, если сверху большие листы железа, ящики, срубы или доски накидали, да и то они же сгнивают, там как уголь или торф получается. А если по какой-то причине повредить эту целостность — воронка все равно образуется. Поэтому, когда щупами пробиваешь длинными, вроде

ровно, а потом приезжаешь на следующий год: здесь проходил, ничего не было, а теперь смотришь — уже провал, шурф начинаешь забивать глубже — и вот тебе и наткнулся. Ты пробил вот эту целостность, оболочку. Вот блиндаж, в который попал снаряд. Взорвалось, воронка-то получилась большая, туда и наскидывали эти же самые деревяшки сверху и засыпали. Они перегнили, и получился как торфяник, понимаешь, такая целостность. Там начинается своя реакция химическая идти. Оно и держит. А ты ее щупом пробиваешь, соответственно, кислород попадает — и все, распад пошел. Причем она начинает очень быстро работать, реакция.

В лесу такая целостность еще лучше сохраняется. Если она была — так и будет. Корни деревьев очень хорошо все это держат. Как была воронка, провал — так оно и будет, никуда не денется. Если там органика есть, любая органика: животных или людей, то все это перегнивает, а деревья рядом намного лучше растут, красивее выпядают, потому что пищи много вокруг, удобрения. И вроде смотришь на ту же сосну или ель, которые по восемьдесят лет живут: она вроде уже и засохшая, осколок в ней торчит — ты медную трубку в дерево вбей, оно у тебя засохнет за год, окись пойдет — а тут снаряд летел, у него кольцо тоже окисляется, Осколок такой застрял, но он оброс, дерево не гниет, потому что питание корням хорошее, вот и стоит.

Бывало, пилишь дерево — а там осколок торчит или пуля. Если старое дерево находишь, которое еще со времен войны — прикидываешь по возрасту, визуально, что, когда здесь бои были, оно должно быть достаточно толстым уже, процентов семьдесят-шестьдесят пять, что за ним прятались от пули. Некоторые задницу прячут, потому как у них мозгов нету, а иные башку берегут. Башка есть — значит, выживешь, а задница есть — все одно труп. Поэтому солдат за дерево ложился, прятался, из-за него стрелял. Значит, если убили — здесь обязательно что-нибудь будет. Падо с коротким щупом прохаживаться. Вот и смотришь. Бывает, что те, которые помоложе, деревья, выпядают плохо, уже и подсохли, и есть загноения, а другие деревья старше, и продырявленное уже, может быть, но прекрасно себя чувствует.

Плюс в лесу влаги много, поэтому вот эта дымка, про которую уже говорил, очень часто присутствует. Только в чаще такое

ощущение, как будто художник мешает краски: серая, белая, голубая, зеленая вдогонку — всего понемножку, но как бы жилами. Такой красивый цвет. Это же как фосфор выделяется, так и другие элементы — они и дают такие оттенки. Это надо в лаборатории анализ делать, какие реакции происходят, что дает какой оттенок. Но выглядит как туман. Идешь-идешь — и он в глаза очень хорошо бросается. Все равно как на севере по снегу идешь, и если что-то черное показалось или какой другой темный цвет — тебе сразу на глаза попадает. И если видишь такой туман с оттенком — это уже первый знак, значит, тут что-то есть. А дальше уже раскладываешь: какие погрешности, ветер был ли, откуда, ночью какой ветер был, с какой стороны — пазл такой складываешь. Получается, что туман нашел, а под ним ничего нету: ветер был оттуда большой, деревня ему мешает — значит, метров за пятьдесят или семьдесят оттуда приволокло. Туман же густой, он цепляется как паутина. Цепляется за куст — и всё. Пока не оторвется кусок — там и будет. Пауки же так и перемещаются: паутину ветер поднимает, и он на ней и летит, пока не зацепится. А не ползают они, как другие говорят. Они не такие дураки, как мы думаем.

И вот так смотришь: может, и не будет ничего в тот день, а потом в другой день идешь — опять туман, опять такой же оттенок — он всегда есть. Значит, что-то ты упустил: возможно, искать надо было под самым деревом, под корнями. И это уже сложно. Можно, конечно, целиком дерево выкорчевать направленным взрывом, но «зеленые» тебе башку оторвут, если узнают. Да и слышно очень далеко, когда грохочет. Значит, начинаешь подкапываться. Оказывается, что был блиндаж, небольшой, лисья нора так называемая, немцы любили так делать. И там солдат гикнулся, попал туда — косточки лежат.

А дерево обросло, как бы закрыло яму, не повредило ничего, но и добраться — не доберешься туда. Так же делали, когда воевали в лесу: деревья не валили, а окапывались возле них, маскировались. Самолет-разведчик чтобы не мог увидеть, естественно, оставляли деревья. Корни этих деревьев яму с погибшим обволакивают — и прекрасный получается саркофаг. Как склеп. Все прекрасно сохраняется. Начиная от костей и заканчивая оружием, и еще чем угодно, любым хозяйственным добром: находили зубную пасту — чисти ей хоть сейчас, тушенку — открываешь, разогреваешь, и хоть бы что, нормальная тушенка. Не считая шампанского, коньяка — это немцы

любили. Водка, спирт. Которое запечатанное — все прекрасно сохраняется. Как делают, когда опускают шампанское в море на три года и оно кораллами обрастает. А тут в земле все прекрасно сохраняется.

Если брать карты, то есть старые, которые времен Великой Отечественной, и наши — те, которые были составлены после коллективизации, когда всех сгоняли после войны уже... В одной деревне два человека осталось, а до войны было пятьдесят, в другой — двадцать, хоть было сто. Их всех — в одно место. А те населенные пункты, из которых переселяли, обозначали как урочища. А потом и вообще они исчезали. Поэтому на картах, которые находишь у погибших офицеров, обозначены места, где после боя, если была возможность, были захоронены люди: возле какой деревни, сколько до нее метров, какой признак — дерево, железяка, бульжник, всё что угодно.

Это немцы при наступлении своих забирали и хоронили, и отступали — по возможности забирали. А наши — нет. Всё потом. У немцев не было мародерства, они хоронили полностью. Если другой немец что-то снимет — его пристрелят и рядом похоронят как погибшего в бою. И когда карты начинаешь сопоставлять: по донесениям здесь захоронение, а смотришь на карту и думаешь — так здесь же вообще ничего, никого. А идешь по местности: вот оно, мама родная. Старые яблони стоят — а они долго живут, по триста-четырееста лет, есть такие древние сорта. Не то, что сейчас современные эти, привитые, двадцать лет — и на фиг. Старые сорта — они росли долго. Малина. Только понимаешь, малина не дикая, которую в лесу медведь лапой собирает, а малина культурная. Две большие разницы. Смотришь: ага, здесь был хутор, кто-то стоял. Начинаешь с миноискателем: пищит все. И дальше уже от тебя все зависит, какая у тебя смекалка.

Обычно, если я сам копаю, я это делаю как: пробил щупом границы, но по этой границе не копаю, я копаю больше, чтобы у меня стол был. Чтобы в дальнейшем, когда уже вроде выбрал, проверить все вокруг: вода когда поднимается, пласты земли перемещаются. Основная масса остается в одном месте, а другой пласт — в другом. Может то, что посередине, снести, а может то, что снизу. Поэтому всегда должен быть запас. Это у американцев все в рамках, они за них

не выходят, а русский человек так не может, ему всегда надо простор. Тогда он хорошо соображает. В клетку посади — что-то упустит. Здесь тиранулся, присыпало — и забыл. Тот же медальончик или медалька. Осыпалось — и все. А так у тебя уже площадка есть, ты уже знаешь, что на все это расстояние ничего нет. Иначе пласты осыпятся — и то же колечко, ту же ложку потерял. Все что угодно. Ведь даже из пуль выливали ложки — свинец же. Я сколько таких находил. Свинцовая ложка как деревянная, круглая. А если чего — и в рукопашной пригодится, она тяжелая, в лобешник зарядил. В сапоге хранится. И на ней четко выписано: Петя, Федя, Вася, Сергей... Это у немцев ложка с вилкой, только у офицеров были серебряные, они вместе складывались. Они за свой желудок беспокоились, мама не горюй. Чистое серебро у офицеров. А алюминиевые выдавались тем, кто был у них наемники: англичане, испанцы, венгры, австрийцы, румыны. Это им давались, даже и не всем. Тем, кто продвигал линию Степана Бандеры, — вон как у нас баркашовцы были, то же самое.

Это не касается войны, просто польский еврей решил политику свою прогнать. Как у нас первоначально революция была коммунистов, как Ленин с Крупской продвигали, у всех все было, а завершилось чем? Там то же. Что Шухевича грохнули, помощника его. В 39-м же немцы в Польшу пришли — он там был. При Российской империи Польша была в России, после революции — отделилась. И с доброй души барской... Как я говорю — полукровка: у Ленина же отец калмык, мать еврейка, так и Гитлер наполовину австриец, наполовину еврей, нормально. Вот Ленин всю западную Белоруссию и Украину, Прибалтику всю отпустил, сами по себе жили. Мол, у нас Советский Союз — все. Он отдал. В 39-м немцы пришли — западные Белоруссия и Украина сразу попросили присоединить их к России, и прибалты тоже. Потому что немцы пришли — они ничего не помогали, как раньше, при царской России, все строили, фабрики помогали строить, меценаты деньги вкладывали. А эти только забирали. И по башке еще давали вдогонку. Они и присоединись. Это сейчас они говорят, что они уже все, самостоятельные. Да даже если взять, как они вон на Украине написали букварь — там Адольфик и Аляврик. Аляврик — знаешь, что такое? Это что на польском, что на старославянском — это сын лярвы, то есть низшей, павшей женщины. А это ее сын, ничтожество. А у них все прекрасно. За двадцать лет два

поколения подготовили капитальнейше. До ста досчитать умеют — и хорошо.

А немцы умно делали. Они шли завоевывать, им нужна была земля. Но они — никто из них — не учат историю. Начиная со Средневековья: Римская империя была крупная, весь мир под себя подчинили. Славяне три раза брали Рим. Но, в отличие от них, хоть они и называли нас варварами, хоть это и касается немцев, мы не разрушали памятники. Мы забирали ткани, золото, драгоценности, мужиков за шкварник — кто в плен попал, до России груз дотащили — то, что набрали, а дальше: хочешь — оставайся, хочешь — домой вали, пошел ты на фиг. У нас не было рабовладения. Все малые народности, они все хотят власти, а у нас этого нету. У нас в крови это не заложено. И вот они шли за этим, да, им расширяться надо было. Но они же тоже решили: сначала шведов, крестоносцев, на Неве разбил Александр, потом Ледовое побоище — опять же немцев, потом нашли дурака Наполеона. Как сейчас спрашивают — кто такой Бонапарт Наполеон? — Не знаю! Бонапарт какой-то военный, Наполеон — какой-то писатель!

Нормальные ответы! Хоть он и умел одновременно писать и читать, получил втык? Нолучил! Почему? Потому что они уничтожают все прошлое. Вот как раз такая пропаганда была, мы старый мир разрушим, мы новый мир построим. Построили. Ни коммунизма, ничего. Хотя бы социализм какой-то был.

С одной стороны, хорошо, что люди учились. Хоть и раньше учились, при Николашке, но при советской власти была обязателька, а при Николашке — хочешь учись, хочешь нет. Не было принудилочки. А при советской было. И немцы, когда приходили, мам- Дуся говорила: они никогда не обижали никого, не насиловали, ничего такого. Вот он сидел в доме, квартировался офицер, он приносил пайки и угощал шоколадом, ему все равно было. У него был приказ — занять и удержать, потому что надо расширяться, мы — высшая раса, сколько им лет это в мозги вкладывали. А, извини, Гитлер хороший оратор был, хоть и ефрейтор, но языком болтал — мама не горюй. В народ пошел и убедил. Не считаю Мюллера, Бормана, Геринга, которые свою цель преследовали. А этот — нет.

К чему такое предисловие: они приходили, они немецкие карты нам не дают, и в Германии их не достать, не выцыганить. Они четко

указывали по сводкам, немцы — они же педанты до безобразия. Доклад: деревня такая-то, было нападение, столько-то человек потеряно — со стороны Советского Союза столько, с немецкой стороны столько, лежат в такой-то воронке, все указано вплоть до координат. Этого не отнять у них. Наши могли так сделать, что нету солдата — да и ладно, треугольничек без вести пропавшего высылают — значит, все, предатель. Были случаи, находили: отвоевал, дома живет, а документы потеряны — значит, враг народа. И потом находится его медаль, привозят. Даже извинений ему не было. И ни угля не давали, ни пенсии, ничего, хотя он старичок уже. Вот такая у нас черта.

Поэтому немцы и брали всех этих, давали им возможность делать что угодно. Всем, кто у них служил, начиная с румынов, венгров-мадьяров, они давали им свободу действий. Прабабка говорила моя покойная, что, когда они уходили, даже чугунки дырявые и те забирали. Заходили, все выгребали, утаскивали.

Вот только одно у меня никак не укладывается в голове: я не могу просчитать, хоть и пытаюсь, одну маленькую такую задачу — земля свое время держит, потом начинает выталкивать наверх, чтобы нашли, в определенные периоды. Это я четко вижу. В определенный период она выталкивает, наверное. Земля через определенное количество лет, допустим, еще через год, прошло с войны шестьдесят лет — и она раз, именно в этот период по всему СССР, где были бои, в определенное время, или в мае, или в июле, показала, где есть, хотя до этого ходишь и не находишь.

А проходит еще три года, рядом, в других местах, где были бои, появляются тоже захоронения: земля показывает. Вот у меня вопрос всегда был: почему не сразу? Они же захоронены в одно и то же время, например, в 41-м году, летом. Только одни в начале июля, а другие — в конце. Разница в две недели. По одних земля отдала, чтобы их нормально похоронили, через шестьдесят пять лет, а этих через шестьдесят восемь. Знаешь, для чего? Чтобы если в одном месте нашел, то через год или два знать, в каком еще месте наверняка вскроется, кто тут похоронен. Вот я пытаюсь это просчитать. Как бы там ни было, тело — это оболочка, в которую заключена душа. Душа-то вылетела, но пока не будет произведен определенный обряд — она связана. Душа не сможет переселиться, например, в новорожденного

ребенка и дальше идти. Торможение идет, понимаешь. Вот эта цепь, связь держится. А когда земля отдает — службу отслужили, определенный ритуал церковный, у нас батюшка прочитает за упокой — и все, эта связь обрезается.

Вот я и пытаюсь понять. Первое — узнать, через какое время и в каком месте она выдаст тела, чтобы я четко знал, куда идти в этом году. Сначала вот здесь я нашел, а через месяц знаю, что уже вон там вскроется. Хотя я до этого ходил здесь десять лет, ничего не находил. Если я буду это знать, я приближусь к ответу, зачем земле это надо. Как раз будет там маленькая ниточка, за которую я возьмусь и буду за ней идти, пока не вырастет большой канат. И будет так, пока я до якоря не доберусь, не узнаю почему. Я понимаю пока только одну часть, очень маленькую: что земля удерживала в себе. Но тоже вопрос: почему же такое время удерживала, раньше не выталкивала? И почему отдает, как будто по частям? То ли для того, чтобы окончательно очистилась эта связь и душа отпустилась. А в первую очередь, чтобы люди — мы же как насекомые, мы паразиты, только более умные — чтобы память наша не закисло, чтобы дальше и дальше, поколение за поколением [сохранялась. — *Ред.*], вроде померли все — а тут на тебе. Если мы потеряем эту память, эту связь, мы станем просто существами в облике человека, ничем не отличающимися от других животных. Только более изощренный ум, потому что у тех по два процента мозга работает, а у нас десять процентов: как бы выжить, думаем, чтобы не подохнуть, и всё.

Было сначала нормально: вши же тоже лечат. Ты никогда не задумывался, почему обезьяны никогда не болеют желтухой, нет? Я тебе скажу, приведут один жизненный пример. Один парень заболел желтухой, молодой пацаненок, лет девять-десять было. Врач лечил, а он все — желтый уже. Мамка от врача выходит и плачет, а бабки, которые там на лечении, все время сидят перед больничкой — им до обеда еще долго, они позавтракали, вышли трещать. Одна и спрашивает эту мамку, чего она плачет. Та рассказывает, что так и так, у сына желтуха, разошлась желчь. Врачи лечат, но сказали, что помрет. Бабка и говорит: «А ты сходи, найди цыган и попроси у них вшей. Заплати деньги, если попросят, а так отдадут — скажи спасибо, свечку за здравие поставишь. Когда найдешь — утром на варенье живую вошь посадишь, дашь ему съесть, также в обед и вечером, по

одной. И так недельку». Она пошла, нашла, начала давать. Через недельку парень стал здоров, все на место встало. Врач посмотрел, говорит: «Что, вшами накормила?» Он знал! Киевский медицинский институт — он лучший был в мире и в СССР. Начинали лечить всем, от нетрадиционной медицины и до нынешней, лучшие врачи получались. Не считая Кашпировского, Чумака — они тоже эти институты закончили, были медики, но стали лапшу вешать. А это народное лечение. У вши есть какой-то фермент, который заставляет организм выводить лишнюю желчь и нормально перерабатывать, какой-то есть в ней фермент.

Вот мы пока не докопались до кровушки, до нефти, до газа, средневековье наше. Почему называли так — городовики? Мы были развитые, читали-писали, все нормально было у нас. Мы были как раз этими вшами, которые полезные. Мы жили в идиллии с природой. Мы сажали, мы лишнее срезали, то, что ненужное. А когда начались войны эти в Европе, когда начали Америку осваивать, тогда начали друг друга уничтожать. Дельфины сейчас тоже: если сталкиваются разные виды, они друг друга убивают, они не дружат. Хотя они и умные, развитые. У них свой язык, и нас они понимают.

А сейчас мы паразиты. Потому земля погибших нам и отдает, чтобы память не потерялась. Ходит поохотиться, показывают по телевизору, стреляет, я извиняюсь, дура эта, старая карга, на кладбище лет пятнадцать прогулы ставят ей, а она ходит жирафов стреляет, носорогов, чтобы сфотографироваться, львов. Женщина-англичанка, по телевизору показали, как ездит стрелять животных. Она их не ест, ничего. Старая уж, я говорю, должна она быть на кладбище. Она ездит убивать зачем? Зачем детям показывают, как убивают льва, как разделывают жирафа для львов, скармливают...

Самое интересное, вот, например, в Германии все захоронения понаходились, в момент. Черепанов или кто-то туда ездил, итальянцев искали, и они наши. Те, ихние поисковики — ни фиги не могли найти. А наши взяли и нашли. Пилотов нашли, которых немцы подбили и бабки похоронили на огороде. Наши нашли. Не итальянцы, никто другой, именно славяне. Вот тоже вопрос возникает, природа для чего-то же нас держит? Как монголы говорили — урусы, урусов держит же она? Потому что у нас какая-то логика не та. Вот спрашивается: я с удовольствием еду на поиск, я нахожу, я могу

пройти по территории даже без щупа и сказать, что вот здесь и вот здесь может что-то быть. А в другом месте скажу, что ничего нету, можно и не рыпаться. Ребята проверяли: и правда нету, мусор один, консервные банки. Но в голове у любого, также и Витьки с Наташкой^[135], они копают, и тут же рядом у них хозяйство. При этом они не забывают — Наташка же печет сама хлеб — не дает земля забываться. У нас в Ивантеевке выруби сейчас свет, закрой воду зимой — половина в деревню сбежит к своим, а половина подохнет, не будут знать, что делать. Что можно взять снега, костер разжечь, чтобы подогреть, чтобы вода у тебя была. Не, они помрут.

Вот война... Все осознают, что она глупая, глупо вести войны, но при этом верх берет то, что война — самый лучший доход. Как говорят, жадность — это не порок, это привычка. Чем больше есть, тем больше хочется. Война — это деньги. И война — это территория, жажда власти. А у нас никто не отменял привычки. И какие еще черты есть: зависть, жадность, вранье и тому подобное. Воровство. Оно все есть. Только одни контролируют это, а другие — нет. Идут на поводу привычек, да еще и вообще развивают это в себе. Сознательно. И при этом смотрят ангельскими глазами, мол, у них этого нет. Дураки учатся на своих ошибках, умные — на чужих. А мудрые — сидят и пиво пьют. Они уже паучились быть и дураками, и умными, стали мудрыми — что лучше сидеть пить пиво и никому ничего не делать. Но это уж старость. Вот и все.

Земля так же точно, как и вода, и кусты — они, как диктофон, сохраняют запись. Как видео. В разных местах при определенных обстоятельствах, при определенных температурных, звуковых аномалиях высвечивается то, что происходило, — запись воспроизводится. Можно же было видеть сражение под Ватерлоо, когда оно было двадцать пять лет назад. Так и здесь. В Долине смерти под Новгородом: вечерет, а из-за кустов идет солдатик, колючку наматывает. Ветерок подул, он хоп — и исчез. Или спишь, и среди ночи у тебя — бух, ох, стоны всякие. Вскакиваешь, начинаешь искать — а нету ничего. Тут же все притихло. Ты же вышел — и сразу меняется сам фон. Поначалу он, как магнитофон, запустил эти звуки, воспроизводить начал, а ты проснулся, фон поменял — и запись все, прекратилась. А в следующий раз при похожих условиях опять тот же звук будет повторяться. Крики, вопли о помощи. Это реально. Кстати,

это очень хорошо чувствуется, если ты долго ходишь. Я почему и говорю, что это затягивает. Если месяца два посижу в лесу, где было захоронение, мне потом уже не нужен шуп. Я буду уже чувствовать, где что лежит. Вот тут захоронение, тут одиночка. Я буду их чувствовать, буду их находить. У нас люди одни верят, а другие у виска покрутят — и поедешь ты в психушку. Здесь есть у нас Абрамцево психбольница. А в Москве — на улице 8-го марта. Там как раз дурка.

В общем, у человека, как у меня, например, включается восприимчивость тех или иных моментов, того, где что находится. Если человека подстрелили, то он умирает, но за жизнь цепляется, а значит, появляется сильная энергетическая сцепка. Он говорит: «Помогите» — и это записывается. Он помер, но вот это, энергетический сгусток — остается. Он никуда не делся, он на этом месте. Его не ветер не отгонит, ничего. Но чтобы его воспроизвести — я считаю так — нужны такие же обстоятельства, такой же энергетический поток, такая же ситуация, сходное соотношение природных катаклизмов, которые были на тот момент, когда был высказан этот крик о помощи. Тогда и воспроизводится.

Вот шел он тогда, наматывал. У него же в руках был провод, а не колючка, но шел он по колючей проволоке, наматывал телефонный провод. Но его видать, колючку видать. Около нее его и шлепнуло. И все явления сложились такие же, как в тот момент, когда его убили. И вот тебе видение произошло. А ты начинаешь чувствовать это, как магнит: магнит же притягивает железо, так и ты магнитом становишься, абстрактно говоря. Ты — магнит. Твой организм настраивается и начинает работать именно как магнит. Тело наше состоит из тех же веществ, что и земля — та же таблица Менделеева. У нас каждая клетка имеет информацию обо всем организме, обо всех органах. Из одной клетки можно полностью восстановить человека, кроме одного органа, который компьютер — это башка. Не могут найти ключ, как она работает. А нашли бы — делали копии.

Так и земля передает. И когда находишь — люди пугаются, конечно, которые увидят это. Представляешь, только выйдешь по малой нужде — и вот он лежит, на тебе. Спросонья не понимаешь, то ли мы вчера пришли после дождя и слишком много водки выпили, чтобы не замерзнуть, не простыть, то ли не знаешь что. Вот это

отторжение появляется, страх, адреналин. Он очень гасит восприятие, отталкивает от себя. Как другая сторона магнита отталкивает. А когда ты нормально и спокойно это воспринимаешь, тогда сразу понятно.

Если увидел его, то он пройдет именно тот путь, которым его убили. Здесь он вышел, думал о своем, он шел и не понимал, что будут стрелять, в его мыслях был провод, что его нужно дотянуть. И каждый раз ветер будет этот мираж раздувать, уносить. Вот и ищи место, где он свой путь не дошел, — найдешь его. Но информация будет оставаться.

Но тут есть еще одно но. После того как его нашли, службу отслужили — нить-связь оборвалась, и видение уже больше не будет показываться. Как старая пленка. Как у нас сейчас диски на магнитофоне: информация, которая на него нанесена, запись, по какой-то причине перестает удерживаться, есть срок удерживания. К примеру, три года всего запас прочности. Как и у любого металла, у любой вещи есть запас прочности. Проходит срок — разваливается. Так и у дисков, так и в земле есть запас. Земля удерживает, но так как земля меняется, вот эта прочность ослабевает и начинает уходить. Она уже не удерживает, хоть и должна подольше держать, вот этот запас прочности, удержки этого захоронения по каким-то причинам, под воздействием каким-то природным: людей, зверей, червяка, который там взбесился, решил, что он птица, и из земли выскочил, и отверстие осталось — кислород попал. По каким-то причинам мелким...

Ты, наверное, не помнишь, был такой мультик раньше «За 80 дней вокруг света»^[136]. Там мистер Фикс вредил. Этот лорд, чтобы жениться, должен был вокруг света облететь, а ему мешали. Иначе он выиграет пари в Англии, он же англичанин. С ним Паспарту ходил, который говорил поговорками. К примеру: «Жизнь — цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения». Улавливаешь, почему? Цепь — она крутится, звену не придавал значения — и оно разлетелось, колесо остановилось, велосипед упал, и ты вместе с ним, кого-то повредил. Вот и здесь. Эта цепь идет, а звено кто-то по каким-то причинам кто-то вышиб. Тот же червяк. Понимаешь? На самом себе я испытал такое.

Мы с Глушковым Сергеем, с которым я учился, шли по перелескам, искали захоронение. Он говорит: «Сейчас бы найти

немецкий карабин!» Я тыкаю щупом рядом, Сергей слушает и говорит: «По-моему, кость!» Я отвечаю: «Сейчас у него спрошу!» Говорю: «Уважаемый!» — вслух, он рядом стоит, лес вокруг, никто меня за дурака не примет — «Дорогой, ты там лежишь, ты не подскажешь, в каком направлении тут карабин лежит немецкий?» Серега говорит: «Ну, чего, сказал он?» Я говорю: «Да!» Беру щуп, подхожу, тыкают, бум — вот и карабин. Он говорит: «Да ну! Просто железяка!» Копает — вытаскивает немецкий карабин. Понимаешь? Все это взаимосвязано. Просто я перестал впоследствии на свои ощущения обращать внимание. Я знаю, что мне нужно сюда прийти, и я знаю, что там будет.

Раньше, когда ко мне это приходило, я обращал внимание, потому что мне же нужно было понимать. А потом, я знаю свой организм, знаю, как он работает. Па что реагирует и почему. Я вот кофе пью, только когда организм требует. Он не хочет — и я не буду. И сладкое так же ем. Я знаю, как мой организм работает. И вот я иду-иду, я могу просто сесть, посидеть, где-то там в облаках о своем подумать. «А вот здесь надо выкопать» — как будто ощущение, что невидимый кто там стоит. Я сразу понимаю: раз-раз, проверил — есть. Каждый раз повторяются похожие ощущения.

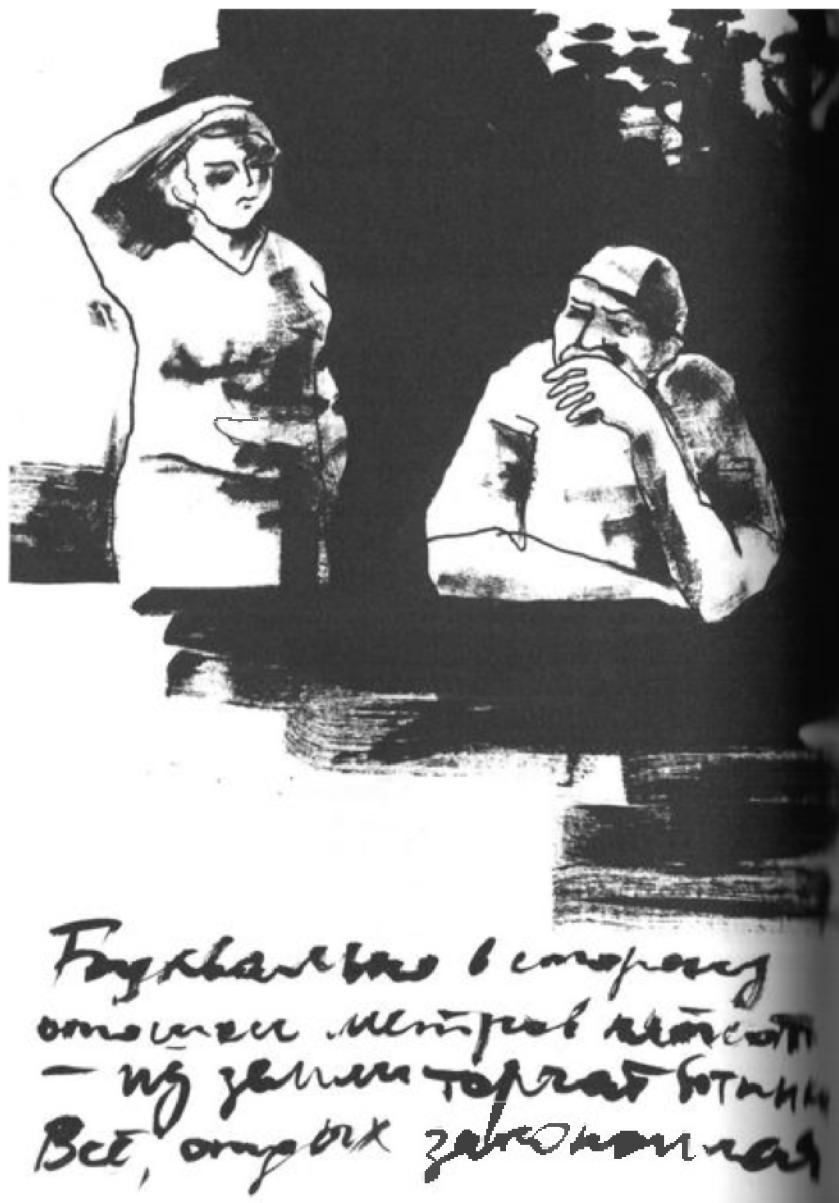
По в других случаях — идут по-другому ощущения. Зачастую, когда где-то захоронение, и хочет он домой, он понял, что его убили: он или умирал, или уже шел, понимая, что его убьют — потому что человек знает, когда его убьют, у него уже одна мысль: чтобы похоронили и родным передали весточку. Такого солдата я вижу фантом — он хочет, чтобы его нашли, чтобы его родственники узнали и перезахоронили. Он очень хочет. И я фантомы эти вижу. Я могу на кладбище зайти и увидеть, кто стоит и ждет. Вот завтра воскресенье, люди идут своих, кто умер, навещать. Вот я буду идти, а все, кто умер, стоят перед входом в кладбище и ждут живых, которые к ним идут, они встречаются. Я их вижу. Иногда могут и разговаривать, передавать, о чем они просят. По я этого не делаю. Если так не веришь, можешь у Татьяны Лишиной спросить.

Я не знаю, кто это сказал, я не запоминаю часто, чьи слова, есть такая фраза, что должен быть захоронен последний солдат. Пикто не должен быть забыт. Как бы там ни было, он должен быть отсоединен от своей души. Потому что, как бы там ни было, душа переселяется,

мы это можем помнить не всегда, но душа переселяется в другого маленького человечка. Она даст ему развитие то, которое тот знал. И он будет идти потихоньку, а не обезьяной становиться. А эта связь переселиться не дает. Как говорится, не все же смогли реализовать свои знания, свои умения. А так он отсоединится, вселится малыш — и гляди-ка, и правда сделает вечный двигатель. Может, у кого и было в голове, но не было возможности реализовать.

Помнишь, я тебе сказал, что Татьянин отец сказал, Олег Всеволодыч, что у меня жизнь — все равно что книга фэнтези? Если ты про все это напишешь, тебе скажут, что или ты это нафантазировал, или в психушку отправят.

Часть 4. Ржев



Летят саде солдаты
Воружены за лопаты,
расчетным: Грокоф
Торчи Торчиелли

PHIEB



ВИКТОР И НАТАЛЬЯ МОРОЗОВЫ

Виктор Морозов: Так получилось, что я вырос в детдоме: родители погибли, а бабуле меня не отдали, потому что она рано ослепла. Я вырос в детдоме, окончил техникум, хоккеем занимался, здоровый был как бык. Когда приехал обратно сюда, весил девяносто четыре килограмма. Я не собирался в деревню, а потом думаю: «Да оно мне надо? Надоел мне этот город!» Ну я был горячий вообще, просто по определению был горячий, я бы точно сел. Детдомовские — они народ горячий вообще. Сейчас — это не детдом. Учился я, школу закончил отлично, поступил в медицинский с ходу, и потом... Но это уже другая история... Приходилось по ночам вагоны выгружать. Детдомовцу ведь помогать некому. А утром нужно было на занятия. В итоге я ничего не успевал. Мне ректор говорит: «Либо ты у меня питаешься, либо я тебя выгоню». Ну они догадались. Я говорю: «Не», а он: «Ну тогда я тебя увольняю». Два года всего отучился. Но мне это помогает зато. Я свою жену лечу сам. Ее списали врачи, она лежала вообще. Я когда привел ее в больницу, говорю: «Вы, идиоты (у нее кровь тогда уже в мочу пошла), видите, человек стоит, а вы говорили, она ходить не будет!» Что поделать, если мозгов нету. Сейчас врачи вообще удивительные. Им химию не надо сдавать! Это же вообще ужас! Я говорю — а как без химии, что это за медицина, когда химию не знаешь. Зато когда я загорелся от бутылки с зажигательной смесью, от фосфора загорелся, я смог потушить себя. Я вот здесь загорелся, дома. Одежду-то успел сорвать, но кожа повисла с ладони и горит. Я говорю жене: «Нож давай!» Если бы не срезал, я бы сгорел на хрен. А она хлоп в обморок. Я эту кожу срезал вместе с пламенем — и в воду. Нотом жена бидон воды, сорок литров, с больной спиной вытащила — я окунул в него руку. Держал ее в воде, пока мужики меня везли в больницу. Приехали, я врачу говорю: «Давайте ванную, сделайте раствор!» А хирург молодой, требует: «Вынимай руку!» Говорю: «Я тебе сейчас больницу спалю, понимаешь?» Он: «Там что, волшебная лампа Аладдина, что ли?» Я руку вынимаю — а там дым, потом и пламя херакнуло. Он говорит: «Ща, ща, ща, я за старым схожу!» Был там старый хирург, он сейчас помер, Игнатьев. Тот пришел: «О, —

говорит, — вояку привезли, сейчас загасим, ерунда». А этот молодой моргает: «Чё такое, чё такое?» Молодые, они же не знают. С сыном было такое же, его повез в больницу. А они там говорят: «Мы не знаем, чем тушить». Это же чистая химия! Я говорю: «Вообще-то медный купорос!» Ну чем еще можно погасить фосфор, блин! В Тверь пришлось везти. У нас друг на «мицубиси», как втопил отсюда в Тверь, хорошо, что там друг есть врач.

Сашка как загорелся: мы вот здесь помогали водопровод копать. А он же неугомонный, ему же поглядеть надо. Смотрю — выскакивает. А мы оттуда уже вытащили мотор «опеля», запчасти. Дети взяли и лягнули Сашке — там, мол, клад папа копает. Он выскочил, а бутылка как раз рядом с ним торчит. Я говорю: «Ребят, помоему, зажигательная смесь». Он взял ее, а она так «хлоп», «пух» — и капли на него попали. Ну и все, и загорелся. Я водой-то затушил его, а ни медного купороса, ничего не было. Спасибо, друзья в Тверь отвезли.

[...]

Началось для меня все с того, что в гости приезжал Александр Иванович Василенко. У нас здесь есть поселок Ильченко, назван в честь погибшего майора Григория Терентьевича Ильченко. Это новый поселок, построен в его честь. После войны он появился на чистом месте, на месте прорыва наших войск, где этот майор-артиллерист погиб. Александр Иванович Василенко был, значит, его другом, однополчанином. Василенко командовал первым дивизионом, Ильченко командовал вторым. Он приезжал стабильно каждый год ко мне, каждый год. Жил я тогда в своей родной деревне, до нее отсюда 800 метров. Видите? За ту деревню в годы войны официально было положено 7300 человек. За двадцать четыре дома. Василенко приезжал в ту деревню ко мне. До армии это еще было. Водил меня по местам, показывал, где стояли войска. Это надо было видеть — человек ведет меня и говорит: «Вот в этом блиндаже мы с Гришкой, Григорием Терентьевичем, самогонку пили в перерывах между боями». Вот просто человек показывал. Александр Иванович закончил войну полковником, командиром артиллерийского полка. Он остался жив. Он говорил: «Я повоевал на многих фронтах, но то, что было подо Ржевом, это был ад. Поэтому я сюда езжу стабильно».

Ну вот он ходил, водил. Значит, был такой случай: подошли к окопам, и вот... А, не так. Мы сидели дома, тоже уже допоздна мы засиживались, до трех утра я слушал, слушал, записывал его рассказы. Магнитофонов еще не было, это были 70-е. Он мне говорит: «Завтра сходим, я тебе покажу одно место, где по нам танки проехали. Немецкие. У нас закончились снаряды». И мы пошли. Там еще окопы были в 70-е годы в полный рост, фактически не обвалившиеся, ничего. И так вот, место еще даже было видно, где танк крутился. Я этот песок стал разрывать и увидел останки. На моих глазах Александр Иванович Василенко стоял на коленях и плакал. Это же, говорит, мой подчиненный. Скорее всего, сто процентов. На его позициях, где он воевал.

Но это был второй солдат. Александр Иванович не знал историю, как был найден мной первый солдат. Это, ну да, это, скорее всего, случайность. 75-й год, пошел по чернику. С тех пор я ее не ем. Я пошел по чернику, просто за ягодами. Чувствует же это человек, когда на него кто-то смотрит сзади. Особенно если ты находишься один в лесу. Бывает же ощущение, что сзади на тебя кто-то смотрит? Ну такой неприятный холодок? Поворачиваюсь — на меня смотрит череп, и каска на него надета. Я показывал и сыну уже, и второму сыну. Внук еще, правда, не видел этой сосны, она уже довольно старая, расколота. Вот под этой сосной фактически сидел солдат. Как его убило, это 75-й год. Еще куски шинели были мхом покрыты. Было жутко-жутко. Но до сих пор я помню его фамилию — Мухаметдинов. Это был солдат с Татарстана. Но-моему, сын его приезжал. Две гранаты противотанковые в руках держал. Как его убило, видно, что с двух сторон гранаты лежат. В руках он, видно, держал их. Медальончик спокойно раскрутился. Еще в те годы не было с ними проблем. И место там такое, довольно сухое.

И вот Александр Иванович меня попросил, когда я нашел буквально за какие-то считанные минуты солдата, он мне сказал: «Витя, дай мне слово, Вить, если у тебя будет время и, главное, силы, поищи моих, здесь убитых. Их должно быть много». Вот так, наверное, все и началось. В те годы еще никто не занимался никаким поиском, собирали только останки по полям. Вот здесь у нас есть такое место, где раскорчевали лес трактористы, я еще только приехал сюда, на родину вернулся. Мальчишка. Трактористы старшего

поколения отказались пахать это поле. Я сам слышал этот разговор, они сказали директору: тебе надо — ты и паши, там все поле костями завалено человеческими. Действительно, женщины собирали. Сколько там похоронено — никто не знает. Я знаю только одно: там была тонная воронка, от тонной бомбы. Иван Степаныч говорил, что глубина около восьми метров. И сколько останков в эту воронку сложили — никто не знает. Официально поставили 6125, сейчас уже с нашим захоронением почти 12 000. Вот так, наверное, это вот было начало моего пути.

Что меня подвигло? Я думаю, все-таки долгие разговоры с участниками войны. У меня отец пришел с войны без рук. Я его не застал. Отец погиб здесь уже, когда мне был всего год, я его не помню. Но он был кадровый военный, капитан. Мне рассказывали про отца много. Ну и долгие разговоры с Александром Ивановичем на меня, конечно, подействовали довольно сильно. Я не мог понять, я же когда сюда приехал, были места, в которые просто страшно было заходить. Везде черепа, черепа, черепа. Сколько там похоронено сейчас — я не знаю. Дело в том, что я сам, лично привозил эти останки, которые собирали женщины с этого поля. Никто их не считал: их помыли, уложили. Никаких гробов там нет. Сделали мужчины каркас в земле, полностью отделали, как общий гроб такой деревянный, и уложили туда останки, в третью могилу. Кто, сколько там лежит — никто не знает. Полная телега трактора. Наверное, это было начало моего, так скажем, поиска. Но это не поиск был: скорее мы просто делали то, что не смогли сделать наши бабушки.

Тут приезжала такая дама с Москвы. Сын у нее полковник, что ли, на машине ГАИ. Приехали 9 мая. И в упрек сказала: «Почему же ваши бабушки ничего не собирали здесь?» Вы представляете состояние? Она даже не знает. Потом ее, правда, сын отговорил и увез. Дело в том, что наши бабушки и тетки здесь от голода умирали. Но хоронили убитых. Стаскивали сюда вот, в эту могилу. Наталья эту женщину послала куда подальше. Чего уж там говорить, я расскажу случай, который мне рассказывала бабушка. Она идет, сидят советские офицеры, осунувшиеся такие, около блиндажа. Они говорят: «Мать, похорони убитых, а то мы уже неделю не евши». Это офицеры сидят. Она говорит: и все, и я сознание потеряла. Про еду заговорили. Вот она — живой свидетель. Она кормила детей. У нее было восемь детей.

Шестеро из них — кто от голода умер, кого немчура поубивала. Мою родню. А кормила она их вы знаете чем? Нашла кожаный ремень с солдата убитого и сварила в гильзе. Чтобы дети не умерли с голоду. Только мама моя осталась жива и тетка. Из восьми детей двое остались в живых. Да и то тетушка осталась жива случайно: спас немецкий генерал. Ей финский солдат проломил голову прикладом. Одну из сестер — маленькую трехлетнюю Зою — он сразу убил. А тетушка повыше была, ей финн вскользь попал, только разбил голову. Немецкий генерал это увидел, подошел к ней, чем-то ее вытер. Тогда и финн побежал, принес бинты, замотал ей голову. Вот поэтому так бесит, когда спрашивают, почему же наши бабушки трупы не убирали. Да наши бабушки на своем горбу многих перетасили. Моя говорила: «Мы таскали до первой воронки». Разумеется, они могилы не копали, до первой воронки, и все, и прикапывали. Рассказывала, как видела, что энкавэдэшник стоял, дядя энкавэдэшник, медальоны разматывал и выкидывал. Один солдат попался очень здоровый, килограмм под сто. А тетушка моя, которая весила двадцать килограмм от голода, бабуля, что они могли — докатили труп до воронки, и все. И поминай как звали. Поэтому когда поисковики приезжают и спрашивают: «А где здесь можно найти солдат?», я говорю: «Везде. Везде. Абсолютно везде. Куда пойдете — там и найдете». Как-то телеканал «Культура» приезжал снимать, мы показали им дот. Он и сейчас стоит, этот дот. И бабуля моя была там, и другие женщины с грудными детьми тоже. Там следики ножек детей забетонированы, прямо на крыше. Дот же женщины строили: слой песка, слой бетона, слой песка, слой бетона... Да им памятники нужно, этим бабушкам, ставить. Этот дот атомная бомба не возьмет. И вот наверху, как по жидкому бетону ребенок бегал — следики голых ног и остались.

Ну и тоже корреспондент задает мне вопрос: «А где здесь солдаты?» Она стояла рядом, женщина-корреспондент, и оператор за ней сзади. «Да здесь вот», — и там, где она стояла, ткнул, и попал прямо в череп. Случайно? Да, случайно. Вот где она стояла, в том же самом месте. Говорю: «Вот, нашел».

Недавно нашли еще один блиндаж, его пока не копали. Он целиковый, с бревнами, прямо вот тут, где цветы растут. Мне знакомые эмчээсники говорят: «Вить, на те прибор, попробуй»^[137]. Мы им каждый год сдаем тысячи по три снарядов. Мы местные, чего

бы нам их не найти-то. И премия, и удовольствие. Так вот, они привезли нам какой-то новый прибор, вон там сейчас стоит. Мы этим прибором танк и нашли: на шесть метров взял, как будто этот танк на поверхности был. Сашка говорит: «Папа, чего нам далеко ходить, давай у соседей огород проверим». Угол вот этого забора поваленного — уже чужая территория. Тут купили землю какие-то ханурики, молодая семья из города. Спросил у них: «Можем покопать, ребят?» — «Тьфу, бя, дядя, копай!» Ну мы и прошлись там с прибором. Короче, сто пятьдесят снарядов нашли. Вон, то место еще даже травой не заросло, будем заравнивать весной. Снаряды огромные, если бы рвануло, от деревни бы ничего не осталось. Еще и две авиационные бомбы там же были. Через какое-то время полковник МЧС мне говорит: «Ну что, как прибор?» Я отвечаю: «Хороший прибор! А к нему экскаватор не положен?» Он говорит: «Чо?!» Я говорю: «Вон там копали. Шесть метров в глубину пришлось вдвоем вырыть из-за вашего прибора». Нам поисковики говорят: «Ну не могли вы эту яму поднять!» Я говорю: «Вы вообще самолеты копали когда-нибудь вдвоем? Мы КВ^[138] поднимали — шесть сорок глубина была; в этот танк тонная бомба попала, расколола его». Мы оттуда солдата подняли целого совершенно: с кожей, с лицом. Будто его только вчера помыли, упаковали в эксгумационный пакет и в гроб положили. Его придавило, солярой затопило, и он лежал как в консерванте. Тем более у нас здесь синяя глина — на больших глубинах. Мечта «чернушника».

Тогда же было: стою, значит, возле этого раскопа, а мимо охотники идут. Сашка как раз на дне ямы ползает. Спрашивают — сколько человек копало. А я злой, в соляре, в газолине, грязный весь, говорю: «Не видишь, что ль, сколько человек копало?» — «Совсем, — говорит, — чокнулись». А мы оба в грязи, весь этот танк выволокли почти, весь экипаж собрали. А тот, который целый сохранился, — это сидел пехотинец. Когда броню стали поднимать трактором, вытаскиваем ее из грязи, тросами тащим, смотрим — человек лежит и винтарь, русская винтовка. Этот мужик, охотник который, даже отойти не успел. Я ее прополоскал, осмотрел — и бах! Он прибегает: «Это кто стрелял?!» А я: «Да хрен его знает, ну не мы ж стреляли». Вот в каком состоянии была винтовка, прямо с прикладом, в идеальном состоянии!

Но самое, наверное, запоминающееся — это то, что было совсем недавно, в 2016-м. Приехал как-то друг к нам. Говорит: поедem, я тебе место покажу. Ему тетушка сказала: «Скоро помру, найди там мою сестру!» — и могилу примерно описала. Мы туда приезжаем. Вот представьте себе: поле гектаров под двести. Он жестом руки на это поле показывает и говорит, что где-то здесь была деревня. Представляете, двести гектаров поле, заросшее лесом, блядь? Говорит, ее убило снарядом. Солдат закопали отдельно, девочку отдельно. Где-то здесь, около разбитого дома. Снаряд попал в дом, солдат поубивало и девочку. Ей осколок попал точно в висок. Я говорю: «Господи, Васильев, ты хоть соображаешь, где же искать эту девочку?» Вечером в этот же день, уже солнце садится, я говорю: «Поехали, что-то мне на душе так не по себе». На огромном поле я эту девочку искал ровно полчаса. Щуп попал ей прямо в голову. Все. И 70 человек наших солдат. Вот и все. Мистика. И мы ее передали, она сейчас уже захоронена. Останки трехлетнего ребенка отличить от солдата никаких проблем нету. Но я не смог ее поднимать. Спасибо сыну. Я не могу детей. И прямо в виске торчал осколок от снаряда. Какие еще доказательства нужны? Вот это был шок для меня. Какие там дома? Как стояли? Я, разумеется, всего этого не знал. Просто наугад пошел, ткнул и с первого же захода нашел...

Вячеслав Леонидович Кондратьев. Слышали когда-нибудь? Книга «Сашка». Он приезжал. Я знаю, где он стоял и у кого — у тети Тони Разумихиной, в каком он доме был. «День Победы в Чернове» у него еще есть рассказ. Он тогда же и написал «Деревни русские». Поэму. Не читали никогда? Там есть такой отрывок. «Не узнаю». Это он идет: «Не узнаю, но знаю точно, здесь были. Еще полна земля цветов той страшной незабвенной были — белеющих в овраге черепов». А, нет, «она глядит глазами пустыми белеющих в овраге черепов»^[139]. Это была поэма «Деревни русские». Она так и называется — не «Русские деревни», а «Деревни русские». «Деревни русские родные. Мы всё вас брали, но никак. Здесь проще было быть убитым, чем как-то раздобыть табак»^[140]. И вот эту рошу мы пытаемся сделать...^[141] О Ржеве- то заговорили именно благодаря Кондратьеву. Я добиваюсь уже много лет. Мы пытались и объединиться. Хотя бы памятную рошу сделать. Ведь книга «Сашка» — это что такое? Это документальная повесть. Можно там с точностью до метра провести, я по этой книге

лишинских детей водил: вот как в «Сашке» написано, так и вел. И вот буквально два года назад там мы нашли эту медсестру. Мы ее нашли все-таки, могилу этой медсестры. Сейчас она похоронена в Погорелках. Вот до чего люди были точны в своих описаниях и воспоминаниях о боях подо Ржевом.

Мне жаль, что не удалось встретиться не то что с Вячеславом Кондратьевым, но даже с Еленой Ржевской. Хотя мне говорили, что она желала со мной увидеться, когда сюда приезжала. Ну если я с Лишиными-родителями умудрился не познакомиться, только виделся постольку-поскольку... С их детьми и внуками — да, контактировал, в лесу им показывал, как я работаю, какой методикой здесь надо работать, здесь своя специфика. Дело в том, что даже Цунаева... [\[142\]](#) Тут был очередной скандал, который она же и начала. И она приехала сюда, ее специально вызвали из Москвы. Говорит, не надо ямы поднимать, надо, если захоронение большое, памятники ставить прямо на месте. Я ей отвечаю: «Какие проблемы, поехали». С нами целая комиссия: менты, прокуратура, Роспотребнадзор, блин. Говорю им: «И родных еще давайте захватим этих солдат!» Приехали на место: это уже частная территория, разумеется. Я сходил к хозяевам земли: они наши, местные, земля у них в частном владении. Они меня давно просят достать солдат. Я говорю: «Тонь, вот смотри, меня пришли арестовывать, можно я прямо у тебя на участке солдат похороню?» — «Можно!» А на том месте топь конкретная. Мы раньше туда ходили уток стрелять, к ней на участок. Ну ладно, хрен с ним. Спрашиваю эту Цунаеву: «Вы настаиваете на своем мнении? Что надо тут солдат оставлять?» В это время около нас коровы пасутся. Она говорит: «Да!» Я спрашиваю: «А чего же тогда вы на их могиле стоите?!» Она как прыгнула! А я говорю: «Чего же вы прыгаете, вы же прыгаете прямо на них!» Она говорит: «Да?» Я говорю: «Да!» Я говорю: «Я вот прямо тут сейчас копну на полштыка — и хлынет вода». Она: «Какая вода?» Я говорю: «Дама, послушайте, вы откуда вообще родом?» А она, оказывается, волгоградская. Рассказывала: «Мы одного солдата поднимаем три дня!» Я говорю: «Милочка! (Все, она взбесила меня.) Понимаете, у нас здесь дождины месяцами льют!» Я принес лопату, копанул: тут же пошел поток воды. Щуп свой загоняю, вытаскиваю — из дырки бьет фонтан воды. Я говорю: «Если ты понимаешь что-то в поиске, хотя ты ответственный секретарь, ты

мне приехала опыт передавать, так покажи, где еще здесь могилы. Вот так, на взгляд, определишь? Я-то тебе сразу скажу, есть там могила или нет. Попробуй сейчас, пока телевидение работает, пока камера включена. Вы же красиво говорите. Давайте, вперед, передайте мне опыт, расскажите, как я должен определить каждого солдата в этой яме с водой! Покажете? Иначе все это — треп языком». Она отказалась. Больше мы с ней не виделись. И охрану она, по большому счету, с тех пор от нас и выставляла. А я ей тогда еще сказал: «Елена Алексеевна, вы же, кажется, диссертацию защищали (она же тоже историк — по военнопленным). Вот там работы — непочатый край. Займитесь делом, которое вы знаете. Пожалуйста, не суйтесь». — «Вы артефакты забираете!» Я говорю: «Я не забираю, они у меня на огороде лежат!» Тебе бы сюда приехать лет хотя бы десять назад. Здесь танки стояли, самолеты здесь стояли, понимаешь? Я все раздал по музеям.

[...]

Я когда с армии приехал, буквально меня жена стала поддерживать. Сейчас она руководитель нашего семейного отряда. Председатель. На ней все заботы лежат. Вы представляете, наше было дело останки поднять, а ей — перемыть. Находили по тысяче человек за сезон, она одна их отмывала. Там вот, около реки. У нас дома стояло по девятью, по сто гробов сразу. Паш семейный отряд поднимал под тысячу человек в год. Поисковики не могли понять, из-за чего такое количество — ну не могут два-три человека поднимать по столько. По они привыкли, что вахта — это две недели. А у нас вахта — это 365 дней в году. Это сейчас сын в городе, а так мы ходили и зимой, и летом, и осенью. Беспреданно здесь.

И вот это привело к тому, что началась травля конкретная Морозовых. Ну как, без всяких миллионов, без всяких комфортных проживаний какая-то семейка деревенская поднимает под тысячу человек. Главное — нам ничего не надо, мы до сих пор против финансирования, вообще против финансирования. Государственное дело — это организовать захоронения, нам ничего не надо. Мы живем на войне. У нас вон был случай. Я не знаю, в каком году это. Паташ, может, напомнишь? Мы уехали передавать солдата в военкомат, я Сашке сказал: никуда не ходи в лес один, не надо. Поехали солдата передавать в военкомат — родственникам, для отправки на родину.

Ну, Сашка звонит: «Папа, я солдат нашел». Я говорю: «Я тебя просил — не ходи!» А он говорит: «А я и не в лесу». Приезжаю — он у нас на огороде нашел восемь человек. Наших солдат. Они здесь везде. Здесь, пока водопровод вели, 78 человек подняли. Здесь вся деревня на наших солдатах стоит. Как тут не заниматься?

Поисковикам никак не понять: как так быть может, что Морозовы поднимают по столько? Да просто потому, что мы местные, нам проще. Или вот случай из разряда мистики. Мы пошли работать, ну все, устали. Есть такое состояние, не знаю, состояние души, наверное. Устали от останков. И решили отдохнуть. Просто сходить на Волгу. Пошли: здесь вот прямо дорога на Волгу.

Сколько мы там прошли, я не знаю, может, метров пятьсот. Буквально в сторону отошел — из земли торчат ботинки. Все, отдых закончился. Понимаете? Лежит себе солдатик. Вернулись за лопатой, расчистили: Строков Георгий Георгиевич. Посмотрели по карте, откуда он родом: господи, дальше одна Япония. Приморский край, Хасанский район. Отправить так и не смогли, тут захоронили. Наталья искала родственников. Нашли родственников. Но им оказался не нужен солдат.

Наталья Морозова: Племянница отказалась.

Виктор Морозов: Ну бывает, но это редкие случаи, когда отказываются от солдат. Но бывают. Одна вообще. Ченцова. Ченцов — фамилия солдата. Она тоже племянница, по-моему. Она попросила вообще медальон в землю закопать. Обратно. Понимаете? Я ей объясняю: мне легче вас закопать. Мы для чего солдат-то поднимаем? Медальон находится один из ста, может быть. А вы его, своего родственника, хотите опять закопать. Он пропал без вести, а мы его нашли на поверхности, и вдруг она заявляет такое. Потом приехал его, солдата, внук. Он служил, оказывается, у нас здесь, в Тверской области, он был на захоронении здесь, мы передали ему медальон. Он, конечно, не отказался, мальчишка.

Вы мне можете ответить на один вопрос? Что такое патриотизм? Я вот, например, не знаю. Вот я дожил до седых волос, до шестидесяти лет, но я не знаю, что такое патриотизм. Постоянно звучит с высоких трибун, что молодежь надо приучать к патриотизму. Но как можно приучить к патриотизму? Что такое патриотизм? Я вообще не знаю, что это такое. Теперь и поиск возвели в ранг

патриотизма. Но нашим понятиям, это неправильно. Какой патриотизм? Это долг! Спрашивают: как вы работаете без денег? Мне пришлось привести элементарный пример. Я говорю: вы же, если вы берете в банке кредит, вы же отдаете его, это ваш долг? А эти солдаты — ваши деды. Ночему вам-то должны за их поиск платить деньги? У нас маленько разные понятия, поэтому назрел довольно сильный конфликт с Ноисковым движением России. Слишком разные с ними понятия о поиске.

Я знаю одно точно. Не было никаких бы поисков, если бы не моя жена. Ее терпение, ее умение ждать, когда знаешь, что там в лесу чего только не напичкано было еще в те годы. Она сама участвовала однажды. Мы нарвались в овраге на девять мин, запараллеленных между собой. Если б мы у одной случайно провод оторвали, тогда все девять и сработали бы. Когда я ей сказал: «Уйди», она ответила: «Улетать будем вместе». А по большому счету все это ее заслуга. Она не только приняла эту работу, она приняла ее всем, что у нее есть, всей душой. Какую жену еще заставишь мыть по тысяче останков? Вот это я знаю точно. На ней все организационные вопросы. Я так не могу, не по мне эта волокита, эта нервотрепка. Да и на ней уже сказало: сердце посадила. Доказывать правоту где-то ей, наверное, даже трудней, чем нам. Солдат захоронить известных — это в наше время проблематично стало. У нас было даже такое состояние — хотели бросить все. Было, да, такое: плюнуть на все и завязать с поиском. Но тогда зачем мы всё это начинали, чтобы вот так просто взять и предать дело, которому посвящены у меня, например, десятилетия? Отданы годы жизни. Мне лично повезло не только с участниками войны встретиться вживую, получить это впечатление огромное. Но и с супругой, надо отдать должное, тоже повезло. Только представьте, сколько отрядов спало на этих полах: их надо накормить, обогреть. И все на ее плечи ложится. Но она тоже знает, что такое поиск, и тоже не знает, что такое патриотизм. Мы пытались с ней вместе разобраться, так и не поняли. Да и зачем в принципе долг превращать в какие-то другие понятия. Это не высокопарные слова, это так на самом деле и есть. Высокопарностью здесь и не пахнет. Слишком много отдано. Но самое главное — мы спокойны за тех, кого мы похоронили. Вообще, мы настаиваем, чтобы только в Ногорелках хоронить тех, кто погиб рядом. Есть закон федеральный: хоронить

там, где укажет местная администрация. Но если поднимаем солдата и узнаем, что он уже здесь числится похороненным, то, спрашивается, зачем его везти во Ржев?

Мне нравился подход Лишиных. Я читал его^[143] труды. Их пацанята, Степа, они фактически выросли вот в этом доме. Я видел отношение этих людей к поиску. У них слов «деньги» и «патриотизм» вообще никогда не звучало в отряде. Они своими детскими ручонками каждый останок сидели и отмывали. Это подкупало мое сознание. Это зрелище, поверьте, дорогого стоит. Не по принуждению, как сейчас, когда 500 человек вахта: я считаю, что когда насильно — это бестолковый какой-то труд. Вот Лишиных отряд, с ними я довольно долго уже дружу. Это третья династия уже поисковиков, сначала Олег Всеволодович с супругой, потом Николай Олегович, их сын, руководил отрядом, он привез сюда мальчишек. И вот сейчас Степан. В прошлом году он был. Не знаю, говорят, в этом году он уже не приедет. Но дело в том, что вот уже сын Николая руководит этим отрядом. Хотя там вроде как запрещено детям. Я не знаю, что такого, если ребенок сознательно это делает. Его насильно никто не заставляет. Я видел, что это трудные подростки были. И я видел, как эти трудные подростки на моих глазах менялись в лучшую сторону, когда видели, ради кого и ради чего проводится эта работа. Им не надо было вдалбливать беспрестанно: ребята, это патриотизм. Нельзя это привить.

Я еще раз повторяю: я не знаю, что такое патриотизм. И с этим определением не согласен, что поисковые работы — это патриотизм. Это долг. Поэтому я его отдаю. Я дал слово этому человеку — Александру Ивановичу Василенко: будут у меня силы и время, я буду это делать, чего бы мне это ни стоило. Суждено мне остаться в лесу — значит, там и останусь. Не суждено — значит, будем хоронить. Но я знаю одно. Даже по скромным подсчетам, вот здесь, поднимая все архивы, посчитал я: здесь настолько большие потери, что хватит еще поколения на три, на четыре. Даже если никуда не отходить от Ногорелок. Да, здесь трудно искать. Местность до неузнаваемости изменилась. Даже там, где мы поднимали с этими Лишиными, там уже местность не узнать. Все лесом поросло. Те поля, что я «убирал»^[144], и они уже лес. Здесь все уже заросло лесом. Все уходит.

Вот говорят: дети. Ксюша, внучка Лишиных, так она скрупулезно этой кисточкой среди металла все отчищала — что там может после взрыва в танке остаться, — она по кусочку собирала танкистов. Это дорогого стоит, я видел, как эти дети работают. Кисточкой, спокойно, в этой болотной жиже. Ладно мы, взрослые, — Коля Лишин, я, сын мой тоже. Ну сын, правда, одноклассник с ней. Был маленький, лазал со мной целенаправленно с двенадцати лет. Он солдата первого нашел в двенадцать лет. А младший, он сейчас учится на нефтяника, он говорил: «Вы нас заставляете ходить с собой в лес». У меня такого вообще нету. Мы ждали, когда вот этот Женя-младший созреет. Я его не брал специально в лес. Думал, когда-нибудь он сам созреет, его сознание. В один прекрасный момент мы собираемся в лес со старшим, Женя подходит, говорит: «Пап, я еду с вами». Я говорю: «Созрел». Он: «Пап, созрел». Буквально в этот же день он нашел офицера и восемь человек. Сам, самостоятельно. Он до этого, разумеется, был на раскопках, все видел, но чтобы нашел сам — никогда.

Вот поэтому, наверное, можно сказать, что у нас это семейное. Куда бы мы ни пошли... Мы даже когда купаться пошли, Сашка умудрился в Волге солдата найти в противогазе. Пас солдаты сами находят, не мы их находим. Это, может, из разряда мистики. Много в нашем деле, очень много мистики.

Мне тетюшка говорила: «Сходи, Вить, пока жива, там место такое, там дорога рядом. Мы когда шли, там наших солдат штабелями лежало. И танк наш, "тридцатьчетверка", рядом копал яму. Мы хотели уйти оттуда, но немцы нас вернули назад. Пришли, танк уже стоит дымит. А нас заставили трупы складывать в эту яму. Паш танк был, стоял уже подбитый, вот этот "тридцать четвертый"». Я ей говорю: «Сколько ж там человек?!» — «Ой, не знаю, ну человек пятьсот». Я эту яму искал ровно десять лет. Знал примерно место, и эту местность с завязанными глазами знаю, но саму яму найти не получалось. Приехало как-то телевидение. Они шли сзади, я даже не видел, что они снимают, просто вел детей. «Виктор, как вы находите вообще?» Я не знаю, случайно, может быть. Бью щупом на ровном месте буквально, на их глазах. И аж кровь в голову пошла. Я говорю: «Пашел». Они говорят: «Ты шутишь, что ли?» А я по этим солдатам сколько раз прошел. Десять лет я по ним ходил и по ним ездил. Мы

ведь искали провал: ну яма на 500 человек должна ведь провалиться, верно? А ее танком немецким, оказывается, зарыли. Мы упустили этот момент. Земли было столько, что холм сохранился, а мы искали провал. И дорога проселочная, считай, по ним шла. Мы когда вскрыли могилу, там оказалось 587 человек наших солдат. Установили, кто это — 406-й полк, 178-я дивизия, те, кто погиб в окружении. Таких историй очень много.

Мы решили как. Травля была. Мы состояли в «Подвиге» в 2009 году, такое было поисковое объединение. Потом мы решили плюнуть на все это, и Наталья стала председателем уже тверской региональной общественной организации. Пам проще, Уже к нам не имеет право никто соваться. Она зарегистрирована в Минюсте. Мы имеем право работать на своей территории. И все. И глава района попытался вставить палки, в прокуратуру заявил о незаконной нашей деятельности. Прокуратура ответила: общественная организация, всякое вмешательство государственных структур запрещено. Поэтому мы работаем как работаем. Даже вот этот подъем на частном участке как он может запретить? Наталья — хозяйка этого участка. Все. Согласитесь, это дурдом. Я знаю многие отряды, которые не хотят сотрудничать с ПДР. Они работают самостоятельно. Я многих таких ребят знаю. Их так же травят, так же не дают работать. Даже Министерство обороны подключается. Дело в том, что на нас деньги не отмоешь. Мы против. Финансирование нам предлагали. Даже приезжали из Законодательного собрания, чтобы попытаться финансировать нашу работу. Мы наотрез отказались. Пожалуйста, занимайтесь только организацией процесса: чтобы мы не бегали, не искали спонсоров, не просили родных купить гробы.

По-настоящему мы начали поднимать только в 80-е годы. Это уже планомерный подъем был. Лишины впервые приехали. Я сначала был общественным инструктором у них, состоял в их отряде. У нас отряда не было семейного, поэтому мы с ними ходили. Потом помогали и другим, неважно, откуда они были: приедут из Свердловска — Свердловску поможем. Приедут из Москвы — тоже отвезем в поиск, покажем, где, что и как. Мы находим им захоронения — они сидят, поднимают. Если какие-то ребята хотят работать — да ради бога, почему не помочь. Но, разумеется, самая серьезная работа была построена с «Долгом». Это происходило уже в 2000-е годы, тогда

проводили первые плановые захоронения. В 2007 году — перерыв. Тогда хоронили во Ржеве. Было открытие мемориального кладбища, но не было останков для торжественного захоронения. У Морозовых опять они были, пришлось почти 600 человек хоронить там. Работал другой глава района, поэтому у нас не было вообще тренировок: сказал — хороните ради бога. Похоронили в 2007 году два раза: первый раз 925 человек. Сразу с «Долгом» хоронили тоже. 925 в Погорелках и 280 в соседней деревне, мы ее проезжали. Потом 2008 год. Наталья проводила захоронения. Значит, 766 человек. Это всё Погорелки. Потом, в 2011 году, уже появился другой глава района, уже начались тренировки, так как он был категорически против.

Там была вообще просто кошмарная история. В 2008 году нахожу я воронку, поднимаю. Ни одного ребра, ни одной руки. Одни черепа лежат, и все. Ничего не понимаю. Огромная воронка. Ну думаю: что ж такое-то, блин! 150 человек. Думаю, что-то то. Покоя не давало это место. 2011 год. Говорю: «Саша, пошли туда. Давай-ка дерн снимать». А черепа были белые и лежат на поверхности. Наверное, после войны долго находились под дождем. Беленькие. Понятно, что кто-то их сложил, эти черепа. И я нашел очевидцев, но это потом уже. В 2011 году мы на то место пошли и сняли дерн огромной площади. Нашли 150 ног и рук. Черепов нету. Кто, кроме этих солдат, чьи это останки могут быть, если прямо в центре раскопа была воронка с черепами? Ну. по логике вещей, это те же люди. Черепов же нету, ни одного черепа. Подходим к главе района. «Нет, везите в город, хороните». Это чё за идиотизм? Головы похоронены здесь [\[145\]](#). Понимаете? Начался конфликт. Глава района сменился, вот этот дурачок пришел. Мы вынуждены были обратиться к патриарху Кириллу за помощью: написали к нему официальное обращение, и конфликт был улажен. Ну как улажен. Этих захоронили здесь, но часть останков все равно собрали и увезли в город. Это вообще, это был дебилизм. Как оказалось, те 150 человек — это отдельный разведотряд 178-й стрелковой дивизии. До сих пор не можем увековечить. Подняли документы: место сошлось, расстояние сошлось, чего еще надо? Какие еще нужны доказательства? Разведчики — своеобразный народ. Они одевались и обвешивались по-другому. Можно любой фильм посмотреть, чтобы понять, как разведчики одевались. Какие еще нужны доказательства? Нет,

сообщают: «Хороните неизвестными». Вот так вот мы превращаем, мы стираем память уже.

Мы же подняли документы, узнали, что 24 ноября 42-го года была брошена в разведку боем целиком разведрота. Ну что такое разведка боем — это смертники. 25 ноября началась кровавая операция «Марс», та самая, а 24-го числа, перед этим, гибнут разведчики 178-й стрелковой дивизии: мне сам Александр Иванович Василенко рассказывал, он же очевидцем был. Говорил: «Мы пошли в наступление после разведчиков. Мы засекли огневые точки, подавили, какие могли. Мы же артиллеристы. Все, что мы видели, — это как немцы стреляют по разведроте. Рота, разумеется, там полегла». А мы вот эти 150 человек и нашли, у которых головы были отдельно. Вот про эту роту мы не можем — уже сколько лет бьемся — мы не можем доказать, что мы их нашли. Они по документам оставлены на поле боя за невозможностью выноса. А их мои бабушка, тетушка стаскивали потом в воронку. Собрали и скидали все, что видели, уже после войны. Когда уже тут все заросло. Они говорят: смотрели там, где иван-чай растет. Где иван-чай — там труп лежит. Примета была такая. Подойдут, крюком зацепят и волокут. Поэтому и черепа оставались, и все, что из шинели высыпалось. Вот так и хоронили. По как доказать, что это все-таки известные солдаты, я не знаю.

Поражает другое. Мне пишет Алекс Рихтер такой, из Германии. Мы иногда переписываемся. Он выходец из Советского Союза но живет в Германии. И по скайпу мы с ним разговаривали. Он пишет: «Виктор, почему при таком огромном количестве известных имен вы хороните неизвестных?» Я отвечаю: «А ты это скажи нашим!» Он говорит: «А я и сказал». И рассказывает про один случай по скайпу. «В Калужской области, — говорит, — стою на захоронении, хоронят 100 человек. Одного известного. Я подхожу и говорю: "А что, остальные неизвестные?" — "Медальонов нет"». Он говорит: «Пу боевые донесения же есть!» Берут боевые донесения. Там, где они нашли солдат, погибло ровно 100 человек. И поисковики тоже подняли ровно 100 человек, но хоронят как именно только одного. Тогда Алекс поехал в Министерство обороны с этой информацией — и ему почему-то разрешили зафиксировать все сто человек с именами. Понимаете? А нам — нет, нельзя.

Мы теперь, после этого случая, поедем обязательно опять с Натальей в Управление по увековечению памяти на Петровско-Разумовскую, в Москву. И опять будем доказывать. Почему Алексу Рихтеру-то можно? Тем более он иностранец. Ему можно, а нам нельзя доказать, что это наши солдаты с фамилиями. Мы семь медальонов поднимаем — и не можем доказать, что эти 22 разведчика известны, что мы знаем их имена. Почему в боевых донесениях 150 конкретных человек погибло в один день на этом месте, и мы поднимаем ровно 150 человек, но пишем, что они неизвестные? Поднимаем командира роты с медальоном, прочитываем его. Приезжают все четыре его дочери сюда, к нам, передаем этот медальон. И место сходится. По нет, мы даже командира не можем записать. Хотя медальон на руках. Это какой-то дебилизм уже. Они не неизвестные. Рота — 150 человек.

Потом наступил 2013 год. Прошло два сезона, и вот через два года опять мы хороним. Много подняли, 604 человека. Просим: «Дайте захоронить в Погорелках: мы нашли их прям здесь, рядышком». — «Пет, везите в город». Опять конфликт, опять вмешались депутаты Законодательного собрания, приехали сюда, вернее, один его представитель, заместитель председателя Законодательного собрания Бабушкин Артур приехал. Постоял, Подумал. Какая только грязь не лилась. Что мы деньги зарабатываем. Подключены были центральные СМИ. Паши, вернее, областные, не центральные. Бабушкин приехал, за спиной, не доложив главе нашего района, тот выше по статусу, приехал сюда и смотрит. Я говорю: «Вы чего ищете-то? Яхты с вертолетом, что ли?» Говорит: «Вот, нам в Законодательном собрании вас обрисовали, что вы чуть ли не торгуете останками». Я говорю: «Да, замечательно». Он говорит: «Я понял». Он потом и дал интервью открытое, говорит: «Я поразился Морозовым, они категорически отказываются от денег, я им предложил деньги на работу, они отказались». И благодаря Артуру Бабушкину во многом КПРФ подключилась, захоронения провели. 604 человека мы захоронили тут, в Погорелках.

2015 год — 800 человек нашли. Цифры масштабные. Коля уже не ездил Лишин, мы уже семейным отрядом хороним. Похоронить не дали. Пу вот вышло уже, по суду не давали, нас в наручники заковали, гробы забрали, увезли. Родные куда только не обращались, к

президенту обращались — бесполезно. Увезли, закопали как неизвестных. Известных солдат закопали как неизвестных. Все. Зарыли бульдозером. Вот и поиск. Сейчас поиском заниматься уже тяжело.

Вот когда написала Светлана Герасимова, что здесь 2 000 000 погибло... Есть такая писательница. Она тверская, наша. Кандидат исторических наук! Мне Коля надавал ее сочинений... Я с ней пытался несколько раз встретиться. Она приезжает во Ржев, но всегда тайно. Она знает, что я буду прав. Какие 2 000 000 здесь положены? Это вранье. Я и выступал, и корреспондентам говорил с федеральных каналов. Здесь никак не может быть такого количества. Знаете, как они складываются, эти цифры? Пожалуйста. Погибший у меня уже числится в Погорелках, но его везут хоронить во Ржев, а значит — похоронен в двух местах. Здесь 13 000 и там уже 15 000.

Кстати, насчет Мясного Бора. Я занимался историей Мясного Бора. Там уже подняли столько, сколько там не воевало. Они уже подняли за 100 000. Вы задайте им вопрос: откуда такие количества, откуда они берутся? Там просто войск столько не было, в Мясном Бору. Пам рассказали в Ленинградской области, когда мы там работали с башкирами по их просьбе. Мы их сопровождали год, послушали за это время, как они работают. Что происходит: поднимают воронку. Находят одну берцовую кость солдата. Второй не находят. Па следующий год в этой же воронке находят вторую ногу, записывают второго солдата. Понимаете? Пет, я думаю, что пошла какая-то невероятная волна. Солдаты вообще должны заканчиваться уже, а у нас наоборот, чем дальше от войны, тем мы больше стали поднимать. У меня даже было предложение к этой Елене Моисеевне Цунаевой. Это ответственный секретарь Поискового движения России. Она тут перед нами распиналась, битый час объясняла, что и как должно быть. Мы им в ответ предложили: когда будете укладывать гробы, вы пригласите нас. Это гробами нельзя даже назвать, эти коробки, которые они придумали. По нет. Они ЧОП даже выставили, чтоб никто не мог подойти. Это что за военная тайна? Когда мы укладываем гробы, у нас федеральные каналы снимают все это. Пожалуйста — если вы не верите, что Морозовы подняли такое количество, да флаг вам в руки, проверяйте. Вот вам видеосъемка, смотрите, как укладываем. Это мы еще переломанных не считаем...

Мы же не до того антропологи, чтобы каждый останок соединить. Мы просто физически не можем это делать, поэтому и записываем в «сборные останки». И все. Мы не можем назвать их количество. Целых мы и пишем: 800 человек. Все. В отчетах пишем: 800 человек и сборные останки. Количество определить невозможно из-за сильного разрушения. Какие еще нужны отчеты?

Странная закономерность: нас попросили писать координаты, где мы поднимаем. Ладно. Ради бога, жалко, что ли. GPS- координаты. Да ради бога. Нам подарили навигатор друга с Москвы. Каково же было наше удивление, когда по точным координатам, указанным нами, разрыты все наши вот эти воронки, которые мы зарыли. Мы подняли, мы же местные, мы же не можем похабить местность, мы опять все это заравниваем, даже дерн на место возвращаем. Приезжаем — все вырыто. Строго по координатам. Что вы там после нас хотели найти? Останки? Но это же плупо! Там глубина под пять метров, каша невероятная, как можно разглядеть все это? Мало того, что он сам брал каждый останок этого обугленного танкиста, так он еще умудрился найти орден разорванный! Вот. Я говорю, его под микроскопом надо в этой каше искать. После Сашки чего вы хотите? Кто? Лишины, конечно, не будут искать, потому что они вместе выросли, вместе поднимали. После них искать что-либо какой смысл? Эти ребята на раскопах сидели и просеивали все: жалко, что уже того видеоманитофона нет пленочного. Там столько материала! Когда дети поднимали на наших глазах, многое записывалось на кассеты.

Те же башкиры, их отряд, они с московским и рядом не стояли. У кого на раскопе в ушах вставлено, кто в телефоне сидит, ну что это такое... Они все в другом измерении: кто ржет, кто анекдоты травит. Другое дело, когда мы общались с Лишиными: с такой заинтересованностью ребята слушали меня, хотели узнать, что я знаю, что мне довелось видеть. Какие они задавали вопросы — все было совсем по-другому.

Никому это уже не надо. Никому, честное слово. Кого только мы за последние годы не видели, каких только поисковиков не встречали. Вот вроде ведут себя нормально, а потом: у тебя немецкое что-нибудь есть? Всё. Вот это главный вопрос. А зачем оно мне, немецкое? Ты спроси: надо мне оно — немецкое? Начинают вроде все одинаково скромно, а потом сводится все к вопросу: «У вас что-нибудь немецкое

на продажу есть?» Я говорю: «Вы зачем едете в лес?» — «Говорят, там война, там можно что-то найти». Всё.

Я когда-то даже написал:

«Чернушниками» мы их называем,
Что клады они ищут, беспредел,
Не зная зачастую, что «чернушник»
От этих кладов в двадцать поседел.

Мне другой «чернушник» намного ближе, чем вот этот белый официал. Почему я его должен называть «чернушником»? Некоторые подъезжают и прямо говорят: «Вы знаете, вот там-то и там-то мы помыли останки, сложили в пакет, оставили записку, где нашли». У меня язык повернется его «чернушником» назвать? Нет. Медальоны тоже они передают, подписанные вещи. А наград тут толком и не было. С 75-го года нами всего три награды найдено. При этом, мы посчитали, мы нашим семейным отрядом подняли больше дивизии. Здесь мало кто был награжден, гибли слишком быстро.

Разные люди в лесу попадались. Номню, были эти твари, баркашовцы. Я с ними тогда серьезно разговаривал. Признаюсь честно, у меня с собой был пистолет. Сзади засунут. 90-е годы были довольно жуткие: у нас заходили, скот резали во дворах и вывозили просто внапую. Тут такое творилось! Но ко мне не ходили. Наши местные так и говорили: «К Витьке не суйтесь! В лучшем случае он вам с "дегтяря"^[146] зарядит, в худшем — гранату кинет». И действительно, было всякое. У нас же тут запросто заходили и свиней выносили, вырезали скот. Просто творилось хер знает что. Страшно было жить в то время.

И вот прихожу как-то в кондратьевскую рощу. И эти, баркашовцы, там сидят. Свастики на одежде, черные береты, рисуют что-то на деревьях. Сопляки. Ну и старший с ними. Я говорю: «Санька, ты прячься. Услышишь, если что-то со мной случится — в деревню сбегашь». И я пошел. Подхожу: сидит сопляк лет пятнадцать- шестнадцать, не больше, ну, может, семнадцать; свастика

у него, какие-то рукава, какая-то херня намалевана на руке. Он такой: «Вот, у нас движение Баркашова-Макашова». Я в ответ: «А, фашисты, что ли?» И старший подходит: «Ты чего нас оскорбляешь!» Я говорю: «А вы кто?» Я говорю: «Ты знаешь, тварь, где ты находишься? Здесь, блядь, костями все завалено до сих пор!» Он говорит: «Чё, умный?» А его сопляк сидит и забивает в череп, череп у ног лежит, он забивает лопату в череп. Я говорю: «Урод, если ты сейчас лопату не высунешь, я тебе эту лопату между глаз загоню!» А старший спрашивает: «А ты кто?» А я ему говорю: «Я здесь живу!» Я говорю: «Сделаем так. Если не хотите проблем. Мне ваша партия долбаная тут не нужна. Чтобы я вас вообще никогда не видел! Даю вам двадцать четыре часа, собирайте свои палатки-хератки. Иначе приходим с местными». И вот так вот просто руку на бок положил. У меня с собой «тэтэшник» был, но я его даже не вытаскивал. Подошел утром в шесть часов, машины их уже отъезжали. Старший мне говорит: «Мы с тобой встретимся». Я ему говорю: «В любое время. Хоть сейчас. Но вас, тварей, чтобы здесь не было. Вас местные перехерачат и даже не задумаются». Говорю: «Вы знаете, уроды, у нас драки были по 400 человек, у нас пожарные разбивать драки приезжали. Мне стоит только свистнуть сейчас, вас так закопают, что никто никогда не найдет!» Я говорю: «У нас драки были, вот клуб стоял (сходим потом, покажу), старый клуб, у которого и дрались, а напротив него — братская могила. Утром мы бабушкам все заборы собирали по новой, потому что заборы были разобраны, а на братской ни одной штакетины никто никогда в жизни не поломал». Я говорю: «Здесь такое воспитание, здесь люди на войне живут». Я говорю: «Сделайте милость, чтобы мы вас никогда не видели». Такая вот была встреча. Чернорубашечники! Черные рубахи, повязка на рукаве. И сидит, на березе рисует молнии эти эсэсовские. «Если я увижу, — говорю, — пеняйте на себя». Я говорю: «Я вас найду в Москве, вот честное слово, найду». Они: «Ну, там наша зона, не сунешься!» А я говорю: «Да что ты говоришь!» Мне уже тогда было плевать... Я говорю: «Я никогда в жизни никого не боялся, я отмороженный». Меня так и звали, у меня кличка была — Баламут. Смеялись бабы: хоть бы тебя, баламута, в армию забрали. А с армии пришел — ой, говорят, до армии такой хороший парень был.

Для меня это святое. Останки... я вообще не могу. У меня должна быть злоба на этих фашистов. На меня вот этот Алекс Рихтер

пожаловался в нашу прокуратуру, в Министерство обороны написал, даже есть видео, что Морозов отказывается поднимать немецких солдат. Они мне предлагали деньги, немецкая сторона. Я, разумеется, знаю, где немцы закопаны. Их никто никогда не найдет. Понимаешь, никто и никогда. Я ему сказал на камеру телевизионную: «Я тебе слово, Алекс Рихтер, даю». Я всем дал слово, что буду поднимать немецких солдат. Помогу, так и быть. По только после того, как подниму последнего русского солдата. А этого никогда не случится. Понимаешь? Я им говорю, если так настаиваете, то помогу вам, ради бога. А он пожаловался, накатал пятьдесят листов: мне глава показывал. Я в прокуратуре показываю: вот, пожалуйста, есть приказ 151-й НКО, попробуйте меня заставьте. И я его и выполняю, этот приказ. Для меня это святое дело: отец — кадровый военный, капитан, пришел с этой войны без рук. Моих три поколения уничтожили эти твари, у бабушки шестерых детей убили. Я говорю, вы что, заставите меня немцев, что ли, копать? Это же глупо! Я не мародер. Я поднял этого немца и культурненько, без железа всякого, зарыл обратно. Его никто уже никогда не найдет. Он хотел русской земли — он ее получил. Какого вам всем хрена надо?

Вот, видишь, подковы какие? Тут^[147] и откопали. Здесь артиллеристы стояли. Это от артиллерийских лошадей. Представляешь, бабуля говорила, что немцы, когда уходили, оставили ей свою лошадь: хромая была, с простреленной ногой. Сказали, что не будут ее резать. Бабушка говорила, они никак не могли ее потом с места сдвинуть. Лошадь — здоровенный тяжеловоз была, но сильно хромала. Бабушка говорила: «Хальт!» скажешь — тогда только идет! Пи хера по-русски не понимала!

По поводу бабушки. Она говорила: «Витюшка, а что ж ты с немцами-то?» А я говорю: «А что мне с немцами делать, бабуль?» Говорила: «Пусть они, твари, там разбросанные валяются». А уже годы прошли, ей уже восемьдесят шесть лет было, когда она умерла. Потом уже она мне иначе говорила: «Витюшка, ты уж немцев там не разбрасывай, ты уж их прикопай там где-нибудь, и пусть они, гады, валяются, ну, лежат там, в земле». Уже все равно маленько спланилось. Я говорил: «Да я их не разбрасываю, они мне не мешают. Я их обратно на место возвращаю, где я их поднял. Посмотрел — и все. Пемец и немец — на хрен он мне нужен». Я говорю, другое дело, если

б я хотел быть как эти, которые торгуют!.. Мне же предлагали, ты думаешь, мне не предлагали?

У меня же ОБЭН здесь был. Искали что-то. Они после этого позвонили главе района, говорят: еще раз ложный вызов сделаете!.. Они все тут обыскивали: разумеется, ничего не нашли. Там в этом сарае не то что ОБЭН — кого только не было! Я говорю, поймите меня правильно, ребят, если б я торговал всем этим, у меня бы свой самолет, вот здесь на огороде, блядь, стоял. Вместе с личным пилотом. Прошли те годы, когда у меня за печкой стояли только четыре эмгэшника^[148]. В рабочем состоянии, стояли просто так. Делать нечего — выйду, постреляю и поставлю их на место. Я говорю, от безделья просто вот выходил и стрелял. Раньше как писали — ржевитяне от нечего делать в выходной день кидают гранаты в Волгу и смотрят, как они плывут. Зато когда я в армии был — отстрелялся тридцать из тридцати! У меня командир был с Сахарова. Ну наш земляк, с Сахарова, с Твери был мой командир части. Ему говорит генерал-майор Олейник: «Хрена у тебя стреляют!» Он говорит: «Это мои земляки! У них за печкой минимум — это пулемет стоит». — «Так он ржевский, что ли?» И все. Ржев он и есть Ржев. Что в Мясном Бору, что здесь. Может, даже и в Мясном Бору поменьше. Что здесь раньше творилось, ужас! Но поражает другое: оружие было в каждом доме, но никто никого не застрелил. Здесь дрались колами, хотя пулеметы стояли за печкой. Дрались цепями даже, ремнями. Но чтобы убить кого-то с ружья или с пулемета, или с винтовки — не было никогда такого за всю историю. Сознание людей было маленько другое. Вот сейчас они попрыгунчики. Во Ржеве был случай, попрыгали на Вечном огне там эти, паркурщики-харкурщики, слышали?

А про наших и говорить нечего. Ну нет здесь наград! Распространили эту легенду, что здесь все в захоронениях лежат с оружием... Да здесь даже хоронили раздетыми! Мы находили солдата, который в уже простреленной шинели воевал. Мне рассказывали очевидцы, что с убитых снимали обмундирование. Особенно когда политдонесения читаешь: «Сегодня убита одна лошадь. Нополнение — 800 человек». Ну если у тебя лошадь убита, зачем тебе 800 человек пополнение? 22 февраля 42-го года: «Идем в наступление, деревня Большие Манты, потеряли за сутки 1500 человек». 23 февраля, День

Советской армии: «Проведены лыжно-стрелковые соревнования». А что, 22-го они не настрелялись, да? Какой-то дебилизм просто. Когда говорят: «Костями завалили!» — я в это не верю. «Ой, зря там положили народ» — да нет, не зря. Но...

Ко мне приезжали ребята-эфэсбэшники с Курска. Ну подвыпили. Говорят: «Витя, мы тебе привезем своих земляков». И целый вечер они мне молотили, какая у них была Курская битва. «Ой, там погибших столько!» Я им говорю: «Ребята, давайте так. Я вас завтра сведу в одно место. Встанем утром и пойдем». Гуляли они сильно, гуляли, погуляли, уgomонились. Я говорю: «Давайте уже спать, иначе завтра трудный день». Утром встали: «О-о-ой, голова болит, берем водку с собой в лес». Я говорю: «Ну это как хотите».

Привел я их за колючую проволоку, там лагерем и встали. Колючая проволока — спираль-бурунок, представляешь, такая, раскрученная? Торчат руки, ноги, головы. Даже не надо в руки брать лопаты! Я говорю: «Ну, начинайте!» 284 человека сняли с колючей проволоки. Без лопат. Как повисли семьдесят шесть лет назад, так и висели. В это место даже не ходил никто, его звали «чертов лес». Там погибло немерено, там заминировано было все. Я только сам девятнадцать мин снял. Туда никого не пускали. А я говорю: «Да надоело мне, на хрен». Суждено — значит суждено, не суждено — отлично. Вот теперь представь состояние ребят этих курских, эфэсбэшников. «Витя, — говорят, — если бы мы своими глазами это не увидели!» Двести километров от Москвы всего, а люди висят на колючей проволоке. Они тогда и пить отказались, они обратно поехали и больше уже ни слова не говорили. Они вообще молчали — в шоке были. Вот собрали все это, Степа потом еще помогал, Лишиных отряд. Всего с этой колючей проволоки было снято 284 человека. И потом на протяжении еще пяти лет я те останки, которые заросли, собирал. В итоге получился полк, целиком, на колючей проволоке. Это гвардейский полк, 22-я гвардейская дивизия.

«В боях за Ржев» книжку если когда-нибудь увидишь, то там будет такая фотография: у церкви в Воробьеве стоит толпа народу. Я — сзади, за Кузьминым, профессором медицины. Он без руки войну закончил, воевал тоже подо Ржевом, в наших краях. Он мне все говорил: «Витя, поставьте здесь памятник собачкам». Я говорю: «Каким собачкам?!» Я не понял сначала. «Да нас, — говорит, —

сначала убивали, когда мы раненых вытаскивали. Тут, — говорит, — столько месива, вы туда не ходите, там все заминировано, там погибло очень много народу. Но у нас, — говорит, — были собаки. Я тогда был командир санитарного взвода. После того как начали нас отстреливать немцы, мы собачек пустили раненых искать. Немцы сначала с такой любовью смотрели: собачка была с санями, запряжена. Она слышала стон раненого, останавливалась около него, раненый заползал, и она по насту, по снегу спокойно волокла этого раненого, обученные были собачки.

И потом стали херачить этих собак немцы, немецкие снайперы. Столько собачек погибло! Хотя на них ведь был крест красный!»

Вот так. Вот такие дела. И я там крест поставил потом, а сраные поисковики, больше по-другому я их и не назову, официалы хреновы, засрали там все вокруг пивными банками, бутылками. Идиоты. Мы туда... у нас батюшка... там была мистика! Вот там, кстати, тоже была мистика, на этом месте. Я подхожу, мне говорят: «Вить, а кто еще есть здесь, кроме тебя?» Я говорю: «Здесь никого нет!» Говорят: «Да ну на хер, — говорят, — ты послушай». И правда, сидим, такая тишина гробовая, и как будто плащ-палатка: шыр-шыр, шыр-шыр — шаги такие. И это продолжалось — звук, как будто кто-то ходит, — пока мы крест не поставили. И наши батюшки-то отказались туда ходить, так что с Москвы приехал батюшка, он там целый час вел службу. Мы стояли, и вот такая была погода — тишь, гладь. Потом он только службу провел — все эти деревья как согнулись, мы аж отпрыгнули. И выпрямились. Мистика! Если б мы этого глазами не видели, я б никогда не поверил! Что-то такое есть, неподвластное нам. Это какие-то непонятные для меня вещи.

[...]

Федор Деревянкин: Помните же фильм «Иди и смотри»?

Виктор Морозов: Да.

Ф. Д. Там есть момент, когда герои убегают из деревни, потом оборачиваются, а за стеной...

В. М.: Нудный такой!

Ф. Д.: Гора трупов.

В. М.: Да-да-да, «Иди и смотри». Жуть какая-то!

Ф. Д.: У меня сейчас такое же ощущение было, когда завернул за угол сарая и гору касок советских у вас увидел.

В. М.: Ну вот... Так и я первого солдата нашел! Представь, какое мое было состояние. Один в лесу. Мне эта черника вот теперь не нужна! Вообще!

[...]

Виктор Морозов: Здесь двести пятьдесят тонн брони лежало. Только танков сколько было растаскано по всему огороду... Бандюки в 90-е годы приехали. Говорят: «Ты должен поделиться металлом» — его же отбирали тогда уже всю. «Ты должен поделиться!» Я говорю: «Да? Не вопрос!» Набираю номер эфэсбэшников: «Нате, разговаривайте с хозяевами брони». Говорят: «А это кто?» Я говорю: «Ну и познакомишься, на хуй». А еще здесь не было даже сотовых телефонов, один сотовый телефон был у меня, мне подарили первому вообще во всей округе. Даже во Ржеве-то не у всех были, не то что... Эфэсбэшники мне подарили, говорят, срочная связь — сразу звони. А связь была уже. Во Ржеве-то были, вышка уже стояла. Ну ладно, звоню. «Вить, ты?» — «Не, это я вот приехал по металлу!» (На громкой телефон стоял, я все слышал.) Эфэсбэшник ему отвечает: «У тебя квартира есть? Так вот, у тебя ни квартиры, ни машины не будет». — «А вы кто?» Он говорит: «Если я сейчас представлюсь — тебе тошно станет!» Ну и все. Он кладет, говорит: «А это кто?!» Я говорю: «Эфэсбэшник». — «А, ты Морозов, что ли?» Я говорю: «Да». Он сразу: «Какого хуя, блядь, мы к нему, на хуй, заскочили!» Так что мне связь эта здорово помогла в свое время.

А сейчас уже новое поколение ФСБ. Они другой раз просят и помощи. В тот раз было, когда «Невский» подорвали. Помните, «Невский экспресс» тогда рванул. Тогда они позвонили, говорят: «Витя, следы ведут во Ржев. Где-то здесь тол брали. Новгородский канал мы перекрыли, псковский перекрыли, а ваш не успели еще». Великие Луки тоже были перекрыты. Говорит: «Похоже, ваш тол, ничего об этом не знаешь?» Я говорю: «Не!» А когда в Домодедово рвануло, помните? А я в это время был там, в аэропорту. Я еще до этого в лесу встречал хуеплетов каких-то, говорил об этом знакомым эфэсбэшникам. Один из тогда говорит: «Ну вот, Вить, я тебе предлагаю поработать». Я говорю: «Стукачом, правильно я понимаю?» Прямо в открытую ему. А второй, с которым я тридцать лет знаком, говорит: «Бля, я ж тебе говорил. Слава богу, что из дома не выкинул. Он точно не будет работать». А когда рвануло в этом

аэропорту, я им сказал: «Ребят, договоримся так: сдавать кого-то или выслеживать я, разумеется, не стану. Но тол я вам, блядь, сдам». Нашли сорок килограмм тола, уже упакованного. Это в моей местности, блядь, додумались же, закопали в моей родной деревне и упаковали даже. Сорок килограмм! Где-то бы еще рвануло. Я потом догадался кто. Сказал им: «Не хотите сесть на пожизненное? Тогда чтобы я вас, блядь, здесь больше не видел». Я говорю: «Я сдам и даже глазом не моргну!» Он говорит: «А че ты такой агрессивный?» А я говорю: «Потому что я,

блядь, буквально вышел из Домодедово, и там рвануло, на хуй. Меня, говорю, Бог спас, блядь. А люди невинные погибли. Твари, на хуй. Метро на Пушкинской, только мы с Москвы уехали, рвануло». А мы в этом метро, блядь, часто находимся. Поэтому даже этим, встречаются, ребятам, «чернушникам», которые приезжают, нормальные взрослые мужики, говорю: «Одно условие, ребят. Чтобы я вас тут больше не видел. Занимайтесь чем хотите. даже оружие это сраное копайте, которое уже никому не нужно. Но я вас сдам с потрохами и даже глазом не моргну. Даже не задумаюсь!» Зато когда менты наши звонят: «Витя, мы с обыском едем!» — я говорю: «Ну тебя на хер!»

Вот повыбрасывали собак, блядь, вот они, бедные. С машин повыкидывали. Это не наши собаки. Отвезут, сука, заводят, потом выбрасывают.

Я не знаю, я бываю нечасто в Москве, я не могу просто в этом муравейнике. Ужас какой-то! Я пацаненком только и бывал, что в Вышнем Волочке. Это полдороги в Москву, полдороги в Питер. Так и едешь: один выходной — в Питер, менты поймают, другой — в Москву. Я вспоминаю, когда Невский и Ленинградку я мог перебежать в любом месте. Там детприемник был, елки. Менты поймают, отловят и вернут.

Ф. Д. Вы из детдома сбегали?

В. М.: Да, конечно! Не потому, что не хотелось учиться, просто адреналину не хватало. А если я в угольном вагоне ехал... Менты еще смеялись потом: «Витя, географию учи!» Я говорю: «Я ее неплохо знаю». — «А как же так, ты куда ехал?» Я говорю: «В Ташкент, город хлебный!» — «А почему в Кемерово попал? В угольном вагоне!» Ох, елки! Меня неделю отмывали! Считаю, полстраны проехал.

Ф. Д. Читали «Ташкент — город хлебный»?

В. М.: Конечно, читал. Детдом в то время, когда я там был, — это три огромных корпуса. У нас народу было далеко за тысячу. И в Дагестане было в 72-м году сильное землетрясение. Я говорю, вот была народность. Мы из двух кроватей... мы спали как? Взрослые не могли найти решение, а мы, дети, нашли решение. Дагестанцев привезли, когда у них родители погибли. Мы соединили две кровати и спали четверо на двух кроватях. Мы нашли решение. И было нормально. Даги какие-то, как сейчас там кричат. Мы переписываемся с ними в «Одноклассниках». Господи, моя первая учительница жива, я с ней по телефону разговариваю. Алевтина Алексеевна, мой классный руководитель, вела меня. Все говорит: «Витька, ты, — говорит, — хирург?» Я говорю: «Я тракторист». Она говорит: «Ты меня до кондратия доведешь! Как так, ты же в медицину!..» Я говорю: «Ну, вот так». Она говорит: «Ты у меня лягушек зашивал, помнишь, как? Шва не видно было!»

Бывает. Стал я трактористом, надо помочь земле, откуда я родом.
[...]

Покинул стойбище давно, а нам твердили: там лишь патриоты.

Ну не могли так люди поступать — так поступают только идиоты.

В том месте, где лилась потоком кровь, где до сих пор лежат еще солдаты,

Нод флагом ПДРа здесь остались вы нам, господа-ребята.

Зачем тогда щас пафосная речь о чистой совести, о этике, морали.

Себе вы врите хоть наперебой, но память-то зачем вы замарали.

И никогда я не поверю в то, что президент одобрил тут стоянку,

Ведь миллионы федеральных средств на поиск выделяют, а не пьянку.

И нам всем есть задуматься над чем: когда от Ржева немчура свалила,

Перед уходом возле блиндажей убрала все помойки и зарыла.

Понимаете? Это вам надо было видеть. Что было после вот этого стойбища. Там, где они стояли, мы прямо на месте их лагеря потом находили солдат. Где памятник неизвестному солдату стоит, там это стойбище и было. С охраной, ЧОПом. И такой свинарник устроили. Там местные плевались. Рядом же погост, кладбище, мемориал, братская могила на 3 000 человек. И вот эту устроили херотень. К нам местные подходили — мы же знаем друг друга. С соседних совхозов люди подходили: что творится?! Все рощи перерыты. Ни проехать, ни пройти. Мы же как делаем: сначала дерн снимем, потом только ямы выкопаем, потом все это на место вернем. Через год и не узнаешь, что там бойцов поднимали. Все, опять такая же местность.

[...]

В. М.: «Черные тропы». *«Все, что вы держите сейчас в руках, — это предисловие. Ни в коем случае, ни в коей мере не претендует на то, чтобы называться книжным произведением.*

Это просто мысли вслух и не более того. Поэтому одна просьба к вам, уважаемые читатели: отнестись к прочитанному снисходительно. Существует мнение, что о войне, а именно о ней будут высказаны мысли, должны писать только те люди, которые непосредственно участвовали в ней, либо люди, видевшие ужас войны. С этим можно согласиться. Делать выводы о войне должны люди, видевшие ее или участвовавшие в ней. Здесь же вы прочитаете всего лишь мнение. И не постороннего обывателя, опять же, личное, ни в коем случае не навязчивое, а человека, идущего, как я ее назвал, черной тропой. Почему черной? Потому что войну по существу нельзя назвать белой, а во-вторых, белыми тропами, как у нас принято считать, ходят только официальные поисковые отряды. Хочется хоть немного приоткрыть занавес и изменить мнение о тех людях, с которыми мне пришлось встречаться на этой самой тропе. Удалось это или нет — судить вам». И в добавление: «Пишу я это не для многих, не надо даже вам читать, ведь кто в раскопах не был, боюсь, меня вам не понять». Эта вот черновая книга была сожжена.

Даже первый листок. «Чтобы понять, как я встал на эту тропу, надо вернуться в 75-й год прошлого века. Оказывается, как давно это было, как быстро летит время. Кажется, совсем недавно 17-летним мальчишкой, после разлуки со своей малой родиной, волею судьбы оторванный на долгие годы от своей малой родины, наконец смог вернуться на свою родную землю. Именно здесь, в совсем маленькой деревушке Якимово, где я родился в 58-м году, расположенной в 35 км от Ржева, мне пришлось взглянуть на тему с другой стороны и совсем другими глазами».

Вот. Триста страниц было сожжено без всякой иронии. О чем? О Василенко, о первой встрече с этим удивительным человеком — Василенко. Это вот первое воспоминание моим мальчишеским взглядом, его рассказ, почти полный. Потом началось. Первая встреча, мое видение войны, потом сразу же 88-й год, встреча с Лишиным, было все. И потом погнало постепенно: разговоры за кострами, встречи с разными отрядами, мнения всех людей. В общем, все было, все.

Ф.Д. Зачем же было уничтожать?

В. М.: Наскучило. Я понял, что это никому не надо. Сам поиск, он уже в извращенном виде, понятия «поиск» как такового теперь не существует. Главная задача поиска была — вернуть имя солдату, вернуть имя из небытия и вернуть по возможности, если он одиночка, солдата домой. Это главная задача поиска. Захоронение неизвестных мы всегда успеем сделать. Перекладывание из одной ямы в другую — я не вижу в этом смысла. Не вижу смысла в поиске теперь. Пусть они покоятся с миром. Перекладывать из одной ямы неизвестными в другую яму неизвестными? С помпезными речами? Зачем? Себя возвысить, обвешаться, как новогодняя елка, этими медалями? Поиск в извращенном виде стал.

Я один раз своему дядьке принес немецкую бляху — мне этого хватило. Я тогда был еще молодой и не соображающий. «Вот из-за этих, — говорит, — гадов твой отец остался без рук, твоя вся семья». Он все-таки пулеметчик. И он говорит: «Мало я их накопил, мало. Предоставьте мне такую возможность». Было такое время, я не помню, кажется, в 90-е, когда посылки приходили «победителям от побежденных». Пу, в общем, от немцев помощь. А у дядьки кулачина здоровый был, сам под два метра. Пу, пулемет таскал целиком со

щитом один. И он, даже уже умирая, здоровый был. Он как по столу грохнул: «Я этих гадов давил, мне от них подачек и денег не надо». Вот это ветераны. Ни разу в жизни ордена не надел. Вон они у меня лежат. Он говорит: «Я сыну не оставляю, тебе оставляю. Знаю, что сын их продаст или пропьет. А за тобой они останутся». Так вот, я ему только показал немецкую бляху. Он говорит: «Витя, убери». Спокойным голосом. И все, и мне этого вот так хватило.

Только во Ржеве до такого додумались: как немцы были здесь в войну на высотах, а наши брали снизу, так и кладбища расположены: советское в низине. У нас же в этом смысле удобно погибших искать: где болото, там наши лежат, где высоты — там немцы. Простая специфика. И даже кладбища выделяли: немцам выделили на высоте, а нашим — в болоте. Сейчас весной там и хоронить — то нельзя, все затапливает, могилы обваливаются. Вот в таком месте выделили советским воинам. Только никто не может понять, зачем нужен этот мемориал, если могилы защитников отечества в таком убогом состоянии. И в плане туризма — тоже неясно. Ну да, мемориал. Кому в память? В память кого? Они, защитники, лежат по братским могилам. Могилы в жутком состоянии. Ни дорог, ни подъезда, ничего там нет. Родные не могут к своим погибшим дедам пройти 9 мая: пробираются по колено в грязи. Только на тракторе на гусеничном туда и проедешь. Сам город, ты видел же, весь в руинах. Зато немецкое кладбище — все по линейке, газончик. Здесь вообще грунт своеобразный. Летом, если жара, работать невозможно, «звенит»^[149] везде одинаково, везде. Будешь копать вхолостую. Покажется, что нашел останок, а на самом деле — там ничего нет. И вода во многих местах стоит, само собой. На людях — другая растительность. Это надо наглядно показывать. Почему, например, я все захоронки нашел на закате солнца? Ну, девяносто девять процентов захоронок я нашел на закате солнца. Я Коле Лишину показывал наглядно. Мы стояли на поле в деревне [нрзб] на закате уже, к нам местный подошел, говорит: «Вот где-то здесь мы захоронили солдат». Я говорю: «Пошли на пригорок сходим». Вышли, я оглянулся: «Вон она, могила». — «Да не может быть!» Подошли, щупом ткнули — 57 человек. Как нашел? Во-первых, на месте могилы что-то вроде дымки. Особенно когда солнечная погода, ее хорошо видно: дымка стелется там, где останки. Не туман, а именно дымка.

[...]

Ёмралиев Мендыш четыре года с нами стоял, в нашем доме, мы не хоронили его, в маленьком гробе хранили его останки. Мы принципиально это делали, по простой причине: у людей из Средней Азии не может не быть родни. Мы исходили из этого. Нам говорили, что это кошунство, что человек лежит на поверхности, что не хороним, целая волна была возмущения. В итоге я случайно встретился в Твери с председателем избирательной комиссии Кыргызстана. И буквально за два дня родня этого солдата нашлась. В итоге сюда приезжает посольская машина Кыргызстана с красными номерами, вот в этот прогон. Мы передаем гроб, все для них сделали красиво. Посол Кыргызстана нас принял: скромненько, тихо-мирно, без всяких помпезностей. А потом вдруг звонок: «Наталья, Виктор, дорога оплачена, вас ждут в Бишкеке, столице Кыргызстана». Собираемся, садимся, летим. Она — в футболочке, я в штанах каких-то. Я к чему говорю это: вид был непарадный, мы же не знали ничего вообще. Самолет летит четыре часа с Москвы, прилетает в два часа ночи в Манас, аэропорт Бишкека. Я в иллюминатор боинга смотрю — а там какое-то построение непонятное. Самолет садится. С нами был этот... как его... меценат, что ли... Как правильно назвать? Сергей Жигунов. Он побежал и переоделся в костюмчик, а я в футболке, она в футболке. У нас места были сзади, к хвосту ближе. И люди впереди выходят, говорят: «Что там такое? Непонятно вообще». — «А что там происходит?» — «Не знаю, там какой-то почетный караул». Два часа ночи. Выходим: президентский полк, ковровая дорожка, у нас фотография есть, говорят: «Вы Морозовы? Это вас встречают». — «А почему нас-то?» — «Так вы солдата привезли!» Оказывается, солдат, которую мы передали, летел вместе с нами, в этом же самолете. Эмралиев Мендыш. Вот такая встреча была. Там умеют. Что поразило: мы выступали в большой аудитории, за тысячу человек, в кинотеатре «Россия». Солдаты, почетный караул. Нока шла церемония отправки солдата на родину (он сам с области, не со столицы) — солдаты держали гроб на руках, не опускали. Нотом я выступал, мне дали слово, потом — посол России... Мы выходим из концертного зала, меня подзывают, посольская машина с двумя флажками, посол России подходит, говорит: «Виктор!»

Н. М.: Его отличить легко было, он самый жирный был там. Он когда в зал еще зашел, я говорю: «О, российский посол!» Здоровенный, вот такой!

В. М.: А было 22 июня, они подгадали. Посол говорит: «Виктор, вы не представляете, что вы сделали!» — «А что мы сделали, солдата передали — и все!» — «Это у тебя все так просто — подняли, передали — и все. То, чего мы добивались несколько лет, вы сделали моментом, мы уже подписали договора с Киргизией». Говорит: «Давайте сфотографируемся». Да боже упаси! Он дал нам личный телефон свой, говорит, если какие-то нужды... «Вы, — говорит, — даже не представляете!»

Н. М.: У них с Россией пошел раздор. Америка втиснулась между Россией и Киргизией. И вот то, что мы туда приехали, их как бы это соединило. Даже в «Российской газете» было напечатано.

В. М.: Назвали это дипломатическим визитом четы Морозовых!

Н. М.: Не передавали бойца, а дипломатический визит у нас был туда.

В. М.: Я завтра покажу тебе винтовку этого солдата, в каком она состоянии. Киргизы обещали приехать за винтовкой и не приехали. Значит, прямое попадание мины было в него. Две гранаты зажаты в руках, тоже, как и у того, другого, мне что-то везет на это... Винтовку изувечило до такой степени взрывом! И медальон его поразил, я такого никогда не видел. Солдатик этот, Мендыш, видимо, был без бумаги — он оторвал лацкан гимнастерки и на нем написал свои данные карандашом. И ведь там, куда попала мина, все дотла сгорело. Фляга сохранилась стеклянная, на боку, — ни царапины на ней, мы передали ее родственникам потом. Кружка не согнулась, ложка не согнулась, звездочка не согнулась. А винтовку, увидишь завтра, изувечило до такой степени — до неузнаваемости. Солдат цел был, хотя мина попала практически в него. Вот это было шоком.

Почему еще поиски родственников шли так долго: все фамилию как «Емралиев» читали, а на самом деле Ёмралиев. Он «О» писал и две точки наверху, это мусульманское правило, как мне объяснили.

Но больше всего, конечно, поразило отношение к своему земляку. Нас ведь кортеж повез из Бишкека на родину солдата: четыреста километров по серпантину.

Мы даже выходили из машины, я смотрел — самолет летит под нами. Проехали все четыре времени года. Но я не об этом хотел сказать, а про отношение киргизов к памяти своего земляка. Пока мы ехали по Бишкеку, люди останавливали свои машины, выходили из них и кланялись. У нас такого нет в России. У домов открывались калитки, люди выходили и склоняли головы.

Пам отдали для проживания президентский домик. Где в России такое может быть? Губернатор этой области, Таласской, откуда был солдат, узнал, что приезжают те, кто нашел их земляка, поэтому ночью отмахал четыреста километров и приехал к нам. Тоже была встреча.

Самое страшное для нас было испытание — это еда. Потому что у них гость дорогой приезжает — сразу начинают резать барана. Президент резал, губернатор резал, депутаты резали. Очень обильная пища, но нигде нельзя отказаться.

Тоже из разряда мистики случай: было у меня неприятное чувство, когда водитель, который нас вез, смеялся: «Вот почему мы, киргизы, работаем в Москве таксистами». Он несется по серпантину сначала в гору, потом с горы со страшной скоростью на «мерседесе» (нас местная скорая везла), в той же машине были гробик и огромный портрет Мендыша. Я говорю: «Ладно, только бы колесо не лопнуло». С этого серпантина смотреть на 3600 метров вниз не очень-то приятно.

Спустились к долине, все нормально. Там нас ливень встретил страшный. Стоит глава их района. Под этим ливнем, но без зонтика, встречает наш кортеж. Дальше уже с мигалками, с ГАИ их местной едем. Проехали немного, смотрю: техники разной стоит немерено. Спрашиваю: «Что это такое?» Говорят: «Почью сель сошел с гор, смел электропровода. Чтобы вам проехать, за ночь построен мост». За ночь построен мост, понимаешь, это где такое видано?! Там линии электропередач, новые столбы уже ставят ночью. Когда люди работают — вообще непонятно.

Проехали, миновали место, где сель прошел, въезжаем в родные края солдата. Вдруг колесо у «мерседеса» — бум, хлоп! — мы встали. Выходим. Киргизы сами были в шоке от того, что на ровном месте колесо взорвалось. Напротив стоит зерновой комбайн. Что ты

думаешь? Киргизы сказали, что Мендыш прямо с комбайна уходил на фронт. Мистика?

Все, колесо заменили, подъезжаем: стоит огромная юрта новая. Это так у них положено. У них и дома, разумеется, и юрты, так положено. Заходим туда, — а женщинам туда нельзя, — подходит старейшина, говорит: «Наталья Николаевна, вам можно, у вас наш солдат стоял в доме. Мы знаем эту историю». Ей все разрешили, вокруг одни мужчины... Оказывается, у него родни, нам губернатор показал: «Вот это село — три километра, вся эта сторона села — его родня».

Вот к чему привела наша настырность. Я-то просто думал, что кто-то есть из родных, Средняя Азия все-таки, семьи большие. Дело в том, что я в Казахстане отработал два года на поднятии целины, поэтому я знаю, что такое у них родня. Поэтому настырно мы его не хоронили. Нам орали, блажили, чуть ли не в полицию жаловались, мол, кощунственное отношение к павшему... Почему солдат лежал семьдесят шесть лет никому не нужный — это не кощунство, а вот мы его нашли — уже кощунство? Вот одна из тех препон у нас с ПДРом в этом. У них главное — быстрее зарыть

У нас главное — солдата отправить на родину. Если уж не удастся, то увы. Тогда хороним здесь. Но ведь закопать всегда успеешь.

У меня старейшина спрашивает потом: «Виктор, у вас есть пожелания, у семьи Морозовых?» Я говорю: «Если можно, оставить наш гроб». Мы ведь сами его покупали. Я бы мог сделать, но лучше, когда заказной красивый резной гроб, все внутри бархатом обшито, все красиво. Надо отдать должное нашей мастерской. Они только посмотрели, разумеется, останки, так захотели родные. «Это даже не обсуждается», — старейшина говорит. Потом говорит: «Наталья, вы можете даже на кладбище ехать, там только мужчины, а вам можно».

Нам там халаты подарили, расписные, ручной работы. Одарили так, будто мы какие-то национальные герои. Но вот это отношение к памяти своего земляка — это было убийственно.

Старейшина говорит: «Виктор, запомните, когда началась резня в Оше (а у них была война, когда Советский Союз развалился, узбеки резали киргизов, киргизы резали узбеков) — ни один русский не пострадал, ни один из Киргизии не выехал. Киргизы за русского

скорее своего зарежут. Ни одного памятника Ленину не разрушено, все стоят на месте». Вот и все.

Вот это, наверное, самое памятное. Это еще наш глава района не знает, мы сами были в шоке. Киргизы приехали сюда, сам глава района, говорит: «Виктор, покажите нам...» Они тут же передали вещи в музей, нам прислали фото — там уже его уголок в музее, Ёмралиева Мендыша, сделали все изумительно. Я показал им эту винтовку изуродованную. Сказали, что приедут на машине, так как в самолет не пропустят, пусть она даже трижды не работает.

Я даже с ФСБ разговаривал: бесполезно, потому что штык подсоединен. Не хочется все портить, но пока штык на винтовке — это уже холодное оружие. Если бы отдельно лежал штык, тогда другое

Но снимать нет смысла, тогда это уже не музейный экспонат.

Вот, пожалуйста, отношение к нам в России и отношение в Кыргызстане. Мы ведь ничего не сделали такого, просто передали солдата. Нам вручили знаки отличия какие-то — я их даже не смотрел. Вообще скептически отношусь к этим благодарностям, хотя их у нас тысячи, наверное. Я их, разумеется, не выкидываю, складываю: когда-нибудь, может, опубликую, все-таки отношение к нам родных. Большинство же все равно родных помнят своих.

Но вот это отношение меня, конечно, шокировало. Мы еще там увидели надпись на стене магазина, в Киргизии: «Малообеспеченным и пенсионерам хлеб бесплатно». Мы сначала не поняли: шутка, может? В любом магазине заходи, бери, если пенсионер. У нас где в России это есть?

Я спросил у киргизов: «Почему такое отношение?» Говорят: «Потому что с этого села не вернулся никто с войны». Два Героя Советского Союза, оба погибли в 45-м году. А село огромное, больше трех километров. Родной брат Мендыша тоже не пришел. Нам подарили фотографию двух братьев. Мендыш же женат был, но у него остался только родной племянник. Мы встречались с ним: в его доме церемония вся шла. Потом переместились на общую площадь. Афганцы подошли ко мне, ребята-киргизы: «Мы по нашему местному телевидению смотрели, вроде раздор начинается с Россией, а вы опять все соединили». Для нас это было шоком, ведь и посол наш тоже так сказал. Мы, конечно, передали уже десятки солдат на родину, но так, чтобы два народа соединить, которые стояли на грани разрыва, такого

не было. Для киргизов память о своем солдате оказалась дороже, чем какие-то раздоры. Вышло бог знает на какой уровень. Губернатор едет встречаться с какими-то колхозниками — где такое в России увидишь? И все это не показное, они не знают, как тебя посадить, они не знают, где тебя положить, что тебе подарить. Потом говорят: еще Иссык-Куль у нас запланирован. Отвечаю: «Нет-нет, как хотите, а нас домой отправляйте, на хрен, я домой». Я так и сказал, что у нас есть пословица. В гостях, конечно, хорошо, приятная встреча, но дома лучше.

Не просто приятная, шоковая встреча, когда тебя президентский полк встречает. Фотографии сохранились в интернете. Об этом везде материалы вышли: «Российская газета», центральные каналы. Но ржевские СМИ — ни слова. Нам потом объяснил один из поисковиков: «Понимаете, вы, Морозовы, белые вороны среди нас. Мы вот, сорок пять отрядов тверских, работаем, а вы умудряетесь нарыть втроем больше нас!» Я ему ответил: «Может, ты и роешь, а мы поднимаем. Рыть принято огород. А мы спокойно, тихо, мирно, никому не мешая, поднимаем солдат».

Я этому поисковику однажды предложил: «Давай я тебя сейчас сведу, покажу наши подъемы, три-четыре. Ты поставишь своих ребят. Я готов согласиться на такое условие: мы прекращаем поисковую деятельность, если после нас останется хоть один солдат». Они, может, и пытались там что-нибудь нарыть. Чего они там могли найти, кроме вещей, обрывков шинелей: все это не будешь же в гроб класть. Мы их закапываем на месте. Как говорится, прах в земле остается. Ботинки, ремни: неподписные, разумеется. Подписные, даже ботинки, кладем в гроб. Ремни подписные, противогазы подписные, чего только не было. У меня сейчас лежит подсумок подписной, родных так и не нашли. Искали тоже четыре года. Чего там после нас искать? Я этот и хотел задать вопрос. И главное, что ходили они четко по мной указанным координатам. Этих ям бы им самим никогда не найти.

Даже начальник четвертого отдела нашего военкомата, Серега, полковник, он сейчас уже на пенсии, говорил: «Вы поймите, они же местные — и этим все сказано. Я с ним походил в лес — и сдурел. Я не понимаю, как он видит сквозь землю, но факт в том, что он видит».

Пожалуйста, недавний пример памятный. Стоит отряд, 500 человек. Катаются там, месят грязь. Местные говорят им: «Там нет

ничего!» Приезжаю, они около церкви роют могилу. На этой могиле недавно еще памятник стоял мраморный, на котором написано было: «Под сим камнем похоронено тело капитан- лейтенанта Его Императорского...» Бедного этого капитан-лейтенанта откапывают. Я говорю: «Кто тут старший?» А там был какой-то депутат Государственной думы... Говорю: «Да мне хоть президент, я сейчас полицию вызываю, и все». — «Здесь, сказали, солдаты...» Я говорю: «Вы дураки или нет? Не знаете, кого хоронят около церкви? Мирное население! С каких пор солдат хоронят у церкви?» Прихожу — там действительно какой-то полупьяный депутат Госдумы. Говорю ему: «Ты старший?» — «Не ты, а вы!» — «Ты старший?» — «В чем дело?» — «Че за херня? Местные люди похоронены возле церкви, откуда у тебя такие данные, что там солдаты похоронены, вы дебилы, что ли, в самом деле?» — «Пу скажи нам, где работать».

Я его отправляю туда, где на колючке мы поднимали, я рассказывал, там же непочатый край. Он через какое-то время приходит: «Ты нас обманул, нет никого!» Я на следующий день специально иду с верховым щупом, 14 человек нахожу. Говорю:

«Вы сказали, что никого нет, а я нашел верховых!» Я им говорю: «Пришлю фото, как только отсюда съедете, вы мне так мешаете здесь. Докажу, что были солдаты. Триста процентов. Я никого не обманываю. Чем я буду мудохаться, лучше уж вы своей оравой спокойно подняли бы, здесь яма должна быть здоровая». Я говорю: «У вас щупы есть?» — «Это что такое?» 500 человек, они не знают, что такое щуп! Они с приборами, радарамии какими-то. Я говорю: «Здесь половина раздетых солдат, особенно если большая захоронка».

Короче, они простояли там почти месяц. Засрали все что можно, разумеется. Это не «Калининский фронт»^[150], это какое-то объединение «Обелиск», что ли... В общем, там сброд. Они съезжают, еще «урал» не отошел последний с этими матрасами, я свистнул им. «Урал» останавливается: «Че ты?» — «Передай своему остолопу старшему, что я яму нашел». Он вернулся, посмотрел: прямо этим «уралом» по ней и проехал. Они стояли на этой яме! В репортаже «Живые и мертвые» ее можно увидеть. 254 человека подняли! Представляешь? Вот и все. 500 человек стояло. Да не щупом, они зубами должны были выгрызть эти сантиметры.

Я знаю точно про другую яму, но не знаю, сколько там людей. Мы с Сашкой на нее случайно вышли, когда еще лежал снег. Мы потом и с Колей пытались ее найти, я расставлял людей, проверяли по сантиметру. Мистика: яма ушла, мы после не смогли ее найти. А яма была огромная. Самое главное, что она была с водой — воронка, где-то на полтонны примерно. Мы шли: водища, уже весна в разгаре, но еще снегу навалом. Я яму щупом потрогал и говорю: «Я полезу». Целая воронка дров там, что ли? Стучит везде, скользит. Наверное, елки. Там делянка рядом небольшая. Ладно, полезу. Раздеваюсь. Что было делать? Как еще посмотреть? Второго такого случая могло и не быть! Вдруг там что-то есть — мне даже копать не надо будет. И я сразу из воды поднял берцовую кость. Потом оказалось, что полная была яма людей. Думаю, там человек пятьсот, а то и больше, в этой яме. Это самое малое, потому что я ее по самым краям осмотрел, залез-то только по пояс. Говорю: «Господи, ни хрена тут людей!» И все, мы ее потеряли. Мы потом ходили-ходили-ходили, вроде знаем это место, но «блудит» — и все. В конце концов я ее найду. Как у нас говорится, не время. Потому что там недалеко стояла пилорама немецкая, где, скорее всего, эта воронка. Пилораму-то мы нашли: она на поверхности стояла. Там и доски лежат, уже мхом покрытые, как во время войны их немцы напилили. Они туда даже кирпичи с печатями Германии привозили на печки, рельсы мы потом вывозили оттуда. Где-то там недалеко эта яма и должна быть, потому что такие бомбы применяли для чего-то, просто так их не стали бы бросать.

Тоже буквально года четыре назад весной пошли, говорю, пойдем прогуляемся, снега уже немного осталось... Вру! Весь снег согнало, только в ельнике остался. Вышли к довольно большому оврагу — там куча их, к какому именно, не знаю. Сашка говорит: «Пап, смотри, везде снег согнало, а там лежит еще, на склоне». — «Как странно, пойдем поближе!» Подходим, а это все наши солдаты. Склон размыло до такой степени, бежала же вода, что кости оказались на поверхности, на солнце сохли, белые уже. Говорю: «Точно потом их найдем». Вот до сих пор ищем. Мы там специально поставили каски штабелями. Я их сначала считал: семьдесят шесть касок было, а потом ставили не считая. Конских упряг там сколько было... По моим представлениям, там были исходные позиции, которые накрыли

немцы. Наши не успели даже в атаку подняться, это конный обоз был. Я не знаю, сколько там людей, врать я не буду. Но за триста точно.

Мне однажды журналист сказал: «Через сколько лет вы закончите?» Я говорю, полушуткой, полусерьезно: «Если я по тыще буду хоронить, то лет на триста мне хватит».

Я не понимаю, почему именно там? Там стоят отряды, вахты стоят годами. Вот тюменский отряд стоял, десять лет стоял на одном и том же месте. Ну проверь ты место, на котором стоишь. Они уезжают — я поднимаю 157 человек. Прямо на стоянке. Куда-то ходят, где-то что-то поднимают. Ты у себя под жопой, прости господи, проверь. Я же с ними работаю много лет уже, Коля тоже работает, параллельно... Коля уезжает, тюменцы приезжают — я им помогаю, нахожу яму, они вот поднимают ямы. Нам же не важно, сколько мы поднимем. Моя задача — успеть как можно больше перезахоронить.

И самое главное — находишь погибших, начинаешь проверять списки — а они уже числятся захороненными на нашем мемориале в Ногорелках. Наверное, половина уже числятся здесь похороненными. А что мы делаем? Они и здесь уже числятся, и увозим во Ржев. Я Светлане Герасимовне, она не хочет со мной встречаться, я ей написал в интернете: «Светлана, если так и дальше пойдет, то ваши подсчеты не оправдаются, здесь будет 5 000 000 погибших». Если мы будем так безалаберно относиться к цифрам. Думаю, что миллион — да, миллион здесь погибло. Здесь могло быть намолочено.

Вот еще одно. Я сейчас задам вопрос, попробуй на него ответить. Сколько человек можно положить в яму два метра длиной на полтора шириной. Глубина — 30 сантиметров?

Ф. Д.: Два?

В. М.: Однажды подняли из такой ямы пятьдесят семь человек. Мы пытались опять сложить их останки туда — они не влезли. Гора останков! Как они туда поместились? Мы голову ломали, не могли понять. Сохранность останков была такая, что просто уму непостижимо — ни один не переломанный, ничего. Было первое мая. Я говорю: ничего себе! Мы сначала поднимали — только ножом работали, лопатой было нельзя, кругом были останки, кругом. Только ножом дерн подрезали. Лопатой обкопали, чтобы сделать археологический стол: иначе не подойти было. И потом ножом

аккуратненько-аккуратненько срезали. Медсестра там была, сапожки тридцать третьего размера сохранились, это был шок...

Мы по одному месту ходили миллион раз, оно совершенно и не похоже на могилу было. А там немцы захоронили наш экипаж, танкистов. Аккуратно, каждого отдельно. Прямо на немецких позициях: все сделано четко, красиво.

В другом месте, рядом с пулеметным гнездом, нашли остатки танка. Ну то есть как нашли — трактор мой нашел. Там мои родные края, мы поехали через реку, гусеница зацепила что-то непонятное. Это было в 98-м, наверное. А рядом с танком — весь экипаж. Оказывается, мы по нему всю жизнь ездили, весь совхоз, пока был. Все четыре человека лежат. Они были не в танке, вылезли, видимо. Но это другой уже экипаж, не который немцы захоронили, но на этих же позициях. Немцы их расстреляли, что ли. Видно было, что взрывом не разорванные. Этих танкистов просто втрамбовали в дорогу. С годами они заросли, у всех в кобурах пистолеты, у экипажа. У командира тэтэшник и у остальных три барабанника. Все раздробили уже тракторами в наше время, но кружку фарфоровую у командира — нет. Сохранилась, тонкий фарфор. Бывает и такое. Много чего за эти годы видел. Так что, может, даже и жалею, что сжег все эти воспоминания, там не только мои были. Больше всего, конечно, жалко те воспоминания, что с Колей связаны. Вот его отряд — это действительно отряд.

Вот, например, Коноплев, он просит на каждого солдата четыре бумаги А4 заполнить. Этой болезнью заболел и «Калининский фронт», такая же фигня, они нам стали доказывать, что мы тоже должны заполнять. Я говорю, что я вообще никому ничего не должен. Я заполнил отчет, заполнил протокол. Но это не эксгумация. Я объяснял даже Цунаевой, что эксгумация проводится по решению суда. Эксгумируют из могилы, а это какая, на хрен, могила, это разваленный блиндаж. Вы не путайте понятия и не подменяйте. Ну не суть. Вот у нас с Коноплевым довольно серьезный разговор был. Говорю, хорошо, вас финансируют, но почему я должен тратить свои собственные деньги не на гробы, например, а на бумагу, зачем она мне нужна? Какая разница, что я заполню один протокол и захороню его известным, а вы заполните четыре и захороните его неизвестным? Ну напишете вы, что это был молодой человек, по виду, по зубам, но что

дальше? А они там даже черепа замеряют. Но если я буду сидеть и мерить черепа, мне просто некогда будет заниматься подъемом. А моя задача — поднять. И как можно быстрее, потому что время уходит. И наше время уходит, и солдаты не будут ждать, они просто сопреют. Потом они уже просто никому не нужны будут. Сейчас хоть есть возможность останки помыть и уложить по-человечески в гроб. Но уже сейчас есть места, где даже я их уже не трогаю: посмотрел и оставил. Бывает такое. Потому что трогать это будет все-таки неправильно: их берешь — они рассыпаются в руках. Там уже прах фактически, бывает такое. Я даже определяю уже, в каких местах это бывает, и стараюсь там не искать. Это где петухи красные растут, такая трава, наподобие кислицы. Ярко-красная такая. Мы проводили экспертизу почвы, я же все-таки столько лет проработал в сельском хозяйстве. В таких местах большая кислотность почвы, очень большая.

Бабушка говорила, что благодаря этой траве даже желудки не сожгли. Ее если ешь, дает ощущение сытости. На какую-нибудь шелуху насыпали и ели. Смунили из нее петухи, так она говорила. Кору сосновую обдирали, из нее тоже смунили петухи и ели вот это. Что поразительно, ни у кого из них желудки не болели. А я не смуню петухи — и у меня желудок болит. У меня бабуля всегда удивлялась: «Внучек, что ж ты так, откуда у тебя желудок больной? Мы вон ели все, и кожу, и каблук кожаный...! Ремни кожаные редко, другой состав, а каблук от сапога часто нарезали и ели.

Но не в этом суть. Про акты. Я говорю: ладно, заполните вы, измерьте черепа, а потом торжественно бульдозером захороните как неизвестных? 22 июня приезжай и посмотри, как хоронят, это тоже одна из тех вещей, которые просто неприемлемы для нас. Мы хороним руками, они хоронят бульдозером. Грейдер подгоняют — трещат гробы. Какой во всем этом смысл? Это торжественное захоронение, что ли? Мне один написал: «А ты попробуй, умник, зарой яму на тысячу солдат». Так вас 500 человек там стоит! Выставляю ему фотографию: ливень шпарит, захоронение в 44 человека, мы закапывали, я и сын. Земля была... Мы эту яму на 44 человека вручную выкопали и вручную ее зарыли, носилками. И могила обустроена. Я говорю ему: «Ты мне сказки рассказываешь? На тысячу человек... Ты вообще воронку на тонну поднимал когда-нибудь

руками, ты вообще представление имеешь?» Говорит, таких не бывает. Ну что тогда говорить... Он даже не видел, что такое тонная воронка.

Однажды знакомый один хороший приехал и привез с собой друга. Я не знаю, откуда он даже, говорил, что москвич. В шинели длинной, под солдата косил. Знакомый говорит: «Виктор, я друга привез, можно с тобой походит?» Ну, мы пошли. Вроде опытный поисковик, даже чем-то награжден. А когда уже были в раскопе, он так, как бы невзначай, отодвигает шинель, что-то мне хочет показать. Говорю: «Что скромничаешь? Что ты хочешь мне показать?» Расстегивает, а у него там... Сказать, что орден «Победа» у Жукова отдыхает, — это ничего не сказать. На полгруды вот орден висит. Говорю: «И за что же такую херню дают?» Он обиделся, осерчал и сказал: «Слушай, умник, ты попробуй за сезон подними 26 человек — получишь этот орден». Я ему ничего не сказал.

Знакомый услышал этот разговор, говорит: «Слушай, баран, я тебе что говорил, тут люди поднимают тысячу в сезон, а не 26 человек, и ордена не вешают». Кого только на этой тропе не встретишь. Вот почему «Черная тропа».

Один все говорил, что он минер, чуть ли не в Чечне воевал. Наткнулись на него в окопе, а с ними дети. Говорю: «Что-то мне сердцу неспокойно, пойду с ними, послежу, от греха подальше». Нодхожу — раскапывают. Я сразу понял, что это такое, по форме, они еще даже не докопались. Говорю: «Отойдите на хрен отсюда все». Я раскапываю — стоит в окопе противотанковая мина на взводе. Шесть килограмм тола, немецкая. Нровод идет туда дальше. Посмотрел — привязана к штыку. Штык если бы дернули... Это минная ловушка так называемая, ставили ее не на танки. И этот минер-подрывник, я его прозвал «герой-подрывник», кричит: «Все отошли на двадцать метров!» Я говорю: «Ты сам понял, что сказал? Шесть килограмм тола, ты больной? Быстро на двести метров, чтобы я близко никого не видел здесь!» Их как ветром сдуло на хрен вместе с героем-подрывником. Ждать тут больше ничего не надо, посмотрел на штык, тихонько придержал, откусил провод, двинул пружину обратно, и все. Эмчеэсников позвали, они мину на месте рванули, прямо в этом окопе, и все.

Я как-то по молодости разрядил реактивный снаряд советский. И Александр Иванович приехал, Василенко, как раз. Он только

посмотрел — он же артиллерист, — а у меня руки все желтые. «Вижу, что разрядил». — «Ничего не разряжал, Александр Иванович!» — «Ты кому мозги полощешь, пошли, показывай». Я когда ему показал, он говорит: «Ты не только в рубашке родился, ты родился в фуфайке и валенках. Этот разряд не подлежит разряжению, он засекречен. Это от катюши снаряд. Пойдем отсюда».

Ну а чего удивляться, здесь белье сушили на бикфордовом шнуре, ящиками тут стоял. После войны до 67-го года же стояли, стояла палатка, солдаты сменяли друг друга, хоронили убитых тоже, переносили огромные могилы. По 600, по 700 человек свозили сюда, в противогазах задыхались от смрада, такой был смрад. Зато я никогда не поверю поисковикам, которые на форумах рассказывают, мол, в 70-е годы такие вот ямы, захоронения, вскрывали. Я говорю: «Ты кому пальцы гнешь? В 75-м году я в большую захоронку просто попробовал щуп торкнуть, так мне чуть в лоб этот щуп не прилетел от поражения газом! Там бродит все, там еще поражение шло. У нас солдаты задыхались от смрада в противогазах. Ты мозги людям не полощи и не ври!» И его с форума сразу сдуло.

Ф. Д.: Странно, вроде сроки скелетирования — пять-десять лет,

В. М.: В воде все иначе. Мы в 2005 году хоронили лейтенанта. Не только лейтенанта, многих, но его в гробу тоже, отдельно. Мы подняли яму, 54 человека, здесь недалеко, буквально метров семьсот отсюда. Подняли яму, дошли до материка, вычистили все нормально. Говорю: «Не, Сань, давай не будем зарывать, что-то беспокойно. Тем более в лесу, тут никто не ходит, давай оставим ее на время». Ходили мимо нее, трогали, действительно материк, ничего ниже уже нет. Потом в один из годов, года через два, было лето — это ад крошечный: поливало, поливало, поливало. В общем, мы подошли к этой яме, я щупом ткнул, а там кто-то есть. На четырехметровой глубине мы подняли лейтенанта. Как ты говоришь, скелетирование? У него руки были целы. Ворот, шея, все еще целое было. Кожа вся была на месте. Столько лет прошло... Там глина была и вода. У воздуха не было доступа... Мы трогали щупами и думали, что это материк, вот до чего плотно. Если она села, глина, — все.

Мы немцев из воронки как-то подняли тоже, прикопали их рядом в пакете... Ходим: «А, ну здесь немец, здесь немец, здесь немец...» Весна началась: поливало, поливало. Подошли, ткнули — вдруг

мягкий грунт пошел. Стали поднимать — оказывается, под немцами лежал наш солдат.

Тоже один из самых запоминающихся случаев. Вскрываем блиндаж с Сашкой. Ну и народная примета: если веник, значит, ничего не будет. Действительно, стоит веник в углу и полы шпунтованные один в один. Полы в идеальном состоянии, мы еще потом их у себя настелили, доски-пятидесятка. Но пустой сам блиндаж. Расстроились: такую глубину высадили, блин, размером, наверное, с эту кухню. И ничего. Сидим, отдыхаем: «Сань, полы пропадут, давай заберем!» — «Давай». Открываем полы, а там лежит 19 солдат. Нод полами. Немцы жили на трупах. Вот так. В полной амунии. Елками полы застелили — и все. Я не понимаю, как можно было жить там, печку-то топили же.

Тетка рассказывала: они с бабулей шли в деревню. И солдаты ехали. «Мать, — говорит, — вам куда?» Говорит: «Да мы на Якимово». — «Садись, мы все равно в эту сторону едем». На полу посадили. Но дороге едут. Говорят: «Эге, застряли!» Март был, еще мороз стоял. Немецких трупов в колею наложили, поехали по ним. И как будто так и надо. Вот что такое моя родная деревушка. Вот что собой представляла моя родная деревушка в годы войны. Говорит: «Они нас высадили и поехали на запад». «Идем, — говорит, — там, где раньше лес стоял». А там не то что лес... там только кое-где остовы торчат, весь покошен, трупы, ноги, головы лежат. И немецкие, и наши. Катюши покروшили всех. «И дальше идем, — говорит, — ну что ж такое, уже должна быть наша деревня, Якимово». «Подходим, — говорит, — танк стоит наш, "тридцать четвертый", рядом парнишка молодой». Это бабуля мне уже рассказала. Говорит: «Я спрашиваю: "А где Якимово-то?"» Он так поворачивается: «Мать, по карте вот здесь где-то!»

Н. М.: Ах, паразиты!

В. М.: По карте... В общем, не то что яблони — забора не осталось от деревни. Там было двадцать четыре дома. Раз, и как будто никогда и не было деревни. Все сровняли, все перепахано. Что же, пошли в другую деревню, там хоть сохранились дома. Говорит, идем, снегу еще много. Лен вроде оставался на поле, но не столько же льна! Лен, лен, лен: такой высокий этот снег был. За Волгой побыли они какое-то время, возвращаются, ну а что же, надо на родину идти, надо

восстанавливать что-то. Переправили через Волгу их солдаты, возвращаются, к тому времени снег уже согнало. «Каково же наше удивление было, — говорит, — я была в шоке». Она метр шестьдесят пять ростом, бабушка, и ей по пояс трупов лежало на этом поле. По пояс! Оттуда на наш мемориал 7 300 погибших привезли, с Якимово. Дивизию целиком. А сколько мы там еще после подняли!

Это я к чему. Не только из-за Александра Ивановича меня все это затащило. Я хочу восстановить, сколько все-таки погибло за мою родную деревню всего. За двадцать четыре дома. Она и сейчас стоит, восстановили ее. Но на другом месте: на том месте было невозможно строить, там ни одного ровного места не осталось. Выбрали поровней место, а там, где была, так и оставили. Мы никому не даем там копать. Я говорю, во-первых, вам тут искать нечего, это мои родные края: все, что можно было, уже давно я выбрал. Копать там я никому не доверю. Знаю, где там немцы зарыты, но пусть они лежат в своих могилах. Со всеми теми, кого я уже поднял, у меня получается, вместе с официальными, только за Якимово 11 420 человек погибло.

Ф. Д.: Это с теми, кого раньше перенесли?

В. М.: Да, с ними. Это только с Якимово. Я уже под 4 000 там нашел. И сколько там еще будет. Было еще такое: нашли 22 человека, в том числе разведчика, у которого была медаль «За отвагу». Это опять про отношение к павшим. Наталья пишет губернатору, чтобы забрали медаль «За отвагу». Родных нет. Никому не надо. Ни родным, ни музеям Новосибирской области не надо своего земляка. Они не смогли даже найти средства сюда приехать. Не надо и не надо.

У нас в Москве есть знакомый полковник. «Вить, — говорит, — давай номер медали. У меня друг в архиве, проверю». Ну и звонит. «Я, — говорит, — тебе сейчас скину наградной лист его». Воробьев Илья Дмитриевич. Все, восстановили. Разведчик. Погибло там вместе с ним 22 человека. Раскручивали, раскручивали мы эту историю — и вышли на 150 человек, уже вместе с командиром роты разведчиков. Я теперь не знаю, что дальше делать. Как мне добиться, чтобы их всех увековечить. Не каждый день такое бывает: целиком роту удалось собрать. Родные уже знают, мы с родными списались. Многих нашли, медальоны передали. А, и короче. Читаем наградной лист, за что же он был награжден. В моей родной деревне на северо-восточной окраине он уничтожил дзот. В одиночку. Бросил зажигательную бутылку в

трубу печки, и она сгорела, а он сам на выходе был, подпер дверь. Дзот был уничтожен. Мы нашли этот дзот и восемь этих жареных немцев. Все-таки нам удалось. Хотя он и перепахан был, осталось видно и немцев обугленных, как эта бутылка лежала, как они с ума сходили в пламени. Там же температура горения 1000 градусов, это страшная вещь, страшная смерть у них была. Он их просто зажарил, весь состав дзота этого. Да они до сих пор там лежат. Там сапоги у них, голенища, обычно они все-таки сохраняются, а эти ломаются — из-за температуры.

Ф.Д.: И через сколько он погиб после награждения?

В. М.: Нолучил 11 мая 42-го года, а уже 24 ноября погиб.

[...]

В. М.: Мне, конечно, дороже 158-я стрелковая дивизия. Она пятая московская дивизия завода «Серп и молот» народного ополчения. Ее позже переименовали.

Ф. Д. Пятая ДНО которая?

В. М.: Ну да, там же были москвичи в основном, в первом составе. Ну да она потеряла здесь четыре состава. Дивизии беспрестанно друг друга сменяли. 178-я сменяла 158-ю или 136-ю бригаду. А 136-я, она потеряла семь составов здесь. Ее меняли и кидали на помощь этим, 158-й и 178-й. Отводили. Эту разобьют, 158-ю, отводят остатки за Волгу. 178-я сменяет ее. И вот так они друг друга поочередно сменяли. Я этими дивизиями плотно занимаюсь, потому что мне просто хочется восстановить картину, сопоставить рассказы Василенко, архивные данные. Я думаю, мне удастся полную картину восстановить. Я скрупулезно, не торопясь занимаюсь. Даже отдельными списками. Сколько киргизов воевало отдельно, сколько башкир. Сколько народностей. Но 158-я — как правило, это все-таки наши. Обидно было как-то, я даже вспылал. Приехали сибирские поисковики, говорят, мол, сибирского мужика разбудили, и он здесь освободил все. Я говорю: «Ребят, все понимаю, у вас гордость за своих земляков. Я понимаю, что надо гордиться. Но не до такой же степени! А где калининцы? У нас здесь никто не пришел с войны. Никто. Воевали они прямо здесь, дома. С моей родной деревни вернулось двое мужчин. Один из них — мой дед, который умер сразу после того, как пришел, через семь месяцев, от простреленных легких. И вернулся сосед, дед Андрей, который бегал до самой смерти от двух полных

контузий и шести тяжелейших ранений. Бежит-бежит — и упадет. Он здесь и служил пулеметчиком. Вам рассказывать не надо, что это такое — быть пулеметчиком ручного пулемета?» Я говорю: «Батарей куда лупят? В первую очередь кого пытаются уничтожить? Пулемет. А на войне если кто был, вы хоть немного соображайте, что такое пулемет». Я говорю: «Поэтому кто там больше воевал — это неизвестно. Здесь калининцев и москвичей погибало в первый же месяц — пачками. Утром их привозили, а вечером они уже были убиты». Я говорю: «178-я да, там все-таки башкиры, татары, а вот 158-я — калининцы и москвичи в основном». Я говорю: «У нас никто не вернулся фактически. Пикто.

Отцы воевали вместе со своими сыновьями. Здесь все-таки взрослое поколение было. У соседей — Пуховы такие — вся семья у них погибла. И отец с сыном погибли здесь, в ржевском сражении. Он был 1898-го, а сын какого? 20-го года был у него сын. Погиб здесь же, в Якимове. А жена его погибла, когда [нрзб] стали отходить, и сейчас могила ее на берегу Волги». Поисковики, кстати, эту могилу разрыть хотели, я их чуть в Волгу не скинул. Она огорожена. И они там солдат искали, придурки. Прихожу, а они там с шупами... Я говорю: «Вы больные, что ли? Стоит ограда, приехали родственники, поставили, Пуховы». Я говорю: «Это мои земляки. Мать и дочка маленькая, их там бомбой убило». Могила прямо на берегу Волги. Там хорошее сухое место, там никто их не трогает, прямо на склоне берега. Там раньше деревня была [нрзб], красивое место. Я говорю: «Не трогайте тут ничего. Там еще два капитана — Ковалев и [нрзб] похоронены. Пикто их не трогает, пусть они лежат, они никому не мешают. Много еще чего.

Да, я историю здесь у многих знаю. Меня же местные все знают, вся округа. Все время кто-то что-то сообщает. Бабушка подойдет у памятника: «Ой, Витька, я вот вспомнила то-то, то-то, сходи-ка туда, точно там была могила». И мне уже проще. Много найдено таким способом. «Вот там-то стояло, там, по-моему, какой-то офицер похоронен. Там мой брат вырезал из ящика алюминиевого звездочку, поставил, жаль, сгнила». Подходим: точно, звездочка. Архив посмотрели — Рахимов, старший лейтенант, 178-я стрелковая дивизия, командир роты. Что тут еще доказывать-то? Похоронен. Его мы перезахоронили. Сейчас там густенный лес. Он корнями

расползся, и все, заброшена могила. Поэтому лейтенанта перезахоронили. А так я знаю госпитальные захоронения, но я их не трогаю — зачем? Наоборот, добиваюсь, чтоб госпиталки вообще не трогали. Сейчас поисковики ринулись за ними, блядь, говорят, что подняли всех верховых. Я им говорю: «Вы чокнутые, что ли?» К госпиталкам прицепились! А что такое госпитальное захоронение? Ведь там указано, кто где лежит, в каком ряду, какое место, все указано. Там только памятник поставить на этом месте, и все, и пусть они лежат спокойно. Чего их трогать-то, дергать? Нет, вот надо, блин, ворочать. Количесвом же надо бабло это отмывать. Мне вот без разницы, сколько я найду за сезон, хоть бы и одного. А у них какие-то планы. Я вообще их не понимаю. Министерство обороны вот: «Виктор, вы должны предоставить план». Какой план-то? Это чего, выполнение пятилетки за три года, что ли? Я говорю: «Я не могу строить планы. Я сегодня могу найти одного, завтра 100 человек, а послезавтра вообще ни одного не найду». Как я могу строить планы? Что это такое — план? А может, вообще никого за сезон не найду. Я не могу гарантировать, мне что, бумагу им написать, мол, беру обязательства? Ну это что? Бред какой-то. Я всегда приводил один пример. Как мы обходились с Лишиными, как обходился Николай Иванович Орлов без всяких планов? Хоронили и хоронили, хоронили и хоронили. Я говорю: «В чем дело-то? Чем оно хуже сейчас- то, время?» — «Вот, надо задокументировать». Да господи! Ну извод бумаги — и все. Как ты хочешь, сопоставляй по зубам, мерь ты череп, ты все равно его не узнаешь, если он разнесен снарядами. Я говорю: «Если я документальные факты приношу, а вы мне не верите, не заносите, в чем смысл заполнения бумаг? Как-то нелогично получается. С одной стороны, я должен череп измерять. Ну и что, ну напишу я, елки, вдоль и поперек измерю. Что от этого изменится? Что, он станет известным, что ли? Ну напишу я. Будет оно лежать в лучшем случае. В худшем случае вы их просто выкинете, эти бумаги, никому не нужные».

Я помню, сидели здесь с Колей Лишиным, заполняли бумаги всю ночь — в военкомате попросили для увековечения. Фамилии помедальонно всех перечислили, всё по списку. Проходит год, два, три, четыре. Ни одной фамилии нету. В чем дело? «Мы бумаги потеряли. Вы не сдавали». Я говорю: «Мы двое сидели, всю ночь

писали вам отчет». По новой написали. В 2011 году всё по новой составили, они опять потеряли. Я говорю: «Сколько можно, что за отношение?» Посмотрел статистику с Тверской области: за тридцать лет поднято 55 000 человек. Поднято не только тверскими отрядами, но и приезжими. Ладно, хорошо. Установлены имена: тысяча. Зачем нужна эта работа? 54 000 семей никогда не узнают о судьбе своих родственников. Ведь теперь их похоронили навсегда. В списки пропавших без вести попали. Куда я только об этом не написал... Просто издевательство, прекратите вы этот поиск. Зачем он? Из одной ямы переложили в другую. Отрапортовали. Все.

Взять хотя бы вот эту братскую могилу, о которой говорил. В ней неизвестных нет. Фактически нет. Допускаю, человек двадцать, не больше. По сей час здесь лежит 2 730 неизвестных. Откуда они неизвестные? Ведь мы предоставляли списки. Включая вот эту разведроту. Сейчас я объясню, покажу, как я им доказывал. Вот я иду и нахожу могилу. Потом нахожу списки этой могилы. Количество сходится. Выписываю, специально смотрю. Мной подчеркнуты были люди, которые уже числятся в деревне Погорелки. Фактически каждый второй. По их везут и хоронят как неизвестных во Ржеве. Зачем? Ведь всё, солдаты потеряны для своих родных и близких. Теперь здесь они только числятся. Я родным объясняю: «Понимаете, останки увезли туда». Они говорят: «Виктор, мы ездили сюда годами и будем ездить сюда. Зачем нам туда ездить?»

[...]

Вот ямы, которые я недавно нашел, там человек пятьсот. Да нет, там не 500, там побольше, судя по спискам. По я их всех нашел. Все эти захоронения нашел. Их схемы нету, но списки погибших — есть. И указано место расположения.

Я вообще не знаю, с чем это связано, я совершенно случайно их нашел. Короче, ехали-ехали, ехали-ехали на машине, мы в том месте даже не собирались останавливаться. Пам было просто не проехать. Во-первых, завал — деревья ураганом повалило. А во-вторых, сплошная грязь дальше пошла. Пу и все, остановились, вышли. Я рядом щупом ткнул, и пошло-поехало. Буквально минут за двадцать все захоронения нашли. По мы их там так и оставили, не стали трогать.

И мы что еще сделали. Допустим, есть у нас список. В боевых донесениях написаны четко и ясно домашние адреса. Связались с родными. Они приехали сюда, и я их отвез на место могил. Ну да, сырое, херовое место там. Но родственники сказали так: «Виктор, если Ногорелки, — а половина их числится уже захороненными в Ногорелках, — если не дают хоронить в Ногорелках, пусть они лежат здесь». И все. Зачем их увозить к тем, от кого они освобождали эту землю? Родственники сами не хотят, чтобы рядом с немцами лежали их деды, пусть они лучше здесь лежат. «У нас, — говорят, — к вам просьба: не трогайте их. Если уладите здесь у вас захоронение, хороните здесь, ради бога. На любом месте. Пусть даже здесь, в любом месте, но только здесь, а не за сорок километров отсюда».

Они ездят сюда. Я показал им место. Приезжают сюда стабильно 9 мая и 22 июня. Многие с Саратова, с Пермского края, с Красноярского края, с Татарстана. Я у них спросил мнение: «Что делать?» Я решил сначала спросить мнение. Зачем я их буду трогать? И они, многие из них, дали кто сколько мог: кто сто рублей, кто двести — на выкуп участка соседнего^[151]. Говорят: «Если вы можете, то закопайте здесь». Если нельзя, пусть они там лежат.

Вот, кстати, история. Это что-то с чем-то. Наверное, самая удивительная история, которая повергла в шок. Значит, что произошло. Накануне вечером я сижу в ОБД «Мемориал». Вот просто сижу, смотрю наугад. И вдруг мне попадается девятнадцатилетний лейтенантик, совсем молоденький. Воевал в моих родных краях. Целый вечер я потом жене удивляюсь, какой молодой лейтенантик. Владимир Петов зовут. До двенадцати ночи все это смотрел, перелистывал, смотрел, что за дивизия, где он служил. Потом легли спать. Утром я просыпаюсь и говорю: «Санька, пошли в одно место». Вот просто тупо. Встал и пошел наугад. Пришли: тут же в ряд находим раз, два, три, четыре, пять могил. В ряд. Допустим, у одного в петлице [нрзб] — младший сержант. У второго — офицерские сапоги. У третьего — останки просто. Четвертый — старшина. Ну и останки неизвестного солдата. Пятый — просто рядовой. Раз, два. Значит, установили мы эти имена. По офицерским сапогам. Кто там похоронен. Нашли точное место, в ОБД есть схема такая, ну, примерная схема, но все-таки есть она. Там просто звезда нарисована как раз на выступе леса. Про него только я и могу знать, сейчас там

ничего похожего уже, разумеется, нету. Но мы этот выступ так и звали «звездой», местные, потому что он похож был на звезду. Поле так в лес входит, в форме звезды. Конечно, даже с данными ОБД место могилы, тем более одиночной, найти фактически невозможно. Каково же наше было удивление, когда мы начали вскрывать эти могилы: там были гробы! Не просто гробы, а из бортов полуторок, крашенные, железные. Что за ерунда?! Мы не стали поднимать, когда увидели гробы. Спросили у начальника 4-го отдела — Сережки, друга, подполковника. Говорю: «Сережа, чего делать-то?» Он говорит: «Да ничего не делать, вскрывать. Вы че, чокнулись? В каком-то лесу, где-то какая-то звезда. Они на учете не состоят. Где вы, куда вы родных-то поведете?» А там действительно далеко. Решили вскрывать. Ворачиваемся назад, поднимаем все. Все как должно быть. Имена стали восстанавливать: кто они такие?! Ведь кругом на поверхности лежат тысячи человек. На поверхности. А эти вдруг в гробах. Тем более красноармейцы. В чем дело? Стали выяснять историю. Оказывается, во время войны в этом месте оказались писатели Фадеев и Нолевой. В окружении. И им показали, как прощаются с павшими воинами. Это были показательные похороны. Фадеев, «Молодая гвардия», знаете, да?

Ф. Д.: Да, понимаю, о ком речь.

В. М.: Вот. Их успели вывести из окружения, разумеется. Но им показали, как прощаются с воинами. В гробах. А кругом трупами все завалено. Было и такое в войну. Но каково же было наше удивление, самое шоковое, когда мы открыли медальон, а там плохо читаемо, он и сейчас у меня лежит, но все равно четко видно: лейтенант Нетов. Мне жена и говорит: «Весь вечер молотил, — говорит, — ошибся, у тебя просто зрительный обман». Мы его тогда на фотошоп вывели, на компьютер. Там уже совсем четко было видно: лейтенант Нетов, Рязанская область. Вот как оно бывает. Вечером просто молотишь о человеке, который тебе понравится, а утром идешь и находишь, точно на место приходишь.

[...]

Видеть никого я ни разу не видел, но слышно довольно четко было, и не раз. Уж у Сашки до того тонкий слух. Другой раз приходит: «На-а-а-а». Я ему: «Я ж тебя оставил на другом раскопе». — «А ты иди, — говорит, — посиди, там ходят рядом». Я говорю: «Да ну тебя

на фиг». Подходишь — и даже прислушиваться не надо, четко и отчетливо слышно шаги. Жутковато было, конечно, но мало ли, по лесу-то шастает разный народ. Шарахнут еще по голове.. Отойдешь немного — нет никого. Сядешь, опять даже не думаешь, работаешь спокойно в тишине: вот эта угнетающая тишина, которая прямо давит. И опять слышно четко. Но вот этих очертаний, как говорят, солдат не видел ни разу, это точно.

Что смотрит кто-то на тебя — это однозначно. Голоса слышно. Я написал даже об этом стих, он так и называется — «Голоса». Мы нашли минометчиков. Отчетливые голоса были. Сашка говорит: «Слышишь голоса?» Я говорю: «Не-а, у меня же сейчас ухо больное». Он говорит: «Погоди, я тебе скажу, когда». Я сижу немного и говорю: «Да мне не надо, я уже услышал без тебя». Пришел и дома за секунду написал:

Почему мы слышим голоса
И идем на голос потихоньку?
Порою кажется, что мы сошли с ума,
По нет, подняли с Ленинграда Кольку.

Так идем мы тропами войны.
Вроде бугорок, но это каска.
По останки, рядом медальон.
Прочитали: вологодский Сашка.

Почему же Саши, Вани, Саши.
Сколько по лесам еще ребят лежит.
Матери уж в мир ушли иной,
По сестра все ждет родного брата.

Почему по-прежнему все так,
И опять мы слышим чей-то голос
В крике журавлином в небесах,
Или в поле шепчет хлебный колос:

«Здесь лежим. Пройди чуть-чуть вперед.

В том окопе, что направо вьется.
Минный залп накрыл весь наш расчет,
Может, что от нас еще найдется».

Правы мы, не правы, что теперь гадать?
Пусть девчонка на цветке гадают.
В том окопе мы нашли солдат,
Значит, их нам голос помогает.

За секунду написал, это было шоковое состояние: услышали эти голоса, подошли, и точно — целый окоп. Минометчики. Накрыты прямым попаданием. Мистика.

Ф. Д.: Я правильно понимаю, что вы работаете в радиусе десяти километров вокруг своей деревни, Ногорелок?

В. М.: Да мне больше и не надо. Я читаю, читаю, читаю, иду, нахожу. Я читаю, читаю, читаю, иду, нахожу. Я же помню еще те времена, когда тут леса не было. Это все выросло на моих глазах. Роща Курица была. И здесь еще неподалеку роща Сапог, она правда в форме сапога. Курица, Сапог и вот эта безымянная роща, она напротив Мансурово. Все, больше тут лесов не было. Раньше в любом месте к реке можно было пройти: двести метров, и ты на Волге. А теперь, за сорок лет, такой лес вымахал. Уже поля, которые Сашка со мной на комбайне убирал, не узнать, там уже дрова можно готовить. Скоро тут все сровняется, упущено время. Но я думаю все-таки, что вот таких больших захоронений уже нет. А, ну одно осталось захоронение еще больше даже, чем на 587, которое я нашел. Там еще должно быть больше захоронение. Их всего было два огромных захоронения, которые копали танками, — это мне бабушка рассказывала. Но оно чуть дальше. Думаю, когда-нибудь я и его все равно найду. У меня вот три огромных захоронения, которые мне надо найти. Это воронка, в которую я влезал по пояс, овраг, в котором лежат размытые наши солдатики, и вот это огромное захоронение вдоль дороги — под тысячу человек. Зачем мне куда-то ездить? Меня звали в Карелию. Зачем? Мне здесь-то не разгрести никогда. На мою жизнь этого хватит. Даже на всю жизнь моих сыновей. В один был год, 2007-й, мы

много находили одиночек, был какой-то вал прямо. Мы их нашли 29 штук мгновенно. А в одиночных-то щун далеко не каждый раз попадет.

Кстати, ситуация из разряда мистики. В эти 57 человек, про которые я рассказывал, щуп ни разу не попал, в сами останки — настолько там грунт обманчивый. Он, во-первых, очень плотный, ощущение было такое, будто щуп скользил между костей. Мы посмотрели, где щупы ходили: попадали куда попало, но в останок — ни разу. В такую кучу останков как можно не попасть? Удивительно. Много непонятного в поиске вообще, много. Того, что плохо поддается объяснению.

Мы недавно находим медсестру. Там понятно сразу, что девушка: и часы, и сапожки совсем маленькие. И сумка полевая. Понятно, что медсестра. Йод, бинты, еще что-то. Да и останки женские отличить никакого труда, тем более мне, не составляет. Ребенка, женщину — вообще никаких проблем. Находим, поднимаем, и ничего у нас не сходится вообще. Читаем, на медальоне Написано: «Руднева Прасковья Васильевна». Что мы должны сделать по закону, как эти поисковики делают? Под именем Рудневой и хоронить, правильно? Медальон же лежал у нее. Нет, мне что-то не дает покоя. Тем более откуда родом-то она? Из Подольска. Звоним туда, по адресу. А там говорят: «А у нас мама никогда и не воевала». Больше ничего на медальоне не написано. Мама никогда не воевала, а на медальоне четко написано: «Руднева Прасковья Васильевна». Это их мать, действительно, это их квартира. Она до сих пор существует, эта квартира, в ней живут. А почерк красивый, я и говорю: «Блин, точно учитель писал!» На обратной стороне медальона ничего не видно было, но я на фотошоп выводил, выводил. Наконец прочел: «Руднев Фрол». Запрашиваю Руднева Фрола. А это ее муж. Он тоже из Подольска родом, тяжело ранен был подо Ржевом. Он был учителем, я не ошибся. На самом деле красивый медальон, он у нас хранится. Родным не надо вообще, они отказались от этого медальона. Сказали: он умер в 91-м году, зачем нам медальон? Их даже не интересует, что их дед своей рукой написал этот медальон. Ну и ладно. Мы оставили его себе, мы спросили: «Можно оставить?» — «Да ради бога, оставляйте». С удовольствием. Так вот, что произошло. Руднев Фрол был тяжело ранен. Умирая, он отдал медальон свой медсестре.

Медсестру убивает, он остается живой. И что, эту женщину теперь нужно закопать под именем Рудневой Нрасковьи? А у нас так часто хоронят. У нас сейчас четыре медальона, хозяева которых пришли живые с войны.

Но котелкам — это вообще ужас какой-то. Тоже буквально в километре отсюда — деревня бывшая, мы ее проезжали. Находим там лейтенанта. С котелком, все красиво. Два кубика, лейтенант. На котелке — котелок этот лежит у меня дома — четко видно — Федор Двизов. Запрашиваем информацию о нем, находим, а он живой. Смотрим по лейтенанту — его напарник погиб, а сам Двизов был тяжело ранен в районе деревни Ногорелки.

А мы ведь часто хороним по именным вещам, вот что творим. Я в интернет часто выкладываю распечатку всю, выкладываю примеры медальонов, говорю: «Вы с чего взяли, что этот медальон принадлежит этим останкам? Если вы уж не даете по спискам хоронить, то почему панацеей для вас, аргументом для вас является только медальон? Медальон — это ничего!» Нро медальоны мне дядька говорил. Он, во-первых, меня научил тогда: «Ты, — говорит, — подsumки смотришь?» Я говорю: «Нет, а зачем?» Он говорит: «А я в подsumке носил всегда медальон. В патроне там, в подsumке, не в кармане, а в подsumке». И я совсем тогда еще юным мальчишкой начал все мыть, промывать: ремни, сапоги. Сколько ботинок подписанных находили! Это здорово помогало. Но и с ботинками, и с ремнями тоже проблемы есть, например, менялись же. Они же просто менялись. Махнем не глядя, как на фронте говорят. Слышал, да? Ну, это расхожее выражение. Ну просто поменяться на память. Махнуться не глядя. Он тебе может подsunуть даже элементарную лягушку. Но это была шутка. Или трубку, а ты ему отдашь какой-то хороший перочинный нож — и все. Нодписанный тобой. Или бритву опасную, это была такая традиция у воинов. Ну и до сих пор это нормально между ребятами. Номеняешься, и все. Но дело в том, что находят бритву, подписанную: «Иванов Иван Иванович». И хоронят его как Иванова Ивана Ивановича с этими останками. Да, может, он ее двадцать раз уже поменял, эту бритву. Я говорю: «Если вы нам не даете хоронить по достоверным архивам, то на каком основании вы хороните сами?»

[...][\[152\]](#)

Понятно, что маршевую роту, ее без подготовки кидали в бой: она еще даже не успела зайти в численный состав этой дивизии как пополнение, а к вечеру она уже труп. Найти концы уже невозможно. Конечно, что это за рота, откуда она пришла — бог ее знает. Может, ее сегодня с Казахстана перебросили сюда. Но когда дивизия дислоцируется в Вышнем Волочке, потом маршем идет до Старицы — проследить ее путь никаких проблем не составляет. И вычислить, где ее разбомбили. Я столько фактов приводил.

Например, при бомбежке погибло 30 человек. Смотришь архивы: в этой братской могиле захоронено там же 30 человек. Ну да, без медальонов. Но ты посмотри по спискам. Кто погиб? 30 человек. Чего ты их не занносишь-то? Я допускаю даже ошибку, пусть не 30 человек, но 29 будет точно. Но если мы ошибку на ошибке делаем, мы хороним по сто, да какое по сто, у нас вот 800 человек забрали по суду и захоронили их неизвестными. Это идиотизм, люди их никогда не найдут. Все, они навечно потеряны для своих родных и близких.

Я когда-то пытался внушить, вернее, не внушить, мы разговаривали еще со старым главой района. Давайте спросим у любого родного человека, который приезжает сюда, на братское захоронение, что ему лучше? Ездить просто к холодному камню братской могилы или все-таки осознавать, что останки деда, прадеда или отца лежат именно здесь? И старый глава со мной согласился. «Разумеется, — он говорил, — это даже не вопрос». А этому дураку ничего нельзя доказать. Они все равно провели захоронения торжественные останков, которые отобрали здесь. Ни один и из родных погибших, которым мы написали сообщения, не приехал. Такого не было вообще ни разу.

Вот к чему приводит это. Это начинается уже беспамятство, а не захоронения. Потому я и говорю — тогда лучше их оставить. Вообще прекратить поиск, и все. Я не знаю, что там изменилось в Долине со времен Николая Ивановича Орлова. Но в те годы даже, когда начинали Лишины, там тоже были изменения. Думаю, в довольно худшую сторону.

Я не был ни с кем из них знаком. Мы заочно были знакомы — и все. Слышали друг о друге. В Новгородской области слышали о нас, мы слышали о них. Было даже предложение приехать. Я пытался — был такой Михаил Романов с ребятами, — но не удалось увидеться,

хотя мы мечтали друг о друге. Он вытаскивал технику, этот Мишка Романов. Это был авангард Псковской области. Он занимался чисто подъемом техники. У него сердце отказало. Хотя мы переписывались. Слышал, да? Вот он новатор, стоит там в Москве танк им вытасченный. «Тридцатчетверка», целиком.

Про нас центральные каналы гнали часто довольно. По, опять же, все связано с чем? Мы не афишировались вообще никогда. Мы все делали тихо, молча. Эти каналы-то появились по просьбе знакомых эфэсбэшников. Это они сюда притащили центральные каналы, сказали: «Виктор, может, это как-то поможет разрулить ситуацию». Полковник разговаривал с администрацией: «Я четыре часа с ним молотил в кабинете, он просто ни о чем, он дурак дураком». Человек вообще не соображает. То ли у него маразм уже — ему за семьдесят, — то ли помешался он. Он вообще не соображает, о чем идет речь. Ему говоришь: «Падо хоронить в Погорелках!» Мемориал в хорошем состоянии, чего тебе еще надо? Пет, ему надо доказать, что он власть. И к чему это привело? Родные перестали ездить, стали отвергать. Я же задавал вопрос даже Елене Моисеевне вот этой, ответственному секретарю, не выговоришь, ПДРа. Вот эта вся волна, изменения в худшую сторону вообще поиска именно начались с разделения на ваших и наших, раскол произошел в поисковом движении начисто. Уже СПО есть, Союз поисковых отрядов России, это другая одна организация. Смирнов руководит ей уже давно. Я Цунаевой говорил: «Вы понимаете, вы раскололи общество. Я понимаю, вы делите бабло, а страдают солдаты. Миллионы выделяют, вам надо отмыть».

Я говорю: это уже не поиск. Вот почему мы всегда были заодно с Лишними, почему я лично хотел встретиться и с отцом их покойным, Олегом Всеволодовичем. У него столько было всего написано, у него научные труды же есть, он все-таки профессор. Значит, я у него читаю: надо знакомиться с местными жителями, разговаривать, опрашивать. Я, конечно, с этим не согласен, я куда бы ни приезжал, в какой бы район здесь или далеко, где меня не знают, спокойно в течение пяти минут мне люди приходят и рассказывают, их не надо уговаривать. Па самом деле так. Где что стояло, где, кто чего помнит, все мне говорят.

Приехали и начали мы как-то поднимать останки танка, свалившегося с экипажем в блиндаж. Местные начали вопить, какой-

то еще тоже комитетчик появился: у него дача там. Я им говорю: «Милые люди, — спокойным голосом я говорю, — мы не какие-то там копатели, которым что-то там надо. Во-вторых, мы в зоне отчуждения от вашего забора на расстоянии более пяти метров, не претендуем на вашу территорию». Потом слышу: «Ой, погодите, ты же Виктор, да, с сыном? Точно, вспомнили! Пойдемте обедать». Вот и все, это был единственный скандал с местным населением, который закончился не начавшись. А ПДР приезжают — только наводят злобу к себе. Вот и все. Нельзя так с местным населением. Это плачевно кончится. Они вырыли блиндаж и оставили его незарытым. Разбился скот — корова с теленком. Вот не стали просто обратно засыпать. Местные потом их ждали и тупо хотели долбануть по башке. Ведь погибла молодая корова и теленок.

Корова захлебнулась — глубина-то большая. Она не смогла бы выкарабкаться. Теленок с дури туда упал, тем более же в темноте, а корова уже за ним. Вот зачем было на поле ямы рыть?! После мы этот отряд уже никогда не видели, потому что они боялись, здесь их могли просто прибить, и все. Потому что люди на последние деньги купили этих коров.

Отсюда и ненависть. Роща перерыта, все перерыто. Поиск не значит, что ты нарыл, накидал все это, и на этом вся закончилась бадья. Пет, ты должен привести в порядок территорию, которую ты трогал. Мы здесь живем, и нам здесь жить. Мы чуть не разбились на машине, в блиндаж чуть не влетели. Мы ездили, ездили там всю жизнь, и хлоп. Сашка закричал, успели. Повисли на переднем мосту. А то бы рухнули туда, на хрен.

Так ты уважай территорию-то. Ты все-таки приехал на чужую территорию. Ради бога, Россия вообще наша страна вся, но если ты приехал к людям... Я ж говорю им: я ж не приехал к тебе и не делал такого! Откуда они там, с Калуги? Пет, с Вологодчины, потом еще откуда-то. Я говорю: «Я же не приехал к тебе в лес и не начал его вырубать!» «Вы же, — говорю, — испохабили все рощи, все дороги, с чувством выполненного патриотического долга умотали отсюда, а нам здесь жить». По вообще я понял, из-за чего народ тогда взбесился, когда «Фронт»^[153] стоял. Тогда же крутили дискотеку, танцы устроили, а рядом местное кладбище. Конечно, кому из местных такое понравится. Фактически пляски на костях. Паписали губернатору, он

не реагирует. Ему все равно. Закончилось бы для кого-то трагически просто. А так с поиском до появления этих пришельцев, патриотов, все было нормально.

Им сюда и надо стало только из-за этого скандала, когда на всю страну прогремело: мол, отряд из трех человек столько поднимает. Думали, видимо, что и у них такими масштабами тоже все будет подниматься. Они и ринулись. Потому что мы когда приехали в управление, я сказал местному полковнику: «Понимаешь, в чем дело, да привези ты хоть тысячу человек, ты никого не найдешь!» И он мне нагло заявляет, хотя никогда не помогал: «Ты будешь работать». Я говорю: «Здрасьте. С какого это боку?» Он тогда нам и сказал: «Тогда вам дорога прямая в Минюст». Я говорю: «Есть!» Я процентов на девяносто уверен, что в гробах, которые они потом хоронили, половины от заявленного количества останков не было.

Где-то в Калужской области случай был, сейчас ходит в интернете об этом статья. Значит, идет захоронение, стояли два отряда. И один отряд не калужский, а какой-то еще, не знаю откуда, другой — «Отечество». Пу, все друг друга же знают, сколько поднимают вместе, видят все. И вдруг на захоронении этот отряд ставит двадцать гробов на 200 человек. Заказывают гробы и ставят, мол, 200 человек подняли. Что-то «Отечеству» это не понравилось, они привезли военкома Калужской области туда и попросили вскрыть гробы. Хотя останки уже упакованы, все закрыто. Те завозмущались, что якобы там именно кто-то у них лежит. Пу, не важно. Факт тот, что вот написано у них было: 200 человек подняли. Военком приказал вскрыть гробы. И чего? В каждом гробу по человеку лежит, а в последнем — лось. Вот что такое поиск современный.

А, ну вот, мне говорят: «Виктор, понимаете, в чем дело, если у нас не будет найденных людей, нам денег не дадут. Да, нам сказали так: если не будет результата, за что вам платить. Пам любыми судьбами нужен результат». Я написал даже об этом президенту. Понятно, что до него не доходит, но из администрации мне ответ пришел. Я написал: «Давайте проведем эксперимент, ради эксперимента. Я понимаю суть ваших требований — патриотизм, везде патриотизм. По на один год прекратите всякое финансирование поисковых отрядов. Всякое. Всех абсолютно. Посмотрим, как быстро убавится этот патриотизм». Потом мне пишут: «Виктор, мы слышали

о вашем обращении там, это неправильно, что ж мы должны, за свои деньги кататься и так далее?» Я говорю: «У вас чего, патриотизм измеряется количеством денежных знаков, которые вам выделяют, что ли?» Я говорю: «Если вы такие патриоты, то ездите, я знаю несколько семей — целыми семьями. Я знаю, вот наши ребята, с Твери, с Москвы. Две семьи с Москвы и две семьи наши, тверские. Они сговариваются, созваниваются, знаю, где они работают, они у меня здесь были. Прямо семьями целиком на своих джипах приезжают, на свои собственные деньги, в выходные. Они довольно состоятельные люди. И все. И поднимают этих солдат, моют». Я говорю: «А почему нет-то? Ну я никогда не слышал, чтобы они где-то там кричали, что им надо денег на захоронение. В другой раз придут, тихо, скромно постоят, пойдут. Они выполнили свою работу. Или, другой раз, Купят краску тихо, молча, чтобы мы покрасили здесь эту ограду, а то в районе нет денег». Я говорю: «Ребята, нам не надо». Они предлагали деньги. Я говорю: «Ребята, а не проще ли купить то, что надо? Нам не надо будет перед вами отчитываться. Вы купите краску, мы вам покажем результат. И все. Я не люблю денежные знаки. Наличные».

Вот этот полковник, не хочет он называться, с МВД, приезжает. У него здесь у жены погиб дед. Нашли по архивам яму, только там никаких схем. Но эта яма есть и количество есть. Мы ее откопали: не сошлось одного человека, но родственники поверили, что это они. Один-два человека — это вообще ничего. Мы уже в этом убеждались. В захоронении может быть либо на один больше, либо на один меньше. Это ничего не значит. И вот он стал ездить, этот Виктор: «Чего вам надо, держите деньги». Я говорю: «Нет, давайте так. Скоро понадобится нам краска: черная, красная — звезды покрасить». Он говорит: «Все, договорились». И где-то перед 9 мая обязательно привезет краску и уезжает в свою Москву. Все тихо, молча. И его содержат фактически родные, это братское захоронение. Что мы можем: ограждения заменяли, еще лопнула плита с перечислением дивизий. На памятнике просто мрамор лопнул. Я говорю: «А чего нам париться-то?» Пришли в район, я говорю: «Такая ситуация. Лопнула». — «Нет денег!» — «Да и хрен бы с вами». Поехали, кусок брони сбыли, семь тыщ заработали, на эти деньги нам новую плиту привезли. Мы ее установили сами. Делов-то. Переписали. В общем, установили чистую мраморную плиту. Чем бегать и унижаться там

перед этим дураком. Я от этого куска не обеднею, и ничего не случится. И меня никто не осудит, что я его сдал в металлолом. Вот так. Ограда у памятника лопнула: пошли, собрали обыкновенный деревенский металл. Сколько нам заплатили? Да еще родные откуда-то, из Башкирии, что ли, помогли. Все, ограду купили, установили новую совсем. Еще простоит бог знает сколько лет. Сварили, что-то мы сами сделали, соединили. И тихо-молча. О нас бы никто никогда и не узнал, если бы не скандал с Румянцевым. Ну Лишины знали бы — и все. Поисковики, разумеется, тоже знали, а так, на всю страну — нет.

Здание под отряд мы купили, там останки мы хранили. Совхоз развалился: осталась бесхозной бывшая двухэтажная контора. Сухое помещение. Чтобы останки не где-то там закапывать: иначе сто раз их помоешь, а потом все это опять в гробы укладывать, когда гробы сделают. Ты их достаешь из временки, и они опять грязные. А так — сухое помещение, в любой кабинет, в бухгалтерию поставил, в директорский кабинет. Там горы останков стояли, по 800 человек. Многие так делали.

Так-то юридический адрес у нас другой. Чего нам выдумывать, когда наша база здесь. В Минюсте надо базы указывать — а у нас-то какая база? У нас база — дом наш. К нам сюда приезжают, обращаются, мы никому не отказываем. Да ради бога. Ну не получается у людей найти. Что, жалко, что ли? На наш вех поднимать хватит. Если ведь и нормальные ребята. Мне не важно, ПДР или СНО, я не спрашиваю принадлежность к тому или иному общественному движению. Я говорю: «Мне без разницы, Мое дело было и остается — поднять быстрее солдат. Чем дальше от войны, тем все будет хуже». Я знаю одно: должно уменьшаться количество поднятых. Потому что столько, сколько здесь мы уже подняли, не считая остальных отрядов, это уже дивизия. Здесь, на этом пятаке, больше и не должно быть. И вдруг всплывают такие цифры. Откуда они здесь? Поэтому засомневались. Они сначала сомневались в нас. Разумеется, такое количество. Появилось телевидение. Я говорю: «Я не могу, я против того, чтобы фотографироваться на фоне останков, я против этого всего». Но они нам так сказали, что, с другой стороны, может, они и правы: «А как мы будем освещать вашу работу? Там где-то подуло, что где-то что-то подняли. Народ должен видеть, что действительно

останки есть». И они снимали останки, как они будут уложены потом в гробы. Сначала они в мешках стояли Вот, говорят, мол, кощунство, в мешках. А в чем их еще носить? Прямо в гробах, что ли? Грязных, да, вот? Из лесу в гробах будем носить. Ну это же нереально. Я говорю на камеру: «Мы же не просто в мешки сваливаем, посмотрите. — И смотрели сами корреспонденты. — Записано, что поднято столько-то и столько-то в том-то и в том-то месте, медальон найден в тринадцать часов пятнадцать минут. Что еще надо? Даже время поминутно, когда медальон найден. Личные вещи такие-то, подписные вещи такие-то. И все будет лежать в гробу. Укладываем останки — и эту же записку туда, поверх. Родные подходят, им искать не надо, они будут знать, где их солдат лежит, с какого края могилы». Я вот щас, сколько мы здесь перезахоронили, я любого человека именного назову, в какой могиле он лежит, с какого края. Чего еще надо? Мы ни от кого не скрывались. И тогда прогремел материал про нас на Втором канале. Мы с ними, на их глазах, яму поднимали, они сами попросились туда. В прямом эфире шло захоронение, вели эти ведущие наши основные: теперь уже знаменитый на всю Россию отряд. И все, и поехало. Лучше б они этого не говорили. Они медвежью услугу нам оказали. Началась конкретная травля.

В 2013 году мы захоронение делали, и началась конкретная уже травля. Подключились местные СМИ, Роспотребнадзор, полиция, прокуратура, да что там, даже местное телевидение. Но только местное, федеральные каналы участвовать отказались. Федеральные были все на нашей стороне. Но сколько было грязи вылито...

[...]

Лишины — вот это действительно душа-люди. Это поисковики от бога. Целая династия, вот про кого надо целые легенды слагать. Это целая династия. И с такой скрупулезностью относиться к поиску — я больше никого такого не видел за все эти годы. Отношения такого к памяти, к погибшим нет нигде: все дети, воспитанники их выросли, все были трудные дети. У всех такие были характеры, боже мой. Но они же до сих пор приезжают сюда, хотя уже выросли. Кто в Службе внешней разведки вообще служит. И все высшее образование получили, фактически. Хотя были оторви-бошки просто. Каково удержать вот такой коллектив в душе? Говорю, с десяти, с

одиннадцати лет здесь они были. А Степе Лишину было еще меньше. Это, пожалуй, те, о ком и надо писать.

Ф. Д.: Разумеется, они одни из героев книги, конечно.

В. М.: Вот-вот. И это правильно. Еще, я думаю, о ком надо писать, это, конечно, Николай Иванович Орлов, он того заслужил.

Ф. Д. Я скоро поеду в Новгород.

В. М.: Ну да.

Ф. Д. Нока у меня все правильно.

В. М.: Ну о нем, конечно, Смирнов уже писал. Но все равно надо все-таки более молодым, современным языком о нем написать.

Ф. Д.: К сожалению, у меня, наоборот, очень несовременный подход.

В. М.: Ну, именно взгляд молодого человека. Понимаете? У нас взгляд все равно, в отличие от вашего, маленько другой. У вас свое восприятие войны, у меня свое восприятие войны.

Ф. Д.: Не думаю. Как раз с Николаем Лишиным буквально на днях разговаривали, и мы отлично друг друга понимали, потому что расхождений никаких у нас с ним нет, например. Я воспитан на тех же самых книжках, что и он.

В. М.: А, тогда дело другое.

Ф. Д.: Александр Бек, тот же Кондратьев, Воробьев, Симонов, Василь Быков...

В. М.: А, ну все. Тогда понятно.

Ф. Д. Я свою книжку довольно своеобразной вижу. Просто рассказы о поиске большого количества очень разных людей.

В. М.: У меня книжка, которую сжег, тоже была нехилая, триста семьдесят с чем-то страниц рукописных. Это было что-то с чем-то. Предисловие — про то, как я взглянул на войну другими глазами. И все, и пошло-поехало. Она начинается со встречи с Александром Ивановичем Василенко. Про то, как мы часами, до трех утра сидели тут стабильно. Он приезжал еще до 9 мая, за неделю, за две. Когда он уезжал в последний раз, сказал спокойным тихим голосом: «Витька, если я не приехал, я умер». В 80-м я ушел в армию. Больше я его не видел. У соседей спросил: «Александр Иванович приходил?» — «Не, Вить, наверно, умер». Он 1915 года был, тем более израненный весь.

Данные-то о нем найти никаких проблем нету, все наградные в интернете есть. Да и про дядьку-пулеметчика тоже. Он же как партизан, заплотит стакан сразу граненый, и все, больше не пьет. И они вдвоем сидят разговаривают. Они понимали отлично друг друга: один участник войны, второй участник войны. Понимали с полслова. Если выходили в лес — дядька идет по окопам, по тем, которые сам копал. Говорит: «О, моя ячейка». Или говорит: «Вот мое гнездо пулеметное. Вот ответвление под патроны. Ну-ка копни!» Копну: точно — патроны. До такой, блин, тонкости они все это помнили!

А «Сашка» Кондратьева? С Лишиными поднимали яму, у даже меня фотография есть. Сначала лошадей вывернули штук десять, а потом под ними наши солдаты пошли, 57 человек. Я дальше пошел, говорю: «Коля, вот смотри, сейчас идем: если мы не найдем пулеметную точку, значит, Кондратьев ошибся». Но мы выходим точно на нее: два мешка от патронов, которыми немец простреливал врага. Два мешка с винтовки не настреляешь. И все, и пошло. Мы с Колей так довели наших детей до переправы, шли и комментировали. Коля говорил: «Вот видите, до чего точная книжка». Человек ведет, и четко все сходится. Танк посреди поля немецкий. Или, там, к пепелищу сейчас выйдет. А, вдали пепелище виднеется, к нему и пойдем. Пепелище — это Погорелки. Справа могила медсестры. А еще думал, почему, когда Кондратьев это описывает, комбат его, это самое, злой такой был? Так у него медсестру, оказывается, убило, которую он любил.

Да, мы попотели, но мы все равно ее нашли, эту могилу, все равно нашли. Она теперь спокойно захоронена. Я с двухсотпроцентной уверенностью говорю, что это она. Потому что таких совпадений не бывает. Даже шалаш, который был из ельника сделан, нашли. Мы точно нашли то место, где все это было. Господи, такие книги... Кого у нас только нету: почетных жителей Ржева, Почетных жителей района. Я говорю: «Скоро столетие писателя, скоро уже. А мы даже в честь этого великого человека даже не удосужились ничего сделать!» Человек, который воевал, искалечен был здесь. У него и завещание было — развеять его прах на поле, где его рота погибла, на Овсянниковском поле. Ну да, желание его не было выполнено, но все равно, было же желание у человека остаться

на той земле, где больше всего ему запомнилась война. Но ни памятной рощи нету, ничего.

Овсянниковское — там выжить фактически невозможно было. Такое огромное пространство, сейчас оно все зарастает. Да уже заросло. Читаем: подбитый танк у рощи немецкий. Ну и что, находим этот танк. Да чего там его находить: он фактически на поверхности был. Мы раньше ходили курить, и от делать нечего пойдешь, на этой пушке покатаешься. Чего там только не было, господи. Танк стоял, «тридцатьчетверка». Прямо на горе. Никому не нужна была в 70-е годы. Наше старшее поколение в школу проходило там.

Еще у фашиста Хорста Гроссмана есть книга «Ржев — краеугольный камень восточного фронта». У тоже него довольно четко. Мы ходили и по этой книге, и все у нас сходилось. Он пишет, величайшее танковое сражение произошло здесь, рядом с нами. Что Курская дуга — это хренотень. Здесь только, в районе Карманово, столкнулось лбами более 2 000 танков. Те телевизионщики, которые приезжали, не знали этой истории. «Виктор, — говорят, — никто не даст вам историю переделывать». То же самое мне сказали в органах. Когда я им стал доказывать, что вот так-то и так-то, сколько здесь погибло, мне сказали: «Витя, никто не даст историю переделывать». А сейчас уже совсем полилась грязь, мол, вот, мы здесь трупами все завалили. Да нет, были и победы. Я никому не говорю, никому никогда и не назову это место, деревня... Ну там не деревня, местность. Где на 22 наших убитых мы нашли немцев больше полутора тысяч. И пусть они там лежат.

Но немцы, надо в этом им даже отдать должное, они свои трупы все-таки вывозили. Здесь Франц Ламбер такой воевал. Художник. Тоже есть у него про это описания. Но он умер быстро. А я знаю достоверно, что здесь фронт немецкий держался не просто за счет хорошей обороны, но и на жестокости, это доказанный факт. Здесь немца расстреливали за потерю бинокля.

Наши штрафные батальоны здесь тоже воевали. Не штрафные батальоны, а штрафные роты. Штрафники. Много погибло. И на переправе знаменитой в районе Знаменского. Утопили ребят много. Но наши захватили все-таки плацдарм. Это была единственная земля на нашем южном берегу, которую удалось захватить. Кулачок там километра на три всего лишь, остальная была здесь сторона под

немцами. Это не только за счет штрафных рот, там народу, конечно, погибло немерено. Там был случай, года два или три назад. В Волге, Волга же тогда была мелкая, ее переходили практически по пояс везде. До того упала вода, жара стояла. Мы пошли на эту переправу. Торчит колесо. Видно, что артиллерия обыкновенная. Стали размывать. Ну Волга, там же быстрое течение. Размываем-размываем, видим: там телега лежит целиком, перевернутая. Стали поднимать. Говорю: «Что-то такое предчувствие нехорошее, давай в мешке». А у нас с собой были, как сетки, большие мешки. В Волгу мало ли чего уплывет, что-нибудь ценное из телеги. Мы голову поймали нашего солдата в каске, когда телегу подняли. Потом и все остальные останки: руки, ноги. Можно сказать, что целиком собрали. Снаряды доставали в ящиках, как в масле, сдавали эмчезсникам. А солдата придавило, видимо, этой телегой, поэтому он никуда и не уплыл. Провод, трос, потом куски танка вытаскивали оттуда. С этой переправы. Потому что купающихся там много.

А говорить, что нашими тупо завалили все здесь, — это нет. И не одно место я знаю, о котором можно сказать, что была победа. Даже в таких жесточайших боях. Вот здесь недалеко была деревня: сколько мы перекрошили этих электриков — как мы их зовем — эсэсовцев. Плугами. Это был март 42-го года, 220-я дивизия.

Ф. Д.: Плугами?

В. М.: Пу там все раскорчевали, а мы распахивали это поле. После войны. А на этом месте была разбита эсэсовская дивизия. Мы же сами еще молодые, энергичные были. Развешивали эти кресты, я даже нашел целый пенал с крестами наградными. По они для нас ценность какую представляли — их можно было повесить на яблони и расстрелять из снайперской винтовки. И выигрывал тот, у кого крест разлетался на четыре части. Пужно было попасть точно в центр для этого. Это же молодые годы были.

Сашка, сын мой, в лесу с шести лет. Ходил на большие расстояния, тогда еще никаких машин не было. А я обратно несу все, что только можно, да еще его на плечах. Вот у меня здоровья было: цинки с патронами полные и его.

Помнишь, еще ни фотоаппаратов, ничего не было. Представь себе картину — идешь ты с сыном, он сзади бегаёт, играет, поворачиваешься, раз — и нет сына. Я кричу, а его нет и нет. И откуда-

то из-под земли: «Па-а-ап!» Прокопали. Он говорит: «Здесь какая-то дверь». Я ему говорю: «Ничего не трогай, ничего, стой на месте, и все». Я пролез в трещину, в которую он провалился. Надо было видеть эту картину. Раскопал я дверь, приоткрыл, чтобы свет туда попал: стоит впереди вместо амбразуры часть нашей «тридцати четверки» с люком целым. Это была передняя часть этого дзота. А внутри — ящики лежат с патронами, гильзы сложены — они же отправляли на переплавку. Здесь ящики целые стоят. Немецкий пулеметчик лежит — ему осколок попал прямо в череп. Рубаха, шинель — все висит на гвозде. И все обделано изразцами от русских печек. Вот сколько терпеть надо было немчуре, чтобы выложить дзот еще и изразцами, как кафелем. Но меня убило, точнее, поразило другое: стоит посреди стол, а на нем губная гармошка и ноты. То есть он поиграет — постреляет. Но потеряли мы этот дзот. Сколько мы туда ходили, сколько я туда таскал ребят: вроде похожее место, но нигде не можем найти.

А вот с ней (*кивает на Наталью Морозову*) как-то вышли. Представь картину — война вчера закончилась. Вот просто на местности выходишь — бой закончился вчера. Она [Наталья Морозова. — *Ред.*] говорит: «Какие-то диски из земли торчат». А это не диски, это автоматы. Два ГППШ лежат на земле, ящики открытые с минами, гранаты лежат на поверхности. Рядом немецкий пулемет, от него тянется пулеметная лента. Сосна захватила эту ленту: она росла и тащила ее за собой. Мы даже вырубали ее оттуда. Колючка стоит. Вот бой закончился, и так все и осталось.

Мы до этого были в этом районе миллион раз, там прошло миллион поисковиков. И все это рядом. Ну там угол такой невзрачный, болота. Просто не заходили туда, и все. Кругом болота, а вот этот кусочек суши. Мы просто были в шоке. Как бой закончился, так все и лежит на поверхности: винтовки, автоматы, каски, гусеницы танков.

Н. М.: Вот я там тоже потом зарубки делала, сразу ж все не унесешь.

В. М.: А еще помнишь, самое такое памятное событие было, когда я японца нашел.

Н. М.: Это его Сашка нашел.

В. М.: Я поднял череп этот горелый и говорю: «Господи, ну ненормальный какой-то немец».

Н. М.: Это еще в 90-е, дядя Коля был жив.

В. М.: Я говорю, ну что за ненормальный немец какой-то. Ну ни на нашего солдата, ни на азиата, ни на кого не похож. Строение черепа вообще другое, хоть он и горелый весь. На том месте, где этот череп нашли, до сих пор подушка мха только растет. Там наши применили, как немцы звали их, «чемоданы». Там от касок вот такая просто кучка железа осталась — и все. Мох поднимаешь, и все, вся горелая земля кругом. Один раз наши шарахнули этой дурой, и все, немцы запросили международную конвенцию, что они не применяют в годы войны химическое оружие, если русские перестанут стрелять «чемоданами». Почему «чемоданы»? Снаряд от катюши реактивный — это калибр 320, это море огня, это температура горения за 1000 градусов. Там плавилось все, вода, земля, там все горело. И вот этот снаряд летит прямо вместе с этой деревянной упаковкой, с этим пламенем он летел и горел. Как описывал один фашист, там половина немцев от пламени сходили с ума. Все горело. Ну и вот, собрали мы останки эти горелые, говорю, блин, понесу я дядьке. Пунктуацию сохраняю, как сказал дядька: «Ты-то, сука узкоглазая, как сюда попал?» Я спросил, кто это. Он говорит: «Да японец, я их повидал жареных после катюши. Иди ищи, у них медальоны несгораемые. Все расплавится, даже винтовка, но это точно не сгорит. Я их повидал жареных там, когда война была, так, не война. Там эшелон подгонят, разгрузят, раздолбают все что можно. Мы не успевали трупы собирать. Там война так, за месяц все раздолбали».

Мы вернулись на это место. Нашли мы в стороне от взрыва винтовку «Арисака», тогда забрал ее. Я ее пропилил, привел в такое состояние негодное, хотел оставить, редкая винтовка. Временно взяли и не вернули они нам, полиция. И нашли мы медальон, четко написано на нем «Нагасаки». У меня его украли, этот медальон. Похож на немецкий медальон из двух половинок, но этот — он общий неразломный, целиковый. Сверху было написано «Нагасаки». Потом я говорю: с какого боку здесь японцы? А это наемник просто, захотел повоевать, единичный случай. Здесь поляков находили, чехов находили, испанцев из «Голубой дивизии» находили. Кавалерийская эсэсовская дивизия тоже тут воевала. «Голубая дивизия» была, у них ворота такие, особенные. Ну, надо сказать, инструмент хороший у них, лопаты — заточка такая, что сверло не берет. Шашки по

сравнению с нашими — ерунда какая-то. Шарахнешь, и все. Металл намного слабее. Много всего было, если так посидеть, повспоминать. Столько лет в лесу. Много ненормального. Много не совсем обычного.

Я говорю, вот эта дымка, это сто процентов, это не совпадение. Обязательно подойду к этой дымке, ткну щупом, и там точно захоронение. И видно ее только вечером, на закате солнца, лучи как будто расползаются на этом месте. Ну это в открытом пространстве только, это не в лесу. Как правило, на полях: как только вечер — мы сразу туда идем. Днем по лесам лазим, а если не удастся чего-то найти, то вечером туда.

Вот зачем только ты меня записываешь, запиши лучше Лишиных. Вот это правильно будет. Они заслужили, они нормальные ребята. Через нас прошли сотни отрядов и только один — такой. Мы же видели все: и свердловских, и кого только не видели здесь. А лишинский «Долг» такой только один. Ощущение такое, что им надо.

Я говорю, когда яйцо учит курицу нести яйца, это глупо. Когда тыловые районы к тебе приезжают, — откуда они были, томские, что ли, — и говорят: «Мы приехали вас учить правильно работать». Я говорю: «Сынок, ты сам-то понял, что сказал? Сынок, тебе сколько лет?» Поражает вот это высокомерие. Видно, что человек не врет, он честно в глаза говорит, что приехал учить нас правильно работать. Сейчас же поисковое движение раскололось на две половины. Ну не движение, а вообще поиск. Одни правильные поисковики, другие неправильные. Неправильные — это мы. А правильные — это вахты большие. Все, кто работает за свои деньги, — это неправильные. А все, кто работает за гранты, — это правильные. Антропологи всякие там у них работают. Антрополог, правда, тут обиделась на меня. А что произошло. Они нарисовали портреты солдат по черепу. Я взял... Ну я так рисую нормально, ну и взял просто сделал детский рисунок, девочку с косичками, ноги как у цапли переделал и говорю: «Это ваш портрет, как я его вижу. Вы же нарисовали солдата, как вы его видите, а я вижу вас так!» Обиделась, в интернет выложила все это. А я говорю: «Чего обижаетесь, кто вам дал право коверкать образ солдата? Если бы было все так просто, какого же хрена, почему ученые до сих пор ломают голову, царь это или не царь. Нозвали бы антрополога Анастасию — и все она бы решила, нарисовала. Как у тебя все просто, господи!» Они разложили эти портреты по гробам, телевидение все

это снимает. Но на следующий год они фотографии уже не рисовали, подействовала моя критика.

Мне немцы пишут с Германии: «Виктор, вы совсем сдурели, у вас что, денег нет в России, хороните своих защитников в почтовых ящиках?» Я говорю: «Алекс, вы совсем с дуба рухнули, в каких почтовых ящиках?» Он мне выставляет фотографию этого квадратного и говорит: «Это что? Это не почтовый ящик?» Говорю, мол, у немцев-то вообще хоронят в коробках. Он отвечает: «Так у нас-то захватчики». У них правда маленький гроб из плотного такого картона — и они хоронят в нем.

[...]

Я когда-то сказал так: мы не ищем останки, мы ищем личности. И больше я доказывать никому ничего не должен. За каждым останком, за каждым, стоит личность.

Родила же на свет, родила нас мать,
Просто так мы не можем без вести пропасть.
Завещаем, потомки, вы вернете нам честь,
Здесь под Ржевом пропавших вам нас всех и не счесть.

Написал за секунду буквально, парень попросил. Ему надо было выступить, что-то сказать там. В СВР, кстати, мальчишка, который служит. Он приезжал сюда на захоронение, у него лицо было, мы как раз разведчиков хоронили, он был в шоке. У него слезы пошли из-за того, что родственники приехали с Красногорска. Что на Василия самого посмотреть, что на этого солдата. Ну это москвичи фактически. А у него еще прическа, у Васьки, была один в один с этим солдатом. На него смотрят и спрашивают: «А что, он вам дед или кто?» Хотя сидят совсем незнакомые люди. Даже вот родная его сестра приехала, 1923 года рождения. Уже награжден был мальчишка. Но награду видно, что сдал. Может, он до этого в разведке был, обычно разведчики оставляли при себе награды, а это они уже шли в бой, обвешаны все. Медальоны были у всех. Нисьмо читаю, развернули письмо, а там четко: «Василий Шибуров. Идем на

смерть». Они же знают уже, куда идут. Прямо первая строчка. «Ради бога, кто меня найдет, перешлите. Моя область оккупирована, я со Смоленской области. Перешлите моей невесте Матрене, Красноярский край». Это был рекорд нахождения родственников. Наташка подняла телефон, и через полчаса нашлись родственники. За полчаса в России нашлись родственники. Она не могла приехать, его родная сестра, на захоронение. Мы поехали с Василием, с этим москвичом, в Смоленскую область, повезли вещи личные, письмо. У нее самой ноги не ходят. А останки были вместе. Мы их разделить не могли. Вещи, которые были с этим письмом: опасная бритва, нож разведчика в сапоге — относились именно к этим останкам, его не спутать там было. Все равно ребра там перепутаны, там уже непонятно, кто и как. Медальоны находили прямо на черепках, на ногах: мирные жители же их хоронили, они были оставлены на поле боя.

И когда мы приехали к сестре погибшего домой, она нам рассказала историю. Матрена Щеголькова ее фамилия, она невеста Василия Шибурова. Она после войны вернулась сюда и прожила рядом с сестрой и так и не вышла замуж. Она была в эвакуации в Красноярском крае.

Ф. Д.: Как могла целая записка сохраниться-то?

В. М.: В воде, в каше — в идеальном состоянии. Вытащили и сами поразились. Как будто человек вчера написал. Вот суждено же было остаться. Где мы их поднимали, там вообще ничего не должно было сохраниться. Каша невероятная просто. Ну а с другой стороны, скорее всего, она, эта воронка — мы миллион раз мимо нее ходили — она была огромная и никогда не сохла. Даже в засушливое лето. Вот это и спасло. Воздух не попадал, и все — письмо сохранилось. Когда воздух не попадает, все сохраняется. А когда воздух, сырость — все тлеет. Останки вот там, где воздух, сырость, истлевают, и все. А там, где кислотные почвы, там распадается все моментом. Мы там все оставляем, заравниваем. Знаем, что со щупами правильные поисковики не ходят. Заравниваем дерном, и все.

Н. М.: Там вон останки берешь, и они в руках рассыпаются, их нет смысла собирать.

В. М.: Там от штыка мосинской винтовки остается, ну, гвоздь. Там все сжирается, саперные лопаты съедаются, все.

Н. М.: А вообще даже в гильзах, бывало, сохранялись записки. У этого, Зухорова Нардина, у него четко написано было: Ташкент, улица Моторная, дом 12.

В. М.: Или я помню случай, когда мы с тобой эсэсовца нашли с позолоченными часами. На обратной стороне часов стояла монограмма, рифленка такая, две большие цифры. Ну ладно, нашли и нашли. Были у него часы позолоченные, крест и пистолет разорванный, парабеллум — прямое попадание. И рядом находим нашего солдата. Значит, читаем. Фамилии вообще нету, замазано все, расплылось. Но дальше зато: Казахская ССР, город Акмуринск, улица Сталина, дом 17, квартира 4. У немца ничего нету. За две недели дали запрос в Германию по этим часам, выяснили что он латышский немец, в партии Гитлера с 33-го года — у истоков стоял. Нропал в районе деревни, где была разбита дивизия Das Reich в 42-м году. А у нашего все написано — до сих пор ищут, хотя если квартира указана, то тут и фамилия не нужна. Ну, это Казахстан. Мы и к поисковикам ихним обращались, мы куда только не обращались. Вообще, мусульмане — они никому не нужны. Они приезжают сюда, но они сразу сказали: «У нас так — человек чем быстрее истлел, могила пропала, тем быстрее Аллах его забрал». Сюда много ездит мусульман, но искать их бесполезно. Сколько раз мы родственников искали, все бесполезно. Если только из верхушек встретишь кого, тогда да, а так — бесполезно.

Н. М.: Да не только мусульмане. Вот смотри, у нас была переписка с удмуртами. «Виктор Николаевич, вы просили меня написать о нашем отношении к переносу останков. Так и вертится в голове сказанное Твардовским — "ну да будет оно с нашей верой согласно". Мой дед, бабушка и отец были чистокровными удмуртами. Это значит, что наши предки жили в верхнем течении реки Чепки еще в V веке. И хотя официально удмуртов считают народом, исповедующим православие, они до сих пор, несмотря на осуждение, а порой и прямые противодействия со стороны священнослужителей, сохранили верность традициям, своим языческим, дохристианским верованиям, обрядам и обычаям. Но удмуртским религиозным представлениям, душа человека после похорон растворяется в окружающей среде и любой перенос нарушает целостность останков. Поэтому удмурты очень болезненно относятся к переносу останков на

дальние расстояния. Именно поэтому я и хочу видеть ваши места, деревню Паново, где был дед похоронен был первый раз, и воинское кладбище в деревне Погорелки, где он лежит сейчас». Суды плюют на это все, что родственники. Хотя, с другой стороны, захочет какая-нибудь бабушка лет так под сто поклониться разным костям, так что — тащиться в какую-нибудь глухомань? Такая вот двойственность в этом вопросе. Что же до меня, я думаю, что человек должен быть похоронен недалеко от места его гибели или смерти. А уж хоронить рядом врагов, так и не примирившихся при жизни, кажется мне безнравственным. Но суд хитро сделал. Судья понимает, что по закону место выбирает администрация. И администрация хитро сделала — сказала захоронить по решению суда. И все, лишь бы они были похоронены. Мертвые пусть сами разбираются с самими собой.

В. М.: Много приезжают, вот 9 мая тебе надо приехать сюда. У нас якуты погибли вот здесь, деревня Зайцево. Там погибли якуты, а памятник тоже установлен им за Ржевом. Вот, значит, приехал внук якута: мы по интернету смотрели, как он выступает, мол, у меня дед здесь погиб, он здесь лежит. Зачем ты туда поехал, в город? Чтоб себя показать, что ты такой хороший внук и приехал его почтить? Дед здесь у тебя погиб, в деревне Зайцево. Зачем ты туда приехал? Просто им сказали туда ехать, он и поехал. А другие родственники говорят: зачем мы поедем куда-то, когда они у нас вот здесь лежат.

Вот бабушки на захоронении подошли ко мне, помнишь? Я тут же записал их на быструю руку. Соловьев Иван Тимофеевич и Соловьев Василий Афанасьевич. Это они похоронили летчиков южнее деревни Корольково, у леса, ближе к реке. Они даже это помнят, одна рядом жила, ее отец хоронил этих летчиков. Вот сейчас пытаемся найти. Они застрелились с одного пистолета, у них был пистолет один на всех. Самолет подбили, они упали и все застрелились с одного пистолета, и немцы разрешили их захоронить. Это история подлинная. Немцы, которые стояли, были в шоке: они стреляются на глазах друг у друга с одного пистолета. Экипаж был три человека, транспортный самолет.

Н. М.: А там их деревня — одни Соловьевы. Родственники, однофамильцы. Ну теперь-то, конечно, замуж уже повыходили. Очень много писем приходило, когда вот эта вот передача вышла, «Найдите, пожалуйста, моего деда, отца».

В. М.: Кого тут только не было. Вот письмо: «Извините, что не знаю вашего отчества. Узнал о вас и вашей деятельности из материалов РИА "Новости". Дело в том, что мой дед, Иванов Иван Владимирович, 1897 года рождения, уроженец Удмуртской ССР, воевавший в составе 375-й, погиб в бою 12 марта, был похоронен в деревне Паново (это примерно там, где стоял лагерь тюменцев десять лет, прямо на их стоянке), так указано в похоронке, однако в книге памяти Удмуртской ССР указано другое место захоронения — деревня Погорелки». Они никак не поймут, почему так, — пришлось объяснять. На мой запрос в 2007 году пришел ответ за подписью первого зама главы региона, что в 54-м году было произведено перезахоронение. Я потом объяснил многим людям, они поняли уже: бумажный перенос был в основном. Бумажный перенос — это значит отчитались, что перенесли. На самом же деле переносились только огромные захоронения по 700, по 400, по 500 человек. А вот эти, где он лежал, по 100, по 10, по 50 — нет.

У нас тут солдаты до 67-го года с этой целью стояли. Они, помимо того, что переносили останки, разминировали местность. Танки взрывали. В танки наложат всякую дрянь — снаряды, мины. В этот танк шашку закладывают, заваривают люк — и танк в клочья. И чтобы меньше разлета было, и чтобы снаряды уничтожить. Но главное — танк уничтожить, не вывозить же его из болота.

Некоторые удивлялись: «Вот, столько "тридцать четвертых" на огороде лежало, а немецких танков и нету толком, почему?» Я говорю, мол, вы не путайте. Я задавал вопросы своей бабушке, она говорила, что приехали минеры, танки повзрывали, а они их на лошадях с полей вывозили, сдавали в магазин. Немецкие танки же легкие. «Тридцатьчетверку» где им было поднять. Был план сдачи этого металлолома, гильзы в мешках таскали латунные, а за это давали хлеб, конфеты, все прочее. Вот и все, простое объяснение, почему немецких танков нет. Их просто сдали в первую очередь. Ведь немецкий танк разбитый одними руками погрузишь. У нас же было два штурмовых орудия здесь, практически целых, которые мы вывезли по сути ЛУАЗом, без всяких проблем. А «тридцатьчетверку» только «семьдесятпятка» потянет.

Вот по поводу Солженицына тоже: в свое время писал он, что лучше работника, чем немец, не найти. Ногорелки сейчас святое

место. Посмотри, какая тут вселенская тишина, а это всего-то двести километров от Москвы. Погорелкам вообще не везло. Мне поляк один написал в интернете: «Вы захватили, напали на нас в 39-м году». Но я его быстро убрал, там классов наставили мгновенно. Пишу: «Ты мне объясни, милый мой миротворец, какого хрена в 1612 году польско-литовское нашествие было, что вы делали у меня на земле, даже фуражку забыл у меня на огороде». Я говорю: «Смутное время помнишь, нет?» И меч, который в огороде нашел, выложил, говорю: «А это вот твоего прапрапра... — когда он бежал отсюда». Я быстро успокаиваю людей. Мы нашли околышек фуражки, а на нем написано что-то по-старинному, Я в краеведческий музей к девчонкам. Они говорят: «Ой, господи, поляка нашел!» Столько лет пахал у себя на огороде — и тут выпахал. Это околышек фуражки, польско-литовское нашествие, дали мне заключение. Я ее подарил им. Они говорят: «Да ты что!» Я говорю: «Берите-берите, дарю ее!» Пу и фотографию выкладывал потом, говорю: «Па, смотри, это не твой ли прапрапра... оставил? Какого хрена он резал моих прапрапрабабушек?» И все, он пропал. Осерчал почему-то быстро.

Тысячи писем нам приходят. Все пишут, пишут. Денис Арапов, конечно, раскрутил тогда эту тему.

Ф. Д.: Какую тему?

Н. М.: «Живые и мертвые» — Денис Арапов такой репортаж снял. С 2015 года. Суды до сих пор идут. Якобы они нам дали гробы, а деньги ушли непонятно куда.

Ф. Д.: Администрация?

В. М.: Да, якобы они гробы нам дали. И сейчас идут разборки. Никакие гробы они нам, разумеется, не давали.

Ф. Д.: А, то есть не с вами суды, а у них — между собой?

В. М.: С нами. Мы, во-первых, подали на клевету. Если ты мне передавал гробы, купленные на деньги администрации, ты мне предоставь документ, что ты мне их передавал. Это элементарно, нормально. Договор на поставку гробов. Они где-то там, понятно, эти деньги распилили, а на нас списали эти гробы, хотя на самом деле гробы закупили мы и родственники. У нас акты есть, оплата, чеки, все есть, что заплатила Наталья Николаевна, а не администрация. Вот эти 604 человека когда хоронили, у нас было 64 гроба. Они понимают, что теперь же все в обратную сторону будет раскручиваться. Меня

держали четыре часа в наручниках, что вообще запрещено, у меня руки уже были синие, на хрен. Не выпускали, пока наши эфэсбэшники не позвонили туда. Наталья позвонила эфэсбэшникам, мол, муж пропал, куда они увезли — неизвестно. Они ментов всех на уши подняли, они меня откопали, нашли и сняли наручники. Судебные приставы там мордовороты. Их шесть человек, возились, возились, плюнули, а я после операции, после Москвы, кровь горлом уже пошла, я устал просто. Они у меня летали, как эти, по разным сторонам. Ко мне майор подошел, он эту полицию судебных приставов на хер послал. Он говорит, мол, у меня дед погиб, пошли вы на хрен. «Вам надо — вы и разбирайтесь сами». Я говорю: «На, надевай». Он говорит: «Отожрал морду!» — «Если я морду отожрал, то об твою морду надо кирпичи бить. Я не сижу, не жру, я лопатой работаю, я всю жизнь с кувалдой. И вырос я на улице, знаю, как с вами, с ослами, справляться».

А теперь, если докажут, чьи эти гробы, то это захват чужого имущества. Сейчас все раскручивается обратно. Сейчас все это вернут, так и компенсацию, моральный вред возвращать придется. Я говорю, мне от этой скотины ничего не надо, только чтобы он закупил столько же гробов и привез сам лично. А так получается, что во Ржеве захоронения провела не администрация, а Морозовы. А юристы с Москвы посоветовали: похороните у себя, вы ничего не нарушите. Вы вернули останки на то место, где их взяли. И оформляйте как могилу. Будет она на частной территории, зайти туда никто не имеет права, забрать никто не имеет права. Это ваше личное. Да, вы обнаружили, да, лежат останки, лежат и лежат. Могилу обустройте и оформляете как воинское захоронение, ставите на учет в управлении по увековечиванию памяти.

Ф. Д.: А если потом еще найдете, куда денете?

В. М.: Я возьму да и рядом подхороню. А потом пусть они переводят из моей частной собственности в муниципальную — ради бога.

Часть 5. Мясной Бор



Переход к берегу, мол,
Самска, из поном, барузи.
Длинной стеной в
сторону, кудит,

он мне знает
эту историю. Помню
он идет вперед, а за ним
и веревка болта такая,
и граб кустарник идет,
там деревья небольшие,
и вот она, янки

маленькой

Бор



АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЛИНИН

Кто такой Пиколой Иванович Орлов, вы знаете. Мы его пацанами звали Дедом, потому что у него было семь человек детей — это было редкостью даже в то время. Идея создания «Сокола»^[154] возникла даже не у него, а у комсомола, тут нельзя комитет комсомола скидывать со счетов. 18 апреля 68-го года — можно сказать, дата создания этого «Сокола», — тогда был первый поход в Мясной Бор. Он был скорее ознакомительный. Образовался костяк энтузиастов: Лешка Скала, Володя Есипович, Жора Пузанов, Трубицын, Ирина Савинова, Валера Гельбо, Люба Пазарова, Тамара Знышева... По я всех не знаю, поскольку начал работать на химкомбинате «Акрон» с февраля 69-го, в первых походах я не участвовал. Многих друзей уже в живых нет... Такой вот костяк энтузиастов.

Звать нас туда не надо было. Жены ругались, но что поделаешь! Вплоть до 70-го года мы там ничего особо не искали. У нас одна задача была — найти могилу Всеволода Багрицкого, сына Эдуарда. Он был по должности писатель в армейской газете «Отвага» 2-й ударной армии. Погиб Багрицкий, на его место прибыл Муса Джалиль — Джалилов. Вообще редакция той газеты очень интересная. У них был художником Вучетич, ну и корреспонденты 2-й ударной известные были: когда я говорю, например, «они забудутся не скоро, сраженья у Мясного Бора, у Спасской Полисти, у Званки, на безымянном полустанке», — это Рождественский, только не Роберт, а Всеволод Рождественский, был такой поэт во время войны.

С могилой Багрицкого интересно, конечно, вышло. Когда веришь книгам — попадаешь черт-те куда. Есть такой трехтомный сборник «В редакцию не вернулся»: там было написано четко и ясно, что в феврале 42-го года Всеволод Багрицкий погиб при бомбежке и похоронен был на развилке трех дорог в районе деревни Сенная Кересть, где редакция стояла и был штаб 2-й ударной в последние дни. Потом штаб маленько переместился, но в основном он был в этой Сенной Керести, и узкоколейка туда выходила, известная всем. Кстати, к нам сюда ездил майор Иванов, который ее строил и обеспечивал работу этой узкоколейки, но он недолго ездил. Похоронили

Багрицкого на развилке трех дорог, под сосной, а на сосне — это в книжке написано! — Вучетич вырезал немного перефразированные слова Цветаевой: «Я вечности не приемлю, зачем меня погребли, мне так не хотелось в землю с любимой моей земли». И вот поиск весь наш, всю весну — летом-то там особенно не попрыгаешь, комарье, все зарастает, — весь 69-й год искали ту сосну, потому что к Сенной Керести примыкает сосновый бор. Дед Орлов писал и Вучетичу, дважды ему писал, но тот так и не ответил. А оказалось все очень просто: когда ответственный редактор газеты «Отвага» Кузнецов прислал свою фронтовую карту с пометкой, где они похоронили Багрицкого, вот тогда и нашли эту могилу. Самое-то интересное, что мы ее видели. Она была уже полусгнившими жердями огорожена... Но мы же искали сосну! Мол, книгам-то надо верить. А там просто березка стояла, и больше ничего. А Вучетич так и не ответил. И потом даже где-то сказал: «Чего вы меня причисляете ко 2-й ударной? Я не предатель...»

Но вообще, честно говоря, натянуто это, что их тут предателями считали. Время такое было — за малейшую провинность называли врагом народа. Я бы не сказал, чтоб всех к ним причисляли, кто вышел из окружения. Ведь 2-я ударная, остатки ее, вышли и знамя вынесли, и она была опять сформирована, ей командовали Федюнинский, Романовский... И в 43-м году со стороны Волховского фронта блокаду-то прорывала 2-я ударная, в районе Рабочего поселка. То есть армия-то как таковая сохранилась, ну а сам Власов по себе — предатель он и есть предатель. Сейчас про него чего только не пишут! Вот мне в руки попадал журнал «Молодая гвардия», три номера, я не помню, какой год... девяносто какой-то. Ну, время сами знаете какое было. Так там красной нитью прошло, что Власов — это не просто какой-то предатель, а казачок, Сталиным посланный в ставку Гитлера. Seriously! И вы знаете, я, честно говоря, потом находил подтверждения... Есть книга такая, «Тайный советник вождя» Успенского, вот у него проскакивает, что Сталин в беседе с кем-то сказал, мол, нам надо кого-то из генералов заслать туда. И упомянул фамилию Власова. Поэтому это дело темное!

Вот так, собственно, все и началось — с поиска могилы Багрицкого. А карта Кузнецова была у нас в музее, куда она делась — не знаю, потому что сейчас уже третий директор в музее сменился, и

реконструкцию музей пережил... Хотел я ее найти, потому что там еще одно место есть. Был такой первый герой Волховского фронта, 111-й стрелковой дивизии, которая вышла из-под Тихвина сюда, — Оплеснин Николай Васильевич: он осенью, уже при морозах, трижды переплыл Волхов, чтобы наладить связь с действующими войсками, потому что на западном берегу были немцы, а на восточном стояли наши. Ведь этот фронт — это ж великое противостояние было.

Оплеснина захоронили где-то на берегу Керести, а после войны команда была его перенести, и он официально похоронен на братском кладбище в Малой Вишере. А Деду кто-то написал, что он был захоронен в совершенно другом месте — в районе деревни Ольховка. Ну, Ольховка-то тоже переходила из рук в руки, там бои были страшные. И вот чутьем каким-то верхним мы под руководством Деда нашли эту могилу, но попробуй докажи — Оплеснин это или нет. Мы ее вскрыли, там кладбище большое. Потом Серега Котелевский, говорят, всех их вынес в Мясной Бор на большое захоронение. А мы тогда вскрыли, посмотрели — ну, похоже. Но кто письмо про это Орлову писал — я не знаю. Ошибки любые вполне допустимы, такое время было. Уж насколько солидная контора КГБ... есть Книга Памяти сотрудников «Смерша» и НКВД, погибших в Великую Отечественную. Там четко написано, что майор НКВД Шашков, начальник особого отдела 2-й ударной армии, погиб и похоронен в деревне Арефино. Хотя не было его там никогда и быть не могло, но в Книге Памяти так написано. Да, были там два Шашкова, но это рядовые.

Потом появились ветераны, 18-й арtpолк, мы с ними были очень дружны: Клыков Николай Иванович, диспетчер Королевского завода, Барышников, комбат Ивашкин, Нина Ивановна Сажинова... Ее фамилию, правда, в книжке «Комендант Долины смерти» Саня Орлов переврал: написано не «Сажинова», а «Сажина». И они просили поставить памятник 18-му арtpолку, и памятник по проекту Орлова, — собственно, в основном он и возглавлял изготовление памятников, — это обелиск и три снаряда 152-мм, такой памятник поставили в Мясном Бору. Сейчас там большой обелиск 2-й ударной, который поставили по инициативе вице-адмирала Шашкова, это сын начальника особого отдела 2-й ударной. Помогали ему тут все, хотя мое мнение — никому этот памятник сейчас не нужен. Ну, стоит он,

его ремонтировать надо, «Акрон» никак отремонтировать не может. И вот в 69-м году мы этот памятник 18-му арtpолку открывали, и ветераны регулярно на 9 мая ездили.

А картина там была вообще-то жуткая. Понимаете, я тульский политех кончал и, поскольку турист, ориентировщик был ярый, видел вокруг Тулы окопы орудийные, но там не было того, что было в Мясном Бору. А тут, к примеру, по настилу Полисть перешел — поляна сплошь усыпана костями. Черепа, кости, ботинки... Ботинки берешь, а оттуда фаланги сыплются. Винтовок этих было... Винтовки собирали вдоль речки и в козлы ставили: трехлинейки — «трехи», как их теперь называют. А всех орудий для поиска и было — палка, воткнешь в нее шомпол от трехлинейки — готов щуп, а больше ничего. Это сейчас у ребят и минники, и магнитометры, и чего только нет; и пешком они не ходят, они на ГТ-Т да на ГТ-С ездят. А мы что — все ногами, ногами, ногами. Пу и Дед с нами, основной идейный руководитель. Все организационные вопросы решал комитет комсомола, а идейный руководитель был Орлов Николай Иванович. Он знаток тех мест. Вообще разносторонний был мужик: и стихи писал, и рисовал, и чего только не делал. И память у него была отличная. Я все смеялся, как бывший ориентировщик говорил: «У тебя верхнее чутье». Вот идешь в зарослях, не знаешь, куда идти, и он точно выводит туда, куда надо.

Больше всего в память врезалось огромное количество останков. Хорошо, что появилась «Долина», и они все это вывезли, ведь сотнями перезахорнивали, вот эти курганы на большом кладбище в Мясном Бору — это все «Долина». Хоронили по 50 гробов, костями набитых... Людей считали по черепам. Много останков, очень много. И это удивляло. Есть там такое место — его сейчас зовут «госпитальная поляна», мы-то ее звали «дровяной», потому что перед войной там заготавливали дрова, сложили их в поленницы и не успели вывезти, — и вот на этом месте во время войны был госпиталь 2-й ударной, это уже последние дни их были, ближе к лету. Так вот там, недалеко от этого госпиталя, стояла палатка, а в ней — семь человек, и восьмая — медсестра Останки, они были рядом положены на хвойных подстилках... То есть не вынесли их, этих раненых, так и остались. Знающие люди говорят, что остатки этих раненых добивали латыши. Здесь был эсэсовский латышский полк, они тут зверствовали

нещадно. И что интересно: после войны, уже когда «Долина» была, в районе Спасской Полисти какие-то латыши поставили памятник вот этим эсэсовцам, legionерам. Привезли и поставили. А чего удивляться? Границы открыты были... Но «Долина» его взорвала. А что убивает — ощущение, что вот только-только прошла война, и вот лежат эти кости, и никому они не нужны были. Так что, когда говорят: «Никто не забыт, ничто не забыто», — в этом можно и посомневаться!

Надо заметить, что мы останки массово не собирали, ну, в рюкзаках много не унесешь. Перезахоранивали только тех, у кого находили медальоны. И слава богу, что появилась «Долина», они хоть это все прибрали. Правда, был момент, когда и нас облвоенкомат или горвоенкомат привлекал к сбору военных останков, это опять же все через Николая Ивановича Орлова. Выдали нам повестки, что призваны мы на какие-то сборы... А преамбула всего этого очень простая: кто-то из больших начальников министерства обороны ехал по трассе Ленинград—Москва, сошел в лес, а там останки. Оно ж все сверху в то время было: идешь — каска, каску перевернул — под ней череп. Начинаешь смотреть, есть медальон или нет. Медальона нет — зарыл ее... Вот такие были поиски. Они ведь как: вот как бежал в атаку, упал — так и лежал, никто его не трогал. Это сейчас поисковики считают, что если нашли верхового — то это удача. Копать, как ребята сейчас копают, нам не приходилось, ведь, если уж честно говорить, копают-то они сейчас в основном санитарные захоронения — ведь хоронили и в то время, были похоронные команды. Собрали останки, в воронку покидали, присыпали — считается, что похоронили. Даже документы не изымали: ни смертные медальоны, ничего.

И вот Николай Иванович смеялся: «Это, наверное, Язов ехал!» Язов — министр обороны, а лейтенантом воевал, понимаете? Он воевал во 2-й ударной лейтенантом. И нас отправили туда. Ну, мы что — в одном месте, где высоковольтные линии Новгород—Чудово, шестьдесят с чем-то человек собрали, потом, правда, эту цифру переиначили чуть ли не под тысячу. Помню, как мы стояли лагерем на высоковольтке, солнышко пригрело, и вдруг как поползли гадюки чуть ли не из-под палаток! У них там зимовка была. И Дед орал: «Не трогайте их!» Мы говорим: «Да мы и не собираемся, расползаются себе и расползаются».

Интересно, как их потом перезахоронили. Военкомат вроде все предусмотрел: вышли мы к памятнику 18-го арtpолка на трассу Москва—Ленинград, там гробы были — уложили все и гробы. И палатки там же поставили, потому что десять или пятнадцать дней в грязи копались... Заложили останки и спать улеглись со спокойной совестью. Утром просыпаемся — гробов нет! Военкомат их ночью увез на «среднее» кладбище. Между Мостками и Мясным Бором их три было: Любино Поле, братское захоронение, потом вот было «среднее», его перенесли потом на «центральное», почему, зачем — не знаю. И вот на «среднем» кладбище все это перезахоронили. А рядом памятник был: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Мы медальоны, конечно, находили, у нас вот с Валерой Гельбо история была — я нашел... даже не медальон, а просто в патрончик был вложен листок бумаги с адресом. На всю жизнь запомнил: «Харьковская область, Волчанский район, Волчанские хутора, Ковалевой Александре Максимовне». Подольский архив в то время на наши письма откликался редко. Комитет комсомола написал в архив, а Орлов взял — и прямо по этому адресу бабахнул письмо. А мы обычно по осени походы заканчивали в деревне Ольховка, там еще тогда два дома были целы. В одном жил лесник, он только-только съехал, а дом хороший, и вот мы туда приезжали — рядом на болоте клюкву собирали. За клюквой мы на 7 ноября ходили, и тут звонят с горкома комсомола: «Вы чего там, ребят? К вам семь человек приехали!» Родственники вот этого Ковалева. А они получили письмо Орлова и, не дожидаясь ничего, собрались: мать, два сына, невестка, внуки... Ну, горком им помог с гостиницей и со всем.

А мы с Гельбо уже под вечер его нашли — верховой, как сейчас говорят. Винтовка у него была, СВТ. Свалили березку на него, воткнули СВТ — ну, темнеет уже, а нам на работу в понедельник надо, это был выходной. И тут вдруг солдаты приехали — десантники, саперы Псковской десантной дивизии, они убрали взрывоопасные вещества, у них только этот район и остался. Повели мы родственников Ковалева на то место. А саперы как работают: они рубят проходы типа просек, квадраты делают. Они этих берез навалили... Где он? Сели на березу, закурили. А мы на эту СВТ еще повесили компас. Сидим, курим, я фонарем посветил и говорю: «Валер, смотри, мы ж на этой березе сидим!» И вот ночью, при свете

костра, сыновья это все и выбирали: все пуговицы, все косточки, все-все захоронили в Мясном Бору на старом кладбище. Но потом с ними связь как-то потерялась, хотя военкомат на основании этой бумажки дал справку, что Ковалев погиб. Насколько мы знаем, в этих Волчанских хуторах была памятная доска, — односельчане, погибшие во время ВОВ, — а он-то без вести пропал. Вот фамилия его там появилась, жене пенсию дали.

Мной найдено два медальона, и оба, кстати, с одинаковыми фамилиями. А в команде медальонов наберется десятка два, вот времен того «Сокола». Марсакова, Супрун, Мотрошилов... Но Саньку Орлова нам не переплунуть. Я считаю, что это гены у него, гены. Наследственность! Я считаю, что это лучший поисковик «Долины» и Новгородской области. Всех верховых, конечно, не подняли, где-то они еще есть. Саня как ни пойдет, — говорю, у него чутье, гены, — обязательно что-нибудь найдет! Сверху. Хотя наши в прошлом или позапрошлом году в Демянском районе 300 человек подняли. Триста! Но это большая братская могила, Все в одном месте, в овраге. Ну, как Игорь Кун говорит, это удобное место: покидали, закидали землей, и все. И они ведь вышли на него не просто так, а по каким-то документам, где-то оно помечено было. Нотом вот девица приезжала с Севастополя, она тоже по документам, по архивам, — ну, сейчас по компьютеру все можно найти, там есть страница специальная, — она нашла братское захоронение и почти все фамилии установила. Поэтому сейчас это нормальное явление, не то что мы — ничего не знали. Что нашли, то и нашли. А подольский архив, он маленько был полузакрыт. Это сейчас он открыт, Игорь Кун туда ездит — его и в архивы допускают, все нормально. А тогда о том, чтобы туда ехать, и разговора не было — там целая процедура допуска была.

Вот Бурмистров, в честь него есть обелиск, в 68-м году поставленный «Соколом». Не доезжая Мясного Бора, напротив бывшей деревни... Света Орлова, она же начальник Зала воинской славы, спрашивает: «А он там?» Да нет там никого, это просто место гибели. Просто Орлов так решил, что надо поставить такой памятник, новгородский комсомолец, довольно известный был пулеметчик на Волховском фронте, — и поставили, опять же по проекту и эскизу Николая Ивановича. А его самого там нет. А Света где-то выкопала, что он похоронен где-то в другом месте. Хотя его, в принципе, так и

не вынесли, как он подорвал этот взлет, так он там и остался. Но ведь таких примеров много: Красилов, Черемнов, вот наши известные герои — их же тоже не вынесли, они так и остались на месте боя, и что с их останками стало, никто не знает. Так что много еще мы про эту войну не знаем и будем потихоньку узнавать.

А сейчас-то что «Сокол»... Орлов в 80-м году умер, в декабре, его давно нет, но дело-то его живет. Вот самолет Р-5 подняли на Малом Замошском болоте, Саня Игнатьев вспоминал — его пытались раскапывать и Саня Орлов, Александр Николаевич, и Губанов, и еще кто-то, но вот добрались. Вытащили и останки, вытащили и документы сохранные, установлены фамилии летчика и штурмана, правда, еще родственников не нашли. Меня это немного удивило, потому что лично я такое вижу второй раз, первый был, когда Валерка и Сашка Орловы нашли Мотрошилова — тоже документы сохранились отличнейше. Даже так: тут же вызвали... У нас такой товарищ был, спецкорреспондент «Комсомольской правды» — Илья Григорьевич Гричер, он больше фотограф, но спецкор. Вызвали его, и он как бабахнул сразу статью в «Комсомолку», и напечатал фотографии дочерей этого Мотрошилова. Эти фотографии в земле, в воде, в воронке пролежали — и ничего им не сделалось, можно было в газете печатать. Старшая дочь у Мотрошилова — довольно известный философ, профессор МГУ, Нелли Васильевна, вторая тоже кандидат наук, работала в Алма-Ате, в Казахской академии наук. А муж у Нелли — Замошкин Юрий Александрович — был замдиректора Института США и Канады. Фигуры-то известные!

Между нами говоря, начинал-то Орлов с чего? С бригадами собирал металлолом. Металла там было море, надо было семьи кормить. И никто ведь не обращал внимания на этих убитых да на эти медальоны. А он начал обращать внимание, писать по этим адресам, начали приезжать родственники... В книжке «Комендант Долины смерти» все это описано. И вот это дело началось. Нотом он работал в школе в Трегубово, создал там поисковый отряд, на основе него был создан отряд в деревне Малое Ночивалово. И вот так, в принципе, он стал поисковиком номер один. Вот еще был интересный момент: батальонный комиссар Супрун, жена его из Жданова (теперь уж Мариуполя) долго к нам ездила, любовь была у них страшная. Ей пришло сообщение, что он погиб и захоронен на окраине Ольховки. И

вот она регулярно писала, а почтовое отделение было на станции Спасская Полисть. Письма эти почтовики рвали и кидали, вручать-то некому. Случайно попало это письмо Николаю Ивановичу. И вот он начал искать, нашел эту могилу и это захоронение.

Понимаете, когда Орлов приехал с эвакуации, в Мясной Бор было страшно войти. Во-первых, трупов тьма, и это еще не останки, это трупы были. У многих были и медальоны, просто никто не обращал на них внимания. Он обратил и начал писать по родственникам. Когда у нас музей появился, — он не больно-то этого хотел, но мы его уговорили, — он очень многое записал на бобины. По не до конца он все это рассказал. Записи у Сашки, не знаю, сохранились они или нет. Это сейчас все снимают, а в то время — техники никакой, миноискателей никаких... Как старики рассказывали, молва шла, что в районе Малого Замошья сейф какой-то был закопан — так Николай Иванович организовывал, что привозили бомбоискатель, вдвоем носили, но там железа столько, что он на каждом шагу звенел — попробуй найди! Но Санька потом там какой-то сейф нашел с документами.

В районе Сенной Керести на берегу реки был очень удивительный памятник: представляете, на дубе надпись выпуклыми буквами: «Артиллерист-зенитчик, старший сержант Шумаков К. Л., погиб в боях за социалистическую Родину 31 мая 1942 года». Вырезано выпуклыми буквами! Сейчас надпись в музее, а он так там и лежит, никто его не эксгумировал. Весной 77-го года мы — Николай Иванович Орлов, Валерка, Сашка — на байдарках по Керести сплавлялись, хотели забрать останки... В дуб молния ударила, и он сгнил, а Дед зимой 77-го надпись аккуратно вырезал, — она была по краям уже полусгнившая, — и рядом спрятал. И вот мы весной 77-го вчетвером хотели ее забрать, но не нашли, потому что речка разлилась и это место было затоплено. Я ее вынес только осенью 77-го года. Мы специально собрались и пошли.

А весной 78-го я уехал в командировку на год в Токио, химия строилась, я приемщиком был, инспектором. В 78-м году я оставил поиск. Нет, потом я туда, конечно, выбирался, но уже не как активный поисковик. Последний поход был для того, чтобы вынести надпись с дуба Шумакова, надпись-то уникальная. Ее останки хранятся в музее, еще читаемы даже. Игорь Кун в подольском архиве установил, кто

такой этот Шумаков. Но кто хоронил, кто это резал... Ведь это уникальнейший памятник: в дубе, представляете, это затесано, и выпуклыми буквами! Ведь это резчик по дереву должен был быть. Вера Ивановна Мишина, которая наш музей основала, заявила, что это делал Вучетич. Красиво, но маловероятно.

И последний раз я там был в 2005-м, по-моему. Сашка стоял на берегу Керести, где узкоколейка Кересть пересекает. Тоже на байдарках собрались, чтобы пешком не ходить, — уже спина болит, ноги не ходят, — ну, ребята довольно часто плавали на байдарках с Горенки и до Чудова. Два дня спокойно плыть по течению. Ну, тогда Сашка Орлов стоял со своими, два отряда было у них, «Шкраб» — жены его, Светы... «Шкраб» — знаете что такое? Школьные работники. Она была директором педагогического колледжа, Светлана Михайловна. А у Сашки — «Гвардия». Вот там мы медальон нашли, с помощью бойца одного сашкиного. Потому что это был не просто верховой, а захоронение, там копать пришлось. У ребят ведь сейчас целая метода, верховых-то практически нет. И они сейчас роют санитарные захоронения, а санитарное захоронение — это что такое? Собрали всех, даже документы не посмотрели, есть или нет, медальоны не вытаскивали, покидали, прикопали и ладно. А этого парня — то ли его в стрелковой ячейке засыпало... В то время согласно БУН — Боевому уставу пехоты — не было же сплошных траншей, а были индивидуальные стрелковые ячейки, и между ними ходы сообщений. Так вот, его то ли засыпало, то ли в такой стрелковой ячейке захоронили. Откапывать пришлось. Но они его нашли, есть метод такой — вертуха. Стержень длинный с ручкой. Там есть одна особенность — труп лежал, его придавило сверху глиной, снизу глиной; труп сгнил, и вот он эту вертуху втыкает, если почувствовал, что там пустота — копай, 95 процентов, что останки найдешь. Но это уже современное, у нас этого не было. У нас что — палка и шомпол для винтовки. Щуп.

Дед был интересный мужик... Выпить он любил, не скажу, что пил, но любил. Захожу к нему как-то в пятницу, куда-то мы собирались, — сидят с Васильевым ^[155] на кухне и пьют водку. И вот Дед ему доказывает: «Да ты не то тут написал, ну что ты написал!» А он: «Ну, я ж писал не документальную повесть, а художественное произведение...» «В час дня, Ваше превосходительство» не читали?

Есть такая книга, и там описано — правда или неправда, — как пленили Власова, вся история создания РОА и прочее, прочее. А Дед ему доказывает: «Что ты тут понаписал?» А тот говорит: «Это художественное произведение... А в художественном произведении любой автор имеет право на выдумку». Есть у нас очень известный писатель, который написал роман «Мясной Бор», Станислав Семенович Гагарин^[156]. Тот тоже там навывдумывал, что и Гитлер на Волховский фронт приезжал с Франко, хотя Гитлер тут и близко не был — ни на Ленинградском, ни на Волховском фронте. Ну, художественная книга есть художественная книга, любой автор имеет право на выдумку. Хотя тут чего только не было — вот Шашков ведь на полном серьезе обсуждал вопрос съемки фильма про 2-ю ударную. И мы ему помогали, и режиссер был, и продюсер был. Режиссер был довольно известный — Салтыков Алексей Александрович^[157]. Он снял фильм «Директор», на съемках которого Урбанский погиб, «Председатель», за который он Государственную премию получил. Снимал он в Новгороде фильм по «Князю Серебряному» Алексея Толстого — «Гроза над Русью». Он мне обещал телеверсию на кассете подарить, поскольку я ему помогал площадку выбирать... Вот он же хотел снять и про 2-ю ударную. Шашкова Александра Георгиевича должен был играть Виктор Степанов. Сценарий написал сначала Гагарин — его Салтыков забраковал. Ну, Гагарин все-таки был детективщик... И Салтыков сам сел писать сценарий. Но умер. Так что этот фильм не был снят.

В лесу, во-первых, мне просто было интересно как молодому специалисту. Просто интересно, понимаете? А во-вторых, когда побывал там первый раз, и жена у меня тоже, когда увидели это побоище, кости, черепа, палатки — просто обидно стало, что так лежат они, за нас погибшие. За нас! И никому они не нужны. Никому. В глухих лесах, в глухих болотах. Вот почему сейчас ребята копают, зачем? А потому же, что, во-первых, интерес, а во-вторых, все-таки... Как Саня Орлов майку носил: «Это моя Родина, и мне не насрать!» Хорошо сказано. Война — это ведь штука такая, про которую мы мало знаем и будем каждый год узнавать, узнавать, узнавать, еще в архивах закрытых черт-те что ведь... Ну, как — вот нашел останки. Нашел медальон, фирменный бланк, где все расписано. А архив подольский молчит! Это в последнее время он открылся, а так тоже был в какой-то

степени закрыт. Только, наверное, потому, что это моя родина и мне не насрать на то, что тут произошло. А потом, вы понимаете, ведь люди взрослеют, одно дело институт, другое... Я приехал сюда молодым специалистом, кругом: «Никто не забыт, ничто не забыто». Понимаете? Обидно. Поэтому и старались, чтобы никто не был забыт из тех, кого мы нашли, и не забывать ничего.

Вот интересный момент, я был — не помню год — участником Всесоюзного слета, ЦК комсомола проводил такие по местам боевой, трудовой и воинской славы советского народа. Открывали экспедицию «Моя Родина — СССР», а поскольку я молодой, старшим мастером работал на химкомбинате, обком комсомола говорит: «Ну, выступи ты на открытии этом». Я говорю: «Да не буду я ничего говорить!» Они мне написали речь, а делегацию возглавлял секретарь обкома комсомола, Женя Быстров — Евгений Спиридонович. Перед открытием, перед выступлением меня нашел инструктор ЦК: «Ну-ка покажи, что ты написал». А я речь и не читал... Ну, мол, моя Родина — СССР, это я и так знал. Он говорит: «Как это так, ты старший мастер и прочее, что ты тут будешь говорить, это не вяжется, я снимаю тебя с выступления!» Я говорю: «Да и снимай». Говорю: «А знаешь что, парень?» У меня был с собой альбом с наших поисков — фотографии с черепами, с костями, с медальонами... Я говорю: «Давай я вот об этом расскажу». Он посмотрел: «Дело, конечно, великое, но ты хоть понимаешь, что, если я тебя допущу вот с этим, меня завтра с работы снимут?» Вот и весь ответ. Вот для этого мы все и делали, чтобы все-таки было известно людям, известно!

А потом ведь родственники ждут. Человек пропал без вести, а пропал без вести — это ни пенсии, к примеру, матери, ничего.., Без вести — и без вести. Вот я говорил про Ковалева-то. У него в хуторах была памятная доска односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной, а его там не было, потому что он без вести пропал. Ничего не надо было, военкомат только выдал справку, что найдено документальное подтверждение, что он погиб... Хотя ни дата не известна, ничего, у него записка была с адресом жены — и все, но справку такую дали — появилась и фамилия его на этой доске, и пенсию жене его выдали хоть какую-никакую. Вот для этого все и делалось, чтобы неизвестное стало известным.

Фамилии устанавливали и по вещам. На ложке фамилия, на котелке... В том-то поиск и заключается, чтоб по каким-то мелочам установить фамилию. Потому что было не безразлично — вот лежит человек, а мы все равно попробуем посмотреть, кто он, кто у него остался, мать, отец... Саня Савельев^[158] хорошую книжку написал, там начинается все с медной ложки. Что, когда отец уходил на фронт, дочь ему сунула медную чайную ложку. Сколько времени прошло, и ей прислали эту ложку, и она поняла, как папка нашелся. Было поверье, — вот с 18-м артполком про это разговаривали, — считалось почему-то у наших, у большинства, что если ты смертный медальон этот записал, то обязательно погибнешь, поэтому очень много находили этих пенальчиков просто пустых. С иголками, с нитками... То, что я, например, нашел у Ковалева — просто записка, адрес карандашом записан, и больше ничего. Потому что у людей вера была такая: раз я его взял, то непременно меня убьют, поэтому у многих их не было. Или нет, или они пустые, не заполнены. Даже в окружении считали: «Меня не убьют», это нормальное явление. Попадались и такие, что были заполнены химическим карандашом по незнанию — все расплылось, его не прочитать. В какой-то степени у бойцов было предвзятое отношение к медальонам, их же отменили в конце 42-го, по-моему, года, а красноармейские книжки, они... бумага и есть бумага, она размокает тут же.

Работа, думаю, не закончится долго еще. Даже вот ребята, честно говоря, поисковики теперешние, вот у Сашки Орлова «Гвардия», даже у них жизни на все не хватит, еще много тайн земля хранит. Пу, Мясной Бор, ну, верховых убрали, но их все равно там еще достаточно, потому что места плухие. Там есть район — Новая Кересь, Кречно — течет река Кересь. Вот восточный берег обследован более-менее, а туда дальше, к Любаши, к дороге Новгород — Ленинград — там вообще места еще не обследованы, а там тоже всего хватает. Сашка Орлов сунулся туда — говорит: «Ё-мазай! Там еще пахать и пахать». Немца нашел убитого... Поэтому, как писали... «Не пропадет ваш скорбный труд». Просто обидно, ну как это так, ребята полегли, ведь считается официально? Считается, хотя точно не знаю... Вот Мерецков в своих мемуарах пишет, что 2-я ударная оттянула часть армии от Питера и в какой-то степени помогла не сдать Ленинград. А если разобраться, то армию эту вообще-то

постигло фиаско, ведь цель-то была какая? Выйти на Любань, прорвать блокаду Ленинграда. И, если уж об этом говорить, конники Гусева — тут же 13-й кавкорпус Гусева воевал, — они, в принципе, уже на окраинах Любани были. А цифры, цифры... кто его знает? Вот Саня Орлов, не этот, а другой, у него еще дядька есть, довольно известный наш журналист, брат Деда, — тот считает, что тут в лесах полегло не менее сотни тысяч. Хотя Мерецков цифру приводит — двадцать с чем-то тысяч погибло... Я не помню официальную цифру, одна «Долина» — сколько она уже неизвестных перезахоронила...

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОРЛОВ

...И ты уже в глаза им смотришь — матери, отцу; близкие родственники, братья, сестры, и ты уже видишь, что это такое, и тебя в лес это тянет, тащит. Потом приезжали ветераны 2-й ударной армии, о которых никто не знал, и они особо не распространялись, что воевали во 2-й ударной армии. И вот посмотришь на них... ну, конечно, без орденов, без медалей, там редко у кого медалька была. В помятых пиджачочках такие, оборванные мужички, поношенные войной... и вот смотришь на них, они практически ничего не рассказывали, потому что тот, кто принимал участие в боевых действиях, — он никогда не будет рассказывать об этой крови, обо всех этих ужасах. Ну они сидели, только пили и плакали, больше там батя рассказывал мой. Он хоть не воевал, но он очень много всего знал, и о войне, и особенно про Мясной Бор. И вот сидишь, это все слушаешь. Ну потом, когда отец умер, я сам начал, брат у меня Валерка был, продолжали ходить в лес, находили убитых, документы, и искали родственников. Родственников, когда они приезжали, дома уже сам принимал, провожал. Хоронили, делали сначала отдельные могилы вдоль шоссе у Мясного Бора. Еще батяка живой был,obeliski сами ставили, он делал их из цементного раствора. Потом, конечно, сам-то поиск, он начинался далеко-далеко еще в те года, даже когда еще война не закончилась, и когда бои закончились, много людей было, которые равнодушны к этим погибшим были.

Отцу повезло, что ему в свое время, в 60-е года, дал рекламу Сергей Сергеевич Смирнов, кто это такой — объяснять не надо. А так приезжали и родственники, приезжали и журналисты, еще когда мы в деревне жили рядом с Мясным Бором, — там Спасская Полисть. Но вот Смирнов дал толчок такой, уже когда отец выступил на передаче его, «Подвиг», тогда уже начали писать и родственники, и ветераны войны, уже письма пачками шли, почтальон даже не могла их в ящик запихать, она просто их домой приносила нам. К отцу приезжало много... ну тогда как, были следопыты, кружки разные: были «Алые паруса» в Питере, клуб большой был; потом «Снежный десант», татары были, тоже приезжали к нему, он водил их в лес; ну,

новгородцы, конечно, многие приезжали, с Целинограда, помню; я маленький был, вот мы ходили. Люди были заинтересованы, но раньше поиск был, как сказать, — ты как в музей идешь. Ну мы-то, допустим, копали, а вот если приезжают группы откуда-то, с той же Москвы, тогда просто батя проведет их по лесу, там лежат разбитые танки, там все это кругом: боеприпасы, оружие, убитые лежат, машины стоят. Он проведет их, покажет, туда-сюда, в музей возьмут винтовок, пулемет, и поедут домой.

А мы ходили, у убитых собирали документы, уже понимая, что это, и приносили отцу. А он искал родственников. Позже начали появляться поисковые отряды, но тогда они не поисковые отряды были, они «следопыты» назывались. У нас с Новгорода были, парашютисты. Много любителей появилось пострелять, повзрывать, ну и убитых поковырять, я не говорю про копателей, а поковырять... Но мы убитых находили в основном верховых, могил много было, воронок — мы их не трогали, потому что если воронка там или могила, это значит — похоронены, и что там копать, мы это вообще не трогали. А только вот верховых находили и хоронили только тех, чьи родственники приезжали. Вот нашел документ, медальон, написал домой письмо, пришел ответ, и, если они приезжали, мы выносили этого убитого и хоронили, если они не приезжали, убитый оставался там. То есть он оставался пропавшим без вести, потому что его родственники умерли, медальоны где-то в школьных музеях затерялись, потому что отец раздавал эти медальоны тоже, вот так вот было. Некоторые медальоны мы не умели читать, потом что вроде виден, а вроде не виден, а что на глаз? Некоторые чистые, мол, «да он не заполненный», а он по лежит маленько и проявляется, — это нами же загублено. Можно нас обвинить в том, что вот какие же вы были, как многие любят там что-нибудь... увидят в интернете и начинают: как так можно, разве так можно... Я говорю: поживи в лесу у нас, где идешь вот так вот весной, идешь по лесу и хрусть — наступаешь на череп, раз в сторону — хрусть, второй череп под ногами, такой, знаешь, неприятно... Они там кругом были, со всех воронок торчали.

Оружие, боеприпасы — этого там было валом. Стреляли, взрывали — каждый пацан. В каждом населенном пункте были и охотники, и просто так стволы у мужиков лежали, и рыбу тротилом ловили... Это было нормально, тогда не было бандитизма, ничего не

было, был Советский Союз. Все было хорошо и прекрасно. Придет участковый, когда надоест соседу, допустим... Мы после бани начнем там садить со всех видов оружия, коммунисту соседу надоест это, он позвонит, милиция приезжает, повестку на стол. И то, оружие — если, допустим, лежит карабин, затвор рядом снят, он уже не считается боевым. Уже к уголовному делу его не подошьешь, а сейчас специально что делают... У меня изъяли из музея кучу оружия, три машины всякого железа вывезли. А на суде авиационный крупнокалиберный пулемет Владимирова фигурировал: у него ствол вот так был изогнут. Когда самолет падал — ствол согнулся, но его сфотографировали вот так, притом все нужные детали были сняты, они и сейчас в мастерской где-то валяются, а просто сам ствол был, и ствол на фотографии видно как ровный. И вот милиция предъявляла это... В нашей жизни дебилизма много, особенно у меня — куча уголовных дел, а потом очередное награждение какой-нибудь медалью или грамотой.

Взять, допустим, как раньше поисковики в лес приезжали, в 80-е годы, там разговоры были совершенно другие, люди с таким порывом патриотическим, душевным занимались этим. Были, конечно, дебилы, как это везде бывает, но основная-то масса народа была... душевный такой порыв был, на них приятно было смотреть. Потом же начало это все меняться, и эти же люди начали друг на друга всякую грязь лить, каждый начал считать себя... Что он король поиска, только он разбирается, и все должны ему поклоняться, и тот человек, который, допустим, умеет выклянчивать деньги, выбивать себе что-то такое, — они лезут, как червяки, вверх туда, там начинают наверху выклянчивать деньги, всякие альбомы делать... Сейчас уже нельзя просто, допустим, — человек работает, вот просто взяли и отблагодарили его, увидели, что он занимается, так нет — надо грант писать. Вот я, допустим, — я книги могу писать, а всякую хрень я не могу писать. Пу как я могу этот грант писать...

У нас идет то же самое, что и было во время войны, вот хорошо описывает мужик, когда командир роты — он не попал в офицерскую среду, хотя он был офицер, его не приняли офицеры, а он был солдат больше. И он с ними жил в окопах на передовой, жрал вместе с ними, воевал вместе с ними... И он описывает, как жили офицеры. Бабы, вино, пьянка, не вылезая из блиндажей командовали... И вот как-то

после боя он приходит уже в штаб, ну эти сидят, заполняют наградные листы. На писарей, на баб там, на медсестер, ну которые рядом с ними были, эти... И ему там, типа: «Валь, ты на своих-то там заполни тоже... все-таки они какую-то высоту взяли, заполни...» А он говорит: «Как? Я и не умею красиво этот подвиг описать, и плюс никого не осталось, все погибли». Так же вот в этом поиске сейчас оно и идет. Люди живут, много командиров отрядов, просто людей, которые не хотят вступать ни в какие организации, а просто живут и занимаются поисковой работой, притом намного больше, чем поисковый отряд какой-то. Ну и его стараются гнобить, потому что так нельзя делать, надо прийти, надо взять разрешение у того, взять у этого разрешение, они подумают, дать тебе его или не дать, вот эти новые начальники, поисковые руководители. И многие поисковики, они просто не хотят в это говно лезть, в эту грязь.

Есть в Питере богатый человек, Олег Титберия. У него огромный музей, он вкладывает деньги не в оффшоры и курорты, а в танки, в машины, в реставрацию. Я с ним познакомился еще в 90-х годах. И мы как бы сотрудничаем, и я у него даже являюсь там старшим научным сотрудником, ну чтобы мне было на пенсию, я у него много лет там... ну, оформил меня, потому что в Новгороде я на хрен никому не нужен, я безработный был, так-то я по жизни повар. Работал-работал директором столовой, потом пришел новый директор, меня убрал на хрен, и все. И я никому стал не нужен. Музей забрала у меня гимназия, у меня хороший музей был там, я пятнадцать лет там работал, первый директор еще попросил сделать. Я стал на хрен вообще никому не нужен, потому что я уже не директор столовой, с меня взять нечего. Но я никогда ни перед кем не прислонялся, знаешь, не кланялся не ходил. У меня вон подвал, там картошка, морковь, банки... Сейчас вахта начинается, оттуда с женой достаем, какие-то копейки она получит в «Долине», остальное, что я на шашках где-то заработал, вкладываю в это — берем друзей, пионеров и едем в лес. И так каждый год у нас.

Сейчас у Олега Титберии с Сергеем Мачинским есть программа «Дорога домой», то есть если где-то находят убитого с медальоном и родственники хотят похоронить его на родине, Олег бесплатно дает людей, машину... Сергей Мачинский, другие, они просто садятся в машину, берут этот гробик, все документы и везут в Хабаровск,

Новосибирск... Все это бесплатно делается. Мачинский настоящий мужик, умеет четко командовать... Вот когда происходят большие вахты — его просят помочь, вот мы сейчас будем проводить вахту в Керести. Еще Сашка будет рыбинский, Савельев Саня... Он приехал — пацан с семьей — посмотреть, чем мы занимаемся, ну, через знакомого. Ну, я его привез в Мясной Бор. В Мясном Бору он нашел убитого и говорит: «Да это интереснее, чем монетки собирать!» И у него крышу переклинило, и он с женой уже с 2008 года сам начал приезжать, просто — на выходные, на проходные, просто так, в Карелию мотаться... И он научился искать убитых, мы обучили его, и он теперь ищачит... Это вот настоящие люди, которые ненавидят всю эту бутафорию. Вот на них, в принципе, и держится поиск.

А основная-то масса, вот взять объединение, ведь каждому объединению надо на чем-то сидеть, они начинают гранты писать туда-сюда, друг друга грызть начинают, лишь бы только урвать... Ну оно и у нас, поисковиков, — вот, допустим, я поехал на вахту, выкопал 200 человек — нашел 200 человек, мои пионеры выкопали, — и все, а другие отряды там 5 человек, 10 человек найдут, и их вот это вот давит, и они всячески стараются ментов натравить на меня, а я что, виноват, что у меня так выходит, что я пришел в лес и у меня всегда убитые, потому что я... И осень кончается, зима начинается, начинаешь все это анализировать, сопоставлять, каждый метр мысленно проходить... Ну и у каждого поисковика нормального есть чуйка, как говорят. Он чувствует, вот, допустим, идешь ты в лес, находишь наших солдат, наши вещи, рядом с тобой идет пацан, он находит немецкий медальон, немецкий ремень, там еще немецкого, у него забита в голове вот эта программа, и кажется — фигня, но это действительно так. У меня было, что «мне надо найти это», я иду в лес; вот с ребятами сидим, я говорю: «Я хочу вот это, я хочу вот это», поехали завтра в лес — я нахожу это и больше ничего. Это не только я, и думал, что у меня крыша съехавшая, а вот с пацанами разговаривал, со своими, ну я вижу, кто четкий, он все, он в лесу... Как вот сына моего взять — он моментом врос в это, в лес он сразу вошел. Это что-то уже, не знаю... оттуда что-то дается. То же самое, как художники, знаешь, не каждому дано писать, рисовать и все прочее. Вот таких людей много. Но сейчас вот этой вот гадости... вот она как

бы перебарывает. Может, у меня уже с возрастом это, но мне противно смотреть на все на это.

Вот в деревне, допустим, мемориал, там обелиски стоят, солдаты похоронены. Надо взять банку краски, прийти, почистить ограду и покрасить просто. Нет, это надо покрасить сходить, это все отснять надо, засадить в интернет, обвинить государство, обвинить всех, кого можно, что они память вот так вот соблюдают... А просто вот нельзя этого сделать, как мы раньше это делали? А когда на самом деле что-то надо сделать — нет, все сразу в сторону, все патриоты. Только митинги, флаги... Оно понятно — надо для молодежи, туда-сюда, но надо еще знать, какой молодежи это надо и надо ли это вообще. Надо, но по-другому как-то. Не как сейчас. У нас же, чем мы гордимся — это Советский Союз, то, что сделано в Советском Союзе. Вот война — семьдесят лет прошло, мы гордимся этими подвигами, но есть и Чечня, и Афганистан. Как-то надо менять вот эту патриотическую фигню, ведь можно детей учить чему-то другому, знаешь... приучить что-то делать такое для государства, ну, не обязательно идти копать убитых этих, чтоб доходило до маразма... Не знаю.

У нас была своя... мы своей жизнью это прожили. Я, кроме поиска, другого ничего в жизни не видел. Я родился в семье, где отец занимался — после окончания войны — поиском погибших и их родственников. Он сам принимал родственников, сам хоронил погибших, ставил обелиски, занимался музеями школьными, которые потом были все уничтожены, потому что музей живет тогда, когда человек, который его сделал, там работает. Человек этот ушел, пришел другой, и уже все, считай, ничего не будет. Музей уже перестает жить. Он есть, но он перестает жить. И вот отец этим занимался, мы росли с этим, видели, что это, видели, что такое оружие, пистолеты, пулеметы, стреляли с них. Вот с пулемета Дегтярева я первый раз стрелял — мне было шесть лет, сеструхе три года, брату одиннадцать лет. Отец принес пулемет, поставил его и ушел на работу; мы пошли в лес, притащили коробку патронов, от дома оттащили метров на пятьдесят и целый день там херачили с него. Это было нормально. Нотом стреляли... ну, винтовки, карабины там, оружия-то много валялось. В школе мы занимали первые места, и девчонки, у нас семья семь человек была детей, и сеструхи стреляли, и брат у меня, и в армии он — вечно в отпусках приезжал за стрельбу, я ушел в армию —

как в дом родной пришел, мне все говорят: «Где ты всему этому научился?» Я говорю — в лесу. Я могу выживать в любом говне, потому что я был в Мясном Бору! Когда уйдешь на три дня с коркой хлеба — а там интересно, домой неохота, жрать охота, идешь, слюни плотаешь... Это сейчас эти продукты мешками туда тащишь, потом обратно тащишь, а раньше — банка консервов, корка хлеба на три дня. Было интересно.

Мы застали практически всё, не было только танков. Ну, естественно, пушек уже мало было, мы находили только раздолбанные, танки взорванные, потому что отец их взрывал на металлолом, после войны металла не хватало. Его приняли как бы на работу, он прошел курсы саперов, ему дали документы, и он эти танки подрывал, плюс он разминировал минные поля и этими противотанковыми минами подрывал танки, их вывозили на металлолом. И от этих танков до сих пор еще обломки вытаскивают и продают пацаны через интернет, то, что разлетелось, потому что раньше лошадью или трактором только крупные куски вытаскивали. Ну а мы ходили, было что — идешь, некоторые места, на высоких местах особенно красиво, вот заходишь — колючая проволока немецкая, спираль Бруно, еще эти палки стоят все, и тут же все засыпано касками, банками, пулеметы, винтовки торчат, ботинки, черепа, все это, руки торчат... Ну, большие кости. Берешь так, рукой листву разгребаешь — он лежит. Ремень, патроны, подсумок открываешь — патроны еще желто-зеленые такие, тут же винтовки, где с прикладами, где приклад уже отгнивший... Ну и там эти кухни, машины, телеги — это все было. Потому что Мясной Бор — он не разминировался, потому что после войны саперы прошли только от оси железной дороги пятьдесят метров влево-вправо, ну и населенные пункты, поля разминировали, чтобы пахать. Где-то хорошо проводилось это, но Мясной Бор — там сплошные бои полгода были, полмиллиона почти солдат, и наших, и немецких, и полгода сплошного... Минных полей была куча, и поэтому туда, кроме бабки, первое время никто и не совался-то. И это все было оставлено, и вот идешь, эти машины стоят, красиво все это, всякие пейзажи были. Министра обороны сопровождал в 2005-м — еще это более-менее оставшимся было, я сделал такой маршрут, мы с ним проехали, где машины, кухня, убитые... Сейчас ничего этого уже нет, сейчас уже в

основном все или реставраторам вытасчено, или на металл. Народу жить надо, жрать надо, и вот таскают железо — что в металлолом, что продают на реставрацию. Ну, растаскивать начали еще во время войны: первыми — немцы, хорошая техника — она везде нужна, потом, после войны, вот с новгородских автопредприятий, с колхозов направлялись туда механизаторы, которые снимали с машин детали для пополнения своих парков, потом, в 70-х, появились автолюбители — с Риги был клуб и с Москвы, и еще Воронеж. Они тоже собирали запчасти, кто-то мог машину вытащить, они реставрировали полуторки и все прочее, танки... Ну а самый бум — это, конечно, девяностые, двухтысячные года, до сегодняшнего дня. Сейчас всем музейным работникам надо железа всякого разного, и до сих пор хватает.

О страхе не задумывались. Ты, когда молодой, ты же не думаешь о страхе. Почему в армию брали с восемнадцати лет? Потому что еще мозгов нету. То есть человек, он еще чувства опасности себе не представляет. А когда маленький, так вообще. Я в детстве разбирал все виды снарядов — стреляные, нестреляные, всякие разные, мне было интересно. Отец то же самое, но отец — он сначала у саперов посмотрел, как они это делают, потом начал сам, потом нашел трофейные документации на мины. Тут еще — есть у человека судьба. Если суждено тебе погибнуть под машиной, ты под ней и погибнешь. Кто-то пришел первый раз в лес — пальцы оторвало или вообще голову... А кому-то всю жизнь везло. Ведь после войны много погибло пацанов.

Самое страшное — когда находишь ребенка или женщину. Вот это... Нашел я убитого на болоте, копаем — а там уже кости сгнившие, болото съело, — но сохранилась шинель, ремень, все это прочее; а кости, они как мхом облеплены, большие, мелких вообще нет. Копаем такие, Света, жена, говорит: «Вот здесь вроде еще один идет». Я говорю — ну копай сюда-то, она раз, копает, один убитый сюда лежит, а второй — сюда. Она такая: «Саша, смотри, — говорит, — я не могу...» Такая коса, как у Тимошенко, остался только скальп один и такая чернота трупa. А вот бумага, дерево, кожа... Винтовку, допустим, из болота поднимаешь — приклад как новенький, те части железа, которые не в дереве, — они практически сгнившие. А под деревом —

в масле! Глубоко в болоте достаешь оружие — стреляет, убитые могут даже не разложившиеся быть.

Там, когда 2-я ударная отступала обратно, там же большое количество населенных пунктов, и они местное население с собой тащили, населенные пункты все сжигали, чтоб немцам не доставались. И потом, когда они вошли в горловину, откуда должны были выйти, вернее, мысок, где сосредоточились все подразделения, принимавшие участие в Любанской операции, — они этих гражданских просто бросили, потому что самим жрать было нечего. Кто-то вышел. Про это много написано воспоминаний.

[...]

Мачинского я первый раз у Морзунова увидел. Ну, такой, посмотрел, пляжу — ну, такой, представительный. Тогда я не стал лезть в разговор и все прочее... А потом мы что-то раз встретились, два встретились, потом они сюда приехали с Аней, с женой, ну и как-то у нас диалог налачился. К тебе, говорит, приезжаешь как домой, посидеть, поговорить, все просто, все по-домашнему... А многие считают себя генералами поискового движения, и когда он напрямую говорит человеку, мол, ты извини, ты не так делаешь, надо вот это делать так, так, так, а тот: «Я лучше понимаю!» Допустим, я часто был не согласен с «Долиной», но я в ней состою, потому что я нахожу убитых — я должен отдавать данные в штаб, а они должны заполнять уже государственный реестр. Командир собирает для себя архив свой, и у нас много таких было командиров. Потом он умирает, этот архив уничтожается — а данных нету. Вот про что тебе говорил, про медальоны — нам их девать некуда было, потому что государству оно на хрен не надо. Других никого не было, эти следопыты сами медальоны изучали, и поэтому получилось так, что мы сделали кучу без вести пропавших! Так же и многие это делают, потому что он хочет показать, что он королек, понимаешь, этой жизни, а не тот, кто в штабе сидит там. У меня вот знакомый поисковик, Серега, — ему тоже не понравились все эти пьянки широкомасштабные и прочее, и он стал сам по себе. «Вот, у меня...» — у него журнал заведен, родственники там, с ними переписка, все нормально, все приложено, все... И он мне начинает, мол, мне «Долина» не нужна, я сам буду... Я говорю: «Серега, вот ты вот это хранишь у себя, кто это видит? Больше никто не видит, а если оно пропало? Связи нету, ничего нет».

— «Ну я вот родственников нашел, родственники знают, где могила». Я говорю: «А дальше-то что?! Ну нашел ты роту, допустим, солдат, ты изъял у них документы, выкопал их и документы изъял, и потом... кости-то ты куда? Ты сам не сможешь хоронить их, и тебе никто не разрешит. Их хоронит же государство, администрация. Значит, ты все равно пойдешь в "Долину" и скажешь, ну я там накопал — заберите! Так получается?» Он: «Ну да...» Я говорю: «Ну и чего? Итог?» В итоге он отдал мне все документы, я их отдал уже в штаб, вот эти все письма и прочее, и он до сих пор со мной копает, и теперь он к родственникам отношения не имеет, но если он нашел медальон, допустим, или кто-то другой — я нашел родственников, я его привожу, говорю: «Вот это Вася, нашел вашего бойца», я их свожу. Это обязательно надо, потому что у нас это не делается в основном в организациях. Вот «Долина» начиналась — они изымали медальоны от поисковиков, и обратной связи не было. Я, когда в штаб пришел, в столе ящик открываю — пол-ящика медальонов. Я беру — они засушенные^[159]. Я: «Чё за фигня?» Начальник говорит: «Я, Саша, не знаю, я в эти дела не влезаю». Приходит она, я говорю: «Что за еб твою мать?» — «Ну Саша, я не умею с ними работать, туда- сюда...» А зачем вы их от людей-то забираете? Многие-то умеют их читать, я вот всю жизнь занимаюсь этим, почему мне нельзя?

А им лишь бы показать, что они, понимаешь, — власть. Вот тут тоже загублено медальонов море, блин... И все должно быть узаконено, поисковое движение должно быть на военной основе, но с гражданским лицом. Военных к этой хуйне подпускать нельзя. Но армия должна руководить.

Вот эту вот книгу делал Серега Солодянкин, это главный криминалист республики Коми, МВД. Эти документы у меня были найдены в разных местах, в лесах. Сейфы. Они государству на хуй не нужны. Раньше меня обвиняли, что я никому не отдаю находки, я обратился в наш музей к директору, он прислал бабу. Та посмотрела: «Ой, плохие документы, тут надо работы много». И это только часть! Солодянкин сделал несколько книг этих документов. Через полгода мне позвонили, сказали: «Знаете, Александр Николаевич, мы тут подумали, что лучше они вам — вы музей будете делать, они лучше вам подойдут». А их даже в Подольске нету, этих документов. Их хотели купить за большие деньги, я их не отдал. Вот Серега у меня

взял, говорит — дай, я разберусь. Он криминалист, и, хоть многие документы плохо читаемые, он их все равно прочитал, сделал, перевел... Вот таких книжек — он их сам сделал — пять книг. Документы он обратно мне принес, сдал. И эти документы я отдал во Всеволожск, к Олегу в музей. Потому что он богатый, он это сохранит, у него это будет жить. А у меня в грязном подвале они бы просто сдохли.

Я написал рассказ «Жених и невеста». Это второй прорыв, там же была 52-я армия, 2-я ударная и 59-я армия. 2-я ударная прямо по северной дороге прорыв делала, а эти по южной прорыв делали. И вот мы с 71-го года на этой поляне, там столько убитых нахерачено: и офицеров, и командир дивизии, столько найдено и медальонов, и медалей... И нашли вот эту... Я привел туда школьников, показать эту поляну, как ее, «офицерская», там предболотье такое... Полазить пошли и нашли медсестру вот эту. Быстрова Тамара. Медальон ее там был... Сначала думали, что солдат, еще, главное, ботиночки маленькие. А потом-то развернули медальон — Быстрова, Тамара. И сразу позвонили в Тверь поисковикам, нашли родственников, они приезжали к нам на вахту с Твери и рассказывают историю такую: якобы у нее был жених, Калашников. Они собирались после войны пожениться, туда-сюда, ну, такая история. Я написал рассказ «Жених и невеста». Описал ее жениха, как они выходили и как их убило обоих. Они вместе были там, в Мясном Бору, во 2-й ударной армии. И потом Сашка роется в документах поисковых и находит медальон ее жениха, Калашникова. И он найден в 93-м году там же, где и она! У меня рассказ как бы совпал с той историей. Все так и было. И мы нашли племянниц, племянница Тамары и племянница Калашникова — они приезжают к нам. Вот такие случаи, ну, у нас много случаев-то тут.

Есть книга про отца: «Комендант долины смерти». Сергей Сергеевич Смирнов написал. Смирнов хотел сделать фильм. И он написал сценарий к этому фильму. Фильм сняли, Басов снимал. И его уничтожили. А сам сценарий печатался в новгородской газете. «Новгородская правда», 69-й год. Там все: как отец пришел, как чего, и как оно было.

Про патриотизм я говорить не буду — это была просто жизнь. Ничего другого. А потом ты уже самходишь в эту роль. Я видел, на чем я воспитывался: на этих ветеранах, которые приезжали, на этих...

вот родственники, находки... Военные фильмы — я только знаю один военный фильм стоящий, ну, еще «Они сражались за Родину» смотрю, а так — «Живые и мертвые» для меня — вот фильм. Книг я про войну не читал, я только читал письма, которые ветераны отцу присылали, вот там настоящая война была. И когда ты после этих писеммотришь фильмы эти... У меня и батяка смеялся, и я смеялся, и до сих пор смеюсь. Книжки тоже, была цензура — в книгах все вырезалось. Как вот «Живые и мертвые», этот фильм прошел, вот здесь вот непонятно. Потому что там одна фраза... не фраза, а сюжет есть, когда немецкие эти самолеты колбасят наши тэбэшки и они горят, и один немецкий сбили все-таки, и он говорит: «Горит, смотри, горит!» И как их там танками давили, и все прочее. Потом же нигде в этих фильмах не было такого, везде мы только побеждали. Хотя и в этом фильме мы все-таки победили, потому что другому быть не дано. Потом ты этим сам учился, воспитывался этим, и потом, когда люди-то к тебе приходят в лес посмотреть, ты уже им начинаешь это объяснять, начинаешь рассказывать это, что ветераны рассказывали, что отец рассказывал о войне, об этих событиях. И плюс сам поиск — он как азарт охотника, идешь, надо найти, надо найти, Мясной Бор раньше-то казался... «Ой, я вот туда хочу сходить, там вот в пятнадцати километрах...» Кажется, что чем дальше, тем партизаны толще, и танки, и пушки, и самолеты, все должно быть, и ты пробегал там всю жизнь... Сейчас нет ни одного квадратика, где бы я не был и чтобы я не знал, что там было. И это может уйти вместе со мной, потому что даже сейчас, когда посмотришь, как кто-то выступает и начинает про Мясной Бор рассказывать, — уже наврано, сплетено все уже и нет совпадений. Хочется сделать типа интерактивной карты такой, где сейфы были найдены, где высшие офицеры были найдены, где газета «Отвага» была, где могила Багрицкого, где эта могила, как они выходили из окружения, что происходило... пока еще можно это сделать. Я уже многих прошу: «Да давай, делай сам, туда-сюда...» Я говорю: «Пу я не могу, у меня мозгов для этого не хватает технических!»

А так было просто, вот — жизнь с ребятами, жизнь в лесу, она сама, жизнь в лесу, намного отличается от всей этой гражданской жизни. Потому что там люди честнее, порядочнее, потому что там другому просто нельзя. Как в армии. Или ты прижился, или все. Я в

армию пришел, как к себе домой — та же грязь, та же неустройца, где-то чуть-чуть мозгами пошурупил, раз-два, у тебя тушеночка есть, у тебя сигаретки есть, друзей куча сразу, как-то к тебе быстро все прилипают, потому что они видят, что ты не маменькин сынок, не от сиськи тебя оторвали... Вот все: «Дедовщина, дедовщина», — и у нас была дедовщина, меня неделю попиздили, ну и чего? Зато потом сказали: «Орла не трогать», и моя служба на этом закончилась, дальше я что хотел, то и делал. И все офицеры ходили, у тебя совета спрашивали. А приходит человек — от сиськи оторвали, ничего не умеет делать, а в армии долго объяснять не будут, раз, два сказали, не понял — пиздюлин и все, и через пиздюлину быстро все получалось... Оно и в лесу так же, приходит вот сын у меня, приходит в десять лет. Он сразу лапника нарубил, палатку поставил как положено, чтобы не затекало, костер развел, воды принес с воронки чистой, повесил чайник, все это быстро делается. Приходит жлоб в двадцать лет — ни топора держать не умеет, ни яму копать, ни убитых... Это надо видеть: девчонки там шестнадцати-семнадцати лет — убитых копают, воду качают, потом приходят, костер разводят, жрать варят, потом еще выпить умудряются, на гитаре поиграть, а утром опять убитых копать. А пацаны с ними — они не могут, он два часа — и ему жрать надо, он устал, сопли текут... А ему завтра родину защищать идти, шестнадцать-семнадцать лет!

Я родился в Спасской Полисти. Это от Новгорода будет километров пятьдесят. Мать работала стрелочницей по вокзалу, батя — путевым обходчиком, по железной дороге ходил и смотрел, все ли нормально. Ну плюс он занимался и поиском, и жизнью в лесу вот этой. Сначала-то они жили в Мясном Бору, и дед там жил, потом деда направили мастером железной дороги в Нодберезье, они с бабкой уехали, а мать с отцом с Мясного Бора — в Спасскую Нолисть, и вот я там родился в 58-м году. Наша семья была семь человек детей, и уехали мы в 67-м году, уже в Новгород, потому что к отцу приезжали и родственники, и корреспонденты, и кого там только не было. Естественно, домишко у нас был маленький такой, ну и отцу предложили работу на «Акроне», раньше это был химкомбинат, сейчас объединение «Акрон» под Новгородом, и вот мы переехали в Новгород, нам дали сначала двухкомнатную квартиру, потом трехкомнатную. А до этого, когда мы жили в Спасской Нолисти, мы

были как бы предоставлены сами себе, а война там была... Спасская Полисть — это северный выступ, во 2-ю ударную армию который упирался, немцы ее не сдали, вокруг нее погибло большое количество наших. И война была кругом. Вот у нас покос был у железной дороги, станция была на 26-27-м километре железной дороги, а покос был на 28-м километре, и вот прямо с железной дороги, с насыпи спускаешься, и вот убитые лежали ковром. И вот мы туда ходили, чтоб, когда косишь, косу о кости не тупить, кости выкапывали. Сверху каску или автомат положишь, чтобы видно было это... Мы вот, когда поисковые работы начали, до сих пор оттуда, вот уже сколько лет, все убитых выносим. Там и воронки, и могильники были, и верховые убитые. Мостки — это от Мясного Бора пять километров, это можно назвать второй Долиной смерти. Там был удар, выступ со Спасской Полисти упирался во 2-ю ударную армию, 59-я армия хотела его сбить. Они прорвались и ушли к Ольховке, но немцы сидели в Мостках, потом наши их выбили оттуда, Спасскую Полисть вот они не взяли. Там вот бои были страшные, прямо у железной дороги был лесопункт, так вот за этот лесопункт только 2-я стрелковая дивизия... за несколько боев она полностью перестала существовать. А там была не одна дивизия, которая со стороны запада, с котла, вот когда уже 2-я ударная попала... 2-я ударная сюда старалась выйти, а отсюда вот 59-я наступала, немцы потом им перекрыли, опять этот палец уперся в коммуникации 2-й ударной армии, назывался он палец Венделя, Вендель — такой был командующий, это полицейская дивизия СС, латышский полицейский легион, — и вот наши старались сбить этот палец, так ничего и не получилось, огромные потери были.

И вот как-то брат у меня приходит, а он учился в школе, он старше меня на пять лет, их посылали в Мостки елочки сажать. И он приходит и говорит: «Саня, там знаешь сколько всего-о-о???» Я говорю: чего такое? Вот представляешь, идет трактор, пашет — сплошной ковер костей, мин, винтовок, пулеметов, всего этого, — и детей заставляют елочки сажать, маленькие елочки сажают в отвал трактора, это все на виду! И вот там, где эти посадки, вот до сих пор убитых все копают. Все не могут выкопать. А там расстояние-то — километр на километр, может быть. И вот этот 28-й километр то же самое, вот начинался здесь 29-30-й километр, потом где-то полкилометра такой пропуск небольшой был, там убитых не было, а

вот 27-28-й километр до самой станции Спасская Полисть, вдоль железной дороги был сплошной ковер убитых этих. И вот туда ходили. Но там было как-то не очень интересно, потому что уже как бы там... место такое, пониже, и уже останки там не особо видно было, часть растворилась там, ушла в землю, трава там упала, закрыла... А мы ходили двумя километрами западнее, у нас свои названия были: Каменная Горка, такая гряда, — ну, место высокое, — и идет гряда камней такая, и вот на этих камнях наших было навалено, они лежат прямо наверху, это 65-й год, 66-й год, они прямо лежат наверху, винтовки с прикладами, диски, пулеметы... И Маленький Мошок тоже, там небольшой мох, мы туда ходили, мать нас таскала ягоды собирать, и вот Мошок переходишь, и там где-то до батальона наших навалено, вот первый медальон, я помню... Как все было, я помню все, мне было пять-шесть лет, я вот помню, потому что в 90-м или в 91-м году туда привел своих пацанов, уже отряд, и говорю: «Вот здесь это было, а здесь это было», — они туда пошли и то же самое, ну, что я показывал, — они находили это. Правда, там уже часть занимали делянки выпиленные. Вот память детская, она хорошо работает. И вот мы туда ходили, местные пацаны вот были, постарше меня, брат мой, сеструхи ходили. Патроны сжигали там ящиками, так просто ходили, винтовок там наберешь себе, у нас, типа, арсенал там был, местные деревенские придут, в кладовки это украдут — мы опять принесем, поставим... Потом брали только с прикладами которое, ну, в войну играть и для того, чтобы было.

И вот там мы тогда нашли — убитые с медальонами были, и вот мы медальоны отцу принесли, отец родственников искал, потом мы этих убитых, какую-то часть, помню, выносили, и вот отец делал из цемента обелиски такие, и вот их хоронили в Любином Поле, бывшая деревня Любино Поле, там до сих пор этот мемориал большой. Сейчас он облагорожен, но неправильно сделан, просто взяли, все списки туда засадили, в этот мемориал, а мы находим их в лесах и хороним в Мясном Бору, то есть получается, и в Мясном Бору он по списку проходит, и там, в Любином Поле. Ну, надо было администрации деньги отколбасить, они там списки засадили. По вот раньше мы туда хоронили.

Потом, когда мы уехали в Новгород, ну, естественно, это школа, брат выучился в училище — уехал к бабке в Подберезье, работал на

железной дороге до армии он, а я приезжал к нему на выходные. Ну мы и в Подберезье ходили, потому что там тоже война была. Там боеприпасов много было, патронов прямо на станции море было, как бы с леса они вылазили, ну и Мясной Бор, естественно, Мясной Бор, Мостки, в Спасскую Полисть мы ездили — когда на автобусе, когда на поезде, с ночевками... В Мясной Бор я попал то ли в 70-м, то ли в 71-м году, в сам Мясной Бор, в Долину смерти. К отцу приезжали студенты из Целинограда вроде, и он их водил в Долину смерти, мы туда пришли, и все это — комары, слепни, железо кругом, — ну, там же болото в основном, и летом оно как-то неприглядно, все это...

И вот мы пришли, и я думаю: «Ну и что, Мясной Бор, ничего здесь интересного, вот у нас в Спасской Нолисти — там во-о-о, а тут и не видно ничего...» Ну как-то не понравился мне этот Мясной Бор в начале, и мы все ездили на Спасскую и в Мостки, потому что там места есть повыше, хотя в Мясном Бору тоже есть высокие места, но сама Долина смерти — там поляна такая заболоченная. И там этих воронок, в Мясном Бору, — и в Мостках тоже огромное количество, и тонны, и полутонны были, — и вот в Мясном Бору то же самое. Там живого места нет, все в воронках. И Мясной, обязательно, вот когда идешь по воде, в коротких сапогах ходили, только в лес зайдешь — обязательно в какую-нибудь воронку нырнешь, потому что их не видно, там водой лужи залиты, сплошная вода. Огромные такие кратеры были, и вот эти воронки, там и оборону в них держали, и хоронили там, и немцы туда скидывали, и наши все скидывали в эти воронки.

И вот мы туда первый раз попали в 71-м году с братом, пошли за ягодами по южной дороге, там лес кончается, и канава идет вдоль болота, канаву только перешли — там Валерка сразу убитого нашел, помню, с винтовкой был он, в шинели лежал, и потом выходишь на Мох — там у немцев идет настил. Один шел с севера на юг, а второй поворачивал у канавы и шел на Подберезье, потому что в 42-м году шоссе и железная дорога были захвачены нашими на участке Мясной Бор и до Спасской Нолисти почти. Мясной Бор — Мостки, получался как бы выступ такой, и немцы для подвоза боеприпасов, живой силы и продовольствия сделали узкоколейку через болото, соединили эту железную дорогу Октябрьскую, там настильная дорога была для машин и узкоколейка. Так вот, настил был сделан, понятно, что это

строили немцы и наши пленные, так бревнышки были вот так вот аккуратно уложены, и там в 60-х, в 70-х годах в тапках по настилу можно было ходить по этому. Леса такого не было еще, молодняк рос... Вот идешь по болоту, болото чистое, и стоят вот эти сосны, они все в пулях, осколки торчат, перебитые такие, пни эти обрубленные... Зрелище, конечно... Вот идешь, и дальше, вдоль настила, в воронках немцы скидывали наших убитых, винтовки там, боеприпасы. Что рукой достанешь, щупом нащупал, то и достаешь. Потом уже, в 71-м году, за ягодами пошли, дошли до немецкого лагеря, там ягод набрали, потом вышли туда, потом брат в армию ушел, мы там с местными побегали...

А еще место одно было, это 35-й километр железной дороги, это между Мостками и Мясным Бором, меня отец первый раз туда привел, это недалеко от железной дороги, полоса, ну видно, что наша оборона идет, потом такой ольшаник редкий, низина, канава, и — немецкая оборона, по канаве. И нейтральная полоска вот эта, она завалена сплошняком убитыми была. И вот отец привел туда, пока он костер разводил, чайник ставил... котелок, чай варить, я пошел сразу, раз, один убитый, второй убитый, винтовки притом у всех почти были первого образца, царевы, и все убитые были в основном в американских ботинках, и стеклянные фляги были у них. Я принес такую: «Бать, что это за бутылка такая?» Он говорит: «Да какой-то идиот придумал солдату дать стеклянную флягу». Я говорю: «А ботинки-то немецкие». — «Да не, это американские». Они попадались потом часто, ленд-лиз-то был этот, вот обувь была такая.

Интересная такая вот картина была: лежат убитые, и у всех штыки примкнуты, патроны в патронники загнаны, винтовки на предохранитель поставлены, как будто... Шли в штыковую атаку, и немцы их засадили пулеметами и шрапнельными снарядами, потому что много стаканов валяется, шрапнели насыпано. И у немцев на нейтралку вынесены пулеметные точки, потому что видно, что немецкое барахло валяется, бутылки там, банки пустые, гильзы стреляные, патроны... Там почти в упор расстреливали их. Там вот место такое было, сколько мы потом там ковыряли, потом в 75-м году с отцом, с его отрядом ходили, там останки собирали, хоронили — медальонов я там вообще не помню, ни одного. Видно, часть какая-то не успела получить или что-то типа этого. Потому что во многих

местах, вот если взять 2-ю ударную, вот 2-я ударная была хорошо вооружена автоматическим оружием, было много очень ППШ, ПТР, пулеметов много было, карабины, самозарядные винтовки, ППД были там. «Максимы», «дегтяри» — это, понятно, было. С этой стороны, с Земтицы — 52-я армия, там больше попадают трехлинейки, редко пулеметы, в основном трехлинейки одни. Карабины, другие-то какие-то, «эсвэтэхи» попадают тоже, но больше трехлинейки. И Мостки взять — одни трехлинейки и «дегтяри», пулеметы. То есть 2-я ударная армия была хорошо вооружена. Так же и подразделения, вот, допустим, на этой поляне, где мы были в 71-м году, у этого настила, — настил-то построен был уже после окончания Любанской операции, — а вот 25 июня там наши пробовали выйти из окружения, остатки 52-й армии: 366-я стрелковая дивизия, 305-я стрелковая дивизия и подразделение 2-й ударной армии, они хотели выйти из окружения на Теремец-Курляндский, но немцы уже их ждали, потому что леса-то не было, все снесено было, и самолеты-разведчики летали, и просто разведчики были, видно, где сосредотачиваются люди и куда они идут, немцы здесь сделали оборону, притом там оборона была еще с зимы 42-го года, они шли оттуда по нейтралке, то есть по минным полям. У немцев эти эски стояли прыгающие, они до сих пор там попадают, и они прямо решили здесь пройти. Ну, немцы их выпустили на эту поляну и в упор расстреляли там. Погибло очень много высшего состава, медперсонала много. Очень много там находили медальонов, очень много, даже сейчас просто уже там, вроде все перевернуто, копаем как огород — я ребятам все показал, мол, мужики, так и так, почва такая, предболотье, торфяник, и кости сгнившие, они и в 70-е года — сохранность плохая была костей уже реберные части отсутствовали, только большие были, ну и со временем кости растворились, плюс еще неопытные поисковики там хорошо поработали, перевернули это, и мы в свое время там ковыряли... А теперь вот просто берем кусками и начинаем копать, и находили...

У меня есть рассказ хороший про это место, начали копать и медальоны находили там, медали, вот сын у меня за день нашел три медальона и медаль «За отвагу», и получилось так, что один медальон — этот мужик воевал потом еще, и медаль то же самое... Когда его в 45-м году к ордену представляли, ввиду того, что он был в плену, его

представили к «Отваге». И когда там спрашивали, ранее награждался он или нет, он сказал, что нет. А мы нашли вот медаль. И мужик, он умер уже где-то после войны. Видно, или немцы уже обыскивали тех, которые остались в живых, в плен попали, они, видать, обыскивали и выкидывали все с карманов, потому что в одном месте лежала огромная куча полевых сумок. Я все ходил туда, когда еще маленький был, эти сумки разбирал. Там карандаши всякие разные разноцветные, линейки, бумаг много было, ну бумаг-то что тогда, ну кому они нужны были? Носмотрел, там что-то прочитал, что смог, да и ладно. И этих вот, ну понятно, что первая волна, там офицеры были, — пистолеты. Пистолеты редко были, а вот смотришь, вот лежит, у него даже предохранительный ремень от пистолета отрезанный, то есть немцы с убитых срезали пистолеты, забирали у них, потому что кобур там много было, а пистолетов мало попадалось. Видно, немцы их обыскали, потому что там и командир дивизии был найден, и многие высшие начальники, а орденов, медалей мало очень, значков тоже... попадались, но мало, а их должно быть много.

И там хорошо прослеживалось, вот когда начинали еще мы в 70-е там ковырять, там видно, как они шли, у них по краям и спереди было боевое охранение, потом шел комсостав, потом какие-то службы, потом уже все вперемешку шли, потому что как по убитым — мы как копали, оно так и вырисовывалось, и потом я с ветераном... Ну, как-то написал рассказик, как комдив погиб этот, Буланов, и как это происходило, и мы с ним заговорили, и он говорит: «Да, совершенно так было, эти воронки меня и спасли, меня взрывной волной в воронку скинуло, а комдив шел с медсестрой, и их сразу накрыло». А я, говорит, в плен попал. Но это только было не утром, а вечером они выходили, а я утро описал. А так, в принципе, так оно и было.

И мы туда, на эту канаву, на это болото, вот где-то брат с армии пришел в 73-м году, и у нас образовался тогда как бы отряд свой: я, брат мой Валерка, потом Сашка Игнашин, тоже с железнодорожной семьи, друг еще по Спасской Нолисти, он старше Валерки был, и Борька Гринцевич — тоже белорус, приехал в Новгород работать, в этому году недавно умер, вот по зиме. Всю жизнь поиском занимался. Вот мы тогда познакомились и такой группой ходили в лес, у нас я был как боец на побегушках, брат был за генерала, Сашка Игнашин был начальник особого отдела — он любил мозг выносить, особенно

под стаканом, — а Борька был начальником штаба, он любил, это, с картами там, ну... Ну такой, грамотный мужик. И вот мы ходили, вот в пятницу работа кончается, на автобус — битком забитый 118-й, на «Красный Ударник» шел, туда с рюкзаками вобьешься кое-как, стоишь все эти тридцать пять километров, выходишь — и пошли.

Нешком шесть километров до болота, приходишь, уже солнце садится, это апрель месяц... Это, знаешь, такая ностальгия, такой патриотизм, душевное состояние, обалдеть! Еще приемник у нас, жрать почти нету, а приемник такой, «Альпинист» был, вот включаешь его — «Лишь только подснежник распустится в срок...», вот «Несняров» песня, вот это песня была! Нотом появилась еще «Тишина», вот это: «Тишина над полем боя снова, тишина...», уже это «Ариэль» поет. Вот эти песни, как включишь, и соловьи поют, природа, вода, подснежник только-только должен вылезти, такое вот душевное состояние... Не было ни заколенников, ни спальников, ни палаток... Лапника нарубили, костерок, лежишь, мерзнешь жопа горит, зато только раз — рассвет, всё в зубы, побежал там лазать, раз, приносишь часам к восьми-деяти утра уже медальоны, стволов кучу принесешь, стволов-то вообще было как грязи, на фиг не нужны были... Вытащишь откуда-нибудь карабин, патронов много, наш-то карабин, он маленький, — и давай по банкам, по немецким каскам долбить. И вот все годы, все выходные мы вчетвером так ходили, это где-то до армии до моей, до конца 70-х.

Всё, что находили, отцу приносили, самая интересная находка — это когда комиссар разведки 2-й ударной армии Мотрошилов был найден, это мне восемнадцать лет исполнялось, мы тогда пошли с братом в лес, как раз суббота была, и со станции пацан еще, Вовка Нопов. Тоже любитель покопать, но он с нами не ходил, редко... И вот мы втроем пошли, зашли на немецкий настил, там гора снарядов лежала, 105-мм, ну, естественно, костерок раз вели, салютник. Там же в лес никто не ходил, поэтому там можно было стрелять, взрывать, никого там не поранишь, ничего не случится. Ну, мы развели костер, там этих снарядов напихали в него здоровых и пошли туда к себе на канаву... Мы все нажрались у нас с братом это была «Дача», «пойдем на Дачу». Ну, там везде свои названия: «Остров», Долина смерти — это «Остров», «Непочатый край», «Дача»... «Непочатый край» — это нейтралка была, по Северной дороге это примерно километр на два

километра, потом пропуск — и еще километра четыре, это все убитые были, в воронках, верховые, все сплошняком вот так, и поисковики прозвали «Непочатый край», потому что приди, щуп воткни, начини ешь копать... На следующий год приходишь, щуп в это место втыкаешь и опять начинаешь копать, они как будто там по-новому растут, эти убитые. Там столько отрядов стоит постоянно! Названия эти где-то наши, где-то другие что-то придумывали.

У нас была вот Дача. Сейчас она у поисковиков — Дача Орловых. «Пойдем на Дачу Орловых копать». Кто-то там «Офицерская поляна» назвал, потому что офицеров много там, а так «Дача Орловых», и у нас — Дача. Почему Дача — приходишь, во-первых, место красивое, душевное, где отдохнуть можно, ягоды всякие разные, клюква, брусника, черника, все здесь, все вместе, и грибы тут же. То есть ты накопался, тут же ягод домой набрал, по пути тут же грибов набрал, притащил домой, все, что надо было для души, там есть. И вот это Дача была. И вот мы пришли туда, на эту Дачу, и у настила, уже во второй половине дня, братан нашел убитых воронку. Я подошел рядом, в воронку тыкаю, вытаскиваю — противотанковая граната наша. Он вытаскивает трехлинейку: «О, Сань, смотри, — затвор открывает, — она с патронами». На место ее — раз, сосна, сук сухой торчит, бабах! Сук раз — отлетел. О, хорошо пристреляна! Открываем, больше патронов нет, один только был. Он опять в воронку — раз, вытаскивает вещмешок солдатский. Руками хоп: «О, — говорит, — банка с патронами, во, сейчас постреляем!» Я говорю: «О, давай, здорово».

Мешок не развязать было, водой узел затянуло. Берет нож, ножом вскрывает, вытаскивает банку оттуда. Сверху сапоги офицерские, голенища — как будто их только гуталином надраили, кожа желтая внутри, нитки беленькие прострочены... Он говорит — тряпичник, что ли? Вытаскивает — о, военный билет! Мне дает, я открываю — фотография на этой стороне, читаю: «Партийный квиток». Я говорю: «Валерка, это ж партбилет!» Мотрошилов Василий Иванович, год вступления 1939-й, дата взноса-фигоса... Я его листаю, там на последних страницах две тройки, ну, трехрублевые купюры, и маленькая фотография — девочка в полушубке, в ушанке, а сзади карандашом написано: «Славному командиру разведки от боевой подруги». Потом деньги поперли там, в вещмешке, 3600 рублей мы

насчитали, три червонца, пять червонцев — деньги эти, потом квитанции, завещание матери, карта укрепрайона Германии, вафельные полотенца, носовой платок, еще на нем вышито мулине красным «Шура», видно, эта боевая подруга, что-то там еще было... В общем, до херища этих документов. Мы костер развели, давай это сушить, надо как-то уносить, я смотрю еще — фотографий пачка, его две, потом — две девчонки стоят, окно такое, как Василий Иванович с Петькой стреляли с пулемета, полукруглое, и две девчоночки стоят, потом гражданские делегации, они строем стоят, он стоит такой в полушубке, такой красивый мужик... и гражданская делегация, там подарки привезли, раздают.

Много фотографий было, они лопаться начали. Мы их в полотенце все завернули, в рюкзак и домой. Приехали домой, отметили день рождения, а утром к батю. Батя давай сразу искать. Дядюшка, отца брат, он фотокорреспондент, фотожурналист, он их отфотографировал, сразу отец отослал [прзб], такой был корреспондент, «Труд» вроде или «Известия», в Москве, ему там отправил... И потом приехал к нему Гаврилов Борис Иванович, он потом написал книгу «Трагедия Мясного Бора», мы его в лес водили, он с Академии наук был. Потом тоже увлекся поиском этим, сначала-то вообще там охреневал. И вот отец пошел к нему в гостиницу с этими документами, там они посидели, он поехал на автобусе домой, и уже у дома, где ему выходить, двери автобуса открылись, он только на ступеньки, ему удар по башке, и... ну, раньше папки такие, знаешь, школьные были, у него папка была, там фотоаппарат и документы, — и эта папочка исчезла. Понял? Не понял? КГБ. У него две дочки в Академии наук, одна в Академии наук, другая по партийной линии в Алма-Ате, и притом он — комиссар разведки 2-й ударной армии. А у нас же Власов предатель, и там все — власовцы. Пу, тем не менее уже все было отфотографировано, и поэтому... Пу и этот вот комиссар, буквально через месяц нашли вот эти дочки, сестра приехала с Белгорода, и вот его хоронили, и я первый раз увидел такие, знаешь, похороны... торжественные. Потому что раньше хоронили так — кое-как. Местная власть о поисковой деятельности знала, отец же общался, и музей вот в Новгороде был, он его пополнял. Слава богу, не мешали. КГБ как бы отслеживал все это, но никто не мешал. Не лезли. Помощь... Пу 89-й год, когда вахта большая была, там уже армия

помогала, но это был как бы такой порыв, где сплелось все в кучу, и блядство, и патриотизм, и все.

87-й, 88-й и 89-й год — это три основные вахты, которые проходили в Мясном Бору. В 89-м году была международная Вахта памяти, куда были пригнаны воинские подразделения с тягачами. После этой вахты я шел по Мясному Бору — Мясной Бор представлял собой 42-й год. Вывернуты воронки, изуродованы деревья, тягачами распорота земля, все кругом вывернуто, валяется поисковое снаряжение, упаковки зубной пасты, носки, портянки, пленка болтается, куча мусора, этих банок пустых. Представляешь, отряды завозили, завозили, завозили в лес в разные места, а потом — 8 мая захоронение, половина тягачей там не работает или не успевает их вывезти, они начинают ломиться, чтобы... им выехать надо, и они бросают все вплоть до еды, палаток и всего прочего. И вот идешь по этому Мясному Бору, и там охренеть, знаешь, все этими пустыми банками, бутылками, все вот так усеяно. Так продолжалось много лет.

У меня вот тягач был свой, приедешь на нем на эти стоянки поисковиков, самим-то покупать — деньги надо, эту пленку и все прочее, приезжаешь, а там все есть — пленку снял, там это все, вплоть до еды, котлов, палаток... все брошено. Так же и армия. Приехали, идем по этому лагерю, слава богу, здесь помойки закопаны, смотрю, в кустах что-то торчит. А я тогда работал в столовой, директором столовой в совхозе, смотрю — что-то стоит. Подходим — полная бочка жира. То есть бочка сама деревянная снята, а жир в целлофановой упаковке. Мужики говорят: «Да куда это надо», я говорю: «Мужики, это ж деньги». Я сам себе эту бочку почти на двести рублей принял, с мужиками пропили! Так они бутылок там — тягачами вывозили, я сдал на тысячу рублей по советским деньгам, проехал по лагерям, там, правда, и немецкие попадались пустые, но хрен с ним... Привез прямо на машине в магазин, прямо с машины в ящики поставил, ей пятьдесят рублей на лапу кинул, она у меня приняла все, даже не проверяя. Па тысячу рублей. Так идешь, кости выкопаны, валяются, не собрано, что не успевали...

Притом немецкие кладбища в первую очередь ушли. И лошади туда, и все в кучу, идем со своими, сидят пожилой поисковик и молодежь и зачищают территорию. И лежат кости лошадиные, ну, фрагменты костей. Патроны насыпаны, противогазы там... Я говорю:

«Вы что делаете-то?» — «Ребятки, бойца поднимаем!» Я говорю: «А где боец-то?» — «Вот». Я говорю: «Так это иго-го». — «Какое иго-го?» — «Да это лошадь, епта!» — «Какая на хрен лошадь, с противогазом, с патронами?!» Я говорю — да тут этого говна... А видно, что ее рубили, жрали эту лошадь. И этих лошадей там валом было, а сейчас нету ни хрена! Немецкие кладбища какие были, но они выкопаны, потому что копали и в 60-е, и в 70-е, даже я сам показывал питерским эти кладбища, несколько, два показал, они их расхеракали. Мы-то по кладбищам не ходили даже, мы его обходили, потому что это кладбище. А люди-то ушлые приезжали, кому бойцы нужны, а кому стволы, и плюс золото и всякое барахло. Я уже в 76-м году в лес ходил, я никого не видел. А потом с дружкой пришли, дождик моросит, мы там какую-то железяку накрыли, бутылка была — выпили. Сидим в этом вигваме, вдруг раз — приходят ребята питерские вооруженные. Ну и хотели нас поиметь. А потом узнали, что я Орлов, а батя-то их раньше гонял, еще такой Саша Нечаев был, он первый в Мясной Бор помпу притащил, воронки качать. И вот батя их гонял за то, что они стволы заберут, а кости раскиданные валяются. И вот они... потом мы с братаном вычислили этих питерских, у них там лагерь построен, вместе с новгородскими воронки качают, стволы... Ну, раньше ствол равнялся полноте налитого стакана. Нотом что он никому не нужен был.

[...]

К немцам у нас отношение однозначное было — это фашист. Хотя мне в детстве батя кликуху дал — Ганс, фашист, лет до пятнадцати я даже на имя свое не отзывался, меня все: «Ганс, Ганс». Друзья, вот, брат меня звал. Я в детстве любил — надену немецкую эту требуху: каску, португею, противогаз там, автомат или карабин в руки, и выйду, сам с собой играю. И пошло так поэтому. Мне, как любому человеку, то, что сделано за границей, нравится. Правильно? Потому что сделано качественно. И я еще в детстве удивлялся немецкому снаряжению, быту вообще. И батя удивлялся.

Я термосы первый раз увидел — какие-то колбы валяются, с карабина разнес их и все. И потом только у бабки увидел у одной, что это термос. Потому что у нас не было понятия, а у немцев были термосы. И притом в лесу сталкиваешься в блиндажах со всякой фигней бытовой, которой у нас даже до сих пор не знают. Вон у меня в

музее была такая штучка, деревянно-раскладная, сапоги снимать, обувь. Русскому показываю — что это за штука? Никто не знает. Иностранцу показываю — «Как что, обувь снимать». Не так, как мы снимаем сапоги, а вот доска, вот здесь такой вырез в доске и подставка. Потом мы нашли железную фиговину, как подкова на лошади, и тут стойка такая, и пятка такая. Ну, она сложена, я разложил — что за фигня? Гадали, гадали... Оказывается, просто — разложил, ногу поставил, ботинок почистил или сапог. Вот такая штука чугунная в болоте, в плухомани, в лесу. Зубоковырялки, ногтечистилки, всякой ебани там... Вина всякого разного, этих бутылок, у меня там коллекция — триста штук этих бутылок.

Немца находил — сначала поглубже закапывал. Нотом начал «немцам» передавать. У нас же есть — мои товарищи, которые работают там, ковыряют. Но так предпочитаю поглубже закопать. Я его сюда не звал... Нридут американцы, будем закапывать, придут другие, будем закапывать... Мы их сюда не звали.

Сейфы 267-й стрелковой дивизии — это 848-й стрелковый полк, ящик с документами был найден, потом автодорожного отдела сейф, 25-я бригада, отдел связи — сейф, потом сейф артиллерии 2-й ударной армии, но эти документы были найдены — Артур Ольховский и татары вместе. Я тогда расставлял лагерь, и они вот ускакали... В 90-х ребята нашли на Гати, где выход из окружения был, чемодан с документами 2-й ударной армии, там особый отдел был и все прочее. И мне сдается... там рядом есть огромная воронка, кругом лежат наши убитые, офицеры, там и сумки попадают, а когда мы Мотрошилова, комиссара, хоронили, приезжал командир разведки Рогов. И он рассказывал, что, мол, вы принесите мне карту, я вам покажу, где мы топили документы, пишущие машинки и документы. Но нас не подпустили тогда, потому что его сопровождали комсомольские работники до самого поезда и постоянно «подкачивали». То есть гэбэшники сопровождали его, и нас не подпустили тогда к нему. И вот они должны быть в той воронке, потому что больше нигде. Много документов сожжено было, много находили уже в плохом состоянии, вот мы с женой снарядный ящик нашли с землянки, но там вообще нечего взять, они все слипшиеся.

И вот по немцам я что могу сказать, у нас же здесь немцев как таковых не столько много было, у нас были испанцы — 250-я «Голубая

дивизия», они здесь до 43-го были, в 43-м их перекинули под Гатчину, под Питером их хорошо раздолбали. Они здесь хорошо дрались, жили с немцами, немцев ненавидели, дрались все время с немцами. Ну они такие, как цыгане, эти испанцы. У немцев-то более-менее порядок, все прочее, и вот когда сюда приезжали немцы, в 93-м году я их сопровождал, показывал кладбища немецкие в лесах, и просто в деревнях ездили по Новгородской области, и просто я машину останавливал, бабки идут, говорю, давай у бабок спросим, так во многих деревнях бабки перед немцами на колени вставали. Я охренел просто. Оказывается, что немцы, боевые подразделения, они жили в этих домах, они кормили детей, она варила немцам, они как бы ходили на войну как на работу.

Говорит: я им варю, они утром встали и пошли на работу. Вечером приходят, у нее сварено все, они поели, что оставалось, — я детям, говорит, отдавала. Посылки они получали, возьмут себе теплые носки, еще что-то там, а шоколадки, конфетки детям давали. У нас под Новгородом есть Село-Гора, там эсэсманы похоронены, большое кладбище, так там была больница для гражданского населения, для военных, и местные ходили туда, их немцы лечили. И, говорит, мы жили с ними очень хорошо. Потом пришла партизанка, что-то там постреляла, они шумели, а потом партизан пришел, в дом бросил гранату. И семилетнему пацану ноги оторвало, и деда убило. И вот здесь немцы уже вскипели, мы, говорит, две недели боялись. Партизана-то поймали, повесили, но немцы, говорит, злые были.

Потом рассказы женщины, она в Старой Руссе была. То есть вот Рамушевский коридор, Старая Русса, она вот с немцами жила. Говорит, у меня щека раздулась, зуб болел, и немец увидел, привел меня к зубному... А ее тетка лежала на кровати, умирала. Он подошел, пульс у нее потрогал и говорит: «Одиннадцать капут!» Она и умерла в одиннадцать вечера. А ее отвел к зубному, я, говорит, захожу в дом, сидят эти немцы, они грязные все, обросшие, ну, в котле сидят — в очереди. Он без очереди провел, немец, говорит, мне зуб поковырял, таблетку одну дал в руку, мол, через столько-то выпить, а вторую сейчас. Я, говорит, вышла, выплюнула эту таблетку, думала, что он меня отравить хочет.

И вот мы жили с ними, говорит, нормально. И потом, когда уже уходили оттуда, он говорит этой, матери, — мы завтра уходим, мол.

Уходите, говорит, завтра ваши придут. Уходите. Ну, они, говорит, ушли и уехали, а потом наши пришли. Ну и пиздец. Все, что спиздить можно, спиздят, выгребут, еще отъебухают и оттрахают за то, что ты с немцами здесь жила. Это во многих деревнях было.

А вторая-то херня, оно же как, боевые есть солдаты, а есть тыловые крысы. Вот эти зверствовали, так же и у немцев. У немцев были карательные батальоны, они состояли в основном из местных, вот у нас карательный батальон «Шелонь» был — одни наши отморозки. Вот у меня кагэбэшник знакомый был, рассказывал — баба одна в Питере на базаре узнала этого хмыря, его взяли за яйца, он пулеметчиком был в семнадцать лет, он все помнил, номер пулемета помнил, а как стрелял — у него провал в памяти. Они с нескольких населенных пунктов согнали население на лед на Шелонь и начали расстреливать их. Потом подогнали танкетки, начали лед долбить, чтобы они утонули. И эта баба осталась на льдине, ей осколком живот вспорол, и с той деревни, на том берегу, дед ее вытащил и дратвой зашил. Она говорит — на суде даже не верили, когда рассказывали такие зверства, — что это свои люди. Здесь Батецкая, тоже полицаи эти — латыши, эстонцы... вот они здесь зверствовали. Вот Латышский полицейский батальон здесь был, мы когда ездили с немцами — везде к немцам нормально относились, в Спасскую приехали, там бабки — идите отсюда, меня здесь мучили... А там латыши жили, брали все что можно, они даже с убитых все снимали. Находишь — у него в кошельке наши монеты, немецкие, наши... Всё грабили.

В 80-м году отец умер, в декабре месяце, а в 81-м уже приехал Мишка^[160] сюда [нрзб] с этими, сколько их, человек восемь приехало студентов, ну у них такая программа была, Питер там, туда- сюда, Мясной Бор, потому что здесь татар много воевало, Муса Джалиль в плен попал. Они пришли, а Валерка у бабки жил на станции. Они спрашивают Николая Ивановича. Валерка им говорит: «Опоздали вы, он умер, а что вы хотите?» — «Да вот, так и так, хотим в Мясной Бор». Он говорит: ну давайте. Ношел к начальнику, он тогда сварщиком уже работал, тот отпустил, дал машину им, они доехали, тогда в кроссовочках приехавши были...

Ношли в лес, я там отстал маленько, они вот пришли на это болото, на Дачу, и нашли там красноармейца, Михайлова. И вот с этого похода у них и началось, на следующий год они уже начали

экипированными приезжать, в большом количестве... Я с ними не был, потому что я всегда сам по себе, я любил одиночество, а с ними брат был, Валерка. Он их учил, как щупом работать, как крюком работать, раньше-то они как цыплята за ним бегали. Он идет — здесь копайте, здесь копайте, потом он их научил. В принципе, все это начинается здесь, у нас уже, именно с Валерки, потому что это был опытнейший поисковик, и везучий поисковик, у него много находок интересных, хороших. Он винишком баловался, при этом, сам понимаешь, всем интересно с ним поговорить, значит, надо угостить... Это вот и сгубило.

Про оружие широкой публике будет интересно потом. Потому что это своеобразная работа и структура, потому что до хранища оружия уходило, когда Карабах начинался и начиналась чеченская заваруха первая. И сюда приезжали чурки — их кто-то наводил на опытных поисковиков, которые в лесу жили, — за оружием. Фуры ездили, возили через всю страну. Я работал в столовой, ко мне зашел знакомый эфэсбэшник, я ему наложил пообедать. Он сидит ест, тут стучат в кабинет. Заходит чурка, спрашивает Орлова. Да заходи! Эфэсбэшник сидит ест. «Нам надо пулемет, автомат, пистолеты не надо, винтовку можно...» Я говорю: «Где ты был, я только машину отправил, опоздал маленько. Приезжай лучше осенью». — «Когда лучше подъехать?» — «Давай где-нибудь в сентябре». Он уходит, эфэсбэшник спрашивает: «У тебя такое часто бывает?!» Часто, вот иду с работы, машина останавливается: «Э, дорогой, где тут у вас столовая?» Я говорю: «Вон там, а что вы хотели?» — «Да нам надо человека, Орлов нужен». — «Ну, я Орлов, что надо?» — «Садись». Достает чемодан — там вот столько наших денег и вот столько зелени. «Нам нужен пулемет, винтовка, если немецкие патроны, то с патронами...» Я говорю: «Блин, недавно только вот отправил...» — «Ну, мы потом подъедем». — «Подъезжай, дорогой!»

И вот один заезжал так два раза с Карелии, что-то на фуре возил оттуда. У них это налажено было, я сдуру начал это отслеживать. И я нашел заправку, знакомого... Вот отсюда это все шло на заправку, а оттуда уже дальше. И наше КГБ знало. Демянские тоже знали. Значит, это надо было. Значит, эта война нужна была. Ведь я и сейчас вспоминаю — ведь все в открытую было, почему? Я даже одного из тех, кто приезжал, потом лет через десять на «мерседесе» увидел,

«Агентство недвижимости». И он такой, типа меня не знает. Они все на местах остались.

Вот милиция. Они план выполняют. По поисковым отрядам, в музее у меня каждый год чистили, потом по телевизору отчитываются: изъято оружие, тяжелое вооружение бандформирования. Какое, на хуй, бандформирование в Новгороде? В Москву тоннами эти стволы идут, тысячи за каждую вахту. А эти стволы даже в металлолом не принимают, они гнилые.

[...]

Весь поиск начинался со щупа раньше. Идешь, винтовки торчат, шомпол вытащил, в палку вбил — это были первые щупы. И мы ими умели работать, как скрипач на скрипке. Идешь, уже знаешь, где что лежит. Только щупом работали, потом пошли крюки, потому что с воронок не достать, руки не хватает. Крюки делались из конных граблей. И вот пошли с ними по воронкам. Были специалисты — даже медальоны доставали. Брат доставал, я доставал. В поиске нельзя хвататься за все инструменты, ты должен привыкать к одному инструменту, одним и работать. У меня многие годы — вертуха, то же самое, стержень с конной грабилки, только на конец ручки шарик навариваешь, потому что земля, если она не копаная — она не пробивается. А если копаная, этим шариком она пробивается, верхний слой тверже, а ниже он уже рыхлый. И чтобы у стержня не было трения о землю полностью — вот этим шариком верхний слой пробил, а дальше он идет, как в масло. Я брал маленький крюк и вертуху и шел гулять. А захоронения, они бывают зимние, летние, разные грунты, песок там, глина, болото, поэтому тут соображаешь головой и вот этой фигней очень хорошо... Вертухой нащупал, бывает, что уже даже кость не поймать, потому что она почти сгнившая вся, особенно если песчаник с глиной, крюком раз туда — достал, посмотрел. Много лошадей, останков лошадиных закопано, чтобы лишний раз не копать — достал, посмотрел, какая косточка, все нормально.

Раньше, допустим, ты идешь — ты видишь, что череп торчит там, ботинки торчат. Это было по верховым. А сейчас по захоронениям. Вот идешь, может быть маленькая такая вмятинка в земле, еле заметная. А сейчас снег тает, и там, где ямка какая-то была, что-то выкопано, — становится лужица. Вода уходит, и остается след

мокрый. Это след может быть два дня. Потом высыхает, и местность опять ровная становится. И ты туда раз — там может в могиле быть от одного до нескольких человек. Просто могила выкопана, могут быть в воронке закопаны. Ведь хоронили по-разному, допустим, летом закопали, сделали бугор, все. Трупы сгнили, бугор опустился, сровнялось. Весной, зимой — снегом закопали, холм сделали, холм опустился, и получилась как бы ячейка. Если большие — получаются как блиндаж, такие могильники по 100, 50 человек, 20 человек. Они разные бывают, песок, глина, болота, и все эти захоронения, они разные. Хоронили наши, хоронили немцы, хоронило местное население. Вот деревня Подберезье, а там у немцев перед обороной куча трупов наших, они там оборону делают — надо убрать. Местное население привозят туда, и они по воронкам... И, допустим, когда копаешь убитых захоронения, видно, кто хоронил, наши или немцы. Немцы хоронили, ничего не снимая и не вытаскивая ничего из карманов. Немцы не шмонали по карманам, даже своих. Наши хоронили — они снимали все, потому что это приказ: снимать обмундирование и сдавать на склады воинских частей. Потому что фабрики не успевали столько строчить валенок и всякой фигни. Вот находишь убитых по 44-му году — у них валенки сзади разрезаны и сшиты по новой.

[...]

В некоторых местах в Мясном Бору — вот где Дача у нас, допустим, — вечером темнело, сидеть у костра неохота было, хотелось еще принять стаканчик, скучно... Я брал полные карманы патронов, набивал карабин, и пошел гулять по лесу. А ночью очень хорошо ориентировался, я вообще в лесу ориентировался без компаса, даже не знал, как компасом пользоваться, и до сих пор не умею толком. До тех пор, пока в руки не взял навигатор — сразу все сбилось на хуй в мозгах. А так ходил просто. И так, чтобы кабаны, медведи, кто-то на тебя там напал — вообще в мозгах не было. А вот места были такие, подходишь... Вот где Дача, где мы убитых копали, буквально метров триста-четыре, край леса, дотуда дохожу — животный страх такой, аж мурашки. Вот сейчас рассказываю, и руки в мурашках. Вот дохожу до определенной точки, и все. И почти всю жизнь прожил — я туда не мог заходить. Залезли мы туда только, наверное, в 98-м году. Там такие же убитые, столько же убитых. А

почему, не знаю. Вот какой-то животный страх, и таких три места было. Ничего примечательного в них не было.

Все годы со мной в лесу был батя. В последние годы он от меня стал уходить, и я уже в лес не хочу. И я уже в лес прихожу, там, чаю попить, нет вот этого зверского желания найти, уже ко всему этому отношение совершенно другое. А вещи, которые происходили, я стал дублировать, чтобы меня не посчитали ебнутым. Я сначала начал записывать, на машинке печатной сидел на работе и все это, что со мной происходило, записывал. Получался такой бред сивой кобылы, характеристика в дурдом. Вот, например, маленький такой фрагмент: 95-й год, 50-летие Победы, ну надо же в лес. Мы едем через болото, солнце светит, едем на госпиталь, а госпиталь 2-й ударной — он весь уже выворочен, там столько народу прошло. Меня что-то туда потянуло. И вот едем по болоту, я в тягаче сижу и думаю: «Вот выкопать бы человек 150, все-таки праздник...» Пу, уже убитых не столько, как раньше, их меньше становится, а я думаю — выкопать бы 150. Приехали, четыре дня бегаем, я только нашел одного — свежего, повесили или повесился там. В кроссовках, а ближайший населенный пункт в пятнадцати километрах, куртка, рубашка, клетчатые, очочки такие... Четыре дня. Вообще ничего. И вот я на краю воронки лежу, хорошо, солнышко светит, пацан у меня яму копает, там помойка — ремень офицерский, медальон пустой, барахло разное...

Копает, я говорю: «Жень, столько денег вложено в празднование, и ни хера не найти, стыдоба...» Голову поворачиваю, а в песке провал. Я беру крюк, подхожу — раз в песок, вытаскиваю кусок зада. Говорю: «О, Жень, один есть! Давай, иди, копать будем». Закуриваю, говорю: «Вот выкопать бы мужика, у которого все есть!» И мы его начинаем ковырять, ну, сохранность костей плохая... У этого ТТ, партбилет, кошелек, бумажник, портупея, компас, ножик, какие-то ножницы, какие-то наборы... короче, обвешан весь всякой хуйней! Вот с этого как началось, 150 — дыщ! И все. Вот 150 нашел в последние три дня и, может, одиночных там парочку.

Потом — сидишь дома. Сидишь, гадаешь, на карту смотришь и думаешь — сюда. Начинаешь мозгами работать, работать, работать... «Ты куда на вахту?» — «Сюда». — «А зачем сюда, там же нет ничего?» — «Не знаю, сюда». Приезжаем — пока другие палатки ставят, у нас уже убитые поперли. В Поддорье поехали с какого-то

хуя, вообще я за границу не выезжал из Мясного Бора — в смысле, за границы Мясного Бора, — у меня Мясной Бор, Спасская Полисть родина, я никуда больше не ездил. Поехали что-то в Поддорье, это 96-й год. Едем, проезжаем — памятник стоит, и списки. Воинов-десантников. Я говорю, мужики, бя буду, здесь ни одного похороненного нет, все в лесу. И мы начали, мы там подняли 600 человек за три захода, два раза вахты были, а так Света, я и два дружка моих. Вот тоже ни с того ни с сего. По это тоже все ладно.

Жизненная позиция — вот живу я в Подберезье, ну, у меня баба там была, но думал о нормальной семье, чтобы были девочка и мальчик, мягкая мебель там, тапочки, халат, белый костюм... И познакомился — ну, Михайловна, они в лес ходили с пионерами, я все думал — такая баба, интеллигентная, грамотная, куда она, на хуй, лезет? Приедет в эту Долину, там вечно бидоны самогона, вечно пьянки... Пу, убитых, понятно, один копает — десять пьют. И она все с нами. И мы сошлись. Первым делом, что я увидел, когда пришел в дом к ней, — белый костюм теща достает из шкафа, не знаю, откуда он взялся, — белый костюм, моего размера. В гости в нем поехал, хотя на хуй он мне нужен? Па автобусе проехали несколько остановок туда и обратно, я только из автобуса вышел — весь черный в этом костюме белом. А дома мягкая мебель и тапочки, бядь. Двое детей, Миша и Маша. Семейной жизни не получилось у нас, потому что жена повернута на своем, я на своем. Она комсомольского воспитания. Пионерия, работа с молодежью, она дома не бывает, ей интересно с молодежью, с пионерами... Я сначала психовал, а потом забил, постоянно в лесах. И она со мной в лесу, но как-то уже... ничего не срослось. Хотя я ее уважаю, живем нормально. Сейчас на Северном Кавказе копает.

И вот по бате: с Валеркой сидим у костра вдвоем — ощущение третьего. Вот третий, и пошло, мол, что батька сейчас дров принесет, сейчас батька выйдет, туда-сюда... Потом оно пошло-пошло, вот пример: кладбище мы искали. Должно быть кладбище, все облазили — нет. Одно нашли, но не то, выкопали там 100 человек, не то, должно быть другое и в другом месте. Все облазили, и уже все с лагеря уехали, мы остались вчетвером. Я говорю: давай заход еще раз сделаем, с Волхова заедем. Заехали, Юрик Кузнецов там пропал, мы с Серегой идем, все облазили — нету! И уже все, осталось ручьевину

перейти, это первое кладбище, что выкопано, и дорога прямо в лагерь, два километра.

Нодходим, место высокое, красивое, несколько блиндажей, я говорю — здесь должно быть кладбище, а Серега говорит — да все перерыли, нет ничего. Мы три раза здесь были. И главное так, раз — береза стоит на меня, тыдыдыщ! Нодхожу к березе, мол, батька, ну помощи, выручи. Не говорю, а как бы внутри это происходит. Длинный отошел в сторону, курит, он уже знает эту фигню. Ношли, он идет впереди, бубнит, я за ним иду по тропинке, и вдруг волна такая. Я туда в кустарник иду, прошел метров тридцать, там деревья навалены, и вот они — ямки.

Нотом вот М-11 мы профигаривали, дорогу эту. Нас направили туда как группу поисковую к саперам, у меня там знакомый был начальником, и мы к нему, встали отдельно рядом, и нам дали как бы вольную, ну, знаешь, — искать убитых, и все. Ну, я Мясной Бор знаю — где трасса проходит, где их искать, а где не надо искать. Ну вот, мы ходим — там один, там два, там один, там один... Да, попадают, но все как-то не то. И уже перешли на немецкую оборону...

Ходишь, как-то неудобно, хочется какого-то эффекта, плюс меня там многие знают визуально, по интернету там, и вот половина смотрит с уважением, а половина — как на дебилов, мол, что за привилегии, у них там армейский порядок, все по расписанию, а мы живем как анархисты рядом в палатках. И на нас смотрят, как на идиотов. Думаю, блин, как бы так удивить-то их? Ну и уже собрались домой уходить, я иду, стоит на бруствере траншеи береза ровная, и она, знаешь, на меня смотрит. Я такой подхожу, березу обнял: бать, ну сделай ты так, удиви народ! Ну, постоял с ней, значит, так мысленно пообщался, приходим в лагерь, обычно приходишь усталый и спать ложишься. До ужина спишь пару часов, потом поужинаешь и сидишь, шароебишься, или спать заваливаешься. А тут пришел, лег — ни хуя, хожу, ну не могу, подхожу к тягачу, там пацан валяется, говорю: у тебя крюк или вертуха есть в тягаче? Нет, говорит. Ладно, опять походил-походил, опять пришел в палатку, лег — не ложится, смотрю — Серегин крюк висит, снимаю, а там дорога — она довоенная, там деревня была, и во время войны она снесена была, я дорогу перехожу — и две воронки здоровые, я в одну раз — с краешку...

А уже начальство там сидит, решает, куда, чем нас занять, чтобы мы не шароебились, а хоть какую-то работу выполняли. А я раз крючком — с такой глубины вытаскиваю руку. Прихожу к ним в палатку, говорю: «Мы никуда завтра не пойдем». Начальник говорит: «Не понял». И вот мы начали ту яму копать. 54 человека захоронено, это начало наступления, 366-я и 305-я стрелковая дивизия. Один пропавший без вести, остальные, как потом мы выяснили по документам, ну, по медальонам, найденным там, они захоронены, а потом перезахоронены. Уже давно, в «Ударнике». Мы по трассе и вдоль трассы выкопали 180 убитых, это четыре километра пути. Там папка с документами была найдена, с печатями, где-то тридцать медальонов было, одна медаль найдена. И притом они оплачивали все расходы по убитым, то есть если родственники приезжали — они им оплачивали проезд, гостиницу, если нет — то убитых возили на родину, там хоронили, и все оплачивал «Автодор». Мы работали вчетвером, а «Долина» туда отправила группу, 30 человек, они там подняли двух убитых и то — одного фиктивного сделали, а я вижу, что он на болото принесен.

Вот такие вот истории про батю, и их много было, очень, очень много, потому что в лесу он постоянно меня сопровождал. У меня же за всю историю моих вахт было две неудачных вахты, одна вахта — 20 человек, но после вахты мы подняли 390 человек, и одна вахта была — нас стояло там человек шесть-семь, в августе, погода была — жарища, если ты встал в шесть утра, то до семи, до полвосьмого ты мог по лесу походить, потом дышать нечем. И мы тогда подняли 15 человек. А так минимально — 50, нормально 150-200, вот так. Каждую вахту. Вот за время существования «Долины», если примерно взять, отчеты поднять, то у меня найденных — я не говорю, что выкопанных, найденных — порядка 9 000-10 000 тысяч. Это с 90-го года, до того не считалось. Но перед кем было отчитываться.

Допустим, лежат там 20 человек, один какой-то значимый такой, он тебя притянул, и вот берешь его, положил, землей засыпал, касочку, автомат, елочку посадил там, знаешь, как своя могила. На Даче у нас там ямка была, решили себе землянку выкопать, палаток-то нету, спать-то надо где-то. Начали копать, а там оказалась землянка — во время войны была, и там было шесть убитых, четыре медальона,

винтовки, противогазы, и мы их тут на гребне похоронили, у нас эта могила долго была.

Мы, когда приходили в лес, первым делом по стопочке, помянули, посидели, у нас там забор из винтовок был сделан, могилка такая, а потом, когда вот эти вахты начались уже, я вот эту могилу, и там еще у нас могилы, которые были, я их показал, их забрали и уже в Мясной Бор отвезли. А так там же невозможно было собрать их. Они со всех воронок торчали, со всех ям, кругом верховые, особенно в низинах, таким слоем навалены, что их до сих пор даже невозможно выкопать там. Потому что там сплетение корней, вода... Весной там воды — вот так. Потом она начинает уходить, лето наступает — оно так схватывается все, таким монолитом, эта земля и это болото с говном, там ничем не пробить, плюс трава вот такая вырастает. Там ни найти, ни пробить. И тут надо время такое, конец, допустим, мая. Когда нету травы еще, и вода ушла. Вот здесь еще почва рыхлая, как вот на Даче, на Поляне — в это время надо копать. Разные почвы, сложно. Очень сложно все. Главное, чтоб было желание.

С Вахты памяти началась отчетность. Я, допустим, сначала писал, когда в отряд вступил, я же притащил с помойки машинку печатную, потому что почерк у меня хреновый — я левша, и меня в школе заставили правой писать, у меня почерк плохой, — и я машинку принес, начал рассказы на ней печатать и писал отчеты. В лес съездили — я писал отчет: «Отчет за такое-то число», отряд в количестве 15 человек, или там пяти человек, в основном впятером ездили, ездили на тягаче в район Мясного Бора, там Дача, там проводили работы, погода такая-то, что-то нашли, то-то нашли, кто-то провинился, кто-то что-то — все это описывал. Начал в «Долину» носить, потом вижу — им на хер это не надо, они у меня дома, папки эти, хранились за три года. Потом женщина одна диссертацию писала, сейчас она находится в... архиве семьи Орловых — такой есть, она сделала, там дядюшка часть документов бабкиных туда дал, и у меня она эти документы, которые были — акты там, письма — забрала. Архив в Новгороде где-то там.

[...]

Меня больше убивает вот этот вот патриотизм интернетный. Они же на собраниях начинают что-то обсуждать — никогда не было, чтобы обсуждали поисковую работу, а вот деньги, которые пришли,

которые потратили, туда-сюда... Допустим, если нету денег на тягач, на КамАЗы, зачем лезть куда-то в глушь дальнюю на этих машинах, когда можно высадиться на трассе, поставить палатку и у трассы искать убитых, то же самое — лежат. Нет, вот я решил ехать туда! И вот он ломится туда, вот я сейчас сказал — на Кересть поедem, Новую Кересть, это где артерия была 2-й ударной армии, потом они оттуда уже, от Нитера, сосредоточились здесь, в Новой Керести и округе, там и госпитали, медсанбаты, штабы были, мы там последний раз были лет пятнадцать назад. Больше оттуда убитых никто не выносил. А мы первый раз зашли — 396 человек подняли, в самой Новой Керести, потом зашли, там нашли девчонку лет пяти-семи в ящике снарядном среди убитых, памятник поставили охотники. Я им показал — могилку сделали такую простую и памятник там местным жителям поставили, и вот тогда мы еще 75 человек подняли в округе, больше там не были. Мы сейчас едем туда с Мачинским. Олег тягач дает, с воинской части один тягач берем, поисковый батальон — пятнадцать, и Артур Ольховский. Это вот опять: думаешь, что вот сейчас народу до хрена будет, а это почва-то, она жидкая, тягачи раздолбают — мы хотели с южной стороны заезжать, но я уж охотников пожалел, с ними начали обсуждения, они говорят — давайте с той стороны, с Рогавки заезжайте, там нам дороги не нужны, мы в основном здесь все делаем, а то тут дороги заплыли, им наладили...

А тягач у нас долбает — две-три ходки, и эта дорога будет как канава. Так вот соберется около 100 человек, тягачу надо раз пять туда-сюда, там как во время войны эти дороги будут. Я думал, мы, хотя бы человек десять на тягаче, выехали, отработали там, нашли, потом осень настала — туда уже можно и сто загонять, потому что дороги останутся, и пусть они это копают. Но здесь вот надо и этим, и этим, и этим. Всем надо угодить. Все надо думать, все надо планировать, все надо обсчитывать, чтобы не обидеть ни того, ни того, ни этого. Сейчас же охотники — они все короли районов, куда ни приедешь, на тебя все с карабинами бросаются, мол, что ты делаешь, давай документы, — потому что или прокурорские работники охотятся, или кагэбэшные, или ментовские, а егеря эти поставлены ими, и они начинают пальцы веером. На меня два раза кидались.

«Черные копатели»... Батяка их гонял, а мы потом к ним в Нитер и в гости ездили. Есть один, допустим, он все кладбища переебал,

сначала Мясной Бор начал ковырять, а потом переобал все кладбища вплоть до Берлина немецкие, от ментов всю жизнь скрывался... Сейчас вот научный работник, редактор журнала, еще чего-то, умное лицо такое делает. С шестьдесят какого-то года ко мне приезжает. Он батьку моего уважал, батька его пиздил, потом от тюрьмы ему помог избавиться — пулемет на себя взял, якобы он в музей его отдал.

Я сталкивался со всеми людьми, и мне интереснее разговаривать, и как-то чувствуешь себя лучше, с «черными копателями». Они разные есть, есть, знаешь, дебилы, которым по херу, железяку какую-нибудь принести, почистить, потом в интернете всем показывать, а есть мужики — профессионалы, которые ебошат блиндажи так, что только свист стоит. Многим жить не на что, жрать нечего, вот живут только этим барахлом немецким. А есть поганцы «красные». Вот кто весь металлолом с Мясного Бора вынес? Не «черные копатели», а «красные» поисковики, под видом музеев, и до сих пор тащат, только в музеях-то их практически не видно. «Черные» столько не могли вынести! Тысячи, сотни тысяч стволов лежало, боеприпасов тонны лежали. И все такие: «черные копатели», «черные копатели»! Как мы с Люцаем стоим, журналисты нам: «А вы встречались с "черными копателями"?» — «Да». — «Кто "черные копатели"?» — «Мы». Вот эти вон на джипе, вот «красные копатели», они копают там в администрациях, а мы вечно в говне сидим черные, вот — мы «черные копатели»! У меня вот эта фигня, что есть структура, куда данные по убитым и убитых можно отправлять, то есть поисковая организация, то есть «красные». А так я сам по себе, я анархист. Мне даже один большой начальник сказал, когда меня хотели маленько унизить, он говорит: «Вы отъебитесь от него, орел — птица вольная, дрессировке не поддается, я пробовал». Это в «Автодоре», когда трассу делали.

Раньше другие понятия были. Это наша позиция была, чисто человеческая, без всяких флагов, просто жить — жить и, потому что надо... Вот мои меня ругают постоянно, что дома у меня вечно здесь народ. У меня кто приезжает — все время жрать сварено. Сели, поели, спать — пожалуйста. Даже «черпаки» приезжали ко мне, по интернету: «А можно к вам гости как-нибудь?» Ну, во «Вконтакте» насмотрелись всякой хуйни, я их там специально дрочу всякими стволами, эсэсами, один с ума сходит: «Можно приехать?» — «Да, приезжайте». Двое приехали, бля, такие патриоты, да так они хотят

память, потом разговор про испанцев и про СС зашел... «А можешь нарисовать, где они?» А ему нарисовал, так он с этим планом через три года приехал ко мне, он уже весь затертый: «А мы вот здесь были, здесь были, да, здесь испанцы, да, я здесь медальон нашел, здесь пряжку эсэсовскую, а вот тут ты знаешь, а что вот здесь было?» И вот с ними разговариваешь, с ними нормально, понимаешь? Нет ничего такого. Я привык принимать людей, потому что они люди, по-любому — люди.

Я тоже мог бы в свое время, у меня были возможности стать коммерсантом, миллионером, я в Подберезье работал — там элеватор построили, птицефабрика, где я работал — там куры, мясо, яйца, я директор столовой был — везде все по талонам. Я бы мог на элеваторе, там мешок муки равнялся стакану водки. Потому что пиздили все, корма, муку. Стояла столовая, ключи у меня в кармане, со всем оборудованием, в деревне старая, мы переехали в новую. Я бы мог там сделать кафе, делать булки с этой муки копеечной, с этими яйцами, курицами, ничего не вкладывая. Но просто Господь сказал — это не твое, у тебя лес, епта. Я сколько помогал мужикам, кафе, рестораны заводи, приезжали там, документация, с санэпидстанцией познакомить, потому что я со всеми открытый, я в торговле работал — взятки не брал, они приезжают — я сразу показывал, где у меня что работает, где не работает. «А что так честно?» Я говорю, а чего скрываться, вы все равно найдете. Два-три раза, они от меня отстали, позвонят: «Сань, у тебя все нормально?» — «Все нормально». Взятки не брал и не давал. У меня вот батя когда умер, мне предлагали работу, туда-сюда, батю-то знают все, уважаемый человек был, хоть простой мужик. Его до сих пор все вспоминают добрым словом. Мне предлагали — я сказал: не, я пойду своей дорогой. И я его благами не пользовался, у меня связи, и я ими не пользуюсь. Но многие в жопе сидят — и все равно помогают. А многие, кому я помог, — с «мерседеса» вылезит, ржет: здорово, мол, ты все копаешь? Сел, поехал, он король жизни стал! Не в деньгах дело, епт.

Так вот и жили, поэтому для меня все люди... Когда выебываются люди, я не разговариваю. Вот копали убитых на госпитале, накопили много, начальники нашего штаба привозят какого-то поисковика. «Саня, ты можешь с человеком поработать?» — «Конечно, могу».

Вылазит — у него минник навороченный и больше ничего. Я говорю: «А чем ты искать-то будешь?» Он стоит, одет, как, знаешь, спецназовцы такие, мы-то оборванные, грязные... Такой: «Да я этим минничком на любой глубине найду». Я говорю — ну давай, вперед. Потом говорят — вот, приехал человек, вы ему ничего не дали, я говорю — а что я должен дать? Яму с убитыми? Так ее и пионер выкопает, найти главное, поисковик — он на то и поисковик, что интересно найти, а не выкопать. А когда приедут — Саня, а где блиндажи немецкие есть покопать? Берешь ручку, нарисуешь, раз-два: «Здесь не тронь, они пустые, здесь это, здесь то». — «Ой, спасибо», раз, полетели. А пытаешься поисковикам показать, рассказать, где убитых искать, — а, на фиг, знаю, не надо! Поехали, нас пригласили в Старую Руссу, наша «Долина» решила нас взять, так-то мы невыездные, нас на вахты никуда не отправляют, только в Мясной Бор. И то — минники? А им минники не надо, не положено. Тушенки? А, не надо, Орел найдет. Машина? Пу, отвезите на машине, бензин пусть сами платят. Вот отношение ко мне.

Приехали мы в Старую Руссу. Я у местных спрашиваю, где тут чего было, Рамушский коридор, бои, где что? «Да не знаю, там было — там выкопано, там было — там выкопано»... Я говорю, а вот Присморжье, я сюда хочу. А мне старый еще трофеюга говорил, Саня: «Будешь в Старой Руссе — вот Присморжье». А там... там наших убито море, хоть вычищено, но все равно найдешь. Я говорю — туда. «Пет, вы здесь будете, там другие будут». Пу ладно, я по лесу два дня кругами мотаю, чтоб понять смысл — где чего, в лесу ничего нет. Па километр — каска. Они штурмовали, естественно — дорога была, Старая Русса — Рамушево, наши должны ее штурмовать, немцы — держать. Пошли. В итоге 250 человек за пять дней как подняли со своими девчонками. С нами в лагере никто не разговаривал. Я прихожу, говорю — возьмите инструмент, на хуй вам эти минники, выкиньте вы их, возьмите поисковый инструмент, пойдемте, я научу, — пошли трое. Одну яму я нашел у дороги, там 10 человек, эти: «Мы не будем больше искать, мы выкопаем!» Приезжает в лагерь машина, начинается: шезлонги, палатки, бани, неделю строят лагерь! Двое-трое кто-то бегает по лесу, остальные строят лагерь, поисковый отряд приехал на работу: там и баня, там и дискотека, там и шорты, и хуёрты! Ты за это время уже человек сто нашел — они только лагерь

развернули. Потом начинается утрое: построение, развод, на работу, блин, на поисковую работу! Потом обед, ужин, знаешь, вот эта хуйня... Смотришь на них — на хуя, спрашивается? Ты утром встал, чифиру ебнул, вертуху в зубы и ушел. К обеду пришел — так, бабы, собирайтесь, там яма, ведра берите, мешки берите, пошли хуярить. Никакой организации, ничего, зато и выхлоп какой! Про меня говорят, мол, он гонится за количеством убитых. Я говорю: «Смысл гнаться за количеством? Какой смысл?» Пету смысла-то. Если б за каждого убитого давали по тыще, допустим, вот это был бы смысл. А просто — нету смысла-то! Я говорю — да, я гонюсь за количеством убитых, потому что я прожил шестьдесят лет и они не кончаются. И то, что найду я, другой может не найти. Вот мы идем, допустим, лагерь стоит большой, я и два Сереги моих, мы находим ямки с убитыми — лагерь весь ходит там, поисковики ходят по этим ямкам, но нет, мы спокойны, мы знаем, что они не найдут.

Лагерь поставили здесь, а копать ходят километров за десять, или ездят туда. А там тоже стоит лагерь, тот лагерь едет оттуда или идет сюда, копают здесь. Это вот постоянно! Вот шоссе Новгород—Питер, это река Глушица. Мы стоим здесь, мы копаем вот здесь со своими. Эти стоят здесь, они идут сюда, копают к нам. Наши же, только не с моего отряда, с других отрядов, они идут копать сюда. Я посередине встречаю дядюшку, говорю: «Зачем твои лезут сюда?» — «Я не могу удержать, они тут орут, что нечего копать». Я говорю — мои тоже орут, что нечего копать, но твои идут сюда копать. А мы копаем здесь, где стоим. Бывает, палатку снимаешь, потому что прямо под палатками...

Видел, китель висел с орденами, с медалями наверху? Смеялся: вот, мол, побрякушек надарили, а пенсия десять тысяч. За то, что честно работал всю жизнь. На фиг эти побрякушки, вот все гоняются за этими фантиками, я раньше их вообще не воспринимал, а потом, когда суд был, адвокат говорит: «У тебя есть государственные награды?» Я говорю: «Нету». Он говорит: «Какие есть?» Я говорю: «Да хуй его знает!» — «А ну-ка пойдем». Я ящик выгребая, у меня тут брошена, там брошена, он говорит — вот государственная, и эта тоже министерская, пойдут! Я говорю — да ну на хуй. А он мне — ты чего, на суде это заебись! Я собрал их в кучу, на китель повесил, раза три надел, но мне стыдно, на хуй.

(Читает.) «Жизнь подходит к концу, трудно это осознать, но это так. Оглядываясь назад, вспоминаешь детство, вспоминаешь прожитую жизнь. Кажется, жил не так, неправильно, но, перебирая в памяти плохие и хорошие моменты, остаешься со своим мнением. Эту жизнь не ты придумал, и ты жил, как тебе с рождения начертано судьбой. Ох, эта судьба! Посмотреть бы ей разок в глаза — за что ты отстранила меня от мирской суеты? Так я и не понял той жизни, которой живут миллионы людей, той жизни, где есть любовь, забота близких. Почему меня тяготит спокойная домашняя жизнь, в которой большое значение имеют только деньги и тряпичное благополучие? Возможно, надо было оставаться в армейской грязи с ее жестким укладом, но опять судьба вмешалась и завела меня в грязь мясноторских болот. Видно, ей лучше знать, кому и что делать. И сейчас, когда четко вырисовывается путь работы в этой сфере, понимаю: то, что я делал, не должно пройти бесследно. Тогда вся жизнь будет перечеркнута страшным словом "Безвестие". Ушли родные, многие родные, почти все друзья, с кем шел по жизни, растворились в этом страшном слове. Сейчас не с кем вспомнить те шестидесятые, семидесятые годы, не с кем попить чайку у костра... Я помню их, но только я, и это скверно. Они были первые, может, что и делали не так, но ведь делали и верили, что делают правильно. Неужели мне не доведется довести все так, как просит душа? Может, судьба распорядится по-своему? День близок, я чувствую, и не успеваю, и не прощу ей, если не успею. Тогда простите меня все, потому что, видно, кому-то это было нужно. На то, что я не успею, придет новый человек, с такой же, как у меня, судьбой, судьбой жить для Родины, людей и своего святого дела. Удачи тебе, Человек!»

Такое вот заключение было написано уже давно, наверное, лет десять тому назад. Тут рассказы про войну, про поиск, про друзей, про «черных копателей»...

«Раньше их называли "трофейщики". Они собирали на полях боевое оружие, боеприпасы, амуницию, вывозили в тыл технику. Потом война окончилась, трофейщики занялись сбором металлолома для нужд страны. Были и такие, которые не гнушались сбором золота,

наград и личных вещей с погибших защитников Родины и их врагов, лежащих на бескрайних полях страны. Не гнушались ничем: надо было жить. Потом их дети тоже собирали оружие, оно шло для детских игр в войнушку, боеприпасы взрывали тут же. Кто-то из таких пацанов остался на местах боев после войны или стали калеками. Немногие из того поколения придавали значение солдатским документам, найденным у погибших. Но такие были — и молодые, и фронтовики. Искали родственников погибших, писали им письма, сами встречали и провожали вдов, детей. Но вот началось поисковое движение: восьмидесятые годы прошлого столетия пришлось на пик массового выноса с полей сражений военных раритетов. Сначала из лесов исчезли немецкие каски, патроны и цинки, частично целые оружие и амуниция. После начала девяностых годов из леса стало исчезать все, что касалось войны. Мне за годы жизни в новгородских лесах довелось встречаться со всеми категориями поисковиков: в большинстве случаев это нормальные люди. Но среди них мало встречал тех, кто из леса ничего не брал, кроме останков для перезахоронения. Их всех поделили на "черных" и "красных". "Черные" — это те, кто собирает только военные раритеты, оставляя валяться выкопанные останки. "Красные" — это те, кто занимается только сбором и поиском останков. Но и те, и другие не гнушаются ничем. "Черных" в начале поиска были единицы, и они не могли вынести тонны железа с мест боев, а оно исчезло все.

Я живу в лесах Мясного Бора, и отсюда началось массовое поисковое движение по всей территории, где прошла война. Могу поручиться за каждое написанное мной слово. Я тоже любил и люблю оружие, его повидал всякое и много. Так же интересно, как и всем, найти штык или немецкий ремень, но больше меня интересует судьба солдата. Дело в том, что я вырос на этом благодаря своему отцу. Я еще маленьким видел горы оружия и стрелял из него, но я видел и то, что приносят людям найденные медальоны; видел плачущих жен, детей, внуков и правнуков. Это навсегда врезалось в мою детскую память. И когда в лесу слышится крик "Медальон!" — сердце рвется от радости, и если он пришел в негодность, оно сжимается от боли. Я никогда не кричал и не стучал себя в грудь, что я "красный". Я простой человек, люблю лес и все, что связано с

ним, и мне очень обидно, что государство плюнуло на погибших, на нас и на память. Смешно и противно смотреть на людей, кричащих о заслугах в поиске погибших, и на тех чиновников, которые после 9 мая забывают и о погибших, и о памяти. Сейчас новый век, продается все и вся, многие хорошие поисковики, не выдержав унижений со стороны руководства поискового движения, переключились на сбор трофеев и их продажу. Многим сегодня просто нечем кормить свои семьи, а душа просится в лес. Там можно и отдохнуть, и найти дорогой трофей, и цветной металл, и просто металлолом. Все это продается. Число так называемых "черных" за эти годы возросло, кто-то еще остался и "красным". Ему копать погибших интересно и заработать не грех. Но больше это коллекционеры: кто-то собирает штыки, кто-то — значки и медали, кто-то — амуницию и боеприпасы, а кто-то — все подряд. Таким все интересно. Порой милиция изымает найденное, что-то уничтожает, не понимая истинной ценности, а что-то перепродает — чем не прибыль? Это система, в ней и "красные", и "черные", и приближенные — все перемешалось. И в нашей стране это не искоренить. Обидно за мужиков, за тех, кто лежит в лесах, полях, болотах, и за тех, кто по-настоящему чтит память...»

«Копаем мы за островом, наши убитые везде, на дне воронки прикопано человек десять,хлама море, и гансовское, и наше, по краям ячейки — в них тоже убитые, все со ствольем, яма метров пять на пять, глубина метра три, да еще и глина, от лопаты не отбить. Нас шесть человек, копаем третий день, ямы стараемся копать в рабочие дни, в выходные народу много — то ягодники, то пэтэушники ползают. Уже середину воронки выбрали, начали вверх к ячейкам подходить, — вдруг из кустов поисковики нарисовываются, с ними командир, В.Г. Я сразу увел поисковиков. Невдалеке воронка маленькая была, могильник с убитыми. Я им показал и ушел обратно к своим. В.Г. через несколько минут обратно вернулся — как мы ни старались убраться со своей ямы, так ничего и не получилось, прилип, как банный лист. Сначала косточки убитых аккуратно складывал, но, как стволье поперло, у него в голове переклинило — кости в разные стороны полетели. Тут уже и его ребята подошли. В яму их не пустили, они сверху смотрят. Я В.Г. говорю: "На тебя дети смотрят, чему ты их учишь?" А ему по фигу, он тогда ТТ и карабин нулевой

выкопал, я только хотел их выдурить, но не тут-то было. Через пару дней пришел к воронке посмотреть, так даже где в отвал мы кости прикопали — и то выкопали, валяются рядом. Собрали все подсумки и патроны, что мы раскидали. У меня до сих пор его рожка перед глазами стоит, когда он стволы выкапывал. Обалдеть! Там еще ржавые трехи рядом валялись, так они и их забрали — во помойщики!

Я могу рассказать кучу подобных рассказов, свидетелем которых был сам. И меня поражает то, что некоторые поисковые группы приезжают в лес отдохнуть. Отдых у всех разный. Я тоже люблю походить с крюком или металлоискателем по лесу, как охотник с ружьем, но я о другом. Настала весна, сердце трепещет от тающего снега, весенней капли, от свежего, дурманящего воздуха, хочется идти, идти по чистому, без травы и листвы, лесу. Душа поет.

Началась очередная поисковая экспедиция. Поисковые отряды приезжают из разных регионов страны, чтобы отдать дань памяти защитникам родины, так и не погребенным теми, кто послал их на выполнение долга.

Поисковая группа высадилась из машины уже навеселе, пройдя километр — привал, настроение — не передать словами, да еще и пичужка над головой поет. Приняли по стакану — совсем хорошо. Дальше идти трудней, уже не держат ноги и рюкзак все тяжелее и тяжелее. Вот полянка, журчащий ручеек. Все, мужики, ставим лагерь! Мужики кое-как собираются в одно место, кто-то успевает поставить палатку, кто-то кидает на сухую кочку спальный мешок и в блаженстве вытягивает ноги. Кто-то умудряется взять металлоискатель и уйти в поиск, но, пройдя с десятков метров, тоже вытягивает ноги, прислонившись спиной к могучей ели. Наступает утро, холодное, с ледком. На поляне валяются рюкзаки, консервные банки, пакеты. В трехместной палатке спит человек пять. Они жмутся друг к другу, натягивая на себя спальник соседа. Кто-то пытается развести костер, но он промерз и стучит зубами, и ему никак не поджечь мокрую бересту. Но вот костер задымил, и лежащие в разных позах поисковики жмутся к спасительному теплу костра. Начинаются поиски блаженного напитка, все рюкзаки вывернуты наружу — ничего, идет подсчет пустой тары — одной не хватает, опять поиск. Настроение падает. И вот она, родная,

торчит, втоптанная чьими-то сапогом в грязь. Рука несмело разливает находку по кружкам. Полегчало, настроение поднялось на один балл. Командир группы отдает боевой приказ, народ выворачивает карманы, и гонец спешит в деревню. Лагерь начинает приобретать вид, костер уже пылает в полную силу, палатки стоят, вещи собраны. Гонец пришел быстро, благо от деревни недалеко отошли. Как по единому приказу, все собираются у костра, пришли даже те, кто ушел в поиск. Самое простое — макароны с тушенкой — уже готово, остатки колбасы и домашних пирожков, которые не успели вчера растоптать, украсили праздничный стол. Настроение поднялось, пошли воспоминания о былых походах и находках. Кто-то опять собирается в поиск, но от веселой компании уходить не хочется. Утро не заставило себя ждать: картина повторяется, только к утру выпал снег. Он скрыл от глаз праздничный стол и тех, кто возле него остался. Кто не успел занять место в палатке — стуча зубами, пытается залезть в любую близстоящую. Народ спит до вечера, благо есть не хочется, да и остатки макарон примерзли ко дну котелка. Самые хитрые шуришат в палатке, деля на троих спрятанную с вечера целебную жидкость. Ночь прошла в кошмаре. Утром опять развели костер. Встающее солнце вселяет надежду и бодрит. Собрали немного денег. Командир сказал: все, хватит, поправимся и в поиск! Откопали из снега металлоискатели, повесили сушить у костра. К обеду приполз гонец, разделили напиток, полегчало. Снег начал подтаивать, высушили спальники, поправили палатки, кто-то сходил в поиск, принес трофеи. Всем захотелось тоже. Половина минников не работает, другая половина в поиске. К полночи вроде все вокруг лагеря, ничего нет. "Надо было подальше лагерь, но ничего, завтра начнем работать", — думает командир. Настало еще одно утро, народ в боевой готовности, всем охота хоть что-то найти. В котелках чай, каша и почему-то обрывки туалетной бумаги. Собрали по всей округе посуду, помыли в ведре, у костра из бревен сделали сиденья, не понимая, на чем сидели раньше. Пора завтракать, и вперед! Но что? Слышны голоса. Подошла еще группа. Знакомые ребята навеселе. Они идут в сторону, дальше. Начали обниматься, ведь полгода не виделись. Гости открыли рюкзаки. Первый тост за весну, второй за встречу, третий за погибших. Потом все смешалось, кто-то кому-то в лицо ударил, начали

разнимать, разворотили кострище с котелками, поломали палатку, потом пили за дружбу и за удачный поиск. Утро не заставило себя ждать, но лагерь спал. К обеду проснулись, вылезли, зашуршали рюкзаки, забулькало в кружках. Скоро полегчало. Посмеялись над вчерашней перепалкой, виноватого не нашли. Послали гонцов в деревню, поправили лагерь. Гости решили остаться здесь — действительно, зачем далеко ходить? Вечером они пели песни, кто-то ходил в поиск. Как жалко, что выходные короткие и покопаться толком не успеешь!

На следующий день гремел оркестр, один за другим в могилу опускались гробы с найденными останками солдат. Поисковики, гремя медалями на пятнистых костюмах, вспоминали прошедшую вахту. Кто-то пил за встречу, кто-то за погибших, кто-то ронял скупую слезу, сидя в сторонке на весенней траве. А с трибун лилось и лилось пение очередного депутата. Говорил о благородстве этого дела, о памяти, о будущей помощи. И лишь в сторонки стояли девчонки и мальчишки, первый раз приехавшие сюда издалека. С неподкупным восторгом смотрели они на опытных поисковиков и седых ветеранов войны».

Оно, в принципе, у меня-то все записано: в рассказах, в воспоминаниях... Будущего у этого движения нет. Сгублено все и вся. Во всей этой херне патриотической, в долбоебизме этом. Открой вон интернет и посмотри. Вот во «ВКонтакте» пляжу: девочка в Карелии занимается такой работой — прямо вот, знаешь, кипит! Я думаю — ни фига ты, как моя жена, больная на эту тему. Ну, просматриваю ее фотографии: туда съездили, что-то построили, и она везде там фоном. Потом пишет мне: вот как бы по медали установить?... Я говорю — да постараемся. Как раз у Савельева знакомый гэрэушник был, у него там тоже знакомые, которые с этими медалями общаются. Короче, ехала молодая пара на такси, денег не было, и они отдали медаль «За победу над Германией» и «За боевые заслуги», номерную, таксисту. Таксист отдал этой девочке. И вот девочка хочет вернуть эти награды, кому они должны вернуться. Я говорю — давай номера.

Она дала номер, через знакомого находим, что эти награды принадлежали санитарке, фамилия, все, за что получено, — она умерла, эта женщина, но родственники есть. Эта девочка находит,

берет подставного таксиста, потому что настоящий таксист отказался в этой хуйне участвовать, она описывает этот поиск, как она занималась этим ПОИСКОМ, по номеру, родственники там... Там нет ни Савельева, ни что мне там она написала, а только как она все это делала! В итоге Первый канал приезжает снимать этот интереснейший сюжет, как эти награды передает таксист родственникам, туда-сюда, все в слезах-соплях, оказывается, что таксист подставной, там кино сделано. И она вот с этим скорбным лицом. Па хуя, спрашивается? Пу, сделала бы она это просто, вернула бы награды родственникам. Па хуя вот это замучивать?

Вот Паиль Каюмов, Серега Кузнец... Кузнеца я знаю давно, хороший копарь, все нормально, с Усановым Колькой они еще на лето... В 80-е годы еще поиском занимались, потом разошлись, вот с Паилем Каюмовым... Я по интернету знаю его, смотришь, он везде в форме военной... Тут они приезжают с Саней на мой день рождения. Я в лесу обычно справляю день рождения, два года назад было. Привезут барана, ящик водки, туда-сюда... Три метра пройдут — к ящику вернутся, три метра пройдут — к ящику вернутся, неделю отстояли, выпили, уехали. Потом второй раз приезжают, то же самое — пьянка. Я говорю, Саня, как ты-то сюда попал? Говорит — хуй его знает, по интернету-то такие поисковики, патриоты Родины, а едут с Казани сюда водки попить! Получится если, найдут там убитого.

Там, где была война, невозможно сделать нормальную поисковую организацию. Потому что у нас здесь в основном анархия, и здесь люди — они воспринимают войну по-другому. Вот мужики ездят за Урал, останки возят, там к погибшим и к памятникам совершенно другое отношение, чем у нас здесь. Жена ездила в Коми — весь город был оцеплен, посередине колонна с этими гробами, и в администрации прием, и местное население, и те, кто этих бойцов помнит, приехали, рассказывали про это... А у нас здесь — убитые лежат, поля пашут, кости — да и хрен с ними, медальон — на самокрутку пойдет. Раньше оно как-то было... чисто, светло. Вот выходишь с леса... У бати традиция была: 9 мая в Мясном Бору, где узкоколейка выходила, столы накрывать, — это химкобинат «Акрон» спонсировал, — автобусы, возложение венков, и там потом родственники приезжают, ветераны, кто там был, поисковики, вот просто собирались и отмечали 9 мая. И вот мы с леса выходим, идем,

трофеи несем в карманах, медальоны, значки, нас встречают, как-то вот это празднично, музыка патриотическая играет, ветераны... А потом приходишь — приезжают просто попить вина... Традиция так и проходит — формально она соблюдается, но там уже нет ветеранов, поисковики еще старые приедут... Но это уже не то, приедут, водочки попьют, и домой. Уже ни воспоминаний, ничего нет. Потому что некому ничего «воспоминать».

Но знаешь, как бы там ни было, «Долина» свою миссию по сбору останков выполнила. И теперь уже другая проблема: поисковое движение само по себе в тупике. Затухнуть не может, наоборот, расширяется непонятно для чего. Наверное, и другие рассказывали, и я говорил, что теперь все это дошло уже просто до маразма, понимаешь: пошли эти гранты, всякая такая хрень. Все с ума посходили: поняли, что на этом можно денег заработать, и начинают хуйней заниматься. Флагами машут, хотя некоторые даже не представляют, что такое война, где она была. В государственных масштабах, конечно, это можно исправить: армия должна быть сверху, нужно выбрать нормальных людей, которые тему знают, понимают все. А не просто так — поставить генерала, который ракетными войсками командовал. И будет порядок.

АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ

Как я во все это попал? В Новгороде у меня есть друг — Пашка Терциев. Мы с ним знакомы были, наверное, с 80-х годов, когда ездили на соревнования по парашютному спорту. Я в то время работал в аэроклубе инструктором и с командой ездил на разные соревнования. Там познакомились с новгородской командой, очень тесно общались с Пашкой. И он рассказывал (где-то в конца 80-х — начале 90-х годов), как они ходили в лес, как они там наших солдат искали. Мне это очень запало в голову. И я много-много лет пытался в эту тему войти, в этот поиск. По то одно, то другое, то третье... То работа, то семья, то без работы, а семью кормить надо. Времени свободного очень мало было, чтобы поехать. Потом, в конце концов, дети выросли, а сорок шесть лет — еще не старый, энергия прет через край, куда-то надо себя реализовывать. Я с Пашкой созвонился, чтобы посодействовал: я понятия не имел, как все это происходит, что собой представляет поисковая работа. Слышал, да, всякие репортажи смотрел. До того, как в первый раз поехал, я по старине тут с друзьями ходил, по деревням пятаки копал да крестики. В конце концов это как-то немного поднаскучило. Пе говорю, что неинтересно было, интересно куда-то в такие дрищи забуриться, в задницу мира даже по меркам нашей области, в какие-то урочища старые. И пару дней, пару выходных там пожить, покопать. Да, интересно было. По про военный поиск все же не забывал.

Пу и с Пашкой созвонился, а он свел меня с Орловым, телефон его дал. Я с Николаичем созвонился и договорился с ним, что на пару-тройку дней приеду. В первый раз поехали с семьей: жена поехала и младший сын со своей тогда еще невестой. Все было необычно. И на второй же день я солдата нашел, сразу.

Может показаться странным, но первым моим учителем был не Орлов, а Серега Длинный — слышал, наверное, про такого. Сергей Степанов. Но фамилию его редко кто знает, его знают в основном как Длинного. Он рассказал, как щупом работать, как кости стучат в земле. Ну и когда солдата нашел — как-то мне это очень-очень здорово в голове все перевернуло. К тому же послушал рассказы

Орлова про войну. Мы-то про войну знали, да большинство и сейчас знает, про победоносные сражения. А подробности, тем более про 2-ю ударную армию, мы почти не слыхали. Ну да, где-то когда-то попала в окружение, генерал Власов — предатель. И не более того. А тут, когда сам походишь, посмотришь всего, да послушаешь Орлова, который с десяти лет в эти леса ходит и все знает, — то тут уже совсем другие представления о войне. О том, что не только мы побеждали, а что и нас тогда тоже колошматили.

Это был первый выезд, а потом уже мы с женой ездили на вахты. С женой, наверное, раза по два в году ездили. А я и тогда, и до сих пор, раз по пять, по шесть выезжаю в год в разные экспедиции — в Новгород, в Карелию, подо Ржев.

Вот так вот я и пришел к этому. Но мне это действительно было интересно. Это что-то новое в жизни: когда живешь, дети вроде выросли, и ты уже дальше не понимаешь, к чему ты живешь, к чему идти, к чему стремиться. Поиск стал некой точкой опоры. И до сих пор это не изменилось, до сих пор меня это влечет. Любопытством это не назовешь. Вот зовут меня друзья — поехали на рыбалку в Мурманскую область, еще куда-то. Я хоть и не рыбак, но мог бы съездить. Но сижу и думаю: ага, поеду на рыбалку, а если бы вместо этого поехал бы в Новгород, то, может, одного-двоих наших солдат и нашел бы. И сразу вся рыбалка отпадает. Ну, это к примеру. Или куда-то еще отдохнуть, пива с друзьями на даче попить, на два-три дня. Вместо этого пива я лучше поеду в Новгород и найду солдат. Как-то мне вот так интересней. Это не любопытство, это направление интересов совсем другое. Любопытство тут, может быть, проявляется только в том, что, конечно, интересно, что там было. Где-то что-то считаешь, какие бои были. Все равно ведь эти знания в голове оседают.

У меня за двенадцать лет было, может быть, два или три порожних выезда, когда я никого не находил. Обычно я выезжаю — и кого-то нахожу. Причем это проявляется так, что даже не ожидаешь иногда. Выезжали с друзьями в Мясной Бор и на два дня, бывало. Вроде бы времени мало: из Рыбинска до Новгорода домчаться за ночь. Утром заехали в лес — пока палатки поставили, разбежались до темноты, по лесу походили-побегали, переночевали, утром уже до обеда опять где-то поковырялись, а после обеда уже надо ехать домой.

То есть и вот такие выезды были. Но и за это время я как-то успевал находить. Почему это происходит? Я не знаю, это не объяснить. Может, везет, не знаю. Длинный говорит, это чуйка должна быть такая. Сереге я верю — если говорит, что чуйка, значит, она есть...

Первоначально, когда я ездил в Мясной Бор, я, естественно, держался за кем-то, за друзьями, потому что я местности не знал. По где-то года за два-три я ее всю изучил и могу ходить один, без навигатора даже, только если точку какую забить, чтобы потом долго не искать ее. В Мясном Бору я сейчас уже ориентируюсь основательно. Может быть, где-то какие-то просеки и дороги я не все знаю. Если не был, то могу и не знать. По, по крайней мере, все основные направления мне знакомы. Из любой точки я могу выйти, куда мне надо. По крайней мере, не заблужусь. Когда жена со мной выезжает — с ней ходим. Или с кем-то из друзей, вдвоем, втроем, вчетвером. Бывает, что и один ходишь. Бывает так, что из лагеря мы вышли впятером, пришли на какую-то точку и начинаем ее исследовать. Начинаешь круги мотать уже один, потом возвращаешься. По-разному.

Отработанных мест, наверное, не бывает. Мы с Орловым ходили там, где он уже работал, — опять же находили. По тем местам, где другие отряды работали, — и тоже находили. Если с верховым металлоискателем идти: ты куст обошел с левой стороны, а я — с правой. Все. Ты катушкой махнул, и у тебя не вякнуло, а у меня с другой стороны зазвенел сигнал. Все, пожалуйста — там солдат. 10 человек прошли слева от куста, а ты справа. Но в Мясном Бору уже сейчас верхового найти — это не скажу, что высший пилотаж, но уже довольно сложно. Мясной Бор отработан процентов на девяносто, если не больше. И по ямам, и по воронкам тоже очень много отработано. Но еще попадаются, конечно. Про какие-то глухие места я не говорю. В какой-то далекой и глубокой тайге я не был. А вот основные места, Долина смерти особенно, где самые-самые интенсивные бои шли: Мостки, Мясной Бор, Замошье — вот эти места, конечно, очень хорошо проверены все.

Но все равно мы едем туда, потому что убитые попадают. Причем попадают даже в таких местах, где никто не предполагает. Вот, допустим, два года назад поехали мы на госпиталь 2-й ударной — то место, где госпитали стояли. Вроде бы откуда там взяться

верховым? Это госпиталь. Умер раненый — его в яме закопали. Тем не менее мы нашли там верховых. По-моему, семь человек. Причем история такая... А, про это в моем рассказе есть, который называется «Делянка». Мы выехали туда, и Серега Длинный говорит: «Вон там вон яма, у меня там двое было найдено. Там еще яма, там у меня девять человек было». А верховым тут откуда взяться, на госпитале? Мол, пойдем дальше. Тут ловить не фиг. «Пе пойду, — говорю, — Серега. Я здесь похожу, железок покопаю». Раз железка, два железка. Щупом стучу, бац — кость. Вроде Серега сказал, что верховых нет. Пу, думаю, может, какая-нибудь ампутация. Стал дальше пробивать — еще кости. И потом, и в этот день, и на следующий день, мы там щупами колотили- колотили, костей набрали, но они там все были перемешаны, как фишки домино. Там после войны лес заготавливали и тракторами все перемесили. По вывод такой, что раненые, видимо, там умерли, и их положили на носилках, чтобы отнести и похоронить (рядом яма была, недалеко от этого места), и не успели.. Немцы шибанули, и наши побежали. Пу и чего, немцы, что ли, их хоронить будут? Если кто не умер — дострелили и пошли дальше. Потом все заросло, лес вырос — надо пилить.

Я выезжаю, помимо Мясного Бора, и в Карелию, по одному, по два раза в году, под Кестеньгу. Кестеньгская операция — это север Карелии. По сравнению с Мясным Бором потери там, может, и были меньше, но, так как места эти сейчас менее доступны для поисковиков из Центральной России, народу там меньше проходит. И места труднодоступные сами по себе. Если в Мясной Бор приехал, машину поставил где-то у платформы, или у бабушки в деревне загнал ее во двор, и пешком спокойно пройдешь со своим рюкзаком, то в Карелии до разных точек боев добираться очень сложно. Там зачастую только гэтээска проедет. Или на лодке через озеро. С друзьями еще подо Ржев ездил в прошлом году, В этом году надеюсь, что поеду. От Ржева там километров десять, что ли: не помню названия, там урочища в основном сейчас. Деревни все войной сметены. Зрелище очень неприглядное. После войны еще пахалось все это, все эти поля. Тогда, может быть, все выглядело и нормально. Сейчас все это чепыжами всякими зарастает: деревья, кусты. Бывает, что и с металлоискателем там не пролезешь. Что именно по донесениям там было, я не помню. Приехал туда с друзьями — московский отряд «Центр» и ульяновский

отряд «Крутояр». Я с ними походил, посмотрел — у них другой метод поиска. Они идут по полям с рамкой, глубинником, и копают любой сигнал. Загудело — остановились, зашурфились, посмотрели, что там. Там может быть и трак от танка, и осколок с ведро размером, может быть каска, может быть винтовка на глубине...

Или просто определили траншею, нашли сигналы, поместили эти места. И просто тупо берут ее и копают полностью. 22 человека во Ржеве в прошлом году так поднимали, почти всех из запаханной траншеи. А так как я — не скажу, что ленивый, могу копать, могу работать, но буквально меня хватит на день, на два, потому у меня спина сразу скажет: «Саша, посмотри в паспорт и выкинь лопату». Спина болит. Я посмотрел: ну, думаю, ладно, надо болото искать. И мне ребята говорят: «Да вон, в километре болото». По донесениям, немцы туда загнали около двухсот человек наших, в это болото, после неудачной атаки. И минометами там всех положили. Ну что, пошел в болото, погоняло-то свое надо оправдывать — Болотный Шрек все же. Там, в болоте, и нашел солдата одного. Но поиск, конечно, такой, суровый в этом болоте. Там тростники метра два с половиной высотой, все черемушником проросло, переплетено кустами всякими. Плюс бобры там наворотили не пойми чего. Чтобы влезть туда, как змея надо проползать, пролезать в эти кусты. Так у меня собака запуталась в этих чепьжах, в этих дрищах. Скулит бедная: кое-как там дошел до нее, освободил. На самом деле повисла на этих кустах. Пришел, смотрю — с прибором тут делать нечего. Я его на березу повесил, маленький верховой щуп взял и пошел со щупом. Причем метод поиска там был такой: задницей пятишься, уминаешь вот это все — кусты, тростники, и перед собой щупом колотишь. Иначе там никак. По-другому невозможно.

Болотным Шреком назвать — это из отряда кто-то придумал. Я не знаю, почему-то с первых выездов начало везти именно в Замошском болоте. Ну, первого я нашел на Северной дороге, когда в первый раз ездил. А потом уже на болото переквалифицировался. С Орловым пошли как-то: он тогда нашел двоих солдат щупом. Проверяет мох, говорит: «Здесь шинель». Я беру щуп, чувствую, как под ним что-то пружинит: «Ага, да, здесь шинель, наверное». Тогда я, наверное, и начал больше упираться в поиск именно верховым щупом, чтобы понимать его. Потому что прибор — он обманчив. Прибор, он

только на металл реагирует. А щупом можно найти все. Главное — научиться его понимать. В тот раз, когда с Орловым пошли, меня впечатлило, как щупом он определяет, что там, подо мхом. Тоже захотелось так же. И, по-моему, в другой раз тоже мы с ним пошли, опять же в болото, уже там солдата нашел. Мне это тоже как-то запало в голову... И в следующую вахту я нашел солдата с медальоном, тоже в болоте. Место, оно всегда тянет, если ты там уже нашел. Хочется прийти туда: вдруг чего-то не доглядел, не досмотрел, мимо прошел. Вот я и стал в это болото бегать. А наши черти придумали — Болотный Шрек. Ну и ладно. Шрек так Шрек, хрен с вами.

А в болоте том интересно получилось. Мы стояли в 2011 году, по-моему, Теремец Курляндский — такое урочище. Наверное, уже дней десять вахты прошло, у нас найдено было то ли семь, то ли восемь человек. Причем нас было человек пятьдесят, три отряда стояли вместе одним лагерем. На три отряда это результат так себе: ну да, он есть, конечно, пусть даже и семь солдат найдено, все равно результат, да хоть даже и один будет найден, но как-то уже скучновато — ходишь-ходишь-ходишь-ходишь-ходишь. Вот этот порожняк, он как-то угнетает. Я к Орлу подхожу, говорю: «Саня, давай я на болото пойду, чего тут осталось — три дня, задолбался на этот порожняк бегать». — «Ну давай», — говорит. Еще ребят из Барнаула и Сыктывкара с собой прихватил, туда впятером пошли, на это болото. Там, наверное, километров пять идти. И вот мы стали лазать по этому болоту, нашли бойцов, по-моему, двоих или троих. Я Орлову эсэмэску пишу: «Три бойца, штамп медсанбата, рация», — в общем, перечислил наши находки. А вечером сидим у костра, я и говорю: «Помяните мое слово, завтра здесь вся толпа будет». Какое там завтра: уже вечером треск сучьев через лес — Орел с командой ломится. Давай, говорит, показывай, где чего нашли.

На следующий день отвели их на место: точки-то уже забиты были. Стали там более интенсивно прочесывать и, по-моему, за день 27 человек сразу нашли. Потом это место мы назвали Политруки. Там небольшая — не поляна даже, территория, метров, может быть, сто на сто пятьдесят площадью. И там больше сотни наших подняли. И в этот год, и в следующий. В основном там был младший командный состав, младшие политруки, младшие командиры — такие звания.

Видимо, когда колонна из окружения выходила, немцы ее там и расколошматили. У кого-то из них медальоны были, у кого-то подписные вещи: потом пробивали по базе данных, искали. Фамилия указана, допустим, и подразделение указано — потом смотрим, ага, это подразделение было в Мясном Бору в такое-то и такое-то время. По знакам различия определяли, потому что петлички сохранялись; командирские ремни — они широкие, с двумя штырьками. Или с прорезной звездой. Понятно, что рядовой солдат не мог этого носить. Какие-то знаки нагрудные. Вот у меня — нашел-то его Орлов, но хранился он у меня — значок парашютиста там был; я потом передал его в музей в Новгород, в Зал воинской славы. Определяли их даже по сапогам: рядовой боец вряд ли сапоги носил, там в основном ботинки были, это 42-й год. Много там было медицинского персонала. Потому что вот эти медицинские инструменты, скляночки, баночки, пузырьки. И как-то это название прижилось: Политруки и Политруки. Сейчас назови это место, и многие покажут, где это находится. А уж наши-то из отряда — тем более. А после этого погоняло Болотный Шрек окончательно закрепилось. Теперь даже не только в Новгороде, и в других местах знают.

Орлов мне однажды сказал, что статистика такая: на сто найденных солдат — где-то семь-восемь медальонов. Из них пять-шесть прочитаются. Я не знаю, сколько я нашел человек, — я их сначала считал, найденных, а потом как-то все сбилось, я это бросил. На сегодняшний день, всех не вспомню, но где-то 15 человек у меня найдено именных. Самым первым был в 2009 году найден Фролов Егор Филиппович из Новосибирска. А потом я как-то это дело не очень отслеживал. Так-то и в прошлом, и в позапрошлом году у меня были найденные солдаты с медальонами, но медальон просто отдается на экспертизу, и я не отслеживал потом. Прочитают — значит, прочитают, значит, мне сообщат. Обычно Светлана Михайловна Орлова сообщает. А первых-то я помню: Фролов, Лагереv, Суворов, Гнедой. Кто у меня еще там был... А, ну вот жена у меня нашла медсестру, Быстрову. Останки собрали в мешок, подписал на мешке, что это медальон номер один, например. Он тоже отдельно в пакетике лежит. Иногда — да не то что иногда, очень часто — разворачивали медальон прямо в лагере и читали в лагере. Сейчас, со временем, все хуже и хуже сохранность, сейчас все больше

медальонов отдаем на экспертизу. У нас в отряде Сергей Солодянкин — эксперт-криминалист из Сыктывкара. Полковник полиции. В основном ему отдаем, он читает и потом сообщает, что это такой-то. Дальше уже идет поиск родственников. Это уже занимаются другие люди, делаются запросы всякие, по базам данных ищется. Если родственники находятся, то по их желанию своего солдата они могут похоронить на родине. Или говорят — ну ладно, хороните в Мясном Бору. Бывают такие ублюдки, которые говорят: «А мне это вообще не интересно. Нашли и нашли. Закопайте где-нибудь». И такие бывают. Сам я родственников особо не искал. Не то что я не умею это делать, я занимался этим временами, немножко участвовал, что-то узнавал. Встречался. С родственниками Суворова точно встречался.

Родственники очень часто спрашивают, как они погибли. Такое ощущение, что они представляют, будто бы мы были свидетелями этого. Они спрашивают про него, вплоть до того, что хотят знать, как он выглядел. Ну как я могу сказать, как он выглядел. Нет, ощущение, что ты свидетель, — оно есть такое. Когда находишь бойца, начинаешь как-то анализировать, посмотреть общую обстановку: ага, вон там было минное поле, если рядом находишь пустые шпринги, — мины немецкие были прыгающие, — вероятней всего, человек погиб от этой мины. Если там множество воронок — значит, при артобстреле. Или при минометном обстреле. Да, начинаешь реконструировать обстановку, обстоятельства, при которых он погиб. А дальше уже начинаешь додумывать, насколько фантазии хватает. Бывает, что скелет весь скрюченный-скрюченный: человек, видимо, умирал от какой-то мучительной боли, медленной тяжелой смертью. А бывает, что находишь останки, а они все разбросаны по какой-то большой площади: то есть прямое попадание мины — и все, разорвало, мгновенная смерть. В Карелии на Ганкаш-вааре мы тоже примерно реконструировали эти события. Эту гору, Ганкаш-ваару, под Кестеньгой, наши три года не могли взять — штурмовали, штурмовали. Бились за нее, пока немцы сами не ушли в 44-м году. Мы туда в этом году выезжали и уже начали анализировать, где еще теоретически могут быть бойцы. Потому что до этого мы туда ездили и тех, которые атаковали гору до колючей проволоки, мы там вычистили, может быть, процентов на девяносто, подобрали. Может быть, конечно, есть еще кто-то, надо еще искать. А тех, которые

перескочили колючку и в сам гарнизон ворвались, немцы там перебили и в ямы покидали, закопали. Мы до колючки всех собрали, после колючки — ямы все подняли. Решили искать в самой колючке. Пошли искать именно туда. С верховым прибором это вообще жопа полная. Он не умолкает, там с ним истерики, потому что там этого железа, этой колючей проволоки ужас сколько. Тем не менее мы в колючей проволоке троих нашли. Такой вот анализ, реконструкцию проводим — как, чего.

У меня уже много раз спрашивали: зачем тебе это надо? Я обычно отвечаю: а я откуда знаю? Вот надо, и все. Есть какая-то внутренняя потребность, наверное, к этому. К поиску. И сам процесс привлекает очень, но еще помимо процесса все-таки... Как сказать... Наверное, это все-таки ненормально, если у нас в лесах останки будут лежать, непохороненные люди. Не по-человечески. У меня до сих пор, если нахожу бойца, сердце колотится — не могу я равнодушно на это смотреть. На земле порядок должен какой-то быть, правильно? А равнодушие других не только не останавливает, а наоборот, еще больше стимулирует. Раз кому-то наплевать — значит, я буду делать. А руки опускаются скорее не от того, что кому-то безразлично, а оттого, что сейчас с поиском происходит. Непонятно что. Очень много показухи. Очень много к поиску приклеено мероприятий показательных, показушных скорее. До идиотизма доходит: конкурс на лучшего поисковика! Я как-то наткнулся на такое. Как можно определить лучшего поисковика? Я вот этого не понимаю. Но каким критериям эта оценка могла бы производиться? Я в одном своем рассказе это упомянул. Конкурс на лучшего поисковика — это что, кубометры вывернутого грунта, допустим? Или взвешивать кости будут? Или еще как-нибудь? Конкурс и поисковая работа — это вообще понятия для меня несовместимые. Или еще был конкурс в интернете: селфи с ветераном. Меня аж перевернуло от такого. Вы бы еще селфи с роженицей в роддоме сделали! Или вон на Донбасс поезжайте, сделайте селфи с ополченцем, который с оторванной ногой лежит. Нридурки. И очень много вот такого вот. Просто бездумного. Абсолютно бездумного.

В чистом виде поиска сейчас, наверное, нет. Хотя есть у таких отморожков, как я, Орлов, Длинный, Мачинский. И мы стараемся отстраняться от всей лишней мишуры. Не всегда получается, но

пытаемся. От всех этих многочисленных «фронтов» на сотни человек. Задумка была хорошая, но ее в конце концов опошили. Кто на эти «фронты» собирается? Я был на двух «фронтах». В «Северо-Западном фронте» поучаствовал. Да, там все хорошо, красиво, интересно. Биотуалеты, все по расписанию, все упорядочено. Но, по сути, поисковиков, которые именно искали, находили, работали, из 500 человек — там тридцать максимум. А остальное — молодых привлекают, и они там в волейбол играют, какие-то лекции слушают. Ну извините, ребята, этим можно заниматься и где-то дома. Если вы приехали в лес, в поиск, — значит, идите и ищите! Если вы называете себя поисковиками! А то ведь еще многие приезжают так: а вы нам найдите, а мы яму поднимем... Все это хорошо, но не так массово это должно происходить. Сейчас какая-то такая тенденция идет — уже давно — как можно больше привлекать молодежь: патристическое воспитание, все вот это вот. Что родину любить надо и так далее, и тому подобное. И начинают чуть ли не силком затаскивать в поисковые отряды. Или формируют отряд из отличников учебы, из спортсменов, занявших первые места на какой-нибудь олимпиаде. Или в шахматы где-то кто-то конкурс выиграл: все, значит, ты и поедешь в поиск, ты будешь поисковиком. А хочет этого человек или нет, его как-то особо не спрашивают. Приезжают люди абсолютно неподготовленные в лес. Я уже насмотрелся на этих юных пионеров в поиске, которые костер развести не могут: мучаются, мучаются, мучаются бедолаги. Обед сварить — они этого не могут, не умеют. Их никто не учил этому. Палатку правильно поставить — они, бедолаги, борются с ней полтора-два часа. Таких вот приезжают много, я не говорю, что все, но очень много, А которые постарше, на гитаре до трех, до четырех часов ночи: ла-ла-ла-ла-ла — понеслась. Не знаю, кто как, а я в лесу люблю тишину. Мне вот эти все гитарные посиделки, все эти песняры... как-то они не на месте. Не в этом месте они должны песни петь. Может, по молодости я бы это и любил, но сейчас мне пятьдесят семь лет. Когда целый день я, как лось наскипидаренный, гонялся по тайге, по этим лесам, по чепыжам, я прихожу — у меня уже все, руки отваливаются, ноги отваливаются, сам я качаюсь. Мне хочется просто отдохнуть. Я весь день провел в лесу, я искал. А кто спал до обеда, потом похмелялся, и потом до четырех часов ночи на гитаре им приспичило играть. Мне это

противно, Я спокойно отношусь, если какой-то небольшой уютный отряд, небольшая уютная компания, песни под гитару попели, посидели, может быть, коньячку выпили — я к этому спокойно отношусь. Но когда каждый день, чрезмерно, мне это не нравится.

Не люблю я какую-то заорганизованность поиска, как сейчас вот это принято. Когда начинал я с Орловым ездить, мы самоорганизовывались, собрались, приехали: хочешь — спи до обеда, не хочешь — не спи, иди в лес ищи, хочешь — в лагере сиди, хочешь — книжки читай. Никто тебя ни к чему не принуждает. Но если ты понимаешь, зачем ты сюда приехал, то ты до обеда спать не будешь: ты приехал искать, значит, надо искать. Никакого расписания. Скажем так — анархия у нас немножко. На мой взгляд, это хорошо. Она не для каждого подходит. Юных пионеров, может быть, и надо как-то организовывать. А нас-то не надо, кому за сорок, за пятьдесят — чего нас-то организовывать. Все уже люди самодостаточные, сформировавшиеся. Все понимают: что, чего и зачем. Кто приехал в лес, зачем приехал в лес. Как-то мы сами организовываемся. Мы не ходим с флагами, стихи не читаем на вахтах, салютов в небо не пускаем. Просто приезжаем, ищем, и все. Я не говорю, что тишина — это что-то такое похоронное. Похоронного у нас в отряде очень мало, скажем так. Мы и пошутим друг на другом, и посмеемся, и поподкальываем как угодно. Чего только там не происходит. Даже во время подъема останков — и то с траурными лицами никто в раскопе не сидит. Там всякие шутки-прибаутки, на грани цинизма даже иногда. Какой-то предел есть, конечно, за который уже никто не переступает в этом цинизме. Человек, который в первый раз, допустим, попадает, — сначала его коробят слова «убитые», «жмуры». А мы как-то к этому привыкли. Кости можем мослами называть. Но тем не менее отношение к бойцам, солдатам разумное, человеческое, даже в какой-то мере трепетное. Понимаем, что это не просто останки, не просто кости, это люди. В конце концов мы такими же будем. Каждый человек прожил какую-то свою жизнь, короткую ли, длинную ли. И, так как мы люди, мы друг с другом и общаемся по-разному, и ругаемся, соответственно, и к ним относимся как к людям. Тоже можем и поподкальывать, какие-то истории попридумывать про них. Был случай — я нашел как-то мужика, у него кошелек в кармане, в нем 3 рубля 52 копейки — помню как сейчас. И все мелочь: по

одной, по две, по три копейки. Он у меня и зазвенел как раз под прибором. Стал я его там раскапывать, а у него с собой три кружки, две бритвы, еще чего-то. Я раскапываю и бормочу про себя: «Ах ты сука, мародер, своих же, гад, грабил. Вот и не пригодилось. Не донес, под тяжестью рухнул». Такого плана разговор примерно.

[...]

Чем занимается похоронная команда? Собирает останки и хоронит. Тем же самым мы и занимаемся. Только не по призыву, добровольно. Вот и все. Может быть, тут не столько сакральная составляющая, сколько опыт играет роль. Я как-то во всю эту мистику, в голоса из-под земли, всякие привидения, которые маршируют там ротами в тумане, я в это не верю, я свидетелем не был ни одного раза. И очень скептически воспринимаю рассказы других на эту тему. У кого-то какие-то гмохи за палаткой шебуршат-пишат. Вылезает человек вот с такими глазами: «У меня там гмохи за палаткой». Какие, на хрен, гмохи! Суслики какие-нибудь бегают, пакеты потрошат. Вот тебе и все гмохи. Я не буду отрицать какую-то сакральную составляющую, но и утверждать, что она есть, — тоже. Возьмем того же Орла: у него опыт огромнейший. И он всю жизнь ищет-находит, ищет-находит. У него любое движение, любой факт все равно в голове откладывается.

Где-то там, в подсознании. Какие-то факторы, обстоятельства, при которых ты нашел этого солдата или нашел воронку с убитыми. Все равно это где-то как-то оседает в голове, копится, копится и копится. И постепенно накапливается до такой степени, что это подсознание тебе уже выдает в твое сознание результат: так, стоп, вот здесь где-то в этом месте что-то должно быть.. Или тут убитые, или тут еще что-то. Подсознание тебе подсказывает. Я более склонен к такому варианту, а не к сакральному.

Хотя разные всякие бывают случайности. Я даже могу сказать, что именно в Мясном Бору или где-то в других местах боев эти случайности довольно-таки сконцентрированы. Но это, может быть, происходит из-за того, что у нас народу там много ходит. Как я, допустим, солдатику нашел одного. Вообще непонятно где, в глухом болоте. Я просто присел перекурить на пенек. А когда постоянно со щупом работаешь, рука уже автоматически им тыкает, ты не можешь успокоиться. Сидишь, куришь, тычешь щупом. И попал я солдатику в

зуб. Зубная коронка, точнее, не зуб. И от солдатики там уже очень мало чего осталось. Кости было шуном особенно не набить, настолько они все струхли. И вот попался единственный здоровый зуб. На солдате вообще ни железки не было, ни пряжек, ничего. Он как будто голый бегал по лесу, упал. Только зубная коронка. Такие вот чудеса бывали.

Серёга Длинный — если я с ним вместе иду по лесу, я всегда смотрю, в какие провалы, ямы, ложбины он тычет крюком. Он с крюком работает, это отличный инструмент. Я тоже подсел, как наркоман, на этот крюк сейчас, мне очень интересно с ним работать. Я за Длинным все ходил, смотрел — как, чего. Я-то первоначально в каждую ямку тыкался и через два часа уже все руки вывернул, они как плети повисли. А Длинный — не в каждую. Он присматривался. У него, видимо, уже в подсознании сидят сами очертания ямы, провалы, какие они должны быть: продолговатые, круглые. Он говорит — это чуйка, но я не знаю, наверное, больше все-таки опыт. Причем громадный такой опыт. Длинный с 95-го года, можно сказать, из лесов не вылезает.

Серёга как ищет? Он ходит один. В лес ушел, и все. Он там свои мысли в голове вращает, ноги у него сначала туда идут, потом туда, потом может покрутиться на месте, тут посмотреть. Уйдет куда-нибудь еще. Когда ходишь по боевому лесу, все равно смотришь, как он выпядит, обстановку. Если ровный лес, гладкий, нигде ничего нет, ни ямок, ни ложбинок, ни останков траншей, ни блиндажей, ни воронок, — все, ты расслабляешься, ты идешь, прибор иногда пискнет — найдешь какую-нибудь гайку потерянную. А когда начинается боевой лес, весь изрытый, позиции, то тут уже напрягаешься, уже концентрируешь внимание на сигналах, даже на своих движениях. Сначала смотришь, оглядываешься, ищешь, где что могло происходить. Там вон блиндажи, здесь — ходы сообщения, здесь — стрелковые ячейки. И начинаешь проверять уже. И постепенно из этого складывается какая-то картина боя или обороны. И анализируешь, где могут быть убитые. Они могут быть где-то в стрелковых ячейках, могут в ямах быть зарыты. Если наши позиции немцы заняли, то, естественно, они трупы не оставят вонять, в яму, в воронку покидают, завалият. И эти ямы со временем ведь проваливаются — ложбины получаются. Там и ищешь. Если немцы

просто где-то наших расколошматили и дальше пошли, значит, все убитые остались здесь же, в траншеях, в ячейках, наверху где-то. Все это откладывается в подсознании, а подсознание потом тебе выдает нужное направление поиска. Зрительный еще анализ происходит: ищем-то все-таки глазами.

[...] Вот я утром просыпаюсь в палатке и понимаю, что я найду солдата. Я это сам для себя не говорю, как факт, что ага, сегодня я найду. Я об этом даже не думаю. Я это знаю. И оно, это знание, где-то там у меня сидит в голове. Оно такое же примерно, как знание, что солнышко встает на востоке, садится на западе, сегодня — день. Ты просыпаешься и понимаешь, что сегодня день, что там солнце встало, а там сядет, ты об этом не думаешь постоянно: для тебя это неоспоримый факт. И то, что я сегодня найду бойца, для меня это неоспоримый факт, про который я потом уже понимаю, что этот факт был. Я, когда начинаю вспоминать какие-то обстоятельства утренние, начинаю понимать то, что утром я уже знал, что найду сегодня солдата. Я надеюсь, я понятно объясняю. Вот такие вот моменты бывают.

И я ездил, ездил, ездил, впечатления же все копятся, копятся, копятся. А если начинал в интернете лазить, то там про поиск еще десять лет назад было очень и очень мало. Только Алексей Ивакин про поиск писал на тот момент. Это кировский поисковик, сейчас уже и писатель, он не только про поиск пишет. У него вообще такие интересные темы. Он и про Донбасс писал — кстати, он сейчас, помоему, в Луганске где-то, в ополчении, в артиллерии. Я читал тогда его рассказы, мне интересно было, понимал: «Да, это мое. Это мне очень близко». И как-то прорвалось так, что я написал свой первый рассказ — «Костер». Скажем так, про мое утреннее пробуждение. Оно действительно вот такое и было, как я там описываю. Утром когда встаешь, из палатки видишь, вот эта тишина, этот лагерь, собака. Сядешь у костра — мысли начинают вращаться постепенно. Так почему-то и написал. Дал друзьям прочитать — понравилось: давай, говорят, пиши еще. Ну ладно, думаю, попробую. И они, темы-то вот этих рассказов, я не могу сказать, что я их просто из пальца высасывал. Ты живешь своей жизнью, в лес едешь, работаешь, еще чем-то занимаешься, дома где-то у себя в огороде ковыряешься, дрова

пилишь. Не думаешь об этом. Потом бац! — тема сама в голове возникла. Она там где-то, видимо, формировалась и наконец возникла.

Второй рассказ, по-моему, у меня был «Солдат». И потом я уже начал думать, что надо же не просто писать, а рассказывать. И замысел был в том, чтобы написать серию рассказов таких обучающих, именно для молодых, для молодежи, чтобы они понимали, что, чего и как в поиске происходит. Но учить не так, как учат в школе или институте, где читают лекции или занятия проводят, для молодого человека лет пятнадцать или восемнадцать немножко оно в тягость. А когда в форме увлекательного рассказа, который его захватит, который он прочитает, а в его голове останется именно то, что в этом рассказе зафиксировано, — оно намного лучше. Тот же самый рассказ «Солдат», который у меня написан: там четко расписана эксгумация верхового бойца. Что у него может быть при его эксгумации, когда его поднимаешь. То есть какие-то там кратенькие исторические ссылки: что и как. Потом что еще было. Рассказ «Естественный отбор» — там идет сравнение двух человек. Один почувствовал себя героем, приехал в лес: типа, я тут героем стану. Второй же человек просто приехал, без всякой героизации своего поступка. И идет сравнение двоих: один что-то может, второй ничего не может. Ну, сравнения вот такие характеров — у одного, грубо говоря, руки из жопы растут, он ленточек на себя навешал красивых, костюмов понадевал и объявил: «Я поисковик». А другой человек приехал — он просто работает в лесу. В результате тот, который весь красивый, образцово-показательный и весь в ленточках, тот сбежал. А второй человек — это Ольга Шиманская. Этот рассказ именно на основании одной поездки в лес написан. Именно она без всякого пафоса работала, ходила в лес наравне со всеми, от работы не отлынивала. А второй персонаж тоже в это время присутствовал, а в конце концов — сбежал.

То есть сначала была обучающая цель у моих рассказов. В том же «Естественном отборе» я пытался показать, что не надо приезжать в лес неподготовленным. Надо сначала проанализировать себя, понять, что ты можешь и что ты не можешь. Ехать туда просто как на экскурсию, в увлекательное путешествие, приключение — нечего там делать таким людям. Нужно понимать, зачем ты туда едешь и с чем ты туда едешь. С какими своими знаниями и умениями. Потом, дальше,

есть рассказ у меня... О, уже забыл, как называется! «Таня». Там, опять же, в форме рассказа дается подробное описание поиска в болоте, именно болотный поиск. Даются какие-то азы, пояснения, но, опять же, в форме рассказа. Я же не могу сказать, что это я для себя написал. Я написал именно для других, чтобы люди, которые прочитают, у них в голове отложилось. Именно в форме рассказа, а не в форме лекций или нравоучений: если где-то в болоте наткнется читатель на похожую ситуацию, у него рассказ всплывет в голове, и он будет знать уже, что делать дальше. Это если неопытный человек, поисковик, который второй или первый раз в лес приехал.

А потом от обучающей формы я отошел, больше меня занесло где-то в чернуху, где-то в мистику. Мистика какая у меня была — есть у меня про это рассказ «Перекур». Я без сигарет как-то ушел из лагеря. Уперся уже непонятно куда, надо перекурить, а хоп — сигарет-то нету. Ё-моё. На базу возвращаться — это километра где-то полтора шлепать. Ладно, думаю, мох покурю, если чего. И ячейку нашел с бойцом. И вот в этой вот самой кружке (показывает на стоящую рядом железную кружку с чаем), в ней кисет свернутый был. И в какую-то еще фигню типа плащевки закручен. И там кисет с табаком.

Думаю: «Братец! Откуда же ты знал, что я без сигарет-то приду в лес к тебе, а?» Вот такая вот мистика не мистика, не знаю — случайность? Такая вот штука получилась как-то. Я не знаю, как к этому относиться, конечно. И кружка хорошая. Солдатик подарил, скажем так. Вместе с табачком. Вот я из нее кофе теперь пью и вспоминаю его. Что он из нее пил, тоже думаю: ну, наверное, не кофе — чай, кипяток, может быть, спиртик гонял. Не знаю. Никакого особого смысла, конечно, в этом нет. И я думаю, что это нормально. У многих поисковиков есть копаные кружки, они ими пользуются. Есть и ложки, которыми они пользуются. Может быть, есть в этом какой-то показательный фактор. Чтобы показать: вот я какой! Я все-таки кое-что умею, я вот нашел. Я уже какой-то опыт имею, и у меня есть вот эта штука.

Мы называем себя «красными следопытами», хотя это разделение по цветам — мне как-то оно... не особо нравится. Вот мы как-то яму поднимали в Мостках, буквально возле железной дороги, метров двадцать, наверное, от железки. У меня вот есть панама с красной

звездой, в которой я уже лет десять хожу по лесам, кто-то в пилотках: короче, все такие из себя «красные следопыты». С нашивками. Светлана Михайловна Орлова еще говорила: «О! Все такие красные следопыты!», помню. Правильные. И вот сели пообедать. Пооткрывали консервы. И такой момент: у всех «красных следопытов» — немецкие ложки-вилки. Все достают так, ни слова не говоря — и такой ржач был...

Я не понимаю вот этого: что такое «красный следопыт»? В идеале, как его можно обрисовать? Да и как его обрисовывают: ты пришел, нашел солдата, собрал останки, а все вещи, которые при нем были, ты оставил на бруствере и ушел. Типа, я «красный следопыт» — я не барахольщик, я не мародер, я не трофеюга, я не «черный». Я только «красный». Я забрал останки, забрал медальон. По я такого идиота не видел, я такого не встречал ни разу. Каждый «красный следопыт» — он все равно... Вот опять привязалось это слово — «красный»! У нас нет «красных», нет «черных» — у нас есть люди с совестью или без совести. Если у тебя есть совесть, она тебе скажет, что делать: ты соберешь останки, соберешь и артефакты, которые были с солдатом. Передашь их в музей. Или родственникам, если их найдешь. А если ты «черный» — ты кости раскидаешь, все барахло сгребешь, а кости раскидаешь по окрестностям. Вот и все. Тут по цветам делить как-то странно. Мы ведь тоже и «красные», и «черные», и всякие. Я не скажу, что мы останки раскидываем, нет, но иногда, бывает, хочется и куда-то на немецкие позиции сходить, покопать интересных штучек, артефактов и так далее. Вот, допустим, такая вот гильза СС, там молнии есть. Кто-то прям скажет «Ах!» на это, а мне как-то по барабану. Мне интересно найти. В конце вахты мы иногда устраиваем день мародера. Мы идем конкретно не искать убитых, а парашничать: на помойки немецкие, финские. Па наших, понятно, делать нечего — они нищие, все эти наши помойки. Идем конкретно что-то выкопать, чтобы душа порадовалась. Да, день мародера, все, пошли. Я этого несколько не стесняюсь, потому что знаю: мне это интересно, это в кайф — какую-то фигню найти, которая вроде бы и ценности не представляет, но она какая-то интересная. Бутылочку какую-нибудь фигурную или еще что-то. Я все это не коллекционирую, интерес именно в том, чтобы эту вещь найти. Интересно именно то, что я где-то ходил-ходил, ноги до задницы

стоптал, наткнулся на эту помойку, начинаю ее ковырять: «О! Вон тут чего! А тут вон чего!»

Что-то нашел, бросил в рюкзак, но знаю, что, когда приду в лагерь, у меня уже интерес к этой находке пропадет. Нотому что уже все, она уже найдена, не особо интересно. Какие-то редкие случаи бывают такие, что я потом привезу ее из леса домой. Нокажу друзьям, родственникам. А так я сейчас обычно все раздаю. Орлову тому же покажу: «Саня, надо?» — «Конечно, надо! Всю жизнь мечтал!» — «Ну и забирай». Это небольшой расслабон такой после напряженной работы на вахте. Но после этого я не говорю, что я «черный следопыт», «черный копатель». Кто-то идет конкретно в лес копать, чтобы продавать. Но что-то таких особо озолотившихся я не видел. Ну да, есть люди, которые занимаются только этим и живут только этим. Я знаю таких людей. Но эти же самые люди, бывает, сдают нам какие-то точки. В той же Карелии. Нашел он наши позиции, где наших разбили, постреляли. Он обобрал их: флягу взял, еще нашел что-то интересно, бритву какую-то, еще чего-то. А потом сообщил, что вот там-то и там-то — останки. Все. И даже не стесняется, говорит, что да, я их уже обобрал. Но кости наверху лежат, я их уже сложил, в ячейке что-то осталось. Мы выезжаем туда и забираем останки. Такие вот моменты.

К немецким останкам я никак не отношусь. С убитыми я не воюю, но в то же время... Немецкие останки я находил два раза в своей жизни. Один раз в Мясном Бору: ну, нашел я эти останки, тогда второй или третий раз приезжал, не помню. Ну и принес Орлу, говорю, Саня, так и так, вот кости, немецкие пуговицы были, еще жбонь немецкая какая-то, уже не помню. Чего с ними делать? Да, говорит, закопай где-нибудь. Ну чего, я пошел и закопал, сверху каску ржавую положил на этот бугор. Все. Сейчас «Фольксбунд» есть, туда немецкие останки сдают. А второй раз в прошлом году мы под Алакуртти ездили, это Заполярье. До границы там километров тридцать. Мы с поисковым батальоном вместе работали, ездили в погранзону. Ну нашел я там три ячейки, три немца в этих ячейках. Я сразу понял, что это немцы: ботинки у них горные, егерские, все железом обколоченные, потом копнул в двух местах — подсумки немецкие с патронами маузеровскими. Нонятно все: гансы тут закопаны. Ну и чего-то брезгливость какая-то накатила: смотрю и

понимаю — не хочу я копать их. В поисковом батальоне сказал замполиту: «Сергея, будете немцев копать?» — «Да-да, будем, будем. Нам надо тренироваться в эксгумации». Ну, иди, тренируйся. Точку им сдал. Они жетон там нашли, половинку, пряжки стальные, гнилые. Но у меня никакого желания не было их копать. Наоборот — закопать бы их всех, заровнять все. Там, похоже, какой-то минометный расчет был, потому что рядом ящики минометные нашли мы. Этот минометный расчет накрыло: может быть, свои же их туда в эти ячейки покидали, жетон-то ломаный был, прикопали слегка да убежали.

Ночему-то я сам для себя решил, что о поиске я больше не хочу писать. Наверное, то, что уже было накоплено: какой-то опыт, материалы, впечатления, — наверное, я все это уже высказал и рассказал. Это первое, а второе — сейчас о поиске не пишет, наверное, только ленивый поисковик.. Сейчас же много всяких литературных конкурсов проводится, конкурсы стихов, и все это о поиске. Знаю, что выпускаются даже сборники поисковых рассказов, и мои произведения, они, скажем так, уже как-то потерялись. Ну, потерялись и потерялись. Сколько я ни читал этих рассказов, там столько этого дутого пафоса, просто до тошноты! И слезинку пускают, и «солдатики вы наши родные», и Родина-мать там, и березка с речкой... Стерильность эта — она выводит из себя.

У меня есть такие рассказы, которые люди могут неоднозначно воспринять. Свои люди воспримут нормально, а кто-то посторонний может и задуматься, что там за придурки-то по лесу шарахаются? Допустим, рассказ «Женька». Это реальный персонаж, Женька в Севастополе живет, приезжала к нам несколько раз на вахту, ну и задружились с ней хорошо. Я описал в рассказе, как человеку приспичило взорвать детонаторы. Ну, просто взял и описал в рассказе, как это происходит. Меня потом Елена Моисеевна Цунаева раскритиковала за этот рассказ (я ей посылаю иногда свое творчество), мол, не надо рассказывать такие вещи молодым... А что не рассказывать-то? Они сами потом приедут и увидят. Я не знал еще ни одного пионера, который не захотел бы что-то в костер положить. Так пусть лучше положит грамотно, чем просто так кинет, и потом гильза в лоб прилетит.

В рассказах я просто хотел донести до людей, что вот мы какие — мы точно такие же, как и вы. У каждого свои тараканы в голове бегают, не надо нас идеализировать, что мы прямо такие все — ах, чуть ли не святые, с тремя нимбами у каждого на голове. Я показывал именно это, сначала сам процесс поиска, что-то обучающее, а потом просто рассказывал, как мы живем в лесу: что мы там делаем, как у нас быт обустроен, какие-то мысли поисковиков пытался донести, ну, свои мысли. Во всех этих произведениях — мое отношение к поиску, мое видение этого поиска, то, как я на него смотрю, какими глазами. Я не смотрю на него глазами восторженного щенка — смотрю как на реальные вещи. Кому-то это нравится, кому-то нет.

Те же самые выпивоны в лесу — да, это происходит, и об этом все знают. Молчат, да. А когда вы в лес приезжаете, везете отряд пионеров и тут же бухаете, а они на вас смотрят — ну и чего? Это разве нормально? Молчите дальше. На одном из «фронтов» было — днем все такие правильные там, в медалях ходят, все «красные». Как только темнеет — только бутылки в кусты и летают из палаток. Это есть, и от этого никуда не денешься. И бухали в лесу, и будут бухать дальше. Вопрос только в количестве, наверное. Ну, бухнул ты — успокойся, а то ведь бывает так, что до зеленых чертей напьются, а потом бегают с криками по лесу, со штыком за кем-то там гоняются, за каким-нибудь фельдфебелем померещившимся. Или где-нибудь весной на вахте по пьяни уснул на земле, почки отморозил себе...

Есть и критика в этих рассказах, критика именно нынешнего положения дел в поисковом движении. Направление-то вроде было правильным, но как в 2014 году это ПДР у нас организовалось — возглавила эта организация всех поисковиков наших.. Ну, не всех, конечно, кто-то не вошел, но большая масса вошла в это движение. Надеялись-то все на реальную помощь какую-то, а в результате реальной помощи очень мало, а больше какой-то показухи. То выставки, то конкурсы, то семинары, конференции, и так далее, и тому подобное. Я не знаю, может быть, это тоже надо проводить, но без такого пафоса, как это происходит. Ведь огромные деньги тратятся на всякие там флажки, шарики, салюты в небо запустили — все, деньги ухнули. А вместо этих флажков и шариков можно было реально какой-то отряд взять и экипировать, палатки им купить,

спальники. Это была бы более реальная поддержка, чем все эти марш-парады и фестивали, топотушки с плясками-бубнами.

Изначально я к идее ПДР нормально относился, сейчас уже нет. Ну, я общаюсь с руководителями ПДР, с той же Еленой Моисеевной Цунаевой, с командирами отрядов, которые прямо адепты ПДР. Но у меня взгляд такой сформировался, что мы и без ПДР прекрасно бы работали в лесу и находили бы нисколько не меньше. Очень много показухи, с теми же медалями по поводу и без повода, чуть ли не в каждом гараже медальки эти друг другу вешают. Мне вот, допустим, стыдно надеть на себя иконостас медалей и выйти где-то на построение — я бы, наверное, со стыда сгорел. Кто я такой, чтобы перед погибшими солдатами мишурой бренчать?

Года три назад мне Света Орлова прислала ссылку на литературный конкурс, говорит: Саня, не хочешь поучаствовать со своими рассказами? Ну давай, говорю, поучаствую. Отправил ей рассказы «Таня» и «Солдат». Ну, естественно, меня отсеяли, потом на почту приходит письмо от организаторов конкурса. Предлагают мне купить за триста рублей медаль участника литературного конкурса! Надо, думаю, зарплату-то потратить на медали и увешаться ими везде: и на спине, и на коленках. Сам символ награды — его настолько обесценили, опошлили вот этой показушной мишурой. То за литературный конкурс, то участнику чего-то там, нашел медальон — вот тебе медалька, два раза на вахту съездил — вот тебе еще значок отличительный. А молодые-то, они же в силу возраста падки на все эти вещи, любят отличиться — у меня медаль за это, у меня за то, я вот там был, а я вот там был. А задайся ты вопросом — а сколько ты солдат нашел там и там? Спросишь — так и промолчат, бывает. Зато как елки новогодние все обвешаны. Если в войну медаль — это кровь, смерть, слезы, горе... в любом случае это трагедия и медаль просто так тебе не дадут. Ты должен или убить кого-то, а то и не одного, или сам подставиться: руку, ногу оторвет осколком — вот тебе медаль. А здесь — постоял рядом с поиском, медаль получи.

В одном из рассказов я описал случай, когда на очередном «фронте» — это был у нас «Волховский фронт» — в прошлом году в Спасской Полисти мы стояли, и приезжали поисковики из городов воинской славы. И к товарищу моему, Сереге, подходит один такой, весь увешанный наградами, и спрашивает, как делать поисковый

инструмент. Серега вообще офигел: у него медалей в три ряда, а он меня спрашивает, как делать поисковый инструмент. Мне на него смотреть страшно, мол, он, наверное, такой крутейший поисковик, что и рядом стоять-то стыдно с ним. Ну и, говорит, смотрю, а у него медали типа «красиво спел», «рядом постоял», «съездил туда-то» — такого плана все медали. Сейчас Минобороны же дает поисковикам медали за увековечение защитников Отечества. Там три степени, и потом сама медаль дается. Да, вот эту единственную награду я уважаю, потому что люди, которые ее получают, — они на самом деле заслуживают этого. А когда мишуру вешают на себя, лишь бы красиво выглядеть, — не приемлет у меня душа этого.

ПДР в конце концов, думаю, само себя истребит. Самоликвидируется. Или перейдет в более извращенную стадию: трансформируется в очередную Юнармию, где люди будут называть себя поисковиками, при этом за пять лет два раза в лес съездив, — может быть, и так будет. А в основном будет все больше показухи. Да у нас и так сейчас по всей стране, куда ни сунься — одна показуха. Вся страна образцово-показушая.

Перспективы поиска? Ну, в конце концов он заглохнет, лет десять-двадцать, может быть, еще просуществует, но в конце концов, как мы говорим, убитые ведь не грибы, по новой не растут. Кого-то найдут, а чьи-то останки в конце концов растворятся.

В том же болоте останки сейчас очень сложно выцепить. Сойдет на нет лет через двадцать, останутся какие-то энтузиасты, которые без этого жить не смогут. Наверное, так. Но сейчас, наоборот, идет шумиха, поисковиками-то модно быть. Бренд такой беспроектный — на патриотических чувствах-то надо играть. Меня от этого слова — патриотизм — в последнее время уже коробит, отовсюду оно лезет, чуть ли не из утюгов его кричат. Мое мнение такое, что патриотов надо выращивать не со всяких марш-парадов, знамен, салютов, не с этого надо начинать, наверное, а начинать с того, что ты мусор выброси в урну, а не на газон. А уж когда этот человек поймет, с чего начинается Родина, вот тогда иди с флагом маршируй.

Но останавливаться еще рано, потому что мы до сих пор находим бойцов. Вот когда мы их перестанем находить, вот тогда и надо будет остановиться. И родственники сейчас тоже еще находятся. Внуки и правнуки. Если в семье хранится память: альбомы с фотографиями,

письма, похоронки. Вот прочитал внук похоронку: да, вот у меня такой геройский дед был, погиб за родину. И тут ему бац — телефонный звонок, мол, мы тут нашли твоего деда. Для того и делается, чтобы родственников найти, ну и похоронить по-человечески. Как-то это не по-людски, когда покойники по лесам валяются. Я не религиозный человек: не православный, не буддист, не мусульманин. По своему мировоззрению я, наверное, ближе к язычникам, потому что не приемлю этого поклонения, не приемлю фатализма.

Вот мы поднимали госпитальное кладбище на Керести. Поляна — и все. Урочище. Деревня раньше была, а потом война ее смела, в войну был госпиталь, умерших хоронили без знаков, приходишь — ровное поле. Орлов если бы не ткнул вертухой со своей чуйкой — там бы никто не понял, что это кладбище. Все, его нет — но там люди похоронены. Причем нашли несколько человек с медальонами, установили имена, 69 человек, по-моему, подняли. А так как архивы армии утрачены — где-то закопаны, может, сгорели, — то и данных об этом кладбище нет никаких, оно нигде не обозначено. Подняли солдат и похоронили их в Мясном Бору. Имена, которые мы установили, теперь будут занесены в списки погибших. Родственники могут приехать куда-то в конкретное место. Большинство родственников не знают, где служил дед или прадед. Или бывает, что воинское захоронение обозначено, но оно настолько труднодоступное, что туда никто не доберется. И обычно в таких местах, даже если есть воинские мемориалы — они часто заброшены, не ухожены. Есть энтузиасты-поисковики, которые знают эти места, они устанавливают там памятные обелиски, кресты поклонные, но, опять же, эти места доступны в большинстве случаев только поисковикам.

Поисковики и на Украине есть. Поиск — пожалуй, один из немногих моментов, которые сейчас объединяют нас. Я прекрасно с ними общаюсь, и переписываемся, и по телефону, бывает, созваниваемся. Они так же работают, теми же инструментами, по тем же принципам. Если мы на территории России находим солдата откуда-то из Киева или, там, из Житомира — мы передаем останки на Украину, чтобы их там захоронили. Это если родственники находятся. И точно так же они поступают: нашли, допустим, солдата из Калуги или Рыбинска — ищем родственников, причем совместно это делаем,

сюда передаются останки. Поиск должен быть вне политики. Но я знаю случай, что на Украине родственники отказались хоронить своего деда или прадеда из боязни перед националистами. Не приняли останки.

Я считаю, что фиксация находок должна быть по координатам. При многолетней работе, обозначая координаты, мы можем по карте понять, что где-то массовое захоронение, где-то одиночное, здесь снова массовое — это нужно для понимания того, где еще искать. Где много убитых было найдено, мы продолжаем искать, то есть там больше вероятность находки. Ну и для историков, наверное, это будет интересно, когда они смогут боевые донесения сравнивать с реальными картами, где были бои. Потому что в боевых донесениях тоже много бреда написано.

Мы в Карелии работали в этом году, буквально полторы недели назад оттуда приехал — по боевым донесениям бой был такой, что мама не горюй, что чуть ли не горы трупов должны быть навалены, а когда мы выходим на эту точку, там даже ни одной воронки, ни одной траншеи, никакого боевняка не было, просто нормальная ровная тайга с камушками. Связано это, видимо, с тем, что как-то списывали потери. За потерю пятисот человек по головке никто не погладит, и их просто расписывают через день, через два в разных местах: здесь вот столько-то человек потеряли, здесь 50 убитых, там еще бой произошел — еще 70, и таким образом растягивают. Это не только мое мнение, но и других поисковиков. Потери-то ты не скроешь, но их надо было как-то приемлемо показать для высшего командования. Если у тебя в одном бою 500 человек переколошматили, значит, ты бездарный командир, не умеешь руководить боем, не умеешь руководить операцией — в войну за это могли просто под трибунал подвести. А если ты расписал несколько боев, да еще указал, что у противника уничтожено в пять раз больше, вот тогда еще ладно. Не надо думать, что в войну не было мухлевщиков, да сколько угодно их было. И за хищения под трибунал ходили, и штрафные роты... Даже у Шумилина, «Ванька-ротный» — там описаны такие случаи, у Даниила Гранина, у Никулина — может, помнишь такой момент, когда им на передовую жрачку не привозили по несколько дней, они хай подняли, а им ответили: зачем вас кормить, вас завтра все равно убьют, нам здесь в тылу оно нужнее.

2009 год, находим, по-моему, Орлов нашел — сначала думали, один человек, а оказалось двое. Тоже болото. Кости женские. И красивые косы, закрученные вокруг головы. Обувь маленького размера. Поднимаем останки, от медальона одни осколки, бумажка «ушла». Начинаем дальше искать — натыкаемся на еще одни останки, чуть ли не один на другом люди лежали. У второго уже большой размер обуви, и кости крупные, ну, явно мужчина. И находим выстроганную палку-трость, и при подъеме останков видим, что у солдата еще прижизненный перелом ноги. Вывод такой, что медсестра вела раненого, он опирался на эту палку. Ну, одной миной тут их и накрыло. Вот такие вещи можно понять из раскопа. При мне нашли солдата, у него вместо шины на ноге были проволокой прикручены досочки от снарядного ящика, видимо, не хватало медицинских принадлежностей. Если несколько человек нашли с запчастями от раций, мотками проволоки — понимаем, что тут были связисты. Как-то работали рядом с болотом и убитых находили такой как бы полосой вытянутой: сначала одного, потом второго. Потом, когда стали более тщательно место проверять, нашли много шпригов сработанных. То есть тут уже явно понятно, что люди выходили из окружения, попали на минное поле — так они и легли, такой полосой. Человек двадцать там было.

Есть такое знаменитое место — Офицерская поляна в Мясном Бору. Ее начали поднимать еще в конце 80-х, Орлов-то еще раньше начал туда ходить. По рассказам тех, кто там работал до того, как я туда попал, — где-то примерно около тысячи человек на небольшом пятачке. Сейчас там еще, бывает, находим, но какие-то отдельные разрозненные останки. Поляна интересна тем, что — не зря ее называли Офицерской — там было очень много командного состава и много медиков. Явно прослеживается по нахождению останков, как выходила эта колонна — ее немцы заперли в этот мешок и всю уничтожили. То есть вот идет боевое охранение, в центре — медперсонал, сзади еще какой-то арьергард. Там до сих пор — вот как ни приедем на эту Офицерскую поляну, там какие-то находки интересные получаются. То знамя нашли, то печать нашли 848-го полка. Когда стали выяснять, то установили — знамя или печать гербовая могли быть только или у командира, или у начальника штаба. Установили два имени, но кто именно шел с этим знаменем и печатью

— установить не смогли. Потом печати разных воинских подразделений, печать «для документов» — такие были находки там.

Была найдена ложка, на ней прямо зашифрованная надпись. На ложке место мало, и боец царапал сокращенно «моб. на ф. пр. раз. нап. Гер. на СССР», что-то такое, то есть мобилизован на фронт при разбойном нападении Германии на СССР, и даты призыва. И свое имя он тоже там как-то зашифровал такими сокращениями, когда я в интернет выложил фотографию этой ложки — через четыре часа результат получил. Людям до того интересно это все — они начали искать именно по дате призыва в привязке к Мясному Бору, ко 2-й ударной армии, и в конце концов выяснили, кто этот человек — это Шаварин Василий Матвеевич. Ложка была без останков, то есть останки там были ранее собраны. Нашли родственника, его внука — в Подмосковье живет, и передали ему эту ложку. У него хранится домашний архив с письмами, с фотографиями, он нам несколько фотографий предоставил и разрешил отсканировать кое-какие документы. Это вот опять же возвращаясь к теме патриотизма — кто-то просто безо всякой показухи это хранит, кому-то это дорого. А кто-то на аукционы выставляет на продажу. Письма продают, фотографии военные продают, медальоны солдатские продают, сами эти капсулы. Вкладыши я ни разу не видел в продаже. Для поисковика медальон, даже пустой, это такая святыня, символ своеобразный. Это то, что мы ищем вместе с солдатом. Мы ищем его имя. Я считаю, что это недопустимо — торговать медальонами. Пятьсот рублей, по-моему, стоит капсула. Может быть, продают какие-то неиспользованные медальоны со складов, но для меня это не меняет ничего. Ты лучше отдай куда-то в школы или в музеи.

Орел — это вообще уникальная личность. Я не знаю, как это объяснить. Я когда первый раз с ним встретился — ну, наверное, возникает какая-то определенная тяга одного человека к другому. Мы с ним поняли, что нас друг к другу тянет, хотя я первый раз приехал, а он уже такой матерый был! Мы с ним настроены на одну волну и друг друга иногда без слов понимаем. Рассказы его — это такой кладезь информации, даже не представляю, что в одной голове может столько всего поместиться. Он может и номера подразделений называть, и в какое время, чуть ли не по часам, где какой бой происходил, кто какой ротой командовал, где были танкисты, где связисты, и все остальное

прочее. Как происходила операция по прорыву из Мясного Бора — все может рассказать. Ему любой вопрос задавай — он на любой вопрос ответит. И у него настолько развита чуйка, интуиция, можно допустить и мистику какую-то — про него тут вообще говорят, что он под землей видит (*смеется*). Я очень многому у него учился, в том числе работе с щупом. Ну, допустим, Орел идет — настучал кость: «Так, здесь нога, здесь рука, здесь голова у нас, здесь...» — и начинает пробивать так, щелк-щелк-щелк, — «здесь что-то пластмассовое, может, медальон». То есть он прямо щупом пробивает и говорит тебе всю информацию, начинаешь поднимать — да, действительно так и есть. Я очень люблю с щупом работать. Иногда с прибором находишься, что-то наковыряешь, какого-то железа, потом скажешь: «Да ну на фиг», прибор в сторону, и пошел со щупом. И, бывает, находишь даже больше, чем с прибором. Но в Карелии сложно работать со щупом — там камней очень много. Где-то в Мурманской области, где на сопках, на голых скалах останки лежат — там он вообще не нужен. Сейчас- то, наверное, уже собрали, а по рассказам знаю, что останки лежали на голых камнях.

Мне сложно верить в чудеса, какие-то голоса с небес, что, мол, копай тут, копай там... Не был свидетелем этому ни разу, если от кого-то и слышал, то отношусь к этому скептически. Нафантазировать можно все что угодно. Тот же Орел мог бы сказать, что после литра выпитой и не то померещится. Может, и присутствует какая-то составляющая... непонятно, как ее назвать-то даже. Тут больше интуиция, воображение, опыт. Та же интуиция — как ты ее объяснишь? Почему ноги идут именно туда, а не куда-то еще? Ты вроде с вечера, пока в палатку ложился спать, собирался в одно место, а потом проснулся и сказал себе — нет, я пойду в другое место. Ношел и нашел. А те, кто пошел туда, куда ты собирался с вечера, ничего там не нашли. Я больше объясняю это опытом, интуицией.

Сейчас у нас весь поиск решили как-то дисциплинировать. Формализма столько. Те же самые протоколы по находкам с указанием направления ветра и прочего. Мы от этого открещиваемся, просто передаем останки другому отряду, они оформляют все бумаги, а наше дело — искать. Многие отряды ездят на деньги спонсоров, соответственно, надо показать результат. А нам-то по фигу эти цифры. Наша задача — пошел, нашел. Причем мы так и работаем в

основном — занимаемся больше разведкой, чем подъемом бойцов. Мы идем — нашли, ага — привели других, они копают. А они уже там все бумаги, протоколы составляют. У нас же старые пердуны в отряде: у кого радикулит, у кого колени болят, вот воронка человек на пятьдесят — как мы ее будем брать? Нет, мы, конечно, порем, но поднимем, но сами себя выведем этим из строя на какое-то время. А нашим ногам и так достается. Поэтому такое разделение труда.

Чтобы наладить работу, первым делом выделяемые государством средства нужно направлять в те объединения, те отряды, которые действительно занимаются поиском, а не маршировкой под барабан. Есть отряды, которые годами выезжают, и они не ищут сами. Они ждут, когда им найдут. Вот как мы, допустим, нашли, привели их, показали. Но они-то называют себя поисковиками, они пишут в отчетах: «мы подняли воронку на 50 человек», без упоминания даже разведки отряда «Гвардия». Сколько их таких, которые бьют себя в грудь: «Мы поисковики», при этом не найдя ни одного солдата. Но зато на всех мероприятиях образцово-показательных они в форме красиво маршируют. Молодцы. Ну ладно, пусть маршируют, нам жалко, что ли. Если им нужна слава, пусть возьмут ее — нам не нужна. Но есть и отряды, которые нормально с детьми работают. Город Тюмень, руководитель Артур Ольховский, поисковое объединение у него отличное. Он и в Мясном Бору, и подо Ржевом, и в Ленинградской области — везде работает. У него в отряде, во-первых, дисциплина хорошая. Во-вторых, над ними всегда есть какой-то старший. Допустим, он сказал: «Надо наколоть столько-то дров», старшим сказал — они дальше пошли распоряжаться: ты пилить, ты колоть, ты складывать. И попробуй только не подчинись, это вплоть до того, что с вахты домой отправят. И насчет работы они такие, злые у него. Если им задачу поставят, мол, вот эту поляну надо от этого пенька и до захода солнца завернуть ковром, — они сделают, они не будут сидеть байки рассказывать друг другу или в телефонах ковыряться, они будут четко работать.

Мы уже много лет работаем с одним местным следопытом, который этим живет. Он ищет вещи какие-то, продает их. В основном с немцев, финнов. Он находит места, где и наши лежат, и по ним он отдает координаты, мы потом приходим, поднимаем солдат. Но я бы не сказал, что он такой прям уж «черный копатель», который из-за

угла стрелять в тебя будет. Нормальный мужик, добродушный такой. У него такая вот страсть к этому поиску, археологии, раскопкам. Убитые ему неинтересны, что немцы, что наши — он останки не собирает. Обобрал их, ценности собрал, потом точку сдал — и все. А отмороженные есть в любой сфере деятельности. Допустим, стоит поисковый лагерь — отработали, снялись, уехали. А кто-то пришел туда и мину закопал в кострище. Ты приезжаешь на это же место на следующий год, разжигаешь костер — бабах. Вот такое было. Про это есть в рассказе «Ангелы».

Лес в рассказах — не лес не в буквальном смысле, кусты-елки-тропинки-ручейки, а Лес — именно военный лес, где мы собираемся, где мы общаемся с друзьями, где ведем поиск. То есть сама атмосфера поиска в лесу. Там люди — они нормальные, они там другие. Не то что у нас в повседневной жизни. Я уже много раз говорил, что там нет ни чинов, ни званий, ни возраста, там все равны. Там имеет значение только опыт — твое умение работать в лесу. Да, здесь какая-то иерархия есть. А по возрасту,

Но званию — нет. У нас в отряде замминистра МВД, полковник милиции, мы его запросто можем и на хер послать, и подколоть, и поругаться с ним, и помириться, и коньяка выпить. Люди приезжают из повседневной жизни в лес, я думаю, именно побыть самими собой. Потому что здесь мы все ходим в масках каких-то: мы надеваем на себя броню, панцири... А в лес мы приезжаем и отдыхаем — мы открытые. Мы открыты для общения, для всего мира, отдыхаем там от всей этой суеты и повседневности. Отдыхаем не в буквальном смысле слова, мы там падем как черти, но душой и головой мы отдыхаем. За счет откровенности, честности, душевности. Нам этого не хватает в жизни, здесь с кем-то ругаемся, ссоримся, пытаемся кого-то где-то нагреть, что-то в карман положить себе, а там-то что делить? Вот мы, вот они там в земле, вот останки в мешках — что делить?

Мы приезжаем туда, и с нас слетает вся эта мирская шелуха, там мы такие, какие есть на самом деле. И любой человек, который в лес приезжает, он себя показывает в первые же день-два, кто он есть на самом деле. Можно пяткой в грудь себя стучать и говорить, что великий поисковик, а приехать в лес — и оказаться дерьмовым человечешкой. Там как раз люди и проявляют свой характер, там все видно: например, кто как относится к работе. Кто-то уваливает, а кто-

то, наоборот, лезет в самую жиделягу, глину, и пашет там от зари до зари. Кто-то приезжает и умудряется за неделю вахты оставаться в чистеньком рабочем костюме, при этом говоря, что он туда ходил, там искал, там что-то делал, а когда ему задашь вопрос: «А кого нашел?» — «Никого не нашел». А другой возвращается в лагерь весь черт знает в чем, чуть ли не шишки из башки у него сыплются, усталый как черт, видно, что умотался — километров двадцать по этой тайге накрутил, пока искал. И понятно, что действительно человек работал, искал, а не сказки рассказывал.

Встречался и с такими, которые в лес приедут и неделю синячат там, не вылезая из палатки. Как у Орлова в рассказе: «Утро не заставило себя долго ждать». И таких тоже сколько угодно, вот он бухает-бухает-бухает, потом очнется в какой-то момент — о, а у него прибор даже так и не распакован, стоит под деревом. Подумает: надо бы что-то найти сходить. Круг вокруг лагеря нарезал, вернулся через час — устал, надо опохмелиться. Чпок, и все.

А на следующий день уезжать. Зато он себе где-то в душе галочку поставил, что он принял участие в поисковой экспедиции. Кто-то просто уйдет в лес вдвоем-втроем, сядут там на бугорке, водочку попивают, на солнышко жмурятся, полдня так проведут, потом вернутся. Типа, искали...

Иногда возникает ощущение, особенно зимой, как будто тебя кто-то зовет. И это ощущение тебя просто не покидает, чем ближе к вахте, тем оно сильнее и сильнее, как будто какой-то зов тебя вытягивает из этой жизни. Я называю это «ломка», как наркомана ломает без наркоты, так же и нас, бывает, без леса ломает. До того тут мозги запарят в этой мирной жизни, что хочется в лес сбежать подальше, выключить телефоны, забыть все и отдохнуть, побыть самим собой. И это как зов, как будто издалека тебя тянут, тянут... И ты приехал в лес, выдохнул, как шарик сдулся — и все. И это ощущение зова пропадет. Ты понимаешь, что лес тебя зовет, ты к нему приехал. А уезжает каждый по-разному, многие с тоской и слезами на глазах, особенно девчонки.

Есть организации, которые привлекают поисковиков на какие-то временные работы. Когда трассу М-11 строили, наши мужики новгородские как раз проверяли место будущей трассы на наличие останков. Там работали и саперы, они боеприпасы собирали, а

поисковики останки искали. Двести с чем-то человек тогда нашли. По моему мнению, вместо этой толпы — я не знаю, сколько у нас сейчас поисковиков, сколько отрядов, их число выросло за десять лет раз в пять, если не больше, — вместо этой толпы можно было бы создать одну организацию, которая взяла бы на зарплату, допустим, 200 человек по всей стране. И по плану отрабатывать районы. Толку было бы намного больше, чем вот эту бестолковщину неопытную запускать. Я не против того, чтобы люди учились поиску, опыт приобретали, но настолько сейчас всего этого много. Но такой организации у нас нет и не предвидится — организации, которая занималась бы действительно поиском, а не марш-парадами.

Кто-то ощущает это как работу, мол, суббота — надо в лес идти. Как у других суббота — значит, надо картошку идти копать. У меня такого нет: от экспедиции до экспедиции время проходит, ломка начинается, и все, я помчался. Каждый раз с каким-то азартом едешь, пытаешься предположить, что тебя ждет, кого ты там встретишь, что или кого найдешь. Кто-то поисковиков идеализирует, кто-то нет, но при любом раскладе, каким бы человек ни был — пьяницей там, матерщинником, каким угодно, — но есть какой-то стержень, который не ломается под влиянием любых сил, это стержень, который держит человека в поиске. Тот же Длинный — он же бухал со страшной силой, но он в лес ходил, и он искал убитых. Он не за барахлом ходил, а именно искал убитых. Приедет в лес — дня три керосинит. Потом Орел на него рывкнет — Длинный утром с похмельной рожей вылезет, под дождь куда-нибудь уйдет, вечером приходит — нашел, доволен.

То есть мы какие угодно можем быть, и говнюки, друг с другом можем ссориться, но не переходим какую-то грань, за которой уже невозможно отношения наладить, и не теряем этот стержень, который нас держит в поиске. У кого-то он есть, у кого-то нет. Кто-то приходит — и уходит из поиска, понимает, что это не его. Хотя вроде бы всеми силами рвался в поиск, мечтал, а пришел, один раз себя попробовал — и понял, что это не его. Впечатление это возникает скорее от обилия информации, а не от ее недостатка. То, что стали про поисковиков очень много писать, — у людей складывается такое предвзятое мнение, что это чуть ли не святые, все эти пламенные речи про поисковиков: и нужным делом занимаются, и нахваливают их... У человека складывается такое впечатление о поиске, что там

действительно чуть ли не ангелы работают. А приходит в лес — и понимает, что, во-первых, надо работать, и именно пахать, искать, и, во-вторых, там далеко не ангелы. Видит совсем не то, что ожидает увидеть.

И даже в моих рассказах одна из целей была показать, что же на самом деле мы собой представляем. Люди уже начинают воспринимать поисковую работу, словно это лазертаг или какие-то квесты, — как приключенческую игру. И многие в лес идут за этими приключениями, а когда приходят и видят, что надо пахать... Ни приключений, ни чуда в поиске нет. В поиске приключения могут быть, только когда кто-нибудь заблудился и мы его всем отрядом ищем. В первые походы я, может, и воспринимал поиск как приключение, что-то необычное, а сейчас для меня это обычная вещь. Я приехал, лес я знаю — приехал, палатку поставил, собаку накормил, костер разжег, и все. В голове уже план на завтра крутится, чуть ли не на неделю вперед распорядок в голове созрел, и дальше я уже по своему плану работаю и живу. Это уже повторялось неоднократно, и для меня это не приключение. Чудо там какое может быть? Если только приедет какое-нибудь чудо непонятное неизвестно откуда. Такие бывают чудики... Причем ездят по несколько раз в лес, и находят даже, но тем не менее они все равно остаются чудом.

Когда в Мясном Бору блиндаж поднимали — человек 14 или 16 было, не помню, — сверху-то кости вперемешку с землей, а ниже доступа кислорода нет, гниения не происходит, и там уже останки с мясом. Руку берешь, а с кости такие шматки шлепаются, духан стоит — мама не горюй. Я не знаю, как девчонки наши работают в таких ямах, как они там сознание не теряют. У женщин психика настолько стойкая! После этого блиндажа у меня этот запах еще дня три в носу стоял. И никак не избавишься, словно он там застрял.

Когда меня спрашивают про религию, я отвечаю: «Я родился в Советском Союзе, всю жизнь молился серпу и молоту, и Христом для меня был дедушка Ленин, и больше ко мне не приставайте с такими вопросами». В Советском Союзе были совершенно другие ценности — жизненные ценности, общечеловеческие ценности. Сейчас человек человеку кто? Партнер по бизнесу, еще кто угодно, но только не друг, товарищ и брат. Я человек старой формации, не понимаю многие вещи... Я с детства привык к труду, привык деньги зарабатывать

своими руками, ногами и головой, а не где-то украсть или кого-то обжудить. Вот есть у меня кузница — я лучше с железом тут поковыряюсь, продам, получу деньги — я знаю, что я заработал честно, а не где-то на бирже играл. Человеку для жизни, счастья нужно очень мало — я это понял, когда у меня в пожаре дом сгорел, и я остался в драной фуфайке, старых штанах и валенках. Из всего моего наследства у меня осталась жена, собака и машина. И снегоход еще. Остальное все сгорело дотла. И после пожара я понял, что человеку надо очень и очень мало.

Очень часто со мной списываются в интернете и просят взять с собой в поиск. Почему-то в основном женщины. Ну, я иногда беру, не отказываю. Но не все остаются.

Я стремлюсь писать о серьезном несерьезно, в конце рассказа сделать какой-то вывод.

Случайности всякие бывают. Ярославские поисковики в 89-м году подорвались в Мясном Бору, отец с сыном, причем папа прошел Афганистан, умел обращаться с боеприпасами. Сыну четырнадцать или пятнадцать лет было. Приехали в Мясной Бор, ну и решили бахнуть мину. А конструкция мины была такая... Минометная мина — она необычная, когда падает, у нее срабатывает сначала один взрыватель, подбрасывает ее вверх, и сверху изрывается второй, то есть намного больше площадь рассеивания осколков. Они ее в костер заложили, отошли. Сработал первый взрыватель, который подбрасывает мину, но как-то тихо. Они подошли к костру, и в это время сработал второй взрыватель, основной. Отец сразу на месте погиб, сын дней десять в реанимации пролежал и умер в конце концов. Это все нехорошие игрушки. Ты, может, где-то заложил боеприпас, сам спрятался и лежишь, покуливаешь. Ждешь, когда бахнет. А кто-то в это время мимо идет — осколок в башку ему может прилететь. Мне это интересно было, наверное, первые год-два — что-то в костер бросить, чтобы бахнуло. А потом как отрубил. Мне в лесу хочется только тишины. Спокойствия, умиротворения... Ты там хоть и пахешь как вол, но пахать хочется в тишине, а не когда что-то за спиной бабахает, кто-то орет, бежит по лагерю. Это, наверное, уже возрастное...

ВАЛЕРИЙ ГУБАНОВ

Началось все благодаря Александру Ивановичу Орлову. Я после армии тогда уволился в запас, пришел на работу в Новгородский авиационный клуб: сначала водителем, потом меня заметили и предложили стать инструктором. Я выучился на летчика, пилотское свидетельство получил, а Александр Иванович у нас вел парашютный спорт и в 80-м году позвал меня с собой в Мясной Бор. Я спросил: «А чего там?» Я уже слышал немножечко, краем уха, что там 2-я ударная армия погибала, что Власов виноват был в их гибели, мнение было такое, что там власовцы лежат. Даже ветераны говорили: это власовцы, хотя там герои лежат, защитники наши. Я говорю: «Что там будет?» — «Будет интересно».

И этот самый интерес сохранился до сих пор. И вот мы поехали: все спортсмены, инструктора, на майские праздники. Но- моему, ночевок немного было, но меня поразило в первую очередь огромное количество боеприпасов и оружия. Там было столько боеприпасов! Мины, снаряды, гранаты, патроны, винтовки — всё! Можно было ржавые пулеметы найти в те времена, в 80-х. Естественно, интерес у меня был больше такой, мальчишеский. Видимо, еще не созрел. Что-нибудь найти, откопать, смазать, чтобы стреляло. Берешь винтовку, мажешь ее тем же маслом, к примеру, из шпрот — и стреляешь. Что-нибудь бабахнуть, взорвать, кинуть в костер. А потом уже я нашел первого солдатику, не помню, сколько времени... Года два прошло, может быть, три...

Интересный был солдатик, без медальона. Я шел по лесу, по весне, снег стоял... Почему по весне-то ходят? Потому что видно все, травы нет еще. А вот в мае уже появляется трава и не так видно. Особенно подснежники — они всё маскируют. Трехлинейка, штыком просто в землю воткнута, она была воткнута еще во время войны. Я думаю, раз трехлинейка, должен быть приклад, все дела. Начал сухую траву разгребать — тыльничек нашел. То есть приклад сгнил, а тыльник металлический лежит. Дальше начинаю разгребать, и пошли косточки.

Оказывается, трехлинейка была в грудь нашего солдата воткнута. Видно — вот череп, тут косточки ключичные, тут руки, ребра, по центру грудной клетки этот штык — по самый ствол... Ничего не было, по чему можно было бы установить личность бойца. Меня это поразило, конечно. И после этого уже больше тянуло в лес, чтобы найти солдатика. Именно найти солдатика. Вот так вот я пришел в поиск, Александр Иванович — мой крестный отец, можно так сказать. И не одного меня он так привел. У меня и свои последователи есть, дети мои все тоже в лес со мной ходили. Сейчас племянница заразилась тоже лесом.

И так вот постепенно, постепенно... В 89-м году была первая Всесоюзная вахта памяти, которая проводилась — не просто вот чествование героев, возложение венков, какие-то концерты праздничные — ЦК ВЛКСМ впервые организовал Вахту памяти на местах боев. Приехали следопыты со всей страны, например, в моем лагере было где-то полторы тысячи человек. А уже к тому времени была создана поисковая экспедиция «Долина». И мне предложили, как уже опытному поисковику, возглавить один из лагерей, их три было организовано в Мясном Бору.

Первый был в Мостках, Сергей Сергеевич Котелевский руководил. Второй лагерь в [нрзб] находился, я им руководил. А третий лагерь — в Замошье, они так разбросаны были, чтобы как можно больше охватить. Там руководил Миша Черепанов из Казани. И вот, зная, что приедет очень много других отрядов, и зная эти места, где мне предстоит работать, моему лагерю, я взял за правило каждый свободный вечер, каждые выходные уезжать в Мясной Бор и искать солдатиков, где же больше всего их лежит.

Система была такая: я нашел солдата — я его даже не копал, и знал, что он здесь есть. Пашел в другом месте — я их даже не копал, некогда было. По я знал, куда послать людей, где им работать, это моя задача была главная. И у меня это получилось. Отработали очень хорошо, приезжал первый секретарь ЦК комсомола Виктор Мироненко, я его по лесам водил, показывал, как работают в воронке — там много убитых было (их стаскивали просто в воронки), как верховых копают...

А по окончании Вахты памяти мы захоронили 3 000 человек. По документам проходит 2 999 человек, но ведь были же и фрагменты

людей, не все же полностью тебе скелеты, начиная от черепа и кончая пяткой, много было — где-то полчеловека, где то человек растянут лесопосадкой: после войны массово, где больше всего костей было, чтобы скрыть эти следы войны, пускали трактора, которые делали лесопосадки. И представляешь, плугом солдатики разбивает на десять метров? Здесь череп нашел, дальше пошли — косточки, ребрышки, там еще что-то... На десять, на шесть метров растянуто порой. Но тем не менее искали их, искали. Захоронили мы тогда около 3 000 человек, две большие могилы в Мясном Бору вырыли.

И по итогам этой Вахты памяти мне было предложено стать делегатом 13-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Поскольку у меня были самые лучшие результаты по всем трем лагерям, организация хорошая, мне предложили командировку в Северную Корею, в Пхеньян, представлять Советский Союз, Я, естественно, не мог отказаться от такого, тем более у меня отец в Корее воевал. И я с удовольствием согласился, поехал... Приехал оттуда — у меня уже терки начались в аэроклубе моем родном: ну как так, у нас сборы подготовлены, соревнования, каждый день прыгаем, в четыре часа утра собираемся в аэроклубе, пока ветра нет, чтобы приехать на аэродром отпрыгать, а я по каким-то заграницам шастаю. Представляешь? И вот такое мероприятие, конечно, этот Фестиваль молодежи... Ну представь себе сам, я его только по телевизору видел, когда в Москве был фестиваль, допустим, а тут — Северная Корея, тем более самая закрытая страна в мире. И я все увидел своими глазами, как они живут, чем живут, это очень интересно, конечно.

И, кроме того, среди делегатов наших советских как-то образовался кружок афганцев, ребят, которые прошли Афганистан. У нас же делегация большая, больше 100 человек было, и афганцев, человек, наверное, двадцать из них. И я сразу с ними состыковался, они меня в свое солдатское братство приняли, а главное, я взял с собой объемную папку, ну, обычную, на завязках, бумажную, с фотографиями по моей работе поисковой. Очень много было фотографий.

И когда мы собрались в номере, естественно, — бутылочка, закусочка, какая была, они по своей традиции афганской... Встает один, допустим, со стопочкой: я такой-то гвардии сержант, воевал в Афганистане в 85-86-м годах, такой-то полк, такая- то бригада, и вот

так по очереди. И доходит очередь до меня. Я встаю: «Ребят, я в Афгане не воевал, не был я в Афганистане. Но я напрямую связан с войной, я занимаюсь поисковой работой». — «А что это?» Я говорю: «Мы ищем солдатиков, без вести пропавших в годы войны». Рассказал про историю 2-й ударной армии, как она попала в этот котел, как Власов бежал из армии и не сразу сдался в плен, а где-то через месяц... «А чтоб было понятно, лишних вопросов не задавали — вот вам моя папочка с фотографиями». И на меня вот эти мужики, которые войну прошли, уже совсем другими глазами смотрели. И это поразило. Они поняли, какой работой я занимаюсь.

Ну и, короче говоря, по итогам визита в Пхеньян приехал ко мне из Новотроицка Оренбургской области товарищ мой, Николай Исаев, который первый раз приехал посмотреть, потом приехал уже с ребятами, организовал отряд — и он ездит до сих пор, один из сильнейших отрядов «Долины». Новотроицкий отряд, он так и называется — «Уралец». Нотом был из Боровичей, из нашей области, отряд «Звезда», с ним много лет ездил. А потом... Многие же уходят почему: бытовуха заедает, а поиск — это что? Это найди время, найди деньги, чтобы выехать в лес. Купи продуктов, купи снаряжения, ты оторван от родных, у многих родители уже престарелые, семьи. Многих эта бытовуха заедает, и у них уже сил нет, и просто-напросто они уходят из поиска. Я в какое-то время завязал, потому что у меня в 2003 году инсульт был, хорошо, в дерево не превратился. У меня пропала выносливость и сила. Вроде все нормально, адекватно, я по новой учился ходить, по новой учился говорить, по новой учился машину водить — все по новой. Выкарабкался, но с лесами подзавязал, это было тяжело.

А тут, года, наверное, три или четыре назад, Анатолий Константинович, командир наш, и Александр Анатольевич Новиков — его уже нет в живых, умер, — приходят ко мне и говорят: «Андрей Иванович, что-то ты в лес перестал ездить. Нам это обидно! Надо тебя как-то вытащить». Я им: «У меня здоровья нет, куда там, ребята». А они говорят: «Мы тебя посадим на уазик!» А я фанат машин — проходимых машин причем — и говорю: «Здрасьте вам! Я на вашего убитого старого уазика никогда не сяду». — «А если мы тебе новенького подгоним?» — «Не понял». — «Нам, — говорят, — "Долина" выдала новенького уазика, мы ищем водителя. Давай к нам,

у тебя хорошо получится». И купили меня этим уазиком. Все, теперь по лесам езжу с ними. Ну, правда, я уже так в поиск не хожу, как раньше ходил, потому что одно время я занимался...

После того, как у меня конфликт вышел в коллективе аэроклуба, я был вынужден уйти. Немало руку к этому приложил наш новгородский журналист, не буду его фамилию называть, который брал у меня интервью после приезда из Пхеньяна, и прозвучала фраза у меня такая, что я с немцами там встречался тоже, я хотел их привлечь, чтоб они своих копали, мы же немцев тоже находим. Кроме того, если бы они ездили к нам работать, дополнительное финансирование от них бы тоже было какое-то.

Такая интересная история в Пхеньяне произошла с немцами, я сказал: «Возможно, и у немцев был какой-то солдатик, который не хотел воевать, а вы его пригнали туда». А этот журналист написал: «В том числе надо немцев копать потому, что не все они хотели воевать!» А Каберов Игорь Александрович, мой непосредственный начальник, Герой Советского Союза, летчик-истребитель, воевал на Ладого, на Балтике, защищал Ленинград. Если ты смотрел фильм «Балтийское небо», старый такой, то там есть летчик Кабанков — его прототипом был Игорь Александрович. И он, когда прочитал это интервью: «Да ты видел хоть одного немца живого, в войну?! Ты что такое, ты, что ли, выродок?»

Я был вынужден уйти. А куда идти? Ушел работать в «Долину», там только-только появился штат, я был первый штатный работник экспедиции. Я был зав. по технике, отвечал за технику, потому что с техникой был всю жизнь и до этого связан. Ну и, работая в «Долине», организовал группу — мы самолеты поднимали, летчиков поднимали. Болот-то много у нас, самолеты в них падали... Таким образом подняли четырех летчиков, после чего группу мне пришлось расформировать. Причем никогда не думал, что так получится, просто группа моя меня обманула однажды. Бывает такое, просто они нечестно поступили по отношению ко мне, а я человек прямой, резкий, собрал их и говорю: это как же так получается, у нас же был договор. Дело-то такое, житейское: каждому хочется найти что-нибудь интересное. Пистолет, например, у меня никогда не было его, никогда, и до сих пор нет. И им хотелось. И мы договорились: «Если поднимем летчика (они все с оружием были), пистолет, — говорю, —

давайте делить по-морскому: кинули по два пальца, счет идет по часовой стрелке с командира, на кого выпадет, того и будет пистолет».

Подняли мы летчика Головкова. Орден Ленина. Партбилет, все при нем. Я говорю: «А где же пистолет?» — «А его не было!» Я говорю: «Как же не было, мужики, что ж вы говорите!» Во-первых, он был в меховом комбинезоне, который наглухо застегивается, гимнастерка, естественно, туго затянут парашютными ремнями, и, когда самолет упал, он находился в кресле, у него от удара оторвало руки и ноги, и голову тоже, мы только тело вытащили. И вы мне говорите, что?.. «Пу, может, пистолет выбросило ударом...» И они меня убедили.

А спустя, наверное, год мои же товарищи лесные говорят: «Как тебя хитро твои обманули...». Я говорю: «Не понял». — «Да, — говорят, — пистолет-то был у Головкова». Я их сразу собрал: «Мужики, колитесь». — «Да, был». — «А почему вы так нечестно поступили?» — «Да понимаешь, так сильно захотелось, глаза загорелись, то да се...» Я им: «Мужики, а как я могу теперь вам доверять, а? Я вот буду на болоте тонуть, вы меня будете спасать — я не знаю!» А тонули на болотах на тягачах, и горели на болотах на тягачах. Я говорю: «Как я могу вам доверять? Вот тебе, тебе, тебе, вы же были в сговоре против меня. И поэтому я с вами не могу работать. Для меня, вот если вы мне сделали добро — хорошо, я вам три добра отдам, но, пожалуйста, не надо мне под дверью кучу ложить. Потому что мне это обидно, и вы для меня никто».

Так и получилось, один остался. Потом в 93-м году офицеры Псковской дивизии ВДВ, они же сюда ко мне на разминирование приезжали, я их по лесам водил, они уничтожали взрывоопасные предметы, предложили мне — у нас тут батальон образовался «голубых касок», Югославия, там платят доллары. Голодно было в 93-м году, а у меня трое ребятишек. Заработки не ахти были. Давай мы тебя направим туда, в «голубые каски»? Пу, повоюешь годик. Придешь весь в шоколаде, с баксами, то да се. Если моя зарплата на тот момент меньше ста долларов была, то там я получал восемьсот пятьдесят долларов. Пу и я рванул в «голубые каски», годик там отвоевал... Пу как, отвоевал... Мы-то порошу мало нюхали, наше дело было не допустить соприкосновения войск, перестрелок, войны. То есть мы, наоборот, останавливали войну. Контроль вели за вооружением, за

перемещениями техники, за всякими перестрелками... А потом, когда я год спустя вернулся в «Долину», я уже здесь никому не нужен был. Мое место было занято, я потыркался-потыркался, вынужден был уйти.

Куда идти, детей же кормить надо? Один наш спортсмен, бывший кагэбэшник, говорит: «Валера, у меня есть организация, там нужны с боевым опытом ребята», — и я к нему иду охранником в ЧОП. Два года продержался, и при этом в 95-м году, одновременно с ЧОПом, мне предложили вернуться в аэроклуб. Летать некому, летчиков нет. А у меня ж пилотское, и мне предложили должность командира авиазвена парашютной подготовки. И вот я, значит, с 95-го четыре года отработал одновременно в ЧОПе, командиром звена и одновременно — тоже наш бывший спортсмен занимался лесами, бизнес у него был. Бригада у него шесть человек, где-то покупал делянку в лесу, бригада валила лес, он нанимал лесовозы и продавал это, очень прибыльно было в то время. Он меня привлек к этому делу. И вот я проработал до 99-го года на трех работах. Сменишься, за баранку, пошел жрачку покупать, топливо, запчасти искать, чтобы их везти на делянку куда-нибудь за двести верст... Приехал в аэроклуб, тут предварительную подготовку надо, плановые таблицы составить прыжков, полетов... Сам летал.

А в 99-м году мне предложили — у нас «Дирол» завод построил по производству жевательной резинки, и я его уже охранял, когда в ЧОПе работал. Мне и говорят: «Что вы мучаетесь в охране? Мы же видим, что это не для вас. Приходите на производство работать». Я говорю: «Кем?!» — «Да хоть кем!» Я говорю: «Да у меня же специальности нет! Я могу летать, могу с парашютом прыгать, могу самолеты обслуживать, машины разные, то да се». А мне говорят: «Купите, — в то время это просто было, — удостоверение водителя погрузчика, и мы вас возьмем на склад водителем погрузчика». Я так и сделал — купил удостоверение, прихожу, со всех этих трех работ ушел в «Дирол». Там и страховка хорошая была, кстати, благодаря чему я и выжил. Если б не страховка, неизвестно, что было бы. И одновременно, когда я работал в аэроклубе, там была молодежь, мальчишки и девчонки.

У меня правило такое: я старался все свои группы пропустить через Мясной Бор, рассказать, показать. Может, кого-то заинтересует

поиск? Пусть ребята приходят молодые. И у меня был в аэроклубе свой отряд, назывался «Парашютисты». А почему «Парашютисты» — потому что мы когда в 80-х с Александром Ивановичем ходили — а много уже ползало и «черных копателей», мы как-то пересекались, не враждовали, вообще к ним относился более-менее терпимо, единственное, когда с ними разговаривал, я им поставил условие — мол, вы же наших солдатиков копаете, я знаю, что вам их косточки не сдались, вам нужны трофеи, а нам солдатики нужны. Пожалуйста, я не буду на вас милицию натравлять, сам не буду за вами охотиться, если вы наших солдатиков складываете в мешки и выносите к дороге, — а дороги уже наезженные были в самом Мясном Бору, я сам на тягаче ездил, — выносите и, если есть медальон, складывайте в мешок и записку пишите, что здесь медальон.

И точно, сработало. Еду, мешки стоят с солдатиками и записки: тут пять человек, тут три человека, здесь медальон. То есть это сработало! Много я тогда вывез солдатиков. И вот эти мальчишки и девчонки мои, отряд парашютистов, я командир был, продержался он как раз до 99-го года, пока я не ушел оттуда. Жалко, конечно, но, может, остался кто-то, кто до сих пор по лесам бродит. Мальчишки и девчонки, особенно девчонки, вообще огонь были! За таких не жалко и в огонь и в воду, как говорится. Вот это мой поиск. То есть все настолько переплелось и с жизнью, и с работой, и с увлечением...

А с солдатиками мне не везло лет семь. Я вот уже семь лет — до 87-го года отходил с Александром Ивановичем — столько солдатиков было поднято, ни одной фамилии мной не было установлено. Это же престиж, какое-то душевное равновесие обрести, чтобы найти солдатика, что ты не зря ходил, а если родственников найдешь — это вообще классика. А потом за один год, за 87-й, мне Мясной Бор выдал за каждый пропущенный год по солдатiku, я все фамилии прочитал. То есть он меня отблагодарил, будем так говорить.

Сейчас я уже не ходок, конечно, здоровье не то, страшно от лагеря далеко уходить. Пу, шестьдесят один год, сам понимаешь, да еще после инсульта. По ребята все время зовут. Сейчас буду завозить отряд, переночую там ночевочку с ними, потому что интересно у костра посидеть, байки потравить, песни попеть... Какие мы песни поем военные у костра! Вот привезу отряд, переночую — и утром обратно.

Были случаи, которые в памяти врезались... Раз расплакался я у воронки, вот просто слезы текут, и все, было такое. Большая, глубокая была, от авиабомбы. Тогда еще такого не было, как правильно брать, чтобы каждого солдата... Короче говоря, воронка глубокая, края заплывают со временем, и они, получается, под слоем глины. Мы где-нибудь с краешку глину вынимаем, вынимаем, вынимаем, и когда солдатик — достаем. И попадаете мне край... я сначала думал, шинели. Это не шинель была, это был полушубок.

Я говорю: о, ребят, солдата кто-то полушубком накрыл. Давайте сверху всю эту глину уберем, а потом поднимем, и нам видно будет, кто там. В общем, подняли, а это ж все ведрами, цепочкой становимся, наверх подаем. Большой кусок мы тогда очистили. Я поднимаю этот полушубок... а там девчонка лежит, поверх всех мужиков. Девчонка, видно по зубам, молоденькая совсем, зубки беленькие, крепенькие такие. И толстенная русая коса, знаешь, цвета спелой пшеницы. С руку толщиной, через плечо и рассыпана по груди. На ней надета гимнастерочка, переходящая в платье через пояс, накладные карманчики на гимнастерке.

Я говорю: «Мужики, да это же девчонка...» Они мне: «Да ну, не может быть, это шерсть от полушубка!» Я: «Да блин, коса заплетенная». А они: «Карманчики проверь». Я левый карманчик беру, а нитки сгнили, клапан тронешь — в руках остался. Левый карман пустой был. Я правый беру, тоже клапан в руках остался, а карман оторвался — и медальончик так тык-тык-тык по грудной клетке и скатился прямо по гимнастерке. Открываю — он пустой. Вообще не заполнен был. «Ну, может это и не женщина!» Я говорю, да вы посмотрите, гимнастерка переходит в юбку. И еще на подоле юбки у нее были пришиты клипсы для поддержки чулок. Ты представляешь? Четыре клипсы для поддержки чулок. Говорю, мужики, ну это ли не доказательство? Имени мы не узнали, но врезалось в память надолго, конечно.

Это сравнимо с тем, как году в 92-м ребята на Госпитальной поляне накопили девчонок и всех положили в один гроб. Система такая, когда хороним, ведь для каждого гробов не напасешься, кладем, сколько влезет костей — черепа, ребрышки, руки и вниз кладут кости ног. 10 человек входило, как правило. А там девять девчат было в этом гробу. Обычно, когда хорошая погода, не закрываем крышками гробы,

эти останки, мы им даем солнышком нагреться. Чтобы пообсохли, так сказать, понежились. И потом, когда мы крышку закрывали этого гроба, мама дорогая. Косички, бантики, волосы-то сохраняются, это не как плоть. У некоторых даже заколки на черепах, шпильки какие-то. Представляешь? Девчонки, одни девчонки в гробу.

А еще у меня дома где-то хранится... У них же знаки различия были в первые периоды войны: кубари, шпалы у старших офицеров, у сержантского и старшинского состава были треугольники, такие рубиновые, эмалью покрытые. И тоже в воронке так же брали, убитых там было, наверное, человек двадцать. Так же краешек откопали, не я откапывал, там ребята стояли, и вот я поднимаю. А надо понимать, что, когда их захоранивали, санитарные захоронения во время войны, [нрзб], чтоб стеночки были, а сверху, бывает, даже лапником засыплут, а потом глиной закидывают, у нас глинистые почвы, бывает, на лапник сверху кладут тоже лапник. Вот здесь так же было, лапником были сверху укрыты и глиной... Нет, эта без лапника сверху была. И вот, значит, глину, мы отчистили, поднимаем... и я охренел. Солдатик сидит у стенки. Знаешь, как садятся, привалются так на корточках, руки вот здесь у него, но... «пила» так называемая, называли старшину всегда «пилой» в армии, потому что у него четыре треугольника как зубчики пилы были. И у него кубари эти на значках старшинские. И самое интересное, что под слоем глины нет доступа кислорода, и плоть-то как таковая сохраняется. И этот старшина сидит, все черты лица видно, кроме век. Веки только сгнили, и вот он глазами этими на тебя смотрит. А потом — как в фильме ужасов показывают, где за тридцать секунд красивый молодой человек превращается сначала в старика, потом в покойника, и потом голый скелет получается. Вот это все мы увидели воочию. Приток кислорода, он тут же начал обтекать постепенно, вся вот эта плоть была уже готова к тому, чтобы разложиться на кислороде, и все, один только скелет остался. Вот это мы увидели вживую.

Мистика — это для впечатлительных, я тоже много анализировал, потом и в прессе писали, и в ютьюбе какие-то рассказы выставляли типа: вот, слышим голоса, взрывы... Я ходил там много по Мясному Бору. Бывает, идешь вечером; ну, днем, куда-нибудь забуришься километров за пятнадцать, кругалю нарежешь, не успеваешь засветло. Тогда себе ищешь елку, кострище делаешь, я когда

уходил — всегда краюха хлеба была, чекушка водки, консервы, вот ночлег организуешь себе. Лапника нарубил — стеночку построил, веток сухих натаскал — лежанку сделал, дровища заготовил, они долго тлеют... Ничего не было.

И по болотам ходил, и по лесам по нашим заболоченным, и по борам, да где только ни ходил. Никакой мистики нигде не было абсолютно. Да я и не верю в это. Да, есть люди впечатлительные. Им что-то кажется, они что-то представляют такое, что здесь могло произойти. Я в первый раз с таким рассказом еще в 90-м году столкнулся. Тот такую ахинею нес, мол, солдат слышал, немцы там чего-то говорили, команды отдавали. Не может такого быть. Уж сколько мы бродили! Я считаю, что все это плод воображения. Это мое глубочайшее убеждение.

Сначала интерес был пострелять, побабахать, взрывать, потом я солдатику нашел. Он же человек был, солдатик, он наш, он же Родину защищал. А уж когда первый медальон прочитали, ребята его в болоте достали, — то вообще заинтересовались. Но самый большой мотив, наверное, ко мне пришел в 89-м году, уже после Вахты памяти этой всесоюзной, я уже из Пхеньяна тогда вернулся — дело в том, что тогда была договоренность с «Комсомольской правдой», я из Пхеньяна летел со всем составом программы «Взгляд». Я сначала к ним удочку забросил, сказал, ребят, мы находим фамилий очень много. А поиск родственников — ведь не было раньше интернета, сейчас проще намного, не были рассекречены архивы, баз данных не было. Трудно было искать. И я обратился к ним, мол, ребята, помогите нам, пожалуйста. Мы вам будем списки фамилий предоставлять с адресами, откуда они призывались, в медальонах же есть, откуда кто, год рождения, воинское звание... Но они вообще наотрез отказались. Я говорю, у вас такая популярная программа, весь Советский Союз смотрит, кто-нибудь да откликнется. Он узнает, где близкий человек погиб, как погиб, где он похоронен, это большое дело! Не согласились. А согласилась печатать, это не моя договоренность была, списки установленных имен печатала «Комсомольская правда». Мол, вот, поисковиками были обнаружены такие-то, и список.

После Вахты памяти, которая закончилась 9 мая, у меня была куча медальонов, которые я не рискнул развернуть в Мясном Бору. То есть их трудно было развернуть при таких условиях. Уже надо было

иголочкой, освещение хорошее, некоторые медальоны сильно сгнившие, с ними вообще трудно работать было. Самым классным специалистом был Сергей Сергеевич Котелевский, кто с ними работал. Я тоже был опытный уже. И у меня было десятка полтора таких медальонов, я вечером дочку уложу спать, на кухне сажусь, такие маленькие тисочки к столу прикручиваю — ведь из медальона, бывает, бумажку не вынешь — к стенкам прилипла. А тащить нельзя, вдруг ты ее порвешь? Как ты ее оттуда вытащишь?

И что делали: у медальончика доньшко спиливали, чтобы цилиндр получился, в тисочки зажимали, а он же эбонитовый, хрупкий, в тисочках так — хоп! — и он на три части распадается. И бумажку легко извлечь. Вот таким образом один медальон я достаю — обычная серая бумага, оберточная какая-то, просто рваный кусочек такой, и там четко-четко карандашом, жирно написано, как сейчас помню: Барашкин Петр Амвросиевич, не Амбросиевич, а Амвросиевич. «Правый берег», с буквой «к» на конце, ну, неграмотно писал, «Енисей, поселок Красмаш, барак номер пять». Отлично сохранился медальон, я его заламинировал аккуратненько.

И вот, значит, осенью идет экспедиция в Мясном Бору. И вдруг на захоронении, посреди всей этой церемонии, ко мне подходит пара людей старше меня. Это был 89-й год, мне тогда тридцать один год был. «Мы ищем Губанова Валерия Ивановича». — «Здравствуйте, я Губанов Валерий Иванович». Она говорит: «А я дочь Барашкина». — «Петра Амвросиевича?» Ее так поразило, что я помню. Пу, запоминается такое. Я говорю: «Господи, вы нашлись, слава богу!» И вот мы вечером потом поехали в Новгород, всегда отрядов вывозили много, это тягомотина такая, они меня дождались, жили в гостинице «Круиз», там же и штаб «Долины» был, и вот, значит, мы в кафешке сидим, по рюмочке налили, они рассказывали... И вдруг я вспоминаю: «У меня же медальон!»

Метнулся в свой кабинет, нашел этот бланк, тот, что ее отец своей рукой писал, а медальона-то нет! У меня пустых медальонов коробочка была, я выбрал один, прихожу в кафешку и говорю: «Вот, это то, что отец просил передать вам. Вот из этой записочки мы узнали, что вы существуете». Как она плакала. И потом я отдаю капсулу и говорю: «Понимаете, чтобы извлечь эту записку из медальона, пришлось медальон испортить. Мне пришлось расколоть

его, он не сохранился. Но я вам дам точно такой же, они все одинаковые».

И она мне такую историю рассказала. Говорит: «Я никогда не любила "Комсомольскую правду", я ее вообще не читала. А муж у меня, наоборот, любил "Комсомольскую правду", ну и "Советскую Россию", которую я обожала. И у нас было правило: мы вечером ложимся, две кровати сдвинутые, у него своя тумбочка, у меня своя, у него свой светильник висит на стенке, у меня свой. И он ложится уже спать, я ему: "На свою «Комсомольскую правду»", — не глядя подаю, он газету разворачивает и начинает читать. И вдруг меня спрашивает: "А вы до войны где жили?" Я говорю: "Поселок Красмаш". — "У тебя отца как звали?" — "Нетр Амвросиевич". И тишина. Я голову поворачиваю, он белее простыни лежит и смотрит на меня не мигая. "Отца твоего нашли!"»

Вот они и приехали. Очень хорошо пообщались, я их потом провожал на поезд, и тогда она меня обняла, поцеловала и спрашивает: «Валерий Иванович, вы не обидитесь?» Я говорю: «Наоборот, я счастлив, что вы приехали». Она говорит: «Зря вы сказали, что медальон не отцовский. Вы бы соврали, и это была бы святая ложь, мы бы свято верили, что это именно его медальон». А для меня такая наука была! Что есть, оказывается, святая ложь. Ложь во благо.

И потом я заметил одну особенность с родственниками, сначала меня это очень сильно поразило. Я многих родственников встречал, даже которых не я находил, в «Долине» работал — письма к нам приходили, отвечал, приглашал. Куда еще отвести человека? Ну, могилку покажешь. Хорошо, если есть данные, кто нашел, когда нашел, где нашел. Долго списываемся. Я им рассказываю, как доехать, то да се. Вот, например... не помню фамилию погибшего, у него жена, дочка и внучка, три женщины, я их в аэропорту встречал, родственников я всегда к себе домой привозил, стол накрывали такой, по-домашнему, чтобы можно было посидеть, помянуть, порассказывать. И потом уезжают — ой, как близкие родные! Будем переписываться, то да се... и пропадают. Один раз так, другие так же, третьи так же.

Даже вот Барашкина Нетра дочка. Для меня это было странно, но потом я все-таки допер: пока они не знают, где захоронен близкий,

где-то что-то тяготит их, камнем на душе висит, что они не знают. Многие ищут, стараются, сейчас много внуков и правнуков ищут, судя по форумам, очень много обращаются. А потом, когда узнают, побывают на могилке, многие привозят землю со своей земли, допустим, с могилы матери или жены, забирают отсюда землю — и все. И они-то свой долг выполнили. Ты понимаешь, у них камень с души скатился, и им уже... ну, тоже заедает, им уже не до этого. Не до общения вот такого. Я не обижаюсь. Главное, мы свое дело сделали, люди знают, где, что, как.

А у меня камень никогда, наверное, не свалится мой. Я деда своего не нашел, в Финскую погиб, причем за два дня до окончания войны. Вот у другого деда побывал на могилке в Казахстане, он в Чапаевской дивизии воевал в Гражданскую, в Великую Отечественную пошел на фронт, в 43-м пришел с тяжелым ранением и в 44-м году умер от ран, вот у него на могилке побывал. А по матери-то деда так и не нашел. Поэтому мой камень еще лежит на мне. Место, где он погиб, известно, время тоже, но все осложняется тем, что эти могилы фактически заброшены, трудно искать, но все равно искать надо.

До 89-го года поиск был... Да его не было как такового, редкие отряды, вот «Сокол», к примеру, ходили, они искали. Были еще отряды такие добровольцев, неофициальные, они не поддерживались. Мне мое руководство в аэроклубе запрещало в лес ходить: «Власовцев копаете там!» Представляешь, какое было отношение у ветеранов войны? Вплоть до того, что если вы не явитесь 5 мая в аэроклуб на прыжки (а мы уехали до 9 мая), то вас всех выгонят из аэроклуба. Я сказал: хорошо, товарищи спортсмены, я не хочу рисковать вами, езжайте, прыгайте, я останусь здесь, я до конца не доработал, воронку не взял, что-то не нашел — останусь здесь, Пу, спортсмены, к нашей чести — инструктора уехали, кроме меня, а спортсмены остались. И руководство не решилось никого выгнать.

Первое официальное захоронение солдата мне разрешили... мы же тайно хоронили до этого. Пойдем, там же в лесу закопаем его, звездочку поставим, крест или еще что-нибудь, а потом выносили в октябре все, по пять километров тащили эти мешки с костями. В 87-м году осенью было первое разрешенное захоронение. Тогда «Снежный десант» из Татарстана раскачал все это. Молодцы они, конечно. Мы

тоже первыми проводниками у них были, когда они приезжали большими группами, по триста человек привозили, как мы говорили — «татарское нашествие», мы им инструктажи проводили, водили по лесам, показывали, рассказывали. Потом поиск немножко финансировался. ЦК комсомола финансировал экспедицию «Долина», а «Долина» уже финансировала поисковые отряды по области, затем министерство обороны помогало, с техникой особенно, сначала нам выделили три автомобиля ЗИЛ-131 — высокопроходимые легкие грузовики, затем нам выделили четыре ГТ-Т, это транспортер-тягач тяжелый, затем два ГАЗ-66 стареньких, затем два КамАЗа бэушных. А потом нам еще дали техники, гэтэтэшек — это все армия передавала нам на баланс в ДОСААФ.

А сейчас армия как-то удалилась от этого дела, комсомол рухнул. Сейчас все на грантах, если не выиграл грант, то сиди себе ровно. А если тебе грант выделили, то ты должен его целенаправленно потратить. Допустим, купить машину, как ярославцы, например, купили. Им тут недавно грант выделили на создание музея, молодцы, хороший музей сделали. А если ты грант не выиграл? А желание-то такое же солдатику в лесу найти. Это же... что такое поисковая работа? Это диагноз у тех людей, которые этим занимаются. Как мы смеялись: с парашютом кто прыгает? Парашютнутые. А на дельтаплане летает кто? Дельтанутые. А кто по лесам ходит? Лесанутые. Вот это мы, лесанутые. Это уже диагноз! А если мы не выиграли грант, к примеру? И это что, нам опять скидываться на жрачку, на палатки, на снаряжение да на топливо? Это все из семейного бюджета идет. Вот это, конечно, тяжело. Это трудно, это не все выдерживают. Поэтому поиск сейчас сильно отличается.

Я понимаю, патриотизм воспитывать в молодежи надо, но сейчас, я бы сказал, огульно так втирается молодежи этот патриотизм. Именно втирается. Создаются вот эти поисковые отряды, где никто еще ничего не знает, не понимает, эти мальчишки и девчонки. Да, я тоже по школам ходил, рассказывал про поисковую работу, мол, интересно, то да се. «А вы можете наш отряд вывезти в лес?» — к примеру, спрашивают в какой-то школе меня. Пу, про старшеклассников. Я говорю: с удовольствием. Только вы должны собрать разрешения от родителей, что они разрешают своему ребенку со мной уйти в лес, допустим, на две или три ночевки, я за них

полную ответственность несу, затем вы должны найти машину, вы должны найти палатки, найти снаряжение, а за это многие просто не хотят браться. Хотят на готовенькое.

Ну и, кроме того, эти гранты. Система непонятная. Мне это не нравится, честно скажу. Очень не нравится. Это должно быть на государственном уровне. Хотя и говорил президент у нас, что да, хорошее дело молодежь делает, да, надо помогать... А кто поможет? Никто. Если раньше советская армия машины выделяла, технику выделяла, запчасти выделяла, то сейчас этого нет. Вот у вас есть грант, мы вам выделили три миллиона, покупайте запчасти. А что эти три миллиона, когда по области двадцать семь отрядов? Пшик получается. Только на тушенку и хватит. В то время легче было на этот счет, можно было договориться. В округе договориться, с техникой договориться...

Со временем все сложнее искать, но мы должны продолжать. Почему они валяются в земле? Кстати, многих земля уже приняла. От них не осталось даже фрагментов костей. Там все превратилось в землю. Бывает, копаешь саперной лопатой, и ты по срезу определяешь, что это были кости. Но в болотах-то все сохраняется идеально. Там плоть сохраняется! Поднимали летчика, он «впилился» в край болота, глубоко ушел, я так понял, был в крутом штопоре... И вот воронка глубоченная, везде глина, и что там найдешь — обычно ведро с водой чистой подаешь, чтобы детали отмывать. Колька Васильев работает, говорит: о, что-то нашел. Берет, а это кисть руки. Сухожилия, кости торчат... Дактилоскопию снимать можно. Он потом целый вечер у костра сидел, там по сто грамм выпили, мы ему: «Колька, ты чего?» Говорит: «Вот так с летчиком и поздоровался».

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ОРЛОВ

Моя судьба во многом отличается от подавляющего большинства, если не от всех вообще поисковиков. Поскольку, в отличие от них — ну, их кто-то куда-то привел, они как-то туда пришли когда-то, — мне не нужно было никуда приходить, потому что я родился в Мясном Бору в 48-м году, и едва я стал себя как-то осознавать — помню, в три года, — я видел вокруг: за каждым кустом что-нибудь лежало — снаряды, патроны. Там не надо было никуда ходить — перед домом была воронка, игрушкой у меня был 82-мм миномет, притащенный братом из леса, патроны вообще, казалось тогда — и довольно долго, десять, пятнадцать лет, — то есть патроны какие-нибудь немецкие, наши не было никаких проблем найти. По сути дела, казалось, что они лежат под каждым кустом. То есть кругом валялись боеприпасы и винтовки, мы, например, в детстве никогда не играли деревянным оружием — у нас было настоящее, но без прикладов. Почему без прикладов? Потому, что пацаны, побольше которые, постарше, те нормальное оружие имели, которое стреляло, ну а мы ходили на станцию Мясной Бор, там из леса вывозили всякую технику и в том числе собирали оружие — постольку-поскольку, потому что этого были там десятки, сотни тысяч единиц всего, а вытаскивали, конечно, сравнительно немного. Танки, тяжелое вооружение резали, пилили, в металлолом сдавали, а это — попутный сбор. По и при таком сборе этого оружия, винтовок там всяких, пулеметов лежала целая гора на станции, ну и у этого оружия были отломаны приклады, то есть это оружие старшим пацанам было неинтересно, хотя можно было стрелять и без приклада. По им не составляло труда в ближайших кустах найти то, что было в полном комплекте. По мы, естественно, просто играли в то, что нам, малышне, было доступно. Само собой, абсолютно никаких не представляло трудностей увидеть останки убитых.

Первый раз по-настоящему много я увидел, когда мне было шесть лет. Впервые брат взял меня с собой. Естественно, я просился давно еще, когда совсем маленький был, но понятно, что он меня не потащит в лес четырехлетнего, хотя лес начинался прямо перед

домом, через железную дорогу. Я тебе для того, чтобы ты представлял, что такое Мясной Бор, между делом, в разговоре покажу фотоснимок Мясного Бора 43-го года. Это было поле боя, то есть Мясной Бор представлял собой вместо деревни лунный пейзаж — там не было ни одного строения, было несколько блиндажей, а от домов там даже не сохранились фундаменты. Когда мы уже там жили — отец с матерью приехали в 45-м году в октябре, отец чуть-чуть пораньше, а брат, Николай Иванович, тот самый Николай Иванович Орлов, который был одним из первых следопытов Советского Союза (это без всякого преувеличения так), в 46-м году в Мясной Бор приехал. Он был старше меня на 21 год, я в семье единственный послевоенный, родившийся в 48-м году, а передо мной сестра — 38-го года, все остальные мои братья — их было четверо, самый старший — Женя, 25-го года рождения, который погиб в неполные 18 лет под Житомиром 27 ноября 43-го года, при освобождении Житомира, при второй операции освобождения, потом был Николай, 27-го года рождения, потом — Валера, 30-го года. Он подорвался на четырех противотанковых минах в 48-м году, в октябре. От него, по сути дела, почти ничего не осталось. Остался кусок темени с клочком волос, кусочек от живота и капли крови на кустах. Они вместе с Николаем ходили в лес, было холодно, решили костер развести, и Валерка — Валентин его звали, но домашние почему-то Валеркой звали, — он попытался разрядить мину противотанковую. Николай ему сказал, что не надо этого делать, что они давно лежат и ее не стоит трогать — может взорваться. Ну, так оно и получилось, она взорвалась, и взорвались еще три штуки, то есть это двадцать килограмм тротила. Четвертым по возрасту был Юра, который погиб еще раньше, в 46-м году: баловались, стреляли из винтовки в гранату, она взорвалась, и в него попал маленький осколок, царапина. Никто не придал значения, а у него столбняк, и все! Умер от столбняка.

То есть, когда я родился, то застал только одного брата и сестру. И вот этот брат Николай, который в 46-м году в Мясной Бор приехал... Дело в том, что после того, как он окончил ФЗУ, фабрично-заводское училище, на станции Котельнич, мы были эвакуированы в Кировскую область, в Котельничском районе была семья наша, мама с детьми со всеми, — он окончил там ФЗУ, и его направили работать там, я, честно говоря, не знаю даже, куда его направили, наверное, на

железную дорогу, потому что это железнодорожное ФЗУ было. И он опоздал на работу на двадцать, что ли, минут, а был уже этот военного времени указ, что за опоздание на работу... и там не разбирались в возрасте... ему дали два года лагеря. Отбывал он наказание, непонятно за что наказание, на Куйбышевском авиационном заводе, который производил штурмовики. Он вспоминал это время, говорил, что ему удалось послушать, посмотреть, поучиться многому от людей, которые там сидели, в этом лагере, — это были доктора наук, кандидаты наук, ученые, математики, физики, инженеры, которые многому его научили. Мы знаем, что при Сталине могли посадить за все что угодно. То есть он там хорошую школу прошел, но, когда война кончилась, в 46-м году он... он не знал, где семья находится, в эвакуации понятно — он со всеми был, а потом куда все делись, он не знал, он написал бабушке. Бабушка наша жила в деревне Ручьи Шимского района, это совсем недалеко от Новгорода, пятьдесят два километра, она там оставалась в оккупации, и вот она ему сообщила адрес семьи, написала, что семья уже живет в Мясном Бору.

В Мясном Бору как мы оказались? До войны мы жили в Новгороде, потом фотоснимок покажу, дом наш покажу, его, естественно, давно нет. Новгород был разбит, там сорок коробок осталось после войны, и жить было негде. А отец железнодорожник был, он дорожный мастер, и его, конечно, могли бы и в Новгороде где-то там оставить, в подвалах жили, в землянках. Но нужно было восстанавливать железную дорогу, она была снята, вся колея широкая, по которой сейчас ездят, — она была снята от Нодберезья, это в двадцати километрах от Новгорода станция, и до Чудова. Шпальная решетка лежала, а рельсы все были утащены на блиндажи, на перекрытия, и поезда по широкой колее у немцев ходили до Нодберезья. У немцев была база снабжения там, дотуда была колея, сохранялась. Нотом, соответственно, это все нужно было восстанавливать, и поначалу отец с бригадой — он был путеец — вынуждены были делать из этих обрезков рельсов, которые были по семь метров, по десять метров (стандартная длина рельса была двенадцать с половиной, того типа, который был тогда: Р-37, то есть 37 кг на метр рельса, — сейчас тяжелые, сейчас рельсы Р-57, Р-75); и вот собирали, ездить уже надо было, уже в 45-м году поезд ходил.

Мать приехала на поезде в октябре 45-го года на станцию, потом приехал брат.

И брат как раз... Вот первая находка его, когда он нашел на болоте лейтенанта нашего погибшего, принес медальон, — за ягодами его мать послала. Собирая ягоды, он увидел, что заблудился, сбился с дороги. Ну, знаешь, ягоды когда ищешь — вниз смотришь, и он от тропинки отошел, испугался, потому что вокруг — он это знал — было заминировано, и так просто нельзя было ходить. Но в то же время он уже знал, как мины разглядеть, растяжки проволочные. Потом мох более светлый, где мины были там, во мху, — ну, посмотрел, ничего такого нет. Осмотрелся и увидел лису, которая что-то там такое ковыряла во мху, там вот лежал труп лейтенанта. Он лису отогнал, подошел, говорит, страшно было, но увидел карман, уже нитки отгнили, и увидел медальон, палочкой достал... Это была его первая находка, принес домой, отец, естественно, знал, что это такое, он хоть в запасном полку был, то есть он не воевал, — железнодорожников, кстати, уже в 42-м году по приказу Сталина стали демобилизовывать из армии и направлять на восстановление железных дорог или на строительство новых, — но тем не менее отец был хоть и в запасном полку, медальон у него был, он привез его. Открыли, прочитали: парень был из Одессы, по-моему, родом, студент 2-го курса института им. Репина, то есть художник. Ношел добровольцем и пропал без вести, мать ничего не знала, но нашли по адресу, написали, пришло письмо зареванное, с благодарностью, конечно... Мать, по-моему, в то время в Молдавии уже жила.

Вот это была первая находка, и вот с этого у него начался такой поиск, и когда он меня в шесть лет взял — ну, мне было интересно, что он постоянно из леса что-нибудь приносил, то какой-нибудь наган, — наганы он мне отдавал, поскольку патронов к ним мало было, — то вальтер, то парабеллум. У меня игрушкой был миномет, я выходил, ручки крутил... Мне, конечно, интересно было, он взял меня, и я никогда не забуду; видимо, это была ранняя весна, потому что вообще весной хорошо ходить, травы нет... Ну, по тем-то временам там вообще все было, все эти траншеи, оно было как вчера, можно воевать было... Может, еще и трава не проклюнулась, а может, по другой какой-то причине — я запомнил, что черная земля... черная земля, никакой травы, кусты голые, и вот на этой черной земле, там... Дело в

том, что это сейчас все так заросло лесом, а тогда были огромные поля, поляны... Там две дороги в Мясном Бору, одна называется Прямая, а другая Кривая, ну или Северная и Южная. Южная — это Прямая, а Северная — Кривая. Натурально — Южная вот такая прямая-прямая, а вторая — та немножко с загогулиной. Эти дороги существовали до войны, а в войну это были основные пути снабжения, плюс узкоколейка.

Естественно, вдоль этих дорог было самое большое количество и техники, и убитых. Мы шли по Южной дороге, и вот я увидел эти поляны... ну такие, двести на пятьсот метров, двести на триста метров... на которых лежало по 500, по 600 человек, причем лежали иногда прямо буквально друг на друге, и что меня поразило — я уже в то время мальчик был, в общем, взрослый, и пропаганда была хорошо поставлена, то есть каких-то фильмов про войну тогда было огромное количество, намного больше, чем сейчас; и фильмы были, конечно, другие. Я смотрел, допустим, фильм «Она защищает Родину» или там... ну «Если завтра война» не показывали, и я его потом посмотрел... ну подобного рода фильмы, где всегда наши побеждали, немцы глупые, и мы их били пачками, а здесь вот эта картинка как-то не вписывалась в этот образ... У меня первая мысль: ну как же так? Где же немцы, почему наши, и это жуткое, конечно, впечатление, потому что в те времена — хотя прошло достаточно времени, ну то есть это 54-й год — в 44-м году там уже бои по освобождению кончились, а сама Любанская операция, в результате которой основные потери, и почти полностью погибшая 2-я ударная армия — это 42-й год с января по конец июня. Страшная картина... Дело в том, что там болотистые места, хрящевые соединения еще держали, и лежали не скелеты, а лежали целые люди, по сути дела. То есть туловище было такое объемное, только голова... голова — уже череп, если в каске, то волосы были, шапка зимняя — тоже волосы... Пу это вот череп, откатившийся в сторону, а так лежал человек, в одежде, оружие при нем лежало, все, что при нем было, как будто не прошло со времени их гибели более десяти лет.

И только в двух местах мы нашли по одному немцу среди вот этого огромного количества наших. В одном случае офицер лежал, в другом — солдат. Вот это впечатление я на всю жизнь запомнил, и, собственно, вот это было для меня таким... шоком. Вокруг жило много

людей, и те же самые пацаны так же ходили, что-то искали, собирали, вроде все были одинаковые, но почему-то у брата и у меня впоследствии, когда я уже стал более сознательным, — у нас было другое отношение ко всему этому, ну... Все ходили-ходили, в общем, проходили мимо этих убитых, кто-то и медальоны находил и читал, и никуда дальше это не шло. Более того, известны эпизоды, когда собирали эти медальоны шапками, и — по рассказам одной жительницы станции Спасская Полисть — доставали эти бумажки, что-то там на них написано... и из них самокрутки крутили, то есть вот такой у нас народ. Но, видимо, случилось в какой-то степени то, что наш старший брат Женя домой с войны не вернулся. О нем до 59-го мы ничего, никаких сведений не имели. На все запросы в Центральный архив министерства обороны мать получала такое вот письмо, что «Ваш сын Орлов Евгений Иванович в списке убитых, умерших от ран и пропавших без вести не числится». Ну, каждый раз она плакала, конечно...

Совершенно было непонятно, как это так? Брат был призван в 42-м году, в феврале, то есть ему еще было шестнадцать с небольшим лет. Семнадцать лет, будем говорить, едва-едва исполнилось. Он попал в запасной полк там же, в Котельничском районе, там есть такое село — Вишкиль, по-моему, — оно южнее Котельнича, там старые лагеря военные, там сейчас, кстати, лагеря отдыха детские оздоровительные, а это были на протяжении десятилетий военные лагеря, где и до войны там готовились, обучение проводилось, и в войну... Надо сказать, что жизнь там была очень тяжелая, то есть вот его от мамки оторвали, хоть там голодно было вообще, и эвакуированные из Нитера, из Москвы... Ленинград, Новгород и Нсков там были эвакуированы, и понятно, что нищета там была жуткая, и приток эвакуированных там усугубил положение ужасно. Мать говорит, что теперь знает, что означает поговорка «пошлю тебя туда, куда Макар телят не гонял» — это Макарьевский сельсовет в Кировской области, тогда был даже Макарьевский район, сейчас это просто Котельничский район; там нищета была страшная, если, мать говорила, ее бы не взяли поваром в детский дом — там детские дома были организованы для детей вот этих ленинградских, в основном для ленинградских, — то они бы просто умерли с голоду. И когда брат попал на обучение в запасной полк, там была просто голодуха. Они

жили в землянках, огромные землянки, по-моему, по 50 человек, мама вот так рассказывала: там нары, еды никакой, то есть ели они там... Тыловая норма была двести граммов, двести пятьдесят, как в блокадном Ленинграде. Причем это хлеб был такой весьма условно называемый, ну а все остальное — это такая баланда, то есть в принципе это не сильно отличалось от концлагеря. Ну не будем с немецким сравнивать, но в нашем лагере, в общем... И кроме того, у него обмундирования не было, не было постельного белья...

Есть постановление Кировского обкома, когда местную промышленность напрягают, чтобы хоть что-то сделать. Снаряжения не было, ремней не было, подсумков не хватало, это все местная промышленность в конце концов там изготавливала. То есть постельного белья как такового — ни простыней, ни наволочек, ничего. Как вот тебя призывали в чем, в том ты и ходил. В лучшем случае присылали потом б/у форму, простреленную, зашитую... то есть там ужасно, мать ходила за пятьдесят километров от того места, где мы жили, носила ему иногда какую-то еду, собирала. Женю в запасном полку продержали полтора года. Я думаю, что его просто берегли. Ну, жалко пацана, мальчишку... Он прошел курс обучения, ему присвоили звание ефрейтора и оставили обучать пополнение. Но потом, в 43-м году, в ноябре, в начале ноября — наши Житомир, Харьков... Киев к годовщине Октября взяли, Житомир и Харьков чуть попозже, но тоже в первых числах, и потом Киев отстояли, а Житомир отбили немцы, и вот второе наступление... То есть месяц где-то наши копили силушки, собирали... потери там были огромные, собирали опять пополнение, ну и Женю тоже под это дело взяли.

Вот здесь стоит рассказать, почему матери долгие годы не приходило извещение. Казалось бы: 43-й год, декабрь, уже учет был поставлен. Как позже выяснилось, причин было две: дело в том, что он попал во второе формирование 99-й стрелковой дивизии. Первое формирование уже стало гвардейским, эта дивизия, бывшая 99-я, сменила номер, но обе они были на одном участке фронта вот в этой Житомирской операции. И в этой дивизии, во втором формировании... потом было еще и третье формирование, и вот то, что они на одном участке фронта, в одной операции, — кадровики вначале смотрели в списки потерь первого состава. Почему мать не получила похоронку сразу после гибели? По простой, оказывается, причине. У нас везде

бардак, у нас везде небрежность, у нас везде кто-то что-то не так сделает, кто-то не так напишет, кто-то не так услышит. И получилось именно так, то есть когда я нашел, когда я увидел донесения о гибели брата в ОБД «Мемориал», все там отмечено, когда погиб, чего погиб, но дело в том, что домашний адрес... Вместо Кировской области написано — Курская область, все остальное правильно написано, и мать не могла получить извещение, так как отправлялось оно «на деревню дедушке». Потом кадровики просто не туда лезли. В конце концов в 59-м году нашли. Кто-то додумался в документы второго состава дивизии глянуть.

Может, судьба Жени, вот это вот все как-то на нас сказалось, но и без этого для нас, для брата Николая и для меня, никогда не было безразлично все это, понимаешь? Естественно, я стал с ним ходить, сам находить там что-то, но никаких поисковиков... тогда и слова-то такого не было. Но потом, когда в армию пошел, о нем писать уже начали, в «Литературке», в «Известиях», я помню, в армии 6 июля 68-го года в «Литературке» прочитал о брате. «Человек живет на полустанке», статья бывшего фронтового корреспондента Михаила Цунца так называлась. Естественно, у меня гордость была, я всем ребятам показывал.

После того, как из армии вернулся, я пошел — Николай работал на химкомбинате, и я туда же пошел. Художником-оформителем работал, числясь слесарем, так же, как и брат, потому что должности художника в штатном расписании не было. Брат хорошо рисовал и меня учил. Ну и, естественно, я стал ходить с ним в Мясной Бор, как и до армии ходил с ним. Тогда у него был школьный отряд, Николай некоторое время работал учителем труда в Подберезской школе-интернате, где с 53-го года мы жили. После Мясного Бора отца перевели в Подберезье. Это вот как раз немецкая база снабжения там была, огромное количество всяких мин, до 59-го года у нас весь лес за сараями был заполнен укладками минометных мин немецких и другим взрывоопасным железом. Не сразу все это взрывали, потому что слишком много, но потом уничтожили постепенно. Убитых там, в Подберезье, не было, а вот боеприпасов немецких валялось достаточно.

В Подберезье мой брат работал в школе, там создал школьный отряд, это 63-й, 62-й год. Я с ними ходил, с ребяташками пятого-

шестого класса. Ну я-то был постарше их, я уже в 63-м году в девятый класс поступил. Позднее, после армии, стал ходить с отрядом «Сокол», который брат организовал, был командиром. Я ходил с этими ребятами, но когда брат в 80-м году умер, 13 декабря, то, в принципе, вот это все подвисло в воздухе. Ну, клуб «Сокол», отряд «Сокол» известный, он гремел, но, когда не стало брата, все как-то пошло не туда: ребята продолжали ходить, но они как-то так... Кого с медальонами находили, того хоронили, а остальных... остальные оставались там лежать.

В 81-м году произошло такое, как я считаю, знаковое событие. В январе приехали ребята из Казани, из Казанского университета, «Снежный десант». Почему «Снежный десант»? Они в зимние каникулы ездили по местам, где воевали соединения: дивизии, полки, организованные на территории Татарии, и там проводили такие агитационные походы, с концертами выступали, собирали какие-то сведения, но это было всегда зимой, поэтому «Снежный десант».

Казанцы приехали для того, чтобы встретиться с Николаем, потому что о нем они прочитали в книге Рафаэля Мустафина (татарский писатель есть такой), книга о Мусе Джалиле. Николай его водил по лесу... Дело в том, что то, что в принципе случилось с Мусой Джалилем, где он точно попал в плен — до сих пор неизвестно, собственно, но Николай много раз и Рафаэля Мустафина водил, и других водил, примерно место было найдено, там на настиле машина редакционная разбита была, шрифт валялся, я тоже был на этом месте. Рафаэль Мустафин очень много писал о Николае, очень тепло писал о нем... Вот студенты из Казани и приехали в надежде встретиться с Николаем Ивановичем, но к тому времени его не было в живых. Они пришли на станцию Подберезье к дежурному, где тут, говорят, Николая Ивановичи Орлова можно найти?

Николай часто у матери был, мама наша там и оставалась, мы на станции жили, отец к тому времени умер, а мама так и жила. Дежурная по станции говорит: «Не знаю такого, но тут старушки есть, у нее фамилия вроде Орлова, вот, сходите...» А мы жили не на самой станции, а шестьсот метров туда, в сторону города, казарма была 1875 года постройки. Ребята пришли, там как раз был Валера, это старший сын Николая. Валерка тоже поисковик от Бога был, но его нет в живых сейчас... к сожалению, известная русская болезнь погубила. Не дожил

он даже до пенсии. Ну, Валерка, естественно, встретил их, рассказал много чего. Ребята, конечно, обалдели и говорят: «А можно мы приедем... ты можешь нас свести туда? На место штаба, где редакция была». Валера: «Конечно, сведу».

Они в августе приехали, в 81-м году. Приехали. Небольшой отрядик. Вот с этого все началось. Вот если бы казанцы не появились в Мясном Бору, неизвестно, что бы было. Не было бы такой экспедиции в Долине, которая сейчас есть, которая везде гремит, все на нее ездят, ее бы не было просто. Дело в том, что эти ребята, они какие-то другие, понимаешь? Вот те, кто жил в вот этой зоне, ну, они... нельзя сказать, что равнодушны или циничны... но для них это было привычно; ну, лежат убитые, наши там, немцы. Кто-то и не разбирался, наши, не наши лежат. А вот они, когда увидели, когда он их туда привел, 81-й год, тогда еще было... Сейчас, конечно, такого уже не увидишь. Тогда вообще убитые лежали везде, убитого найти не представляло проблемы, вот идешь — в болоте, если во мху, то местонахождение определялось очень просто — на этом месте был не мох, а кочки с травой, и трава такая зеленая была. А если на сухом месте где-то, то торчали ботинки, каска, череп виден был. Понятно, что уже ребра упали, так это все под листьями, но ботинки торчали, череп торчал. Сейчас, конечно, уже верховых останков практически найти уже... крайне сложно. То есть уже даже от костей ничего не остается. В прошлом году осенью мы нашли солдата, медальон нашли на болоте, и вот — пригоршня, четыре фрагмента от крупных костей — больше ничего. То есть сейчас уже все это настолько разложилось, тем более кислые почвы здесь. А тогда это было — пожалуйста. И то, что они увидели... Они вообще пришли в шок! Казанцы сказали, они дали клятву: «мы будем ездить сюда столько, сколько понадобится, и будем привозить сюда столько народу, сколько нужно будет, чтобы собрать и похоронить всех». Ну, они наивные, конечно, потому что собрать всех совершенно невозможно. Если 2-я ударная потеряла до ста тысяч, 52-я, 59-я вместе, совокупные потери этих трех армий... Понятно, что основные потери — это 2-я ударная, это гигантская цифра. Тем более, ну, ты сам понимаешь, кто-то наверху лежит, а кто-то в траншее засыпан, кто-то в воронке. Воронки... Воронки уже многие вычищены, потому что если первое время собирали только тех, кто наверху, то потом стали воронки выкачивать, вытаскивать все

это... постепенно процесс шел все глубже и глубже, и блиндажи там раскапывают, но все равно это гигантское количество людей, которых собрать и похоронить невозможно.

Тем не менее казанцы стали приезжать, 30 человек, 40, 50, 100... И к 86-му году они приезжали в количестве под 400 человек, и не только студенты университета, уже и пединститут подключился, Набережные Челны, КамАЗ, еще целый ряд ребят из Татарии. И вот они стали тем камнем, который покатился с горы, и я, кстати, сразу с ними, я в первый поход с ними не ходил, а вот во второй, когда Валера их привел, я с ними познакомился и сразу увидел, что ребята другие. И я стал с ними ходить, и не только я. У нас создалась такая группа из парашютистов Новгородского авиаспортклуба, мы ее называли «Намать», она никак официально не зарегистрирована, но такая группочка была. И мы стали с ребятами ходить — ну вот наши парашютисты, вот как раз в районе Мясного Бора, — мы стали проводниками, потому что сами они в лесу... одного Валерки им, конечно, мало было, надо было огромное количество людей водить; мы стали их водить, стали их проводниками.

Когда дело дошло, это 86-й год, мы в лесу организовали захоронение, есть фильм, кстати, «Горечь», который снял Сережа Нестрецов — один из них, фильм завоевал первое место на всероссийском конкурсе, — это вот наше захоронение в лесу, и тогда состоялся разговор, что надо бы создать такую совместную экспедицию, причем татары немножко одеяло на себя тянули. Я говорю: «Ребята, экспедиция должна быть здесь, в Новгороде, штаб ее в Новгороде должен быть», — такой состоялся разговор, на котором казанцы предложили название экспедиции: «Долина». Почему «Долина»? Потому что там есть место — Долина Смерти, и они, когда ехали сюда, они говорили: «Мы едем в Долину»... Долина. И единодушно буквально было сказано, что экспедиция должна носить имя Николая Ивановича Орлова, первого следопыта.

Самое интересное, что возникло... у нас, допустим, клуб «Сокол», — клуб, уже не отряд, а клуб, — они очень ревностно относились так к этому, что, мол, мы тут первые, это вот какие-то татары, что они тут делают, это наша земля... Я говорю: «Это такая же и их земля». У них деды тут воевали... 2-я ударная, кстати, формировалась — многие подразделения — именно там, на территории Поволжья, Татарии. Я

говорю: «Они хоронят всех, а вы, ребята, извините, только тех, у кого медальоны». Но, в общем, эта ревность, слава богу, прошла, и сейчас в общем-то все объединились под знамена «Долины», и «Сокол» — часть «Долины», и другие отряды. И вот это все привело к тому, что в 89-м году, когда было предложение организовать Вахту памяти всесоюзную, исследовались разные места, Калуга там, Смоленск, то да се...

Но поскольку у нас уже существовала реально огромная масса людей, которые ходили по местам боев, и уже огромное количество находок, то было решено провести всесоюзную Вахту памяти в Мясном Бору. И многие отряды, которые до сих пор существуют, впервые оформились тогда. Не только наши, новгородские, но и другие. Вот они приехали первый раз сюда, ну, допустим, девчонки волгоградские, и среди них Лена Цунаева, сейчас она руководит Поисковым движением России, она вот девчоночкой тогда, в десятом классе была, теперь — Елена Моисеевна. Теперь она крупный руководитель, а тогда впервые приехала. То есть все родилось тогда, вот то огромное движение, которое существует до сих пор.

Но что касается меня, я тебе достаточно популярно объяснил, понятно, что тут можно рассказывать долго, то есть, в отличие от очень многих, мне не надо было никуда идти, меня не надо было никуда вести за ручку, все это лежало у меня под ногами. И все это, все виденное вызывало вопросы, на которые я пытался найти ответ. Почему? Как это может быть? Почему в кино ты видишь одно, а вот здесь ты видишь другое?

Ответы самые простые. Люди у нас — мусор. Люди — это дрова в топке истории, туда кидают связками. Возьмем военнопленных. Ты знаешь слова, которые якобы сказал Сталин: «У нас нет военнопленных, у нас есть предатели». Сейчас уже пишут, что Сталин этого не говорил. Но, так или иначе, отношение к пленным в Советском Союзе было именно таким. Наши возвращались, проходили фильтрацию, потом они писали в анкетах до конца 80-х годов: «Был в плену». Те, кто оказался не по своей воле на оккупированной территории, должны были указывать в анкетах: «Находился на оккупированной территории». Их государство бросило, армия оставила! В чем они-то были виноваты? Ты знаешь, что эти люди были вынуждены платить за обучение? Не во всякий вуз их

принимали, но если принимали, то тот, кто был на оккупированной территории, должен был платить за обучение. Более того, его не могли принять в целый ряд вузов, связанных с армией, с секретными какими-то производствами...

На работу не принимали на такие производства. Это те, кто ни в чем не виноват, просто вот, армия «драпанула», что называется, — а они остались. Их потом немцы взяли и сослали. Кого в Прибалтику, кого в Германию, то есть как рабочую силу, и потом, когда они радостно встречали наших освободителей, а им говорили: «А-а-а, сволочи, мы кровь проливали, а вы тут на немцев работали!» Было еще и похуже, без мата не обойтись, но я не буду так говорить... И более того, мы знаем, что наши солдаты немок насиловали, но есть факты, что пытались насиловать своих, угнанных в неволю оккупантами женщин! Есть документы об этом, не один и не два. Это как? Что это?

Вот я был в Японии, там у них тоже есть Вечный огонь, как и в других странах. Специальный павильон, и там стоит кенотаф, кенотаф — это символическое захоронение. И наверху, на внутренней стороне купола, карта мира. На карте мира изображены все места, где погиб хотя бы один японец. Какие-то острова в Тихом океане, и этот единственный японец там обозначен, имя его названо.

А у нас миллионы — фьют!

У нас пять миллионов с лишним без вести пропавших. И эти без вести пропавшие, в общем-то, на девяносто процентов никакие не без вести пропавшие. Они — погибшие. В других странах человек попал в плен, — допустим, англичанин, американец там, француз, голландец, например, он приходил из плена, его повышали в звании, его награждали, денежное содержание выплачивали за все время пребывания в плену. А у нас он получал вот что: «А-а-а, ты в плену был, скотина?» Ну, кого-то да, особо не прессовали, но многим — ох как доставалось! Фильтрацию прошли военные высокого ранга, генералы. Они даже после заканчивали академии, но если проследить их биографии, большинство из них были потом демобилизованы из армии, в 47-м, в 48-м году, хотя они еще могли долго служить. То есть это люди второго сорта. Только в нашей стране такое могло быть, чтобы погибших своих, погибших за Родину — вот так бросили, а тех,

кто выжил, но в плен попал, людьми второго сорта считали чуть ли не до конца жизни. Многие и не дожили до прощения за несовершенно.

В 69-м году министерство обороны доложило ЦК КПСС, что все убитые собраны и все разминировано. Сейчас какой год у нас? 2019-й. Еще не все собраны и далеко не все разминировано до сих пор. Если ты в лес пойдешь как-нибудь с нами, я тебе покажу не один, не два, не три снаряда, мин всяких разных, что до сих пор лежат. В силу разных причин это не было сделано. Но отрапортовали. Это у нас святое — благостно отрапортовать.

С одной стороны, боеприпасов было очень много. Не хватало оборудования, людей. Армейский миноискатель того времени позволял мину обнаружить на глубине от двадцати до сорока сантиметров, ну или чуть больше. А бомба, которая лежала на трех-четырёх метрах, снаряд крупного калибра невзорвавшийся на глубине метра полтора — они не обнаруживались такими приборами. Сейчас это все выдавливается землей, ну и плюс есть глубинные приборы. Сейчас вот мы пойдем с тобой по территории какой-нибудь деревни, которую обстреливали, и вот «глубинником» мы найдем сколько угодно снарядов калибра 152 мм, 203 мм и так далее на тех местах, которые обозначены как давно очищенные от взрывоопасных предметов.

В прошлом году, например, мы нашли бомбу 250 кг на месте бывшей деревни, в канаве придорожной, в правой стороне канавы у дороги: целенькую, нормальненькую, немецкую.

В 69-м году доложили, и тема считалась закрытой. Возьмем историю со 2-й ударной армией — основной силой Любанской операции, армией, понесшей очень большие потери. До 85-го года, когда впервые в «Советской России» была опубликована статья писателя Станислава Гагарина, написавшего потом книгу «Мясной Бор», этой армии как бы не существовало, ее имя нигде не упоминалось. Потом правду вроде бы начали говорить, писать, но до сих пор еще можно слышать: «А, это та самая — власовская армия предателей, которую он немцам сдал». Ставится знак равенства между советской 2-й ударной и Русской освободительной армией, которая была создана гитлеровцами. Да. Той и другой армиями командовал генерал-лейтенант Власов. Только вот армией предателей была РОА, а

не 2-я ударная. Хотя и с РОА не все так просто и однозначно. Не все и там были предатели. Но это тема для отдельного разговора.

Власов — однозначно предатель. Власов сам в плен сдался, и Власов без всякого сомнения предатель, а никакой не борец со сталинским режимом, как его некоторые пытаются представить. Всю его историю я подробно исследовал. Поэтому удивительно читать в академическом издании «Генерал Власов. История предательства», что якобы его отряд самообороны в деревне Туховежи окружил и сдал немцам. На самом деле ничего подобного. Да, Власов со своей любовницей, личной кухаркой Марией Вороновой, пришел в деревню Туховежи ранним утром 12 июля 42-го года. Да, там был староста, Василий Васильевич Васильев, но этот староста работал на партизан и поэтому благополучно дожил до своей естественной кончины, а не был повешен на березе у дома, как многие из тех, кто по-настоящему служил оккупантам. Власов не пришел к старосте со словами: «Товарищ староста, выведи меня к русским, к советским...» Напротив, ясно дал понять, что к советским он не хочет. Гитлеровцам товарищ генерал стал служить буквально на второй день. Есть показания свидетелей. Об этом у меня написан материал «Нуть в другую сторону». Его можно найти в интернете.

Деятельность поисковиков до поры до времени была отнюдь не поощряемая. Скорее наоборот. Только после Вахты памяти 89-го года стали звонить, бить во все колокола, стали славословить поисковиков... а до этого регулярно вызывали каждого из нас в КГБ и спрашивали: «Опять ходили?» — «Ходили». — «А-а-а, вот вы то-то нашли, с того-то стреляли, а вот зачем вы мины подрывали?» — «Ну как почему, за это медаль надо дать! Это ж не мы мины-то оставили, а мы их уничтожили, при этом не нанеся никому вреда».

Это отрывок из реально происходившего диалога.

Совсем «прищемить» нас не могли — уже не те времена были, но тем не менее постоянно, постоянно прессовали, подозревали в чем-то нехорошем. Брата моего Николая тоже в чем только не подозревали. Он и умер раньше потому, что чего он только не понаслушался. Мало того, что таскали регулярно, так ему еще одна скотина, секретарь райкома партии, сказала: «Да ладно, знаю я, как ты там, медалионы ты ищешь! Тебе родственники деньги за это платят». Брат очень тяжело это все переживал. Я помню, у него слезы на глазах были. Он жил с

семью детьми, семь человек детей у него, в 35-метровой квартирке, это было большое благо, что ему дали квартиру-то... Роскошное жилье, просторное... Семеро детей, Николай с женой Марией и отец Машин с ними жил. По три с половиной метра на человека. Шикарно! И при этом говорят, что тебе деньги платят... А когда родственники погибших, им найденных, приезжали, они, конечно... В гостинице дорого было, знаешь, два пятьдесят... К Николаю Ивановичу шли все. То есть это никак не поощрялось, разве что медальку к столетию Ленина брату дали. Большого не заслужил.

А то, что происходит сейчас, это вообще... В этом государстве, в котором мы сейчас живем, нет идеи, никакой. Идеологии нет. Ее отменили официально, и идеи нет, куда двигаться. Поэтому сейчас эксплуатируется эта тема: патриотизм, поисковики, Юнармия и т.д., и т.п. На самом деле все это фальшиво. И более того, сейчас на всем поисковом движении, везде, — уже есть целая бюрократическая структура. Везде чиновнички сидят. Я не хочу о них ничего плохого говорить, они, в общем-то, из поисковиков вышли вроде как, но далеко не все они такие уж прямо крутые поисковики. Сейчас уже гранты, соответственно, под это придумывается масса каких-то совершенно ненужных мероприятий...

Всё уже! Проехали, ребята. Это государство останется на века в долгу перед своим народом, и то государство, которое было до этого, советское государство, — оно не выполнило свой долг. Ну а это государство, оно просто в принципе примазалось сейчас. Оно пытается таким образом создать нечто святое на том, что никогда не принадлежало и не будет принадлежать ему. Это государство нынешнее совершенно ни при чем, никоим боком. Когда нам говорят, что мы должны гордиться славой наших отцов: мы — да, а вы — нет. Что ты можешь на это сказать?

Что с убитыми? Большая часть их, их сам Господь уже упокоил, и они исчезнут просто, их не будет. От них останется подкова на ботинке, ботинки тоже постепенно сгниют, патроны ржавые, куски кожаных подсумков — это то, что сейчас остается. Большинство из них никогда не будут найдены и похоронены. На мой взгляд, производить захоронения — перезахоронения так называемые, не захоронения, сейчас в основном их будут перезахоранивать, — ищутся могилы братские, по документам архивным, эти могилы

вскрываются, эти люди переносятся с места на место... Но я могу задать вопрос: а всегда ли это стоит делать? Я много раз уже об этом говорил, но все начинают пальцем у виска крутить. Но давайте ответим на вопрос. Братские могилы забытые остались и после Первой мировой войны, и после 1812 года. Что значит забытые? Этих людей в большинстве своем похоронили их боевые товарищи. Отдали салют, почести все, занесли их в списки, отметили, что могила, там, двести метров от перекрестка таких-то дорог лесных или чего... и, в принципе, они упокоены. Ведь, собственно, с таким уже успехом, — как это ни грубо звучит, — можно взять кладбище существующее, взять и перенести его на другое место.

Смысл в этом какой? Вот когда начали копать канаву, строить дом, дорогу, и наткнулись на захоронение, тут однозначно, тут никаких вопросов: берем, изучаем, что это такое, стараемся максимально обработать информацию, насколько это удастся. Здесь никто никого не упрекнет. Значит, сумели восстановить какие-то имена, может, какие-то остались медальоны, может, в документах нашли, в архиве, что это дивизионное кладбище такое-то. Всех переписали, — понятно, что при нашей системе захоронения, даже не советской, а русской системе захоронения, военной, практически, полностью восстановить кто есть кто, совершенно невозможно. У немцев — спокойно. Немцы, даже если они вы копали ров — допустим, 100 человек хоронили, — у них каждый будет лежать с промежутком шестьдесят сантиметров друг от друга, и над ним будет стоять индивидуальный крест, на котором будет написано, кто он. А на трупе будет лежать половинка медальона, в зубы ему воткнутая.

И вот, когда раскапывают ребята, — по немцам тоже ведь работают, у нас тоже есть отряд, который работает на Народный союз Германии. Это вполне наши, советские люди, русские люди — советских уже нет, — которые получают за это деньги... они работают. Каждый эксгумированный немец — в мешок, каждый подписан. Более того, у них специальный ростомер есть, сколько он ростом... описывается все, что можно описать. И естественно, вот это Вальтер Мюллер, а это, например, Ганс Браун, это там еще кто-то с конкретным именем и фамилией, — у нас этого практически восстановить невозможно. Общий список — можно. Но все равно надо максимально постараться восстановить имена. В этом случае да

— перенесли, и все нормально. А вот когда это делается ради того, чтобы численность обеспечить... что вот, такой-то отряд, он выкопал в этом году 500 человек, а другой — только 150...

Идет своего рода соревнование. Иногда доходит до маразма. Вот ты можешь себе представить, что останки могут покупать? Вот, допустим, приехал отряд из далекого далека, и им там их губернатор дал много-много денег. Они привозят сюда квадроциклы, у них пуховые спальники, причем они их потом половину бросят — не жалко, еще дадут. Но им надо отчитаться за найденных солдат. А накопать они реально не могут. Опыта нет. Времени мало и так далее. И они тогда у тех, кто может, — покупают. Вот тебе, пожалуйста, — вот такое даже есть. Вот это, на мой взгляд, — да не на мой взгляд, а на взгляд любого нормального человека, — это просто за пределами понимания.

Дальше, что касается верховых. Ну, ты понимаешь, идет поиск, ну вот ходят там... а-а-а, нашли. Ну нашли, значит, конечно, надо собрать, надо взять. Но верховых сейчас практически крайне редко можно найти. То есть представляешь, работает отряд, человек сорок. Они истратили кучу денег, кучу снаряжения, бензина, жратвы, водки выпили литров, я не знаю, двести, и в результате двухнедельной работы они собрали девять человек. Причем это даже останки девяти, они собрали некоторое количество каких-то не совсем понятных костей — фрагментов нескольких скелетов. Допустим, что все это действительно принадлежит девяти погибшим красноармейцам. Чаще всего там будет: безымянный, безымянный, безымянный... Ну, раз нашли, тут, конечно, надо забрать, похоронить... Но вот когда начинают могилы специально искать, их выкапывать и переносить, не перенося фамилии тех, кто там был погребен, даже тогда, когда, в принципе, можно найти, кто там именно лежит... Сейчас даже в архив идти не надо, залез в базу данных, нашел там какой-то один медальон, при раскопках обнаруженный, от которого можно оттолкнуться... В прошлом году, например, ребята копают, я уехал, а они мне звонят и говорят: «Вот мы нашли...» — «Есть медальон?» — «Есть». Я раз-раз: «А-а-а, — говорю, — это вот такие-то и такие там похоронены...» Я сразу говорю, вот — там еще такой, такой, такой... четыре человека. В этом случае всех установили, всех похоронили.

Когда просто берут братскую могилу, выкапывают ее и переносят в другое место... Мотивация такая — к ней нет доступа, она находится где-то, вот к ней люди не ходят... Ну а люди и не пойдут к каждой могиле, это могу точно сказать. То есть идет определенная погоня за численностью, вот этого не должно быть. Но доказать это никому нельзя. Это я такой вот — можно сказать, циник. В определенном смысле. А так начинают спорить — не-е-е, значит, тра-ля-ля, это святое... Я говорю: «Ребят, ну вы поглубже подумайте, что святое, а что не святое. И вы поймете, что не все — святое». То есть здесь очень все тонко, очень тонкая грань, которую легко переступить и от святого перейти к кошунству. Сейчас это случается постоянно. Более того, это бюрократическая надстройка, это все упорядочение, гранты, сейчас деньги идут... ну это я сказал — потому что идеи нет. Вот это вот вроде как подается: патриотизм, дескать, таким образом воспитывается. Только, правда, я могу задать вопрос: патриотизм по отношению к чему? К кому? Что такое патриотизм? Патриотизм — это любовь к Родине. Не к государству, а к родне, к своим близким. Никак не к государству. Родина и государство — понятия разные. Это государственный патриотизм сейчас воспитывается. Но он ничего общего с настоящим патриотизмом не имеет.

Но это уже сейчас не свернешь, абсолютно невозможно. Потому что сейчас это встроено в структуру государства. Под это даются деньги, под это получают деньги, и никто от этого ни когда не откажется. Понимаешь, я много раз так, в шутку, говорил: «Эх, если бы я знал, во что это превратится. Надо было бы мне всех вас удушить». Ну, это в шутку. Это неостановимо. Понимаешь, здесь очень мощно смешалось и одно, и другое, и плохое, и хорошее. Часто бывает, что, идя в такую экспедицию, в такой поход, даже толком не знают, что было в том месте, куда они идут, какие события там происходили. Придут поисковики куда-нибудь, из Москвы приедут, из Питера приедут, из Ростова-на-Дону придут, вот у нас, например, «сборная солянка» в нашем отряде... и вот когда ты начинаешь их спрашивать: «Ребята, а вот вы знаете, чего здесь было, как?» — чаще всего они очень слабое имеют представление, что здесь за события происходили, какое поле боя здесь, какая дивизия была, что за события, к чему они относились. Но тем не менее люди хотят найти хоть что-то чистое и святое. Это ими и движет. Потому что все, что

предлагает государство, — это фальшиво или же абсолютно не заслуживает нормального человеческого внимания. Ну что нам предлагают? Государство говорит — зарабатывайте деньги, чем больше у вас бабла, тем вы круче... А ты знаешь, это не каждому нужно.

Очень многие думают о душе какой-то. С одной стороны — современное поисковое движение можно назвать некой разновидностью военного туризма. Да, и это есть. Но, с другой стороны, это какое-то спасение, спасение души. Это заставляет о чем-то думать, ну, потом вот — единение людей, которых какая-то общность объединяет, понимаешь, что-то они находят тут, в этой компании. Не напрасно ведь берут и едут черт-те откуда ради того, чтобы провести неделю в этом лесу. Да, они соприкасаются с историей давней, не всегда уже — тем, кто молодой, — не всегда все понятно, но все равно вот это есть. И в этом залог того, что... ну что значит прекратить? Во-первых, самое интересное, это ведь начиналось-то само по себе, это ж не по приказу — товарища Сталина, или товарища Хрущева, или товарища Брежнева, или товарища Ельцина, или товарища Путина... Это не по приказу начиналось. Это люди сами начали, и только люди сами, скорее всего, это закончат — может быть, а может, и нет. Сейчас нельзя издать директиву — ну, вернее, можно директиву издать, что «под страхом уголовного наказания запрещается выходить на места бывших боев, заниматься поисковыми работами», — и так, знаешь, ограничений до фига уже. Сейчас ты, командир отряда любого, должен список составить, все должны расписаться, с паспортными данными, тра-ля-ля... отчет и т.д. Раньше этого ничего не было. Сейчас это все есть. Вот, допустим, издадут — ну и что? Ну, какие-то люди не приедут, а какие-то люди как ходили, так и будут ходить. Еще раз повторю: это не государство создало, и никто остановить не может. Никто. Только сами люди. Когда им станет это неинтересно или они вдруг увидят — а что мы, собственно? Что? Ради чего? Но в этом что-то есть. Что есть — я сказал. Для таких, как я, кому семьдесят лет, — ну, такие уже вымерли почти все, — это одно. Для тех, кому тридцать, двадцать, — это другое. В то же время мы где-то сходимся. Я знаю больше, они знают меньше. Я некоторые вещи, ну, могу даже над ними и поиздеваться, могу сказать, что все это чушь собачья и не надо... а они

считают, что нет. В определенный момент у меня было такое, что я выступал против, а потом я понял, что это бесполезно и, в принципе, каждый выбирает для себя. Вот то, что он считает святым, то он и считает. А если он считает, что это уже не свято, — ну, он сам должен до чего-то прийти, какие-то свои выводы сделать. Дело в том, что в это можно привести за ручку, можно привести, но один там останется, а другой больше никогда не поедет.

Там разные мысли возникают, были, например, случаи, когда мальчик там своего деда нашел. Это для него было шоком. Он сказал: «Я никогда не пойду воевать за эту Родину, которая вот так вот своего солдата бросила». И он... перестал ходить. Второй сказал: «Я больше никогда сюда не пойду». Другой придет. Но так или иначе, понимаешь, ну вот хотя бы... я искал своего брата до 2012-го, только в 2012 году я узнал, где его могила есть. Все эти годы я так или иначе что-то копал, копал, копал, копал (не лопатой — искал по документам архивным), то есть это не отпускает. Не у всех погибли какие-то родственники, ну, тем более что у молодых — ну, какой-нибудь там уже прадедушка. Это у меня, понимаешь, мой отец, он вообще 1903 года рождения, он даже для той войны уже старым был... У кого-то это дед, ну, сейчас у молодых это уже прадед там какой-нибудь... С другой стороны, это все-таки остается, а потом, есть, наверное, какая-то память в народе, которая — независимо от указов, приказов, директив, идеологии или отсутствия оной — просто живет, и она движет.

Не все способны понимать по-настоящему, допустим, кто-то сейчас из современных, даже тех, кто побывал на этих местах боев, походил там, — восторгается таким фильмом, как «Т-34». Для меня это... Во-первых, я вижу, что это калька, причем дешевая, с фильма «Жаворонок» — хотя и к фильму «Жаворонок» у меня есть претензии, там тоже все не такое уж настоящее, но по- другому, — а вот люди говорят: «Да ну, ты чего, Саша, да это такой красивый фильм, да смотри, как здорово». Да война-то не красивая, она красивой быть не может, она грязная, кровавая, подлая... Или, допустим, вот новый вариант фильма «А зори здесь тихие»: кто-то смотрит римейк, абсолютно похабный, и говорит: «У-у-у, о-о-о, а-а-а» — а меня тошнит. Но в то же время кому-то «Т-34» понравился современный, при этом во всем остальном он верно мыслит и рассуждает... То есть

это очень все сложно. Однозначно ни на один вопрос ответить нельзя, если говорить о таких темах.

Как может так совпасть, что человек находит своего деда? Да очень просто, почему нет? Таких случаев не один, не два, — или родственника, или соседа, односельчанина. Почему так происходит? Да кто его знает, это все равно что спорить о Боге, есть он или нет. Можно сказать, что-то свыше есть, что-то ведет. Вот тебе, пожалуйста, эпизод: вот находим медальон, деревня Мостки. Ну, вечер, значит, садимся за столом, народ окружает — казанцы. Я разворачиваю вкладыш бумажный, все, конечно... кто снимает, кто там чего... разворачиваю, читаю: «Алтайский край...» Нет! «Красноярский край, деревня Носпелиха, Курносов Федор Захарович». Сзади раздается крик, и девчонка падает в обморок. Потом, когда ее привели в чувство, она говорит: «Это же наш сосед, он же в соседнем доме с нами... Я из этой деревни, они же всю жизнь его искали и не могли найти...» Вот тебе, пожалуйста. И таких эпизодов, я говорю, — многие мне рассказали, а этому я сам свидетель. О том, что деда нашел, — это мне уже ребята рассказали, это было после.

Я вообще десять лет, после того как в 91-м году ушел, ну — по вполне понятным причинам, потому что появилась бюрократическая надстройка над штабом экспедиции «Долина», распределение денег... не всегда в правильную сторону. Человек появился, приподнявшийся изрядно на этих деньгах... Я увидел, что или я во всем этом несправедном деле участвую, или нужно уходить, чтобы в этой грязи не вывалиться. Я десять лет в лес не ходил, в Мясной Бор я просто не мог ходить, у меня... естественно, для меня это огромное потрясение было, и потом я в 2001 году — ровно через десять лет — пошел на охоту, ну просто что-то потянуло. Ну и с товарищем... Он лег спать после утренней охоты, а я говорю, пойду, пробегусь, сухой год был, весна, я вдоль речки... смотрю, отряд стоит, там казанцы... Девочка-дневальная меня спросила: «А вы кто такой?» Ну, я свою фамилию назвал, сказав, что вряд ли моя фамилия вам чего-нибудь говорит. Вдруг кто-то меня окликает от дальней палатки: «Александр Иванович, вы ли это?» Из старых поисковиков казанских парень оказался, помнил меня.

Ну, и они говорят: вот, Александр Иванович, нас поставили, да тут ничего нет. Я говорю: а чего это вы тут, тут немецкая оборона,

вон, идите прямо километра три, дойдете, там прямая канава, а за канавой сразу начинайте искать. И там, говорю, самолет найдете, По-2 сбитый, это для вас ориентир. Ну, они мало того, что самолет, они там и летчика нашли, оказывается, и летчик рядом был закопан. У него знак «Парашютист-инструктор» серебряный под номером сорок на комбинезоне сохранился, то есть это был один из первых парашютистов, документов у него никаких не было. По знаку ничего не удалось установить, потому что архив ОСОАВИАХИМа при эвакуации из Москвы в октябре, эвакуация тогда была, 26 октября, когда паника была, — документы ОСОАВИАХИМа сгорели. Машина сгорела, и все вместе с ней. А это один из первых парашютистов. Я пытался вычислить... Есть они все в разных книгах по именам перечисленные, но пока никакой след ни к чему не привел. Не совсем подряд фамилии идут, перескакивают.

Так снова начал ходить. По я уже в эту большую экспедицию... У меня сейчас есть отряд, в который я вхожу как рядовой поисковик: «Новгородская кадетская рота». Это такие вот старые товарищи. Женька Зыков из Казани приезжает, пришел семнадцатилетним пацаном, так он уже три десятка лет ездит каждый год, два раза в год, когда получается. Начинает уже «болеть», когда весна приближается или там к осени... Еще какие-то новые появились ребята. Вот я с ними хожу, я там так... Я там ничем не командую, но я ничего и не копаю. Я говорю, что я уже свое выкопал, не хочу копать. Я не хочу, понимаешь? С одной стороны, мне уже тяжело в семьдесят лет махать лопатой, а с другой стороны, морально это все... Когда я их находил, вот, они лежали, тут вот... сотнями, Но самое страшное, что сотню человек ты найдешь, а медальонов-то — дай бог если десять штук. Причем по разным причинам, вовсе не потому, что, как говорят: вот, мол, медальон — смертник... Ну, кто-то действительно не заполнял его, кто-то по каким-то другим причинам, ну, просто иногда их собирали с убитых, и они куда-нибудь... девались. Иногда очень печальные бывали случаи... Ну вот я сейчас тебе покажу снимок, когда нашли на минном поле — мальчишечка лежит, восемнадцать лет ему, возраст определяется достаточно просто, там, череп, ну не до года, примерно, по зубам видно, по черепным швам... И вот, значит, лежит парнишка, чуть-чуть опавшими листочками присыпан... медальон достаем, Николай начинает разворачивать, брат... чистый-чистый

бланк, ничего на нем не написано. Сидели и молчали. Вот это — очень жаль. Это очень тяжелое чувство, когда вот все вроде, понимаешь, вот, вот он... а главное, сухой медальон, чистый и... не заполненный. Видно, что не заполненный, следов пера или карандаша нет.

Вот о мистическом, вот второй эпизод тебе, пожалуйста, — 75-й год, нет, 87-й — октябрь месяц. Вот так же, как я тебе сейчас рассказываю, пригласили меня в зональную комсомольскую школу, тогда существовали такие школы... пригласили ребята в зональную комсомольскую школу, где обучался комсомольский актив всего Северо-Запада, то есть Вологодская, Архангельская, Мурманская, Новгородская, Ленинградская, Псковская области... Ну и я так же, как тебе сейчас, рассказываю всякие эти подробности, экспедиции... а у нас только экспедиция закончилась в августе-сентябре. Работали мы недалеко от Мясного Бора, есть там такое местечко — это вот уже наша оборона была, железная дорога и наши траншеи, медсанбат дальше... то есть оставалось выйти к своим двести-триста метров, поляна такая... ну, трофейщики называли ее «Непочатый край». А вообще у поисковиков она называлась Нодковой, в виде подковы и на карте была. Почему «Непочатый край»? Потому что там убитых лежало... Пулеметчик просто косил людей как траву. Куда ни глянешь — каски, каски, каски. Ботинки из земли торчат.

Пулеметное гнездо мы нашли, мне вот так гильз — по грудь, у немцев. И там, рассказывали те, кто выжил, — был такой Юрий Николаевич Фролов, партизан, он был в составе партизанского отряда, а воевал вместе со 2-й ударной армией, они выполняли у них функцию разведки, ну то есть они, местные, ходили там... И они выходили вместе с армейскими. Так он рассказывал, что бежал через это вот место, и там никто не просил раненый: «Товарищ, спаси, товарищ, помоги. Товарищ, добей», — стонали, понимали, что уже никто не спасет. Там уже... бежали друг по другу. Ну, всё! Вот, вот, вот, свои! Наша траншея совсем рядом.

И вот мы, значит, работали там, а там убитые вот, лежат, иногда в три слоя... У нас было тогда, тогда каски никому не нужны, это сейчас ты в лесу каску не найдешь. Тогда эти каски валялись горами. Натурально, гора касок, чего она там наложена? То ли немцы у пленных снимали, то ли... хрен его знает. И мы, где находили убитого,

ставили каску такую. И вот картинка такая inferнальная: вот раскончик там, где кости убраны, тут, тут... Знаешь, вот, как арбузная бахча. Вот так смотришь — очень впечатляет. Ну и я рассказываю про это все, как и тебе сейчас. Они говорят — а мы хотим сходить. Ребята, проблем-то нет, давайте... Ну, там и руководство этой школы — дадим автобус. Я говорю — ну там только надо сапоги, Мясной Бор — это Мясной Бор, там в ботинках только в самое сухое время года, и то не везде походишь. Они говорят — да мы тут у местных сапоги возьмем. Ну, там человек пятьдесят записалось, человек двадцать пошло. Пришли мы туда, ну и, значит, стоим, вот два раскопа, то есть расстояние между ними вот такое — метра полтора, не больше. Здесь — один, и там — второй. А посередине я стою. И они... я ничего не думал, ничего... Картинку красивую, сцену красивую не разыгрывал... Я говорю: «Ну вот, ребята, видите, где люди лежали в несколько слоев, и поэтому я не поручусь за то, что там, где я стою, еще один не лежит». Ничего не думая, честно, для красного словца сказал. Я щупом... ну, а щуп — это палка и штырь стальной. Попадаю прямо в кость. Четкий удар такой, ну, характерный звук такой — глухой. Подобный звук имеет дерево, если хорошо высушено, причем крепких пород, вот яшень, что-нибудь такое... ну, кость характерно звучит.

Я сам удивился, честно скажу, не ожидал того, что мои слова правдой окажутся. Вроде все подобрано вокруг. Ну и начинаю раскапывать, и, самое интересное, понимаешь, там очень многие были, ну, копаные уже, кто-то там ковырялся, а вот этот лежит целенький, вот он вот так навзничь упал, винтовка у него лежит, все там у него, подсумки, все вещи у него не тронутые. И вот мы все раскапываем... А сухо так, у нас сухая осень была, и вот там буквально вот такой слой листьев, небольшой, разгребаешь... Тем более тогда, 87-й год, еще все цело, весь скелет, все кости, все... Ну и, значит, естественно, а медальоны были или в нагрудном кармане, или в... Знаешь такой, пистончик называется, карманчик маленький в брюках... ну сейчас я не знаю, сейчас в брюках есть ли такие карманы, ну а в форме-то военной были. Всё осмотрели. Нет медальона! Во всех местах, где он может быть, — ну все, мы вот полностью раскрыли скелет от макушки и до... Вот — ботинки.

Ну и знаешь, такое тяжелое чувство, я говорю: вот, ребята, ни осталось от солдата ничего. Все стоят, знаешь... действительно шок. Я

говорю: ну ладно, давайте так прикроем его, мы потом его уберем, потому что у нас уже захоронения прошли, и мы, кого после этого находили, ну мы так, сложим, потом забираем. Ну, сложили и пошли. И вот ты знаешь, я десять шагов сделал, и такое ощущение, как будто эспандер меня сзади вот так вот тянет назад. Натурально, физическое чувство такое прямо!.. Я говорю: нет, ребята, что-то не то. Я разворачиваюсь, подхожу. Один раз только щупом ткнул — и попадаю точно в медальон. Видел медальон? Видел. 10 мм у него, 12. Вот в эти миллиметры я и попал. Иначе как чудом такое назвать нельзя. Этот медальон был в ботинке. В обмотках у него был. И я попадаю прямо в него. Ну, конечно, все тут... Достая медальон, естественно, руки трясутся, потому что уже страх, что медальон-то есть, а есть ли там бумажка? Открываю — там не стандартный бланк, а кусочек ватмана: белый, сухой. И карандашиком, очень четким, хорошим, красивым почерком написано, значит: «Свердловская область, город Миасс, улица Советская, дом № сообщить Ладновой Анне Ивановне. Ладнов Николай Иванович», 1909-го, по-моему, года рождения. Ну, естественно, тут радости...

Я тогда сотрудничал с радиостанцией «Юность». «Молодежный канал» такой был на «Юности». Ты, наверное, уже такую передачу не застал. Это был прямой эфир, то есть мне утром звонят, и мы, там Леонид Азарх — ведущий, мы разговариваем по телефону с ним, это сразу идет в эфир. Вот я ему все так рассказываю, как тебе. Зачитываю медальон. Буквально через полчаса, тогда мобильных не было, у меня раздастся междугородний звонок, он такой характерный, я снимаю трубку, там такое молчание, потом: «Александр Иванович?» Я говорю: «Да». — «Здравствуйте, и Юрий Николаевич Ладнов, вы нашли моего отца». Вот. Звонит его сын, его сын — директор механического производства Миасского автомобильного завода, ну это, по сути дела, отдельный завод, который двигатели производит к «Уралам», второй сын у него в Харькове, художник. Ну, он потом приехал, есть фильм такой, «Его зарыли в шар земной...», там есть сцена такая жуткая, конечно, как сын стоит над останками отца, ну, такую сцену сделали. Студия «Беларусьфильм» снимала в 88-м году.

Какое-то время после этого созванивались с Юрием Николаевичем. С Днем Победы друг друга поздравляли. Нотом как-то все сошло на нет. Проходит какое-то количество лет, много. Я думаю,

что, наверное, 2016 год. И вдруг я прихожу на кладбище в Мясном Бору — ну вот это большое кладбище — и вижу, появилось... так у него имя было на общей табличке, а тут появилась такая вот табличка небольшая, там портрет его, смотрю: Ладнов Николай Иванович, 1909-1942. Он, кстати, «пропал без вести». В архиве на него есть одна бумажка, розыскная, где семья запрашивает. Потом я уже нашел, что он был артиллеристом, сейчас не помню, какого полка, и вот, не дошел до своих двести метров... Двести или чуть-чуть побольше... Пулю в спину получил от пулеметчика и упал навзничь.

Я думаю, ну... свеженькая табличка, приезжали, поставили и не позвонили... Посмотрел так, приезжаю домой — раздается звонок: «Александр Иванович, здравствуйте, я Юрий Николаевич Ладнов». Я говорю: «Юрий Николаевич, знаете, я вот только два часа назад был на кладбище в Мясном Бору и видел...» — «Да, мы с сыном приезжали, сын в Ленинграде живет, значит, поставили... Что-то вам я не позвонил, но вот сейчас звоню». То есть вот понимаешь, я подумал, и он позвонил. Так что есть нечто, чего объяснить нельзя. Связь какая-то между людьми. Есть нечто, естественно, совсем не такое, как, может, тебе приходилось на «РЕН ТВ» видеть, эти бредовые сюжеты, что там солдаты приходят в виде тени, это все чушь, это чушь. Вот это сказки. А вот такие вещи, такие вещи вот реально со мной происходили.

Вот история интересная. Как-то пошли мы на бывшую узкоколейку 2-й ударной армии за реку Глушица. На то место, где когда-то рядом с ней был полевой госпиталь. Там много чего медицинского лежало: банки всякие, поильники для раненых, тазы, шины. Все это прямо на шпалах валялось. За несколько лет до этого похода я услышал от двух ветеранов, — оба они жили в городе Кириши, — они, будучи тяжело ранеными, лежали в этом госпитале. Когда наши ушли, раненых всех оставили — бросили, 2-я ударная уходила — оставила 9 000 человек. В медсанбатах, в госпиталях... Не вывезли. Часть пытались вывезти, но не смогли. Есть снимки немецкого фотографа 291-й пехотной дивизии Гундлаха, где им снят целый состав вагонеток с ранеными, стоящий на узкоколейке. Это как раз у самой Глушицы. Брат потом, в 47-м году, эти вагонетки нашел. Они там так и умерли.

По рассказу, было вот что: весь медперсонал ушел, медсестры, врачи. Остался один. Человек интеллигентного вида такой, лет за сорок, в белом халате. Белый чистый халат. Мы, говорят, лежим на поляне там... без палаток, без... ну там емкость госпиталя была что-то 500 человек, а в нем 2 000 человек лежало. То есть на подстилках, на носилках, на хвое там, на чем-нибудь... Доктор этот сел на пень такой — осина спилена, — ну, знаешь, когда дерево падает, раз, такая спинка получается, щепка такая стоит, и как стул получается. Сел, посмотрел на нас и говорит: «Ребята, кто может двигаться, отползайте. Сейчас здесь будут немцы». Ну и вот они вдвоем только могли... у них ноги перебиты были, но так они на руках поползли, и отползли они — ну, сколько могли. Ну, метров четыреста-пятьсот в кусты, в общем, в лес уползли... И через некоторое время действительно раздались крики, выстрелы там... Какое-то время там постреляли. Очереди автоматные... потом все стихло. Мы, говорят, лежали еще, сколько, не помним — два часа, три часа, — потом поползли обратно. Ну и увидели, что все постреляны — все раненые. И доктор... Как сидел, так вот поперек груди у него очередь из автомата, кровь течет... Но вот эта щепка не дала упасть.

Рассказ я этот хорошо запомнил. Подходим к месту госпиталя, это в 88-м году было, и тут видим — памятник. Свеженький. Металлическая пирамидка сварена... Свеженький, только поставлен. Две банки стоят, там много валялось посуды медицинской, тазы там всякие, поильники там, шины, чего там только... ну, место госпиталя, сам понимаешь. Банки медицинские такие коричневого стекла, и в них веточки елки, свежие, ну вот только что, недавно поставлены, даже вода в них есть, совсем недавно поставлены. На памятнике фотография на эмалике овальной. Все как по рассказу: интеллигентное лицо, возраст — сорок девять лет. Андрей Гаврилович Гаврилов. Фамилию ветераны не называли, вряд ли знали. Может, это тот самый доктор, что с ранеными до конца был, до последнего мгновения жизни? Подтверждения этому нет, но мне кажется, это так, памятник не на могиле поставлен, а там, где место госпиталя было.

Убитых там очень много лежало, воронки... Много доставали там, вокруг, потом там и врача нашли погибшего. В 2005 году, осенью. Документов при нем никаких не было. От скелета ничего уже не осталось, только инструмент медицинский и в сапогах — фаланги

пальцев. Больше ничего, от черепа кусок, зубы остались. Сейчас там стоит памятник такой капитальный, мраморный. Там есть указатель, что вот здесь, на этом месте находился госпиталь.

Первое время, ты знаешь... До 85-го года эти ветераны боялись говорить, что они во 2-й ударной служили, потому что эта молва, что, дескать, это армия предателей и Власов сдал армию. Например, когда стали встречи ветеранов у Большого театра проходить, ветераны 2-й ударной, мне один из них рассказывал, сталкивались с негативной реакцией. Ну, начинаешь же разговаривать: «Ты откуда, в какой армии служил?» — «Во 2-й ударной». — «А-а, так ты власовец, ты предатель», так вот бывало. А ведь 2-я ударная, она три формирования имела, под Синявиним второй состав погиб, а потом она уже блокаду Ленинграда окончательно ликвидировала... Она с Ораниенбаумского пятачка наступала и дошла до острова Рюген, ее третье формирование. Три формирования армии. И, говорит, очень, конечно, обидно было просто. Приезжали многие... Впрочем, как многие? Знаешь, это были не тысячи человек. Это были десятки. И совсем мало там было ветеранов из первого формирования. Ведь, смотри, из состава армии на 25 июня вышли до вечера, по одним данным, 4 600 человек, по другим — 6 000 с копейками. До 31 декабря 42-го года на разные участки Ленинградского фронта, Северо-Западного фронта, в район Старой Руссы одиночно выходили... То есть общая численность вышедших из окружения — 10 000 человек. Армия насчитывала до 150 000 человек, в принципе, 33 000 человек до 29 июня немцы взяли в плен. Погибшими на конец июня по письмам, не врученным адресатам, — 60 000. Ну и плюс еще до этого потери. То есть их осталось-то совсем ничего. А ведь, смотри, если их осталось ну даже, допустим, 10 000 человек, — но они же потом продолжали воевать, то есть остались считанные единицы.

В Мясной Бор на праздники Победы те, кто выжил, кто в плен попал там, приезжали, например, Нина Сажина — москвичка, бывший военфельдшер, старшина медицинской службы. Ее как раз утром 25 июня на болоте Замошский Мох в плен взяли. Они шли по настилу группой и наткнулись на немцев. Деваться было некуда. Улыбаются, руками машут: «Комм, комм! В плен иди, девушка». Потом из Донецка ветеран приезжал, Доценко, тот, по-моему, даже в Маутхаузене был... выжил. То есть совсем единицы. Они до 85-го года

боялись говорить, что они во 2-й ударной служили. Каждый год их приезжало человек, я не помню, но не больше двадцати. В основном одни и те же, иногда там кто-то новый появлялся, но это — в первые годы. Первый раз они приехали в 75-м году, когда тридцатилетие Победы, приехала группа ветеранов достаточно большая, человек тридцать, наверное. Но их никогда не было больше тридцати, точно не было. С каждым годом все меньше и меньше. Сейчас уже никого не осталось...

[...]

В один из походов... какой-то там 82-й год, наверное... мы вышли в Мостках и пошли на станцию Спасская Нолисть, за четыре километра. Тогда автобусы плохо ходили, из Спасской Нолисти поезд шел, Новгород—Боровичи, там он делал остановку... Мы пришли туда, еще до поезда какое-то время есть, а там брат жил, сначала в Мясном Бору, потом его перевели туда, и там меня все знали, хотя брата уже в живых не было. Мы пришли, и встретилась бабушка знакомая — баба Маня ее зовут, — она: «О, Сашенька, чего вы тут, в лес ходили?» Я говорю: «Да, ходили». — «Ну что вы, медальоны-то нашли?» — «Да нашли один». — «Вот, после войны медальонов-то этих, мертвяков-то лежало везде...» А там действительно, то место, где мы были, там поляны такие были, меня брат в 63-м году там водил, показывал... там вот так вот все усыпано.

«Ну, — говорит, — мужики-то ходили, косить же надо, а мертвяки- то лежат кругом, ну их вот, это, стаскивали, они уже тухлые, вот воронки там... крюками там всякими, веревками, стаскивали...»

А их действительно всех в воронки позакидывали, и они все... Кто в кустах лежал, тех не трогали. Осталось еще знаешь сколько? А воронки были там по 80, по 100 человек.

«Да там, — говорит, — цилиндриков-то этих было... мужики шапками носили». Я говорю: «Чего?» — «Да там бумажки какие-то...» Я говорю: «Как "какие-то"?! Это же вот, вкладыш...» — «Да, там что-то написано». Я говорю: «Так там же адрес семьи. Куда, в военкомат сдавали?» Она так замешкалась и говорит: «Да нет, — говорит, — бумаги-то не было, так мужики...» Бумажка-то удобная, видел бланк медальона? Ну вот, говорит, отрывали да самокрутки крутили. То есть представляешь, натурально человеческую жизнь так

— фьють! С дымом махорки. Ну, с одной стороны, ты понимаешь, вот все, кто вернулся... Кто-то в оккупации остался: те совсем другие люди были. Вот мне пришлось жить в Мясном Бору, откуда все жители были угнаны, а потом мы переехали в Подберезье. В Подберезье была база снабжения немецкая, жители там оставались, их никто никуда не угнал, ну потом там и в Латвию кого-то, но первое время они жили там, испанцы стояли, потом немцы, вернее, сначала немцы, потом испанцы, потом опять немцы. И там было совсем другое, совсем другие люди были. В Мясном Бору, вот те, кто шилом патоки хватил, они готовы отдать были последнее, друг с другом делились, несмотря на то, что у самого ничего нет. Вот эти, кто под немцами жил, — вполне прилично, более того, они даже из Латвии многие вернулись, — там хозяева, у которых они работали, напуганные советской властью, что советская власть вернулась, не дай бог скажут, что они плохо обращались с рабами своими, — они там и коров угнали, и лошадь, и повозку, и добра еще нагрузили, и... Они приехали — а эти нищие, эти голые, кто в таких местах, как Мясной Бор. Вот эти не делились последним, кто при немцах жил. Это были такие вот... такие вот. Так вот, ты понимаешь, по-моему, те, кто пережил совсем уж плохое, они столько этого видели, столько смертей, столько убитых, столько трупов, что они это уже не воспринимали никак. Это одни. А другим просто наплевать было. Третьи вообще... ну и слава богу, что это не я.

Те, кто местные, — очень многие ходили не для того, чтобы человеческие судьбы устанавливать и имена искать, а так, трофеями подразжиться. Винтовочку найти, «хабар» какой-нибудь, так это сейчас на жаргоне трофейщиков называется. Потом уже, когда рыночная экономика приблизилась совсем-совсем уже близко, когда стали там — за котелок немецкий можно там, или за каску немецкую... сейчас за дырявую каску можно сколько-то баксов получить, я не знаю, — стали просто собирать, продавать... Понимаешь, сейчас все смешалось, одно время было довольно четкое деление: «красные» следопыты и «черные» — трофейщики. А сейчас очень многие «черные» перешли в отряды «красных», одной рукой они медальоны могут искать, другой — «хабар» притыривать... Такое тоже было. Понимаешь, здесь очень много очень разных людей, но все-таки, по моим наблюдениям, те, кто приезжает из других

областей, не военных, у них какая-то другая... то ли другое восприятие, то ли другая совесть, то ли нравственность... Хотя среди них тоже сволочи попадаются, который и оружие вывозили, и попадались на этом, но в меньшем количестве, чем среди местных.

Обесценивание... В определенной степени да, потому что каждый из нас, прежде всего, как бы мы хорошо ни жили, — ну если слишком хорошо, то вопрос желания не стоит, а когда живешь ты на мизере, а после войны, естественно, в оккупированных областях, освобожденных от немцев, то есть люди и моего поколения, послевоенного, жили весьма, весьма скромненько, и им было, в общем-то, не до того — многим, — то есть люди элементарно вынуждены были заботиться о выживании, о том, что надеть, чего обуть, в чем школу пойти, как до нее дойти... Я сейчас смеюсь, там школьные автобусы, я каждый день ходил 2,5 км туда, 2,5 км обратно, 2,5 км туда, 2,5 км обратно, по пути собирая патроны, гранаты и прочее. Это первое. Второе, когда люди видят, что государству наплевать, и, более того, государство говорит: «Вы тут, типа, не суйтесь, это не ваше дело вообще», — ну, один кто-то пойдет, полезет. А другой скажет: «Нет, что я пойду, вдруг меня еще накажут». Люди по-разному устроены. Это тоже объяснение такое. То есть это сложный, очень, очень сложный клубок, который распутать... Ну, как и в обычной жизни: один человек вот видит кого-то на улице, женщину по лицу ударили — он вступится, а другой мимо пройдет. Точно так же и здесь. Найдя многих, ты относишься иначе, но это не значит, что ты становишься равнодушным. Дело в том, что, когда ты найдешь 50 человек и когда 5000, у тебя ровно во столько раз прибавляется понимания всего этого, и каких-то переживаний, если ты вообще способен что-то чувствовать, переживать. Ты можешь быть равнодушной скотиной абсолютно, ковыряться и не задаваться никакими вопросами. Я, например, вопросами всегда задавался. Я всегда старался понять: почему? Как? Узнать, что здесь было, какие операции...

Поиск не заключается только в том, чтобы копать лопатой. Поиск, если точнее, с копания лопатой только начинается. Вон, слава богу, сейчас есть интернет, там много можно найти, есть книжки, которые надо читать, и бывают вещи, которые связываются, ниточка связывается через десятилетия. Таких примеров много, вот ты дошел

до какого-то эпизода и дальше ничего установить не удастся, потом через тридцать-сорок лет начинаешь книжку читать, которая появилась недавно, и там находишь то, чего ты когда-то чуть-чуть вот попробовал, начало только нашел, а здесь вот — конец есть. Тебе стало понятно: что к чему, кто, зачем и почему.

Вот пример: смотри, у меня в архивной тетради записано, это летчик, который у нас здесь в плен попал. В 88-м или 89-м году, может, в 90-м, мы работали в архиве и изучали документы по самолетам, по авиации. И вот мы наткнулись на необычный эпизод: Герой Советского Союза, гвардии подполковник, летчик-инструктор по технике пилотирования дивизии, то есть опытный летчик, перелетает с аэродрома Плеханово в Ленинград, это совсем рядом. До Ленинграда не долетает, пропадает без вести. И ничего о нем не известно. В документах архива: пропал без вести — все. И вот, не так давно, я читаю книжку «Последний круг ада» и нахожу там Власова. О нем автор — Юрий Цуркан, летчик-истребитель, который прошел через многие немецкие лагеря и в конце концов оказался в лагере смерти — Маутхаузене, упоминает как об одном из мужественнейших людей, активнейшем участнике подготовки восстания узников. Кем-то из предателей Власов и еще несколько организаторов были выданы гестапо и уничтожены.

Но я нахожу два мнения о том, как и что с Власовым случилось: первое — что он заблудился при плохой погоде, сел на вражеский аэродром и был взят в плен. Второе — более красивый эпизод, что, дескать, он был подбит, у него загорелся бензобак, он в последний момент сумел выровняться, упал на лес, тяжело контуженный и раненный был взят в плен. Но я склоняюсь к первому, что он просто заблудился, потому что есть снимок: его ведут со всеми наградами, за ним идет немец, он совершенно не побитый. Представляешь, если ты на лес на самолете грохнулся, как?.. Явно ты не то что лицо поцарапаешь, но и другие травмы получишь. Но не это главное в этой истории, а то, что, встретив его фамилию в архивных документах много лет назад, спустя четыре десятилетия я все-таки узнал о его судьбе.

Это не связано непосредственно с нашей поисковой работой. Это просто пример того, как далеко иногда отстоят начало и конец истории какой-нибудь человеческой судьбы. То же самое по Мясному

Бору — многое прослеживается, через десятилетия узнаешь, благодаря тому, что появились документы в свободном доступе, это тоже поиски, кстати, очень интересные. Потому, конечно, что пережитое советским народом, вот эта война... Это я не знаю, это запредельная какая-то штука вообще. Это невозможно понять, это не вмещается в человеческое сознание, как бы ты себе это ни представлял, никакая фантазия — не то. И понятно, что, в общем-то, у каждого из поисковиков они разные — фантазии, представления — само собой, но они так или иначе с этим соприкасаются, одни глубже, другие мельче копают, но копают не только лопатой, пытаюсь что-то глубже понять. И, пожалуй, вот это знание какое-то постепенное, оно и не отпускает, оно подталкивает вперед, пока не явится очевидное, пока не дойдешь до конца.

Я могу привести такой забавный эпизод: я поскольку журналист, я пишу, говорю, чаще всего рассказываю и пишу о войне, о том, что пришлось пережить в лихое время разным людям. И вот я рассказываю про генерала Карбышева. Ну, ты, наверное, видел, что недавно опять эта тема поднялась, раскопали какую-то старую публикацию, какая-то мадам из «Камеди вумэн» высказалась, что там... Она, оказывается, не знала, что Карбышев — это был реальный человек... «У тебя за спиной ледяная тень генерала Карбышева...» Ну, ее, значит, обвинили в кощунстве, она извинилась, я, говорит, не знала... Ну, тоже, конечно, забавно. Вроде, казалось бы, генерала Карбышева кто только не знает. Оказывается, нет! Оказывается, не все уже знают...

Мы решили сделать передачу о генерале Карбышеве, но о нем не сильно много известно, там даже есть сомнения, в Маутхаузене ли его уничтожили. То есть в списках тех, кто был уничтожен в этот день, с 18 на 19 января, в ночь, его нет. Эти списки опубликованы. Ну и еще одной причиной того, что нас заставило вспомнить, казалось бы, хорошо известную легендарную и уже изрядно подзабытую историю гибели генерала Карбышева, стало то, что небезызвестный господин Невзоров позволил себе некое высказывание в обычной хамской манере всезнайки... «А что, дескать, такого? Его, дескать, не пытали, ну водой полили, так там вообще температура была плюс два...» До какого же цинизма надо дойти, чтобы такое заявлять? На самом деле при температуре плюс два, когда тебя несколько часов поливают

водой, во что ты превратишься? Юрий Цуркан, которого я уже упоминал, как раз пишет — он видел это все: «Утром, когда мы шли на работу, возле бани валялись сотни огромных манекенов, покрытых толстым слоем льда». А их там 400 человек загубили, не один Карбышев погиб. Другое дело — наша пропаганда, она всегда одного возносит, остальные как бы рядовые. Цуркан видел этот плац, заполненный обледеневшими глыбами человеческими. Ну, мы сделали эту передачу, я вот это все рассказал там, что знал, что в принципе там могила Карбышева — как бы она символическая, стоит памятник, но в списке его нет. То есть есть предположение, что его еще в Освенциме уничтожили. Но это не столь важно, важно, что такой человек был, что человек этот стоял до конца, его же немцы обрабатывали очень интенсивно, они подсылали его бывшего сослуживца, с которым он, кстати, сооружал... Брестскую крепость строил. Говорили: вам даже не надо предавать Родину, вы просто у нас будете, ну, вы такой инженер, ну... выдающийся действительно фортификатор. Но он, будучи человеком весьма и весьма серьезно подготовленным, способным просчитать возможности Германии в войне против Советского союза, просто сказал: «Да вы никогда не победите, экономический потенциал Германии и экономический... не то что Германии, а всего вашего сообщества, и экономический потенциал и человеческие резервы Советского союза не позволят вам победить, поэтому с вами сотрудничать даже хотя бы поэтому не надо».

Мы сделали эту передачу, и эту передачу услышал наш поисковик, который живет в Ростове-на-Дону. Он, обладая возможностью определенной финансовой, тут же сорвался с места и поехал в Маутхаузен. И звонит мне: «Иваныч, я тебе из Маутхаузена звоню! Вот позавчера передачу твою слушал...» И каждый год он, успешный бизнесмен, весьма занятый человек, срывается с моста и едет за две тысячи километров к нам, сюда — в экспедицию поисковую. Едет, чтобы побыть в этом бывшем фронтовом лесу, чтобы прикоснуться к чему-то, многим совершенно непонятному и далекому. Если говорить красиво, то — прикоснуться к истории. Не в книжках что-то вычитать, а своими руками выкопать, своими глазами увидеть то, что оставила после себя война.

То есть здесь очень сложно все. Я тебе говорю, с одной стороны — военный туризм, с другой стороны — то, что я тебе только что сказал: чем ты больше узнаешь, тем больше ты соприкасаешься с судьбой этих людей, ты пытаешься понять, что они переживали, пытаешься понять, что это такое вообще, и пытаешься каким-то образом выжить в том маразме, который нас сейчас окружает. Ведь не все же думают о том только, как «бабки зашибить», понимаешь? Тем более что это вообще все условно, человек приходит в мир голым и уходит голым. И нужно ему совсем немного. И нужно ему, оказывается, больше духовного, чем материального, если он способен думать и чувствовать.

Это движение, да его даже и не стоит прекращать, ведь дело в том, что оно может претерпевать... и, кстати, сейчас, в общем-то, есть изменения, которые я бы назвал благими. Вот даже в нашей экспедиции уже, а наша экспедиция одна из крупнейших в России, произошли, в общем-то, хорошие изменения, которых я давно... Я говорил, что должно трансформироваться это движение, от просто копания оно должно перейти к какому-то сохранению памяти, к увековечению, к облагораживанию тех мест захоронения, которые есть, которыми никто не занимается.

Ведь в Германии с 1915 года, с начала войны, существовал Германский народный союз по уходу за воинскими захоронениями. Знаешь ты такое? Вот занимаются воинскими захоронениями, и не только своими, но и советскими, эта общественная организация поддерживает их в надлежащем порядке. Достаточно проехать на окраину нашего города, чтобы увидеть немецкое кладбище, на котором все всегда в порядке. И это ухаживает наш русский человек, которому платят за это деньги.

Все наши братские захоронения находятся в крайне плохом состоянии, всегда. Они красятся, обихаживаются только к 9 мая или ко дню освобождения какого-нибудь населенного пункта. Почему мы не можем создать структуру, которая за всем этим будет ухаживать? Так вот, в нашей экспедиции, в частности, появилась мемориальная группа, которая разрабатывает проекты памятников при необходимости, ухаживает за захоронениями, заботится об их сохранности. Вот сейчас, например, мы ставим памятный знак на месте, где шли бои под Холмом, там две стрелковые дивизии и

бригада, но там погиб конкретный человек, его родственником является зам. начальника Октябрьской железной дороги, то есть человек, обладающий средствами. Он решил вот так вложить немалые деньги в то, чтобы поставить там памятный знак вот этим солдатам погибшим. Его родственник там, его не нашли, он где-то там похоронен, его местные жители похоронили. Но он просто решил это место отметить, поставить памятник. Причем ребята разработали хороший красивый памятник, красивый знак. Он будет поставлен. То есть нам надо переходить примерно к тому, чем занимается Германский народный союз. То есть: уход за воинскими захоронениями, сохранение документации, сохранение памяти, поиск каких-то неизвестных страниц, ведь люди постоянно обращаются с просьбами о помощи в установлении места захоронения погибших на войне родственников.

В принципе, организация, которая сейчас в том виде, в котором она есть, получает все основания для того, чтобы это продолжалось дальше. То есть, я говорю, дело-то не только в копании лопатой, в один прекрасный момент мы выкопаем все, что только можно было. Кроме того, я тебе сказал, что многих мы уже не то что не выкопаем, мы их не найдем, но мы перекопаем, мы достанем все, что только можно было. Ну, в данный исторический период. То есть этот исторический период рано или поздно закончится в силу физического исчезновения останков. Но сама работа, она... Дело в том, что массив, оставшийся от войны, массив человеческих судеб, документов, которые надо изучать, изучать, изучать... он огромный. Вот, пожалуйста, — поле деятельности. Потом, фактически каждый поисковый отряд — хорошо это, плохо ли, можно так посмотреть, что да, может, лучше все в государственные музеи сдавать, — но каждый поисковый отряд имеет свой музей, в который кто-то приходит, какая-то атмосфера своя, куда приходят. Кому-то ведь бывает интересно потрогать эту «железяку», там, 41-го года, подержать ее в руках, примерить пилотку, не современную, пошитую на 9 мая, а вот настоящую, которую нашли, она сохранилась каким-то чудом... Вот так.

Чем больше у тебя возникает вопросов, тем меньше ответов ты на них найдешь. Мое отношение к коллекционерам... ну, ты знаешь, коллекционер коллекционеру рознь, я к ним нормально отношусь.

Трофейщики... ну, к трофейщикам отношение, конечно, прохладное, потому что, особенно в том случае, когда вот он раскопал... Ну, надо сказать, даже в самые мрачные времена, самые черные времена, то есть когда были настоящие «черные копатели», то есть там доходило и до стрельбы, и чего угодно... они старались все-таки останки, медальоны они передавали все-таки кому-то — следопытам «красным». Забирали там свой «хабар», как они это называют...

Но тут есть и другие «черные», те, которые занимались могилами немецкими, раскапывали одно за другим немецкие кладбища, доставая оттуда... ну, поначалу это шло по головам. Выкапывались только головы. Доставались, соответственно, зубы. Потом стали копать ниже, доставались, если это эсэсовское кладбище, то вот эти вот все перстни у них были в виде черепов, причем они разные были, и серебряные, и всякие там... Ну, соответственно, стали доставаться всякие значки, все это... У немцев были... у немцев нет таких драгоценных, ну, я не беру там рыцарский крест с мечами и бриллиантами, ну, у них награды в общем-то дешевенькие, но другое дело, что они не из драгметаллов, они ценность имеют не из-за этого. Это все продается, естественно, это предмет коллекционирования, но вот когда это достается из могил — даже из могил врага, — ну, какое отношение? Это называется мародерством, тут никакого иного определения нет. К этим людям как можно относиться? Мародер. А так вообще коллекционеры — ну а что плохого? Человек таким образом тоже изучает историю. В конце концов он собирает или коллекцию, или музей.

Вот у меня есть однокурсник Леша Сухановский, у которого, можно сказать, судьба изменилась после того, как я его в Мясной Бор привел. Сейчас у себя в Архангельске он работает по интервенции. Он регулярно публикует в своем журнале «Поморская столица» материалы об интервентах, воспоминания участников похода в Россию. У него сейчас великолепнейший музей, в котором создана великолепнейшая, прекрасная коллекция находок, в буквальном смысле выкопанная своими руками. Там исторический материал великолепный, текстовый, видео, все что угодно. В конце концов, ну вот — я не собираю, вот, стоит гильза сорокапятки, найденная на месте госпиталя, ну она мне греет душу... или еще чего-нибудь. А есть люди, которые серьезные коллекции собирают. Я никогда не

коллекционировал ничего, это не мое. Вот фотографии, их у меня гигантское количество, но есть те, кто собирает. Но это тоже часть истории, и нормальное коллекционирование — ну да, понятно, что это продается, покупается. Но только вот не мародерничать. То, что называется мародерством, — это мародерство, в какую бы краску его не красили. Мародерство — это ограбление могил. Мародерство — это и просто лежащие на земле трупы, когда их обирают, и тем более раскапывание могил. Но сути дела, все немецкие кладбища в настоящий момент копаны-перекопаны. Редко где найдешь не копаное, не тронутое. То есть оттуда достано все, что представляет хоть какую-то ценность. Достано, продано и перепродано. Я видел, например, одного товарища, не буду называть его фамилию, у него такой кейс и, знаешь, для почтовых марок кляссеры такие, и вот у него там перстни эсэсовские, он открывает, у него там их сотни две, наверное. Он, естественно, их не на улице нашел, а снял с эсэсовских пальцев. Можно по-разному относиться к эсэсовцам...

Я знаю отряд, который занимается работой на немецких захоронениях в интересах Германского народного союза. Саша Игнатьев, руководитель этого отряда, он такой же поисковик, они недавно экипаж самолета нашего достали — молодцы. Десять раз этот самолет пытались копнуть и говорили: да там ничего, — а они сейчас достали, и самое-то интересное, ты понимаешь, остались фотографии даже целые, в летной книжке у ребят все фотографии сохранились. Они достали летчика и штурмана. Три экипажа вылетели 22 января 42-го года, и все три пропали. Сейчас установлена судьба всех, вот это последний экипаж найден. Они друг от друга упали в разных местах. Кто их сбил? Скорее всего, истребитель-ночник. Один экипаж сел на лед озера Горийское, это от Новгорода на северо-запад километров пятнадцать, вот он единственный, кто сумел совершить вынужденную посадку, но все равно их судьба — гибель, их немцы выследили, застрелили, а самолет взорвали. Остальные упали, один экипаж от Мясного Бора километрах в четырех с половиной, их три года назад сын моего племянника раскопал, а вот этот — буквально на прошлой неделе. А вообще ребята работают, реально они работают на Германский народный союз, занимаются раскопками немецких кладбищ, им дают документацию соответствующую, по которой они находят эти кладбища. Ну и чего?

Нормально работают люди, получают, в конце концов, за свою работу деньги.

А так, вот посмотри, немецкие кладбища, они всегда находятся в порядке. Вот огромное кладбище в Демянском районе... вот, видишь, все тут аккуратненько. Понятно, что там раньше стоял госпиталь и изначально это было госпитальное кладбище, Сейчас туда стаскиваются со всей округи. То есть у них в Новгородской области, как, в общем-то, и в других областях, несколько мемориальных кладбищ, куда они свозят останки по возможности с остальных кладбищ учтенных, которые находятся в лесах где-то... Ну, в принципе, это нормальная деятельность... И вот слава богу, что, в общем-то, начинают наши над этим задумываться... Конечно, можно брать пример с наших бывших врагов. Вот это отношение к мертвым. Вот у нас этого нет. Вот смотри, у каждого указано полностью имя. У нас что ты видишь? У нас только видишь ты... Вот тот самый пресловутый пример: Иванов И. И. — сколько можно вариантов придумать Ивановых И. И.? То есть у нас обезличка, а у них — мелко, мелкие такие буковки, но они есть. Полное имя погибшего. Дата гибели и дата рождения. Нет обезлички. У нас она имеется...

Часть 6. Казань

*

но добрее справедливо
на великой мити и власти
Торжественно мой право
что с нами надо считать
что этот надо закончить
что закрыть надо на





КАЗАНЬ

нашу работу, на эту беду
— не проблема, это беда
большая всякая, —
— Небось можно. Соответс-
венно всё отсюда и идёт



МИХАИЛ ЧЕРЕПАНОВ И ВЛАДИМИР ЕРХОВ

Михаил Черепанов: Одно дело, что мы задумывали в поисковом движении, и другое — во что это вылилось, как всегда, благодаря чиновникам. В поручениях Путина по увековечению памяти погибших при защите Отечества говорится про финансирование поисковой работы. Читаем: что финансировать будут? «Функционирование информационно-поискового центра по осуществлению мониторинга состояния воинских захоронений, сбора и систематизации поисковой документации». Это о чем? Это работа военкоматов, которую они должны были делать еще в 50-е годы. «Мониторинг состояния воинских захоронений».

Это чье дело? Военкомата и Министерства культуры. Воинские захоронения должны охраняться вообще-то государством. «Ведение реестра воинских захоронений, в том числе захоронений, в отношении которых не осуществлялся кадастровый учет». Ведением реестра кто должен был заниматься? Опять военкомат, Согласись, что не поисковики, не студенты и не школьники с общественниками! И вот еще: «Издание Книги памяти, содержащей сведения о воинских захоронениях»! Ну, это тот же самый реестр. То есть никто даже не ставит вопроса о поиске сведений о пропавших без вести, там даже вопроса такого нет, задача даже не поставлена! Последний пункт: «Материально-техническое обеспечение поисковых экспедиций». Что такое поисковая экспедиция сегодня — давай разберемся. Во главе Елена Цунаева, я отлично ее помню, еще когда она была учительницей в Волгограде. Мы с Леной с чего начинали — мы, конечно, прежде всего собирали солдат, не похороненных на Мамаевом кургане, на Дону... Они были прямо на пашне, на поверхности, глубина залегания в основном до метра. Это отдельно лежащие останки — не могилы. Никаких воинских захоронений мы с Леной не копали никогда.

Речь идет о чем. Государство сегодня финансировать должно — что, регистрацию могил? Каких — существующих? А те, кого мы находим в лесах, — это могилы? Нет. Это, конечно, захоронения, но

они не имеют статуса воинских захоронений. Где-то там, в архивах военкоматов, перечень этих стихийных санитарных захоронений, наверное, есть. Так вот давай определимся: в чем сейчас задача поискового движения как такового? Дублирование государственного учреждения, будь то военкомат или Министерство культуры, или все-таки выявление тех стихийных санитарных захоронений и лежащих в воронках останков?

Проследи как-нибудь по интернету сообщения о найденных медальонах. Даже нашу книгу возьми, которую в Казани сделали: «Имена из солдатских медальонов». Семь томов. Сколько там фамилий из медальонов? Да процентов десять максимум. Остальные взяты из архива. Нашли медальон в могиле, раскопали товарищей этого погибшего — 300, 400 человек. В архиве они числятся погибшими, а не пропавшими без вести, — с каких щей ты их раскопал вообще? И зачем ты родственникам сейчас объявляешь на всю Россию, что ты нашел его где-то там...

Нет, я не спорю, бывает, когда один солдат лежит в окопе, а числится похороненным в братской могиле, — это исключение. А зачем ты могилы-то копаешь? Вахты памяти, которые мы начинали в 87-88-м годах, — мы ради чего это все делали? Чтобы найти судьбы людей, которые считаются пропавшими! И похоронить их. Сейчас чем занимаются Вахты памяти? Перекопкой братских могил. И объявлением, что этот погибший теперь похоронен. Вот тебе понравится, если твоего деда сейчас достанут из его могилы? Вот у нас в Казани госпитальное кладбище огромное было, пять тысяч могил — осталось четыреста. Потому что их так же выкинули из могил и сделали там свою могилу. Место хорошее, дорогое, престижное, центр города. На фига там какой-то красноармеец, кому он нужен, если его никто не посещает — он без вести пропавший? Его просто потихоньку выкидывали у всех на глазах и хоронили там больших людей: Героев Советского Союза, чиновников, просто каких-нибудь крутых... Это у всех на глазах делалось, я об этом писал впервые еще в 87-м году. «Комсомольская правда» приезжала, «Красная звезда» — что-нибудь изменилось?

Вопрос надо задать сегодняшним поисковикам. ПДР — Поисковое движение России — они все выросли из поисковых отрядов. Уверен, что большинство из них я помню с молодых лет. Все

ребята вполне адекватные. И занимаются они сегодня перекопкой могил. Вот это зачем? Это воспитание подрастающего поколения? У нас по телевидению показывают — поехали поисковики в Ленинградскую область, Тосненский район, — и показывают огромные-огромные захоронения, этот стол так называемый археологический, и на нем насыпаны сотни этих скелетов в несколько слоев. Нет, я могу понять, если это найдено где-то в лесу, далеко-далеко от дорог... Тогда, наверное, имеет смысл их эксгумировать! Сколько у нас таких могил Красной армии за годы войны, которые в лесу, не у дорог, в забытых местах? Сколько сейчас вообще деревень сохранилось в Смоленской, Тульской, Калужской областях, в местах боев? Одна десятая часть. Там все пусто — пашни пустые, сотни гектаров пустые, и что теперь — их куда-то переносить к Москве, эти могилы, если там никто не живет? Значит, все могилы надо переносить? Ведь, понимаешь, тут какая причина-то — якобы, раз никто там не живет и никто за ними не ухаживает, значит, их надо вытаскивать куда-то. А куда вытаскивать-то? На Мамаев курган?

В Волгограде, кстати, был такой военком — он всем поисковикам приказал всех, кого они на территории Волгоградской области находят, тащить на Мамаев курган. Сделали там огромное кладбище и выбили, что ли, 400 000 фамилий на этих черных стенах — всех, кто на Мамаевом кургане погиб. Но нашим- то подсчетам там около 800 000 погибших — ну, половину они уже выбили. У нас в Казани хотели то же самое сделать. Но данным Книги памяти, которую мы делали, погибших где-то 360-370 000 из Татарстана. Но здесь не учли тех, кто попал в плен и потом вернулся вроде бы живым, но до дома не доехал. Вот эти 40 000 — их куда девать? Они освобождены были из плена в 45-м, но осуждены были на шесть лет каторги и до дома не доехали. Они участники этой войны? Они жертвы этой войны — или нет? Их в Книгу памяти заносить? Конечно! Если нет компромата, если нет сведений, что он полицейский, участник вермахта или еще чего — куда он делся? Даже если он умер на Кавказе, на Урале или на Колыме — какая разница? Он пленный, он наш советский гражданин, военнослужащий. В основном это рядовые, конечно.

Вот почему получилось, что у меня на сегодняшний день 382 000 не вернувшихся в Татарстан. И тут вопрос — как их увековечивать? Тут написано, что все эти имена должны быть на местах захоронений.

Все имена?! Вот представь себе, это физически возможно вообще? Или хотя бы по месту их призыва — это возможно? Представь себе Китайскую стену, если мы в Парке Победы ее сделаем на 382 000 фамилий — это сколько будет километров стена, даже если бисером напишем? А оно надо кому-то? У нас, конечно, есть в районах такие стены, и в Кировском районе есть такая стена где-то на 10 или 15 000 фамилий — но и то, это «Сидоров, Сидоров, Сидоров, Абрамов, Абрамов, Абдуллин, Абдуллин» — и что? Там только инициалы, там лет жизни даже нет. Вот поэтому я предложил сделать электронную Книгу памяти. Стоят четыре монитора, заходит каждый желающий в Парк Победы, набирает фамилию и смотрит, есть он или нет. Какие сведения про него найдены: умер от ран, или умер в плену, или пропавший без вести.

У нас пропавших без вести на сегодняшний день 173 000 в Татарстане! Они не признаны погибшими до сих пор. Проблема эта, она кого касается? Ее кто — Шойгу будет решать? Это вообще не вопрос Министерства обороны, это юридический вопрос. По гражданскому законодательству, решает только суд — признание человека погибшим. Причем по заявке от родственников. Сколько родственников сейчас живых осталось? Вот я внук ветерана войны — и что? Я сейчас побегу куда-то по судам признавать моего деда погибшим? Согласись, это нереально.

Как это сделано в Германии? Пропавших без вести — три миллиона. Бои-то были — мы оставляли территорию и они оставляли территорию. Этих немцев поганных мы сами прикапывали, находим до сих пор — немного, но находим. Куда они делись? Погибли в основном, пропавшие. Пу, были те, кто попал в плен, — их списки мы сообщили. По остальным, не вернувшимся, немцам правительство ФРГ приняло решение: если нет компромата, считать погибшим на той территории, где стоял его полк. Логично? Так называемая коллективная судьба. В первую очередь это родителям нужно было, потому что они потеряли наследника. Вдовам это нужно было, потому что они потеряли кормильца, детям это нужно было. А сегодня это разве не нужно? Это ведь нужно прежде всего не мемориалам и не Министерству образования, и даже не Министерству обороны.

Извини, я тебя, может, не в ту сторону утащил, но я не вижу смысла сегодня повторять наши уже написанные труды. Игорь

Цуканов написал шикарную докторскую диссертацию, Володя Щербанов написал отличную книжку в Ростове-на-Дону, там все описано подробнейшим образом, со всеми постановлениями, всеми нашими методичками и отчетами, там по дням буквально пересчитано, сколько чего найдено, какие медальоны, что и как. В Новгороде Котелевский такое делал.

Я-то прошу тебя, если ты собираешься делать труд, где-то зафиксировать мое завещание, которое знают многие регионы: ребята, вы занимаетесь сегодня не тем. И я считаю, что это полная компрометация поискового движения. Я понимаю, что нужны эксгумации — у меня сын сейчас работает археологом, вон они эксгумируют захоронения из-под собора Казанской иконы Божией Матери, там целое кладбище перенесли — огромное кладбище самих монахов, церковь была на кладбище построена. То есть эксгумация неучтенных могил, конечно, нужна, кто спорит-то? Где-то дорога прошла, где-то завод построили, где-то вообще мусорный полигон хотят делать — согласен, в этих случаях нанимаются мужики-эксгуматоры. Или, может, женщины какие пьющие... То есть это не поисковая работа, это археологи должны делать! Это во-первых. Во-вторых, а зачем лежащего в могиле солдата чистить зубной щеткой, чтобы показать, в какой позе он лежит — это кому надо? А какая тебе разница, в какой позе он лежит в могиле, на восток у него пятка смотрит или на север? Сейчас десятый век они копают, и то не всегда фиксируют. Представляешь, сейчас неделями сидят, копают щеточками эти могилы, чтобы показать, в какой позе первый слой лежит, в какой — второй.

Нет, я понимаю, вот мой дружок Толя Скорюков занимается попыткой сбора ДНК. Это, конечно, вообще... Даже не смешно. Ну ладно, даже если у одного из тысячи удастся взять этот ДНК, а с кем ты будешь сверять-то? С наследниками? А что, мы все сейчас будем кровь сдавать, чтобы опознать погибшего в могиле? С кем сравнивать-то? Это понятно, когда родственник приезжает и говорит: вот в этой могиле лежит мой дед, покажите, в каком ряду. Тут уже начинаем выявлять, если их 5-10 человек лежит. А если их 300 — сколько денег нужно затратить на каждую такую экспертизу? Ладно, это отдельный разговор.

Я сейчас про то, что у нас на сегодняшний день главная проблема — не признаны погибшие погибшими, и даже те сведения, которые рассекречены на сайтах «Память народа», «Подвиг народа», ОВД «Мемориал» — она ведь так и не дошла до родственников, эта информация. Кто ее донес? ПДР? Красный крест? Министерство обороны? Кто позаботился, чтобы эта информация дошла до конкретной дочери? Дочерей еще хватает. Ко мне обратилось за последние годы около 4 000 детей погибших, и по этим сайтам я смог помочь только половине.

Немцы не дураки были — я взял их систему «Коллективная судьба»: если у него на письме последнем стоит отметка полевой почты и если этот полк сейчас известен, его рассекретили наконец, и если мы знаем, что он не вернулся из боя, пропал без вести в апреле 42-го года, — если это 146-я дивизия, ну девяносто процентов, что он лежит под Калугой. Есть, конечно, варианты, что он попал в плен под другим именем и умер в конце концов в плену. По, согласись, из-за каких-то процентов вдруг ни с того ни с сего объявлять пропавшими всех — это просто не по-человечески. Единственный человек, который это сделал на территории Советского Союза, — Туркменбаши. Я в 2000 году был у него в гостях в Ашхабаде, до него меня не допустили, конечно, но мы как раз открывали музей его отца, пропавшего без вести. Повезло, нашли сведения, где он погиб, — кстати, где-то в Новгородской области, — и, также через посредников, он задал вопрос: ладно, отца вы нашли. А братьев его нашли? Нет. Односельчан его нашли? Нет. Они пропавшие. И что, так и будут пропавшими? И задает вопрос, что делать.

Я говорю: что мы, хуже немцев, что ли? Давайте сделаем как немцы. Указ президента признать тех, кто не скомпрометировал себя, погибшими. В том числе, кстати, и татар, призванных в Туркмении. И Туркменбаши такой приказ издал, со всеми вытекающими. Сейчас ни одного пропавшего без вести в Туркменистане нет — либо предатели, либо погибшие. Никто другой ни в одном регионе так и не решился. Потому что сведения о военных преступниках засекречены до сих пор. Это гуманно для родственников, но те и так уже давно пострадали от этого. Они давно знают, что у них дед или отец был полицаем, — они это узнали еще в 40-е или 50-е.

Вот я сейчас написал материал про Утяшева Амира Галимьяновича, который после Джалиля остался на свободе и в конце концов осуществил задачу группы Джалиля. Немцы-то их казнили, конечно, но оставшийся на воле Утяшев все-таки осуществил переход сотен и тысяч legionеров на сторону партизан. Смог! И вернулся живым домой, приговорен к расстрелу здесь уже был. Ну, полковник Франции, с двумя Военными крестами... Правда, заменили на двадцать пять лет каторги. Он дожил, мы с ним хорошо общались. Как ты думаешь, кем он числится сегодня на сайте ОВД «Мемориал»? Пропавшим без вести — в первом документе. А во втором — предателем. Черным по белому написано — предатель, до сих пор! И тут же строчка — орден Отечественной войны получил в 85-м году. Нормально, да? Это как? Это, в смысле, недосмотр спецслужб?! Или все-таки клеймо поставили честному человеку? Одно из двух, между прочим, да ведь?

Я вот о чем и пишу сейчас. У нас 25 августа будет ровно семьдесят пять лет казни джалильцев. А Утяшеву 15 сентября будет сто лет. И вот кто сейчас должен разбираться с этими вопросами на сайте ОВД «Мемориал» — кто? Министерство обороны? Организация ЭЛАР, которая гребет бешеные миллионы за то, что заклеивает сведения о погибших или награжденных — видел, да? Они огромные деньги гребнут за то, чтобы в интернете заклеивать обратные адреса погибших в наградных документах.

ЭЛАР — организация, уполномоченная создавать эти самые сайты: ОВД, «Память народа»... Мы с ними, давно уже, чуть не дрались однажды на конференции, я им вопрос все время задаю: вы для кого делаете этот сайт, «Память народа», — для народа или для каких-то заработков? Это разные вещи. Я, конечно, тоже понимаю, что они на засекречивании этих строчек зарабатывают гораздо больше, чем на сканировании документов, это огромная работа — заклеить каждую строчку, кто из какой деревни. Но от кого? От кого скрывать эти сведения о погибших? Я понимаю, заклеить сегодняшний адрес генерала какого-нибудь, чтобы его не ограбили. На фига заклеивать район, где он родился? Представляешь, ты идешь по Аллее Героев, и там заклеены глаза, рты заклеены, имена! Защита личных данных в интернете — принят закон. Шикарная кормушка!

В общем, я просто хотел напомнить, что все подробности я описал в своей книге, но все, что было после 2006-го... Я в Долину, конечно, продолжал ходить до 2009-го, пока не стукнул меня паралич и не вырезали мне грыжу из позвоночника, — я сейчас просто не могу носить рюкзаки. И в Мясной Бор я больше не езжу именно по этой причине. А ездим мы на Невский пятачок, наверное, слышал, — вот мы как раз сделали Книгу памяти погибших в Ленинградской области, здесь эти материалы полностью изложены. Кстати, когда мы говорим о Книге памяти воинских захоронений — я ведь не против таких книг, мы такую книгу тоже сделали с москвичами, смотри — «Воинские захоронения Московской области». Но ведь здесь-то в основном списки. Татары, погибшие в Московской области. Эта Книга памяти нужна людям, как ты думаешь, — уроженцам Татарстана? С изображениями братских могил, со списками? Вот для чего мы это делаем, по Калужской области сделали такую же книжку, по Ленинградской области.

Интернет — это, конечно, интернет, но в интернете ты их не найдешь в правильном виде. Они там искажены все. Фамилии в ОВД бывают искажены до неузнаваемости. Исходный материал, который они публикуют, — совершенно не соответствует никаким стандартам. Более того, я сейчас, знаешь, чем занялся — сверяю книгу «Они вернулись с Победой», вышло уже более двадцати томов по каждому району, — люди, которые вернулись живыми. И умерли дома. Числятся — кем? Погибшими. Пропавшими без вести. Ранеными. 17 000 у меня было в списках погибших и пропавших — живых, вернувшихся живыми. Мы бы никогда об этом не узнали, если бы не издали эту книжку. А как бы мы узнали? От кого? Ни родственников уже нет в живых, никого. Никто этих списков живых никогда не составлял, их в интернете нет. Только в таком, напечатанном виде есть — мы сейчас думаем, создавать или не создавать такую базу данных по вернувшимся. Это все равно что создавать базу данных по всем гражданам Советского Союза — толку-то?

То есть даже вот эта сторона. Правильно, что в Книгу памяти попал живой? Он числится там похороненным. Братская могила есть с его именем, кстати! И ее продублируют сейчас по указу президента. Эти могилы все обновят, с теми же самыми фамилиями, с теми же самыми данными. В принципе, когда мы их находили, они по-разному

это принимали. Кто-то с юмором — приедет, на гармошке поиграет на собственной могиле, — да, говорит, я помню, как меня тут закопали, а я потом оказался живым. В общем, это непорядок, согласись, когда две могилы у человека — одна могила дома, а вторая где-то на Мамаевом кургане? И даже эту работу делать сейчас некому. Не берется никто. У нас ОМО «Отечество», мы его создали с Ерховым где-то в конце восьмидесятых, Володька бегал еще тогда по всем этим инстанциям, в «Комитет по борьбе с молодежью», регистрировали мы это все под именем «Долина», чтобы деньги какие-то получать на экспедиции, потом переименовали по моей инициативе в «Отечество», и вот это «Отечество» до сих пор существует.

Чем оно занимается, как ты думаешь? Отрядов у нас — триста штук в республике. Вот опять сейчас уехали в Белоруссию ребята. Самые опытные, самые авторитетные ребята уехали туда. Чем они занимаются? Читаю: благоустройством кладбищ Первой мировой. Не понял. Зачем они собрали ребят с татарских поисковых отрядов — чтобы благоустраивать кладбища Первой мировой в Белоруссии? Там что, больше заняться нечем? Там наши дивизии лежат с 41-го года — 86-я, 18-я лежит, наша, казанская, — мы точно знаем, где. Карты все известны, боевые действия известны — там поименно можно восстановить, кто из них где остался на поле боя. Лукашенко поисковикам не разрешает работать — этим занимаются только кадровые солдаты. Но если уж приехали татары в Белоруссию, можно попроситься в качестве исключения? Мол, ребята, под вашим руководством и контролем, раз в кои-то веки довелось у вас в лесу побывать. Можно было поднять этот вопрос, как ты думаешь? А почему нет? Нет, задачи такой даже не поставлено.

Вот за что меня не любят, что я все время такие вопросы задаю каверзные. Неудобные. Ребят, а зачем вы ездите-то вообще? Ну, я понимаю, когда получили грант на — не поверишь — восстановление бомбардировщика Не-8. И сейчас его детали они собирают по всему бывшему Советскому Союзу. Сколько надо денег грохнуть, чтобы собрать по деталям бомбардировщик? Сколько болот надо обнюхать? Причем они упали-то в основном при перегонке, в тылу, как правило, не долетая до фронта даже. А не проще было просто взять и сделать копию? Представь, сколько они наберут этих обломков — ну, может

быть, в конце концов соберут набор какой-то, но из этого можно самолет сделать?

Собери их кучками: двигатель от одного самолета, шасси от другого, сделай музей погибших летчиков — сейчас этим Емельян Прокофьев занимается, кстати. Книжки выпускает с данными погибших летчиков. Так это совсем другая работа, совершенно разные вещи. Это не поисковое дело, школьники этим заняться не могут, и даже студенты — почему они должны копать какие-то детали самолета? У нас захороненных солдат еще — ого-го! Я не знаю ни одной территории, где мы начинали в 80-е годы, которая была бы зачищена на сто процентов — ни одной такой. Везде до сих пор ведутся работы. Кстати, с какой эффективностью они ведутся? Меня ребята пригласили в 2010-м в Тульскую область. Копали мы на границе Тульской, Орловской и Калужской областей — Бетлицкий район, река Жиздра.

Там отличный парень руководил, опытнейший мужик, свезли к нему триста поисковиков со всей страны — тоже хорошие ребята, добросовестные, работяги... Приезжаем мы туда летом, лагерь стоит — они все копают одну траншею 41-го года, метров пятьсот. Сколько они нашли в этой траншее солдат, угадай? Двоих. В человеческий рост выкопана траншея. Пятьсот метров. Затрачены огромные силы. Наверняка найдутся патриоты, которые скажут, что ради двоих тоже стоило. Я на карту посмотрел: боевые действия шли на берегу Жиздры, в лесу. Где солдаты лежат, как правило? На нейтралке. Пу что, это надо рассказывать, что ли? Как ты считаешь — они лежат в окопах, эти солдаты, пропавшие без вести, или все-таки на нейтралке, где их искать, захороненных солдат? Мы перешли просто вброд через Жиздру, и тут же, на берегу, смотрю — мимо груздя все проходят, груздь лежит во мху, большой такой, хороший. Очки надел — это таз солдата. Мимо ходят все, потому что поисковикам не до грибов. Мох только начинаешь снимать — пошли ребята один за другим, один за другим; медальон, кстати, там нашли. Мы в день находили по одному, семь человек собрали за неделю. Слух пошел по лагерю: «Черепанов их возит с собой». Останки раскидывает по лесу, чтобы потом отчитаться. Представляешь, я по всей стране езжу и вожу с собой... С могил, наверное, достаю, раскидываю их по лесу... Правда,

мы все это фиксировали — я постоянно фиксирую все эти находки, в каком виде мы их нашли, в каком виде раскоп.

Меня, знаешь, что больше всего рассмешило? Пришел туда руководитель этой поисковой экспедиции — хороший парень, мы с ним до сих пор общаемся, — и начал раскоп по правилам. Археологическим. Вот они нашли этого солдата и начали раскоп, и отвал от этого раскопа — на соседей. Вместо того чтобы прощупать весь лес, они начали копать культурно — щеточками — одного-единственного, и отвалы отбрасывать в сторону. На тех, кого не нашли. Какой дурак будет под отвалом искать? Он профессиональный археолог, профессиональный историк, хороший мужик — ничего не говорю. Но он не поисковик! Он привык зубики чистить у одного, но мы ради этого в лес ездим? Или все-таки чтобы солдат собрать и попытаться их опознать? Если не медальон, то хотя бы ложка, котелок, ремни, — вот на ремне сейчас прочитали, на подсумке кожаном прочитали фамилию и нашли родственников. А профессионалы-археологи занимаются этими столами археологическими. Согласен, где-то это надо — наверное. Но если это за счет того, что остаются неизвестными сотни остальных, — а смысл?

Владимир Ерхов: Мое мнение субъективное, что изначально поисковое движение вообще журналисты сформировали. На той стадии, когда его официально признали, 80-е годы — не 50-60-е годы, а вот когда его в перестройку признали. А до этого нередко его не желали признавать.

Лично я пришел в экспедицию по журналистскому заданию. У нас знаменитое движение «Снежный десант» в Казани, тема мне близкая и знакомая, мы были студентами с Михаилом Валерьевичем — ходили в походы этого «Снежного десанта» по местам боевой славы. Эти походы, как правило, были ориентированы на воспитание молодежи — чтобы она знакомилась с опытом войны и прочее... Почему «Снежный десант» — потому что зимой ходили в экспедиции. Мы в основном ходили по местам боев тех соединений, которые были сформированы в республике Татарстан. Но уже тогда движение было нацелено на наше воспитание, и уже тогда мы поняли, что есть официальная история войны и есть неофициальная, которая живет в воспоминаниях очевидцев, ветеранов, детей войны...

И, поскольку мы были творческие, пишущие, тогда написали стихи: «Идущие за правдой о войне, не книжной, не киношной, а своей, желающие мира тишине, неувяданья памяти о ней». Такие сырые, юношеские стихи, нам лет по девятнадцать-двадцать было. Потом закончили университет, — Михаил Валерьевич, кстати, в последние два года учебы уже начал ходить в Долину смерти, — а я после университета съездил в Сибирь, вернулся в 87-м году, и мне предложили поработать в газете «Вечерняя Казань». Мол, пиши, о чем хочешь. Я говорю, что знаю «Снежный десант», и они идут в поход с моим сокурсником, — давайте про это напишу. И от «Вечерней Казани» мне дали командировку, и я поехал с ними. Поехал, посмотрел, естественно, проникся, то, что я раньше был «снежным десантником» и войной занимался, сыграло свою роль, и я понял, что не только материал об этом напишу, но и от этого дела не отойду. И включился в группу, отряд небольшой, который возглавляли товарищи по поиску. И мы начали готовить следующий поход, весенний.

Уже побольше отряд собрался, весна 87-го года, мы пришли в Мясной Бор, стали работать, останки погибших доставать... Когда я осенью ходил, мы нашли останки где-то 100 человек и захоронили их просто в лесу — столбик поставили, табличку прибили. Весной мы решили как-то добиться, чтобы было официальное захоронение на официально существующем воинском кладбище. Там был Александр Иванович Орлов, журналист; его коллега и наш общий знакомый — собкор Центрального телевидения по Новгородской и Псковской областям Дмитрий Хавин; и вот мы, три журналиста, пошли — сначала обратились в Новгородский район. Нам категорически отказали: «Нет, это нежелательно, у нас леса останками завалены». И вдруг родилась мысль, Александр Иванович Орлов говорит: «Слушай, а в Чудовском районе, соседнем с Новгородским, — а мы работали на границе двух районов, — новый глава администрации. А сейчас ведь уже всё, советскую власть поднимают, партия позиции сдает, вперед уже муниципальные какие-то органы выходят. Давай к нему подъедем?»

Подъехали, оказалось, мужик вырос в Псковской области и тема ему не чуждая. Поговорили с ним, он говорит — давайте я вам тридцать гробов выделю, проведем захоронение. И вот он сам — глава администрации района! — сел за руль грузовика, привез гробы,

подъехал к железнодорожному переезду, куда мы начали выносить останки в рюкзаках. И когда он увидел, что мы выносим горы человеческих костей и начали их укладывать в гробы, — смотрю, достает беломорину, курит, руки трясутся... Он понял, с чем он имеет дело, что тут реальная проблема, грандиозная, и людям нужно не год и не два работать, чтобы эти леса из послевоенных стали мирными. Они до сих пор оставались послевоенными, спустя сорок лет после войны. И вот погрузили останки, разложили по гробам — осталось еще человек двести, не поместились в гробы. Я помню, мы устроили там заседание штаба: Сережа Пестрецов (небезызвестный наш документалист), Миша Черепанов, я, — и стали обсуждать, что же с ними делать, где еще гробы взять. Наконец решили оставить до осени, сделали временное захоронение.

И вот провели по всем каналам: на воинском кладбище в Мостках вырыли братскую могилу и эти тридцать гробов с останками положили. Салют, все дела. А собкор Центрального телевидения Дмитрий Хавин, который в основном на новости работал, — взял и для передачи «Мир и молодежь» (очень популярная в то время была) снял сюжет. И как раз ко Дню памяти и скорби 22 июня он попал на экраны. Цензуру сняли только в январе 87-го года, и материал не зарубили, а выдали на экраны. Ну и пошел шквал писем: сотни, тысячи писем в редакцию.

Они посмотрели, повторили сюжет в следующем выпуске «Мира и молодежи» — опять письма. Осенью мы пошли в поход — уже специально приехал Дима, снял полевой материал, плюс мы поехали через Москву — в Москве еще снял. Но сути, все лето 87-го года эта тема была на телевидении, опережая все перестроечные газеты. Видите, сколько журналистов приняло участие, чтобы тема зазвучала, чтобы до народа дошла? И в походах у нас немало журналистов работало, они писали... И самое интересное, что в центральных газетах до осени 87-го года эта тема практически не появлялась, если появлялась, то в страшно урезанном виде, а в провинциальных газетах это публиковали с 83-84-го года. У тебя, Миша, когда первые публикации были — после первого похода?

М. Ч.: В 81-м году.

В. Е.: Получается, там, где люди ближе к земле и ближе к правде, эта тема зазвучала гораздо раньше центральных газет. Потом вышли

материалы в «Комсомольской правде», в «Социндустрии», в «Труде», «Собеседнике». И пошла уже волна признания — поняли, что движение народу-то не безразлично, что их деды, отцы не захоронены. Опять же, отряды какие-то местные существовали — в Мясном Бору ребята-казанцы приходят, и мы там работали с новгородцами, с первыми отрядами.

Про Калужский сбор поисковых отрядов вы слышали? До него был в ноябре 87-го года слет комсомольцев и молодежи в Ленинграде, и мне пришел вызов: сказали, что вот съездишь поучаствовать, ну и напишешь о нем. Была командировка и от редакции, и от обкома комсомола местного, и получилось, что поехал я и еще пара ребят, один афганец и еще какой-то парень из клуба. Приехали на этот слет — 70 лет Октябрьской революции, достаточно помпезное мероприятие, праздновать надо, на Дворцовой площади реконструкции всякие проходят.

Мы поняли, что слушать эти концерты, ходить на это все, конечно, надо, но мы-то все поисковики, — и наши, с тогдашней Татарии, и из других регионов, — мы друг друга как-то вычислили, сделали свою секцию, сели и стали обсуждать: ребят, а что делать? Вот мы работаем на местах, — там порядка шести или семи регионов было представлено, — что нам делать, чтобы из этого кустарного уровня нас все-таки как-то признали? Собрались, написали открытое письмо в ЦК комсомола: дескать, если вы не признаете движение, мы уйдем в неформалы. А тогда, чтобы комсомольцы, патриоты ушли в неформалы, это считалось... Ну, как будто в секту уйти! Естественно, это произвело впечатление.

В ЦК комсомола, получив это письмо, стали решать, что с нами делать. И, естественно, решили пойти навстречу. Все равно уже сотни людей на местах работают, как ты на них глаза закроешь? Тем более уже в прессу попало. Они подготовили кандидатуру, был такой ветеран войны Юрий Михайлович Иконников, бывший комсорг на фронте, — предложили его председателем, избрали координационный совет, провели в Калуге сбор и договорились, что с весны 88-го года уже будут и комсомол, и Минобороны помогать.

Но перед тем, как что-то глобальное сделать, они на экспедицию 88-го года в Мясном Бору приехали перенимать опыт. А на тот момент — у нас отряд разросся буквально за год-два — по 600-700

человек уже приезжало. Мы даже делились на два лагеря: одним Михаил Валерьевич руководил, другим я. И новгородцы стояли своим отрядом. И вместе мы как-то стали там работать. Сразу обозначилась проблема: из этих 600-700 не все же подготовлены, от силы каждый пятый-шестой был хотя бы в одном походе, а многие сырыми приезжают, их учить надо. А учить как — надо им найти какой-то фронт работы. Добровольцев много, специалистов — нет. Организовали разведку, стали разведкой находить секторы поиска. Нашли место, приводим туда группу, она работает, мы следим за тем, чтобы она нормально выработала это место. Сейчас, наверное, более профессионально люди работают — GPS, какие-то привязки...

А у нас был один миноискатель на 50 человек, щуп, и все. Еще новгородские ребята — и наши самые опытные — просто брали и как инструкторы учили молодежь копать. А когда учишь нормально — день-два, и человек уже привыкает, более-менее опыт появляется. Хотя были случаи — дали группу, а у них даже руководитель ничего не знает, а группа — человек двадцать. Приехали из Казахстана, Хромтау. Самое интересное, что казахи и немцы этнические приехали копать в основном, русских, украинцев было один-два человека. Немцы из ссыльных — поволжские бывшие немцы — и казахи.

И вот подходишь — отряд стоит, ничего не видит. Говорю: видите кружку, котелок, где-то — каска, где-то — подошва сапога. Здесь солдат должен быть — как его найти? Беру щуп, начинаю искать, попал в металл — один звук, в подошву, резину какую-то — другой, в дерево — третий, потом — бам! Кость, очень звук характерный. Говорю: слышите? Начинаем копать, первого нашел, говорю: так, три человека его раскапывают. А что там раскапывать — раз копнули, мох содрали, останки лежат — верховой солдат, погибший на поле боя, его даже зверье не растащило, как лежал, так и лежит. Трех человек поставили, потом нашли еще погибшего, говорю: вот этого раскапывайте. Весь отряд так поставил, и все — теперь, говорю, работайте, через час-полтора приду, посмотрю, что вы нашли.

Прихожу: работают добросовестно, нормально, но молодежь же хочет еще куда-то, самим что-то найти. Я спрашиваю: «Нашли солдата?» — «Да». — «Что нашли?» — «Вот кости рук, одной ноги. Второй нет, ему, наверное, оторвало и куда-то отбросило». — «Ребят, так было, но очень редко, вы его просто не нашли как следует —

докапывают, медальон ищите». День-два в таком режиме работаем с людьми, и они начинают уже сообщать, уже начинают сами копать и находить. Тем более это место, куда мы их привели, особенно в 87-м году — оно называлось «Непочатый край» в Новгороде. Непочатый край, потому что, сколько там ни копай, — все равно убитых находишь. Это место горловины, где 2-я ударная армия по коридору пробивалась из окружения, и по этому же коридору снабжение шло, там очень много, волнами погибшие друг над другом лежат. Если мне память не изменяет, где-то тысяч десять подняли там только до начала двухтысячных. И вот получилась такая ситуация, что мы начали работать на этом Непочатом крае, вот эта экспедиция весной 88-го года, и уже не рюкзаками стали выносить останки, а за день отряд в 600 человек находил 150, 200, 250 погибших. И к концу похода собрали тысячи полторы-две погибших и вывозили их тракторными тележками. Медальоны там находились...

В 88-м приехали представители ЦК комсомола, — а уже с нами армия работала вплотную, — посмотрели, как мы работаем, и решили они на следующий год, 89-й, Всесоюзную вахту памяти организовать. Это уже отдельная история. Но вот период становления поискового движения — нашего, и новгородского, и межрегионального, — в Долине смерти он прошел. Конец 88-го года — это уже, по сути дела, готовое движение. Регионы приезжали: кто-то узнал, кто-то... Интернета не было — но списался, созвонился, и ребята приезжали работать, учиться, пахать, хоронить погибших солдат.

В упрек современным поисковикам можно сказать, что мы занимались захоронением солдат, а они зачастую занимаются перезахоронением. Была могила братская, стоял памятник. Памятник обветшал, разрушился, или его просто снесли, оно в архиве может числиться, это захоронение, — они берут и поднимают мертвых. Эта другая немного работа. Мы могилы практически не трогали — брали верховых и лежащих отдельно людей, или воронки времен войны, куда убитых стащили. И то некоторые воронки значились как могилы в документах. Нод Любанью нашли такую воронку — она числилась как официальная могила в архиве, а это воронка с водой. Подняли оттуда больше 100 человек и несколько медальонов, по этим медальонам установили фамилии всех. Но главное, что поразило, — могила значится как официальная, а все сто — без вести пропавшие!

М. Ч.: Про Невский пяточок еще в 96-м говорили, что там все собрано, — сейчас опять 15 человек собрали мои школьники. В отвалах!

В. Е.: То же самое под Любанью. Если лето более сухое — останки не в воде, можно найти верховых до сих пор. Но воронки, верховые — это одно. Брошенные братские могилы — семь раз от мерь, один отрежь. Надо всегда разбираться. Хотя и в них иногда без вести пропавших находят, потому что хоронили наспех в войну. Бывает, что в официальной могиле часть — пропавшие без вести, часть захороненными числятся. Если власть местная разрешает, там отряды местные работают. Главное, чтобы все, кто не захоронен, — верховые и по воронкам, — тех важно было захоронить.

Мы в Мурманск приехали, первая экспедиция в Долине славы — нашли там человек сорок в общей сложности. Причем находили сопки, где на одном склоне наши лежат, на гребне — наши вперемешку с немцами, на другом склоне — немцы, стрелки горные. Картина боя читается от и до. Единственное, что пришли люди и собрали оружие. А личные вещи, и пфенниги — в 89-м все было на месте. Находили места, где горных егерей (корпус «Лапландия») россыпь лежит, человек тридцать. Их немцы забросали камнями — видимо, сами не успевали похоронить, отступали в 44-м году. И таких мест полно. Под тем же Новгородом, под Старой Руссой, под Питером, под Любанью есть. А братские могилы трогать — в последнюю очередь, и надо десять раз подумать.

М. Ч.: Все госпитальные захоронения — это захоронения пропавших без вести. Вот те, в Казани похороненные, — все были пропавшие без вести, потому что сведения о них послали не в семью, а в воинскую часть.

В. Е.: А как мы ходили в Калининградской области, операция «Письмо» — приходишь в военкомат, переписываешь фамилии погибших, отправляешь информацию по адресам родственников. А оказывается, что родственники не знают, где захоронение. Они говорят: «Где-то в Германии захоронен?» А тут уже сменились немецкие названия, появились русские. И получилось у нас там с каждого военкомата по сто с лишним без вести пропавших. Вернее, не так — они официально погибшие, где-то захоронены, а семья не знает где. Или медали возьмите, проблемы с медалями — вот отряд

«Орден», который до сих пор работает, в 80-е они за год найдут от силы тысячу орденоносцев, вручат — а их два миллиона было, неврученных наград. Два миллиона! Этим государство должно было заниматься, а поисковики просто на добровольной основе пошли. У нас до сих пор, по-моему, кроме поискового батальона нет профессиональной службы.

М. Ч.: Но я не забываю повторять, что меня учил работать в лесу Серега Лесниченко из Запорожья.

В. Е.: А Валерка Орлов? Хотя нет, он сам по себе, придет: «Вот сюда копай», — и убегает.

М. Ч.: Нет, вот именно по методике все — это Серега Лесниченко.

В. Е.: А Александр Иванович Орлов...

М. Ч.: Орлов нас учил воронки копать да воду черпать.

В. Е.: ...он взял щуп и показал мне, буквально потратил двадцать минут! Потому что первый раз пошли мы копать, нашли останки, — ух ты, родной! Вытаскиваем, а потом смотрим — немец, блин! А уже к концу похода я со щупом умел работать, а весной это более чем полезно. Тут от желания зависит, от интуиции. Тот же Валерка Орлов пришел один раз, смотрит — мы работаем со щупами, посмотрел, мол, на этих время тратить не буду, эти умеют, — и ушел. Это типа похвалы было.

М. Ч.: А Сашка Орлов-младший нашел солдат на месте, где моя палатка стояла. Он был Поварешка наш! Мы его все: «Поварешка, Поварешка», — а он-то, блин... Мужика с автоматом поднял, где моя палатка стояла.

В. Е.: Тут тоже люди такие приезжали молодые, нахрапистые. Когда я комиссарил, перед походом говорил: ребят, не обижайтесь, требовать будем строго. Поход заканчивался — я чуть ли не у 100 человек извинения просил за то, что их щемил. Потому что не проследишь — они тебе на mine костер разведут или снаряд в палатке спрячут. Раз в вагоне едем с вахты — девочка тише воды, ниже травы, никто подумать не мог! Я ей говорю: «Это что у тебя за труба привязана?» — «Это снаряд от катюши, я в музей везу». — «Он разряжен?» — «Да я не знаю, в музей разберутся...» Двери вагона открываем и этот снаряд на полном ходу из поезда выкидываем! Сейчас смешно, а ведь никто не мог подумать — всех обшмонали,

всех самых неугомонных — ни у кого нет! За одним не уследили — вывез трехлинейку, блин. Обрез из нее сделал, студент музучилища. Потом его заложил кто-то, милиция пришла с обыском, а он успел отдать кому-то из ребят, тот отдал кому-то еще, и обрез в Ульяновске всплыл при ограблении сберкассы... Из наших кто-то начал: давайте письмо в милицию напишем, защитим, — я говорю: не будем мы защищать. А бывали и другие случаи — вытаскивали. Потому что молодежь есть молодежь, настырная, нахрапистая... В том же Замосье в 89-м году — выходят толпы, орды этих подростков, и мы их начинаем шмонать. Ладно, когда у ребенка то граната, то еще что, — но когда у руководителя, у взрослого мужика пистолет отнимаешь, или какой-нибудь ствол... «А нам в музей надо!»

М. Ч.: Тогда еще было все проще. Это сейчас у тебя патроны найдут — все, 222-я. Тогда-то было попроще, вывозили все что хочешь: минометы возили...

В. Е.: Пу, опять же — «для музеев». Святое дело! Для меня люди были всегда важнее. Железки эти... Знаете музей в Снегирях, где танки стояли? Я Сергею Цветкову помогал вывозить грузовик «шевроле» ленд-лизковский с Севера. Он для музея вывозил, для него это и работа, и призвание, и бизнес был, — я с военными договорился, из зоны боев, с сопки, рискуя жизнью, ребята вывезли. Он его только вывез — канадцы сразу: давайте, продайте нам его. Он кончил трагически, связался с какими-то трофейщиками...

М. Ч.: Он сначала на Поклонную гору это все возил, его взяли даже в штат этой Поклонной горы...

В. Е.: Потом погиб, непонятно как — то ли сам застрелился, то ли еще что-то... Мы уже не очень контактировали после одного случая, когда он попытался наехать и говорил, что железки важнее останков, — я сказал: «Сережа, это первый и последний раз. Я тебе помог, вывез машину, но больше...» Для меня люди важнее. Он фанат своего дела был, автомобилист, — в журнале «За рулем» работал человек, что говорить.

М. Ч.: Бывают такие, что кроме конников, кавалерии, не хотят никого искать. В Башкирию ездят — ищут только своих.

В. Е.: Кто-то ходит ради запчастей, кто-то самолетами занимается. Там полно людей увлеченных. Я это все понимаю, но главное, чтобы не говорили, будто железо важнее людей. Я терпеть

этих вещей не мог. Кстати, когда передачу «Мир и молодежь» делали, нас все пытались вытащить на такую тему — мол, зачем вы ходите в походы, вы, наверное, такие убежденные комсомольцы, патриоты? А мы были такие циники, скептики, сталкерский у нас юмор, и я говорил: знаете, если честно, у меня была бабушка верующая, если бы она шла по лесу и нашла солдата — она бы все отложила и похоронила бы его, крестик бы поставила.

М. Ч.: Барон Мюнхгаузен наш татарский умер. Его так и называли. Вернулся живым мужик домой, у него два сына родились, после войны уже. И вот про него говорили: мол, такую дребедень рассказывает! Что на танках чуть-чуть до Рейхстага не дошел, что танки в плен брал десятками! Понятно, да? Ему говорят: барон Мюнхгаузен уток одной косточкой убивал, а ты вот... Он так и умер под этой кличкой. Открываю «Подвиг народа», набираю его фамилию: наградной лист, представляется к званию «Герой Советского Союза», танкист, мужик 22 апреля первым на танке ворвался на улицы Берлина, подмял три пушки сразу, организовал ночной бой своей роты так, что они окружили и тепленькими взяли в плен 45 танков вместе с экипажами. Па улицах Берлина! Напечатана вся эта история на машинке, и подписал наш Кривошеев, который принимал парад в Бресте. Я ее распечатал, его сыновей пригласил сюда, при всех вручаю и говорю: «Все, ребята, хватит отца обзывать!»

Дед мой родной, Черепанов Михаил Иванович — он, когда умирал в 92-м, последние его слова были: «Сынок, не путай два понятия: немцы и фашисты». И передал мне десять пфеннигов, которые ему отдал немецкий крестьянин, когда он бежал из плена, вместо того, чтобы сдать в гестапо, и сказал: ваши там. Они были на территории Бельгии, 44-й год, и бельгийское командование сопротивления их умоляло не убивать немцев — за каждого убитого немца расстреливали десять мирных. Это у нас все делалось специально, чтобы поднять партизанское движение, а у них людей-то берегли. И они просто брали немцев в плен и отдавали бельгийскому командованию, а они выменивали на них своих. В последнем бою ему отшибло руку полностью, и его подняли американцы, притащили в госпиталь, оформили как американского военнослужащего. Пока год сращивали ему руку, он там провалялся до 46-го года практически.

Успел дочку родить от медсестры. Домой в Сибирь вернулся в американской униформе, с американскими документами.

В. Е.: В Ленинградской области интересно относились к проблеме погибших. Когда я приехал под Любань, все местные жители, кто из властей, мне стали рассказывать про новгородскую Долину смерти. Я говорю: «Мы оттуда приехали». — «А, вы оттуда к нам, а зачем?» — «Здесь была Любанская операция, по нашим данным должны быть останки». — «Да нет, ничего нет!» А я пошел к местному леснику: «Где останки видел?» — «Да тут полно мест». Показал место — говорит, сюда кабаны ходят за кальцием, останки грызут этих погибших. Мы пришли и за первый же день разведки 40 человек нашли. А потом уже по радиусу стали работать и находить останки солдат: и воронки, и верховых, и прочее. Нас еще в университете, в «Снежном десанте» учили не пренебрегать воспоминаниями местных жителей. В архивы нас тогда еще не пускали, стали пускать через год-два. В Мурманске так же — приехали к Журину, он нас отвез на озеро Дракон, говорит, здесь были бои. Пока лагерь ставили, я уже череп нашел. Там вообще своеобразный очень поиск, все на поверхности практически лежит. Останки видны издалека, их выбеливает снегом, дождем. По всё же не очень легко, потому что площади большие, сопку одну прочесали, потом идем — опять какие-то останки находим.

М. Ч.: У нас вопрос был — что делать со схронами мародеров в лесу. Представляешь, по лесу идешь — а там мотопомпа прикопана, чтоб качать воронки. И вот мы решали, что делать: объявлять им войну или сохранять перемирие? Хорошая война или плохой мир — вот ты бы что предложил? Не знаешь? Об этом и речь. Мы туда приезжаем два раза в год, у меня большинство в отряде — девчонки. Никаких полиций в лесу, естественно, нет. И эти ребята с ружьями, которые могут в любой момент что хочешь кинуть в костер. И объявлять им войну мне, честно говоря, очень не хотелось бы.

В. Е.: Ну, были случаи, пинками одну группу залетных из Питера выгнали. А вот были в Мурманске — мы просто подружились. Говорю: вам железки нужны, а нам останки. Железки — берите. Там были два подростка, братья-маугли, каждый пятерых поисковиков стоил. Приручили, нормально работали, они нам показывали сектора поиска, приходили к костру. Бывало, конечно, пара-тройка подходили

в немецкой экипировке горного стрелка, значок «Эдельвейс», ну такие вот. Но и те — смотрят на общую атмосферу, видят, что их знакомые трофейщики с нами хорошо общаются — что пришли, показали, помогли. А если уж явно отмороженные, то они и не сунутся. Были такие, которые землянки минировали — мину засунут в печку, и все. И такие были. Нас от подобных Бог миловал.

То письмо, которое написали в ЦК комсомола в свое время... Было важно получить государственную поддержку через молодежную организацию: технику, саперов, машины. Были такие ребята, как отряд «Слезы матерей» из Санкт-Петербурга — Сергей Евтюков, Саша Сеницын; поисковый отряд города Сафоново Смоленской области — Саша Шалаев; поисковый клуб «Сокол» из Новгородской области — Навел Готов; поисковое движение республики Татарстан в моем лице, — Михаил Орешета, поисковик известный Мурманской области, — вот мы организовали свою секцию, написали письмо и отправили. Нас поддержали, и поисковое движение стало официально признанным.

А потом уже стали готовить Вахту памяти — готовить, что называется, по-взрослому. Гигантомании избежать не удалось — собрали там тысячи три человек со всего Союза, из которых копать могла от силы десятая часть, и экипирована была от силы половина участников. Но ЦК комсомола требовался масштаб. Это был минус, конечно, нагнать туда неподготовленных людей... Но Вахту подготовили профессионально: спросили у поисковиков, сколько нужно продовольствия, какая техника нужна, какие специалисты, — и вот мы и гусеничные тягачи заказали, гробы, амуницию... Составили заявку, в Минобороны это все спустили, и вся необходимая амуниция, техника, помощь военных специалистов, саперов были обеспечены. Плюсов все-таки было гораздо больше. И ту молодежь, которая пришла, мы быстро обучили работать. Но дилетантизм иногда проявлялся. У нас не было несчастных случаев, подрывов, но были какие эпизоды: пропала одна поисковая группа, подростковая, из Татарстана. Ей руководил физрук один местный, ну и школьники. Мы их прикрепили к взрослому отряду из Набережных Челнов, у них не забалуешь, и вот они работали с ними, эти подростки, и вдруг раз — пропали. Мы едем по зоне поиска на тягаче, подходим, говорим: «А где?..» — «Куда-то убежали». — «Куда?» — «В свободный поиск, мы

уследить не успели». Во главе с руководителем подростки убежали! А там такое место, Госпитальная поляна, там технику бросала 2-я ударная армия, боеприпасы на каждом шагу, россыпи мин, — в общем, детей туда одних отпускать нельзя.

Едем мы на тягаче по просеке, смотрим — идут. А с нами был Олежка Александров, старшина-десантник, он тогда уже студентом стал, но замашки эти остались — мог молодых строить, они его боялись как огня. Благодаря ему был очень четкий порядок в лагере. И вот мы видим этих подростков, впереди идет довольный физрук, и у него полное ведро ручных гранат-лимонок. И он его с гордостью несет, типа, нашел показать! Нет чтобы на месте оставить, саперов вызвать — человек взрослый... А перед ним — парень гордый, несет немецкую мину противотанковую! Все в нормальном состоянии, уже потом посмотрели — она чуть ли не на боевом взводе. Тут он видит Олега — тот ему кричит «Брось! Брось!», ГТ-Т перекрикивая, — остановился, задрожал и бросил мину под гусеницы нашего ГТ-Т практически, водитель еле успел остановить, полметра не доехал до этой мины. Вот вам пример, что там на любительском уровне происходило. А водитель остановил, посмотрел на мину, потом на нас, — а он был из партизан местных, — и говорит: «Ребята, одна просьба: полчаса меня никто не трогайте». Потом лег так и лежит в предынфарктном состоянии.

Но потихоньку мы их воспитали, лагерь работал. Вся страна узнала, что прошла Вахта памяти, на следующий год она проходила уже в Смоленской области. После этого движение стало уже признанным, и вплоть до 91-го года каждую весну выходили директивы о помощи поисковым отрядам, и в союзе с государством как минимум три года поисковое движение работало нормально. Потом — развал страны, и свои проблемы начались: проблемы выживания, проблемы становления, — на десять с лишним лет они образовались у поискового движения страны.

Вахта памяти 89-го года... 21 апреля я уехал в поисковую экспедицию и закончил где-то к 10 ноября, ездил из одной экспедиции в другую. Причем зачастую мы ездили на свои средства. Здесь было предприятие, которое работало, какую-то прибыль приносило, и мы ее тратили в основном на поисковую деятельность. Даже оплачивали дорогу энтузиастам, которые добирались сами, и

немного инструкторов. Такой, светлый год был достаточно. В июне у нас состоялся первый поход на Кольский полуостров, в районе озера Дракон, с местными поисковиками и Львом Васильевичем Журиным. Он нас повел, встали палаточным лагерем, нашли останки, вывезли их, даже свой сектор поиска нашли — не тот, который нам показали. После второй мурманской экспедиции мы решили съездить на разведку под Любань, нашли местного лесника, попросили показать, где есть останки, провели разведку, собрали там человек сорок погибших и договорились о первом захоронении под Любанью. В день захоронения вышли просто пробежаться на разведку и нашли воронку, которую пытались взять мародеры. В воронке больше 100 человек было. Сколько смогли — взяли, провели захоронение в деревне Коркино, это уже было начало октября. Вернулись оттуда — звонок из ЦК комсомола. Они решили проводить следующую Вахту в Смоленской области, собирали поисковиков со всей страны на экспертные работы — найти сектора поиска, где надо ставить большие лагеря. Мы тоже нашли сектор в зоне Вяземского окружения; весной 90-го года там развернулся поисковый отряд на несколько сотен человек.

Все последующие годы также были экспедиции, работа на местах боев; костяк опытных ребят ездил, часть — добровольцы, которых обучали. Налаженная поисковая жизнь была у нас до кризисного 92-го года.

М. Ч.: Сейчас я тебе прочитаю одно письмо, которое нам передали буквально чудом. Опубликовано оно в Ровенской области, в газете «Комсомольское знамя», некто Меренко.

«Открытое письмо студентам-филологам из Казани, взявшим на себя мужество Долину смерти внести в список памятников жизни». Это октябрь 87-го. «Так уж случилось, что передачу "Мир и молодежь" смотрел 15 октября вечером и 16-го утром. В гостинице, в комфортабельном номере. Не то чтобы сидел без дела. Командировка. Сложная. Хозрасчет, самофинансирование, самоокупаемость... Сейчас столько людей затянута в этот водоворот... С непосредственными профессиональными заботами управился, наслушался публицистической лирики доморощенного поэта, осталось дожидаться обратного поезда. Словом, как-то время коротать нужно было, вот и включил телевизор. Телевизионщикам, сделавшим этот сюжет, отдал

должное. Они молодцы. Но теперь, когда стою и смотрю в окно, речь о другом. Ребята! Миша Черепанов, Шамиль Фаттахов, Володя Ерхов! Нет слов, чтобы выразить вам благодарность за то, что вы делаете. Если и есть на свете нынешнем молодые люди, достойные уважения, так это вы. Мне мама рассказывала, как ее брата в 41-м призвали в армию и он пропал...»

Ну, короче говоря, это у каждого в семье практически было. Мы получили тогда таких писем — три миллиона. Со всего Советского союза! И все писали, что у них кто-то пропал без вести — его, наверное, сдал Власов в этой самой 2-й ударной армии, где-то там в этих лесах, наверное, и лежит. Понимаешь, что получается — это как бывают какие-то символы, вот у нас была «Молодая гвардия», или мальчишка, который свой трактор спас^[161], — получилось, что наши три-четыре имени взяли на вооружение все комсомольские организации во всем Советском союзе! Горбачев, видимо, дал команду, — так сказать, пришла пора доказать, что коммунистическая партия не все сделала, что нужно, и разрешили критиковать. А нам что — нам только дай! У нас фильм был снят, который назывался «Горечь», — Серега Нестрецов снял, буквально пятнадцать-двадцать минут, — идем мы по лесу и, как грибы, эти черепа, черепа, черепа... Это 86-й год. И когда его показало центральное телевидение, вот та самая «Мир и молодежь», естественно, больше всего завозникал кто? Министр обороны Язов!

Он воевал сам, лейтенантом, командиром взвода. Он был совсем в другой операции и совсем в другом месте, но дело не в этом.

В. Е.: Он в Синявинской воевал?

М. Ч.: Да. То есть он это воспринял, само собой, лично в свой адрес, эту критику. И конечно, он начал возмущаться, в суд на нас подавать...

В. Е.: Конечно, он же отвечает за своих солдат-то непогребенных.

М. Ч.: Так об этом и речь, понимаешь? Он начал говорить, что это они, собаки, где-то набрали в своем театре анатомическом черепов, измазали их грязью и раскидали по лесу, чтобы скомпрометировать Советскую армию. Нам вот больше делать не фига было — мы уже лейтенантами были запаса, кстати! Я в журнале «Коммунист Татарии» работал! Меня что всегда и спасало, я всегда

корочку — хоп! И поэтому он ничего не смог сделать против нас, сколько ни пытался. Нас поддержал Толубко — маршал ракетных войск. Почему? Да потому что комиссар Зуев^[162] был его личным другом, они в Испании вместе воевали, и он отлично знал всю эту историю, отлично знал, как на этом деле сломали Сергея Сергеевича Смирнова...

В. Е.: Который фильм сделал, «Комендант Долины смерти»! Уничтожили этот фильм!

М. Ч.: ...оклеветали Орлова — он знал об этом. И, более того, нам так повезло крупно — в 85-м году мы вышли на полковника ГРУ Кузнецова Виктора Александровича. Он был в окружении, вышел живым, и он составлял как раз книгу: «2-я ударная в битве за Ленинград», сборник документов, и он с этим самым столкнулся, что их всех до сих пор грязью мажут.

В. Е.: Даже не столько грязью мажут, обвиняют, а замалчивают трагедию, что вот была армия, погибла, какие-то изнуренные голодом люди чуть в плен не попали... Не столько даже их предателями называли, сколько вообще армия из истории пропала! Где-то какой-то придурок назовет их предателями, но даже такого, чтобы где-то печатали, что она сдалась врагу, — я за советский период не могу найти публикаций. Хочешь об этом написать — тебе отдел охраны тайн в печати говорит: цыц!

М. Ч.: Короче, тот самый Виктор Александрович, который потом свой дневник того времени разрешил опубликовать. И этот дневник стал, по сути дела, методической рекомендацией местным ребятам, которые шастают по лесу. Там описана буквально каждая кочка и каждый кустик. То есть речь о том, что мы получили хорошую крышу сразу. ЦК ВЛКСМ даже не сомневался, он сразу принял нашу сторону — ну, там были, конечно, немного шероховатости, но это другой разговор.

В. Е.: В 89-м году, с одной стороны, нас разрешали, потому что были фамилии на слуху, в телепередачу попали; во-вторых, мы сделали не так уж мало. Мы были первыми в каком плане — нам удалось сказать то, что до этого не дали громогласно сказать другим. Нам дали. Потому что уже время того требовало. Но тем не менее мы были людьми неудобными. Когда мы с Мишей были на Вахте памяти, был эпизод, что ЦК решил, мол, слишком какие-то ребята

своенравные, неудобные, давайте их заменим на каких-то функционеров. И решили нас отстранить от руководства поисковым движением, от участия, и поставить какие-то свои, более удобные фигуры. И вот там, в нашем лагере, собрались поисковики — и Ада, и Олег Всеволодович Лишины, и такой хай подняли! «Вы хотите снять Черепанова с Ерховым, наших лидеров!» А это же, по сути, была демократическая оппозиция, там перепугались все. Цэкашники, которые там были, сказали: не-не-не, ребята, вы нас не так поняли, мы просто немножко покритиковали... «Долина смерти» — песню слышали? Нет?

М. Ч.: Это его, Ерхова, песня.

В. Е.: Да, ну вот таким гимном поисковиков стала в свое время. «Нам опасаться артналета уже не нужно у костра, пришла гражданская пехота на помощь тем, кто пал вчера». Ну и так далее там... Вот мы были такой гражданской пехотой, ополчением. И не всегда и не всем были удобны. Но потом в ЦК комсомола, надо отдать им должное, поняли, что надо работать с теми, кто есть.

М.Ч.: Нам просто крупно повезло, совпало: во-первых, перестройка началась. Если бы это было сегодня — я сильно сомневаюсь, что мы бы что-то смогли.

В. Е.: Десять лет назад я был на слете, на закрытии Вахты памяти в Ленинградской области, и там мне один из местных ребят — откуда-то из местной администрации — говорит: «Володя, а можно мы тебя назовем первым поисковиком Ленинградской области?» Я ему: «Да не вопрос, только одно определение добавьте — первый непосаженный поисковик». Потому что до нашего появления их либо сажали, либо щемили. Говорю: понимаете, вы разберитесь — до нас существовали люди. И в 60-е годы, и позже. Их не желали признавать просто. А с другой стороны, узколобость подхода в чем была: страна прошла такую войну, ну что она должна — не о живых думать разве, не о промышленности, а погибшими заниматься? Кстати, в районе населенных пунктов кого находили — хоронили. В том же Мясном Бору, нам Николай Иванович Орлов писал: иду, говорит, по лесу, навстречу школьники с коромыслами, на коромыслах висят лукошки. А лукошки набиты костями. А, не, это не Николай Иванович, это автор фильма «Комендант Долины смерти»...

М. Ч.: Смирнов?

В. Е.: Нет, не Смирнов, а оператор — Раненко. Говорит, идут школьники, принесли, где-то захоронили — в районе населенных пунктов что-то пытались сделать. Но та же Долина смерти — это же одни урочища, бывшие деревни, сгоревшие во время войны и потом не возродившиеся! И вот в лесах, в урочищах очень много погибших было. Или та же горловина у Мостков, где этот Непочатый край, — это место прорыва 2-й ударной армии было.

М. Ч.: Нет, ты вот просто фразу прочитай, это всесоюзная газета, самая многотиражная была. «Наверное, кто-то удивится — почему первый съезд? Разве не было до этого всевозможных слетов красных следопытов? На сей раз впервые собрались те, кто многие годы по своей инициативе занимался поиском забытых братских могил, возвращая имена тем, кто считался пропавшим. Слишком долго мы боялись об этом сказать, признаться самим себе в том, что такое кощунство существует в нашей стране. Не потому ли первый сбор состоялся лишь 43 года спустя после Победы?» То есть я тут открыто впервые это все сказал. Понимаешь, в чем дело — нам не разрешали даже 2-ю ударную упоминать. У меня вычеркивали из статьи упоминания 2-й ударной, центр вычеркивал. То есть это не принято было — в «Коммунисте Татарии» запрещены были даже упоминания этого.

В. Е.: Да в любой стране, где идеология превосходит здравый смысл и реальную аналитику, такое могло бы случиться. Возьмите Афганистан на конец девяностых — начало двухтысячных годов. Вернее, даже уже перед вводом войск американских туда. Вот генерал Дустум вышиб из узбекской части Афганистана талибов и взял несколько тысяч в плен. И, чтобы они снова в строй не встали, их расстреляли. Потом какая-то часть талибов проникла на ту территорию, у них появились поисковики и стали заниматься раскопками расстрелянных. В прессу что-то просочилось, но афишировать и раздувать на весь мир не стали, потому что Дустум — все-таки союзник коалиции. Вот вам идеологические соображения, правда уже тут неудобна. Любая бюрократия смотрит, насколько это выгодно и целесообразно; вот нашей было невыгодно признавать, тем более что отчитались на международном уровне, что нет такой проблемы.

М. Ч.: Время, когда поисковое движение поощрялось — материально, морально, — было до Черномырдина. Вот Черномырдин еще выделил последние деньги на это дело — я помню, столько же, сколько выделили на перенесение памятника расстрелянным евреям с Поклонной горы, спереди назад. Вот ровно столько же денег нам дали, по тем временам четыре миллиарда рублей. Когда Союз развалился, комсомол же перестал существовать, и был вопрос: разбегаемся мы по квартирам по своим или нет. Казахи, узбеки, белорусы, украинцы — в одну сторону, мы — в другую, потому что не было ничего, что бы нас объединяло. Союз поисковых отрядов был только российский.

В. Е.: Не, сначала он был советский, до 93-го года.

М. Ч.: И получилось, что финансирования никакого, руководства никакого, центра никакого. Нас девять человек, конечно, в правлении осталось, в том числе из девяти двое были из Казани. Вот тогда я при всех сказал: ребят, чем пытаться что-то там удержать, может быть, сделать самостоятельные, отдельные зоны? Отдельно — северная, отдельно — центральная, отдельно — южная. Я тогда прослыл раскольником, расколол единство. И у нас появились отдельные организации, которые, вместо того, чтобы вымереть, как мамонты, — они, как ящерки, уцелели, потому что стали финансироваться из местных, региональных источников.

В. Е.: Но все равно до 98-го года так или иначе собирались.

М. Ч.: Так я про что и говорю, потом мы уже собирались как СНГ. Но это уже было самофинансирование — кончились саперы, кончились ГТ-Т...

В. Е.: ...директив Генштаба не стало! Официально мы, поисковое движение, с 2010 года существуем. Хотя и в нулевые оно было, в Госдуме поисковиков принимали до 2010 года.

В. Е.: Почему люди нас запоминали? У нас, по крайней мере в татарском поисковом движении, всегда был очень классный микроклимат. Мы могли пахать, но приходишь на бивак — это не просто поесть, там всегда культурная программа, люди поют, общаются, что-то рассказывают, стихи читают. Во многом и за этим идут, ценность этих вещей, когда отпахал, понимаешь. Люди вроде отпахали — упасть в палатку и уснуть, но нет, надо посидеть у костра, надо пообщаться... У нас романтика была в нашей поисковой жизни, это была составляющая нашей культуры, нашего духа. Некоторые шли

даже не ради того, чтобы отдать свой долг погибшим, честно скажу — некоторых привлекало именно вот это общение, романтика и все такое, и ради этого они работали. За высокими словами тут прятаться не надо: можно лозунгами говорить и в белых штанах-кроссовках подъезжать к раскопу, и даже пальца не испачкать в этой грязи, а можно быть циником, скептиком, хохмить, многое всерьез не воспринимать, шарахаться от высоких фраз, — но человек приходит, лямку тянет, работает. Поисковая культура сама по себе — она такая же, как бардовская, как туристская, — очень своеобразная, и формирует людей очень интересных.

Я так скажу, мы были советские ребята по психологии — не совки, а советские ребята, у которых было все, и любовь к общечеловеческим ценностям, и прочее. Мы произошли от той культуры, поэтому старались нашим отцам и дедам какой-то долг вернуть, мы не могли мириться с тем, что они незахороненные лежат. А уже когда работали, формировалось все: общая идеология, настроение и прочее. У людей, которые сейчас занимаются, наверное, какие-то другие есть причины. Я и сегодня нахожу ребят духовных, вот мы снимаем фильм про мальчишек, которым шестнадцать-семнадцать лет, — абсолютно духовные ребята, может, наивные по своему, но они хотят, чтобы справедливость на их глазах восторжествовала. Вот, кстати, поиском на тот момент мы четко доказали и себе, и окружающим, что добиться социальной справедливости на уровне отечественной истории — возможно! Даже пройдя через страшные вещи. Мы добились справедливости, мы доказали всему миру и власти тогдашней, что мы правы, что с нами надо считаться, что этим надо заниматься. Что закрыть глаза на нашу работу, на эту беду — не проблему, это беда была великая, всенародная, — невозможно. Соответственно, все оттуда и идет. Наивно это было, не наивно — какая разница? Мы в это верили, мы в это верим и до сих пор.

АНАТОЛИЙ СКОРЮКОВ

Некоторые считают, что мы первые поисковики, — на самом деле это не так. Были гораздо पहले нас, просто мы о них, к сожалению, сами мало что знаем. Одни из первых — те люди, которые сразу же после боев находили, хоронили, брали какую-то информацию, документы, потом переписывались с родственниками, может быть, уже после войны, и сообщали о погибших. Есть такие люди в Долине смерти — Николай Орлов, например; в Керчи был человек, который при немцах начал хоронить наших солдат на своем участке. И весь свой участок сделал мемориалом. Сам там же и похоронен. Это вообще легендарная личность, а о нем мало кто знает, больше знают об Орлове. Такие люди были в каждом регионе, к сожалению, не везде их фамилии известны.

Есть такой фильм «Вдовы» — он о двух женщинах, которые ухаживали за братской могилой. Все знали, что они ухаживают, но никто им не помогал. Тут администрация вдруг решает сделать воинское захоронение в центральном сельсовете. Значит, берут эту могилу, с бабушками договариваются еле-еле, они против были, делают эксгумацию, никаких документов не находят и делают перезахоронение. Сделали, про бабок забыли, но теперь этим бабкам приходится дальше бежать до этой могилы, чтобы ухаживать. Как раз такие бабки и есть первые, скажем так, поисковики: первые люди, которые начали хоронить солдат.

У них были свои проблемы. Были такие бабушки, которые за грибами пошли, нашли солдата, похоронили — они ставили крестики по русской традиции. А тут особист приходит и говорит: на могилах советских солдат не должно быть крестов! И сносит эти кресты, ходит специально, говорят, чуть ли не на тракторе ездит и разравнивает эти площадки. В результате он уничтожил эти захоронения, но бабки их уже без крестика, по могильным холмикам находили. И вот таких могилок очень много до сих пор осталось. К сожалению, бабки ушли, а молодому поколению это не нужно было.

Первые мародеры были знаешь кто? Как раз дети войны. Я просто встречался с такими людьми — они сейчас уже в церковь пошли,

раскаялись в своих грехах, видимо, в какой-то момент поняли, что натворили, и все дружно в церковь пошли отмаливать грехи. И они рассказывали: маразм доходил до того, что они, чтобы денег заработать, кости солдат сдавали на мыло.

Потом было везде по-разному. У нас в Вологодской области были журналисты, которые интересовались этой темой, например Тамара Осиповна Спивак. Потом краеведы, ученые-историки, которые по роду своей деятельности заинтересовались. Я очень мало знаю о красных следопытах-вологжане, в основном переписка общая была. Затем всех всколыхнула «Долина». Вот когда она нас объединила, сдружила: и Татьяну, и Сашку, и Илью, и меня, и других... Это, скажем так, последнее доброе дело комсомола. Все были комсомольцами. Комсомол — это была активная молодежь, романтики такие. Решили объединить поисковиков. Нас собрали тогда на конференции, начали знакомиться. Вот так и познакомились, сдружились, какой-то опыт в общежитиях обсуждали, кто как работает. И потом приходило понимание, что немного не так работаем. Нас же никто не учил, как правильно.

Но большому счету, многие до сих пор работают по-мародерски. И мы с этим боремся. Ну, так проще всего — как картошку копать. Типа, я 20 солдат поднял, я герой, блин! У нас большая проблема — пройти медные трубы. У нас что ни поисковик, то герой. «Я солдат поднимаю, что ты меня учишь!» А на самом деле ты — ушлепок, ты уничтожаешь память солдат, ты ничего не понимаешь, ты его нормально археологически не можешь поднять, не можешь сохранить память. А если документы не составил, не сфотографировал — ты стопроцентно уничтожил память. О них ведь зачастую документы какие-то сохранились, что-то можно найти. Это очень долгая кропотливая работа, но у нас в основном, если медальон нашел — это хорошо. А в экспедиции находишь ты сто человек и один медальон — остальные девяносто девять чем виноваты? У них что, медальонов не было? Были медальоны — был приказ их носить. Они что, другой подвиг совершили? Мы с этим нянчимся, который с медальоном, а остальными девяносто девятью когда и кто будет заниматься?

Сейчас пытаемся изменить ситуацию, она медленно, к сожалению, переламывается, но — переламывается. В сторону профессионализма, скажем так, а то все же хотят быть героями. В

школу придешь — там чуть ли не в каждом классе поисковый отряд. А что вы делаете, чем занимаетесь? Нет систематизации. Чем страдали еще красные следопыты — нет систематизации никакой. Советский Союз развалился — сколько музеев было уничтожено? Ведь у детей шило в жопе, стоит учителю сказать: «Пройдите по ближайшим домам, соберите у ветеранов какие-нибудь реликвии», они — вжух, награды в музей притащат, подлинные документы на клей приклеят, фотографии! Но это нигде не зарегистрировано, не стоит ни на каком учете. Учительница на пенсию ушла — кто будет следить за этим музеем? Сколько таких музеев после советской власти уничтожено было? Куда эти медали делись?

Как я начинал — пришел из армии и ждал навигации, я моряк по профессии. Вернулся зимой, под Новый год, а навигация в апреле-мае обычно начинается. После усиленных празднований понял, что начинаю спиваться. Надо чем-то другим заниматься. Ну, тогда не проблема была найти работу, работу я нашел, но не особенно она вдохновляла, я все равно попивал. И тут по телевизору показали «Долину», и был сюжет, что экипаж такого-то буксира поднимает солдат посменно. Подумал — почему бы и мне этим не заняться. Вышел на военкомат, военкомат говорит: тут есть Караваев Виктор, он в прошлом году ездил, давай вас состыкуем. А Виктор Караваев — старший лейтенант запаса. Он был военруком в районной школе в двадцати километрах от Череповца. Я с ним встретился: «Поедешь?» — «Поеду». Но тут проблема возникла, что я как капитан был под броней. Флотским никуда нельзя во время навигации. А я не сказал в военкомате, что я капитан, мне выписали повестку и отправили.

В итоге два месяца по болотам шарился, сначала в Новгородской области, потом в Ленинградской, — из экспедиции приехал и сразу поехал в другую. Меня дома ищут, мне влетело потом. Но я не сказал, что в поиске был, сказал, что сапер, работал на разминировании местности. Ну, чтобы так сильно не попало. После, если нужно было в экспедицию, заезжал в военкомат, просил повестку, и меня отправляли. А если надо на неделю в архив куда-то съездить, со сменной вахтой договаривался, со старпомом, с помощниками, в общем, подменялись с ребятами, — я за них работаю, они за меня.

У нас первым был Виктор Караваев, вокруг него собралось человек пятнадцать-двадцать. Основной костяк — где-то десять

человек, остальные приходили, уходили... И школьники были. Виктор создал хороший музей, тот потом развалился. Он такой пробивной товарищ был, у нас появились машины — ЗИЛ-131, ГАЗ-66, даже БТР, но он пошел на запчасти, честно говоря. У Виктора тогда была установка — надоело воевать, мы никакой не отряд, мы не военизированное объединение — мы клуб. Был поисковый клуб «Неизвестный солдат», была своя эмблема. Такая организация впервые появилась в Вологодской области. Это 90-е годы, когда рушился Союз, что-то было проще. Виктор решил бизнесом заняться. А поиском спустя какое-то время стал заниматься я: я — поиском, он — бизнесом, финансирует отряд, первоначально была такая договоренность.

Но у Виктора пошли проблемы, скажем так, с братвой... Он начал прятаться. В результате экспедиции мы проводили за свой счет, ему удалось две экспедиции, наверное, профинансировать — и то это был бензин, машины мы уже доставали сами. Как-то я уехал в подольский архив, ко мне туда ребята приехали, потом поехали обратно, и тут звонок: Виктор погиб. Он ехал из Питера, как я понял, а ребята из Москвы на Устюженскую трассу вышли. А питерская трасса тоже выходит на Устюженскую, они шли впереди, и, как оказалось, Виктор был за рулем, уснул, и бордюром их разорвало. Олежка Налаткин только выжил, тоже поисковик, из Шексны. Остальные все погибли. Мы потом на это место приезжали, кроссовок нашли...

Сначала ездили в Долину, потом не понравилось отношение солдат. Ну, в мелочах. Получалось так, что куча народу работает в болоте, а кто-то стоит у трассы, отдыхает. И когда мы подняли солдат, — как раз Мишка Черепанов с нами был, мы в группу «Остров» вошли, он ее возглавлял в Спасской Нолисти, — останки отвезли в Мясной Бор. А мы уже тогда старались разделить солдат, задокументировать, зарисовать, сфотографировать... Валерка приезжает и говорит, что они их всех смешали, просто высыпали в одну кучу. Потом на захоронение приезжаем из болота — сначала нам говорили, что мы будем их вручную закапывать, могилы большие, как на Пискаревском кладбище, — а стали закапывать экскаватором. Мы собрались и уехали. И уже в дороге обсуждали: давайте у себя в области посмотрим, все ли у нас так хорошо. Познакомились с

лесорубами, которые рассказали, что они, когда работали в Тихвинском районе, видели останки солдат.

Сразу скажу, что у нас опыта никакого не было. Приехали мы в тот район. Останки наверху лежали, по ячейкам было понятно, что это 41-й год, еще окопов не было. И было видно, что это окружение, потому что круговая оборона. И там я в первый раз чуть не сошел с ума, поздоровался с солдатом. Начал копать во мху, руку засунул и наткнулся на перчатку. Будто за руку поздоровался. Он в перчатке держал гранату в замахе и так упал. Сложность в чем, — я до сих пор этот бой разбираю, — нет фамилий солдат, которые погибли там. Есть список тамошних погибших командиров. А списка солдат нет. Ни в какой археологии я тогда не соображал, ничего такого не делал. Больше общался с ними, чем зачищал. Ты, когда поднимаешь, особенно по первости, — общаешься с ними. Потом во снах они приходят. В общем, каждый год мы в этом месте по 30 человек поднимали. Там же познакомился с местными бывшими мародерами, которые стали свою судьбу рассказывать, места показывать...

Видишь, в чем еще проблема: когда могилу открывают и кости выбрасывают наверх, они очень быстро истлевают, до порошкового состояния. Ты знаешь, что там кости должны быть, но ты их не находишь, потому что они истлели. И думаешь — как? Тебе же только что показали, что тут гренадеры погибли, 1-я гренадерская бригада. Они должны быть — а их нет. Местного спрашиваешь: «Сдал кости все-таки?» — «Нет, не сдавал». Потом уже поняли, что кости истлели — хватанули воздуха, и пошел процесс разложения. Могут, конечно, сохраниться какие-то крупным фрагменты, резиновая обувь, но фактически мало что остается. Когда мы работали, местный товарищ подошел, сказал: «Толя, спасибо вашему отряду, что по лесам теперь меньше костей наверху лежит». Бои в основном вдоль дорог шли. Наша задача была похоронить хотя бы те останки, которые очень в глаза бросались. С этой задачей справились, а вот второй этап, когда захоронения в ячейках, там сложнее найти. Я не думаю, что всё там зачистил.

В это же время мы ездили в Ошту. Там же памятники стоят, все так красиво. А мы поехали в разведку вдвоем: водитель и я. И он такой: всё, поехали, тут все нормально, все отлично! Я говорю: прекрати, давай еще посмотрим. И начинаем с бабушками, с

дедушками разговаривать. А они: а вот здесь могилка, здесь солдатик лежит, здесь солдатик. Там за грибами ходила, видела. Здесь ветераны приезжали, рассказывали, что у этого дома была могила, и не могли найти. И так появилась куча информации, и оказалось, что не все так хорошо, как кажется. Это все 7-я отдельная армия — Ошта и Вытегорский район, и Тихвин. Там был такой период, когда двумя армиями командовал один генерал — Мерецков. Когда немцы рванули на Тихвин, они должны были второе кольцо сделать, пошли на Вытегру, но не получилось; должны были с финнами соединиться, и тогда бы для Питера очень плачевно все кончилось. Мерецков в этот же момент по просьбе Сталина командовал 7-й отдельной армией и 4-й отдельной армией, организовал оборону и потом отбил Тихвин.

Подъем у нас был такой, что хотелось голову свернуть этим поисковикам, и себе лично тоже. Потом начали обсуждать в своих кругах — ну, на конференциях встречаешься, — одни говорят: со мной археологи перестали здороваться, с другим ветераны перестали... Что-то не то... Давай попробуем археологически поднять — сможем, не сможем? Такая, своеобразная археология там. Пет квадратов, как у археологов... Первая попытка — Любанская экспедиция, 54-я армия в болоте... Сели в воронку: ребят, а можно же их поднять, разделить? И вот начали общаться: Сережка Котелевский, я в Тихвине. По у меня там в основном песок, я их поднимал в песке, и подо Ржевом тоже. Понимаешь, не всегда мозги додумывали правильно: ну, подняли, а дальше что? А дальше у нас получался все равно какой-то смес. И вот потом уже, со временем, стали стараться делать индивидуальные гробы, на каждого — протокол эксгумации, не общий, а каждого описывали, акты захоронения: в этом гробу лежит такой-то солдат.

Сейчас до того доходят, что происходит эксгумация, родственники изымают останки и увозят на родину. Я против. Это не очень хорошо. Понимаешь, вот медальон лежит, ты на него наступил, и он укатился к другому солдату. Он же не стал от этого Ивановым Иваном Ивановичем? Он такой же молодой, такого же роста, останки примерно подходят... но это не он. А его повезли «на родину». А если перед боем я тебе свой медальон отдаю, мол, если что, моим сообщи? Тебе остался мой медальон, твой где-то потерялся — ты же не стал мной? А тебя на родину ко мне повезли. Вот если ты ДНК взял у них,

и сошлось с родственниками, тогда вероятность 99,9 %. Ну, тогда, если хотите — ради бога, но, с другой стороны, они взяли солдата, отвезли на родину, — насколько он там будет ухожен, насколько его память на родине будут чтить? Мы часто к своим дедушкам-бабушкам ходим на могилы? Кто памятник будет ставить, кто ухаживать будет? У нас сколько «афганцев» — где их могилы? Тут мемориал, он лежит на мемориале, и попробуй ты его свернуть. Одно дело уход за мемориалом, другое — за личной могилой.

Это не один я придумал, мы пришли к этому вместе: Фаиль Ибрагимов, Илья Прокофьев, — мы сидели вместе и обмозговывали все эти наши проблемы. Ситуация постоянно меняется: вот я раскладываю останки в гробы, мы тогда уже разделяли мужиков, а в гробы выкладывали скелеты. Ребята подходят и говорят: тебе не кажется, что фигня получается? Мы их столько делим, приносим в отдельных мешках, а в гробах смешиваем — давай не будем. Посидели, подумали, — а давай. Потом оказалось, что в Белоруссии их так же в пакетах кладут. Только по церковным традициям на покойном не должно быть узлов, поэтому мы с них снимаем пломбы, и они в гробу аккуратно в пакетах лежат. Как-то решили в церкви их хоронить, мол, там лишний раз за них молитву прочитают. Я-то думал, что останки положат на уважаемое место, мешки привез. «Все нормально?» — «Все нормально, перезахороним, заберем».

Я отправляю ребят на перезахоронение — они возвращаются с матом: «Мы этому ушлепку больше солдат не отдадим!» — «Что случилось?» — «А они останки держат там, где пристройка, они называют ее "собачник"». Я тоже приехал в бешенстве: «Отец Алексей, что за фигня, это же останки солдат». А он мне: «А ты в чем солдат-то хоронишь? В мусорных пакетах?» И я заткнулся. Мы с ребятами решили, что пакеты должны быть неподписанные, чистые, без рекламы. Они все равно получают свой номер, когда оформляется протокол эксгумации. Лучше, конечно, индивидуальный гроб, но по закону воинскими захоронениями занимаются местные органы власти, а не мы. Как бы ты им ни говорил, что нужны индивидуальные гробы, они делают большие, им проще купить братские гробы. И у нас начинается заваруха, потому что нам нужно, чтобы однополчане лежали вместе, найденные на одном раскопе лежали вместе и в один слой. И вот начинаешь эту геометрию в мозгах выстраивать.

Первая экспедиция, которую мы сделали... Тогда пошли публикации, что у нас в Мясном Бору не захоронены солдаты. И что это не власовцы. Мол, все солдаты у нас похоронены, не похоронена только 2-я ударная, потому что они власовцы. Такая логика была. И началось: ребят, давайте их похороним, они же не власовцы, они же не предатели, просто воевали во 2-й ударной под командованием Власова. Пошли публикации, сюжеты по телевидению. Я тогда как раз из армии вернулся, а Виктор Караваев уже съездил в Долину смерти, посмотрел, что там, и на второй год нас взял. К этому времени он выбил ГАЗ-66, мы приехали, поставили нас не в Мясном Бору — мы пошли в Мостки, там и стояли. Приехал первый секретарь ЦК Мироненко, тоже побродил... Часть народа стоит у трассы, часть в болотах работает. Мы возле трассы — ничего найти не можем. Как искать, что делать? Вообще не было представления. Нигде не видно солдат никаких, только каски везде валяются. Мне тоже ума хватило — как-то раз каску пинал, двадцать метров в одну сторону, двадцать в другую. Это я сейчас понимаю — где каска, там солдат! Потом мне говорят: «Ты где эту каску нашел?» — «Пу, в лесу, где...» Попробуй теперь найди это место.

Потом нас взяли актюбинцы с собой, и они нам стали рассказывать, как звуки от щупа слушать. А у нас даже щупов не было. Один даже взял щуп, ткнул — есть что-то. Начали в этом месте копать и подняли пятерых. Другой как-то раз просто бросил щуп и тоже попал в кость. И фактически получалось, что все, кого мы поднимали, лежали вдоль дороги. Нам там объясняли, как надо фотографировать, документировать, что не надо кости дергать. Актюбинцы впервые нам что-то рассказывали. Потом нам что-то не понравилось... Виктор приходит: «Все, снимаемся, переезжаем в Мясной Бор». Переехали, опять все на себе тащили, и попали в группу «Остров» Миши Черепанова. Подъезжали к Спасской Полисти через речку, вдруг мужик какой-то вылетает: «Куда вы, нельзя, куда вы поехали!» Это и был Мишка Черепанов. Если бы мы Спасскую Полисть переехали, там бы такая грязь пошла по реке! А там отряды стоят, они пользуются этой водой. Поэтому мы там остановились, встали, выбрали место: «О, ребят, смотрите, какая полянка красивая, вся в подснежниках». Встали там, и этих подснежников не стало, затоптали все. Воронку нашли — обрадовались. Потом нас

спрашивают: «Ребят, вы из этой воронки воду пьете?» — «Да, а что?» — «Да тут перед этим отряд стоял, у них в этой воронке туалет был».

Рабочий день у нас начинался на рассвете, часов в пять. До рассвета надо было успеть поесть и самое позднее в шесть быть уже на работах. Обедали там же сухпайком и уходили, когда уже темнело. Рядом работали казанцы, архангелогородцы, северодвинцы... Тоже сдружились. Уходим с раскопа, сидим у костра: «Давайте сходим подружиться с теми-то». Пошел в гости, у них просидел полночи, обратно идешь, все воронки, которые не видно, — все твои. Домой пришел весь мокрый — давай сушиться, одежду, сапоги ставили на какие-нибудь подпорки над костром. Дневальный заснул — все попадало и сгорело. Однажды приехали, выгружаемся с ГТ-Т, я говорю: «Вить, а где наши спальники?» Он шинели выбрасывает, говорит, ими будем укрываться. «Вить, как?!» — «Как солдаты шинелями укрывались! Вот и проверите себя на вшивость».

Я тогда без щупа работал — нож, саперка. Их не надо было искать, их было видно. Я быстро понял: ботинки нашел, каску нашел, мох видим — все, расширяемся, зачищаем. Их было видно. Иногда в несколько слоев лежали... При подъеме единственная была сложность — Спасская Полисть много раз разливалась, и много солдат в разливе. Тут уже с щупом идешь, ищешь. С бобрами сложно воевать, все равно они выигрывают.

Это сейчас мы заранее разведку отправляем, чтобы она с их плотинами разобралась и вода ушла. А тогда пробовали сами делать плотинки какие-то, чтобы солдата было видно, но воды было больше, работали на ощупь. И все руками. Формы никакой не было, кто в чем, как туристы обычные. Пас от туристов отличали, пожалуй, только лопаты. Если ребята приходили из армии, не все брали с собой полевую форму, из армии-то мы выходили в парадной, полевые были мало у кого. Это потом уже старались приобрести, потому что в ней удобнее работать. Протоколы тогда не оформляли: зарисовывали, старались фотографировать, клали в пакеты. И потом либо в рюкзаках тащили до Мясного Бора — топаешь пять километров, но обычно они оставались у отряда, потом приезжал ГТ-Т и забирал останки. Сохранность тогда была намного лучше. Хотя бывало и так, что поднимаешь мужика, начинаешь расчищать, и во мху такая желтая полосочка, сетчатая структура — это как раз кость, а она порошком

уже стала. Ее даже пальцем не соскрести. Уже тогда многих не поднять было — ты видишь по амуниции, что здесь кто-то должен лежать, а его нет. Это сейчас, посоветовавшись, решили, что можно какой-то прах взять, землю с органикой, и похоронить. А тогда — ну, не повезло.

Все молодые, девчонки красивые, и вот у костра всю ночь прошепчешься, проворкуешь, а утром-то на работу надо идти. Кодекс был: в каком бы состоянии ты ни был, на работу ты не можешь не выйти. Не было такой причины, чтобы не выйти. Сколько бы ты там чая у костра ни выпил, ну или не чая, чтобы согреться.

В большинстве своем солдаты похоронены, просто могилы уже забытые. И щепетильность очень нужна. Многие говорят: медальон, медальон... Для меня никогда не было проблемой найти солдат. И медальон найти не проблема. Я часто находил медальоны без солдат, ведь их выбрасывали и местные жители. Сидишь у дерева, отдыхаешь, начинаешь приглядываться: тут открытый медальон, там еще один. Это сейчас как-то по-другому стал работать... Но, когда ты настроен на солдата, найти его не проблема — он тебя сам найдет. Можно где-то пройти десять раз и только потом понять по какому-то признаку, что здесь мужик лежит. Я несколько экспедиций проходил с миноискателем, и я от него одурел. Я в армии столько с ним не ходил. Он жужжит, каждые три минуты поднастройки... И я перестал им пользоваться, максимум — щуп. А так просто ходишь и смотришь: сектор обстрела, или ботинки нашел, а иногда солдат сам тебе подсказывает. Все кресты, которые стоят в лесу, проверяем. Это могут быть просто палки, сложенные крест-накрест, начинаешь смотреть — солдат.

Было несколько случаев, которые сложно объяснить, — это когда ты с ними общаешься. Видишь этого солдата: гимнастерка, недельная щетина, — и он на тебя смотрит. Думаешь, что с ума сошел, может быть, это местный? Обычно начинаешь с опроса жителей, какая-нибудь бабка тебе место показывает, и вдруг слышишь треск кустов, а там какой-то мужик ходит. Потом этот мужик пугает другую разведгруппу. Потом спрашиваешь: «Баба Клава, кто это был?» — «А, это привидение местное». И ты четко видишь его!

Или отправляют тебя на поле: там со времен войны лежат медсестра с лейтенантом, их там похоронили. Местные объясняют,

что и как, — разведгруппа уходит и там ищет. В конце начинают фотографироваться — ну, просто народ устает, ничего не находит и начинает дурью маяться, — проявляю фотографии, они там все лежат, отдыхают, и вдруг физиономия этого солдата. Самый знаменитый случай был... Есть такой руководитель екатеринбургского объединения Лена Скуратова, у нее очень сильное биополе. Как-то мы в Долине сидели у костра, и все разговоры, как найти побыстрее: перенестись в 42-й год и все запомнить, или аппарат такой придумать, который не миноискатель, а видит останки, — вот была бы жизнь! И один парень заладил про 42-й год, а Лена ему: «Да иди ты в свой 1942-й!» Он встает и уходит. Стали ложиться спать — его нет. Начинают искать — найти не могут. Где-то он появился перед обедом, весь грязный, мокрый, рваный... «Ты где был?» — «Да вы не поверите, я в 42-м был». Потом очнулся, по трассе сориентировался и вышел на Мясной Бор, вышел только сейчас. Рассказал, что выходил с солдатами, взрыв, он падает, и рядом пацан у дерева умирает — медальон ему отдает, чтобы родным написал. Тут он вырубается, утром просыпается, ориентируется, выходит, рассказывает эту байку нам. «Место помнишь?» А все же на слово ему верят! Пришли — воронка, дерево, у дерева солдат лежит, а у него в руке медальон.

Подо Ржевом такое бывало: сидишь у костра, тени людей появляются, ты их зовешь подойти ближе, а они не подходят.

Бросают в них что-то — насквозь проходит, а потом тени разворачиваются и уходят. Однажды разведгруппа заблудилась, потом вышли и сказали, что их звезда вела. Какой-то светлячок горел, двигался и вывел их. Или такой случай: раньше мы делали временки, чтобы похоронить солдат. Их стараешься сделать так, чтобы никто не нашел, мало ли что. Я закопал, замаскировал очень хорошо, а потом понимаю, что никак выйти не могу на эту временку. У меня 9 декабря захоронения, 8-го я должен все разложить, а 7-го найти не могу. Меня уже всего трясет. Я сел, сказал: «Господи, не дай мужикам из-за идиота второй раз без вести пропасть», — встал, прямо пошел и сразу выхожу на это место. Как я мог мимо него пройти?! Меня все рядом водило-водило... Кстати, когда начинает вот так водить в лесу — значит, рядом где-то солдаты лежат.

Однажды я так прятал 477-й стрелковый полк, под Тихвином они воевали. В болоте стоял 3-й батальон, уже наступающий. По эти

позиции в болоте не видны, и про них знал только я, даже местные не знали. Но я, дурак, в разговоре с местным железнодорожным обходчиком ему проболтался про этот 3-й батальон. Потом у меня был очень нехороший случай, когда я на одном раскопе нашел обрубленные кости, то есть мародеры что-то делали с ними. И у меня были мысли с ними разобраться. Я их долго искал — и нашел. И из разговора с ними понял, что они знают про 3-й батальон: сказали местному, что они моя разведгруппа, и он их вывел на эти позиции. Я в шоке: думаю, что делать, как мужиков спасти? Ведь я не успеваю их поднять! Они приводят меня на то самое место, — мне все хуже и хуже, — разожгли костер, кругом лес, болото, и вдруг начинается ураган. Сосны раскачиваются и доносятся крики: «Ванька, Петька, вперед!» Я реально слышу эти голоса — и они тоже! И вдруг в костер падает сосна, взрыв искр, они все бросают и убегают на разъезд — мол, мы здесь не останемся. И я один остался, а через пять минут все стихло. Потом спрашивал их: «Вы туда не ходили?» — «Пет, мы на это место больше не пойдем». Сами солдаты их как-то отвадили, понимаешь? По я там тоже, наверное, всех не собрал, 30 человек подняли. Какая-то незавершенность работы есть, не все удалось сделать, как хотели.

Мне кажется, девчонок больше в поиске, потому что они душевно более открытые, чем мужики, — пацаны более скованные, эмоции стараются в себе держать. Однажды мы работали в окружении, в котором офицеры погибли. Пять солдат и связной. По ним снарядом попало, может быть, из-за этого... Сложно было понять, из-за чего погибли. Они лежали все в корнях. И мои девчонки, восьмиклассницы, девятиклассницы: «Миленькие, подождите, сейчас мы вас поднимем, еще потерпите немного!» И они себе ногти ломают, рвут эти корни, все в слезах, — я был в шоке. Я думал, что я один такой, а девчонки вот так открылись, когда поднимали этих командиров 477-го стрелкового полка.

Мы старались с собой брать студентов, школьников. Тогда Караваев был командиром, я отвечал только за разведку и за разминирование местности. Когда мы в области уже начали звучать, особенно Виктор, нам стали отдавать трудных подростков. В милицию приходишь: «Вот, они ваши, забирайте», и Виктор начинает с ними общаться. Он в основном со школьниками занимался, с ними сложнее

в какой-то степени. Они начинают разную фигню придумывать, чтобы никто не подумал, будто они трусы, и нужно их удерживать бросить гранату в костер, например. Старались обратить внимание, что граната взрывается через три секунды, вот как на НВП учили. У тебя есть четыре секунды, одна или две уже улетели, остается две, чтобы что-то предпринять. Поэтому, увидев гранату, кричишь: «Граната!», и место раскопа все должны экстренно покинуть. У нас даже были тренировки: «Граната!» — и все разбегаются. Потом приходит старший и смотрит, как с ней поступить. Этому нас ребята из Карелии научили на конференции.

Я был уверен, что запомню всех своих солдат. Выяснилось, что не всех. Смотрю протоколы и понимаю, что этого не помню, — а подпись-то моя. Раньше мы не оставляли себе акты захоронений, сдавали в военкомат. Обратились туда — у них они не сохранились. А ребята толком не помнят, где сколько солдат.

Раньше считалось, что это проблема только 2-й ударной армии и что их нужно только похоронить. А нужно увековечить, систему учета сделать. По документам процентов восемьдесят солдат были похоронены. Даже те солдаты, которые лежат непохороненные после боя, — по документам они похоронены. Паша задача — создать систему учета, грубо говоря, институт по увековечению памяти. Люди должны знать. Взять даже медальоны: не каждый поисковик по ним разыскивает родственников, зачастую их отдают, и другие уже ищут. Если создать некий массив документов по поисковой работе, с ним смогут работать и другие люди. Яркий пример: Илья Прокофьев у нас специализируется по летчикам. Грубо говоря, та информация, которую он собирал десять-двадцать лет назад с лесов и болот, сейчас начинает работать. Сейчас мы получаем фамилии летчиков, которые были подняты лет двадцать назад. Цели и задачи увековечения памяти только расширяются. Сейчас есть больше возможностей для этого. Папример, почему не сделать систему, которая могла бы сверять ДНК солдат с родственниками? И это будет не просто наше мнение, что это солдат Иванов Иван Иванович лишь потому, что у него ложка с надписью «И. И. И.» Мало ли чья эта ложка! Если нормально все сделать, мы можем намного больше сведений о солдате вернуть семьям, не опираясь на медальоны.

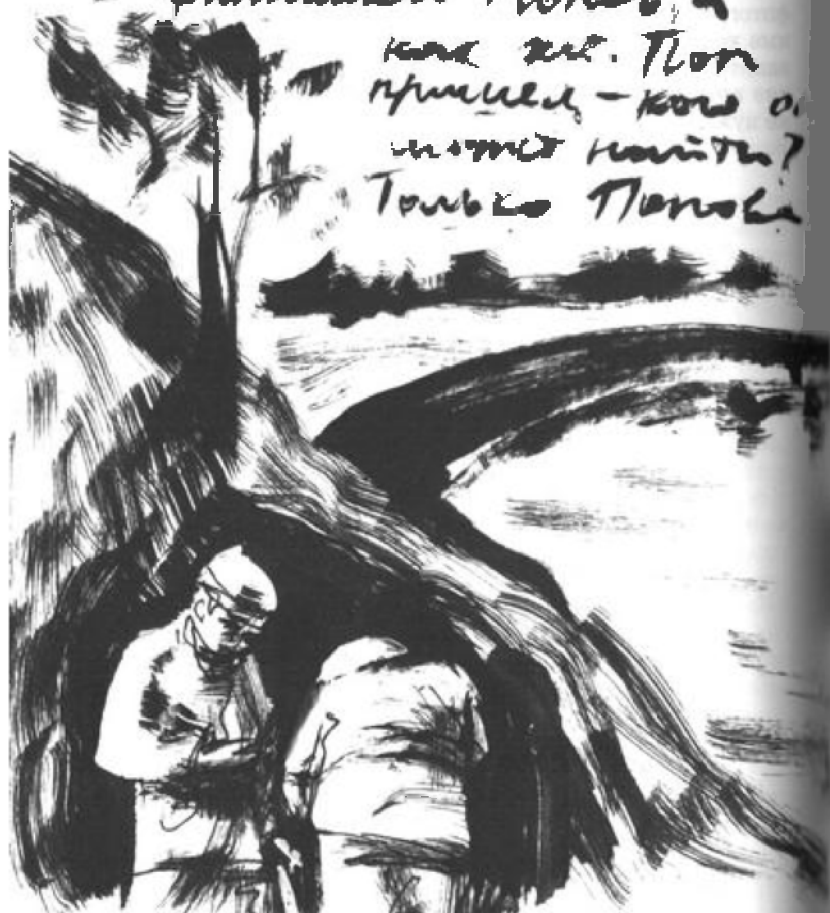
Проблема захоронения останков солдат на родине появилась буквально недавно. Сначала было все красиво, все замечательно. Потом начинаешь их спрашивать: ребята, покажите могилку, хотя бы фотографию — в каком она состоянии? Вот тебе и вся память. Иногда даже на три года не хватает. Зачастую мы против того, чтобы родственники везли их на родину, хотя это их право. Потому что опыт показывает, что это путь в никуда, это уничтожение воинской могилы через какое-то время. Даже у нас в Татарстане, где более-менее порядок, некоторые воинские могилы мы не можем найти на кладбище, а они недавно привезены. А еще очень многие отряды хотят славы, хоть и не признаются в этом. И если человек, который, условно говоря, не знает, чем левый ботинок отличается от правого, нашел медальон, и в этой воронке лежало три человека — он тебе говорит, что в воронке твой родственник, и тебе отправляют набор из трех человек. Туда, на родину. Кто тебе дал право решать за остальных двоих? А у нас так «на родину» и четверо, и пятеро уезжают. Или администрация говорит: «Мы хотим сделать памятник неизвестному солдату. Привезите нам неизвестного солдата, мы похороним его у Кремлевской стены в Пижнем Новгороде!» Кто тебе дал это право — привозить и захоранивать?

Каждый понимает увековечение памяти по-своему. Объяснить большому количеству народа, что такое хорошо, а что такое плохо, очень сложно. Для многих по-прежнему главное — похоронить, и таких поисковиков, особенно в боевых регионах, очень много — попробуй их переубеди. Все происходит в личном контакте, а если ты человека обругал, он к тебе будет относиться плохо. Поэтому стараешься объяснить по-хорошему. А иногда просто не выдерживаешь и начинаешь ругаться с ними, а в ответ: «Да мы тебя в лесу найдем, мы тебе покажем!» Вот сейчас во «ВКонтакте» поисковый отряд просится в друзья. Начинаешь фотографии смотреть: е-мое, ну как так можно? Собрали крупные кости, но мелкие-то все остались. Если ты фалангу прозевал, так ты и медальон можешь прозевать. Мелкие кости, мелкие артефакты: медаль, гильза с запиской, — их что, собирать не нужно?

Часть 7. Ленинград

*

я со шуршан и хому —
хотел есть и на-де-ло-е
много ретора. На-де-ло-е
на Мамовская ретора
содот. Единственно, — и
с фамилией Топов, а
как же. Топ
принимал — как о
многом не-де-ло-е?
Только Топов





ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВ

У нас есть три направления деятельности. Первое — это поиск непосредственно, с целью установления судеб солдат. Выражение «патриотическое воспитание молодежи» мы вообще не употребляем, потому что оно ругательное. У нас это по-другому называется. Своей деятельностью мы стараемся давать пример. Может «патриотическое воспитание» и правильное название, но оно очень забитое. А не хочется попадать под общую волну. Поэтому второе — это работа с молодежью. Но работа не только на примере того, как копать и как работать на раскопках. Она больше историко-просветительская. Мы делаем в среднем по три-четыре выставки в год на базе частных собраний. В свое время, в 89-м году, был реабилитирован после «Ленинградского дела» и позже восстановлен Музей обороны и блокады Ленинграда. Это на Соляном, 9. Ему вернули тогда — это просьба академика Лихачева и многочисленных ветеранов, которые еще были деятельные и молодые, — один зал из тридцати семи, которые были в 44-м году. Может быть, вы знаете историю этого музея, музей очень интересный. В 41-м году на базе военмеха была создана выставка «Отечественная война». Она была из трех частей: первая посвящена Ледовому побоищу, вторая — взятию Берлина в 62-м году, а третья — Отечественная война 41-го года. На этой выставке были представлены трофеи, захваченные в первые месяцы войны.

Кроме того, там же были организованы и курсы, поскольку многие дивизии народного ополчения создавались как партизанские диверсионные отряды, в частности 4-я дивизия народного ополчения, в которой начинал свою службу отец нашего Президента. И те, кто был отобран для диверсионной деятельности, проходили прямо при этой выставке курсы обучения по владению трофейным оружием, всеми видами. Так начиналась история этого музея знаменитого. И политотдел поручил профессору, который хорошо знал историю костюма, отбор экспонатов для будущего музея — те самые тридцать семь залов. И майор Раков ездил лично по фронту, отбирал экспонаты: получился очень интересный музей. Карт-бланш был дан всем художникам, они могли реализовывать все свои проекты: трехмерная

панорама, еще что-то. И в 44-м году официально открылся этот музей. Официально он получил название «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда». То есть, после снятия блокады он был официально открыт. В тридцати семи залах было все — и первый трамвай, развороченный, в который попал снаряд; линейка немецкой техники была представлена вся — не только в залах, но и во дворе. Там, где сейчас парк, стояли самолеты, стояли итальянские катера, которые здесь на Ладоге сражались. В общем, это был колоссальный музей. И в 46-м году Эйзенхауэр приехал с Жуковым в этот музей. Он сказал, что ничего более грандиозного в мире не видел: настолько его поразили этот грамотно сделанный музей.

В 49-м году умирает Жданов, и в этот момент обостряется противостояние, длившееся еще с 20-х годов между московской и ленинградской партийными организациями. Было заведено «Ленинградское дело», обвинение очень серьезное — что в Ленинграде готовился переворот. В частности, Ракову было предъявлено обвинение в том, что он на базе этого музея собирал оружие для свержения существующей власти. Методы дознания в НКВД, как известно, жесткие, многие военные профессиональные не выдерживали, оговаривали и себя, и товарищей. А вот профессор Раков оказался крепким орешком. Он не подписал ни одной бумаги, чем спас жизнь и себе, и многим своим товарищам. Да, конечно, к 52-му году ликвидационная комиссия закончила ликвидацию музея. И на долгие годы выражение «Ленинградская битва» было вообще вычеркнуто из истории. В 89-м году музей был реабилитирован и восстановлен, но, повторяю, это был только один зал. Ну и дальше, с этого момента общения с первым его директором, мы стали большими друзьями, взяли шефство над этим музеем. Тогда наша организация называлась Объединение «Северо-запад». Оно и сейчас существует, структурно наше объединение «Святой Георгий» входит в него. Изначально мы это название не могли озвучивать, потому что комсомольские вожаки в 90-м году подавились бы икрой, если бы мы сказали, что мы отряд «Святой Георгий». Более того, директор музея был настолько расположен к поисковикам, которые несли туда свои находки, да и не только находки, но то, что находилось в семьях. Музей же создавался с нуля, в основном силами блокадников, силами ветеранов, был достаточно уютный и теплый.

Мы начали делать там выставки символические, например — «Детство, опаленное войной». Носкольку в кругу моего общения достаточно серьезные коллекционеры — в том числе и по царскому времени, назову хотя бы Можейко Игоря, он же Кир Булычев. Он регулярно приезжал к нам, оставил кучу книг подписанных для моих детей, но они, кажется, ни одной не прочитали. Ноколение такое. И когда надо было делать какие-то выставки на базе частных коллекций, это бескорыстно делалось, участники не просили за это никаких денег, в лучшем случае грамоты. И выставки получались совершенно уникальные.

[...]

Все началось с того, что мои родители решили помочь построить дачу на берегу Невы, в Навлово, своему товарищу по работе. И меня с собой взяли. Носкольку стол уже был накрыт и все было готово для начала работы, чтобы мы не мешались, меня отправили с ребятами погулять. И куда же мы пошли? Мы пошли вдоль Невы до самого Невского пятачка. К вечеру мы вернулись на дачу: огромное количество зелененьких гранат, рожки с желтенькими патронами для немецкого автомата, каски. Я просто реально за день создал себе свою первую коллекцию. Но родители сказали, что это нельзя брать в город. Как мне, ребенку восьмилетнему, объяснить, с какой стати я не могу это взять, ведь это же мое, я это нашел. Пришли к компромиссу: они за сараем вырыли яму, отделали ее досками и сказали, что вот, здесь будет храниться твоя коллекция. Ну и ладно, хорошо. Но в город нельзя — закон не разрешает. Я с этим смирился. Но это было первое яркое впечатление, когда я шел по берегу Невы, усеянному противогазами, ботинками, костями... Это было такое сильное потрясение, что потом я, конечно же, постоянно стремился попасть туда еще раз. Тем более что я запомнил номер автобуса. Время от времени садился на него, когда накапливал 80 копеек: столько стоило доехать до Невского пятачка на 440-м автобусе, 40 туда, 40 обратно. И я периодически приезжал, гулял по берегу, что-то подбирал для коллекции. Мне были очень интересны элементы обмундирования: пряжки, под сумки всякие. Я их даже начал сшивать, если хлопчатобумажные нитки разошлись.

Но родился я гуманитарием. И, естественно, мне интересна была не только техническая часть — пулеметы и прочее. Я начал вести

вахтенный журнал, куда записывал свои впечатления. В 71-м году я приехал на Невский пятачок, так как было озвучено, что там откроют памятник, рубежный камень. Я сел в автобус, взял фотоаппарат. Ах да, когда мне было девять и многочисленные родственники собрались на мой день рождения, я сказал им: «Чего вы принесли всякую ерунду, я хочу фотоаппарат!» «Смена» тогда стоила 7 рублей. Люди скинулись, я пошел в магазин, купил фотоаппарат... И, когда стали открывать рубежный камень, я примчался туда на автобусе, пофотографировал красавчиков из роты почетного караула в серо-стальных мундирах, с красными нагрудниками. Огромное количество было ветеранов: вдоль Шлиссельбургского тракта львовские автобусы в бесконечном количестве. Ветераны довольно молодые: сколько ему в 71-м году, если он 23-го года рождения? Это средний возраст ветеранов. Еще пятидесяти не было. Конечно, они поднакидались, песен поорали, отпраздновали установку памятника, загрузились в автобус и уехали. Вот тогда очень меня удивило, насколько они молодые, передовики, с большим количеством медалей... Почему при этом рядом черепа валяются, кости валяются? Это же их товарищи! Почему, делая памятник, они не сделали под ним могилу? Позже я объяснил себе это тем, что эти люди видели столько за свой боевой путь, что для них это стало как бы элементом пейзажа, это уже не были для них человеческие останки. Это история про то, как мы стали заниматься неформальным поиском. Термин «черные следопыты» с легкой руки Невзорова появился только вместе с его «600 секундами», которые, как обычно, были наполовину лживыми. Или на девяносто процентов... Пока не столкнешься сам с его методами работы, вроде кажется, что все красиво. Вот он родил этот термин — «черные следопыты». Мы будем правы, если назовем это время периодом неформального поиска.

А формальным он и не мог быть: был в то же время в Новгородской области такой Орлов, который, будучи путевым обходчиком, регулярно ходил в зону, скажем так, боев, где находки были на каждой кочке. Он высылал медальоны, разыскивал родственников, ведь женам же тогда еще и пятидесяти не было. Очень многие люди были заинтересованы в том, чтобы восстановить судьбы своих близких. И нас оттуда было не выгнать. Это был другой мир. Это было погружение. Мы находили медальоны, находили медали с

номерами. Я все записывал в свой вахтенный журнал. И вот, если оглянуться назад, чтобы понять, когда же мы стали поисковиками, именно красными следопытами...

Хотя я не люблю это цветовой дифференциации штанов. Мне кажется, что люди, которые не вступили в какое-либо движение и копают неформально, но если при этом находят бойцов, приходят к нам, приносят их личные вещи, просят на себя взять оформление документов, они для меня такие же «красные». Просто не хотят сотрудничать с государством. Потому что, честно говоря, мы все ему не верим. Сегодня оно одной рукой дает, завтра оно другой рукой будет отнимать и карать. Поэтому как мы копали, так и будем копать. Пам спокойно. А поймать нас в лесу — да замучаются! И вот я уважаю эту позицию, я не считаю, что они порочные люди, нет. Просто их позиция такова: государству не верим.

В 75-м году, уже имея достаточно крупную коллекцию, где были всякие находки, и медали, и медальоны, на каникулах мы решили с моим приятелем, Егоровым Игорем, а у него уже был положительный опыт, а у меня отрицательный... Он пошел в свой военкомат — это по месту жительства — там оказался очень интересный офицер, он искренне заинтересовался, благодарность ему выписал, потом сообщил, что найдена дочка, медальон ей передан. И у них были изумительные отношения. Тогда я тоже понес медальон в военкомат Невский, где был прописан. Там тучный полковник с красным лицом, видимо, алкоголь отразился на его давлении и печени, начал на меня орать: «Кто разрешил, у нас непохороненных нет!» «Как, — говорю, — нет, если они с оружием в окопе лежат?» — «Сейчас пойдешь в милицию, там будешь рассказывать!»

В общем, я вылетел оттуда как пробка, и желание второй раз делать попытку сотрудничества с ними у меня отрезало напрочь. Мы с этим Егоровым Игорем пошли устраиваться на молокозавод, чтобы поработать летом, денег каких-то заработать. В отделе кадров, когда наши паспорта проверяли, я смотрю у работника — «Красная звезда», «Отвага». «Что, — говорит, — разбираешься в ленточках?» Я говорю: «Конечно, мы же копаем! Мы находили медали». Он заинтересовался: «Так, где вы копаете?» — «Пу, там-то, Мишкино, Тортолово, Гайтолово». — «Знакомые все места, я тоже там воевал. И что, много находок?» — «Да блин, вы не представляете! У меня столько медалей,

просто мы не знаем, как установить, чья она по номеру. Есть медальоны, но мы не знаем, куда с ними идти». Тот говорит: «Так, ребят, все понятно. Давайте-ка заходите ко мне сегодня, я на Лиговке живу, обсудим это дело. И возьмите свои находки с собой».

Я тут же загрузил все в сумки, а вечером мы уже пили у него чай с малиной. Он нам рассказывал свой боевой путь, попутно заполняя акт приема экспонатов на бланке Музея истории города. И так мы с ним встречались еще раза три, что находили, всё ему отвозили. На третий раз получили первый документ, который нас регламентировал как официальных поисковиков. На "а-третьем" формате с угловой печатью Музея города Ленинграда за подписью директора было сказано, что Алексеев Олег Борисович является внештатным сотрудником Музея истории города, которому поручен отбор экспонатов на местах сражений Великой Отечественной войны. Мне и Егорову он дал две такие бумаги, мол, если что там, то покажете.

А мы обычно прятались, чтобы милиционеры не заметили нас в электричке, косили под короедов, как тогда называли всех дачников. И мы, не скрываясь, с лопатами, вывалили из электрички, тут же к нам несутся в гражданском милиционеры: «Ага! Копари!» И мы такие: «Ну да!» — «Ну, вы попались!» И мы, гордые, им эту бумагу — раз. Ее прочитали: печать музея, подпись директора... «М-да, это другое дело! Ребят, тогда вам вот так надо пройти и вот так, там очень хорошее место!» — «Да ладно, знаем мы все!» И целый год были мы, так сказать, официальными поисковиками. Это был 75-й год. И все закончилось так же внезапно. Этот ветеран умер. А контактов с музеем он нам просто не успел дать. Поэтому судьба тех предметов, которые мы передали в музей, так и осталась неизвестной. Скорее всего, в фондах лежат, потому что музейщики никогда не работают с предметами такими, они не занимаются восстановлением судеб солдат. Изначально задача музейщиков — хранить в том виде, в каком получили.

Когда мы делали очень значимую выставку в Москве, это было в 95-м году, она называлась «Нашествие», в Музее Вооруженных Сил, у Никонова: на базе частной коллекции и фондов мы создали выставочный зал, полностью рассказывавший о германской армии. Там не было ни слова о Красной армии. Задачей выставки было показать, с какой машиной мы справились, которая не знала

поражения нигде. Там было все: и пропаганда, и наградная система, и форма одежды. Из фондов мы взяли парадный фрак СС и фуражку СС. Но на них не было эмблем. Я иду к Никонову, говорю: «Нам бы укомплектовать ее!» Это всё принесли из другого фонда, но с таким видом, будто я нарушаю самое святое. Я уже собираюсь поставить орла и череп на фуражку, как слышу чуть ли не истошный крик: «Нельзя!» Спрашиваю: «А на хрена тогда вы их принесли?!» — «Не положено!» Говорю: «Да хватит страдать маразмом!» — «У нас такие правила!» Я: «Есть же уже дырки от этих усиков, мне ничего ковырять не надо даже!» — «Нет». Пришлось идти опять к Никонову, говорить: «Давайте так, или выставка будет, или ее сейчас не будет — мы просто забираем свои вещи и уезжаем! Мы понимаем, что у вас есть свои правила, но они не должны быть просто маразматическими!» В общем, договорились до того, что мы насадим в эти дырочки усиками орлов, но погибать не будем — сошлись на компромиссе. Вот такие у музейщиков хитрые правила: они хранят в том виде, в каком получили. И очень этим гордятся. Многолетнее общение с музейщиками как таковыми убедило меня в том, что обезьяны произошли от них. Да, да! А потом уже произошла эволюция, от них произошли военные и так далее. Но изначально — обезьяны от музейщиков. Если верить, конечно, старику Чарльзу Дарвину.

Так вот, это был 75-й год, когда мы стали официальным подразделением. Мы брали с собой и других ребят, говорили, что это наши коллеги. С нами им было спокойно, они могли копать у дороги. Обычно-то пытались зарыться куда-то подальше вглубь, чтобы милиционеры не тревожили. Ловили и на вертолетах, делали войсковые операции: с собаками прочесывали лес. Разные были формы борьбы с копателями. Мы же — были полностью защищены. В 76-м году счастье это у нас закончилось. Как-то постеснялись мы идти, искать концы. И снова ушли в неформальный поиск. Далее много было всяких увлечений. В тот период знаменитый убийца и маньяк, профессор Соколов Олег Валерьевич, которого пилила его девушка, а потом он просто взял и распилил ее, организовал свое первое АЛИНЭ. Ассоциация любителей наполеоновской эпохи. Там было человек шесть безумцев, они занимались именно той эпохой. Мы же в то время сильно симпатизировали почему-то белому

движению. И у нас была такая альтернативная история, мы создали свой клуб, даже устраивали ледяные походы.

Художник Карашук, в Подмосковье живет, который иллюстрировал книги по форме одежды Белой армии и всего прочего, приезжал сюда, делались эти ледяные походы, в память первого корниловского похода. В марте месяце толпы одетых в исторические костюмы по три дня делали эти походы по пояс в снегу. То есть тогда, на закате советской власти, очень сильно развилось это историческое движение. Ну и я не был исключением, я создал лейб-гвардии Измайловский полк. Но поскольку у нас там было три с половиной человека, я уж не стал себе погоны генерала вешать, повесил свое звание, в котором ушел из армии — унтер-офицера. Но красиво: красные погоны с золотыми вензелями, фуражка с белым околышем.

Вот, наверное, тогда и появилось это название — «Святой Георгий». Потому что это единственный орден специально для солдат, который никогда не давали за полицейские операции, он вручался только за отражение внешнего агрессора. И который был в почете практически у всех слоев населения. Кавалеры имели большие льготы, их освобождали от телесных наказаний. В общем, если кто-то кавалер, то честь ему любой, независимо от звания, должен был отдавать первый, даже генерал. Статус этого ордена был достаточно высок. Что еще интересно: даже народы мусульманские — для них был сделан крест без изображения Святого Георгия, а с изображением государственного герба — даже они говорили: «Не-не-не, ты мне с джигитом дай крестик, с птицей — не надо!» — когда им вручали. Вот тогда и получилось это рабочее название отряда — «Святой Георгий».

Но еще раз говорю, когда создавалось поисковое движение в том современном виде, в цивилизованном, когда писались отчеты, все это суммировалось, уже появилась такая организация «Победа», которой руководил Рувимов (под эгидой комсомола, конечно), «Возвращение», которым руководил Георгий Стрелец (он получил ранение в Афганистане, вернулся, занялся созданием поискового объединения). Мы и вошли в него, как члены «Возвращения», но наша группа была именно «Святой Георгий». Конечно, он не мог в комитете комсомола сказать, что, мол, есть у нас такой «Святой Георгий», они бы подавились бутербродом с икрой, если бы слышали такое. Поэтому

мы работали как «Возвращение» в тот период. Незадолго до этого мне позвонил мой приятель, с которым мы вместе учились. Он подорвался и ослеп, но при этом не прекратил заниматься поиском — сейчас это руководитель поискового отряда «Русь», который входит в наше объединение — Саша Чупров. Он мне позвонил — это был 86-й год, у меня родилась дочка — и сказал: «Помнишь, ты вел вахтенный журнал?» — «Ну да, конечно, вел. Вы же надо мной смеялись, говорили, что для КГБ записываю!» — «Да понимаешь, мы сейчас восстанавливаем судьбы солдат, а у тебя же все записано». — «Ну, есть такое дело...» — «А не мог бы ты продиктовать фамилии тех, кого мы находили в школьные годы?» — «Да, легко». — «Это было бы здорово!» — «Давай-ка я сейчас докормлю дочку из рожка и найду старые журналы, все тебе сообщу». Прошел месяц, и он звонит мне с докладом: «Ну, смотри: у этого вот дочка жива, у другого тот-то». Я говорю: «Саша, вы тащитесь от этого, оттого, что судьбы установили, ну и тащитесь. Я езжу в лес отдыхать, это у меня форма отдыха такая активная. Если я буду находить солдат, я, разумеется, вам сообщу всю информацию. Но вставать в ваши красные ряды у меня нет никакого желания. Оно пахнет какой-то неискренностью». — «Да не, — говорит, — вот тут нет никакой неискренности, тут все нормально!» — «Хорошо, ладно, я тебе все сообщил, спасибо, что и ты мне сообщил!»

Но этот случай посеял в моей душе сомнения. То есть, вместо того, чтобы ездить в лес отдыхать, буквально в апреле 86-го, мы поехали с женой, с ребятами, взяли немножко мяса, немножко хорошего вина — а тогда все вино было хорошее — и, копая окоп, я нахожу политрука Кондеусова. И вот оставить его на бруствере я уже не могу. То есть информация о том, что жены и все прочее, что ждут, сбilo меня с нормальной жизни. Я упаковал кости, и мы его перезахоронили. Тогда не было никаких официальных захоронений. Мы его на краю дороги похоронили, поставили столбец — и на нем написали полностью все данные из медальона. Этот столб стоял вплоть до 2014 года. Тот же Саша Чупров в 2014 году говорит: «Слушай, я хочу обновить столб, там уже ничего не видно». — «Какой?» — «Да тот, где политрук Кондеусов лежит!» — «Она! Саша, а он лежит там?» — «Ну, я могу посмотреть». — «Посмотри, пожалуйста!» Звонит: «Да, все нормально, каска и кости на месте». —

«Хватит ему там лежать, давай его на Синявино, чтобы его там отпели, чтобы все по-людски!» — «Да, правильно, но столбик я все-таки восстановлю».

И в этот же 2014 год... А ведь как, когда я ему послал все свои записи, в Книгу памяти, например, вошли такие данные: «Давыдкин Николай Федорович, найден отрядом "Возвращение"». Они на себя его записали. «Похоронен». Но я-то знаю, что Давыдкин Николай Федорович был мною найден в 74-м году. Я бежал через Гайтолово, а мы тогда виртуозно владели щупами, могли понять, где алюминий, где кость, где кожа. Нашупал что-то, вроде кость. Копнул — вылетело несколько ребер и медальон. Я его тут же открыл и прочел, он карандашом был заполнен. Медальон убрал в карман, а кости сгреб обратно ногой и побежал дальше в рощу Круглую, там были немецкие позиции, там были пулеметки, там было интересно. И в Книге Памяти — вижу, что захоронен — и у меня сразу сомнения. Ну да, там вахты теперь стоят, там как на Невском пяточке народу. Надеюсь, нашли, надеюсь, захоронили. И каждый раз, приезжая на Гайтолово, я думал: надо бы посмотреть. Но там трава в рост человека. Найти место практически невозможно. И вот 2014 год, Саша предложил обновить столб, а я ему сказал: тащи Кондеусова на захоронение на Синявино, чтобы он был увековечен на мемориале. И я поехал на Гайтолово. Гайтолово выгоревшее все, просто ни единой травинки. Я безошибочно выхожу к той ложбине, где у меня Давыдкин Николай Федорович, начинаю копать: ребрышки все на месте. И я такой: «Ну, со свиданьем, Николай Федорович!» Подошел Леша Тяпушкин, мой заместитель: «Ну, чего?» — «Да, — говорю, — знакомого встретил. В 74-м его нашел, надо бы сейчас похоронить».

Он начал копать рядом: там еще один боец, но уже без медальона, к сожалению. То есть получилось, что мы потом записали, что Давыдкин найден в 74-м году, а похоронен в 2014-м на Синявинском мемориале. Вечером мне звонит руководитель, который отвечал за захоронение в Кировском районе: «Алексеев, вы когда водку жрать закончите?» — «Николай Васильевич, понимаю, что вы человек непьющий, вам нас не понять, но, во-первых, мы несильно ее и пьем, а во-вторых, что вас удивило?» — «Да ты херню какую-то пишешь! Найден боец в 74-м году, а захоронен в 2014-м, он что, сорок лет у

тебя лежал?» — «А куда ему торопиться-то, Николай Васильевич?» В общем, вот такие были нюансы...

И вот, в 86-м году мы захоронили политрука Кондеусова, и с того момента стали работать именно уже как отряд, мы не оставляли солдат просто на бруствере, как это раньше делалось. Да и до этого мы, бывало, делали символические могилки, складывали их в какую-то ямку и ставили березовый крестик. Писали, что здесь лежат останки солдат. Но это все такое было, знаете, просто среди леса могилка. Со временем она падала. Не было еще механизмов такого цивилизованного захоронения. А после 86-го года начались, с легкой руки Орлова, вахты «Долины». И в 88-м, и в 89-м годах мы ехали туда, видели, насколько все организовано, насколько огромное количество солдат в Мясном бору. Были Г-ТТ, которые нас развозили по дорогам просто заполненным водой. И вот с этого времени примерно мы стали активными участниками поискового движения, именно уже как движения. Ну и дальше — я уже говорил — юридический адрес на Соляном, в 89-м возродился музей, при музее мы зарегистрировали отряд «Северо-Запад», и уже тогда первая вахта была, первая официальная в Ленинградской области, которую организовал Георгий Стрелец весной 90-го года, тогда были найдены штабные блиндажи, в одном из которых были останки комиссара Щурова. Это вот фильм снимали последний из серии про попаданцев, я забыл, как он называется^[163]. Щуров у них там комиссар.

Ф.Д.: Если про попаданцев, то «Мы из будущего», наверное?

О.А.: Нет, это другой! А «Мы из будущего» я запустил в проект совершенно нечаянно. У меня был создан сценарий с раскадровкой — «У прошлого в плену». Даже в Союз писателей я с этим сценарием вступил. И эту раскадровку я рассказал режиссеру за бутылочкой водки. В присутствии друзей. Рассказывал прямо покадрово, с пояснениями, почему именно так: почему герой залезает под нары, почему бьет себя об угол ящика лбом, вылезает как раненый. У меня-то драма психологическая была, о том, как человек ломается. Он из бизнесмена, которого перенесло туда, у которого совсем другая система ценностей, в какой-то момент понимает: ну, что он не мужик, что ли. Когда вокруг такое творится. В общем, там сложно. Режиссер этот с криками «Я поехал в Москву за деньгами» исчез, больше я его никогда не видел. Слышал, что он снимает по моему

сценарию «У прошлого в плену». В «Мы из будущего» они уже переработали мою идею. Но не обращались за консультацией. Ноэтом у них и выглядит блиндаж так, будто из него только вчера ушли. Лишь в одном из интервью авторы фильма сказали, что, мол, идею нам подсказал черный следопыт из Нетербурга. Как-то вот так вот. На самом деле, рабочая версия была «У прошлого в плену». С хеппи-эндом. У них тоже все счастливо кончается. Но у меня была показана именно ломка. Мне важно было показать систему ценностей 90-х годов и систему ценностей 39-го, комсомольцев. Когда ему товарищи после госпиталя говорят: «Что с тобой случилось? Консервы домой таскаешь!», а он же знает все, что будет блокада, что на эти консервы можно будет столько золота закупить... Он организовывает местную гопоту, чтобы они ходили по рынкам, скупали... У него все продумано было, он в политотдел устроился со ссылкой на то, что у него в Финскую войну сильно пострадало здоровье, знал, куда заплатить, и чудесно себя чувствовал. Он ждал момент, когда вернется и доживет до того года... При случае как-нибудь расскажу, что значит оказаться у прошлого в плену. Он просто по ночам видел, что происходит здесь, как его жена крутит с бизнес-партнером и, лежа в госпитале раненым, вскакивал, сжимая кулаки, с криком «Убью суку!» Ему товарищи говорили: «Дурак, что ль? Война закончена, с финнами покончили, никого больше убивать не надо». Там такие нюансы. А они, конечно, очень сильно все упростили, примитизировали. Ну, ничего такой, кассовый фильм. А потом пошло дальше это. Запустив историю про попаданцев, я даже не ожидал, что она так начнет действовать. Снежный ком.

«Святой Георгий» сейчас — это объединение поисковых отрядов, в него входит на данный момент 18 отрядов и порядка 200 человек. Собственно говоря, задача наша, руководителей, — поиск родственников, объединение всей информации о таких мобильных группах, которые и называются поисковыми отрядами. Ну и, разумеется, чтобы довести дело до конца следим. Если солдат отправляем на Украину, то помогает Мачинский, у нас с ним плотное сотрудничество. Они создали «Дорогу домой», поэтому мы используем возможности этого проекта, как можем. Во всяком случае, контакты давно уже налажены. И сейчас у нас есть останки, которые приготовлены для отправки на родину. Именно в последние годы

очень это востребовано — люди хотят, чтобы бойцы возвращались домой.

Был вообще смешной случай. В Погостье ребята, отряд «Волхов», нашли воронку, в ней порядка 15 человек. Это санитарный сброс, что называется: немцы собирали убитых красноармейцев, скидывали их и засыпали, чтобы мухи не ели и не мешали жить немцам. Очень сложный был раскоп, но ребята вынули всех до последнего. И у одного из них был медальон именной, сибиряк. Но его невозможно было отделить от этих остальных. Их, конечно же, всех вместе похоронили. А туда, на родину, сообщили, что найден и увековечен, все такое. Но тогда захоронения не было, все кости лежали еще, и нам звонит человек из администрации: «Слушайте, вы не могли бы нам прислать останки?» — «Это невозможно». — «Почему, вы же нашли его!» — «Мы можем прислать личные вещи, медальон, чтобы вы передали родственникам, но останки не можем. Их еще в этой яме было пятнадцать человек, как мы отделим одного от другого, это анализ ДНК надо всем костям делать. Поэтому будет захоронен вместе со всеми в братской могиле». — «Вы не понимаете! У нас социально значимое мероприятие, пришлите останки!» — «Мы не можем их отделить!» — «Да пришлите любые! Какая разница! У нас все красиво будет, с почестями! Этот, не этот, все равно ему будет приятно». — «А вы вообще в Бога-то верите?» — «Причем здесь

Бог, это социально значимое мероприятие!» Да думаю, блин, тяжелый случай, почти клинический. Не буду называть фамилию и регион, но вот именно такой диалог и был...

Диапазон нашей работы — от Спасской Полисти и вплоть до Пулковских высот, 29-го километра, где наши большие потери понесли. Но основные места — это район Волховского фронта: Кириши, Любань. Вся эта линия была нами пройдена пешком по пересеченной местности, но везде были результаты. Где-то меньше, где-то просто зашкаливало от количества найденных солдат. Но Невский пятачок — место, куда я попал впервые, в нежном возрасте, с чего у меня все и началось. А зашкаливало — это когда человек по тридцать за день вытаскиваешь. Это не верховые, они, как правило, лежали в окопах.

С немцами другая история, их мало. Но отношение абсолютно одинаковое, что к этим, что к тем. Это жертвы войны. И мы их

передаем. У нас кладбище есть здесь, в Сологубовке, интересное место. Там похоронено 54 000 человек. Отец Вячеслав^[164] про него может рассказать, это была его победа. Когда Ельцин заключил договор с Народным союзом Германии по уходу за воинскими могилами, было решено развалины храма снести и сделать дорогу к этому кладбищу. Но отец Вячеслав нашел ветеранов немецких, которые подтвердили, что храм разрушен ими, что они демонтировали купол, чтобы не дать ориентир советской артиллерии. И после этого было все юридически подведено к тому, что немцы должны отреставрировать храм. На данный момент там рядом лежит 54 000 немцев, свезенных с разных кладбищ в одно. Многие из тех, кого мы находили на местах боев. Разумеется, мы отдавали все личные вещи и жетоны.

Тогда с нами плотно сотрудничали Лиза Лемке и Уве Лемке, семейный у них был отряд. Это руководители северо-западного отделения Народного союза Германии. Мы им передавали все останки, они нам сообщали все имена. Одной из моих идей, которые я хотел реализовать, ее лишь частично сейчас реализовали в рамках выставки «Вечно живые», показать лица погибших. Мы должны смотреть в глаза и видеть, что это молодые люди. Любая война — она убивает генерацию, поколение, самых здоровых, самых молодых, самых честных. У них не родились ни дети, ни внуки. Это убивает огромное количество людей. Со смертью одного мальчика гибнет двадцатка тех, кто должен был родиться в этой стране. И у меня была идея показать эти молодые лица с немецкой стороны и с советской. Потому что и те, и другие получили самый большой удар по поколению. Но немцы информацию давали, а фотографии не присылали, не знаю почему.

В 89-м году мы приехали в Мясной Бор. Нам очень понравилось, что не было никакой забюрократизованности. Мы пришли в палатку и сказали: вот мы отряд «Святой Георгий», объединение «Возвращение» — и все. Нам сказали: «Распишитесь за технику безопасности. Сейчас будет гэтэтэха, куда поедете?» — «Ну, куда-нибудь ближе к Спасской Нолисти». — «Вас отвезут». То есть не надо было никаких личных данных, всего прочего. «Инструмент имеете?» — «Да». Все. «Сейчас Г-ТТ вас отвезет». И по дорогам, представлявшим собой сплошные реки, потому что почва там такая, нас довезли до более-менее сухого

места, мы встали рядом с татарами. Татары, в основном, это отряды, состоящие из женщин. И что удивительно — и работают только женщины, они же и готовят. К вечеру пришли девчонки из татарского отряда, сказали, что у них готово жаркое, можно приходить. Мы пришли. Оказалось, что они отловили там огромное количество лягушек: все же болото сплошное. Они из лягушачьих лапок сделали жаркое с картошечкой. Я, честно говоря, сослался на то, что сыт, и есть не стал, а ребята покушали, были очень довольны. Но это был первый день, знакомство, а на следующий день все разбрелись по лесу. Мы тоже. Уже не помню, сколько было найдено бойцов. В любом случае, они все сдавались централизованно. Подъезжала гэтэтэха, мы сдавали мешки. Ощущение было очень приятное, оттого что нас много, что мы не какая-то безумная единица, которой это дело нравится. А что вся страна здесь — и те же татары, и из других регионов. Примерно так же, как вот этот прорыв генерала Клыкова в этот мешок. И мы в этом прорыве тоже все были — и Муса Джалиль, и все прочие. Представители всех народов делают одно дело, и такая атмосфера веселья, товарищества. В общем, просто такая атмосфера, знаете, объединенная общей целью. Естественно шутки-прибаутки, что еще интересно молодым людям. Мы в 2006 году копали, кажется. Год тот был очень продуктивный. Я не мог не ездить на те же самолеты, потому что в доме молодежи меня оформили как фоторепортера и видеооператора, я должен был это делать по долгу службы. Поэтому я мотался с ребятами из МИФа^[165]. Во-первых, мне это нравилось, во-вторых, я понимал, что делаю какую-то историческую работу. Фотофиксация и видеофиксация. Принцип мой такой: что не сфотографировано, того не было.

Поэтому в 2006 году поднимали летчика Костенко, это была героическая работа подростков, и на этой большой глубине... Падло видеть фотографии, чтобы ощутить, какое упорство проявили эти подростки, чтобы достать его. Туда же приехал отец Вячеслав, отслужил службу, после этого останки легко вынули... И тогда же, в 2006 году, мы работали на Синявинских высотах. Там интересная ситуация была: местная администрация решила построить птицефабрику. Пу а где строить-то? Только на местах боев, причем самых мемориальных. И они заключают договор с голландской фирмой, продают им землю. И там начинаются такие работы по

подготовке — уже срывают землю. Мы пришли к мадам Ван дер Бирг. Она оказалось очень порядочным человеком. Мы объяснили, что здесь не произведены поисковые изыскания, а очень большие потери. И она сказала: «Никаких проблем! Вот вам техника, давайте полностью проводите изыскания, мы начнем только после того, как вы всех похороните». И там целый вагончик стоял, и тракторы, и бульдозеры. И, кроме того, когда они по уже очищенным местам грунт стали срывать (там было так, что, допустим, высоту полностью срывали и выравнивали, до глины вот этой исторической), мы все равно все это время стояли рядом с тракторами и глядели, не будет ли вдруг чего. И если нам казалось что-то странным, мы показывали. То есть мадам Ван дер Бирг оказалась куда более порядочной, чем администрация, которая разрешила строительство на этих высотах очередного курятника. И вот, в рамках этой работы, в спешке, все силы на Синявино, чтобы вытащить всех, на одной из высоток находим бойца: здоровенный мужик по размеру кости. А за спиной у него — 29 мин для миномета. Он их в рюкзачок сложил и, видимо для миномета, понес. Фамилия у него была Мартынов, Павел. Он был из Майкопа. Неделью спустя я выступал по радио «Россия»: обсуждали общие вопросы — поиск, цели, задачи. Я говорю: «Можно я воспользуюсь вашим эфиром, чтобы озвучить фамилии бойцов, которых мы за этот сезон нашли? Вас слушают многие, может кто-то услышит, кому-то это покажется знакомым». Ну и по списку прошелся: там порядка двадцати фамилий было. Я обозначил всех. Проходит год. Мы уже останки похоронили на Синявинском мемориале. Их отпел отец Вячеслав. Проходит год. Ну не год, может быть, чуть меньше. На следующее лето, наверное, раздается звонок: «Я дочка Мартынова!» — «Мартынова? Очень рад! А что, собственно...» — «Мы вылетаем!» — «Куда?!» — «В Ленинград». — «А откуда?» — «Из Днепропетровска!» — «Замечательно. А какого Мартынова-то?» — «Павла Мартынова! Вы же его нашли на Синявино». — «Да, он похоронен, все в порядке!» Я, сбивая стулья, ринулся к ящику: начинаю выискивать медальон, личные вещи, чтобы быстро оформить стенд. Целый вечер трачу на то, чтобы красиво все сделать, печатаю грамоту. Мы же не можем наградить, мы не имеем на это полномочий. Но просто были солдаты, которые защищали Ленинград и погибли в 41-м году. И мы ввели такое правило: покупаем на

барахолке медали «За оборону Ленинграда», именно старые, настоящие. Их много. И пишем такую бумагу: «Красноармеец такой-то погиб смертью героя, защищая Ленинград от немецко-фашистских захватчиков, В память о его подвиге семье героя передается медаль "За оборону Ленинграда"». Мы не можем наградить. Да и в 41-м году этой медали еще не было. Но он за Ленинград погиб, и логично бы было всех, кто погиб за Ленинград, наградить. Поэтому мы это делаем на уровне своей инициативы. И вот я быстро печатаю эту грамоту: «Красноармеец Мартынов героически погиб, защищая Ленинград...» К утру они приезжают. Какая-то энергетика просто от них прет. Я позвонил Володе Уткину, одному из старейших наших поисковиков, он 57-го года рождения и такой, деятельный. «Володя, говорю, а ты вообще можешь встретить людей на машине?» — «Ну, я могу отменить работу». — «Отмени, пожалуйста». Двумя машинами мы их приняли. Они бросили вещи в гостинице, и, в общем, привозим мы их на Синявино. Больше всего я боялся, чтобы там не было никаких пластиковых бутылок, потому что не всегда на местах раскопа порядок соблюдают. Мы сами практикуем, чтобы или весь мусор сжигался в костре, или забирался с собой в полиэтиленовых пакетах. Но не все этому правилу следуют. Но, к счастью, никого лишнего там не было, и, кроме саперных лопаток, гильз от снарядов и какого-то отстрела, на этом месте ничего не лежало. Теперь — кто же эта женщина, которая так резко сорвала всех, ее история. Она была вторым ребенком в семье. В 38-м году у Наши Мартынова родился сын, а в 41-м — его призвали на военные сборы. Но в марте месяце, перед уходом, он за день до этого забрал родившуюся дочку из роддома. Она родилась 7-го марта, врач еще пошутил: подождали бы — и совпало бы с Международным женским днем. Он ее забрал — и ушел. Это была единственная встреча дочки с отцом. Больше никогда она его не видела. И он был фетишем для нее. Всю жизнь она его искала, писала запросы. Везде ей отвечали: «Никаких данных нет, пропал без вести». И все. И здесь начинается мистика.

Когда мы его находим, я озвучиваю это по радио, а мистика тут в том, что мое выступление слышит ее девяностолетняя тетка, к тому же глухая. И вот именно это она услышала. Ей потребовалось большое время, чтобы найти адрес племянницы в Днепропетровске. А у той там бизнес, парфюмерное производство. Она такая бизнес-леди.

Родившегося сына назвала как отца — Навел. Еще дочка у нее. И внук. И вот они, в один день, когда до них дозвонилась эта тетка и сказала, мол, свяжитесь с ленинградскими поисковиками, они Нашу нашли, вот в тот момент раздался тот звонок, который я услышал по телефону: «Мы выезжаем». Они приехали действительно всей семьей. Брат, старший, она, внук Наша, внучка. И правнук, со школы сорванный специально, чтобы присутствовать. И я ее подвожу к этой яме, где мы его нашли. «Вот здесь», — говорю. Слезы: «Папа, я тебя нашла». Я на всякий случай отхожу подальше, где у нас уже водочка разлита. Не стали ее тревожить. И потом, уже когда она взяла себя в руки, подошла: «Ну, теперь расскажите, как все это было!» «Один Бог, — говорю, — знает, как все это было. Но косвенным признакам могу сказать вам только одно. Видите, какая шикарная высотка? Налево позиции Красной армии, в низине. И узкоколейка. Грех здесь не развернуть батарею. А если посмотреть направо — немецкие позиции, укрепленные пункты, там тоже грех было не развернуть батарею. В итоге, поскольку немецкая батарея очень мешала нашим войскам, ее на штыках вынесли отсюда. Вот мы видим гильзы от орудий, которые были здесь с немцами. Но когда поднялись наши на горку — грех было и на ней не развернуть орудия, в том числе и минометы. Это уже немцам не понравилось, на штыках они вынесли наших отсюда. И за эту высотку периодически шла такая «дружеская» борьба. И вот в одном из боев, когда минометная батарея работала с этой высотки по немецким позициям, немцы стали контратаковать. Тут был и ваш папа — а с 41-го года это был очень опытный солдат, в 43-м году он уже прошел и госпиталь... А! И она привезла фотографии: те, что он успел с госпиталя прислать им, пока Майкоп не был оккупирован немцами. Они еще и под немцами с матерью пожили там.

Ну и мы вручаем стенд, с медальоном, с личными вещами, медаль. И она такая: теперь вези на могилу. Нока едем, говорит: «Я современный человек, я в мракобесие не верю, но в прошлом году до физического ощущение было, когда он во сне мне явился». «А когда, говорю, было-то?» — «Ну, не знаю, в сентябре, наверное, этот в школу уже пошел». А 27-го сентября отец Вячеслав как раз отпевал тех, кто с именами, поименно. Я хочу сказать, что тонкий мир — он существует. Мы можем как угодно относиться к религии, религия — опиум для

народа. Но на уровне родственников мы так или иначе сталкиваемся с этой связью, связью с тонким миром. Вот, например, она физически ощутила присутствие человека, которого видела один раз в жизни. Он с ней так попрощался, все, он ушел, его отпели. Это очень похоже на истину.

Мы подъезжаем, она говорит: «Все, стоп!» А ведь могилы там каждые полгода появлялись братские. В среднем хоронили по 800 человек. И она такая: «Я сама». Говорю: «Ну, хорошо, хорошо». — «Вот это место». — «Да, говорю, верно». Ну и опять слезы, сопли. Мы опять пошли водку разливать. И уже оттуда едем, она: «Слушайте, я хочу помочь вашему отряду!» Говорю: «И как вы себе это представляете?» — «Ну, перевести какие-то средства!» — «Понимаете, если бы такое желание появилось у нашего правительства или у какого-то олигарха, который к этому отношения не имеет, я бы захлопал в ладоши и сказал: "Да-да, и побольше". Но вы являетесь потомком человека, который за наш город жизнь отдал. С вас взять пожертвование — это аморально. Поэтому извините». «Ладно, — говорит, — хотя бы нашу продукцию возьмете? Вот тут мы одеколон привезли». — «Ну, это, — говорю, — конечно, взятка...»

А теперь что касается памятника. Кладбищенские работники, как правило, сентиментальностью не отличаются. Об этом много пишут. И вот на следующий год эта дочка должна была приехать, мы к этому с Уткиным решили памятник-то поставить. Благо есть фотография, на эмали мы ее сделали. Уткин заехал к кладбищенским работникам, говорит: «Слушайте, мне бы подобрать камушек под эту фотографию. Мы нашли солдата, у него дочка приезжает, все такое». Те говорят: «Ну, пошли». А у них там много готовых памятников стояло из гранита. Уткин выбрал памятник — и они на его глазах присверлили к этому памятнику табличку. Он говорит: «Сколько?» А те ответили: «Ты что, дурак, что ли, нисколько!» То есть еще одно такое вот чудо, которого от этой категории граждан обычно вообще ожидать нельзя. И вот так мы поставили точку в истории с Павлом Мартыновым. Единственное, я заезжал недавно на мемориал и с удивлением увидел, что памятник перенесли на какую-то совсем другую могилу. Но это я сейчас подниму вопрос, если не забуду. Факт в том, что дочка приехала, была очень тронута тем, что мы, как обещали, все сделали. Но это такой вот один из случаев.

Мистика, конечно, присутствует. Обычно я это объясняю так: раз с нами Бог, то кто против нас? То есть ощущение, что кто-то нам помогает: либо святой Георгий, либо другие святые. Иногда — вода становится твердью, и мы проходим, иногда среди грозы солнце выглядывает. Есть ощущение, что с нами Бог. Но, опять же, если ты этим занимаешься бескорыстно, то это неизбежно будет так. А корысти нету, потому что предметом нашей гордости конкретно является то, что от государства мы ни разу не получили ни копейки. Ночему я всегда говорю, что мы — не ПДР. Потому что они — другие. Елена Моисеевна Цунаева откровенно говорила на слете поисковиков, что количество найденных бойцов напрямую зависит от финансирования организации. У нас такого не было изначально, и не может быть. В Библии сказано: «Если ты творишь доброе дело, твоя левая рука не должна знать, что делает правая». Если мы хоть часть своей деятельности превратим в источник дохода — мы уже не будем иметь морального права сказать, что работаем бескорыстно. Даже если банку тушенки возьмем у государства, оно будет иметь право сказать: «Ну, ребята, вы тоже не бесплатно работаете!»

У отца Вячеслава есть небольшой музейчик, а в нем фляга. На ней нарисована переправа через Неву, сосенки. Невский пятачок был берегом, украшенным красными соснами. Это место называлось «Красные сосны», потому что эти деревья, когда старые, начинают краснеть. Очень живописная была местность. Двенадцатиметровый берег... Конечно же, после боев там ничего не осталось. И на фляге все изображено так, как было. И написаны фамилия, имя, отчество. И дата рождения: 1923-й год, 29 сентября. То есть на Пятачок он переправился еще семнадцатилетним. В составе, по-видимому, первых десантников, 19 сентября. А 29-го он уже был в боях, и ему исполнилось восемнадцать лет. Ребята сделали ему такой подарок: расписали флягу с переправой через Неву, с указанием всех его данных. Ну и, я так понимаю, слили туда водки и презентовали ему на восемнадцатилетие. Но этой фляге мы и установили судьбу солдата: он пропал без вести. В декабре 41-го. То есть легенда о том, что на Пятачке больше трех дней считалось — ветеран — не соответствует действительности. И еще есть много похожих мифов о Пятачке. Как видишь, он провоевал до декабря. Опустили его как раз по фляге. Он был уже глубоко в немецких позициях, то есть у них был прорыв

хороший. До полутора километров делался прорыв в сторону немецких позиций. Он, видимо, был убит во время одного из таких прорывов.

Кстати, про мифы о Невском пятачке. Ведут, допустим, экскурсию, спрашивают: «А вы знаете, что на этом берегу погибло 200 000 человек?» Я говорю: «Где вы взяли такую цифру?» — «Там же по 10 человек на квадратный метр!» — «А сколько на тот момент в городе оставалось людей, ты знаешь? А боевые части? 160 000 дала армия народного ополчения, 90 000 флот на берег списал, морскую пехоту. Армия, которая отошла с боями, в ней средняя комплектация дивизии была по 6 000 человек. Откуда у вас взялось погибшими по батальону в день? Откуда вы все это черпаете? Если по 10 человек на квадратный метр, то сколько тогда метров — весь Пятачок? Ну, пускай 500 метров в глубину и два километра по фронту. Получается миллион квадратных метров! Получается из 27 000 000, погибших во Второй мировой, мы 10 000 000 щедрой рукой кладем на два километра Ленинградского фронта?» Да даже 200 000 вот говорят. Как мы можем 200 000 там положить, когда у нас всего войск столько и было, мы что, девяносто процентов там оставили? Сколько там погибло на самом деле? Около 60 000, но ведь и это очень много! Немцы признают за собой 10 000, мы говорим, что 20 000. Есть такая наука — стратегия. В ней наступающая сторона всегда теряет 1 к 5. Если немцы признают за собой 10 000 погибшими, мы понимаем, что у нас — 60 000, то это укладывается в правило. Ведь надо учитывать, что мы пересекаем реку, в которой шесть километров в секунду скорость, двенадцатиметровые берега, занятые противником, и ведем бои фактически в окружении, на плацдарме. При всем уважении к либералам, которые кричат, что мы не умеем воевать, если в этой ситуации с форсированием Невы мы укладываемся в норму атакующей стороны (а атакующая сторона делала по шесть рукопашек в день). Немцы окуевали, потому что нигде такого накала боев, как в тот жаркий сентябрь, они не ожидали встретить. И даже парашютисты, которые туда были переброшены как пожарная команда — самолетами Гитлер приказал перебросить парашютную дивизию — потом говорили, что лучше два раза на Крит прыгнуть, чем там воевать. Расход боеприпасов у немцев — в день от 5000 до 8000 ручных гранат, это ближний бой! То есть этот сентябрь был

совершенно безумен для них. Такого они не видели нигде. И неудивительно, что 10 000 — это их официальные потери. Поэтому, конечно, Невский пятачок — самая горячая точка Ленинградского фронта, с которой, к сожалению, ни разу не удалось развить успеха. Что во время операции «Искра», когда 45-я гвардейская дивизия пыталась наступать с Невского пятачка. Полностью застопорилась, ничего у них не получилось.

Мы никогда не вели статистику по найденным там погибшим. Мы были рабочими лошадками: нашел — сдал, нашел — сдал. Мы были уверены, что есть люди, которые сидят выше, которые занимаются статистикой и всем прочим, поиском родственников. Этим занимался Фонд поисковых отрядов Ленинградской области, которым руководили Залесская и Прокофьев Илья. Мы им сдавали вплоть до 2007 года все, даже не задумываясь вообще о том, какая будет дальнейшая судьба. В 2007 году у них был ремонт, они в Смольном там находились, и вынесли все мешки с личными вещами, с медальонами, в коридор. А добрые узбеки, которые посчитали, что это мусор, все отвезли на свалку. И после этого мы поняли, что всю информацию надо обрабатывать самим. С того времени, так или иначе, мы стали вести свою статистику. Статистика — могут отчеты прислать, на них посмотришь — объединение «Святой Георгий» в среднем за год находит от 350 до 400 солдат. Это средняя статистика, общая. От Погостья до Невского пятачка, до Карельского перешейка. Если мы в год находим 400, то за 10 лет, наверное, где-то 4000... Когда Елена Моисеевна, через три года существования ПДР, с высокой трибуны заявила, что они за три года похоронили 80 000 солдат, я, честно говоря, сел на жопу и подумал: это сильно напоминает как раз ту историю про 10 человек на квадратный километр. Потому что даже в Мясном Бору, где на каждой кочке лежало по солдату, всем миром приезжали на эти вахты и похоронили только 30 000! За 30 лет похоронили 30 000. А Елена Моисеевна — 80 000 за 3 года. Неужели жажда денег заставляет идти на подлог, откровенный? Тем более, кто у нее там копает? Пионеры, которых она обучает патриотизму? В песочнице они закапывают пластиковые кости, а она обучает, как правильно их копать. Девяносто процентов времени в своих лагерях они смотрят кино, они тискают друг друга за палатками. Нет, это

пионерлагерь. Такая откровенная номенклатурная история... Наверное, ты не раз все это уже слышал от других.

Человек — это основная находка, ради которой мы работаем. Конечно, есть предметный ряд, который интересен. Я рассказал, например, про флягу, которая лежит у отца Вячеслава. О том, что поиск надо прекращать, обычно говорят люди уставшие, а я не устал. Версия о том, что не надо трогать, — она была всегда. То есть в тот период, когда я сдавал в военкомат ребенком медальон, этот жирный полковник на меня орал: «Кто разрешил! Непохороненных нет! Вы копаете могилы!» — «Это не могилы, они лежали с автоматами в ячейках!» — «У нас нет незахороненных!» Эта позиция — она официальная была на тот период. Что все солдаты, которых мы копаем, — это могилы. Они были объявлены захороненными. Вторая сторона, которая зачастую встречается: когда мы ходим с миноискателем, находим разные вещи. Раз, например, попались звездочки и табличка. Написано: майор такой-то. Танки нарисованы. Ногиб в бою, все прочее. То есть мы понимаем, что все это было бульдозером снесено, что где-то здесь, под выровненным слоем, есть их могилки, которые сделаны после боя. Звездочка ржавая, на ней ничего не видно, что было написано. На табличке видно: начинаем пробивать этого майора, а он героический какой-то, личность. Но мы не можем найти его могилу, мы нашли только табличку с могилы. И ее-то уж точно никто не переносил. Это был хрущевский указ: указ, который назывался «О ликвидации следов войны». Ну, как ликвидация — это же не окопы заровнять и посадить на этом месте красивые клены и березки. Нет, этот указ бы направлен против многочисленных дивизионных кладбищ, которые окружали весь город. Где был госпиталь — там вокруг него выросло целое кладбище. Какие-то из них были перенесены на Синявинский мемориал. То есть как. Для галочки выкопают 10 человек, напишут, что перенесены, выстрелят над могилой — и похоронены. А вся могила — 500 человек — она так и остается. Ее заровняли бульдозерами — и все. Вроде по карте все чисто.

Это была реализация плана таких людей, которые озвучивают идею про то, что не надо их больше трогать, все оставим как есть. Эти люди стоят на стороне тех, кто организовал тот преступный приказ. Нет, мы не из этой категории. Если Бог нам послал солдата — мы

доведем его до отпевания. Это основная задача организации. Приложить все усилия, чтобы установить личность солдата и довести его до захоронения с отпеванием. Каждому поисковику у нас выдается инструкция, где сказано, что при наличии личных вещей и подписных, все сдается руководителю объединения, который занимается поиском возможных вариантов в архиве, приветствуется также личная инициатива, если они сами начинают искать. И, кстати, это нередко бывает намного эффективней, когда есть личная заинтересованность человека, который его нашел. Вот, например, история старшего лейтенанта Сокола. Там было человек пятнадцать моряков, в прошлом году, осенью копали уже при свете фонарей от видеокамеры. Очень глубокий окоп и над нами еще нависала песчаная куча, которая несколько раз обрушивалась. Искусственно сделанная. Нашли несколько моряков, с морскими пряжками, и среди них — офицер, у которого кобура, у которого нож, финка ижорская, и ложка с якорем, номером «1» и надписью «Сокол». Практически без вариантов. Он был единственный лейтенант Сокол из 1-й бригады морской пехоты — цифра на ложке неспроста. Видимо, он после боев под Стрельной попал в госпиталь, откуда был перекинут в 4-ю бригаду морской пехоты. И уже в декабре сражался на Невском пятачке в составе 4-й бригады. И, прорвавшись на вражеские позиции, потому что там фрагменты парашюта были — то есть они сцепились с парашютистами — он погиб. И вот парень, который его нашел, практически от нуля, от этой ложки, провел цепочку, у него получилось целое исследование. Он связался с родственниками, нашел его фотографию. То есть к моменту захоронения у нас был на него довольно большой архив. Это тот случай, когда он нашел и он довел. Ну, то есть по закону он должен был отдать руководителю, но если у него есть собственное желание и время, то мы только приветствуем. Также два человека сейчас найдены на Пятачке, ждут отправки. Один лейтенант из Одессы, другой — из Украины, Черненко по-моему. Отправкой туда у нас занимается Лященко, он работал в «Дороге домой» у Мачинского. Сейчас вроде бы ушел оттуда, но украинское направление за собой оставил. То есть останки туда повезет. Говорит, там люди нормально к этому относятся: «Я же не имею дела с политикой. А на бытовом уровне все люди нормальные».

Если сравнивать разное время, то в первую очередь меняется состояние костных останков. Потому что, понимаешь, между 2020 годом и 1980-м прошло сорок лет. А в 80-м с того момента, как они погибли, прошло примерно столько же. То есть сейчас — двойной срок. И если в 80-м мы доставали костные останки, они были в основном твердые... Хотя не все, те, кто был в блокадном Ленинграде, где кальция мало, у тех, конечно, кости были немножко трухлявые. А те, которые кадровые — у них хорошие кости. Сейчас, зачастую, ты находишь только коленные чашечки и фрагменты черепа. Но при этом рядом — все снаряжение, все личные вещи, куски одежды, ботинки, искусно зашитые проволокой, медальон. И ты понимаешь, что он уже в свою каску умещается. То есть, например, ребра — вообще растворились, потому что агрессивная среда. А все, что не растворилось, буквально укладывается в его собственную каску. Но бывают и такие, что двоих положишь в мешок — и уже поднять тяжело. А если еще и тащить мешок этот к лагерю через болото...

На финском фронте есть такое Хлебное болото. Ребята там лет пять назад поднимали воронки, в которых лежали с Финской войны красноармейцы замерзшие. Они мумифицировались: обмундирование, снаряжение, буденовки — все было на них. Кожный покров был, роговицы глаз, отросшие ногти и усы. Только все это было коричневого цвета, торфяного. Вот они вытаскивают такое тело, а оно тяжелое, носилки самодельные, до лагеря нести по болоту мучительно. Тем не менее — надо. Чтобы облегчить себе задачу, просто снимали с них шинели, каски, противогазные сумки, кидали здесь же у воронки и фактически голых несли в лагерь. Я приехал — и хотя у меня давно сложилось правило, что если я приехал, то сначала сфотографирую, и только потом окажу первую помощь, потому как что не снято, того не было... И вот я приехал в лагерь и передо мной лежат голые тела: мышцы, ягодицы, грудные клетки, волосистой покров. Лежит лейтенант, у которого из одежды только вязаный подшлемник на голове. Я сделал пару протокольных снимков, несколько кадров крупного плана, но не лежит душа дальше снимать: я понимаю, что они не хотели бы, чтобы их с голыми жопами... Вот если бы они в одежде лежали, в шинелях и всем прочем — было бы корректно. А вот такая банная сцена... Там минимум человек семьдесят было. Их периодически уносили, доставали новых. И

хоронили, конечно же, каждого в отдельном гробу. Буденовка там целая... Интересно. Ну, как интересно: я не сторонник всякого рода чернухи, но вот такая была история. Мы нашли даже место, откуда их всех положили. Там гора отстрела — ВПТ гильзы — Выборжский патронный завод — огромная гора. Чувствовалось, что пулеметчик работал.

По финскому фронту много интересных моментов было. Когда работаешь в районе линии Маннергейма, ходишь с минаком, вроде думаешь — каждый сантиметр проверил, здесь больше ничего нет. Но другая влажность, как-то поменялись звезды, приезжаем — я включаю миноискатель — и сразу сигнал. Начинаем внимательно обходить это место — сигнал упорно идет на глубине. Ну, надо копать. Причем дело было на стоянке, где мы стояли чуть ли не целый год. Зарываемся: там просто вороненные диски от пулемета Дегтярева, с желтыми патрончиками, целая коробка. Начинаю дальше ходить вокруг — ведь значит это был окоп. Раз-раз-раз — и получается, что это окоп, в котором лежат лыжи, винтовки, красноармейцы, двое красноармейцев, обнявшись. Они сделали из патронной коробки печку импровизированную и лыжные палки там жгли. Был жуткий мороз в 39-м году, а они в ожидании штурма пытались согреться. Ранцы за спиной, каски, а перед ними — коробка, где обгорелые лыжные палки, а рядом валяются кольца от палок. И они в обнимку лежат, пытаются согреть друг друга. И мы вскрываем траншею, видим все это. Хотя ходили по этому месту тысячу раз. Просто звезды встали под другим углом...

Очень многие любят рассказывать, что во сне приснилось, встал, пошел в то место... А есть такая категория поисковиков, которые говорят: «Вот мы сидим у костра, подходит красноармеец в красноармейской форме, просит закурить. Мы ему, конечно...» Ты уже такое записал где-нибудь? Да... Меня многие про это спрашивают, мол, ты же копаешь давно, сколько раз к тебе приходили, к костру? «Ребят, — говорю, — врать я не буду, мы, конечно, не без греха, иногда выпиваем. Но белочка нас еще никогда не посещала. Нет, никто к нам не приходил, да и прийти не мог». То, что наводка во сне бывает, это да, но это уже тонкий мир. Например, мне приснилось, что я напротив Марьино «беру» берег и мне попадается лейтенант с наганом. Думаю: надо проверить. Место хорошо запомнил во сне.

Обычно же сны сразу забываются. А тут решил не забывать. Буквально через три дня говорю: «Ребят, у меня там лейтенант с наганом лежит». — «Где?» — «Да сейчас покажу, где». Нриезжаем, а там не только лейтенант... Нправда, наган до меня уже забрали. Но все нормально, что-то порядка пяти бойцов там было. Трех я сам поднял. У одного ладанка была — то есть не медальон бакелитовый, а ладанка образца 25-го года. Но, к сожалению, бумажка в ней уже стала единым целым с железом, сохранилась только форма... Но этому склону они забегали наверх, попадали под немецкий огонь пулеметный и скатывались вниз. Мои трое и еще человек пять там было.

Американцу одному показывал тематическую панораму перед этим. «Все, — говорю, — я поехал копать». Как раз туда, где высокий берег. Он говорит: «Я с тобой». Ну, поехали. Его благодетели, которые его привезли, попросили меня провести ему экскурсию. Нашли в машине резиновые сапоги, робу. Едем, я смотрю — «Росалко» магазин. Я: «Стоп!» Тот, который привез американца, его коллега: «Чего ты тут остановился?» — «Я остановился по одной простой причине. Ты ведь его на раскопки везешь!» — «Ну и что?» — «Тебе надо выйти из машины и позаботиться об обеде. Тяжелая будет работа-то!» — «То есть я должен обеспечить...» — «Да-да, ты все правильно понимаешь, пойдем». Выходим. Он такой: «Ну, давай вот эту бутылочку возьмем». Я говорю: «Ты видел его рожу? Вот эти три бутылочки ему будет мало. Ну и три еще для меня. Да и там ребята копают. Давай девять. И что-нибудь...» Он достал карту, вздохнул, расплатился. Нриезжаем мы, затаренные, на берег. А на берегу ребята уже взяли пару бойцов, как раз в том месте. Радостно увидели, что мы привезли обед. Американец не ломается — одну стопку за другой... А у меня стопки копанные, из щуровского блиндажа еще, довоенные. Из них даже любой напиток в два раза приятней. И он такой: «А где копать?» Я говорю: «Милый мой, если бы я знал, где копать... Все в руках божьих! Ну, давай вон там. Вот сюда они забегали, вот тут их встречал пулемет, значит, он, скорее всего, скатился вот туда».

Он, значит, туда залезает. Там такая слегка заболоченная почва — ближе к берегу. У него сапоги тут же увязают, он начинает копать — и у него сразу же пошел боец. Он выходит на карман, там кошелек — монетки как будто вчера положены, двухкопеечные, трехкопеечные...

В этой сырой почве они даже не потемнели. Он такой: «О! Это что?» — «Кошелек. Нричем, — говорю, — запомни, империалист, есть некоторые года, которые бешеных денег стоят. Например, 2 копейки 42-го года». — «Да, и что, здесь могут быть такие монеты?» — «Да, и ты эти монеты можешь себе забрать, они ему уже не нужны. Нускай это будет твой трофей. Но помни, среди них может быть монетка, которая очень дорогая. И тебе, при твоих миллионах, лишние сто двадцать тысяч не помешают!» В общем, я плумился над ним... Но бойца он нашел. И это было очень сильное для него впечатление. Ну, а к пяти часам я налил ему еще и сказал: «Так, ребята, я еду на Синявинский мемориал, нынче мы раскладываем по гробам кости. Ноэтому наша сегодняшняя работа закончена, спасибо за сотрудничество, я от вас ухожу». Американец в меня клещами вцепился: «Так я тоже хочу!» — «Тебе что, интересно кости по гробам раскладывать?» — «Ну да!» — «Хорошо, поехали».

Приезжаем на Синявино. Там ребята с мешками уже. Мы собираем гробы. Американца я отдал Константину Михайловичу из администрации. Говорю: «Новоди его по мемориалу, расскажи разные истории про солдат». Там же у каждой могилки можно остановиться и историю рассказать.

Ну, Константин Михайлович пошел, а я начал быстро вытряхивать из мешков кости и, с уважением, выкладывать — голова к голове, ребра к ребрам, руки к рукам — нет такого, знаешь, что все сыпаешь и перемешиваешь — все кости укладываются в анатомическом порядке. Ну, конечно, смотря какое количество костей в гробы влезет. Бывает, что влезет всего 10 человек, но если вот эти растворенные, то их может и 30 в один гроб поместиться, потому что они сохранились лишь фрагментарно. То есть человек — то есть, но от него мало чего осталось. В общем, пока я занимался этим делом, дело к вечеру, возвращаюсь к нему. А он такой впечатленный всем увиденным... Я говорю: «Знаешь что, Джон, здесь еще есть ручей и родник, из которого течет вода обалденная». Мы спускаемся вниз, к роднику. Я ему: «Видишь, блиндаж на склоне, здесь немцы между бревен поставили котелок с водой, взятой из этого родника. Ровно через 50 лет мы копали этот блиндаж и нашли котелок. Вода не испортилась — она была такая же чистая». — «Не может быть!» — «А ты попробуй ее на вкус!» — «Но-моему, водка все-таки лучше». —

«Не вопрос!» И он мне такой: «Олег, вы такое дело делаете, я хочу вам помочь». — «Как?». Он достает пачку долларов, резинкой перетянутую, говорит: «Я думаю, это нужно отдать администрации!» — «Круто, — говорю, — ты придумал. Вот ручей видишь?» — «Да». — «Сними резинку и брось их в ручей». — «В каком смысле?» — «В том смысле, что так больше шансов, что они достанутся людям, которым нужны!» — «Неужели все так плохо... И как же быть?» — «Выбери доверенное лицо, купи палатки, купи дорогие американские приборы, глубинники, купи натовское обмундирование хорошее, которое не мокнет, упакуй в контейнер и пришли сюда, как благотворительную помощь. Нолучи отчет, кому конкретно, какому отряду, что было передано. Вот это и будет помощь. А то, что ты отдашь администрации — ну одним "бентли" у них станет больше. Поэтому кинь в ручей, полезнее будет». Он говорит: «Я не ожидал!» — «Ну, вот такая жизнь, — говорю, — у нас». «А что, вам никто не помогает?» — «Так это и есть предмет нашей гордости! Что никто нам не помогает. И не надо. Когда президент говорит, что надо помочь пенсионерам, лучше бы он за это не брался. Когда он начинает помогать какой-то другой социальной группе под видом благих дел, все только ухудшается...»

Или вот история Булавинова, командира танка. Его мы нашли уже зимой этой. Медальон читался плохо. И когда ты начинаешь сканировать на высоком разрешении... Ну, допустим, какие-то участки 2400 dpi ставишь — если весь сканируешь, то 1200 dpi, иначе компьютер зависает, если смотришь на таком большом разрешении. После этого начинаешь играть фильтрами. И вот на почти нечитаемом медальоне проявляется одна буква, ты ее фиксируешь, потом первая пропадает, вторая как-то выплывает. Не всегда это срабатывает. Иногда целая ночь уходит для того, чтобы прочитать медальон. Но зато, когда ты его прочитал к утру, то ощущения... Нет, секс близко не лежит к той категории удовольствия... Такой эйфории, как когда ты прочитал медальон, ни один секс не даст. Это такая победа над чем-то... Над собой, может быть. Просто весь день ходишь радостный. Собственно, весь день мучались с этим медальоном, прочитали: «Булавинов». Пробиваем — действительно командир танка, погиб в ноябре 41-го года. И в этот же день ребята присылают фотографию. Им вот как-то сама собой в интернете выпала фотография: загрузка

снарядов в танк, экипаж танка такой-то и такой-то, командир танка — Булавинов, сержант. Снято в день его гибели Всеволодом Тарасевичем, летописцем Невского пяточка. То есть все сошлось в одной точке: расшифровали медальон, сама собой пришла фотография. Вот такая вот история. Я не говорю, что это мистика, но как-то так получается иногда, что, занимаясь этим делом, сталкиваешься — какой-то элемент мистики все-таки присутствует. Так мы установили одного из героев. Насколько стало понятно впоследствии, он, собственно, один погиб из экипажа, остальные ушли. Он, видимо, прикрывал отход экипажа, когда они вылезли из подбитого танка, и был убит. А остальные ушли. Один из экипажа остался жив после войны, другой в конце войны погиб. Но вот такая история.

Кстати, про обычаи. Когда отец Вячеслав начал свою деятельность, они так и называли свой отряд — «Нрмирение». Один из их ребят, Барсуков Серега, находит там же, на Синявинском поле, солдата, казаха, и его флягу. Жаркий август, когда наступление шло, они проломили немецкую оборону, уже шли по немецким тылам. Те пытались сопротивляться, но все уж прибарахлились немецкими ложками-вилками, у каждого солдата было по два ремня немецких — была мода у фронтовиков из них звезду вырезать, чтобы показать, что были с немцами в ближайшем соприкосновении. Поэтому носили немецкие пряжки, только вместо свастики вырезали там звезду. И казах тоже такой боевой. Фляга у него была пустая, закупоренная резиновой пробкой, стеклянная. В ней воздух 42-го года. Медальон был, все прочиталось. Очень мало времени прошло: буквально экспресс-поиск. Находим его внука. Внук срывается и несется на машине из Казахстана. Такой веселый, энергичный: «Ребята, вы не поверите, мне дед в белых одеждах приснился. Сто процентов. У нас в белые одежды одевают, только когда хоронят. Охуеть, ребята, вы не поверите, что я сейчас чувствую. Деда забирать буду!» Тут уже приехало телевидение, снимают, все торжественно. Нотом казах говорит: «Ну, мы закончили?» — «Да!» — «Тогда выключайте нахуй свои шарманки. Ребята, у меня полный багажник казахской водки, у вас такой не делают, она просто то, что надо. Колбаса, которую тут не найдете: наша, казахская. Пойдемте скорее, помянем!»

Ну и мы прям на этом поддоне, где он был сложен, боец, в анатомическом порядке... Киношники выключили свои видеокамеры. Казах достает водку. Я говорю: «Подожди». Беру из личных вещей флягу, говорю: «Смотри, в этой фляге воздух 42-го года. Последний, кто трогал ее своими губами, был твой дед. Первый, кто будет пить из этой фляги — будешь ты, его внук». Она была сверху-то помыта, а внутри ее чего мыть, она чистая. Открываю пробку, заливаю туда его прекрасную казахскую водку. Отливаю деду на кости немножко и даю ему. Он такой: «Сильно! Теперь в нашей семье будет правило! 9 мая будем вот эту флягу с водкой по кругу пускать!» Пу и он, значит, отпивает, следующему, киношнику, передает, я говорю: «Подожди-подожди, как по кругу пускать, вы же мусульмане отъявленные!» — «Что за хуйня, я советский офицер, коммунист, какой еще мусульманин. Пу да, сейчас все это насаждается, но я же не сумасшедший!» Пу и все нормально, посидели там душевненько. Упаковали ему его деда для захоронения на родине. Обычай рождаются вот так. Как когда мы медали отправляем куда-нибудь на Дальний Восток, где их не видели. С останками — они получают еще и медаль в красивой рамочке, настоящую медаль. Это лишь один из примеров, про внука воина-казаха с дедом и новым обычаем, с его флягой. Это работа отряда «Примирение», Сергей Барсуков, он и нашел солдата, и довел его, так сказать, до конечной точки.

А у Карякина, отряд «Василеостровец», было по-другому. Мы копали с ним с вечера. Под высоковольткой находим окоп. Такая почва, где сукно шинельное сохраняется... Оно даже с землей не сцепляется, то есть с глиной. Ты вырезаешь квадратом, вынимаешь, а сукно, оно не грязное. Оно из-за влажности с глиной не схватилось. И ты так: раз квадратик, два квадратик, три — и у тебя вырисовывается воротник с петлицами, обшлаг шинели, все это. Ты его обкапываешь и видишь, что полностью солдат в шинели. Кости, конечно. Никаких кожных покровов нет, но шинели сохраняются чудесно. Аккуратненько начинаем сукно вынимать, дошли до гимнастерки, там в кармане медальон: «Попов». Чудесно все читается, прямо сразу. Ну, Попов и Попов, откуда-то там с севера. Начинаем пробивать: а он эвенк. Крещеные эти, знаешь, северные народы. Когда их крестили, им просто давали так фамилии: Попов. Кто крестил — тот и давал:

Васильев, Нетров. Все эти северные народы, эвенки, если крещеные, имеют фамилии тех, кто крестит.

Мы связались с их администрацией. Для них это такое, блин, событие — на родине похоронить по обычаям своего героя, солдата. Они моментально прилетают делегацией. Карякин отводит их на место, где его нашли. Там они устраивают танцы с бубнами шаманские. То есть их крести — не крести — все равно шаманские танцы будут. Нотом, когда он передает им останки, достают целый литр какого-то шаманского зелья: то ли настойка на мухоморах, то ли еще что-то. Но спирт. В общем, все перепиваются. Они разжигают костер, вокруг него скачут с этими бубнами чуть ли не полночи. Такой вот был вариант поминок. У каждого представителя своего народа — все по-своему.

Были две дочки, которые приехали на могилу своего отца. Как могилу — на место гибели. Они учительницы. Очень такие бодренькие старушки. Легко дошли по пересеченной местности до места боя. Хитро прищурившись, достали литруху водки из сумочки: как она туда поместилась — непонятно. И потребовали, чтобы все помянули непременно их отца. Отца им отдали, они приняли решение его захоронить вместе со всеми на Синявинском мемориале. Благо что они в Ленинграде живут — им на Синявинский мемориал целесообразней приезжать, нет смысла куда-то утаскивать. Они проработали учительницами всю жизнь, такие девушки с мозгами, без какого-то старческого маразма. С душой выпили.

Но бывают и казусы. Находим как-то котелок на Невском пяточке. Все рядом лежит, кроме костей. И подсумки, и ранец, и котелок, пробитый осколками. Костей нет. Котелок расписан. Все, что обычно бывает в медальоне — все написано на котелке. Ладно, хорошо, начинаем пробивать: оказывается, чтобы не тащить лишнего, санитарка все с него тяжелое сняла и утащила под берег. Так он выжил, а погиб только в 45-м году под Кенингсбергом, где и похоронен.

Было как-то, что находим бойца, у него в бумажнике — звезды старшинские, с морской формы. Какая-то справка с угловой печатью 260-й отдельной бригады морской пехоты, весь на гранатах, со скорострельной винтовкой. Рядом — немца заваленных два. Один даже сапоги не успел надеть, выскочил с двумя коробками патронов к

пулемету. Ближний бой совершенно, в немецких траншеях. И котелок там был расписной: якорь, самолеты, Могилев, Курская область. Начинаем пробивать: верно, есть такой Могилев, во флотском экипаже служил. Маленький нюанс — с войны вернулся и умер в 85-м году. А мы уж думали все, что это Могилев и есть. А еще написано — сержант. На котелке — сержант. То есть старшинские звезды в бумажнике с тем, что на котелке, совпадают. И вот такой облом. То есть это, наверное, был какой-то его товарищ, с которым они, возможно, вместе завалили этих немцев, вместе в траншею эту вошли. Но санитары одного признали непригодным для жизни, а другого так же раздели, бросили все рядом и утащили выживать.

Случаев много. Я же говорю, если прийти на Синявинский мемориал, можно около каждой могилы остановиться и рассказывать. Тот же политрук Готфрид Розентреттер, который защищал свою советскую родину, будучи этническим немцем. Он из республики немцев в Поволжье. Надо сказать, что в 41-м году некоторые дивизии, которые там, в Поволжье, были сформированы, иногда на шестьдесят процентов состояли из этнических немцев. Предательства не зафиксировано. Это были наиболее боеспособные дивизии. Но в ноябре пришел приказ — некоторые говорят, что немцев тогда репрессировали, но нет — был приказ их рассеять. Чтобы не по 60 человек было во взводе, а один-два. Рассеять по армиям. Командующий 4-м корпусом, который прорывал блокаду со стороны Волховского фронта, генерал Гоген, он был этнический немец. Так же как Манштейн — этнический еврей, так же напротив него стоял этнический немец. Поэтому я всегда говорю, что воевали не русские и немцы, воевали цивилизации — запад и восток. А уж в ком какая кровь текла — абсолютно неважно.

СВЯЩЕННИК ВЯЧЕСЛАВ ХАРИНОВ

Вы знаете, оглядываясь назад, всегда видишь, что ты ведомый. Что есть провожатый, который ведет тебя. А ты ломишься в боковое ответвление, к двери, но все равно он тебя ведет. Поэтому не попасть в поисковое движение в моем случае невозможно было. Я единственный, поздний ребенок солдата Великой Отечественной.

Мой отец воевал, имеет Орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За отвагу». Он пошел в семнадцать лет на войну. Документы на его последний бой перед серьезным ранением я получил от своих же девочек, из которых сформировал сестричество, научил поиску, два года назад. До этого, при жизни отца — а он ушел достаточно рано, как и мама — мама посмеивалась: «Да какой ты там отважный...» И вот описание этого боя я получил два года назад. Он, как и все боевые фронтовики, не любил говорить о войне. На вопрос «как там что, расскажи?» ответ всегда один: «Да ужас был». Но это говорит только о том, что он в этом ужасе побывал: это завшивленность, это траншеи, это сырость (он получил туберкулез в окопах). Помимо тяжелого ранения, у него было легкое отсечено после войны.

Но когда он выпивал крепко, слабел самоконтроль и некоторые замки в нем открывались. Мама не любила это состояние, уходила. Отец садился на кровать, расстегивал белую рубашку, а я — как такой своеобразный магнитофон оказывался, сидел рядом: маленькая комната в коммуналке, где жило одиннадцать семей, некуда уйти. Я сидел рядом, немного сторонясь, потому что отец становился незнакомым мне в этот момент, и он как бы наговаривал воспоминания, именно фронтовые.

Я не так много запомнил. Там были такие магистральные линии, которые определяли для него суть войны. Ведь мы представляем, как люди годами воюют, стреляют, а обычно боевые действия — это несколько дней, после чего часть отводят. Есть, конечно, наступательные операции, но редко когда солдат постоянно идет на острие атаки, все время палит, и так годами. Поэтому у отца-то эти дни на передовой, как я посмотрел по документам, десять дней. Он участвовал в наступлении, которое длилось на протяжении почти трех

месяцев, это не очень удачная операция 44-го года, когда мы рассекли группировку «Север» на курляндскую и нашу, ленинградскую, прибалтийскую. И они вышли к Юрмале по побережью Рижского залива. Интересно, что после войны никогда нигде никто ничего не говорил про это. На острие этого наступления шла 346-я дебальцевская дивизия, в которой служил мой отец. Он воевал в 1066-м полку стрелковом, был в 1-й пулеметной роте. В одном из донесений я читаю: «1-я пулеметная рота практически уничтожена». Это как раз были дни, когда отца очень тяжело ранило, он выполз с поля боя. Одно из тяжелейших его воспоминаний как раз об этом: он выползал после танковой атаки по раздавленным в блины телам своих товарищей. С наполовину оторванной ногой, потому что ранило его взрывом мины. Это были запредельные впечатления для него. Но он говорил об этом, только если был выпивши, а в другие разы просто: «Я видел самое страшное в жизни: я видел танковую атаку». И он описывал все это иногда, рассказывал, как танк вставал над нашими траншеями, делал поворот фрикционами и в блины равнял наших ребят, сравнивал траншеи с землей.

А второй момент, когда мама ему говорила: «Ты побереги себя, совсем себя не бережешь». Он так усмехался, отвечал: «Да ладно, Надя, все мои друзья давно уже в могиле, все там остались». И это ощущение у меня связано ассоциацией с песней «На Безымянной высоте». Вот эти «друзья хорошие», «оставшиеся лежать в темноте», — это то, что я от него усвоил. Ну и вот этих ребятешек я, насколько могу, хороню, поминаю, занимаюсь ими.

Отец в шестьдесят восемь лет умер, по недоразумению отчасти... Пришел инвалидом с войны, но он из такого поколения, что снял все инвалидности. Чуть-чуть прихрамывал, еле заметно, но в бане я его всегда узнавал по развороченной ноге. Мы ходили в общественные бани, там сотни мужиков в пару, и я по бедрам искал. Видел развороченную ногу и знал, что это мой папа. И мне казалась эта нога очень красивой. Что она как роза, как цветок. Как высшая отметка тела человека. Такое вот детское впечатление: тело отца, все посеченное, все в шрамах — это был такой архетип (символ?) своеобразный. Если же мужик был совершенно чистый, голый, я смотрел на него и думал, что это и не мужик, так, ерунда. А вот те, кто в шрамах, — вызывали у меня уважение, они были как отец.

И особое отношение сложилось у меня к инвалидам, которые с культями, с ампутациями. Они обычно кружком садились всегда, это был особый клуб. К ним так осторожно подходили, уважительно. Они отдельно сидели пили пиво, отдельно курили. Когда я им шайку воды приносил, они сидели со своими этими культями: «Спасибо, сынок!» — и это был лучший комплимент. Это за честь считалось — шайку горячей воды подать ветерану. Но тогда они все еще были молодые мужики, по сорок лет.

Поэтому я считаю, что в анамнезе — такие магистральные впечатления, тот фундамент, который меня в конце концов привел к тому, что, может быть, не доделал мой отец. Он ездил несколько раз в командировку в Ригу, возвращался с гостинцами, и я бы хотел сейчас, конечно, узнать... Он воевал буквально в пятидесяти километрах от Риги, там электрички ходят, автобусы. В принципе, он мог доехать до этого места. Туда и я поехал прошлым летом отдельно, я был в этом урочище, буквально на том месте, судя по ориентировке, где ранило моего отца, в ста метрах от него — братская могила неухоженная. Мы ее прибрали всю. Там лежат ребята, я их пробил всех, погибшие в те же дни, когда ранило моего отца, они были или убиты, или скончались от ран. Надо отдать должное местным жителям: у них у всех уважительное отношение. Могила почти на частной территории, но, когда мы туда заехали, женщина, фермерша властная, говорит, это, мол, что еще такое! Я пояснил, зачем мы приехали, и она сразу: «Да-да, конечно-конечно, давайте!» И абсолютно все латышки, когда я спрашивал на заправках, искал место — так как знал только ориентировочно, где должна быть могила наших — реагировали так же.

Это как раз были 346-я и 347-я дивизии, они там вместе стояли. Вот, наверное, то, что отец не доделал, то отношение к оставшимся там, оно в известном смысле, как некое, скажу высоким штилем, завещание, вот оно работает в отношении меня. Но отец, не отличавшийся могучим здоровьем, ростом, командирским голосом или еще чем-то, когда со сверстниками общался — у него был определенный круг друзей — я замечал, каким авторитетом обладал отец. Я не мог понять, почему. Он начинал вдруг говорить негромко — и сразу все замолкали. К его мнению очень серьезно прислушивались. Не будучи старшим, он как будто старшинствовал. И

я понимаю теперь — это была война. Он был фронтовик. Ошибка в паспорте — деревенский писарь неправильно записал дату рождения — и он пошел семнадцатилетним воевать. И среди сверстников он был воевавшим человеком. Еще и ранение...

Только в подпитии отец вскрывался и говорил обо всем этом. У него были отдельные тягостные воспоминания... Я уже потом узнавал подробности, после его смерти. Там участвовали латышские легионеры против них, в бою. Он называл их власовцами. (Но они всех называли власовцами). Отец говорил: «Они шли, напившись самогона, в полный рост, и было ощущение, что они хотели, чтобы их свои просто прикончили, убили. А мы строчили». Для него это было очень тяжелое переживание, нравственно это мощное испытание. Там же Латгалия, там полно русскоязычных, и православных в том числе. Они шли и пели русские песни, он говорил, в полный рост.

Но о нем слишком много я сейчас не буду говорить, вспоминать об отце, хотя это неотъемлемая часть моего мировоззрения, вот эти рассказы, впечатления, ощущения, они ранние, с самого детства. И я дифференцировал, разделял, войну такую идеологическую, советскую, которую показывали, «ура-победную» и немножко лубковую, и ту войну, которую я ощущал от отца и его поколения. То, что он такой подавленный приходил с этих встреч ветеранов... Он отличался от привычного «имиджа ветерана». Скупое говорил о войне, мало и неохотно, уходил от парадности, митинги не любил, и видно было, что это глубинные переживания юности. Он там, в них, остался частично.

Я со школьной скамьи хотел священником стать, и это было, конечно, ужасом, позором семьи. Я был непонятым ребенком для родителей, хотя двоюродный дед тоже был священником. Но это вообще-то было невозможно, я же советский мальчик. Я отлично учился, они не могли понять, как это так: отлично учиться и стремиться в семинарию, о каком-то Боге говорить, еще что-то там. В общем, КГБ нас не пускал, питерских ребят, покровительства у меня не было. То есть было одно протектирование, владыки Никодима, но он скончался в год окончания мною школы, в 78-м году, поэтому я не смог поступить. И отложил эту идею. У меня был институт, я получил высшее музыкальное образование и переводческое. А потом перестройка вскрыла многие вещи, и уже можно было идти —

сформировавшимся, тридцатилетним, с двумя детьми. В результате, может быть, я и достаточно поздно стал священником. Закончил семинарию, академию, учился восемь лет, двадцать лет служу в церкви.

Но и до этого, будучи псаломщиком, я уже участвовал в захоронении бойцов. Я занимался храмом, который оказался в прифронтовой полосе, оккупированной немцами. Тем не менее это ближайший к Синявинским высотам, ближайший к Невскому плацдарму храм. Пять лет я им занимался просто на волонтерской основе. Потом уже стал дьяконом, затем священником, но еще не имел никакого отношения к этому храму. И ровно пять лет спустя, 1 сентября, меня указом назначают уже настоятелем именно этого храма. Я был первым священником после расстрелянного в 37-м году моего предшественника, отца Александра Вешнякова. Но, правда, между нами встал еще один тип, который принадлежал к псковской духовной миссии и которого я отдельно искал, это была часть моей поисковой деятельности. Это такой Иван Васильевич Амозов, самосвят, бывший замначальника политотдела милиции города Ленинграда и области, осужденный за шарлатанство и подлог и все прочее в 34-м году. И всплывший на немецкой территории в 41-м году. Он выдал себя за священника, но его СД вычислило как ребенка, и он стал коллаборантом СД, работал на немцев.

До этого он себе выписал билет старого большевика, что давало ему неприкосновенность. Удивительная личность, мерзейшая просто, негодяй, олицетворение Шарикова, документально подтвержденное. Но во время войны, будучи грамотным человеком, он понимал, что его подвешат за яйца партизаны, как только поймут, и он, видимо, часть информации сливал им через старосту. Староста тоже был связан с партизанами. Нотом они оба сели. Но их выпустили после смерти Сталина. На Невском проспекте они как-то встретились, и Амозов в своей манере стал говорить: «Жаль, ты меня не нашел, я бы тебя отмазал». Это был патологический лгун, враль, маргинал и чудовищная личность. Но вот он в моем храме служил во время войны, население — немного людей вернулось из насильственной депортации — вспоминало его как героя. Потому что он въезжал всегда как боярыня Морозова: его возили немцы, они ему не доверяли. Умные, образованные контрразведчики прекрасно понимали, что

перед ними негодяй, у которого нет принципов, который ради выживания работает на ваших и наших, но каждый раз он им сливал, сдавал, кого-то из наших. Это были расстрельные доносы, в частности отец Александр Петров в Гатчине был расстрелян по его прямому доносу. Потому что, когда тот приехал в Гатчину, старый священник вышел и сказал: «Да что вы его слушаете, он не только не благочинный, он даже не священник, речь его выдает». И этого было достаточно. Берзин, офицер КГБ в отставке, который занимается архивом Большого дома — я как-то подошел к нему и только назвал фамилию Амозов, — тот сразу сказал: «Предатель! Однозначно предатель! Падо снимать реабилитацию с него!» В общем, вот этот негодяй, единственный самосвят, откровенный предатель и при этом бывший мент, вот он оказался предателем псковской миссии.

И вот я этим храмом занялся. И так получилось, что решением нашего правительства и немецкого, напротив моего храма, в двадцати пяти метрах от него, было решено организовать крупнейшее в мире немецкое воинское захоронение. Так я оказался причастным еще раз к войне, но уже с другой стороны. И мы раскрутили это в крупнейший миротворческий проект между Россией и Германией. Я не побоюсь этого слова, потому что он включает в себя Парк Мира, восстановленный совместно храм, мой, Успенский, ну и вот это крупнейшее воинское захоронение, к которому мы отношения не имеем, но за которым следим пристально. Если что-то там появляется — ну, грубо говоря, если они ставят там крест в виде креста военного — мы немедленно просим убрать, потому что символики быть не должно. Весь этот проект — инициация нашего прихода. По договору 94-го года храм мой должны были взорвать и вместо него проложить дорогу к немецкому кладбищу. По, поскольку мы находим немцев, а я христианин, то кладбище немецкое однозначно должно быть, это одно из дел милости внешней — предать усопшего земле — с мертвыми не воюют и мертвые сраму не имут. Судить надо живых и судить надо военные преступные организации режима. Кости судить бесполезно, кости должны быть похоронены. Без всякой романтизации, без всякой героизации, но предать земле — иначе мы не христиане, иначе мы просто выродки какие-то. Я защищал это кладбище немецкое от ветеранов наших, от фундаменталистов у нас в

церкви, от коммунистов. Я стал главным наци, я стал главным предателем, коллаборационистом.

От немцев я защищал свой храм. Я сказал, что костями лягу, вы его не взорвете и не пройдете. За это время я доказал причастность немцев к разрушению этого храма во время войны, нашел солдат саперного батальона, которые уничтожали его. Год назад мы нашли фотографии того, как немцы стоят в коротких штанах и смотрят, как саперы подрывают купола этого храма. Нашел наших людей, которые помалкивали, потому что они как раз были коллаборационистами, работали фельдшерами в немецком госпитале. Николай Кудрявцев такой, царство ему небесное, он молчал, но я его разговорил, он рассказал, что да, действительно немцы его подорвали, привезли взрывчатку... Но это было понятно, потому что кресты видны издали, они служили ориентиром для стрельбы по аэродрому, который был непосредственно за храмом. И рядом большой транспортный узел — Мга. И большой госпиталь на 500 человек, крупнейший прифронтовой. Вот три объекта, по которым стоило лупить. Ну и кладбище было за колокольной, 3 500 их там похоронено у храма во время войны...

Короче, было куда лупить, и, конечно, они подорвали купола, чтобы снять их. Пять лет у меня была своя Великая Отечественная война, пять лет вот этого противостояния. Я сумел найти мир с нашими ветеранами, вместе с ними поехал в Германию. Мы проехали по нашим кладбищам, и они увидели, что могилы ухожены и все в цветах. Только они никому не нужны: ни мигрантам, ни туристам, ни даже дипломатам. Эти мужики заповедовали мне, поэтому я каждый год езжу, мы с ребятами выезжаем, у нас маршруты по нашим брошенным воинским захоронениям: в одной Германии я их насчитал три с половиной тысячи примерно. Много вообще не зафиксированных. Были случаи, когда я в деревню приезжаю, в дом меня поселили как руководителя организации, а ребята жили в палатках у деревни. Разговорились с хозяевами — радушные люди — я так неохотно пояснил, что я священник, вот едем, поминаем наших солдат, по мемориалам, по кладбищам. «Да, — говорят, — а у нас в деревне лежит тоже похороненный солдат, о нем никто не знает!» — «А кто такой?» — «Да мы не знаем, Иваном называем его». — «А где вы его похоронили?» — «Так у нас у церкви лежит!» — «Можно

посмотреть?» — «Можно, конечно, пойдёмте». Утром идем: он у алтарной стены, как священник, лежит в цветах весь, красавец просто. Я говорю: «Кто занимается?» — «Да мы, женщины, каждую весну ходим, сажаем цветы. Знаем, что он в деревне у нас был пленным, но скончался, умер, похоронили его около церкви». Это же дорогого стоит, такие вещи...

Мы с ветеранами вот так проехались. После этого они приехали ко мне в Сологубовку и — совершенно ошеломительно для меня было — положили цветы на немецкие могилы. Это такое примирение. После этого больше никогда распрей не было. Мы с ветеранами там и памятник поставили, и крест поклонный. Сейчас решаем вопрос: он сгнил, надо новый делать. В общем, эта поездка сняла все проблемы с нашей стороны. А с немецкой — я доказал причастность немцев к разрушению, немцы поняли, что со мной опасно дело на самотек пускать, потому что я зафиксировал недолжную работу народного союза по уходу за воинскими захоронениями, делал фотографии и в Мюнхене, через Красный крест, показал эти фотографии. Они за голову схватились...

Мы очень много сделали, чтобы этот проект раскрутился. И вот так, этим боком, я еще оказался связан с войной. Я провокационно сейчас спрошу: какой проект сотрудничества военнослужащих сил НАТО и Министерства обороны Российской Федерации был реализован этим летом? Вы знаете?

Ф.Д.: Пет.

В.Х.: Хорошая реакция. Военнослужащие сил НАТО и наши военнослужащие имеют общий проект. Этот проект осуществился на моем приходе. Они не поисковым занимались делом. Они вместе с немецкими солдатами пересыпали дорожку, которая ведет к храму. Вместе с тачками, со всеми делами, с гравием. Сняли старое покрытие, сделали новое и в течение недели с лишним вместе трудились. Я им экскурсии провел, рассказал все. Все было хорошо, вместе работали за милую душу. Жаль, что страна об этом не знает. Что натовцы и наши сделали вместе дорожку к моему храму, это вот действительно было.

А так вообще, конечно, где-то с 95-го года я знаю Невский плацдарм оборонительный, пятачок, Синявинские высоты, до 2003 года, наверное, мы хоронили до четырех раз в год, два весной и два

осенью, иногда по 3 000 останков. Ну и вот так вот калькулируя, складывая потихонечку, я сейчас прихожу к цифре, что участвовал в захоронениях более 70 000 наших солдат, даже больше, за двадцать пять лет. Из них двадцать лет я уже как священник хороню, до этого — как дьякон участвовал.

Конечно, все это не случайно. Я ведь городской человек, меня звали в городские храмы — куда угодно, под золото куполов. Но я считал, что не достоин. И вот Господь привел меня именно в тот храм деревенский. Он был разрушенный весь, заросший. Но схватил меня намертво. На другой день я повез туда свою семью, мы там бродили, продирались через заросли. Жена спрашивает: «И что, тебя могут вот сюда, в плушь, послать?» Я говорю: «Да, могут». — «Круто!» Это была оценка неожиданная, она тоже вообще-то городской человек. И это служение в Кировском районе стало как бы промыслительным, потому что тогда еще в лесах сколько всего было. Да и сейчас полно всего... Но, повторяюсь, меня будто вожатый вел к этой ситуации. И я, честно говоря, не знаю, чего я хорошего сделал в жизни, чего я сделал хорошего как священник, например, но вот то, что участвовал и участвую в увековечении памяти — это, пожалуй, важно.

Я со щупом не хожу — хотя есть и найденные мною ребята. Найденный на Ивановском пятаке солдат. Естественно, он с фамилией Нопов, а как же. Нон пришел — кого он может найти? Только Понова! Там блиндажи были. Немцы использовали большие 250-килограммовые бомбы, глушили наших. Когда Манштейн приехал, они стали бросать то, что предназначалось для города, для тотальных разрушений, стали бросать в полевых условиях и глушили наши блиндажи. Если такая бомба взрывается — на километры все умирает. Тоннами земли все засыпает: траншеи, блиндажи. Вот такие блиндажи были отрыты ребятами из Красноярска. И я проходил, говорю: «Так поищите здесь, может найдем!» — «Да нет, вот четыре пары обуви, четыре подсумка...» — «Так, может, и имя найдем?» — «Да нет, искали уже». Блиндаж этот заливает водой — они как отрыли, сразу вода пошла. Я им: «Ну посмотрите». — «Ладно!» Проложили две жердины, полезли, в воде щупают. Я пошел в это время посмотреть на воронку от бомбы, она тоже превратилась в огромный пруд лесной. Ребята сказали, что до ее центра донырнуть не смогли. Глубокая. А в это время уже кричат: «Нашли, батюшка,

нашли!» Тащат котелок, весь в глине. Вода, видимо, вымыла. Они открывают его, а там каша перловая с тушенкой. Как вчера сваренная. И ложка воткнута. Потому что глиной замуровало сразу, консервы получились. И ложка такая, несгрызенная. То есть с новой ложкой практически пришел, мало ей попользовался. Я говорю: «Ну, давайте, отмывайте». А жирная каша, как вчера сваренная. Спрашиваю: «А котелок-то подписан?» Они кричат: «Да! Да! Подписан!» — «Читайте, чего там?» — «Попов!» У меня в музее этот котелок есть.

Еще так получилось, что я с малых лет любил ездить на мотоцикле. Детство проводил в деревне, а там основной транспорт — наши «ковровцы» да «ижи». Я и студентом на них ездил, и первый мой транспорт был мотоцикл с коляской. Мы переезжали с квартиры на квартиру с первым ребенком: все умещалось на этот мотоцикл. По уже став священником, я вдруг понял, что если кто со мной и будет ездить за границу поминать наших, если кто и может активно включиться в дело памяти, так это мотосообщество. И у меня поисковая субкультура слилась с субкультурой мотосообщества нашего. И на стыке образовались проекты, о которых я рассказывал, поездки в Европу. Среди разных вещей, которые мы делаем — восстановление историографии. Сейчас, например, занимаемся Молосковицким танковым сражением. Историографией не отражено, что 10-15 августа 41-го года на большом плацдарме столкнулись две немецких дивизии танковых, прорвавшихся через Лужицкий рубеж, с нашими 1-й танковой и 1-й ополченческой. И вот пять дней проходили танковые засады, артиллерийские дуэли. На самом деле — большое танковое сражение. Где-то 480 танков с немецкой стороны и примерно 185 с нашей. И это не отражено в историографии, нет такого понятия «Молосковицкое танковое сражение». А это большой плацдарм, на этой территории было десять деревень, а в центре маленькая деревня под названием Курск. Офигенно, да? Это 41-й год. Такой профитизм, такой промысел. И вот мы там отрабатывали какие-то элементы танкового боя, которые еще не умели делать. Мы у них учились, на самом деле. Проигрываем, отступаем, но задерживаем их там на эти пять дней. И это реальное историографическое белое пятно, мы его сейчас разрабатываем. Мы выехали туда, поставили там щит — имитация красного мрамора — с описанием боя, с фотографиями, где, что, чего, как. Благодаря этому была сделана реконструкция боя.

Кромка леса почти не ушла. Вот здесь по фотографиям должен быть танк КВ. Идут поисковики местные, ребята, наивные такие. Они пошли искать танк, нашли танкиста Перетятько, он в десяти метрах от того места лежал, определили по Красной звезде. Так что это не шутка все, на самом деле. То, чем мы занимаемся — тоже реальный поиск все равно.

Вместо послесловия

*



А что тебе интересно
так называемое поисковое
движение, его можно
охарактеризовать одной
фразой: "Нет новостей
реальных на свете!"
Он поиска нового не
оставляет.

Убийца поисков

ВМЕСТО

ПОСЛЕСЛОВИЯ

ЮРИЙ СМИРНОВ

Это место уникальное, где мы находимся. Я написал статью, которая называлась «Бисмарк был прав». Потому что Бисмарк в свое время сказал: «Никогда не ходите воевать в Россию. На самую изощренную вашу военную хитрость русские ответят непредсказуемой глупостью и победят». Это с точностью подтвердилось именно здесь, где мы находимся.

В 41-м году немцы захватывают вот эту школу, здание школы на высоте находится. Их командир дивизии прошел все генштабы немецкие, академии военные, всю Европу прошел, все войны, и вот он захватывает это место — высота, шоссе, железная дорога. Но всем канонам воинского искусства что должно быть? Контратака, отбить, понимаешь, потерять такое место просто нельзя. И он это прекрасно осознает, зарывает в землю танки, готовится, — сейчас русские пойдут, — а их нету. В это время товарищу Сталину докладывают: «Товарищ Сталин, наши войска оставили город Дедовск», а Дедовск — это вон там. Сталин говорит: «Вы что, офигели, что ли? Отбить немедленно!» Стали разбираться, вызывают Жукова, Жуков звонит Рокоссовскому, Рокоссовский звонит командиру дивизии Белобородову, говорит: «Вы что там, офигели — Дедовск сдали?» Он говорит: «Да какое сдали, я в Дедовске сижу и сдавать его не собираюсь». Начинают разбираться. Оказалось — дальше по этой дороге есть деревня Дедово. Наши войска ее и оставили. Вот этой дороги раньше не было, была такая лесная. Т.е. эта деревня находится в стороне и никому не нужна. И Жуков докладывает: «Товарищ Сталин, произошла ошибка, Дедовск наш, но мы оставили деревню Дедово». И, как написано в мемуарах у Жукова, цитирую дословно: «Тут нашла коса на камень». Сталин: «Все равно отбить». И вот Сталин сказал Жукову, Жуков — Рокоссовскому, командующему фронтом, тот звонит Белобородову, командиру дивизии, и говорит: «Немедленно отбить Дедово!» А тот: «Вы с ума сошли? Кому она нужна, эта деревня сраная, где-то хер знает где?» А ему говорят: «Это приказ Сталина». Тот вообще в непонятках, но тем не менее собирает писарей, поваров, ну, кто более-менее свободен, и они идут на эту

деревню Дедово. А немцы в эту деревню отправили так называемый полувзвод — шесть человек с пулеметом, оберейфрейтор Отто Лемке командовал. Ну и, короче, этот генерал здесь сидит, ждет, пока русские атаковать будут, а атаки нет и нет! Он думает: «Что за херня, блин?» В это время звонит этот Лемке и говорит: «Атакуют превосходящими силами противника». Он говорит: «Да не может быть, кому это надо-то?» Короче, атака была отбита. Потому что танки, которые были там, Т-26, в снегу завязли, а повара-писаря на лыжах ходить не умеют, короче, отбита атака. Ну, проходит два дня, все думают, Сталин забыл — но Сталин ничего не забывал. Вызывает Жукова, говорит: «Как там, Дедово взяли?» Он говорит: «Да зачем оно нужно?» Он говорит: «Что, не взяли? 24 часа вам». Ну, знаешь, у Сталина разговор короткий. Ну если, говорит, вы не справляетесь, вот вам командующий артиллерией Говоров. Я, в Минобороны когда работал, читал в документах: «Для взятия деревни Дедово решили не мелочиться: две эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Не-2, два дивизиона катюш и две батареи особой мощности ставки резерва Главного командования гаубицы Б-4». Это дура такая на гусеницах, если хронику смотрел, по Красной площади трактора тащат пушки, там 203-мм калибр! И вот представляешь это: в ночи не спит генерал, думает, ну когда же русские атаковать будут, когда, блин, я приготовился уже. И вдруг в семи километрах ка-а-ак!.. Короче, как мне местные говорили, горел снег даже. Дали так! Там хутор Быково был — стерли с лица земли просто. Фьють — и нету! И Сталину докладывают: «Товарищ Сталин, рады бы взять, а что там? Нет ничего». А тот такой: «Ну, нету и нету». Немецкий командир дивизии охренел окончательно и думает: «В чем хитрость-то? Почему здесь не атакуют, а где-то в лесу, невесть где...» Короче, сутки он не спал, думал, в чем хитрость-то. А потом начал перебрасывать войска с Рождествено, там опорный пункт, именно туда под Дедово. А на следующий день наши ему как хлопнули здесь в лоб! И он Гитлеру пишет: «Я прошел четыре войны, я закончил три академии — я ничего не понимаю в военном искусстве; прошу меня уволить!»

...Работал я в Минобороны. И у нас там личные клетки, на третьем этаже конференц-зал и курилка одна. А Сердюков курить запретил, ну и, короче, я выхожу в курилку, в это время открываются двери конференц-зала и оттуда вываливают... Я потом песню пел:

«Такого звездопада...» Лампасы — во! Выходят в курилку, а я ж в гражданке, в уголок так вжался... И вдруг слышу фразу: «В случае начала военных действий нужно учитывать опыт наших полководцев, таких, как Жуков, Рокоссовский...» Тут я не выдерживаю: «А я знаю, что вы сделаете в первую очередь в случае начала боевых действий». Они на меня так уставились, мол, кто это? И один такой: «И что?» Я говорю: «Первым делом вы подвергнете ковровой бомбардировке Каракалпакию!» У них сразу глаза навывкате. Я им: «Вот у вас глаза вот такие, а представляете, в Пентагоне — они же с ума сойдут! Во-первых, они не знают, где это, выговорить не смогут название, и, во-вторых, — а нахера?» Я все это написал. Министру показали. Он сказал: «Блядь, в двадцать четыре часа — нахуй отсюда».

...Если тебя интересует так называемое поисковое движение, его можно охарактеризовать одной фразой: «Пет повести печальнее на свете!» От поиска ничего не осталось. Убили поиск. Любое дело, которое начинается снизу, — которое начинает общественность, — если им начинает заниматься государство, пиши пропало.

Скажем так — раньше это было «Пельзя-я!» Во времена еще товарища Хрущева, тогда вообще с собаками гоняли... Вот при Брежневе еще более-менее: отряды рождались по-разному, и так потихонечку занимались. А потом случилось чудо — был такой Ситников, Вячеслав Егорович. Он был заведующим военного отдела газеты «Правда». А газета «Правда» в то время — ну, ты меня извини. Орган ЦК КПСС. И Ситников мужик такой — нормальный. Короче, он несколько статей бабахнул в газете. И был скандал большой, с которого, собственно, все развитие началось, известность начали получать поисковики: это Волоколамский район, деревня Хворостинино, там колхоз решил сделать навозохранилище. И начали навоз возить. А местные им говорят: «Вы чего, здесь же солдатики лежат». — «Да нет тут никого! В 50-х приезжали, перезахоронили...» А местные им: «Да никого они не перезахоронили. Стоял памятник какой-то — памятник сковырнули, пару лопат земли бросили, а солдаты так тут и лежат». Мы поехали, и вот тогда там 200 с лишним человек подняли. И медальоны нашли, а они значились пропавшими без вести! Скандал был грандиозный.

Вот с этого вот началось. И на нас обратил внимание ЦК ВЛКСМ. Был такой, ну он и сейчас, по-моему, живой, Кривопусков

Виктор Владимирович, вот он инициативу решил поддержать. И нескольких из нас в ЦК комсомола пригласили и сказали: «Ну, вы друг друга знаете, давайте, созывайте со всего Союза поисковиков, давайте вас соберем всех вместе. Мы все это дело оплатим...» — «Да не вопрос». И вот в Калуге в 88-м году состоялся первый сбор поисковых отрядов, и приехали ребятки из Сахалина, из Бреста, со всего Советского Союза. И когда мы вместе собрались, когда начали материалами делиться — так оказалось, что у нас вся страна в костях.

Ну и вот ЦК комсомола, здорово они все организовали, — пригласили военных, там два маршала было, — и все это дело им показали. Они репу почесали и сказали: «Что-то надо делать!» И вот тогда ЦК комсомола решил проводить так называемые Вахты памяти. Мне не нравится это название, но тем не менее. Ну, как тебе объяснить... Не люблю я громких слов. И вот первая вахта у нас состоялась в Новгороде, 89-й год, Долина смерти. Опять же ЦК комсомола обратился в армию, армия поставила палатки, при ЦК Комсомола создали координационный совет поисковых отрядов, всесоюзный. Возглавил его товарищ Иконников, Юлий Михайлович. Ветеран войны, журналист, короче, дед был настырный такой. Я у него был заместителем и Вовка Демидов тоже. И вот началось все это дело, в Новгороде вахта была, туда съехалось тысячи полторы человек, мы подняли бойцов там немерено. И на всю страну это все прогремело. И так началось все это дело.

Но никаких законодательных актов нет, ничего нет. Как, чего, зачем, почему? — черт его знает. И решили, что с этим надо что-то делать. Я встречался с маршалом Ахромеевым — он был советником Горбачева, мы с ним встретились, поговорили на эту тему. И он сказал: «Давайте готовить закон». И вот мы начали готовить этот закон.

Следующая вахта была в 90-м году в Смоленске — тоже большая, тоже комсомол организовывал, там три лагеря стояло мощных... И нас, командиров крупных отрядов, решили к 9 мая отправить во Дворец съездов, там Горбачев проводил встречу с ветеранами. А все так неожиданно произошло: нас собрали, в вертолет закинули в Москву, в камуфляже все, ну, с поля, — и к нам подходит человечек один, говорит: «Так, ребят, у вас ваше выступление — пять минут. Не

больше». И была с нами Лариса Бруева — руководитель белорусского объединения «Пошук». Мы говорим: «Ларис, ты выступить будешь».

И вот Горбачев на трибуне стоит и что-то там говорит. А нас посадили в центральный проход, и мы сбоку от трибуны сидим, ждем. А Горбачев поговорить любил. Мужичок какой-то подходит и говорит: «Так, ребят, выступления не будет вашего». Но он нас плохо знает! Вот Горбачев речь свою закончил, бурные и продолжительные аплодисменты, а мы встаем и по центральному проходу вперед идем к трибуне. Там охрана раскидалась, а мы Деда вперед, — Иконникова, — у него иконостас на груди, он с палкой, и прямо к трибуне идем. Горбачев смотрит: не поймет, в чем дело. А Лариса растерялась, мы ее вперед толкаем, и она папку держит в руках, с фотографиями: «Мы вот Вахта памяти!»

В эти дни все газеты, телевидение, радио — все только и говорили, мол, поиск, то-се... А Горбачев: «А, да, я знаю, мне докладывали». И уходит... А Лариса растерялась, стоит: «Михаил Сергеевич, ну мы же голыми руками...» Знаешь, ответ какой был? «Вы делаете святое дело, а святое дело нужно делать чистыми руками». Повернулся и ушел.

Но, тем не менее, начали готовить закон. И тут 91-й год. Союз развалился, Всесоюзный координационный Совет поисковых отрядов приказал долго жить вместе с ЦК комсомола. Создали

Ассоциацию поисковых объединений — АсНО. Дед уже плохой был... Но дело в том, что в 91-м году страна развалилась, правильно? Стала Россия, Российская Федерация. В те годы только заикнись: «Всесоюзный» — «Ты что, враг народа, блин?» А российский — пожалуйста. Доходило до идиотизма — у нас в свое время было такое военно-патриотическое объединение «Искатель». Меня вызывают в тогда еще горком партии и говорят: «Надо убрать из названия слово "военно-патриотический"». Я говорю: «Почему?» — «А вы что, милитаристов будете готовить?» Из крайности в крайность, у нас в стране всегда так.

И мы долго придумывали название: «историко-культурный», например, изъеживались-изъеживались... В итоге я поговорил с юристами, а тогда я уже был кандидатом в депутаты Верховного совета Российской Федерации... Те говорят: «Да назовите "Российский"». И мы создали Российский центр «Искатель». И

начался раздрай, потому что Иконников не понял. Я ему говорю: «Юлий Михайлович, вы поймите, вот Ассоциация поисковых отрядов, да? Мы идем в правительство и говорим: "Вот, мы поисковики, помогите нам". — "А кто у вас?" — "А у нас в поисковом отряде люди из России, Белоруссии, Украины..." — "Что-о? Какая Белоруссия и Украина? У них свое все. Ни копейки не дадим". А мы российский создали. Красота!»

В конце концов стал я депутатом Верховного Совета и выступил на первом же съезде Верховного Совета — это было, по- моему, 20 июня 91-го года... Первый съезд — попробуй запишись на выступление. Там же все демократы, все друг друга в клочья готовы порвать... Я подошел к Шахраю, говорю: «Сереж, 22 июня на носу, и пусть мы разосрались со всеми нашими братскими странами, но 22 июня — ты меня извини. Дай выступить». И вот я выступал на первом съезде. Ну и сказал, что ребята, блин, что за хрень-то: начали готовить законы о поиске, развалился Советский союз, все развалилось...

И получилась интересная вещь: Ельцин сидит, Хасбулатов, я что-то там «ля-ля» с трибуны и говорю: «У нас есть конкретные предложения, наработанные уже, вот они, в папке. Мы просим... закон не обязательно, нужно либо Постановление Правительства...» Ну, закон — это слишком, понимаешь... А Ельцин с кем- то треплется сидит. Я закончил и с папкой стою на трибуне. Он вдруг такой: «Да-да-да». Типа, вот, правильно сказано! «Так, подготовьте распоряжение Верховного Совета — Президиума причем, — чтоб закон издали». Я думаю: «Ни хрена себе». Ну, тоже хорошо! И самое плавное — это основополагающая вещь, которая лежит в основе всего поиска. Смысл в том, что, — я говорил об этом с трибуны, — т.к. этим занимаются энтузиасты, государство должно не мешать хотя бы. Потому что за всю историю человечества оно не придумало лучшего способа контроля за чем- либо, чем общественный контроль. Любая служба — возьми МВД, ФСБ — вон, скурвились. Государственная машина. Все! А общественный контроль — сегодня ты, а завтра я. Тебя не избрали, а избрали меня, а потом Сидорова-Петрова. Понимаешь, застоя вот этого нет. И, самое плавное, я вообще этим горжусь — мне удалось провалить Постановление Президиума Верховного Совета, где было черным по белому написано: «Подготовить законопроект об увековечении памяти погибших при защите Отечества...» Как же там...

«Предполагая общественно-государственный характер этой работы». Понимаешь? Слово «общественный» на первом месте, не «государственно-общественный», а «общественно-государственный»! Все, пошла работа. И в конце концов родился этот закон с трудом, а в это время разброд и шатание, законов нет, ничего нет, то есть только вот ЦК комсомола начал эти Вахты проводить, консолидировать людей, — мы перезнакомились все от Бреста до Сахалина, — а тут раз, все развалилось! Кто в лес, кто по дрова.

И тогда мы создали этот Российский центр «Искатель», в 93-м году, когда нас расстреляли там, в Верховном совете — ну, это в октябре было, а закон вышел в январе. Успели, успели! Дело в том, что в первой редакции закона была очень интересная статья. Было написано, что вопросами увековечения памяти занимается специальный орган при Правительстве. Понимаешь, уровень федеральный? Правительства. Пу, 93-й год — постреляли, нормально... И всем стало плевать. Какой-то закон об увековечении... Кому он нужен? И целый год я бегал и говорил: «Ребята, но закон-то есть. Давайте этот специальный орган при Правительстве создадим. Потому что бардак кругом творится». И вот Боря между своими пьянками... ну, Сереже спасибо, Шахраю, он помог здорово, конечно... в конце концов Ельцин говорит: «А где этот орган-то?» И создали Правительственную комиссию. Мы туда вошли как общественность, а руководил Правительственной комиссией вице-премьер Юрий Федорович Яров. И работа пошла. И в 94-м году Владимир Петрович Беренда — это вообще человечище! — он замруководителя комиссии Правительственной, меня вызывает и говорит: «Юрий Алексеевич, я ничего в этом не понимаю, для меня поисковая работа — это... Можно с вами съездить?» Я думаю: «Ничего себе», — такой чинуша. Поехали! И вот в Новгород приехали, он в болотниках вместе с нами ползал по болоту, представляешь? Ходили к поисковикам в лагеря отдаленные, хрен знает куда по этим болотам лазали. И мужик настолько проникся — потом доложил, что отлично ребята работают. И решили нам помочь.

Ну, во-первых, что сделала Правительственная комиссия? Ведь когда губернатору приходит бумажка не от кого-нибудь, а из Правительства, он по стойке смирно встанет, правильно? Так вот Правительственная комиссия разработала целую кучу документов:

Положение о проведении поисковых работ, Положение о мемориальных зонах... Расписали все там чин-чинарем. И все было нормально. Апофеозом всего этого стал 95-й год, 50-летие Победы, когда Ельцин сказал: «Пихрена себе, это что ж они не похоронены до сих пор? Падо же помочь ребятам!» И была сверстана программа правительственная к 50-летию Победы. И Российский центр «Искатель»... У нас же тогда было три объединения: «Долина» в Новгороде — Флюгов, АСПО — Олег Габа, и я. Мне говорят: «Вот Председатель Правительства Черномырдин сказал вам помочь, включить вас в эту правительственную программу в качестве исполнителей, чтобы вы получили деньги из бюджета. А сколько вас?» Я говорю: «Трое». — «Пе пойдет!» — «Почему?» — «Афганцев помнишь?» Когда они начали делиться, взрывы устраивать на Котляковском кладбище, кто есть главный... Клинецевич, Лиходей, все эти друзья... Пу, короче, постреляли там друг друга. А афганцы тогда были ого-го! Мощнейшая организация. По раскололись, и Правительство им сказала: «Ребят, пока вы там не разберетесь, идите нахер». Все, разговор короткий. И нам тоже сказали: «Вас трое, вот пока один не будет...»

И мы тогда собрали конференцию объединительную, это был санаторий «Голубые дали», ребята ржали с этого названия. И вот подписали тройственный документ: короче говоря, и Ассоциация Поисковых Объединений, и экспедиция «Долина» вошли в состав Российского центра «Искатель». Я эту бумагу привез в Правительство, те говорят: все, поехали. И в 94-м году началась работа по подготовке этой правительственной программы, — государственной программы, — ты не представляешь, это ужас один был. Паши чинуши... сейчас еще хлеще. Что такое государственная программа? «А сколько денег надо?» Сколько денег надо на всю страну? И вот я ночами не спал, обзванивал всех ребят, говорил: «Что вам надо для работы?» И у меня там такая портянка получилась. С этой портянкой — Минэкономики, Минфин, там чиновник сидит, говорит: «А сколько денег вы тратите на поиск одного бойца?» Дурацкий вопрос, понимаешь, ну как ему объяснить, что иногда целый день ничего не находишь, а иногда — яма и черт знает сколько человек? Короче говоря, подписали эту программу, и тут получилось... Я попал, конечно, здорово, подставили меня капитально. Получилось вот что — вот представь, тебя

вызывают и говорят: «Ну-ка, давай своих орлов, что вам надо?» Ты всех обзваниваешь, тебе говорят, что надо, ты составляешь список... У меня получилось восемьдесят автомобилей, херова туча всего, начиная с ботинок, палаток, и заканчивая машинами, не говоря уже про приборы. Хорошо, поддержал тогда Черномырдин, Председатель правительства — мы выставку устроили в Доме правительства, он подошел, посмотрел и говорит: «Блин, ну-ка, давайте...» Все. Ну, ты же знаешь наших чиновников, вот документ, написано: «Выделить поисковикам шестьдесят миллиардов». Ну, по тем деньгам, грубо говоря — шестьдесят миллионов. Нихерово, да? Что Минфин говорит? Как Медведев недавно сказал: «Денег нет, но вы держитесь!» Короче, вместо шестидесяти миллионов дали двадцать семь. А теперь вопрос. Вот ты руководитель областного, Тульского, например, объединения. Я же тебе звонил, спрашивал: «Что тебе надо?» Ты говорил: «пять машин, десять этого, сто этого...» Я ж документы показывал — вот, Председатель правительства подписал, шестьдесят миллиардов, на всех хватит! Минфин говорит: двадцать семь. Что делать? Я просто взял и в процентном отношении поделил на всех. Мол, вот тебе машины... «Смирнов, я просил десять, а ты мне дал четыре! Спиздил?» Нормально? И на меня как пошли письма.

А в это время фирма американская Garrett — они чуть с ума не съехали, когда мы им пятьсот приборов сразу заказали! Они там охренели от такого заказа, самолетом притащили все. Впервые за всю историю поисковики получили гарики — ну, металлоискатели, а то с клюшками бегали армейскими. Вот эта была песня, и все было нормально, и, кстати говоря, потом мы подводили итоги... Как всегда, деньги дали в конце года... В 96-м году мы подняли в общей сложности, когда все это получили — 24 000 бойцов! Представляешь результат? То в год было по 10 000, 15 000, а тут 24 000 с хвостиком! Но в это время в Правительстве Черномырдин ушел, появился некий крендель — товарищ Кириенко, Боря Немцов... И тут еще вот в чем проблема была, вот опять же — логика поисковика. Что такое автомашина? Ее же на учет ставить надо. Налоги платить с нее надо, бензин, масло, обслуживание. А народ-то понаказывал — десять машин, пятнадцать машин! По закону тогдашнему, если у тебя больше трех машин, ты должен иметь свое автохозяйство: главный инженер, главный механик. А народ-то у нас: «А дай мне машину». Так, ребят,

блин. Во-первых, это должно быть юрлицо обязательно, это же государственные деньги. Я не могу дать частному лицу машину от государства, понимаешь? И начались скандалы. И вот в конце концов нашлась одна интересная конторка, которая сказала... а, самое интересное же было в другом! Короче, когда деньги первые пошли, они пошли напрямую, на Российский центр «Искатель» — на нас. Тут же начали возмущаться некоторые товарищи из государственных структур, так называемые Комитеты по делам молодежи. И они нас пытались обвинить в том, что мы ворует. Кончилось тем, что я подошел к товарищу Степашину — Председателю Счетной палаты, и говорю: «Сергей Вадимович, заебали они!» А второй транш пошел — в Правительстве говорят: «Пу как, это ж ворюги какие-то — а давайте мы эти деньги пустим через Комитеты по делам молодежи? Это ж государственная структура, они там проконтролируют!» К херам деньги пошли, как в песок. Все поисковики в шоке, говорят, где деньги, да хоть что-нибудь — где? Ничего нет! Я к Степашину подошел и говорю: «Сергей Вадимович, ну что это такое?» Короче, назначены были проверки. Я как вспомню: Контрольное управление Президента, Счетная палата, Управление Минфина, и кончается все ОБЭПом. Три года мурыжили, но в итоге у меня бумажка появилась, на которой было написано: «Злоупотреблений не обнаружено».

А проверяли знаешь как? У-у-у! Со Счетной палаты аудитор — дедок такой — сидит, и документы листает, листает... А потом говорит: «Пу что, поймал я вас». Я говорю: «Пе понял». — «А чем вы объясните мне, что вы в один день заправились пятнадцать раз? Наверное, вы просто чеки на АЗС взяли». Я тоже в непонятках, звоню командиру отряда, говорю: «Вадик, ай-я-яй!» Он говорит: «Чего?!» — «Почему пятнадцать чеков за один день? Вы что, пятнадцать раз заправлялись, что ли?» — «Да». — «Не понял?» Он мне говорит: «Юра, у нас ГТ-Т! Гусеничный тяжелый тягач. По асфальту ходить нельзя — мы подъехали к заправке, а заправка на той стороне, и мы канистрами таскали через дорогу туда- сюда, чтобы его наполнить». Вот до этого доходило.

А потом случилось страшное: Правительственную комиссию расформировали, и поисковиками вообще никто не занимался. Опять бардак наступил! Правительственную комиссию расформировали в 96-м году, когда посчитали, что 50-летие Победы прошло, ну и больше

никому ничего не надо. Праздник отпраздновали, ура-ура — все. И наступила великая смута. Кто в лес, кто по дрова. А в 2004 году приняли так называемый 122-ФЗ, который чохом поправил 75 законов. И из нашего закона исчезла самая главная фраза — что поисковой работой руководит специальный орган при Правительстве. Убрали и написали, что поисковой работой руководит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Что это такое? Какой орган? И вся эта херня длилась до 2007 года, а в 2007 году случилось страшное. Есть такой начальник управления — ну, сейчас уже не начальник управления, советник товарища Булгакова, 1-го замминистра — генерал Кирилин, который сказал: «Еханий бабай, поисковики — это ж замечательно, а вот у нас есть Военно-мемориальный центр Генштаба, а давайте он будет вот этим федеральным органом исполнительной власти в сфере увековечения?» По для этого нужно было высочайшее изволение господина Президента, потому что в законе появилась еще одна строчка — что всей работой по увековечению памяти руководит Президент. То есть Президент должен определить вот этот орган. И вот в 2007 году выходит Указ Президента № 37 (аналогия такая нехорошая) о том, что федеральным органом исполнительной власти в сфере увековечения памяти является Минобороны. Все, жопа! И если эта жопа будет развиваться дальше — будет вообще полная задница. Разницу ощущаешь: специальный орган при Правительстве и Министерство обороны. Что такое Министерство обороны? Это одно из министерств Правительства. То есть проблему эту скинули с федерального уровня на ведомственный.

А дальше началась песня. Мне звонят и говорят: «Приходи работать в Управление. Никто не понимает, что такое поисковая работа, нужен специалист — давай, приходи». Пу, я и пошел. Ох, блин. Мы непобедимы. Потому что я Минобороны изнутри знаю — мы непобедимы! Такие валенки сидят такие тупые! В общем, смысл в том, что Минобороны — это же одно из самых закостенелых министерств. И смысл-то в чем: в законе прописано, что поисковой работой занимаются общественные организации, уполномоченные на проведение этой работы. В 96-м году Правительственная комиссия выпустила распоряжение, где черным по белому было написано уполномочить Российский центр «Искатель» на проведение

поисковых работ на территории Российской Федерации. Все, определились. Комиссию расформировали, передали в Минобороны, и мне говорят: все, распоряжение недействительно! Я говорю: «А кто уполномочен-то проводить работы поисковые? Раз вы федеральный орган исполнительной власти, так уполномочьте тогда!» Короче, я дошел до замминистра. Иванов — нормальный мужик, он хорошо все понимал, но он ушел. Пришел Сердюков. Я к Сердюкову намылился, неделю пытался пролезть, в конце концов меня приняла его советник, такая мадам, я там минут двадцать перед ней распинался... Она сидит и такая: «А, я поняла, вы не ко мне». — «А к кому?» — «Фролов». Какой-то там тоже советник министра. Я опять там «ля-ля-ля», а мужик нормальный в итоге оказался, говорит: «Юр, хочешь совет? Если бы ты к Сердюкову сейчас пришел с предложением, как землю Нахабинского полигона вывести из военного имущества и отдать под строительство коттеджей, он бы тебя сразу принял. А так — лучше не ходи. Ему это вообще на хуй не надо — неинтересно».

Есть такой замминистра, я редко таких людей встречал, Владимир Ильич Исаков — во мужик! Раз звонит мне и приглашает к себе. И мы четыре часа сидим, он пытается въехать и понять, что это. И понял! Я ему говорю: «Вся работа встала из-за того, что в Законе написано "уполномоченный на проведение этой работы" — кем уполномоченный? Кем? Раз вы федеральный орган власти — так уполномочьте». Он дает распоряжение подготовить документы. А ему юристы говорят: «О-па!» И мне приходит бумажка за подписью Исакова, — он сам мне позвонил, мол, Юр, ничего сделать не могу, — где написано: «В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законами об обороне, Положением о Министерстве обороны, Законом об общественных объединениях, Министерство обороны, являясь государственной структурой, не имеет права вмешиваться в дела общественных организаций, и передача полномочий Министерством обороны третьим лицам законом не предусмотрена». Все!

Замминистра Исаков ушел, вместо него появился товарищ Булгаков, который в свое время меня вызвал и сказал: «Юрий Алексеевич, а я не пойму, что вы делаете в Управлении? Вы, бывший депутат — и на такой зарплате? А скажите, поиск — что вы с этого имеете? Пет, тут что-то не так...» И вот как быть с таким отношением,

если у человека оно уже сложилось? Как в Думе случай был, когда поправки в закон принимали, помощник депутата мне: «О, вы поисковики, это вот которые копают?» Я говорю: «Ну, копаем». — «Как бизнес идет?» — «Какой бизнес?» — «Как какой, что вы мне заливаете, вы же там зубы золотые ведрами...»

Я в Верховном совете был Председателем Комитета по делам военнопленных и пропавших без вести. Руцкой тогда летал в Афганистан, наших пацанов оттуда пленных забирал, я все это дело готовил, но в Афган полетел Руцкой и его зам — Саша Коровников, под телекамеры вывели наших пацанов с самолета... Я не в обиде, но обидно другое — через три-четыре дня Саша Коровников мне: «Юр, зайди». Я захожу, он к сейфу подходит и достает коробку: «На, тебе просили передать». Ну, хорошо. Прихожу, открываю: орден. Афганский какой-то там, из чистого золота. Знаешь, кстати, была такая карикатура, которая мне прям по душе: стоит изба такая старенькая, покосившаяся, на завалинке сидит старый дед, а вокруг внучок крутится. А у деда на груди две медали. И внучок типа: «Дед, дед, а за что?» Тот: «Вот эту медаль, внучек, я получил за оборону Белого дома, а вот эту — за его взятие!» Я же был участником первого сбора ветеранов Афганистана в Душанбе. Пацан местный говорит: «Ребята, хотите, я вам покажу водопады?» Ну, мы пошли с ним в горы и ушли. Водопада мы не увидели — он заблудился. Дальше идем — все завалено мотками колючей проволоки, под ней пролезть нельзя. Но мы ее перелезли, там плато такое, солнце, мы разделись догола и загорали. Потом решили пойти обратно, шли-шли, уже темно, вдруг видим — тропинка такая, здесь пропасть, тут скала. Идем, а там костер горит и наши погранцы сидят. У них вот такие глаза: «Ребята, вы откуда?» — «Оттуда». — «Вы что, охренели?» А на следующий день нас построили на плацу и показывают фотографии, где мы голяком лежим на этих скалах и написано: «Российский спецназ пересек границу Ирана, Советский союз собрал отборных головорезов, которые вторглись и показывают свое естество!» А мы и не знали!

Лет шесть назад наш горячо любимый — два раза ему ку! — президент Владимир Владимирович Путин в городе Волгограде на встрече с ветеранами сказал: «У нас есть поисковики — это такие замечательные люди! Им надо помочь». Лучше бы он этого не

говорил. Потому что законы немножко изменились, то есть если раньше мы как исполнители вошли в государственную программу и получили деньги напрямую из бюджета, то сейчас появилась система так называемых конкурсов и грантов. Вот где заключается верх идиотизма! Я всегда привожу пример: есть поисковый отряд — пять мужиков. Уже в возрасте, без высших образований, но они копают, как трактора, они знают... ну как тебе сказать? Это профи! Вот взять лопату и копать с утра до заката — ради бога. Но написать программу, смету на грант — это выше их сил. И потом, чтобы грант получить, надо открыть счет. А чтобы открыть счет — это бухгалтер нужен.

Была такая зам Лужкова — Швецова Людмила Ивановна. Вечная пионервожатая! Живчик такой. И вот она выступает — в мэрии идет торжественное заседание к какому-то юбилею Победы, ветераны сидят — и она на сцене: «Вот сейчас время такое наступило, никто же не помнит ничего про Великую Отечественную войну, и воспитание молодежи у нас запущено! А давайте задумаемся, как эту ситуацию поправить? А вот я вам вопрос задам: куда люди чаще всего ходят?» Я такой сижусь, у меня на языке: «В туалет!» «А люди ходят в магазины, в аптеки, и я предлагаю, например, вот в магазине коробка конфет: назвать "Курская битва", на коробке карта сражения...» Падло меня знать — я не выдержал. Она закончила выступать: «Вопросы есть?» — я руку вверх. Выхожу на трибуну и говорю: «Вот Людмила Ивановна правильно сказала, я горячо поддерживаю. Она правильно сказала про аптеки, поэтому я предлагаю выпустить средство от поноса имени Александра Матросова под девизом: "Надежно закрою вашу амбразуру!" Там половина зала в покате сразу, а другая набычилась, особенно ветераны. Ну, понимаешь, если идея дурацкая — ее до абсурда надо довести, чтобы понятно стало: идиотская идея! Что я и сделал. Лужков потом бухтел, я говорю: «Юрий Михайлович, так идиотизм ведь!»

И вот эта система конкурсов... «Объявляется тендер на поисковые работы!» Нормально, да? Тендер. Вот этими грантами, тендерами разрушили все поисковое движение, все братство поисковое разрушили, понимаешь? На первый план вышли деньги. И поэтому мы на сегодняшний день (союз поисковых отрядов как работал, так и работает) — ни одного гранта принципиально не получали, ничего — нахер! Пошли все в баню. Мне командир отряда рассказывает:

«Приезжаю, а мне открытым текстом: вам положено шесть миллионов, но два ты принесешь наликком». Открытым текстом! Ну и куда мы пришли?

Но самое интересное в другом. В Минобороны быстро смекнули: Президент похвалил, значит, надо подсуесться — можно денег высосать. Главой Администрации Президента был господин Володин, нынешний Председатель Думы. И вот Володину поручение Президент дает: помочь поисковикам. А Володин говорит: «А что это за поисковики такие?» И я, дурак... Мне позвонили, говорят: «Юр, надо справку сделать для Володиного, что такое поисковое движение». Я на двух листах накатал, отдал, и мне человек потом рассказывал — он читает эту справку, говорит: «Ничего себе численность — и они до сих пор не охвачены?» Понял? И тут же создается под это дело Управление Президента по общественным проектам. А дальше начинается песня. Господин Зенькович, начальник этого управления — я с ним пытался встретиться несколько раз. В конце концов мы нос к носу столкнулись в коридоре. Я его первый раз вижу, а он идет со свитой, меня видит и пальцем показывает: «О, Смирнов! Это первый смутьян!» Спасибо. Я тебя первый раз вижу, блин! А потом все просто оказалось... Его советник — советница — госпожа Альбина, ну, любовница заодно... Я спрашиваю: «А чего ее назначили куратором-то поискового движения? Она кто?» — «Вы знаете, она из Башкирии, она очень грамотный руководитель, она умело организовывала и проводила в городе Уфе конкурс красоты». Нормально?! И мне эта Альбина потом знаешь что сказала? Дословно: «Юрий Алексеевич, вашу копанину можете засунуть себе в задницу. Нам нужно, чтобы вы собрали 2000-3000 человек, зажгли свечи и куда-нибудь сходили». Вот ее слова.

А дальше я тебе могу расписать схему. Что делает Минобороны? С одной стороны, я вывел для себя такую идеологию: Министерство обороны готово горы свернуть, лишь бы нихрена не делать. То есть с одной стороны они уполномоченный орган, а с другой — у них есть запрет и они не могут никого уполномочивать, а с третьей стороны — денег-то хочется... Президент сказал: помогать поисковикам можно на выбор или через создаваемое Российское Военно-Историческое общество, или из Фонда национального благосостояния. Надо помочь, а в понимании Президента помочь — значит денег дать. Поисковикам

их давать нельзя — они же своруют все, сволочи! Поэтому надо раньше своровать. Что делается? Поручение президента господину Володиному было: помочь поисковикам в проведении юбилейного слета в честь 30-летия организации Поискового движения. Я с этой Альбиной разговариваю, она мне: «Я еду в Калугу». Я руководитель Союза поисковых отрядов — меня не приглашают. Никого не приглашают из наших стариков, вообще.

Еду сам. Приезжаю туда, захожу в гостиницу — незнакомые лица. Я впервые вижу этих людей. Понимаешь, я прекрасно знаю руководителей практически всех объединений краевых, областных, а тут вообще, ну — кто эти люди? В это время ко мне подходит Альбина: «Юрий Алексеевич, а что это вы приехали?» Я говорю: «Как что?» — «Мы вас не приглашали». Я говорю: «А мне не нужен номер в гостинице, я вон палатку с собой взял, газон большой — сейчас палатку разобью». Паника. В конце концов мне дают президентский номер. Она говорит: «Пу, вы удовлетворены?» Я говорю: «Пет». Я говорю: «Альбин, а кто эти люди?» — «А мы вот создадим новую организацию поисковую». Я говорю: «Так это не поисковики». — «А по закону нам неважно, главное, чтобы представители от регионов были. Пам всё равно, поисковики они или нет». И она права по закону! Что такое поисковик? Пет такого понятия. Профессии нет такой. Вот приехал человек из Башкирии — он Председатель Комитета по делам молодежи. И говорит: «Я поисковик». И вот они создают вот это вот поисковое движение «ПДР» — хорошее название! — и выбирают руководителем Андрюшу Фетисова.

Итак, вот ребята в Минобороны задумались: «А как бабки-то получить?» Все очень просто. Встретились с Альбиной, нашли общий язык, взяли к себе на работу товарища Торгашева — а это представитель Фонда национального благосостояния, который распределяет гранты. Понимаешь, да? Они, к примеру, делают поисковую экспедицию на Сахалин: арендуют четыре корабля, два вертолета, нанимают частную охрану — для поисковиков якобы. Ты представляешь, в какие деньги это все выливается? Результат — два бойца найдено. Которых еще раньше нашли наши ребята там.

Теперь нужен был человек, который бы над поисковиками стоял и беспрекословно выполнял все, что ему скажут. Избрали Фетисова Андрюшу. Андрюша оказался нормальным человеком — он пришел в

Администрацию Президента и сказал: «Что за херня творится? Вы выделяете гранты на поисковую работу, и почему-то пятьдесят процентов всех выделенных денег выигрывает поисковый отряд из Чечни под программу увековечения памяти воинов-чеченцев, погибших при блокаде Ленинграда?!» Костя Степанчиков говорит: «Я долго смотрел, где там чеченцы-то были». Еще двадцать пять процентов выигрывает какой-то фонд «Матери России» — они какое отношение имеют к поисковой работе? Ну и короче, Андрюша Фетисов поднял бучу в Администрации Президента, ему сказали: «Парень, — а его решили прикормить, ему грант сразу дали большой, — ах так, сволочь? Деньги вернуть, и пошел ты нахер!» И находят госпожу Елену Моисеевну, а с Еленой Моисеевной у меня давние счета.

Дело в том, что Елена Моисеевна никогда не была поисковиком, она была руководителем Комитета по делам молодежи Волгоградской области. Вначале в поиске участвовала, но своеобразно. Был такой поисковый отряд у нас, руководил Димка Андрианов, выдающаяся личность — спецназ ГРУ в Афгане, ему там ногу оторвало. У него были специальные костыли на таких поплавках-подушках, и вот он по лесу ходил — и копал! Так вот Елена Моисеевна у него жила три месяца. Мне, честно говоря, похеру, кто там с кем, кто курит, кто пьет, но дело в том, что... Что такое поисковая работа? В свое время Правительственная комиссия сформировала ответ, звучит он примерно так: это комплекс мероприятий, направленный на поиск захороненных останков воинов, поиск родственников для последующего захоронения останков... По-моему, правильно. Так вот Елена Моисеевна говорит, что поисковая работа — прежде всего средство воспитания молодежи. А я никогда не забуду выступление Председателя Комитета по делам молодежи в Новгороде, когда он с высокой трибуны сказал: «И как хорошо, что у нас в годы Великой Отечественной войны были такие потери, что мы до сих пор на них можем воспитывать нашу молодежь!»

Понимаешь, через поисковую работу можно и нужно воспитывать молодежь, но не во плыву угла это ставить! А у нас создают отдел и соединяют поисковую работу и реконструкцию. А что такое реконструкция? Это лицедейство. Я никогда не забуду славный город Питер, 90-й поисковый батальон Министерства обороны,

который я, дурак, создавал... Приезжает Иванов, тогда Министр обороны. А тогда губернатор... ну как, это же в тренде — реконструкция! И вот представляешь: готовятся захоронения, выкопаны уже могилы, оркестр там, салютный взвод — и вдруг немецкие солдаты появляются. И руководитель их этак бесцеремонно подходит к замминистра: «Вот сейчас министр приедет, все тут будут стоять, а нам где встать?» Он ему сначала: «Вот здесь», а потом: «Так, я не понял! Министр приедет, заиграет гимн, а вы тут в таком виде стоять будете? Ну-ка в поле, чтобы я вас не видел!» Понимаешь, вот дошло до идиотизма! Я никогда не забуду — в том же Питере, уже закончилось захоронение, и решили устроить эти пострелялки. И дед один сидит, ветеран, смотрит на все это дело... Потом плюнул, повернулся и пошел. Я его догоняю, говорю: «Отец, ты чего — не нравится?» Он говорит: «Еб твою мать, ведь сейчас постреляют холостыми, потом сядут, ебнут вместе, еще там фотки за деньги — суки, в окопах не сидели, вшей с себя не сгребали». И ведь прав! И самое интересное — я государственную программу открываю о патриотическом воспитании, написано: «Па поисковую работу выделить двадцать миллионов, на реконструкцию — шестьдесят».

Я такой человек, что не могу голословно ругать кого-то. Я делаю очень просто: вот выступает Президент, беру его выступление, вот оно, уже по телевизору показали — я его публикую и тут же комментарии даю. Вот за эти комментарии мне в Администрации Президента таких пиздюлей надавали. Хирурга знаешь? Байкер знаменитый, который медаль получил из рук Путина за поисковую работу? Он же двух слов связать не может — и показывают в прямом эфире: Путин сидит на встрече с общественностью. А там, ну сколько раз я встречался с этими президентами, раньше было проще, а сейчас к тебе подходит начальник протокола и говорит: «Вы должны задать вот этот вопрос. Вот, прочтите и запомните». Короче, сидит Саша Залдостанов в своей этой косухе, президент что-то вещает, потом: «Пу что, вопросы есть?» Этот тянет руку и начинает задавать вопрос, то есть набор бессвязных фраз, это все в прямом эфире. И знаешь, чем кончается? Путин такой: «Саш, ну ты задвинул, я так и не понял, о чем ты хотел спросить, но я отвечу. Мне часто задают вопрос, победила бы Россия в Великой Отечественной войне, если бы на стороне немцев воевала Украина?» И тут же сам отвечает: «Да справились бы». Я это

беру, в интернет выкладываю и пишу: «Вообще-то Президенту отвечать на вопрос, которого не было, не комильфо. Во-вторых, отвечать на вопрос "а если бы" — это два раза не комильфо. А если бы инопланетяне прилетели?» Ну и короче, ой, каких пиздюлей мне дали.

А за 1812 год? Путин едет в Бородино, там идет реконструкция. Паши ребята снимают. Съемка: сидит гусар на коне, пьяный в доску, а там, знаешь, дети, мамыши... Одна говорит: «О, моего сына сфотографируйте с гусаром». А гусар тот вообще никакой. Она: «Да вы же пьяный!» — «Вы еще не знаете, как гусары в 1812-м пили!» Все это снимается, а потом общая фотография, Путин стоит с этими ряжеными и говорит: «Что нам 1812 год, ну, Франция, да мы больше дружили, чем воевали!» Я эти слова беру и пишу: «Ничего себе подружились! С одной стороны погибло 600 000, с другой стороны — никто и не считал». Наших ведь никто не считал. Хорошо подружились! Говорю: «Может быть, такая же дружба была и в Великую Отечественную?»

А больше всего знаешь, за что я получил? Путин издает Указ. Он тогда был премьером, Президентом Медведев был. Путин распоряжается разработать государственную программу по реконструкции и ремонту воинских захоронений на территории Российской Федерации. Я этим занимался, Минобороны. Мы ночами сидели: как понять, сколько денег надо, сколько их вообще, этих захоронений? Это же обалдеть какая работа была! Мы собирали все данные: какие памятники, из чего сделаны, где плит не хватает, где имена не выбиты... И все наше управление, оно ночами сидело, вот позвони во Владивосток: там ночь. Ночью надо звонить, потому что там день. Представляешь себе все это? Короче, Путин становится президентом, программа готова, и, только он становится президентом, он своим указом отменяет эту программу. Я беру эти два документа, на экраны вывешиваю: распоряжение Председателю Правительства и Указ Президента Путина, и пишу: «Программу, о которой долго говорил наш премьер Путин, Министерство обороны сделало, однако она отменена Президентом Путиным — вот документ!»

...Как я пришел в поиск? Ну, во-первых, у меня здесь жили дед с бабкой, и я до школы и в каникулы проводил время тут. А здесь линия обороны в 41-м проходила. Поэтому естественно покопать, найти патрончик, взорвать. А то и снаряд — хорошо! Один раз мину

рванули противотанковую в пруду посреди поселка. Били нас долго. А потом... Я не задумывался о каких-то солдатах, ну, чисто пацанское — у-у-у, в костер бросить снаряд, о, здорово! А потом уже, когда в школе учился — раньше практиковались походы с палатками, в лес, например. И мы пошли — у меня где-то есть тут бумага 74-го года, что я сдал находки в местный музей Ленино-Снегиревский, и на двух листах перечень, что я сдал. Пошли мы в лес, здесь рядом. Ну, палатки поставили, бадминтон, костер. Бегали вокруг — блиндаж нашли. Бревна вот так рухнули... залезли. Пистолет, шинель, кости. И медальон нашли — тогда еще не знали, что это такое. Открутили, смотрим — бумажка какая-то. Ума хватило не трогать, вернули ее на место и принесли в военкомат. Военком попался нормальный, сделал запрос, нашлись родственники. И все. И понеслась. С тех пор и копаю.

А сейчас, ты меня извини... Мир перевернулся в другую сторону. Вот есть здесь музей. Директор музея — нормальная баба. Когда я еще в Минобороны работал — приходит письмо на имя президента. Пу, естественно, президент отписал туда, туда и туда — попало в Минобороны. Мужик пишет: «Я, житель деревни Глебово, пошел в лес, вот памятник стоит заброшенный, и надпись: "Неизвестному солдату". Требую разобраться!» На имя президента. Я беру бригаду поисковиков, мы выезжаем, опрашиваем местное население, находим бабку, которая говорит: «Да жил здесь один дед, типа краоведа, который на свои деньги сам памятник сделал и табличку "Неизвестному солдату"». Но там, говорит, нет никого. Мы шурфим все это дело, все это снимается, фиксируется, и даем заключение, что это памятный знак. Это не захоронение. Отсылаем документ, и все. Проходит четыре года. Я иду с электрички домой: ноябрь месяц, дождь со снегом, такая мерзкая погода, я иду — вот площадь эта, горят прожекторы, стоит одинокий микрофон, и никого нет. Я думаю: «Что за фигня?» Дальше смотрю (а там место есть, где хоронят всегда наших бойцов) — странная картина: идут два мужика и несут гроб. Тишина, снег так падает с дождем. А за ними человек десять-двенадцать замерзшие топают. И тишина! Реально, картина жуткая. Ладно, думаю, завтра зайду к директору музея, все узнаю. Захожу, говорю: «Марин, что это было?» — «А, Юр, да это мы неизвестного солдата похоронили». Я говорю: «Марин, у тебя башка-то на месте есть? Где салютный взвод? Ладно, если там наш гарнизон требует

деньги, ну нам бы позвонила, мы бы сделали все!» — «А, Юр, не переживай, мы пустой гроб похоронили». Я говорю: «Не понял, блин». — «Да вот тут этот писатель опять написал на имя Президента, а Президент вместо Минобороны отправил Воробьеву, губернатору Московской области. А тот визу наложил сверху: организовать перезахоронение». Я говорю: «Марина, ты ж прекрасно знаешь, что выезжала комиссия Минобороны, у тебя акты есть!» Пу, отчитаться надо! Паписано: «Организовать перезахоронение». Организовали.

У поисковика две болезни профессиональных. Угадай, какие? Радикулит и цирроз печени! В каком-то году звонит мне из Ржева их руководитель Серега Балашов, нашли летчицу. Причем там кадры были потрясающие — она была как живая. Кабину когда открыли, прямо девка на глазах почернела... Мне киношники говорят: «Блин, надо снять!» Едем. Слава богу, я вперед вырвался. Дорога, поле, лес, и вот лагерь стоит, видно флаги. Я через поле бегу, вбегаю в лагерь, ощущение — будто бомба взорвалась, палатки повалены, я думаю: вообще живые есть? Подбегаю к палатке, ногой топнул, кто-то зашевелился, и выглядывает рожа с вот таким фингалом. Угадай, какой вопрос он мне задал? Я его в первый раз вижу, и он меня в первый раз видит. «Водка есть?» Я говорю: «Уроды! Где командир?» К чести поисковиков, пока киношники шли через поле, лагерь уже стоял, этого уроды не было, все такие навтыжку... А еще был у меня поисковый отряд «Братья Самсоновы», три брата, «и примкнувший к ним» Борис, как мы говорили. Три брата и еще один крендель. Один шофер, другой какой-то водопроводчик, но пили они так... Я никогда не забуду смоленскую Вахту, я говорю: «Ребята, вот точка, надо проверить». — «Юр, ты нас отвези, и вечером заберешь». Я их отвожу, вечером приезжаю — лежат четыре бухих трупа. В полный профиль окопы, все найденное рассортировано-уложено — и четыре трупа. Никакие вообще!

Знаешь ассоциацию «Военные мемориалы»? Учредитель — Минобороны. Я никогда не забуду, как мне показали официальную бумагу от правительства Германии, ноту в адрес нашего МИДа, где написано: «Господин Быстрицкий и его компания "Военные мемориалы" — откровенные воры». Согласно Постановлению Правительства на территории России воинскими захоронениями

немецких солдат занимается ассоциация «Военные мемориалы». Город Воронеж. В Воронеже у нас прекрасное объединение поисковое. Мне из Германии звонят и говорят: «Вот, мы заказали...» Я говорю: «Так, подождите, вы заказали "Военным мемориалам", у них там представительство — один человек, он никто и звать его никак». Что он сделал — он бомжей нанял, и они кладбище немецкое разрыли. По документам там должно находиться 14 человек, нашли 13. Что бомжи сделали? Собачьи кости положили в контейнер и отправили в Германию, а там не дураки — взяли и проверили. Скандал был грандиозный.

Я в Германии был несколько раз. Ты не поверишь, но я выступал в Парламенте Германии, и пытался до них донести, что ребята, я чемоданами приносил в ваше посольство в Москве вот эти жетоны, вы мне говорили: «Спасибо», давали письма какие-то благодарственные, — а родственники где? Однажды под Питером мы нашли офицера немецкого, у него был серебряный портсигар именной. Литой такой. По своим связям нашли его жену, она прилетела, и Жоре Стрельцу тогда сказала: «Чем я вам могу помочь?» Жора говорит: «Пу, хоть на жрачку денег дайте». И она чек выписала. Вот единственный раз, когда родственник объявился. Мало того, мы открыли свое представительство — Российского центра «Искатель» — во Франкфурте. Через два месяца на руководителя этого нашего филиала возбудили уголовное дело за призывы к неонацизму. Для немцев тема Великой Отечественной войны — табу. Это во-первых. Во-вторых, после войны у немцев встала экономика. Хоть Германия и считалась национал-социалистической республикой, но это был частный капитал. Когда после войны возник вопрос о наследовании... Вот человек пропал без вести на Восточном фронте — наследник не может вступить в наследство, потому что предок пропал без вести. И в 46-м (или 47-м, точно не помню) году Германия принимает радикальное решение признать всех пропавших без вести на Восточном фронте погибшими. Наследники вступили в наследство, дела закрутились, и им глубоко насрать. У нас в России что ты наследуешь? Охалку сена, а там — фирма целая. Вот они вступили в наследство, и они в делах, в заботах. А какой-то там дед — погиб, и хрен с ним! Менталитет другой у них. Я ж тебе говорю, чемоданами жетоны возил, под опись сдавал. У меня вон письма лежат господина

Мюллера, советника по культуре. И тишина. Я говорю: «А родственники-то где?» Они говорят: «Зачем?» Мы, говорит, в службу передали, они в архиве вбили — и все. Я говорю: «А родственникам сообщили?» — «А зачем?» Нам друг друга не понять.

Недавно в Думе депутатша, милая женщина — она не поисковичка вообще, но вносит в наш закон поправки. Их суть в том, что в Федеральный закон об увековечении памяти региональные власти могут вносить свои поправки. Как я тебе говорил, если раньше была комиссия при Правительстве, потом скинули на Минобороны, Минобороны отбрыкивается, а теперь депутат вносит поправки, что любая область может принимать свои законы об увековечении памяти. Понимаешь, чем это грозит? Мало того, что скинули с федерального уровня эту проблему на министерство, а теперь еще ниже — на региональный. А регионы напринимают тебе что хочешь. Вон, в Тверской губернии говорят, чтобы выехать и лагерь поставить, нужно бумажку — 14 печатей собрать. Командир один мне рассказывает: «Приношу смету в Комитет по делам молодежи, они такие: ой, а у вас двух граф не хватает». — «Каких?» — «Закупка дров для лагеря». — «Но он же в лесу стоит!» — «Нельзя, надо дрова закупать». Тут недавно говорят: а еще мы должны ввести, — тут в одном лагере дети отравились, — мы должны ввести уполномоченных... Ой, как мне понравилось. Я хочу на эту работу! Должен человек уполномоченный приехать в лагерь и посмотреть, как оборудованы туалеты и чем дети питаются, проверить качество пищи! То есть я приезжаю: пожрал, посрал, за это деньги получил и уехал.

Сереха, сосед, отличился. Отряд есть поисковый — «Братство святого Георгия». Там Юра Борзов, который был в первом составе «Машины времени». И вот мы с ним сидим, пьем пиво здесь, на веранде, сосед забегает: «Юра, у тебя есть лопата? Ворота хочу вкопать». 2010 год, горело все. Я ему даю саперку отточенную. Он ее пробует пальцем, говорит: «Вот так лопата! Сейчас клад найду!» И убегает. А мы сидим, пиво пьем. Проходит полчаса, прибегает Сереха и говорит: «Мужики, какую-то херню нашел, не пойму, что это — то ли наковальня, то ли... но что-то большое, идите посмотреть!» Ну, мы подходим — Б-4. 203-мм, фугас неразорвавшийся. Сереха говорит: «Я клад нашел, мне двадцать пять процентов полагается!» А Юра Борзов ему: «Тебе хватит и десяти! Если она ебанет, твой дом улетит». Сереха

говорит: «А что делать?» У меня фотография до сих пор осталась: он верхом на нем сидит. Я говорю: «Звони в МЧС, милицию».

Проходит неделя. Серега приходит и говорит: «Юр, я никуда не дозвонился, меня все нахер посылают». А я телевизор включаю, и в это время диктор такой: «В Дмитровском районе, в поселке таком-то нашли мину 50-мм, эвакуировали весь поселок», и бегущей строкой номера телефонов. Я беру телефон, набираю, и с первого раза попадаю. Я говорю: «Ребята, 50? А 200 не хотите?» — «Где?!» — «Приезжайте». Короче, приезжает «Волга», операторы выходят и говорят: «Тут таких снарядов не бывает». А Серега яму выкопал и воротами накрыл, я приподнимаю — мужик аж крикнул. Они все это снимают на камеру, потом едут в Истру к главе администрации, к военному и начальнику милиции. Начальник милиции забаррикадировался, киношников не пустил. Глава администрации тогда сказал: «А, так это же Смирнов. Это ж бывший депутат. Это его пиар, он пиарится, он в депутаты хочет. Что вы хотите? Что вы приехали?» Военком сидит такой: «У нас таких снарядов не бывает, понимаете, это корабельная артиллерия, но это болванка». И вечером это все выходит в эфир. Я здесь сплю, утром рев двигателя, не пойму, в чем дело, выскакиваю — два «Урала» влетают, солдатики, старлей злой такой. Четыре солдата на лямках поднимают эту фигню, бросают в кузов с песком, уезжают, и вечером показывают: на полигоне это рванули, там такой взрыв был. А с тех пор главе администрации выговор, начальнику милиции неполное служебное, военному неполное служебное, начальника смены МЧС по Московской области на увольнение. Кто виноват? Я виноват! Поэтому глава администрации у меня была врагом № 1.

Я всех поисковиков делю на три категории: сухопутники — нормальные люди с ними хорошо общаются, сквалыжники — это технари, которые по технике работают, это полный абзац, а самый пиздец — это подводники. Я просто сам старый плавучий чемодан, у меня водолазная книжка, я нырял хрен знает куда и хрен знает за чем в свое время, знаком со всеми, кто на «Курск» нырял... Вот Костя Отчаянный — такой человек был! Псковская губерния, «След пантеры», водолаз. Я сам водолаз, но я бы туда не полез. Когда человека ногами вбивают в болото — можешь себе представить? И фамилия — Отчаянный. В этой жиже — это не вода, это жижа —

наощупь, потому что не видно ничего, на глубине тринадцать метров — можешь себе представить? Пожарная машина стоит, два гидранта размывают колодец, и в любой момент он может рухнуть. А он туда погружается.

Или Граф. Фамилия — Воронцов, поэтому Граф. На всю страну газета выходит: в Питере обнаружили бомбу особой мощности, немцы сбросили, пол-Питера снесет, бригада Минобороны, саперы! Паш Граф приезжает, спокойно так спускается туда и говорит: «Ребята, это не бомба». А все уже приготовились жидкий азот заливать... Это, говорит, баба. Питер когда строили — сваи вбивали, а сваи вбивали специальным бревном дубовым, и его местами железом обшивали, чтобы не треснуло. И вот эта баба сорвалась и там осталась, она конической формы, здоровая такая. А все: бомба! Граф вообще красавец был. Подорвался. Кстати, по нашей статистике — мы ж ведем все это дело — все подрывы происходят на сорокапятках. Бронебойки, 37-го года выпуска. Местные после войны собирали цветмет. Вот они берут снаряд унитарный, то есть снаряд и гильза вместе. Он берет этот снаряд, подходит к ближайшей березе и об березу кидает. Снаряд выпадает, а гильзу он сдает. Так вот в момент удара этого снаряд вставал в боевой режим. Когда мы нашли эти снаряды, я Графу говорил: «Ты сколько разрядил-то?» Он говорил: «Юра, ты не понимаешь, это редчайшие взрыватели, коллекционеры их с руками оторвут!» И вот на последнем снаряде подорвался.

Я член Российско-американской группы по пропавшим без вести. Я американцев нашел — они меня в жопу целовали, у меня медаль Конгресса есть, ее украли, правда, но остался сертификат. Был такой Дмитрий Волкогонов, генерал-полковник. Знаменитая личность. И вот я вошел в состав этой Российско-американской комиссии, встречаемся у них в посольстве. Американцы: «Вот вы знаете, в Тамбове был лагерь М-88, там содержались американцы». Волкогонов им: «Сейчас проверим», берет телефон: «Так, ну- ка дайте мне Тамбов, проверь, американцы были?» — «Пе было». А теперь ответь мне, пожалуйста: в Советском союзе людей как учитывали? По национальности. А национальность есть такая — американец? И вот я в Тамбов приезжаю, в спецхран, и личные дела листаю. Первое дело открываю, как сейчас помню: «Луиджи де Франческо, итальянец». Гражданство — США. И американцам на следующей встрече две папочки даю —

вот ваши ребята! Волкогонов на меня зверем смотрит... Проще надо быть, проще. Работать надо. Просто работать. А не только трубку поднимать: «Пу-ка, доложите мне вот это».

СЕРГЕЙ МАЧИНСКИЙ

Для меня поиск — это очень длинный путь, который начинался не с пионерских костров; я просто за железками в лес ходил. Была интересна война как таковая, все то, что от нее осталось. У меня отец служил в Шайковке, в Калужской области, в 80-е годы, там все это железо валялось на Зайцевой горе, будто вчера война прошла. Мне, как пацану, было интересно: патроны, винтовки, все, что стреляет. Тогда все-таки в голове что-то еще не складывалось, потому что те кости, которые я там увидел в первый раз, были немецкие. Их было немного, но я их видел. И в голове как-то отложилось, что наших не может валяться костей, валяются немцы. Этот интерес еще подпитывался, наверное, тем, что отец много переезжал как военный, и меня отдавали на воспитание к деду. А дед — военный летчик, всю войну прошел. Бабушка уже умерла, поэтому мы надолго с ним вдвоем оставались. И, в принципе, он меня и воспитывал. Много рассказывал о войне. Любому же пацану это интересно. Тем более дед — летчик. И когда я его спросил: «А где твои друзья?» — он мне фотографии свои показывал с товарищами. — «Погибли». — «А где похоронены?» — «У них нет могилы». — «Как нет могилы?» — «А вот так, у них могила — небо». И помню детские ощущения, что такого не может быть. Потом отец перевелся в Германию — и даже в Германии я нашел, где копать, собирать всю эту фигню: наткнулись тогда на колонну немецкую, которую американцы разбомбили. Там все это тоже валялось и никому интересно не было.

Позже, в начале 90-х годов, я в Шайковку попал сам, служить, офицером. Перевелся туда с Дальнего Востока. И опять оказался на Зайцевой горе. А это было то время, когда туда ехали уже за оружием, целенаправленно. Видно было, что валяются кости горой, прямо по полю раскиданы. Я у местных спрашиваю: «Это немцы?» У меня же в голове отложилось, что это могут быть только немцы. «Пет, наши!» Они еще это так запросто сказали... Я говорю: «А чего вы не уберете?» — «Да вон сколько их, кто их убирать будет!» Я вспомнил тогда разговор с дедом про то, что нет могил. А могилы — вот они.

Я очень долго не мог осознать, что такое в принципе возможно. Я не верил, будучи офицером, что так может быть. В девяностые годы поисковые отряды были, но никто не знал, как их найти. И сам я не знал, что с ними делать. Ходил, собирал, делал какие-то временки, где-то сам прикапывал. Потом товарищ стал со мной ходить. Потом уже, когда в Москве служил, в середине 90-х, стал сталкиваться с яркими проявлениями того, что называется «черным копательством». Тогда пошли все эти истории с орденами, медалями. Реально нам встречались развороченные могилы, поэтому начали с этим бороться. Как могли.

Уже тогда я не мог понять, когда встречался и говорил с поисковиками, почему же так криво все делается-то. Приедут на одно место, поковыряются, не доделают, бросят, переедут на другое. И, как военный человек, я пытался понять, где конец этого всего, когда последний солдат будет захоронен. Потом был конфликт: мы нашли солдата с медальоном подо Ржевом. Не отрядом даже, а так, «группой лиц по предварительному сговору». Мы до этого находили безымянных и сами хоронили их, выбрали под это место, памятник самодельный поставили. А тут нашли солдата с именем. И куда его девать? Надо же родственников искать. В советское время все это сдавалось в военкоматы, но на тот момент им это интересно не было. И вот мы вышли на официальный отряд, как назывался — уже не помню сейчас. Говорю: «Приезжайте, заберите». Отвечают: «Да, заберем, но только именного». А останки были человек тридцати с чем-то. Говорю: «В смысле — только именного?!» — «Да, только именного, у нас сейчас будет торжественное захоронение. А остальных сами хороните!» Говорю: «Не понял, почему так-то?» — «Ну, вот так». — «Нет, — говорю, — так не пойдет, тогда я никого вам не отдам». Те наезжать начали... И я понял, что пора оформлять отряд. Оформил отряд сам, официально, возглавил его, долго подо Ржевом работали. Зубцов, Ржев, Смоленская область, Сычевка.

И потом судьба сложилась так, что абсолютно случайно я попал на работу в РВИО. Начал пытаться выстроить какую-то логику в этом всем деле: ведь где-то должен быть конец нашей работы, она должна выполняться планоно, четко, с пониманием, с отчетностью. Стал организовывать крупные вахты. И, в принципе, понял спустя время, что мы идем неправильным путем. В итоге с РВИО по

идеологическим соображениям я расстался, работаю так, как я считаю нужным в данный момент. Вообще я считаю, что это государственная задача, ее не должны выполнять любители.

Есть такой генерал, Кирилин, первый начальник Управления по увековечению памяти, вот он когда-то сказал золотые слова: «Неорганизованная поисковая работа нанесла ущерба в два раза больше, чем принесла пользы». Сколько в Долине смерти было найдено документов — не личных, а сейфов с документами, карт. Это же огромный пласт исторический, который мы утратили. Все разошлось по домам, по квартирам, по каким-то ларькам. И теперь его нет. Потом все эти отряды — они теперь плодятся как муравьи, их огромное количество. Где они, перед кем они отчитываются, где их база общая? А ведь любая найденная солдатская вещь — это шаг куда-то, к какому-то открытию. Я недавно видел, года два назад, в Старой Руссе, при строительстве моста археологи нашли убитого. И вот у них про этого убитого толстенный отчет. Вплоть до того, что у него фляжка какая-то была, и они узнали, какой завод выпускал эту фляжку, в какой период она была выпущена, в какую часть на снабжение она попала. То есть там остался лишь шаг до установления личности этого солдата.

А мы, получается, делаем, как нам бог на душу положит: кто-то ограничен рамками совести, своего понимания, кто-то ничем не ограничен. Выкопал, и все. Это неправильно. Солдат — государственный человек, он погиб за родину. И государство должно до конца довести его путь. А сейчас еще на волне этого всеобщего патриотизма подобное стало поощряться: люди, нечистые на руку и на совесть, помимо бонусов финансовых получают еще и политический бонус. Типа, вот, я такой патриот. У меня много осталось товарищей из прошлой жизни, они не «черные копатели», а просто копари, которые живут с леса. Я их считаю намного честнее. Потому что уже давно такого нет, чтобы кто-то грабил могилы и обирал солдат, они просто копают железки и продают их. По они не стоят с губернатором на одной трибуне, не получают медали и ордена, они делают тяжелую физическую работу. Если они находят солдат — так же уважительно к ним относятся, отдают или перезахоранивают.

А у нас это как начиналось? Вы, наверное, уже слышали про это от многих других людей. Я как-то тоже поставил себе похожую задачу, мне было интересно узнать, как все это начиналось, почему именно вот так пошло. Изначально все это начиналось как в чистом виде волонтерское движение. Никаких денег никто там не просил. Условно, когда ехал в лес первый раз, я прекрасно понимал, что это будет за мои деньги, за мою тушенку. Я отдаю таким образом дань уважения. И так же жили люди, которые стояли у истоков всего этого. Тогда об увековечении памяти никто не говорил даже, потому что эта память была в головах. Рядом были те люди, которые воевали, все это помнили, им не надо ничего напоминать. Надо было просто отдать дань уважения тем, кто погиб. Похоронить их, чтобы по ним не топтались, по ним никто не ходил, не брал. Они шли и это делали. Потом же встал вопрос о том, что никто уже не знает даже о том, за что они погибали. Встал вопрос об увековечении. Это уже история в чистом виде как наука. Здесь каждая найденная пуговица влияет на что-то. Даже найденный немецкий солдат — нельзя его просто обратно в яму скинуть. Я не говорю, что его надо хоронить с почестями, кланяться перед ним. Но факт того, что он здесь находился, надо зафиксировать. Потому что еще через двадцать лет немцы вообще скажут: а нас здесь вообще не было, все это ерунда. Поэтому я и сейчас стремлюсь к тому, чтобы от нашей работы оставался максимально какой-то след. А не просто — выкопали и закопали. Стараюсь писать отчеты о том, что мы находили, куда мы шли, зачем. Это все история.

Я хорошо знаю казанцев, знаю Коноплева. Надо понять и ответить самим себе на вопрос: чего мы хотим? Взять из одной ямы и положить в другую? Или мы хотим какой-то след оставить? Казанцы ведь не настаивают на том, что именно их вариант итогового документа единственно верный. Они были готовы к диалогу, я всю эту историю изначально знаю, как это происходило. Они говорили: «Мы делаем так, предложите, как по-другому! Тогда, может быть, будем делать по-другому». Но никто не хочет вести переговоры.

А давайте зайдем с другой стороны. Сколько солдат за последние годы было переучтено в архиве министерства обороны из без вести пропавших в погибших? Я могу вам сказать. Пять! Мы каждый год рапортуем про тысячи найденных имен, но переучтено при этом пять

человек. Все остальные как числились без вести пропавшими, так и числятся. А результат нашей работы в чем? Мы подняли из одной ямы, положили в другую. При этом потратили кучу денег, кто-то получил ордена и медали. А что солдату с этого? Да ничего. Все остальные не переучтены, потому что нет общей системы учета погибших. Казанцы придумали свой протокол — и большинство его заполняет; с военкомата, который должен ставить подпись на акте захоронения и отправлять в архив этот документ, эта функция снята. От общественников же не принимают документы. Вот мы проект «Дорога домой» ведем три года. Я пытался отправлять напрямую в архив документы тех людей, которых мы отвезли на родину и похоронили. Не принимают. Общего мнения о том, как должен выглядеть этот документ, нет. Нам говорят: вы договоритесь, каким должен быть документ, на основании которого мы будем списывать с учета, тогда мы и будем списывать. Поэтому я благодарен казанцам, что они хотя бы у себя собирают то, что есть, хотя бы у них на серверах это остается: есть откуда это выдернуть, если что. А так — мы работаем для себя.

В моем понимании, большая ошибка нынешних руководителей, чиновников, — что поисковик стал таким вот рыцарем без страха и упрека: все они в болоте, из последних сил... Я не знаю ни одного человека, включая меня, которому бы это было тяжело. Надо признаться себе — нам в кайф. И некоторые из нас, не все, за то, что им в кайф, хотят еще получать какие-то привилегии. Когда я в Москве работал, ко мне приходили люди — хорошие мужики, состоявшиеся, зарабатывают, — «Дай нам денег на экспедицию». Я задаю им вопрос: «С какого переляху?» Они говорят: «Мы едем копать». Ну, езжайте. Вас что — кто-то заставляет? А сейчас совет администрации кланяется поисковику, какие они великие,

и поисковики кланяются администрации. А посередине убитые — и про них никто не говорит вообще. Ну и как это называть? Какие у меня моральные подвижки — они у каждого разные. Но мне это в кайф, и я поэтому этим занимаюсь. А государство, поставив поисковиков на пьедестал, испортило их, и многие этим пользуются: медали, ордена, значки... И получается, что, если не доведем это дело до конца — мы работаем просто для себя. Потому что нам в кайф прийти, покопаться, сделать то, что нравится, особо себя не утруждая,

и еще за это медаль получить. Ну, наверное, это нечестно по отношению к погибшим? Поэтому я не считаю, что казанцы перегибают с протоколами; я считаю, что должен быть учет.

Я изучил систему увековечения почти во всех странах бывшего Советского Союза. В моем понимании, самая правильная система в Белоруссии — там есть поисковый батальон, как у нас, только у него функции другие. Общественник не может выйти в поле без представителя батальона, этот представитель везде ставит свою подпись. Это человек, который получает государственную зарплату и несет за работу государственную ответственность. Если он что-то там накосячил, с него спросят. А у нас с кого спросят за что? Поэтому у нас что появляется: кто-то решил подделать медальон, кто-то вместо русских немцев хоронит, кто-то кладбища раскурочивает. То есть, грубо говоря, подойти и спросить не с кого. Разве что мы его можем общественно порицать. Но человеку без совести — все равно.

На что я мог повлиять, работая в РВИО, — на то я повлиял. Я хотел вернуться к системе первых советских Всесоюзных вахт памяти, когда собирали огромное количество людей, ставили им задачи, они не отвлекались на бытовые истории, их кормили-одевали-обували и показывали: вот участок, работайте. Вот я эти вахты проводил. Другой вопрос, что тогда я хотел привлечь молодежь к этому всему. Пользуясь тем, что руководству это было интересно, я начал проводить эти вахты. А оказалось, что руководству не интересно молодежи дать работу, руководству интересно, чтобы молодежи было много. И из этого в итоге сделали детский сад — приезжают непонятные люди, непонятные дети неподготовленные, они там тусуются красиво в лесу, и от этого страдает качество работы.

Если на первую экспедицию мы привезли 200 человек со всей страны, и они на месте, которое считалось выбитым-перекопанным, нашли 200 солдат за две недели, то последняя экспедиция, в которой я принимал участие — на практически нетронутом месте в Чудово 600 человек нашли 100 убитых. И мне приходилось их гонять пинками из лагерей, когда они там сидели. И я сказал, что про все это думаю и что больше не буду в этом участвовать. Я как военный видел это так — вот люди, они профессионалы, есть какое-то небольшое количество непрофессионалов, одним из условий было, что профессионалы берут с собой несколько человек нулевых, которых они считают

перспективными. Они за них отвечают и обучают их в процессе своей работы. Лагерь полностью их обеспечивает: питание, туалеты, души, то есть они ушли в восемь утра, в восемь вечера вернулись. Но вы же понимаете, большинство взрослых отрядов — это люди, которые ездят отдыхать. Которым надо накачаться, три дня пропить, два раза пойти копать, и все. Никто их не контролирует, и они так считают правильным. На Вахте это было запрещено: приехали, в восемь встали и пошли, — я им участки показывал, которые перспективными считал, а они должны были их отработать. И так получается, что сегодня один отряд покопал, за ним приехал следующий, покопался, друг с другом они информацией не делятся; что нашли, кто нашел, куда дели, — никто не знает, и каждый раз по новой начинать — ну это же сизифов труд, ходить они так долго будут друг за другом.

Но иерархии РВНО и ПДР — на равных. Изначально, мне кажется, задумывалось так, что РВНО — это общественно-государственная организация, учрежденная государством, и ей выделяют бюджет на ее деятельность. Задача РВНО — не ведение поисковой работы, а поддержка поискового движения. Дальше было создано Поисковое движение России — это люди, ресурс людской. РВНО — это материально-техническая база, деньги, ПДР — это люди. Вот когда мы работали вместе, как-то это получалось, потом перестало получаться.

Я ушел из РВНО в том числе из-за памятников. В течение года мы хоронили в Новгородской области убитых летчиков. Есть там село Славское. Мы целый год проводили экспедиции, искали самолет Маресьева, подняли, и человек девять летчиков похоронили на одном кладбище. Там помимо них еще 1500 солдат похоронено, и вот мы летчиков хоронили. Перед тем как начали хоронить, я с руководством договорился, что мы там поставим памятник в итоге, поскольку там вообще ничего не было — могилы, и все, ни памятника, ничего. Там местные поисковики заборчик поставили, а памятника не было. Мне пообещали, и было даже официальное письмо, написали в Демянский район, что поставят памятник... А потом я прочитал, что замгубернатора Новгородской области — сумасшедший какой-то — сказал, что не надо ставить памятник, потому что там людей не бывает: деревня мертвая. Давайте, мол, поставим его в Демянске. Мое руководство особо не разобралось и такие: «Да, конечно, это здорово,

потому что в самом Демянске, приедут журналисты, все это отснимут», хотя даже глава Демянского района, надо отдать должное, сказал, что не надо в Демянске памятник, надо ставить там, где похоронены люди. И вот на этой почве наши дороги разошлись, и я ушел оттуда, сказав тогдашнему исполнительному директору РВИО: «Когда-нибудь ты помрешь, 1500 человек тебя встретят и скажут: где памятник, братан?»

У нас испокон века в стране так: идеи хорошие заложены, а исполнение хромает. Я думаю, что и с ПДР так же получилось. Мне даже изначально нравилось (сейчас не нравится), когда всех загоняют в ПДР. Ну не хотят люди вступать — это их право. Другой вопрос, — почему меня многие не любят, — я открыто всем говорю, вообще запретил бы всем копать. Просто всем! Я считаю, что эта деятельность лицензионной должна быть, должны быть правила какие-то, и все должны их выполнять. Кто-то перед кем-то должен отчитываться, потому что то, что творится сейчас, — это вообще непонятно что. Причем я понимаю, что еще через пять лет будет вообще катастрофа, потому что я сейчас общаюсь с молодежью, которая приходит в поисковое движение, и надо сказать, что эти люди... Предполагается, что они прошли какой-то отбор, они что-то понимают... Я начинаю с ними разговаривать — они ничего не знают, ну то есть они не могут отличить русскую пуговицу от немецкой...

Мне вот что непонятно — когда мы это начинали, не было интернета, ничего не было, для того, чтобы что-то узнать, надо было ходить за кем-то и упрашивать, листать тысячные энциклопедии, — и мы это делали. А сейчас, если человек действительно интересуется, он может набрать в интернете и все за вечер узнать. Они этого не хотят узнавать. Вот ездят из года в год, из года в год... Как я понимаю, они хотят красиво тусоваться, вот эта история, что ты патриот и это круто, — им это начинает нравиться. Я не говорю, что все такие, но тенденция явно видна. Они приезжают, и их задача — не в лесу уработаться, а у костра посидеть, вся эта романтика, навеянная войной. Пет, их, конечно, надо воспитывать, но я это к чему: они сами не пытаются ничего изучить. Я почему говорю, что надо вводить какое-то лицензирование, потому что мы играем с чем: того гляди начнем вместо русских хоронить немцев, начнем гражданских вместо

военных хоронить... И никто за это не будет нести никакой ответственности.

Раньше все это формировалось поступательно, последовательно. А мы сейчас через несколько ступеней перепрыгиваем и тратим много. Вот как это получалось в советское время? Был Орлов, Николай Иванович, он ходил в лес, но не выносил останки — он собирал документы, потому что никому эти останки были не нужны. И писал письма, и это уникальная работа по увековечиванию памяти, потому что есть солдаты, которые перенесены из пропавших без вести в погибшие на основании писем Орлова. Нотом собрались отряды красных следопытов, куда массово пошли пионеры, молодежь, студенты, — они ходили по местам боев, и Орлов им рассказывал, что здесь было. Они тоже не ставили перед собой цель выкапывать кого-то, перехоранивать, — изучали боевой путь частей, ходили на места боев — туризм такой. Какая-то группа из них, которая была прямо упоротая и ей надо было копать, пошли к Орлову. Сами пришли и сказали: «Возьми нас, пожалуйста». Из них получились первые поисковики. А теперь мы берем массу, 700 человек, загоняем их в яму, мол, копайте, — не спрашиваем их, интересно ли это им, надо ли; они и сами не понимают, есть у них мотивация к этому или нет. Нотом они вроде как отсюда уходить не хотят, но им, например, чего-то другого хочется. Я за то, чтобы из этой массы найти специалистов, которые будут работать действительно профессионально. Не нужна эта толпа — есть огромное количество хороших добрых дел, связанных с войной, памятники те же, работа в архивах, а мы пытаемся всю эту массу в поиск загнать, где они мешают друг другу, и в итоге толку-то не будет.

На первой советской вахте задача ставилась другая, тогда была задача всех похоронить. Но если смотреть даже по законотворчеству в нашей стране — когда работали первые вахты, они действовали на основании приказа министра обороны № 0200 от 82-го года «Наставления по учету личного состава вооруженных сил СССР». Там об увековечении нет ни слова — просто описан порядок захоронения погибших и умерших. Как считаются ноги-руки-голова, далее учетная карточка рисуется, в которой пишется, сколько человек официально похоронили. Не имея другой законодательной базы, поисковикам говорили так работать, потому что возглавляли это дело военные. У

них основная задача стояла — похоронить. То есть в принципе все было известно, нужно было просто взять кости, чтобы не валялись, и похоронить, отметить, сколько человек. В девяносто, кажется, шестом году вышел закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в нем уже говорилось о том, что надо не просто похоронить, надо постараться выяснить, что это за человек. Вот дальше уже пошли эти казанские протоколы, организации... Сейчас мы уже говорим об увековечении, а не перезахоронении. Но многие из нас делают по старинке: выкопать-закопать, выкопать-закопать. Не так это, наверное, надо делать.

Я видел в работе систему протокола, которую придумали казанцы. Как это работает по координатам: вот они показывают мне карту, точечками по протоколам отмечено, где найдены убитые. Я сразу вижу, что вот тут пропуск, иду в это место и нахожу там еще убитых. Нридут дальше историки. Сколько на этом участке погибло человек? Мы понимаем, что у нас в архивах все разнится — писали одно, делали другое... Откуда они возьмут информацию? Вот мы буквально на днях с Орловым-младшим нарисовали схему котла 2-й ударной в Мясном Бору и схему коридора, по которому они выходили. Где, по его воспоминаниям, были убитые, оборона... Благо я сейчас его попросил, чтобы он все нарисовал на карте, чтобы после него это осталось. Потому что получается, что сплошной линии фронта не было. И эта 2-я ударная армия ломилась в единственное место, где немцы поставили заслон... То есть стоило уйти на пять километров в сторону, и можно было спокойно протопать до Волхова. Потому что все участки, где немцы были, — очаговые. Не было сплошной линии. Мы с Орловым тридцать раз смотрели, он еще и еще раз вспоминал, как это было, и говорил: «Сам не пойму, они ломались в одно-единственное место». Это для нас, может быть, уже и не имеет значения, а для историков-то это важно! Если это все не учитывать, не писать эти координаты, откуда они потом брать информацию будут? Опять же из архивов, которые... Ну, знаем, какие они. Мой товарищ сказал, что мы последние, кто этого солдата видел на земле. Чем больше о нем скажем, чем больше напишем, тем больше останется потомкам. И если мы поленимся написать, что он лежал вот здесь, что он лежал так-то, — значит, всё.

Вообще, в моем понимании, мы очень странная субкультура, потому что люди, которые занимаются вроде бы одним, и очень важным, делом, никак не могут между собой договориться. Выбрать какого-то одного лидера... Вот это странно. Я, когда пришел из нелегалов в легальный поиск, вообще понять не мог, что там творится. Я прекрасно понимал, что от нас хотел человек из Администрации Президента, который организовывал все это поисковое движение, ПДР. Он как чиновник говорил мне, военному, понятные слова. Пришел и сказал, мол, вас по всей стране огромное количество, Владимир Владимирович Путин сказал мне как-то наладить взаимодействие, но я же не могу к каждому прийти, возьмите и выберите сами человека, которому вы доверяете, и я буду с ним работать. А он уже будет распределять блага и т.д.

И это продолжалось три месяца. Мы собирались несметное количество раз, все переругались, передрались, кто-то ушел, кто-то пришел... И в итоге так и не договорились. И тот чиновник сказал: слушайте, я вообще первый раз вижу таких придурков, которые, делая одно и то же, не могут договориться вообще ни о чем. Поэтому я буду делать так, как считаю нужным. И вот он создал организацию, которая называется ПДР. И это вымораживает: что люди, которые одно и то же делают, не могут работать совместно. Вся эта анархия появляется, когда людям не дают делать так, как они считают правильным. В принципе, я такой же анархист и не захотел работать с государством, потому что разошелся с ним по идеологическим причинам.

Мы сейчас пытаемся приплести сюда патриотизм в таком искривленном виде — ну, в моем понимании искривленном, — пытаемся на тупиковой теме создать что-то. Как будто взяли святые мощи и ходим по стране с ними, как-то пытаемся их оживить. Это не созидательная история, это история тупиковая. Если бы моя воля была, то я бы не заставлял детей туда лезть, в эту яму с убитыми. Там пускай профессионалы работают, такие как я, Савельев, Орлов, которые уже в жизни все видели, и уже для них это не страшно, а дети пускай сверху стоят и смотрят. Главное, что те, кто работает в яме, должны говорить, что происходит и что они делают. И почему эти люди лежат в яме. Мы в том году под Питером поднимали 395 человек. Причем это не захоронение, а немцы скинули. История этого боя: наши прорвались, заняли немецкие траншеи, и немцы их

отрезали. Перебили — и в яму. Зимой дело было, они в одежде, валенки там же... И вот мы эту яму вскрыли, ровно ее зачистили, они в ней лежат абы как накиданные, и мы привезли подростков — у меня в лагере было человек пятьдесят, — и сверху я их поставил и сказал: «Смотрите, вот так выйдет война. Многие могут счесть меня сумасшедшим, но я хочу, чтобы вы посмотрели в эти глаза и чтобы они вам снились. Когда украсть захочешь или обмануть кого-то... Вот твой сверстник лежит». У многих слезы потекли... И я считаю, что этого достаточно. Не надо туда лезть. Ковырять эти кости им не надо. Постоять сверху, посмотреть — ну, наверное, достаточно. А вот если из этих пятидесяти ко мне еще раз придут двое и скажут: «Сергей Александрович, возьмите еще, мы хотим», — вот эти, возможно, пойдут до конца. Ведь те, кто начинал в 80-90-е — не все же пошли до конца, но те, кто пошел, идут всю жизнь. А было-то изначально в первую вахту три тысячи человек, одна, вторая, третья, — где все эти люди? Понятное дело, отсеялись. Те, кто остался, — делают профессионально. А мы сейчас пытаемся все туда запихать.

Наверное, я просто стал понимать, что глобально ничего не сделаю. То есть я не смогу ничего исправить. Не то что руки опустил — я понимаю, что сама система создана так, что она не хочет, чтобы что-то менялось. Потому что поменять и сделать... Ни для кого не секрет, сколько выделяется средств для поисковой работы из бюджетов области, государства, — это десятки миллионов, может быть, даже сотни, если все регионы посчитать. Если государство хочет, чтобы мы работу выполняли качественно, мы создаем в каждом регионе группу в десять человек, которая получает зарплату, у которой есть руководитель, и работает она крупный год. И говорим им: так, мужики, на этот месяц вот вам участок. Вы должны отработать его целиком, если у вас не будет сил это поднять — мы вам волонтеров даем.

Эти люди подписывают документы, несут ответственность и отвечают за то, что они делают. Мы с вами потратили меньше денег, чем выделяется общественникам, правильно? Но делать это будут профессионалы, которые будут за это отвечать. И мы будем понимать, что в Новгородской области эти люди будут делать работу еще тридцать лет. Или сорок. Или пятьдесят. Мы говорим о солдатах, это будет делаться для них: поднял Иванова, написал письмо в военкомат, похоронил, добился, чтобы его сняли с учета... Итог работы этой

группы лиц — что Иванов не без вести пропал, а погиб там-то. Рядового Иванова нашли и где-то похоронили.

Есть дела, для которых не обязательно копать. Посмотрите, сколько разрушенных памятников. Бери детей и иди восстанавливать памятники, расскажи им, кто здесь похоронен, пускай палатки поставят, научи их костер жечь, проводи по местам, где эти воронки... Им же необязательно лезть туда, в эти кости. Делаете доброе дело, ремонтируете памятники. Опять же, сколько это стоит по деньгам? Вот мы сейчас ездили, возили пацанов... В 2015 году поисковый батальон находит воинское захоронение неучтенное, необозначенное, — яму, короче, с убитыми в районе Черной Речки здесь, на Синявино. Они эксгумируют, начинается вой, что это полковое кладбище, — ну там они действительно находят медальон, появляется список погибших. А место труднодоступное, не добраться, там на «Урале» надо ехать. «Все, закопайте, не смейте трогать!» Они не хотят ругаться, закапывают останки обратно, создают паспорт захоронения, ставят памятник, на какой сил хватило, или денег, или ума, — из жести сварили фигню с надписью «Вечная слава героям!» и воткнули. А там 75 имен. И те, кто орал, — поисковики питерские, — мол, положите, мы будем ухаживать, — хоть один приехал туда, поухаживал? Нет. Я не сторонник того, чтобы идти, искать захоронения и специально переволакивать. Но когда вы уже залезли, вы уже установили этих людей, — несите их на кладбище, похороните там. А сейчас в итоге есть этот памятник, никому не нужный, неухоженный, вдалеке от людей, вряд ли кто-то когда-то туда придет.

Вот отвезли мы этих детей туда, они там порядок наводили. Час работы, прицепили табличку, покрасили, — общественно полезное для них дело; прикоснулись к войне, видели эти окопы, они узнали об этих людях, что мы могли им рассказать, — вот, пожалуйста, патриотизм, занимайтесь. И это реально не очень большие деньги. А копать — пускай профессионалы копают! Я считаю, что профессионал — это человек, который несет ответственность. Это не великий специалист... Ну, со временем, он станет специалистом, если он несет ответственность. А если человек ни за что не отвечает, он не захочет быть специалистом, ему это неинтересно. И много таких нюансов, которые меня раздражают. Вот вы приехали копать, взрослые отряды, вы встретились на боевом месте — и вы на нем бухаете. Это

что, шашлыки, блин? Грубо говоря, вы бухаете на кладбище. И никто этот момент не пресекает. Вот те, которые зарплату получают, — они бухать не будут, они работают.

У меня недавно было с ПДР то ли открытие, то ли закрытие вахты в Москве, и вот там собрались поисковики и говорят: а давайте примем решение, что не будем возить людей по домам, будем хоронить там, где нашли. Мол, путаницы много. Я сидел, слушал и говорю: «А кто вы такие вообще?» Я не бог, чтобы принимать решения, где кого хоронить, и у меня вопрос: а ты кто такой? В соответствии с законом об увековечении за все эти дела у нас отвечает глава сельского или муниципального поселения, в котором находят. Большей частью это ужасно, но по закону он за это отвечает и обязан этим заниматься. И если, например, поисковик придет и скажет: «Я хочу вот так», и если все свои эмоции и весь свой напор он направит на главу администрации, то добьется своего в итоге. А я считаю, что не имею права принимать решение, во-первых, за погибших, во-вторых, за их родственников, и, в-третьих, делать это так, как мне вздумается. Есть закон — надо делать в рамках закона. Если уже не получается в рамках закона — искать какие-то варианты.

Из-за чего у нас с Морозовым конфликт был? Он сложил 400 человек валом и говорил, что не даст их перезахоронить. Я говорю: «Почему?» — «Потому что я хочу, чтобы они были здесь». Почему Морозов должен хоронить там, где он хочет, а не там, где положено по закону? Хорошо, вот я сейчас выкопаю 200 человек и скажу, что хочу их вот тут похоронить. Кто я такой-то, чтобы решать? Закон может быть несовершенен, но это закон. Если ты не согласен — иди, опротестовывай, но не принимай решение самовольно. Это мое мнение. Вообще, я считаю, что последняя инстанция — родственники без вести пропавших, вот у них и надо спрашивать, мы ради них это делаем.

Когда ко мне приходят: двоих выкопали, одного определили, но не разделили останки, и говорят: «Давайте отвезем домой», — я не повезу. Хороните там, где нашли. Я многих вещей объяснить не могу, просто чувствую подсознательно, что это неправильно. Я, когда проект «Дорога домой» начинал, думал: надо, не надо, возить, не возить? Мнения-то разные, многие говорят, что надо хоронить с товарищами. Мы уже когда поехали, привезли в Кострому мужика,

там деревня какая-то... Тыловые регионы — они же не разрушены войной, и дом сохранился, откуда он на войну выходил. Хоронили на деревенском кладбище, такой красивый сосновый бор, речка течет, мать его рядом лежит. И когда хоронили, мне как в голову кто-то постучал: а ты где бы хотел лежать? Там, где тебя разорвало в клочья, где ты ничего, кроме страха, не видел, или там, где твое детство прошло?

Мне один мужик сказал, он, хоть образования никакого не имел, но мозг у него пытливый, и он все время зачищал солдат по правилам археологии, долго-долго с ними возился и говорил: видишь, смотри, как он бежал. Туда бежал, вот это нес, вот это вот здесь было... Описывал эту всю картину. А я тогда говорил: Вася, да что мы время тут теряем, пошли еще что-нибудь откопаем. Нет, говорит, это же кто? Это человек. Вот как перестанешь видеть человека и будешь видеть кости — завязывай с этим делом. Я же, говорит, в них людей вижу.

Мне его слова в голову запали, и я представляю: вот мы берем Васю Иванова, а с ним Петрова и Сидорова. И везем к Васе Иванову домой, куда-нибудь в Сибирь. А те двое говорят: а чего в Сибирь-то? Мы не из Сибири, мы из Узбекистана. Кстати, когда ставишь себя на их место — думаешь, что они живые, — многие вопросы проще решать. Как бы ты повел себя на их месте? Или они на твоём?

Помню, мы солдата нашли подо Ржевом с Ольховским: Волгу форсировали, и он шел наверх, на немецкую траншею. Там почти восемьдесят градусов обрыв, и еще, по воспоминаниям, он был льдом покрыт, немцы водой залили. Он шел на немецкий пулемет, вот прямо над ним он был, не дошел метров десять. И когда мы его вынесли, я сел и думаю: у человека есть чувство самосохранения, — смог бы я идти на пулемет, понимая, что вот он, без вариантов? И я, офицер, который двадцать пять лет отслужил, не смог себе ответить. Мне кажется, должна быть какая-то сверхидея, сверхпонимание того, что это надо сделать. Потом я оценивал: может быть, это бессмысленно, а как — бессмысленно? Ведь он пулемет отвлек на себя на секунду, а кто-то рядом прибежал, дополз, добрался. Может, этот мужик потом до Берлина дошел. Все эти грани тонкие, и я стараюсь понять это более глубоко, не с точки зрения «копать-откопать-перекопать», даже уже не увековечение, а понять вообще смысл.

Мы вот детей научили, что мы отдаем долг. Я одного мальчика спрашиваю: «Мальчик, вот ты сейчас выкопашь, похоронишь, — ты считаешь, долг отдан?» — «Ну да». Как можно отдать долг? Если ты берешь рубль, надо рубль вернуть. А они отдали жизнь — как им долг отдать? Своим копанием мы долг этот можем только осознать. Насколько им было тяжело, смогли бы мы, не смогли бы. Иди поживи в Мясном Бору две недели весной — это просто трындец. Даже имея палатки, спальники... Мы месяц там жили на вахте — и уже крыша ехала у всех, потому что это постоянная сырость, чмокает все, везде эта вода... А они там полгода просидели — голодные, холодные, костер не зажечь. Вот как это?

Я вот что стал замечать — мы какие лозунги используем, говоря о войне? «Никто не забыт, ничто не забыто», «Номним». Эти слова, которые говорили те, кто воевал. Они себе говорили: «Номним». Нам, чтобы помнить, надо знать. Кто-то из нас знает, а кто-то и не знает, дети вообще ничего не знают про войну. Что им помнить? А мы пользуемся старыми лозунгами, новые не придумали, поэтому и получается все криво-косо.

За последние года, наверное, четыре еще больше все запуталось — с появлением новых людей каких-то все еще усугубилось, и вообще сейчас... Раньше худо-бедно, но люди общались между собой, не так много было поисковиков, где-то через кого-то все друг друга знали, даже если что-то криво шло, можно было через посредника выйти, договориться. А сейчас это движение просто огромное, очень много молодых, и понять, что они делают и как с ними договариваться, невозможно. Есть ПДР, есть ДОСААФ, есть РВИО — то есть крупные организации, есть невошедшие поисковики, есть огромное количество чернокопов-монетчиков, которые просто затесались как поисковики, а ходят свои какие-то вопросы решать, — и они тоже игроки на этой арене. Чтобы все это объединить, надо во всем этом разобраться, а единственный вариант в этом разобраться — просто запретить копать на какое-то время, и потом уже, выработав какие-то критерии, «выпускать по одному».

Я в Белоруссии копал — с нами мужик идет, который нас ведет на место (он там нашел убитых): меня, военкома и представителя двух батальонов. Вот мы уже выкапываем этих убитых, я говорю ему: «Что ты вокруг нас бегаешь? Иди вон туда, может, что найдешь». Он

говорит: «Нет, меня поймают». Я говорю: «Чего поймают, представитель батальона с нами». — «Я даже крикнуть не успею». — «В смысле?» — «В смысле, если меня заметят и сдадут в милицию, мне не дадут крикнуть, заберут просто». И там, если тебя поймают, там реально срок сразу. А все местные жители, которые чужака с минником видят, сразу — на телефон.

В министерстве обороны есть экспедиционный центр под эти все дела, 90-й батальон поисковый, — он во Мге стоит. Им уже одиннадцать лет. Последние лет пять они даже стали солдат призывать: если поисковый отряд хочет, чтобы их пацана призвали, — они определенные бумажки заполняют, и он в этом батальоне служит. Генерал Кирилин этот батальон придумал. Я с ними работаю, постоянно беру в помощь. Вообще, как я понимаю, и в ДОССАФ, и в РВИО уставы писались с целью, чтобы Министерство обороны им передало эти полномочия. Так написано в уставах, во всяком случае. В законе как написано: Министерство обороны вправе полностью передать свои функции организациям, которые им учреждены. И РВИО, и ДОСААФ, у них соучредитель — министерство обороны. У ДОССАФ были какие-то поисковые отряды, даже люди на зарплате... Потом что-то пошло не так. Кто их знает? Настолько все это сейчас запутано. Когда все начиналось, было четко и понятно: есть задачи, есть люди, их немного, даже 3 000 человек на первой Вахте — для Советского Союза это фигня. Они все друг друга знали, до сих пор многие общаются. А сейчас в одном ПДР 42 000 человек волонтеров. Ты к ним уже даже через кого-то не пробыешься: что он делает, как они копают, что копают? А если еще учесть досаафовские отряды, еще какие-то отряды, просто люди сами по себе копают... Вообще неразбериха, кто что делает.

Сейчас я работаю в частном музее «Битва за Ленинград» имени Зиновия Балабанова. Музей содержится на частные средства, и человек, который этим занимается, — хозяин музея, — он в свое время не то чтобы был поисковиком, но много лет провел в Мясном Бору, в 90-е годы еще. Трагедия 2-й ударной его сильно зацепила, и мы сейчас создали группу такую, — наверное, то, о чем мечтал в свое время Орлов, и я мечтал, — у нас есть десять человек на зарплате, которые занимаются поиском, скорее даже разведкой местности, изучением боевых действий. Когда находим убитых, приглашаем

поисковый отряд. Все, что находим на полях сражений, приносим в мастерскую музея. То, что можно отреставрировать, — реставрируется, то, что нельзя, — все равно остается в качестве экспоната, и на протяжении уже четырех лет мы так работаем. География — в основном Новгородская и Ленинградская области, но, если поступает информация, — неограниченная. Куда надо, туда и едем. Надо понимать, что многие поисковые отряды не обладают материально-технической базой. У нас есть и гусеничная техника, и вездеходная. Знакомые мужики говорят про место, куда не могут добраться, — поехали, их отвезли, место обследовали, убитых нашли. Интересно, что в каждом регионе условия поиска разные — кто-то с хлопушками ищет, в Карелии мужики ходят с миноискателями, они щупами не ищут, а в Мясном Бору новгородцы все с этими верховыми щупами. Где-то глубинными щупами не работают: они поверху все собрали, а на глубины не лезли. Туда едем с глубинниками.

Почему для меня все это железо дорого? Не потому, что мы его продаем где-то, мы ни одной вещи не продали. Наш руководитель сказал: что пересекло забор музея, обратно ни в каком виде не попадет. Мы же понимаем, что ветеранов ВОВ все меньше, уже нет людей, которые об этом рассказать могут. Мемуары — это одно, а вот у нас стоит танк — мы всю его историю разузнали, и он сам про себя может рассказать. Это такие железные свидетели. Они-то навечно останутся, я на это очень надеюсь.

Чтобы лезть в политику, уже и возраст не тот... И уже неохота. Пробовал, не очень получилось, — тратить нервы не хочется. Я уверен, что те же люди, которые сейчас в руководстве всех этих больших организаций стоят, — они тоже несамостоятельны. Как им говорят, они так и делают. Когда начались сложности? Когда появились деньги. Потому что появились обиженные: кому-то много дали, кому-то мало. На примере «Долины» смотрю: есть отряды, которым деньги дают, есть такие, которым не дают... У руководства есть объяснение, но людям никогда этого не объяснишь. Когда все в равных условиях, все волонтеры, — мы все одинаково работаем, кто-то лучше, кто-то хуже, но мы за это ничего не получаем. А когда вроде волонтер, но «на тебе за бензин деньги, а вот этому не дам», даже если я объясню, почему не дал денег, он все равно обидится. Я хотел добиться того, чтобы не давать живые деньги, а организовать все

условия: вот тебе сваренная каша, теплый туалет, палатка, — все, иди работай. И тогда понятно, кто здесь турист, когда начинается «я так не хочу, хочу делать, как считаю нужным». Ну и ясно, что ты здесь не для того, чтобы выполнять задачу, — ты приехал отдыхать. А когда появляются деньги, это уже... Не то что люди такие плохие, просто это, наверное, у каждого человека в крови.

У нашего руководителя есть проект «Дорога домой», который я веду. Если бы не этот проект, я бы, наверное, уже отошел от поиска. Когда садишься в машину, приезжаешь к кому-то домой... Я называю ее «Машина совести». Лежит мужик, ты едешь по стране и смотришь, везешь его куда-нибудь в Башкирию, думаешь: «Какие горы красивые, ему, наверное, понравится», или видишь деревню заброшенную, думаешь: «Как мы это допустили», а когда домой его привозишь, его потом через всю деревню на руках несут, и люди искренне плачут, — и тогда понимаешь, что не бросишь это, останешься ради этих людей. А когда приходишь и видишь, что вот ты его выкапывал...

У меня до сих пор перед глазами прошлогодний случай: нашли танкиста, в яму был сброшен. У него медальон был, ложка подписная, вещи сохранились. Потом его фамилию пробили: в 41-м году его представляли к ордену Красной Звезды. И, при том что в 41-м все награды снижали: вместо ордена — медаль, вместо медали — «спасибо», — ему повысили статус награды в штабе фронта, вместо Красной Звезды дали Боевого Красного Знамени. Для тех времен это нечто, к представлению терминатор какой-то должен быть. И вот мы его доставали, вещи все сохранились, серьезный такой дядька: один нож в одном валенке, второй нож в другом, тут одна кобура, тут вторая, гранаты... И нашли его родню в Нитере. Они даже дверь не открыли. Мы-то думали, что они должны настолько гордиться таким родственником! А им просто неинтересно. От них-то ничего не требуется: ну, просим что-то рассказать про погибшего, фотографии какие-то. А они от него отказались.

А тут я недавно новую историю слышал, мол, кто-то наверху сказал, что наша работа уже не имеет социального заказа! То есть все меньше людей, которым это интересно. И поэтому, мол, зачем нас поддерживать. Не напрямую так сказал, но это прозвучало. И, имея какой-то опыт этой работы, я понимаю, что действительно уменьшается социальный заказ. В моем понимании, в этом есть вина

государства. Мы живем в мире, который сформирован по итогам Второй мировой войны. Почему военная история России больше других подвержена фальсификации, все ее пытаются изменить, перевернуть? Потому что преследуется в первую очередь такая цель: если мы сейчас объявим, что Советский Союз и Гитлер — это одно и то же, то через надцать лет можно сказать: «Пацаны, отдайте Калининград». И те, кто придет к власти через двадцать-тридцать лет, школьники теперешние, — они, не зная этой истории или зная ее так, как им диктуют, согласятся.

Это должен быть не социальный заказ, это должен быть заказ государства — сохранить свою историю. Петр Тодоровский сказал, что истории страны нет, есть биографии. Если вдуматься, почему бьемся за сохранение своей истории, — потому что у нас истории в семьях не сохранены. Если бы в каждой семье сохранили бы свою историю, не надо было бы бороться за историю страны. Потому что любой ребенок знал бы: вот мой дедушка, он воевал, дошел до Берлина, а фашисты его там сожгли в танке в 45-м году. Мы пытаемся сохранить историю страны, не имея истории в семьях. Почему эти люди (я о них вообще без пафоса говорю), каждый этот солдат, каждая эта фамилия, — они заново в строй встают? Потому что, когда он до дома доезжает, про него там зачастую уже забыли. По есть нормальные люди, которые пусть не помнили и не знали, но вот привезли, и целый пласт истории в их семью вернулся. Буквально два дня назад из Пижнего Тагила приезжал замглавы администрации сельского поселения. Па машине приперся оттуда за мужиком, просто его земляк. Сказал: «Всех заберу, кого найдете. Приеду и заберу». Мать этого погибшего похоронена рядом с его матерью, а так он ему никто. По теперь все в этом сельском поселении будут знать этого мужика. Может, кто-то послушает, сохранится история.

Иногда хочется на все рукой махнуть — уйти и заниматься тем, что нравится, вот сели втроем, съездили, покопали, отдохнули и вернулись. Что такое вечность? Дорога в вечность есть, если люди будут помнить. Это же не какие-то пафосные истории. Мы говорим про Кутузова, который был в 1812 году, — значит, он жив, его родственники гордятся, что он был вообще. И даже если я пишу про солдата, имя которого я не знаю, — если кто-то прочитал, наверное, я ему какую-то надежду на дорогу в вечность дал. Вот я думаю о своем

поколении, о людях, которым сейчас сорок пять — пятьдесят лет. Мой дед родину отстоял, всю войну прошел. Мой отец — они страну восстановили, в космос полетели, чего только ни построили. А мы, кто родился в 70-е, что сделали? Советский Союз мы просрали, Россию строим худо-бедно... И вот я думаю, что, может быть, наш единственный шанс в историю войти — это тем, кто за нами пришел, рассказать про предшественников.

Изначально для меня обоснование того, что копать надо сейчас, — в том, что все разрушается, все меньше становится артефактов. Но сейчас уже нет лекарства от этой болезни, я не знаю, что правильно. То ли сейчас копать как есть, потому что уходят бумаги, уходит железо, теряем имена. То ли не копать и ждать, когда придут профессионалы. Потому что профессионалы с их подходом все-таки больше установят информации, они будут это делать, наверное, как-то более грамотно. Как правильно — я не знаю. Мы стояли в этом году в Мясном Бору лагерем, 9 мая в лесу отмечали. Был полный лагерь народу, мы сидим с Орловым, а у нас там 113 человек в мешках лежит убитых. И каждый день мимо них проходят дети. Копать выходят — отряды, банды, группы... И вот мы на этих убитых смотрим, я говорю: представь, 113 человек в строю стоят. Орлов говорит, что его отец все время считал их, представлял, как рота стоит с винтовками, с автоматами, как много людей. А молодежь проходит, и для них это просто мешки... Я не знаю, это хорошо или плохо.

Мы с Орловым обсуждали, почему он находит всегда. Потому что он идет, как на войне прямо сейчас, для него это не просто выбоины какие-то — рядом с ним солдаты, машины проезжают, вон там снаряд взорвался. Он живет войной, поэтому он идет — ничего не предвещает, он туда тыкнул, а там кто-то есть. А молодых спрашиваю: «Вы что видите вокруг себя?» — «Красивый лес, птички поют». И это, наверное, хорошо! Они не должны, может быть, эту войну видеть, но тогда, вероятно, они и заниматься этим не должны. Для них что-то другое нужно. Поэтому я не могу тебе сейчас сказать, что правильнее, копать сейчас или ждать. Я сам уже запутался, что правильнее. Я пойду по этому пути до конца. А вот надо ли, чтобы кто-то за мной шел по этому пути, — я не знаю.

Мы с Савельевым обсуждали, что война — это тупиковая версия. Па ней нельзя созидать. Если мы хотим, чтобы молодежь созидала, то

это не то. Наверное, мы должны им рассказать, что война — это страшно, показать, насколько она страшная, и объяснить, что надо сделать, чтобы ее не было. Я считаю, что мир в стране возможен только при одном условии — когда эта страна будет сильной. У нас никогда не будет друзей, мы можем только внушать страх своей мощью, чтобы к нам не лезли. Я всегда это оцениваю с такой точки зрения: вот представь, 27 000 000 человек мы потеряли в годы Великой Отечественной войны. Открываем статистику: это кто? Это самые активные люди, 23-24-го года рождения. Их не стало. Теперь представляем, что бы с этой страной было, если бы они остались живы. Если бы они просто ходили на завод и каждый день что-то производили, а кто-то, может быть, придумал бы вакцину от рака. А если вспомнить дивизии народного ополчения, в которых весь свет науки и культуры лег, то просто представляем, какая бы сейчас была страна. Да мы бы на Марсе жили. А их не стало.

И я понял, почему меня не то что неправильно воспитывали — мне недоговаривали какие-то вещи, наверное, в расчете на то, что я сам это пойму. Мне всегда говорили: надо хорошо учиться, чтобы поступить в военное училище. Училище надо хорошо закончить, чтобы стать генералом. А зачем мне надо было становиться генералом — наверное, мои родители думали, что я сам пойму. Мне надо было достичь каких-то высот, чтобы влиять на обстановку в стране, в мире, и делать максимум возможного. За себя и за того парня, которого нет. Вот если прожить одну жизнь, как две, тогда ты, наверное, долг отдашь. Есть такое высказывание, что традиция — это не передача пепла, а раздувание огня. Вот мы сейчас пытаемся поклоняться пеплу. Нам надо их огонь сделать больше, а мы просто поклоняемся пеплу. День Победы, ну и что День Победы? «Это наша победа». Это не наша победа, это их победа.

Но я не знаю, как раздуть этот огонь. Я уже сломал голову, как это сделать. Может быть, больше говорить, больше рассказывать. Опять же, возвращаясь к погибшим: я смотрел хронику похорон солдата во время войны. И там все товарищи говорят о нем. Никто не говорит о командире дивизии, про командира роты... Все говорят об этом человеке. И, посмотрев этот маленький кусочек, я уже его люблю, этого человека. А мы хороним Иванова, а говорим о каких-то объемных вещах, которые в голове не у каждого поместятся. Может,

надо говорить про Иванова? Может, это и есть передача огня? Рассказать, за что они воевали, почему так произошло... Безусловно, он был, этот огонь, мы это понимаем, но как его передать дальше — кабы знать.

Если копнуть глубже, мы почему едем в лес? Потому что нам там, с ними — комфортно. Потому что мы понимаем, что они были настоящие. И мы вокруг себя собираем людей, которых считаем более-менее настоящими, отряды между собой могут не дружить, но внутри себя они дружат. И мы создали себе эту субкультуру, в которой нам приятно, потому что там еще вот те, их законы действуют. Если честный — то честный, если корявый — корявый, в лесу сразу видно.

Мы в Брестской крепости копали, прямо возле казармы 33-го полка. Вычислили большую воронку с убитыми, берем ее, а Петя Пицко показывает, что где-то рядом лежат еще ребенок и женщина. Я говорю: это откуда такие точные данные? Пу, мол, какие-то воспоминания. Я посмотрел раскоп: нет ничего такого. Два с половиной метра шурф забили — нет ничего. Привели какого-то мужика, тот ходил-ходил и говорит: подвиньтесь на пятьдесят сантиметров в ту сторону. Петя говорит: «Ты кто?» — «Экстрасенс». — «Иди нафиг отсюда!» А меня что подкупило — он не настаивал и ушел. А солдат попробовал там копать, выходит через двадцать минут и говорит — кости. Раскапываем — женщина и ребенок. Я говорю: веди его назад. Он пришел, ну, человек нам непонятный, я ему задаю вопросы, мы с ним долго общались, он говорит: «Я их вижу». Говорю: «Хорошо, раз ты их видишь, скажи — надо этим заниматься или нет?» — «А ты как считаешь?» — «Я считаю, что надо». Он говорит: «Понимаешь, то, что вы выкапываете, — это как старый пиджак. Человек его снял, оставил, и душа ушла. С этим пиджаком поступай так, как тебе совесть позволит, — хозяин рядом стоит, смотрит. Ему, в принципе, уже все равно». То, что мы должны его запомнить и дальше передать этот огонь, — наверное, вот это главное.

Я проводил детский лагерь, не поисковый, просто детский патриотический лагерь. Мне надо было куда-то уехать, и я кому-то поручил показать детям фильм «Иди и смотри». Я приехал — никто не досмотрел, на двадцатой минуте все разбежались. В этом году повез такую же группу того же возраста в Брестскую крепость, они там жили неделю, и им я тоже показывал «Иди и смотри». Я им

сначала час рассказывал, про что это фильм, Петя три дня водил их по Брестской крепости, рассказывал, что там было, то есть мы их подготовили, — и они сидели и плакали, смотря этот фильм. Когда неделя закончилась, они сказали, что одним из самых ярких впечатлений было посмотреть «Иди и смотри».

Я это к чему. У нас огромное количество советских фильмов о войне, в которых снимались ветераны, по сценариям, которые писали ветераны. Дети их не смотрят, потому что считают старьем. Но если им рассказать, что там, — они будут смотреть. А мы пытаемся это заменить каким-то... Мы не можем сейчас снять правды, хоть мы усремся. При всех технических возможностях и прочем — снимают люди, которое это уже не чувствуют. Как Орлов идет по лесу, и он чувствует войну, а рядом с ним идет поисковик, и ему еще только учиться чувствовать. Вот так и люди, которые снимают эти фильмы, не чувствуют войну. У меня нет отвращения к фильму «28 панфиловцев», но я лучше три раза посмотрю «Живые и мертвые» или «Иди и смотри».

БЛАГОДАРНОСТИ

Я хотел бы поблагодарить за помощь в издании этой книги Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники» и лично Чолпон Бейшеналиеву, Сергея Мохова, Симона Кордонского, Александра Клячина; коллектив книжного магазина «Фаланстер», а также всех моих собеседников, их родственников и друзей.

Отдельное спасибо тем людям, без которых эта книга вряд ли была бы возможна: Григорию, Лидии, Ивану и Петру Ивановичу Аксеновым, Катерине Ивановой, Александру Назарову, Дарье Ширяевой, Николаю Владимировичу Патрушеву, Татьяне Борисовне Диановой, Дмитрию Спиридоновичу Попандопуло и младшему лейтенанту Вениамину Николаевичу Гришину.

Ф.Д.

Редакторы — Юлия Шокова, Мария Глушкова, Федор Деревянкин
Корректор — Дарья Полковая
Выпускающий редактор — Полина Канюкова
Оформление — Евгения Ставицкая

Подписано в печать 09.05.2020
Формат 70х100/16
Тираж 1500 экз.

notes

Примечания

«Значкисты», т.е. те, кого в первую очередь интересуют военные знаки отличия и вещи, а не останки.

Вернисаж в Измайлово» — одно из самых популярных мест сбыта предметов атрибутики и вооружения, в том числе выкопанных на местах боев времен Великой Отечественной войны.

Общероссийская организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту».

«Союз поисковых отрядов России».

«Юнармия» — добровольное российское детско-юношеское движение.

Гнездилово — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области, в окрестностях которой большую часть времени проработал Владимир Донатович Богомоллов и его поисковые отряды; Гнездиловские высоты — возвышенность в окрестностях деревни Гнездилово, на которой во время Великой Отечественной войны находился крупный немецкий оборонительный пункт. Сегодня на высотах расположен мемориал воинам, освобождавшим данный район, который является памятником федерального значения.

7

Имеется в виду нагрудный отличительный знак «Гвардия».

Т.е. обнаружил останки.

Не добрать, недобор — оставшиеся после раскопа в земле останки и личные вещи погибшего.

Верховые — бойцы, которые после гибели остались лежать на поверхности земли, не были захоронены. В большинстве случаев, глубина залегания их останков — не более одного метра.

Существует нескольких региональных поисковых отрядов с таким названием, скорее всего, в данном случае имеется в виду отряд из Снас-Деменска.

Один из немногих найденных В. Д. Богомоловым бойцов, у которого удалось установить имя и найти родственников.

Т.е. в музей на Поклонной горе.

Пистолет-пулемет Шпагина.

Т.е. штык от самозарядной винтовки Токарева.

Долговременная огневая точка.

Зайцева гора — господствующая высота в Калужской области, на которой находился немецкий опорный пункт. Неоднократно безуспешно штурмовался советскими войсками, был взорван с помощью подкопа.

Т.е. фирмы «Золингер» («Solinger»).

Т.е. проверь металлоискателем.

Теллермина 42 (Tellermine 42, Т.Ми.42) — мина противотанковая противогусеничная. Предназначена для выведения из строя колесной или гусеничной техники противника.

Речь идет про 2019 год.

Комитет по делам молодежи.

Марка пулеметов, производившихся французской промышленной компанией «Hotchkiss et Cie».

Движение национального освобождения.

Т.е. утеряны.

Полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 мм.

Деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.

Щуп — один из основных поисковых инструментов, обычно представляет собой длинный металлический прут с рукоятью, которым пробивают землю.

См. стр. 42.

«Чернить», т.е. заниматься «черной археологией»: искать военные артефакты, а не останки бойцов.

ИМП-2 — индукционный миноискатель полупроводниковый. Советский общевойсковой миноискатель, предназначенный для поиска противотанковых и противопехотных мин. Разработан в 1970-е годы.

Garrett Ace — линейка одной из самых распространенных моделей современных металлоискателей.

Марка металлоискателя.

Участники бронницкого поискового отряда «Беркут».

По аналогии с «Пикником на обочине» Стругацких, хабарщики — те, кто интересуется артефактами, оставшимися в местах боевых действий.

Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями.

Поселок городского типа в Курской области.

Временное захоронение. Место, где останки хоронятся до торжественного захоронения на мемориале.

Деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.

На самом деле, стихотворение И.Л. Дегена «Мой товарищ» звучит несколько иначе:

«Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит».

В книге герои по-разному называют металлоискатель: минак, металлик, миноискатель.

СВТ — самозарядная винтовка Токарева.

ППШ — пистолет-пулемет Шпагина.

Противопехотная осколочная ручная граната дистанционного типа.

РГ-42 — противопехотная осколочная ручная граната дистанционного действия наступательного типа.

Химическое соединение $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, соль азотистоводородной кислоты. Азид свинца неустойчив и склонен к взрывному разложению.

Город в Тверской области.

За ранение (нем. Verwundetenabzeichen) — немецкий нагрудный знак, награждение которым производилось в течение Второй мировой войны.

Кличка одного из поисковиков, работавших с Владимиром Донатовичем.

«Дозор» — военно-поисковый отряд, созданный в 1970-е годы московскими педагогами Олегом Всеволодовичем и Аркадией Константиновной Лишиными.

Село в Красногорском районе Московской области.

Николай Лишин — поисковик, педагог, руководитель отряда «Долг». Подробнее об этом см. в рассказе Виктора и Натальи Морозовых, стр. 298, 300.

Село в Вяземском районе Смоленской области.

Повесть Александра Бека, написана в 1942-1944 гг.

Село в Волоколамском районе Московской области.

Разновидность зимних сапог.

Сергей Васильев, фермер, поисковик, живет в деревне Клетки Волоколамского района. Монолог Сергея см. стр. 186.

Бауыржан Момышулы (1910-1982) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, панфиловец, участник битвы за Москву, прототип главного героя романа Александра Бека «Волоколамское шоссе».

Деревня в Волоколамском районе Московской области.

Юрий Семенович Белаш (1920-1980) — поэт, участник Великой Отечественной войны.

Деревня в городском округе Красногорск Московской области.

Речь идет о фильме «Мы из будущего» (2008, реж. Андрей Малюков) [смотреть не рекомендуется. — *Прим. ред.*].

На момент сдачи книги в печать судьба имен, которые пытались вернуть на памятник Лишины, осталась без изменений.

Поселок станции в Волоколамском районе Московской области.

Вячеслав Леонидович Кондратьев (1920-1993) — фронтовик, писатель, автор повестей «Сашка», «Борькины пути-дороги», «Отпуск по ранению» и др.

Речь идет об архиве аудиокассет: в 1993 году Лишины решили написать свою историю военного поиска, начали опрашивать знакомых поисковиков об их деятельности. Идея поисковиков, попросивших Лишиных заняться подобной работой, заключалась в том, чтобы передавать их постепенно из одного региона в другой, от поисковика к поисковику, однако на деле по-настоящему подробно получилось опросить только мурманских поисковиков.

«Бог с нами» (нем.); такая надпись была на ременных пряжках солдат Вермахта.

Очевидно, имеется в виду Александр Иванович Орлов, младший брат Николая Ивановича Орлова. Его рассказ см. на стр. 481.

Рассказы участников «Снежного десанта» Михаила Черепанова и Владимира Ерхова см на. стр. 524.

Муса Джалиль (1906-1944) — татарский поэт, корреспондент газеты «Отвага» 2-й ударной армии Волховского фронта, старший политрук, Герой Советского Союза. В 1942 году попал в плен. Находясь в концлагере в Шпандау, организовал группу, которая должна была готовить побег. В августе 1943-го арестован гестапо, 25 августа 1944 года казнен в тюрьме Плётцензее в Берлине.

Юрий Робертович Барановский, ветеран 2-й ударной армии. Один из первых начал водить школьников на места боев Панфиловской дивизии и хоронить убитых. Подробнее про Ю. Р. Барановского см.: Это нужно живым. Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки. М., 2019. С. 59.

Социально-педагогический клуб при МГПИ им. В. И. Ленина.

Игорь Петрович Иванов — доктор педагогических наук, создатель КЮФа (Коммуны юных фрунзенцев). См. подробнее: Димке Д. Незабываемое будущее. Советская педагогическая утопия 1960-х годов. М., 2018.

Дружище Тобик: рассказы о собаках. М.: Дет. лит., 1971. 207 с.

Рассказ называется «Жулик».

«Разум против безумия». Журнал «Дружба народов». № 4, 1993.
Рубрика «Как на духу»

См., например, историю Александра Николаевича Орлова про Нагорный Карабах, стр. 408.

Валентин Дмитриевич Берестов (1928-1998) — писатель, переводчик, поэт, писал для взрослых и детей.

«Куриная» роща, роща Курица — так еще в войну Кондратьев и его сослуживцы называли лесной массив между несколькими деревнями подо Ржевом, так как он на топографических картах напоминает курицу. Именно в этих местах происходят действия известного рассказа Вячеслава Кондратьева «Сашка». «Куриной» рощу до сих пор называют многие поисковики и местные жители, также ее часто называют «Кондратьевской».

Фильм «Привет с фронта» (реж. Иван Киасашвили, 1983).

Рассказ называется «Привет с фронта».

Татяна Ивановна Александрова (1929-1983) — писательница, художница, автор сказки о домовенке Кузе.

Наум Моисеевич Коржавин (1925-2018) — поэт, драматург, переводчик, прозаик- публицист.

По сюжету повести «Сашка», главный герой пообещал пленному немцу, что его не расстреляют, о чем рассказал своему комбату. Тот, изначально настаивавший на расстреле, изменил свое решение и приказал отвести пленного в штаб бригады.

«Деревни русские» (1961) — одно из немногочисленных стихотворных произведений В. Л. Кондратьева.

Речь идет о тех, кто ушел на войну студентами и доучивался в Литературном институте им. Горького уже после ее окончания, в один год.

Город в Тверской области.

Александр Баташев — супруг Татьяны Сергеевой.

Немецкий смертный жетон (медальон) — круглая пластина из алюминия, цинкового сплава или стали, перфорированная посередине. На жетоне указывались сокращенное название части, личный номер и группа крови. В случае гибели владельца половина жетона оставалась на теле, вторую отламывали и забирали в штаб для учета.

Одна из деревень, рядом с которыми воевал Вячеслав Кондратьев в 1942 году.

Владимир Алексеевич Конкин (род. в 1951 г.) — актер театра и кино.

Следующий за этим разговором монолог Татьяны Сергеевой, записанный отдельно, стал логичным продолжением этой беседы: если в совместном с Аркадией Константиновной рассказе речь шла преимущественно о событиях, хронологии и именах, то одна Татьяна говорила скорее про цели, смыслы и результаты их деятельности, подводила некоторые итоги.

В 1993 году во время водного похода в Вологодской области погибли супруг и трое детей Татьяны Сергеевой. Нашли только тела супруга и дочери. Поисковые работы продолжались месяц. «Берег» — позывной, которым пользовались все это время спасатели.

История новлянской могилы — см. стр. 94, 103.

Партизанская бригада Григорьева — летом 1942 года 1-я партизанская бригада под руководством Ивана Григорьева совершила поход в тыл врага, продолжавшийся 57 дней.

Михаил Черепанов — один из руководителей казанского отряда «Снежный десант». Разговор с ним см. стр. 524.

Гусаров Д.Я. За чертой милосердия: Роман-хроника.
Петрозаводск, 1977.

Имеется в виду брат Олега Всеволодовича Лишина, о котором речь идет выше, на стр. 133.

Вечером 31 августа 1942 года на восточном берегу оз. Ондозера, в Каллиогубе, был подготовлен отряд десантников 85-й морской стрелковой бригады в составе 140 человек для отправки на захваченный противником западный берег озера. 2 сентября десант был взят в окружение финнами. В течение двенадцати часов неравного боя отряд был уничтожен. В живых осталось лишь четверо бойцов: трое из них тяжелоранеными были взяты в плен финнами, четвертого — И. А. Мочихина, также тяжелораненого, подобрали в лодке на озере наши солдаты.

Смирнов Юрий Алексеевич — председатель правления «Союза Поисковых Отрядов». Рассказ Юрия Смирнова о его деятельности см. на стр. 620.

Елена Ржевская — русская писательница, участница Великой Отечественной войны. Во время штурма Берлина в звании лейтенанта участвовала в поисках Гитлера, в проведении опознания и расследовании обстоятельств его самоубийства.

Лишин О. В., Лишина А. К. Это нужно живым. М.: Издание московского военно-поискового отряда «Дозор», 2019. С. 17.

См. стр. 101.

Владимир Петрович Демидов — поисковик, «дозоровец», позже руководитель отряда «Метод».

Поэт Юрий Белаш получил письмо от Олега Всеволодовича Лишина через редакцию, в которой публиковался, пошел по адресу, указанному Лишиным на конверте. В тот момент дома Лишиных не было, поэтому Белаш ушел, оставив журнал «Знамя» со своими стихами и подписью: «Супругам Лишиным — читателям, ради которых и стоит писать стихи, во всяком случае — о войне. 2 ноября 1986 г. Москва. Юрий Белаш». Познакомиться лично им так и не удалось.

Виктор Николаевич Сорока-Росинский (1882-1960) — российский и советский педагог, основатель известной Школы-коммуны для трудновоспитуемых подростков им. Ф.М. Достоевского (Республика ШКИД). В одноименной повести Григория Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД» был выведен под прозвищем «Викниксор».

Речь идет о книге Б.С. Горбачевского «Ржевская мясорубка. Выжить в аду».

«Бессмертный барак» — общественный проект по сохранению памяти о советском периоде репрессий, голода, депортаций народов, а также массовых расстрелах по спискам.

Кислотить — применять кислоту для удаления ржавчины.

Ручная противопехотная оборонительная граната.

Эрик Берн (1910-1970) — американский психолог и психиатр, разработчик транзакционного анализа.

Имеется в виду книга «Игры, в которые играют люди» Эрика Берна (1964).

Сергей Васильев проживает в деревне Клетки Волоколамского района.

Удостоверяющий личность документ, выданный немецкими властями.

Осуга — река в Тверской области, приток Тверды.

Деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

Село в Волоколамском районе Московской области.

Дмитрий Яковлевич Гусаров (1924-1995) — народный писатель Республики Карелия, наиболее известное произведение — «За чертой милосердия» (1977).

В марте 1988 года в Калуге при поддержке ЦК ВЛКСМ состоялся Первый Всесоюзный сбор представителей поисковых отрядов Советского Союза. Калужский сбор принято считать поворотным событием в поиске, давшим начало организованному поисковому движению в нашей стране. На сборе был создан Всесоюзный координационный Совет поисковых отрядов (ВКС). Его первым председателем стал поисковик, журналист, участник Великой Отечественной войны Юлий Михайлович Иконников. (Прим. — Кетеван Гегелия).

ГТ-Т (изделие 21) — гусеничный транспортер-тягач.

Исаак Иосифович Калина (р. 1950) — руководитель Департамента образования и науки города Москвы с 2010 года.

Любовь Петровна Кезина (р. 1938) — руководитель Департамента образования города Москвы в период с 1986 по 2007 год.

Fiskars — финская компания, производящая инструменты.

Обобщенный банк данных «Мемориал» — банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период.

Речь идет о Денисе Васильевиче Давыдове, русском поэте, одном из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года.

Вероятно, имеется в виду отряд Кетеваны Дмитриевны Гегелии.

Павел Алексеевич Белов (1897-1962) — генерал-полковник, Герой Советского Союза, командовал 2-м кавалерийским корпусом.

Лев Михайлович Доватор (1903-1941) — генерал-майор, Герой Советского Союза.

Река, приток Тверцы.

Eihandgranate M39 (ручная граната «Яйцо», М-39) — немецкая противопехотная осколочно-фугасная наступательная ручная граната.

Деревня в Сычевском районе Смоленской области.

Река в Смоленской и Тверской областях, правый приток Волги.

Часть встречи с Сергеем Нестерчуком прошла в заведении под названием «Доминос Пицца».

Деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

Речь идет о Викторе и Наталье Морозовых, их рассказ см. с. 286.

Речь идет о Викторе и Наталье Морозовых, их рассказ см. с. 286.

Имеется в виду металлоискатель для поиска на большой глубине.

КВ (от Клим Ворошилов) — семейство советских тяжелых танков времен Великой Отечественной войны.

Не узнаю... Но знаю — здесь мы были,
Еще полна земля следов
Той страшной и далекой были.
Она глядит глазами пустыми
Белеющих в овраге черепов...

Деревни русские — чужие и родные!
Я через двадцать лет иду вас брать опять...
Вы снились мне — в пожарище и дыме,
Деревни те, что не смогли мы взять.
Мы брали вас раз двадцать и... не взяли...
Иду туда — в изломанную рощу
Рубеж исходный для атак,
Где быть убитым было проще,
Чем как-то раздобыть табак.

Подробнее про Кондратьевскую рощу (роща Курица) см. стр. 116.

Цунаева Елена Моисеевна — ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Олега Всеволодовича Лишина.

Вероятно, имеется в виду, где собирал кости.

Здесь — на мемориале в Погорелках.

ДП — пулемет Дегтярева пехотный, ручной пулемёт, разработанный Василием Алексеевичем Дегтярёвым.

Тут, т.е. в огороде рядом с домом Морозовых.

MG 42 (нем. Maschinengewehr 42) — германский единый пулемёт периода Второй мировой войны.

«ЗвениТ» металлоискатель.

Калининский фронт — ежегодная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», один из форматов проведения Вахт памяти.

Речь идет о сюжете, который, к сожалению, не был записан. Мемориал в Погорелках, по мнению местной администрации, оказался переполнен и не мог более вмещать найденные останки. Чтобы не пришлось отвозить эти останки во Ржев, местные жители и родственники погибших скинулись и купили рядом с мемориалом большой участок земли, с помощью которого получилось бы значительно расширить мемориал и продолжать хоронить погибших недалеко от Погорелок солдат в местную братскую могилу, а не отвозить во Ржев.

В данном месте, к сожалению, из-за невнятности была опущена значительная часть разговора, в которой обсуждались проблемы идентификации останков солдат, погибших после 1942 года (т. е. после отменены смертных медальонов). Обсуждалась в том числе ситуация Владимира Донатовича Богомолова, который за все годы работы нашел на Гнездиловской высоте всего несколько человек, которых получилось опознать.

Имеется в виду «Калининский фронт».

«Сокол» — военно-патриотический клуб при новгородском заводе «Акрон», фактически — первый советский поисковый отряд.

Вероятно, имеется в виду советский писатель Аркадий Николаевич Васильев (1909-1972), отец Дарьи Донцовой.

Станислав Семенович Гагарин (1935-1993) — советский писатель, автор романа «Мясной Бор».

Алексей Александрович Салтыков (1934-1993) — советский кинорежиссер и сценарист. Из предисловия к книге Николая Коняева «Генерал из трясины» следует, что в 1993 Году Салтыков планировал снимать фильм о генерале Власове, предварительно собрав и изучив архивные документы по его делу.

Рассказ Александра Савельева см. на стр. 430. Рассказ о медной ложке опубликован в его книге «Похоронная команда» (Савельев А. Похоронная команда, 2017. С. 5-10).

Из воспоминаний Н. И. Орлова: «Мы извлекли из кармана гимнастерки книжку полетов и комсомольский билет. Я в то время уже имел опыт чтения документов, их читать нужно сырыми, сразу, моментально, но ребята заспорили, что не надо, всё это отдадим, и когда и стал открывать комсомольский билет, мы только успели прочитать фамилию. [...] Ребята заспорили: отдадим в милицию, там прочитают, и, к великому несчастью, документы засушили. И не удалось потом прочитать комсомольский билет».

Видимо, имеется в виду Черепанов.

Видимо, речь идет об Анатолии Мерзлове.

Комиссар Иван Васильевич Зуев погиб во время прорыва окружения 2-й ударной армией (по одной из версий — застрелился, чтобы не сдаваться в плен).

«Рубеж», 2017 г.

Рассказ священника Вячеслава Харинова см. на стр. 606.

Молодежный исторический фонд.